

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СБОРНИК 2010

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СБОРНИК 2010



Цель одна — счастье, свое и семьи —
зная, что счастье это в том, чтобы
довольствоваться малым
и делать добро другим.

Лев Шталдан



Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. 1906 г. Фотография М. Л. Толстой

Государственный мемориальный и природный заповедник
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва)

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СБОРНИК

2010

статьи
материалы
публикации

ТУЛА



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

2010

ББК 83.3(2=Рус)1

Я82

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

В. И. Толстой (*главный редактор*), Н. И. Азарова,
Т. Н. Архангельская, Л. В. Гладкова, О. А. Голиненко,
А. В. Гулин, В. А. Лебедева, В. Б. Ремизов, Б. М. Шумова,
М. И. Щербакова

Составители

Л. В. Милякова, А. Н. Полосина

Я82 **Яснополянский сборник 2010:** Статьи, материалы, публикации. — Тула: Издательский дом «Ясная Поляна», 2010. — 548 с.: ил.

ISBN 978-5-93322-051-0

25-й выпуск «Яснополянского сборника» посвящен 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого. В него включены новые работы российских и зарубежных исследователей жизни и творчества Л. Н. Толстого. Издание адресовано литературоведам, преподавателям, аспирантам, студентам, музейным работникам и культурологам. Издание снабжено редкими фотографиями.

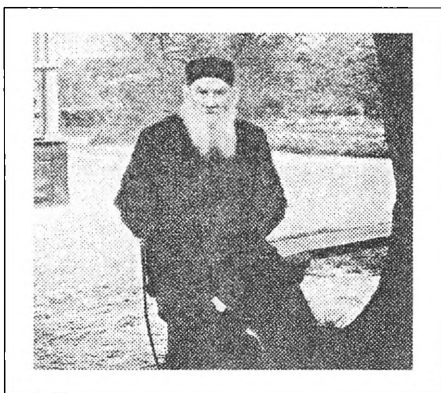
ББК 83.3(2=Рус)1

ISBN 978-5-93322-051-0

© Авторы статей, 2010

© Издательский дом «Ясная Поляна»,
оформление, 2010

СОДЕРЖАНИЕ



От редколлегии
9

Список условных сокращений
11

ТВОРЧЕСТВО Л. Н. ТОЛСТОГО: ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА

Ю. И. Красносельская, М. С. Макеев

Юность и мальчишество:
повесть Л. Н. Толстого «Юность»
в восприятии круга «Современника»
15

Н. Е. Разумова
Добрый Карл Иванович
28

И. Пиотровска
К проблеме аристократизма
в дневниках Л. Н. Толстого 1850—1851 гг.
36

В. Н. Янушевский
Проза Толстого 1850—1860-х гг. и проблема художественного
целого в эпосе: опыт анализа фабульной реальности в соответствии
с принципом «бытия героя»
54

М. А. Можарова
К истории создания комедии «Нигилист»
82

Кюити Итогава

Об антивоенном пафосе в произведениях Толстого
(Был ли «перелом» в творческом пути писателя?)

92

Е. В. Николаева

Псалтирь в «Азбуке» Льва Толстого
и русская псалмодическая традиция

103

В. В. Емельянов

Об источниках сказки Л. Н. Толстого
«Ассирийский царь Асархадон»

115

С. Ю. Николаева

Жанровое своеобразие книги Л. Н. Толстого «Крут чтения»

128

А. Н. Полосина

Л. Н. Толстой — переводчик индийских сказок и басен
(по материалам яснополянской библиотеки)

153

К. М. Постникова

Категории пространства и времени
в осмыслении позднего Толстого

168

Ю. В. Архангельская

Взгляды Л. Н. Толстого на язык
как на материал словесного творчества

176

И. Меджибовская

Ответ Толстого на террор и революционное насилие

184

А. А. Златопольская

«Исповедь» Руссо в творчестве Толстого и Достоевского
и образ «женевского гражданина»
в русской мысли XVIII — начала XIX века

211

Л. А. Сапченко

«...Больше всего сближается с Карамзиным»

224

Н. Г. Михновец

Учение Дарвина и его культурный феномен в осмыслении Толстого

235

Ю. В. Прокопчук

Дмитрий Нехлюдов и Жан Вальжан: проблема нравственного выбора
249

И. К. Грызлова

Образ Наполеона в художественном восприятии Стендаля
и Л. Н. Толстого
258

С. Н. Аверкина

«Эпическая ирония» Т. Манна, или «После Л. Н. Толстого»
269

Н. А. Мозохина

Художница Елизавета Бём — иллюстратор Л. Н. Толстого
276

Н. В. Жиликова

Черносотенная и официальная печать о Л. Н. Толстом
(1910 г., Томск)
290

Л. Н. ТОЛСТОЙ И ЕГО СОВРЕМЕННОКИ**А. Г. Королева**

Лев Толстой и Иван Ювачев
305

Священник Георгий Ореханов

А. Л. Толстая и В. Г. Чертков
314

В. И. Литвинова

«Дело наше одно...»
(Т. М. Бондарев как вдохновитель социальных идей Л. Н. Толстого)
326

Л. Ф. Майорова

Борис Осипович Гольденблат
339

Л. Е. Кочешкова

Б. М. Эйхенбаум о Л. Н. Толстом:
проблема комментирования литературоведческого текста
347

И. Ю. Матвеева

«Мечтаю сделать книгу о Толстом»
(главы незавершенной монографии о Льве Толстом
Б. М. Эйхенбаума)
355

Г. И. Колосова

Знаковые встречи:

Г. Н. Потанин и Л. Н. Толстой в судьбе В. Ф. Булгакова
366

М. В. Строганов

К истории первого приезда Л. Н. Толстого в Тверской край
376

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ**Письма П. С. Алексеева Л. Н. Толстому**

Публикация А. М. Кураковой и Л. М. Новожиловой
395

С. М. Прокудин-Горский

Неделя в Ясной Поляне у Л. Н. Толстого (воспоминания)
Публикация В. Ратникова
424

Мэтью Арнольд

Граф Лев Толстой

Публикация, вступительная статья,
перевод с английского и примечания Н. И. Рейнгольд
436

Уго Арлотта

Два дня в доме Толстого в Ясной Поляне

Публикация, перевод с итальянского и примечания Михаила Талалая
470

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛСТОВСКИХ МУЗЕЕВ**Е. В. Солдатова**

«Большие елки»
485

В. С. Воронцов

Оранжерейное и тепличное хозяйство в усадьбах конца XVIII —
середины XIX в.: история кадочной культуры в России
491

С. А. Коновалова

Страницы истории создания в Казани музея Льва Николаевича Толстого
504

ПРОШЛОЕ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ**С. В. Гайдамак**

Яснополянская школа в годы Великой Отечественной войны
529

От редколлегии

25-й выпуск «Яснополянского сборника» посвящается 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого.

В разделе «Творчество Л. Н. Толстого: проблематика и поэтика» наряду с исследованиями повести «Юность» и комедии «Нигилист» публикуются статьи, посвященные таким темам, как аристократизм в дневниках молодого Толстого; художественное целое в эпосе на примере прозы Толстого 1850–1860-х гг.; перелом в мировоззрении и целостность творчества писателя; восприятие учения Дарвина и его культурный феномен; взгляды Толстого на язык как на материал словесного творчества; категории пространства и времени, а также проблеме террора и революционного насилия в восприятии позднего Толстого. Актуальными представляются источниковедческие работы, посвященные «Азбуке», «Кругу чтения» и сказке «Ассирийский царь Асархадон». По материалам яснополянской библиотеки написана работа о толстовских переводах индийских сказок и басен. Проблема нравственного выбора рассматривается на примере произведений Толстого и Гюго, а тема «эпической иронии» — на примере восприятия «русского романа» Т. Манном. По-прежнему не теряют своей напряженности темы «Толстой и Карамзин», «Толстой и Стендаль», «Толстой и Руссо». В связи с выходом в свет нового издания филологического наследия Б. М. Эйхенбаума в сборник включены работы о проблемах комментирования литературоведческого текста и о динамике исследовательской мысли в постижении творчества Толстого. Также в раздел включен критический обзор публикаций черносотенной и официальной сибирской прессы об уходе и смерти Л. Н. Толстого.

Авторы статей, вошедших в раздел «Л. Н. Толстой и его современники», вовлекли в исследовательский оборот имена таких современников Толстого, как Е. М. Бём, А. В. Дмоховская, В. Г. Чертков, А. Л. Толстая, П. И. Бирюков, В. В. Стасов, М. А. Стахович, А. А. Чичерин, М. Г. Савина, А. П. Шнейдер, С. Чапкина-Руга, Ф. Д. Батюшков, Д. Лизогуб, И. П. Ювачев, Т. М. Бондарев, И. М. Сибиряков, Эмиль и Амадей Пажес, Д. П. Маковицкий, Г. Н. Потанин, В. Ф. Булгаков, П. А. Сергеенко, Б. О. Гольденблат, А. Н. Арсеньев, Н. И. Пospelов, А. А. Фет, С. С. Громека, и др.

В разделе «Наши публикации» печатаются письма к Л. Н. Толстому доктора П. С. Алексева, воспоминания С. М. Прокудина-Горского

и итальянского журналиста Уго Арлотты, а также статья «Граф Лев Толстой» Мэтью Арнольда в переводе с английского Н. И. Рейнгольд.

В раздел «Из истории толстовских музеев» вошли статья о прошлом и настоящем яснополянских посадок; об оранжерейно-тепличном хозяйстве в усадьбах XVIII–XIX вв. и истории кадочной культуры в России и Ясной Поляне; об острых проблемах, связанных с созданием в Казани Музея Л. Н. Толстого, и о его перспективах.

Завершает сборник драматическая хроника жизни Яснополянской школы (основанной в 1928 г. А. Л. Толстой) в годы Великой Отечественной войны.

Список условных сокращений

- ГАТО* — Государственный архив Тульской области
ГМИИ им. А. С. Пушкина — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
ГМТ — Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва)
ГРМ — Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
Гусев — Гусев Н. Н. Два года с Толстым. М., 1873
Гусев. Летопись I, II — Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. М., 1958; 1960
Гусев. Материалы I, II, III, IV — Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии. М., 1954; 1957; 1963; 1970
ДСТ — Толстая С. А. Дневники: В 2 т. М., 1978
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
ЛН — «Литературное наследство»
Моя жизнь — Толстая С. А. Моя жизнь. Машинопись. Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея
ОР ГМТ — Отдел рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва)
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
ПАТ — Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, 1857–1903. СПб., 1911
ПРП — Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями: В 2 т. М., 1978
ПТСБ — Переписка Л. Н. Толстого с сестрой и братьями. М., 1990
Опульская I, II — Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии. М., 1979; 1998
РАН — Российская академия наук
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГИА — Российский государственный исторический архив
РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд
РНБ — Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)

ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга

Сухотина Т. Л. — Сухотина - Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1981

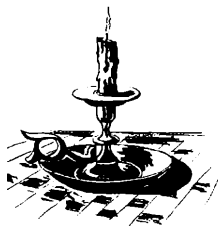
ЯЗ — Маковичкий Д. П. У Толстого. 1904—1910: «Яснополянские записки»: В 5 кн. М., 1979—1981. (Лит. наследство; Т. 90)

ЯПб — Яснополянская библиотека Л. Н. Толстого

Ясн. сб. — Яснополянский сборник. Тула

Ссылки на 90-томное собрание сочинений Л. Н. Толстого (Юб. изд. М.; Л., 1928—1958) даны в текстах статей с указанием номеров тома и страницы в скобках

**ТВОРЧЕСТВО Л. Н. ТОЛСТОГО:
ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА**



Ю. И. Красносельская, М. С. Макеев

**ЮНОСТЬ И МАЛЬЧИШЕСТВО:
ПОВЕСТЬ Л. Н. ТОЛСТОГО «ЮНОСТЬ»
В ВОСПРИЯТИИ КРУГА «СОВРЕМЕННОКА»**

Дебютные произведения Л. Н. Толстого — «Детство», «Отрочество», «Севастопольские рассказы» — были приняты с единодушным восторгом в так называемом круге «Современника»¹, то есть того самого журнала, который «открыл» Толстого как писателя и в котором и были напечатаны его первые повести и рассказы². Однако отношение литераторов этого круга к «Юности» было существенно более противоречивым. Конечно, и сам этот «круг» уже не был однороден и единодушен по многим вопросам литературы, эстетики, отчасти общественной жизни. В то время, когда публикуется заключительная часть трилогии (январь 1857 г.), «раскол» в «Современнике» стал реальностью.

Это размежевание точно отразилось и в оценке «Юности»: отходившие от журнала старые сотрудники, сторонники «пушкинского» направления, были склонны оценивать повесть достаточно высоко³, представлявший же новое направление журнала Н. Г. Чернышевский, почти в это же самое время (Современник. 1856. № 12) печатающий хрестоматийно известную хвалебную статью о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах» Толстого (правда, руководствуясь при этом и тактическими редакционными соображениями), в частных письмах высказывается о «Юности» более чем негативно, находя в ней «пустословие», «пошлость», «скуку», «бессмыслие» и даже «хвостовство бестолкового павлина своим хвостом, не прикрывающим его пошлой задницы, — именно потому и не прикрывающим, что павлин слишком кичливо распустил его»⁴.

Это различие оценок, на первый взгляд закономерное, при более внимательном прочтении кажется странным. Поскольку оно явно не было вызвано объективной слабостью художественной формы толстовского произведения (как было, например, в случае с «Записками

маркера», первоначально не понравившимися Некрасову именно своей художественной манерой)⁵, его нужно приписать содержанию «Юности», другими словами — выразившейся в ней «тенденции». Эта тенденция оказалась близка сторонникам «чистого искусства», но не близка Чернышевскому. Между тем, в отличие от «Альберта» или «Люцерна», в этой повести нет ничего, что можно было принять за декларацию «искусства для искусства». Скорее наоборот. Студенты-разночинцы изображены в повести с немалой долей симпатии: Николенька чувствует их превосходство над собой почти во всех отношениях⁶, а сам Толстой признавал в поздние годы, что хотя и не считал его таковым, но все же пытался выставить в повести как «хорошее и важное» свое «демократическое направление» (34, 349). Однако, как отмечают комментаторы повести, Чернышевского «Юность» «не вполне удовлетворила» как раз «несмотря на более острую постановку социальной темы (противопоставление развлекающемуся молодому барину дельных и работающих студентов-бедняков)»⁷. Вероятно, нечто иное сделало «Юность» объектом противоречивых оценок, вызвало раздражение одних и одобрение других, а именно — сам тот возраст, который является объектом изображения и осмысления в повести. Определенная трактовка юности оказалась фактором более значимым, чем сочувственное или отрицательное изображение разночинцев, наличие или отсутствие социальной проблематики в целом.

Дело в том, что само понятие юности в середине 1850-х годов приобрело характер идеологического символа. В период Крымской войны и сопутствующего ей общественного подъема молодость становится своеобразным нравственным мерилом, синонимом идеализма, свежести восприятия, готовности к подвигу⁸. В эпоху надвигающихся реформ в молодости видят символ обновления жизни, противопоставляя ее зрелости и старости как застою, дряхлости и обреченности на гибель⁹. Такие представления объединяли и сотрудников «Современника», и во многом поэтому ими и был оказан столь горячий прием Толстому. Его появление было воспринято как знак прихода в литературу молодого и талантливого автора, который как никто другой мог соответствовать идеалу писателя и способствовать убедительной передаче этих идеалистических представлений в художественной форме. Так, Некрасова в первых произведениях Толстого привлек выбранный автором ракурс описания — глазами молодого человека, и предмет описания — «изображение души, не успевшей засориться дрянью жизни»¹⁰. Некрасов

хвалит самого Толстого как писателя за «избыток мимолетных заметок, сверкающих умом и удивляющих зоркостью глаза, богатство поэзии, всегда свободной, вспыхивающей внезапно и всегда умеренно», и силу, «присутствие которой слышится в каждой строке»¹¹. Это именно те качества, которые свойственны восприятию молодого человека и которых особенно не хватает современной русской литературе¹².

Эти лучшие черты, как представлялось литераторам «Современника», были присущи Толстому не просто как писателю, но и как человеку. В письме В. П. Боткину 24 ноября 1855 г. Некрасов описывает приехавшего в Петербург Толстого как «энергического, благородного юношу»¹³. Эта характеристика 27-летнего Толстого, уже зарекомендовавшего себя как опытного писателя, не кажется необычной в контексте распространенных в эти годы в литературных кругах представлений о молодости и молодежи. Молодость Толстого придает его таланту еще и ту энергию, которая, по выражению Некрасова, убита в большинстве маститых литераторов «временем и гадостью действительности, глухотой и немотой окружающего», но без которой «нет писателя, по крайней мере такого, какие теперь нужны России»¹⁴. Потому даже его эксцентрические выходки, шокирующие, эпатирующие суждения воспринимаются как свойство юности быть опрометчивой, но в конечном счете «здоровой», как нечто не вредящее дарованию. Как признавал Дружинин, «наш милейший башибузук Толстой есть талант перво-классный»¹⁵. В некотором смысле Толстой был своего рода образцовым молодым человеком, надеждой и русской литературы, и российского общества.

Однако примерно к середине 1856 года, а точнее, с утверждением в журнале Чернышевского, понятие молодости утрачивает для старых сотрудников «Современника» свой однозначно положительный характер. Как справедливо отмечалось, этот критик привлек Некрасова прежде всего как представитель молодого поколения, как человек, воплощавший и дух молодости¹⁶ (как прежде Толстой), и поколение читателей, предъявляющих новый запрос на содержание литературных произведений¹⁷. Однако Чернышевский был подобен Толстому для Некрасова, но не для старых участников журнала. Его эстетические взгляды и общественно-политические представления были им чужды, казались им ложными и невзвешенными. Но в значительной степени это тоже приписывалось его юности, так что понятие юности постепенно расцепляется: в глазах других сотрудников журнала (за исключением

Некрасова) Чернышевский представляет не ту же юность, что Толстой, то есть юность не как период благородных исканий, а как время необоснованных, дерзких претензий и заблуждений, считающих себя мудростью. Эта юность противопоставляется зрелости уже как нечто существенно менее ценное, чем зрелость. В ходе усиления разногласий внутри журнала «молодость Чернышевского» в языке старых сотрудников «Современника» вытесняет «молодость Толстого», молодость становится тем, что на их языке получило название «мальчишество». Воплощением того, что вкладывалось в это понятие, можно назвать известный поступок Чернышевского, перепечатавшего в журнале несколько стихотворений из сборника «Стихотворения Н. Некрасова» и тем самым вызвавшего серьезные цензурные проблемы для журнала и для будущих переизданий некрасовских стихотворений, или более позднюю рецензию Добролюбова на роман Тургенева «Накануне»¹⁸. Если мальчишеское поведение опасно для общества, то «мальчишеский» взгляд на мир, с точки зрения «эстетических» критиков, вреден для писателя. Согласно Дружинину, он является не подспорьем художнику, а признаком его творческой незрелости: «То, что сделает двадцатидвухлетний поэт-ребенок, могут делать и критики, и рецензенты, и фельетонисты. Проведя целые годы в однообразном высказывании непрочувствованных мыслей, растеряв и свой талант и свои силы, наши учителя человечества наконец придут к пониманию своего заблуждения, но придут к тому слишком поздно»¹⁹.

В «Юности» Толстого критики и «эстетического», и «демократического» направления увидели именно «преодоление» юности, то есть изображение ее как «мальчишества», возраста, который, разумеется, неизбежен, но хорош именно тем, что проходит, сменяясь зрелостью. Так, Дружинин, ознакомившийся с повестью в рукописи, писал Толстому, что «Юность» хотя и «не хуже» «Детства» и «Отрочества», но все же понравится публике гораздо менее двух первых частей трилогии. С его точки зрения, повесть не получит признания потому, что юность — время «смутное и нескладное», насыщенное «щелчками и унижениями», а значит, старательно «забываемое» человеком: «Самый пустой человек хранит несколько детских воспоминаний и радуется, когда ему истолковывают их поэзию, но период «юности»... обыкновенно затаивается в душе, а оттого меркнет и забывается... По замыслу и по сущности труда — Ваша «Юность» будет гастрономическим куском лишь для людей мыслящих и чующих поэзию»²⁰.

Такая трактовка, безусловно, соответствует авторскому замыслу (изначально не имевшему, вероятно, направленности на дискуссии середины 50-х годов). В начале 1850-х гг., находясь вдали от Петербурга и будучи достаточно условно знакомым с течением современной литературной жизни, Толстой задумывает свою трилогию в качестве способа описания «хода морального развития» (46, 102) личности, анализа психологических процессов, сопутствующих взрослению человека. Пытаясь обнаружить «характеристические черты каждой эпохи жизни», Толстой приходит к выводу, что в детстве — это «теплота и верность чувства»; «в отрочестве скептицизм, сладострастие, самоуверенность, неопытность и гордость; в юности красота чувств, развитие тщеславия и неуверенность в самом себе»²¹. Таким образом, в оценке Толстого юность оказывается порой ошибок и заблуждений, несостоятельных претензий на взрослость, маскируемых под дерзость или *comme il faut*. Причем именно эти претензии как нельзя очевиднее и доказывают незрелость молодого человека. Отвергая все лучшее, что есть в детстве — то есть, по Толстому, наиболее гармоничном состоянии человека, — юноша оказывается смешным и в том случае, если презирает искренние, непосредственные проявления чувства, видя в них «мальчишескую» «чувствительность», и в том, если, напротив, никак не может расстаться с уже ушедшим детством, переставая, таким образом, адекватно, реалистично реагировать на события окружающего мира, идеализируя, приукрашивая их²². Юность есть состояние некоего неравенства человека и другим, и самому себе: юноша и мнит себя лучше всех, наивно ожидая всеобщего восхищения и любви, и одновременно беспокоится о том, что его считают мальчишкой, то есть кем-то низшим, не достойным уважения²³. Если в «Набеге» и «Севастопольских рассказах» Толстой подчеркивал именно идеализм молодых героев (тем более что их трагическая судьба превращала мальчишескую легкомысленность в героизм), то в «Юности» он демонстрирует прежде всего утопичность или абсурдность мечтаний и стремлений Николеньки, тем более что тот действует не в каких-то чрезвычайных обстоятельствах, оправдывающих неординарные душевные порывы и дерзкие поступки, а в условиях реальной, повседневной жизни, в которой смешная или порочная изнанка юношеских претензий рискует выйти уже на всеобщее осмеяние или породить всеобщее негодование²⁴. Юность понимается Толстым как время, когда человек уже пытается воплотить свои многообразные планы и мечтания в жизнь, найти им

практическое применение²⁵. Однако ее изначальный «грех», изъян заключается в том, что юность слишком теоретична, слишком любит полагаться на умозрительные схемы и планы. Любые же теоретические проекты, приходя в столкновение с непосредственной, «живой» жизнью, неизбежно проигрывают перед ее сложностью и разнообразием или оказываются вовсе нереализуемыми²⁶. Стать взрослым означает перестать видеть цель жизни в ее строгом подчинении теории, стать открытым жизни как таковой. Таким образом, и сам автор должен перерасти «мальчишество», чтобы достоверно и художественно описать его.

Очевидно, что такое отношение к юности должно было оцениваться представителями борющихся лагерей прямо противоположным образом. Чернышевский прямо связывал толстовский взгляд на юность с взглядами враждебного лагеря (хотя, возможно, слишком упрощал ситуацию, говоря о проявившемся в повести *влиянии Дружинина и Анненкова на Толстого*²⁷): «Прочитайте его “Юность”, — писал он И. С. Тургеневу 7 января 1857 г. — Вы увидите, какой это вздор, какая это размазня (кроме трех-четырёх глав) — вот и плоды аристарховских советов — аристархи в восторге от этого пустословия... Жаль, а ведь есть некоторый талант у человека. Но — гибнет оттого, что усвоил себе пошлые понятия, которыми литературный кружок руководится при суждениях своих»²⁸. Само слово «пошлость», употребленное Чернышевским, свидетельствует как раз о том, что у Толстого его возмутила прежде всего сама трактовка юности. В терминологии «новых» сотрудников «Современника» пошлость противопоставлялась молодости и ассоциировалась с тем, что литераторы, подобные Дружинину, называли «зрелостью». Это противопоставление отчетливо выражено, например, в известном письме Н. А. Добролюбова Н. А. Бордюгову 20 сентября 1859 года: «Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к молодому сердцу, не совсем еще погрязшему в тине пошлости»²⁹.

Напротив, жрецам «чистого искусства» скепсис Толстого по отношению к юности должен был представляться выходом на правильную дорогу, необходимым переходом к эстетическому, всеприемлющему, нетеоретическому отношению к жизни, то есть к некоему аналогу «искусства для искусства». Еще до публикации «Юности» П. В. Анненков, говоря о первых двух частях толстовской трилогии, подчеркивал необходимость временной дистанции для объективного и выразитель-

ного описания детства и молодости. С точки зрения Анненкова, «возмужалый автор» «Детства» и «Отрочества» является «только толмачом детских впечатлений», что позволяет ему привести грудую смутных детских представлений в ясную, поэтическую картину. Анненков хвалит автора трилогии за то, что, не пытаясь «извлечь из предмета описания то, чего он дать не может», и потому не отступая «ни на шаг от простого психического исследования», он не вносит в него ничего «извне, заготовленного другими», в том числе никаких «любимых идей, почерпнутых в особенном представлении общества и человека», что позволяет ему избежать характерных «пятен» современной (очевидно, что прежде всего «обличительной») литературы³⁰.

И та и другая сторона справедливо связывали такое изображение юности с «взрослением» самого Толстого как человека. Характерно, что уже к середине 1856 года сотрудники «Современника» перестают считать Толстого молодым человеком, и, естественно, его человеческое «взросление» толкуется по-разному. Тургенев (безусловно, несмотря на дружеские связи с Некрасовым, всегда тяготевавший к позиции Боткина и Анненкова) в своих письмах Толстому настойчиво подчеркивающий их разницу в возрасте (ср.: «Разве прибавить к этому, что я гораздо старше Вас, шел другой дорогой... вся Ваша жизнь стремится в будущее,— моя вся построена на прошедшем...» — 13 (25) сентября 1856 г.), видел в «возмужании» Толстого свидетельство его избавления от свойственных молодости иллюзий и крайностей: «В Вас, очевидно, происходит перемена — весьма хорошая. (Извините меня, что я Вас как будто по головке глажу: я [на] целых десять лет старше Вас...) Вы утихаете, светлеете, и — главное — Вы становитесь свободны от собственных воззрений и предубеждений» (3 (15) января 1857 г.)³¹. Зрелость означает освобождение от «иллюзий», теорий, «предубеждений», это обретение взгляда на жизнь, который можно назвать «эстетическим» — приятие ее в разнообразных проявлениях без предвзятой точки зрения.

У представителей нового направления журнала эта обретаемая Толстым зрелость вызвала разочарование. За ней виделось скорее омертвление души, утрата благородного идеализма. Некрасов в письме Толстому, комментируя историю с перепечаткой Чернышевским его стихотворений, отводит упреки в «мальчишестве», предъявляемые уже ему самому «литературными друзьями» (к которым, очевидно, присоединился и Толстой), противопоставляя то, что они называют

«мальчишеством», меццанству, пошлости, филистерству: «...я был серьезно обижен тем несомненным фактом, что все мои литературные друзья в деле о моей книге приняли сторону сильного, обвиняя меня в мальчишестве. Ах, любезный друг! Не мальчишество на этом свете только лежание на пуховике, набитом ассигнациями, накраденными собственной или отцовской рукой»³². Это звучит едва ли не как упрек в филистерстве самому Толстому. У Некрасова вызывает удивление неприятие Толстым Чернышевского, открытая враждебность к человеку, который казался Некрасову представителем того же поколения, а значит, носителем того же комплекса качеств, что и сам Толстой³³. Измена молодости оказывается и изменой направлению, «которому сам [Толстой] донныне служил и которому служит всякий честный человек в России»³⁴.

Таким образом, если для старых сотрудников «Современника» «Юность» стала симптомом обретаемой Толстым человеческой мудрости, приятия жизни, а не теории, и в конечном счете постепенного его прихода в эстетический лагерь (что отчасти соответствовало действительности), то для левого крыла журнала повесть стала подтверждением того, что толстовские нападки на Чернышевского были не проявлениям молодого задора и идеализма, а признаком «опошления» некогда молодого и «честного» писателя.

¹ К числу наиболее ценных и полных исследований периода сотрудничества Толстого в «Современнике» можно отнести следующие: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Кн. 1. 50-е годы. Л., 1928; Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957; Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого: В 2 кн. М., 2000; Бурнашева Н. И. «...Пройти по трудной дороге открытия...»: Загадки и находки в рукописях Л. Толстого. М., 2005; Орвин Д. Т. Искусство и мысль Толстого, 1848—1880. СПб., 2006.

² Редактор «Современника» Н. А. Некрасов отмечал в «Заметках о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 года»: «К 1855 году относится если не появление, то развитие деятельности нового, блестящего дарования, которого первое произведение появилось в 1852 году и на котором останавливаются теперь лучшие надежды русской литературы. По характеру нашего беглого очерка здесь не место входить в анализ таланта графа Толстого (Л. Н. Т.); но нам приятно заметить, что теперь уже нет ни одного русского читателя,

интересующегося успехами родной литературы, которому было бы чуждо недавно обнародованное имя автора повестей: “Детство” (“Современник”, 1852, № 9), “Набег” (“Современник”, 1853, № 3), “Отрочество” (“Современник”, 1854, № 4), “Записки маркера” (“Современник”, 1855, № 1), “Севастополь в декабре месяце” (“Современник”, 1855, № 6), “Рубка леса” (“Современник”, 1855, № 9) и, наконец, напечатанной в нынешнем году повести “Севастополь в августе 1855 года”. Эта последняя повесть как своими достоинствами, так и недостатками окончательно убеждает, что автор наделен талантом необыкновенным» (Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. 11. Л., 1990. С. 222). Ему вторил А. В. Дружинин: «Немногие русские литераторы начинали свою деятельность так счастливо, правильно и разумно, как начал ее граф Л. Н. Толстой... Люди, привычные к пониманию поэзии и зорко следившие за всеми новыми явлениями в отечественной словесности... приветствовали появление нового таланта с горячностью — таким образом, успех произведений графа Л. Н. Толстого прежде всего начался в круге писателей и истинных дилетантов по литературной части. Известность, начавшаяся так разумно [повестью «Детство»], с каждым годом увеличивалась в самой правильной постепенности. Повесть “Отрочество” утвердила все надежды, возлагаемые на нового писателя» (Дружинин А. В. «Метель». — «Два гусара». Повести графа Л. Н. Толстого // Библиотека для чтения. 1856. № 9. Отд. 5. С. 1–2).

³ В. П. Боткин, по свидетельству Е. Я. Колбасина, сказал Толстому по поводу его повести «самую колоссальную лесть: каждая строчка, сказал он Толстому, написана на меди» (Тургенев и круг «Современника». М.; Л., 1930. С. 316). Дружинин, к этому моменту уже возглавивший редакцию «Библиотеки для чтения», но по-прежнему близкий «кругу» «Современника» и даже вынашивавший планы вытеснения из этого журнала Чернышевского, отмечал в письме Толстому 6 октября 1856 г.: «Задача Ваша ужасна, и Вы ее выполнили очень хорошо. Ни один из теперешних писателей не мог бы так схватить и очертать волнующий и бестолковый период юности. Для людей развитых Ваша “Юность” доставит великое наслаждение, и если кто Вам скажет, что эта вещь хуже “Детства” и “Отрочества”, тому Вы можете плюнуть в физиогномию» (ПРП. Т. 1. С. 266–267).

⁴ Письмо И. С. Тургеневу от 7 января 1857 г. (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. 14. М., 1949. С. 332).

⁵ Из письма Некрасова к Толстому от 6 февраля 1854 г.: «“Зап. марк.” очень хороши по мысли и очень слабы по выполнению; этому виной избранная вами форма; язык вашего маркера не имеет ничего характерного — это есть

рутинный язык, тысячу раз употреблявшийся в наших повестях, когда автор выводит лицо из простого звания; избрав эту форму, вы без всякой нужды только стеснили себя: рассказ вышел груб, и лучшие вещи в нем пропали...» (ПРП. Т. 1. С. 60).

⁶ «Одним словом, все, чем я хотел похвастаться перед ними, исключая выговора французского и немецкого языков, они знали лучше меня и нисколько не гордились этим» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 100 т. Художественные произведения: В 18 т. Т. 1. М., 2000. С. 269. Гл. 43 «Новые товарищи»).

⁷ Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. Т. 1. М., 1978. С. 417.

⁸ Об этом см.: Макеев М. С. Николай Некрасов: поэт и предприниматель. М., 2009.

⁹ Ср. в «Заметках о журналах за сентябрь 1855 года» Некрасова: «Сегодняшний день лучше вчерашнего, завтрашний будет лучше сегодняшнего, и, таким образом, время делает свое дело. "Бодрей же в путь!" Правдивое признание заслуг, честь и благодарность ожидают всякого совестливого труженика мысли. Но горе и стыд тем, кто приносит истину в жертву корысти и самолюбию! Для них нет впереди света, не греет и не животворит их надежда лучшего будущего, это лучшее — час их обличения и позора!» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. Т. 11₂. С. 181).

¹⁰ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. Т. 11₂. С. 223.

¹¹ Там же. С. 222—223.

¹² Ср. в «Заметках о журналах за июль месяц 1855 года» Некрасова и Боткина: «Наша литература... не нравится нам именно с точки зрения впечатления, которое должна производить на всякое молодое, свежее, восприимчивое сердце (а ведь это главное, ибо для людей, искупленных жизнью, книги последнее дело; на них не книги действуют, а разве события, да и то лишь тогда, когда гроза и сила их восходит на степень совершающихся, например, ныне)... И тем прискорбнее сказанный недостаток, что наша литература далеко не бедна дарованиями: в сию минуту в ней есть несколько превосходных талантов... Впрочем, пожелаем им больше энергии (некоторым также должно пожелать и побольше образования и соответствующего таланту развития сердца и других человеческих сторон), и да исчезнет навсегда (характеризующая новейшие дарования) какая-то сдержанность или, вернее, осторожность, робость, может быть, недостаток веры в собственный ум и сердце — печальное качество, парализующее деятельность лучших и благороднейших наших дарований» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. Т. 11₂. С. 143—144).

¹³ Переписка Н. А. Некрасова: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 207.

¹⁴ Письмо Толстому от 2 сентября 1855 г. (ПРП. Т. 1. С. 73).

¹⁵ Дружинин А. В. Из «Дневника» // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 73.

¹⁶ Это отмечает, например, А. Н. Пыпин: «Но то, что было чуждо или нелюбопытно старым друзьям, было Некрасову вполне понятно,— и трудно было человеку, несколько восприимчивому к общественным вопросам, понять, в годы кризиса Крымской войны, общественное возбуждение; понять, что оно должно было быть тем сильнее в поколении молодых, всегда наклонных к идеализму и еще не успевших зачерстветь в рутине себялюбия и самодовольстве. Некрасов сумел понять идеалистическое настроение, представителями которого были два новые сотрудника журнала» (Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971. С. 122).

¹⁷ «Черпышевский и Добролюбов для Некрасова воплотили молодость и идеализм, проявившиеся, в том числе, в их любви к его поэзии без “направления”... Для Некрасова молодая радикально настроенная аудитория оказалась близкой именно потому, что оправдание идеализма для него означало оправдание поэзии как таковой, сообщало ей право на существование» (Ма кее в М. С. Николай Некрасов: поэт и предприниматель. С. 132).

¹⁸ Угрозу закрытия «Современника» Дружинин в письме к Тургеневу 18 ноября 1856 г. прокомментировал следующим образом: «И Васенька, и мы все сильно озлоблены за мальчишескую неосторожность, с которой Современник вслся, и мы предвидели неприятность. Так журнала вести нельзя...» (Цит. по: ПРП. Т. 1. С. 90). Ср. реакцию Анненкова на конфликт Тургенева с Добролюбовым (в изложении А. Я. Панаевой): «Анненков накинулся на меня [И. И. Панаева] с пеной у рта, упрекая в черной неблагодарности и уверяя, что единственно одному Тургеневу мы обязаны успехом журнала; что мы осрамили себя, дозволив нахальному и ехидному мальчишке писать ругательства о таком великом писателе, как Тургенев!» (Панаева А. Я. Воспоминания. М., 2002. С. 306).

¹⁹ Дружинин А. В. «Метель». — «Два гусара». Повести графа Л. Н. Толстого. С. 29—30.

²⁰ ПРП. Т. 1. С. 268.

²¹ Толстой Л. Н. [Четыре эпохи развития]. Планы романа // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. Серия 2. Редакции и варианты художественных произведений: В 17 т. Т. 1 (19). М., 2000. С. 524.

²² Так, приехавший к Нехлюдовым Николенька Иртеньев считает обязанностью говорить «непреренно очень умно и оригинально», полагая величайшим стыдом выражающие подлинные эмоции «короткие и ясные ответы,

как: да, нет, скучно, весело и тому подобное», и искренно верит, что все действительно должны считать его чрезвычайно умным и приятным молодым человеком. (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. Серия 1. Т. 1. С. 209–210).

²³ Ср. об отношении Николепки к студентам-разночинцам: «Я чувствовал себя перед ними виноватым и, то смиряясь, то возмущаясь против своего незаслуженного смирения и переходя к самонадеянности, никак не мог войти с ними в ровные, искренние отношения» (Там же. С. 268).

²⁴ Так, «тщеславное желание выказать себя совсем другим человеком» заставляет Николенку «лгать самым отчаянным образом», причем «в таких вещах, в которых очень легко было поймать» его (Там же. С. 217–218).

²⁵ Ср.: «Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, в ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им.

И с этого времени я считаю начало юности» (Там же. С. 154).

²⁶ Ср.: «Тетрадь с заглавием “Правила жизни” тоже была спрятана с черновыми ученическими тетрадами. Несмотря на то что мысль о возможности составить себе правила на все обстоятельства жизни и всегда руководиться ими нравилась мне, казалась чрезвычайно простою и вместе великою, и я намеревался все-таки приложить ее к жизни, я опять как будто забыл, что это нужно было делать сейчас же, и все откладывал до такого-то времени» (Там же. С. 170).

²⁷ Некрасов также объяснял отход Толстого от «Современника» влиянием на него Дружинина // См.: Переписка Н. А. Некрасова. Т. 1. С. 460.

²⁸ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 332.

²⁹ Добролюбов Н. А. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 9. М.; Л., 1964. С. 385.

³⁰ А <нненков> в П. О мысли в произведениях изящной словесности: (Заметки по поводу последних произведений гг. Тургенева и Л. Н. Т.) // Современник. 1855. № 1. Критика. С. 23. По сути, рассуждающий о «диалектике души» Чернышевский выделяет те же «отличительные черты таланта графа Толстого» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 421), что и говорящий о «простом психическом исследовании» Анненков, однако выводы, которые они делают на основе анализа этих «отличительных черт», прямо противоположны, поскольку обусловлены скорее полемическими, чем «литературоведческими» целями.

³¹ ПРП. Т. 1. С. 143, 153.

³² Письмо Толстому от 31 марта/12 апреля 1857 г. (ПРП. Т. 1. С. 89).

³³ «Особенно мне досадно, что Вы так браните Чернышевского... Не надо также забывать, что он очень молод, моложе всех нас, кроме Вас разве» (ПРП. Т. 1. С. 83).

³⁴ Переписка Н. А. Некрасова. Т. 1. С. 460.

Н. Е. Разумова

ДОБРЫЙ КАРЛ ИВАНЫЧ

Этому персонажу выпала особая роль в творчестве Толстого, а значит, и в истории русской литературы: первое произведение будущего великого писателя — повесть «Детство» (1852) — открывается главой «Учитель Карл Иваныч», что само по себе уже заставляет приглядеться к нему внимательнее. И действительно, образ Карла Иваныча помогает лучше осмыслить специфику тех задач, которые Толстой ставил перед собой при вступлении в литературу.

Фигура учителя-иностранца при русской дворянской семье, вполне достоверная в историко-культурном отношении, не раз появлялась в отечественной литературе начиная с фонвизинского Вральмана. Этот образ по-просветительски подчинен сатирической цели: из трех псевдоучителей Митрофанушки Вральман наиболее чужд задачам подлинного просвещения, он прямой идеолог невежества, так что когда Кутейкин причисляет его к «басурманам», это имеет основанием отнюдь не его национальную принадлежность: художественное познание национальной специфики еще не стало задачей литературы. Комический акцент, в целом достаточно реалистичный, хотя и сильно гиперболизированный, маркирует прежде всего «отрицательность» Вральмана. Он «немец» преимущественно в исконном этимологическом значении этого слова, первоначально обозначавшего иностранца вообще, «немого» для осмысленной речи.

Гораздо ближе к Карлу Иванычу другой учитель-немец — Лемм в «Дворянском гнезде» Тургенева. Учитывая хронологию, можно рассматривать этот образ как своего рода ответную реплику в диалоге с Толстым, затрагивающем коренные характеристики двух творческих индивидуальностей.

Карл Иваныч возникает в повествовании как нечто в высшей степени привычное, не нуждающееся ни в какой презентации, поскольку он представляет собой одну из констант еще уютного мирка, и исчезает на этапе повествования об отрочестве, когда идиллическая замкнутость детского мировосприятия становится уже совершенно невозможна.

Лемм появляется как незнакомец, для презентации которого необходимы специальное описание и характеристика. Это демонстрирует характерную особенность манеры Тургенева: персонажи его произведений вообще вступают в сюжет как автономные миры, соположение которых задается где-то в далекой перспективе, безусловно превосходящей как отдельный индивидуальный кругозор, так и масштаб национально-исторической жизни. Содержание тургеневских произведений обязательно включает тот бытийный план, который обусловлен его органическим тяготением к философии. Лемм гораздо меньше Карла Иваныча вовлечен в бытовые связи; показательно уже то, что он не живет в доме Калитиных. Финал сюжетной судьбы Лемма, который, по слухам, умер в Одессе, скрыт романтической дымкой; глубоко закономерным представляется соотнесение этой смерти именно с морем, которое в творчестве Тургенева устойчиво наделяется семантикой бесконечности, для человека синонимичной небытию¹.

Принципиально различна сама номинация персонажей: с фамильярно русифицированным именем «Карл Иваныч» и вполне бытовой фамилией «Мауэр» контрастирует аутентичное, подчеркнуто чужеродное именованье «Христофор Теодор Готлиб Лемм». Торжественно и архаично звучащие имена вариативно, но настойчиво транслируют семантику «божественного», что у Тургенева лишено религиозного содержания, но тем не менее безусловно выступает как сигнал «вышешенного». Фамилия Лемм не имеет прямой семантической проекции на реальность; ее ближайшим словарным эквивалентом служит слово *Lemma*, означающее вспомогательную теорему (в математике), а также заглавие. Важен не только сам абстрактный характер такой семантики, но и ее соответствие заданию, которым наделен в романе образ Лемма: выявить и оттенить экзистенциальный смысл того, что происходит с Лаврецким и Лизой. Небезразлична при этом даже такая деталь, как совпадение начальной буквы в номинации трех персонажей, а также прямое повторение имен — Теодор и Федор (что еще нагляднее подчеркивается благодаря обращению Варвары Павловны к Лаврецкому: «Теодор»). Сюжетная связь Лаврецкого, Лизы и Лемма очевидна на уровне как их непосредственных отношений, так и духовного взаимоотяготения.

Толстой подчеркнуто отказывается от использования тех характеристик персонажа, которые прочно вошли в романтический арсенал, тогда как Тургенев именно из них извлекает основные сюжетные воз-

возможности образа Лемма. Так, круг чтения Карла Ивановича карикатурно узок и абсурден по составу; у Лемма же он тщательно отобран соответственно его позиционированию в качестве индикатора бытийного смысла человеческой жизни. Контрастен и подход двух писателей к такому важнейшему параметру романтической характерологии, как творчество. Подлинной сферой Карла Ивановича показана клейка картонных коробочек, а в области поэзии его творческий потенциал характеризуется наивно-косноязычной риторикой. Творческий потенциал Лемма (не чуждого, впрочем, и поэзии) вполне традиционно проявляется в музыке — искусстве, наименее «заземленном» и максимально соответствующем выражению метафизического содержания.

Динамика образа Лемма связана с поиском адекватного музыкального выражения для глубинного содержания человеческой жизни. Его кантата формулирует (еще с явным доминированием вербальных средств) трагическую суть человеческого бытия: два хора — счастливых и несчастных — приходят в ней к согласию на почве отречения от земных надежд. Затем потерпевший фиаско любовный романс моделирует тщетность стремления к личному счастью; и все же вдохновенная мелодия, торжественно звучащая после объяснения Лаврецкого и Лизы, утверждает любовь как наивысшую способность самореализации человека в мире. Наконец, именем Лемма маркирован и последний музыкальный звук в романе — нота, извлеченная из рояля в эпилоге Лаврецким, смирившимся с крушением надежды на личное счастье в равнодушном мире. Музыка Лемма прочерчивает символическую траекторию, по которой идет раскрытие бытийного смысла в истории взаимоотношений Лаврецкого и Лизы.

Карлу Ивановичу доверено в повести начало сюжетного движения. Парадоксальная малость события, «запускающего» сюжет (Карл Иванович убивает муху над головой спящего Николенки), сразу позиционирует Толстого как принципиального новатора в литературе, подчеркнуто переориентирующего ее на «диалектику души». Начальный эпизод задает тон для всего дальнейшего повествования, показывая Карла Ивановича в свете совершенно различных восприятий со стороны Николенки — от враждебности до любви. Эпитет «противный», помимо привычного эмоционально-оценочного значения, обретает здесь свою исконную семантику: противопоставленный, противоположный, «другой». Действительно, Карл Иванович предстает как первый из элементов той системы внешних факторов, которая определяет формирование

нравственной личности Николеньки Иртеньева. Рефлексия героя на протяжении всего произведения разворачивается как осмысление себя на фоне других, по отношению к другим, в отличие от других. В силу «Ich-Erzählung» все в повести охватывается сознанием героя и неразрывно связанного с ним повествователя, все является предметом его рефлексии; но изображение первого импульса к ее пробуждению связано именно с Карлом Ивановичем, который выступает как идеальный «другой»: он принадлежит к ближайшему домашнему окружению Николеньки, в то же время не являясь членом семьи и обладая несомненной противопоставленностью ему (как взрослый — ребенку, учитель и наставник — ученику и воспитаннику, иностранец — русскому), что обеспечивает их взаимоотношениям необходимую динамику и сообщает ее сюжету в целом.

Карл Иванович обладает минимально достаточной степенью «чужести», еще не разрушающей замкнутого мирка, но уже порождающей рефлексиию. Показателен настойчиво сопровождающий его, особенно в начале повести, словесный мотив «добрый» («добрый немец», «доброе немецкое лицо», «выражение доброты» и др.), акцентирующий его принадлежность к кругу надежной для ребенка домашней жизни и ориентацию Толстого главным образом на нравственно-психологическую проблематику. С Леммом же прочно ассоциировано слово «бедный» («бедный немец», «бедный музыкус» и т. д.), которое в атомарном масштабе отражает суть писательской стратегии Тургенева. Оно сочетает в себе обозначение реального земного, социального статуса человека с указанием на его экзистенциальный трагизм. Карл Иванович тоже время от времени получает эпитет «бедный», выступающий, однако, в единственно доступном ребенку смысловом поле: «Бедный, бедный старик! <...> ...Один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота»².

Симптоматично употребление по отношению к Карлу Ивановичу слова «дядька», впервые возникающего в тексте применительно к слуге Николаю. Оно контекстуально связано с семантикой родственного круга, сквозь призму которой осуществляется мировосприятие ребенка. Взросление предполагает все более осознанную социализацию, пересмотр привычных границ; соответственно в «Отрочестве» это слово благодаря старшим приобретает для подрастающего Николеньки иной смысл, связанный с формированием у него системы социальных представлений. В новых координатах Карл Иванович оказывается

жестко противопоставлен в качестве «дядьки, немецкого мужика» (93) другим учителям, прежде всего престижному французскому гувернеру St.-Jégôte, но также и Фросту, воплощающему «тип молодого русского немца» (49), что открывает герою мир многообразных социальных разграничений взамен идиллической простоты детского мирка. Специфический статус «другого», но «своего» делает Карла Иваныча оптимальной фигурой для того, чтобы инициировать сюжет о детстве, который возникает у Толстого благодаря актуализации исходных границ и развивается через постоянное усложнение всех новонайденных. Использованное Чернышевским определение «диалектика души» обладает полноценной терминологической точностью: Толстой буквально прослеживает отрицание отрицания и единство и борьбу противоположностей в душе героя, делая объектом художественного изображения этот диалектический процесс. Понимание человека как «текущего вещества» (53, 185), пронесенное им через всю творческую жизнь, в полной мере заявляет о себе именно в «Детстве». Поэтому сомнительным представляется наблюдение Р. Ф. Густавсона, сводящее сюжетное движение «Детства» к «единой модели»: «...герой неожиданно попадает из знакомого и уютного мира в мир странный и чуждый, из которого он бежит в заново восстанавливаемую обитель любви»³. Рассматривая сюжет «Детства» как «серию парадигматических коллизий: любовь утрачивается и вновь обретается»⁴, исследователь, по сути, сводит на нет ту неостановимую диалектику, которая составляет у Толстого содержание человеческой души и раскрывающего ее сюжета.

Толстой вступает в литературу с принципиальным отказом от однозначности суждений и мнимой простоты критериев, которая грозила бы свернуть это движение во имя утверждения некоего бесспорного идеала (и тем самым возвратиться к привлекавшей Толстого, но не удовлетворявшей его аналитической модели Руссо). Карл Иваныч не только запускает механизм нравственно-психологической диалектики в главного героя, но и является первым объектом для рефлексии, которая будет продолжаться, расширяясь и порождая обобщения. Так, нравственно-психологическая загадка Карла Иваныча, предъявившего в ответ на свою отставку подробный счет за все когда-либо сделанные им подарки и все-таки не являющегося «бесчувственным и корыстолюбивым себялюбом» (28), затем наблюдается героем в поведении Натальи Савишны, поразившей его «переходом от трогательного

чувства <...> к <...> мелочным расчетам» (73). Такие наблюдения расшатывают привычные представления о полярной противоположности рассудка безотчетному движению чувств, размывают умозрительный идеал, который традиционно ассоциировался со сферой естественного, безыскусственного, искреннего. Закономерно, что в последней части трилогии прозрения героя будут связаны как с фальшивой ценностью «*comme il faut*», так и с идеальной искренностью (таков печальный результат экспериментальной взаимной откровенности в дружбе с Нехлюдовым).

Развертывание образа Карла Иваныча выстроено в логике взросления героя: его история помещена в «Отрочество» соответственно тому, что и динамика, и социальность (неразрывно взаимосвязанные «ингредиенты» истории как таковой) являются атрибутами уже «постдетского» сознания. Впервые упомянутая еще в «Детстве», здесь она уже служит экспликацией той внутренней динамики, которая присуща детству в модальности повествования о нем. Первая фраза повести моделирует ситуацию пробуждения, становящегося импульсом к сюжету, как выход из досознательного детства в план истории; принципиальным здесь является соотнесение даты общей хронологии («12 августа 18...») с метой индивидуальной жизни («ровно в третий день после моего дня рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки»), изначально заостряющее специфику толстовского историзма. Карл Иванович находится в эпицентре этого динамического импульса, инициирующего историю отдельной души в общем ходе истории; не случайно именно он, в отличие от других персонажей, также в той или иной мере наделенных ретроспективой, предстает в подчеркнутой связи с историей социальной. Три главы, излагающие «Историю Карла Иваныча», являются квинтэссенцией его образа и одновременно, благодаря своей композиционной акцентированности, очень важны для концепции всего произведения.

«История Карла Иваныча» вступает в *живой и ироничный* диалог с основным сюжетом трилогии — историей души, — показывая и утрируя совсем другой подход, который при таком показе полностью обнаруживает свою несостоятельность. Судьба Карла Иваныча представляет собой ряд драматических коллизий и поворотов, которые отмечены диалектической противоречивостью: семейный круг оборачивается изгойством, участие в славной военной кампании — совершенно бытовыми ситуациями, плен у неприятелей — доброй выручкой,

а возвращение на родину — коварным предательством. Сам же герой всей этой истории и его соучастники остаются совершенно элементарными: они проявляются только в словах и действиях, а внутренние процессы, которые им должны предшествовать, полностью отсутствуют, что придает персонажам кукольную механичность. Недостаточность такого рода повествования подчеркивается воспроизведением немецкого акцента, свойственного Карлу Иванычу.

В краткой преамбуле к его рассказу особо выделяются две проблемы, касающиеся именно организации повествовательного дискурса: «неправильность языка» и избыток «поэтических красот» (94). Фактически путь к их решению оказывается общий: «красоты» радикально искореняются именно колоритным дискурсом (в наиболее чреватые патетикой моменты акцент комически сгущается). Само же изображение немецкого акцента, не раз практиковавшееся в русской литературе до Толстого, имеет здесь особый характер: это не использование застывшей гротескной речевой маски, как у Крылова (Трумф) или Фонвизина (Вральман), и, с другой стороны, не практический отказ от речевой спецификации персонажа-немца, как у Пушкина, а подвижное соединение речи собственно немецкой, речи русской, но с немецким акцентом, нейтральной русской и даже местами утрированно-русской, с фольклорными элементами типа «сыра земля». Столь сложный конгломерат, избыточный с точки зрения сюжетно-характерологической прагматики, является принципиально важным прежде всего для того, чтобы эксплицитировать эстетическую проблему, заявляемую Толстым при его литературном дебюте, — проблему подлинного предмета литературы и адекватного для него дискурса. Повествование от первого лица при особой отмеченности проблемы адекватного самовыражения вообще крайне информативно в качестве эстетической авторефлексии писателя. В этом плане можно говорить о сущностной общности с также дебютным произведением Достоевского — романом в письмах «Бедные люди», где формирование «слога» у Макара Девушкина является не только дискурсивным выражением его личностной эволюции, но и способом манифестации новой, экзистенциальной стратегии литературного дискурса как такового⁵. У Толстого подчеркнуто специфичное, намеренно затрудненное повествование от первого лица в «Истории Карла Иваныча» корреспондирует с «Ich-Erzählung» остального текста, как убедительный аргумент в пользу реализуемой там «диалектики души».

¹ См. об этом: Р а з у м о в а Н. Е. Образы «бесконечного» у Тургенева // Вестник ТГПУ. Гуманитарные науки (Филология). Вып. 1 (33). Томск, 2003. С. 5–9.

² Г р о м о в а - О п у л ь с к а я Л. Д. Первая книга Льва Толстого // Толстой Л. Н. Детство. Отрочество. Юность. М.: Наука, 1978. (Литературные памятники). С. 7. Далее ссылки на это издание в тексте с указанием номера страницы в скобках.

³ Г у с т а в с о н Р. Ф. Обитатель и чужак: Теология и художественное творчество Л. Толстого. СПб., 2003. С. 42.

⁴ Там же. С. 44.

⁵ См. об этом: Р а з у м о в а Н. Е. «Стихи» и «фальбала»: Формирование экзистенциального дискурса в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди» // Literary Calendar : the Books of Days. Литературный календарь: книги дня. 2009. № 4 (1). С. 5–20.

И. Пиотровска

К ПРОБЛЕМЕ АРИСТОКРАТИЗМА В ДНЕВНИКАХ Л. Н. ТОЛСТОГО 1850—1851 гг.

Побудительным мотивом к ведению дневника было для Толстого желание созидать личную жизнь, желание, обусловленное осознанием того, что «беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимают за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души» (46, 3). Толстой усматривает основу жизнеустройства во «внутреннем» уединении¹ и неустанном самоусовершенствовании, опирающемся на тщательно разработанную систему рациональных правил. Такого рода правила воспринимаются Толстым как гарантия независимости от общественных предрассудков: «Оставь действовать разум, <...> он даст тебе правила, с которыми смело иди в общество», «общество, как часть, не будет иметь влияния на тебя» (46, 4). Личностные установки, обозначенные в записях за март и апрель 1847 г., обуславливают жизненную задачу диариста — «сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего» (46, 31).

Но уже летом 1847 г. Толстой бросает дневник — «он с головой ушел, как он впоследствии сам говорил, в “беспутную городскую жизнь кутежей, пьянства, развратной, светской жизни”»². Вспоминая впоследствии в дневнике 1850 года этот период, Толстой отмечает: «...пустившись в жизнь разгульную, я заметил, что люди, стоявшие ниже меня всем, в этой сфере были гораздо выше меня» (46, 38). Вместе с тем Толстой начинает постепенно переоценивать первоначальные установки: уже в письме брату Сергею Николаевичу от 13 февраля 1849 г. он признается, что «вполне убежден теперь, что умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, т. е. быть практическим человеком» (59, 29). Годом позже, опять оказавшись в Москве, Толстой в подобном духе записывает в дневнике: «...я не надеюсь больше одним своим рассудком дойти до чего-либо и не презираю больше форм, принятых всеми людьми» (46, 38).

Толстой начинает придавать первостепенное значение именно «формам, принятым всеми людьми» и руководствуется желанием преуспеть в светском обществе: «1) *Попасть в круг игроков и, при деньгах, играть.* 2) *Попасть в высокий свет и, при известных условиях, жениться.* 3) *Найти место выгодное для службы* (выделено Толстым. — И. П.)» (46, 45). Умонастроение Толстого в этот период выразилось в «позитивной философии прижизненного успеха»³; он напрямую признается: «...в обществе с теперешним направлением я успею» (46, 41).

Уже через три дня после приезда в Москву, в записи от 8 декабря 1850 г., Толстой составляет специальные правила для карточной игры (куда входят в том числе подробные денежные расчеты на время игры, описание поведения за игрой и т. п.) и «правила для общества», где концентрируется на умении вести разговор, принципах отбора знакомых, поведении на балах и т. п. (46, 39—40). Регламентации подвергается также московский быт Толстого — «весь ритуал ежедневного поведения», «распорядок дня, время различных занятий, характер труда и досуга»⁴: начиная с 13 декабря 1850 г. записи ведутся каждый день (исключение 23 декабря), но они ограничиваются всего лишь планом дел и занятий, крайне редко встречаются скудные отчеты дня прошедшего. Какие-либо оценки или рефлексии если и появляются, то также крайне скупые, поскольку дневник призван выполнять исключительно «организующую» функцию.

Однако из «сухих» перечней дел и занятий вырисовывается достаточно яркая картина московской жизни Толстого, или «молодого человека, соединяющего в себе некоторые условия; а именно образование, хорошее имя⁵ и тысяч 10 или 20 доходу» (46, 36). День Толстого строго регламентирован и заполнен различными занятиями. Среди ритуалов каждодневной жизни доминируют разного рода визиты — чаще всего светские, реже — по делам. Толстой «ведет знакомство с «правильными людьми»⁶. В списках появляются его знаменитые родственники Горчаковы — князь Сергей Дмитриевич (46, 41, 42), его сестра — Ольга Дмитриевна Аникеева (46, 41), князь Андрей Иванович (46, 41, 43), муж сестры князя Сергея Дмитриевича, Дмитрий Андреевич Лаптев (46, 42) и Волконские — князь Александр Андреевич (46, 42), князь Михаил Александрович (46, 43). Толстой навещает семью графа Федора Ивановича Толстого, прозванного Американцем: его жену Евдокию Максимовну (46, 42) и его

знаменитую дочь Аграфену Федоровну Закревскую (46, 43). Частые визиты к родне имеют также весьма прагматические причины: Толстой рассчитывает на их помощь и поддержку по вопросу своей служебной карьеры⁷. Отсюда неоднократные упоминания в записях: «просить о месте» (46, 42), «к князю просить о месте» (46, 43)⁸. Толстой бывает также в Зачатьевском монастыре у монахини Афанасии — Анны Петровны Горчаковой (46, 42, 43) — и у дальней родственницы Пракскови Васиљевны Яковлевой (46, 42, 42–43), регулярно навещает князя Георгия Владимировича Львова (т. 46, 41, 42). Примечательно, что Толстой порой доводит выполнение намеченного плана чуть ли не до абсурда: «У Салогуба [В. А. Соллогуба] не был; хотя было и не нужно, но нужно было исполнить назначенное» (46, 52). Кроме визитов постоянное место среди повседневных занятий Толстого занимает переписка, в частности с приятелями и любимой тетушкой Татьяной Александровной Ергольской (46, 40, 41).

Свободное время Толстой распределяет между изучением для собственного удовольствия музыки⁹, чтением романов, за которыми ездит в знаменитую французскую библиотеку Готье¹⁰ (чуть позднее он ограничит это удовольствие, даже в качестве правила запишет в дневнике: «Не читать романов». — 46, 42), и созданием первых литературных набросков¹¹. В отношении последнего характерно, что, несмотря на то что в высоком свете «писательство считалось занятием, достойным только для часов досуга, а жить на литературные гонорары было и вовсе неприличным»¹², в письме тетушке Ергольской от 7 декабря 1850 г. Толстой явно поддерживает приятеля Сергея Колошина, зарабатывающего на жизнь переводами и литературным творчеством: «Сергей Колошин не женат, как были о том слухи, но он остепенился и много работает над переводами романов для журналов и пишет повести, которые печатаются. Я не читал ничего из написанного им, но говорят, что он очень талантлив и что его маленькие вещицы очень милы. По крайней мере, он честно зарабатывает свой хлеб и зарабатывает его больше, чем приносят 300 душ крестьян» (59, 66)¹³. Названные формы досуга — музыка¹⁴, чтение¹⁵ и литературный труд¹⁶, будут привычными для Толстого до конца пребывания в Москве.

Постепенно он включает в обычай каждодневной жизни типично светские формы отдыха: верховую езду (46, 41, 43), манеру поведения — «шляться» (46, 42), «волочиться за княгиней» (46, 41, 43).

К концу декабря 1850 г. характер жизни Толстого заметно меняется. Несмотря на то что записи по-прежнему остаются скупыми и сводятся к перечням занятий, в них часто упоминаются знаковые фигуры, своего рода «эмблемы» разгульной жизни: Борис Семенович Озеров¹⁷ (46, 43), один из представителей «золотой молодежи» того времени, и цыгане (46, 43). Этим и объясняются последующие сетования Толстого: «Живу совершенно скотски; хотя и не совсем беспутно, занятия свои почти все оставил и духом очень упал» (46, 43), но близкие отношения с Озеровым Толстой будет поддерживать и в дальнейшем (46, 52, 53, 54).

В записях за январь — март 1851 г. московская жизнь Толстого неоднократно становится предметом рефлексии, появляется тоска по первоначальным возвышенным устремлениям: «Много пропустил я времени. Сначала завлекся удовольствиями светскими, потом опять стало в душе пусто; и от занятий отстал, т. е. от занятий, имеющих предметом свою собственную личность» (46, 45). Толстой возвращается к идее самоусовершенствования, ставя своей задачей «развитие воли» (46, 46). По его замыслу, целеустремленность должна проявиться прежде всего посредством подготовки к кандидатскому экзамену¹⁸. На первых порах Толстой придерживается регулярных занятий, но режима самообразования в конечном итоге он не выдерживает. Зато расширяется круг его светских удовольствий. Он внимательно следит за балами: упрекает себя в том, что «к Столыпиным на бал не поехал» (46, 44); обязывает себя «узнать о приглашениях на бал Закревских, заказать новый фрак» (46, 45); в качестве правила записывает: «...как входилъ на бал, тотчас звать танцевать и сделать тур вальса или польки» (46, 45). Толстой по-прежнему тратит немало времени (и денег) на карточную игру (46, 45, 51, 52), однако среди форм его досуга преобладают теперь занятия, привычные для типичного джентльмена, — гимнастика, фехтование, верховая езда и прогулки¹⁹. Гимнастикой и фехтованием он занимается в знаменитом спортивном заведении Якова Викторовича Пуаре²⁰, которое, кстати, посещал и А. В. Сухово-Кобылин. Сама фамилия Пуаре, подобно фамилии Озеров, приобретает в записях характер знака: ее появление однозначно указывает на род занятий, планируемых Толстым. Ср.: «С 11 до 1 Пуаре» (46, 48); «С 10 до 11 распоряжения касательно лошадей и Пуаре» (46, 49); «С 8 до 9 распоряжения, читать и выписки, с 9 до 10 гимнастика (выделено Толстым. — И. П.), с 10 до 11 Пуаре, с 11

до 12 писать» (46, 50—51). Такую же функцию — знака определенной формы занятий/досуга — выполняют фамилии владельцев других известных заведений того времени: упомянутого уже Готье («До обеда, после приготовлений, к Готье и к Чулкову». — 46, 43) и содержателей знаменитых московских ресторанов — Мореля («С 1 до 2 Озеров, Беер, Исленьев, *Морель* (курсив мой. — *И. П.*), Волконский». — 46, 52), Оливье («У Оливье и Беер». — 46, 49) и Шевалье («Из концерта к *Шевалье* (выделено Толстым. — *И. П.*)». — 46, 50). Важное место в ежедневных «расписаниях» Толстого занимают также регулярные прогулки на свежем воздухе, как верхом, так и пешком — светский ритуал «фланирования»²¹ отмечен записями типа: «гулять» (46, 49, 51, 52), «гулять пешком»/«пешком» (46, 52, 57), «ходить» (46, 55, 56, 57), даже «делать моцион» (46, 42).

Однако в 1851 г. для Толстого значительно важнее каждодневных ритуалов кодекс поведения. Подвергнув регламентации повседневную реальность, Толстой переносит эти установки также на свой характер. Чтобы его «выстроить», Толстой начиная с записи от 7 марта 1851 г. регулярно ведет подробный «отчет каждого дня, с точки зрения тех слабостей, от которых хочешь исправиться» (46, 47)²². Происходит при этом заметное смещение: Толстой фокусирует свое внимание не на будущем — плане сегодняшнего/завтрашнего дня, как в 1850 г., а на прошлом — анализе уже сделанного и пережитого.

Характерно, что количество специально отмеченных Толстым «недостатков» ограничено — их можно поочередно назвать и перечислить²³. Так, чаще всего Толстой упрекает себя в «трусости», понимаемой как недостаточная уверенность в себе и отсутствие спокойного самоуважения (например: «В концерте не подошел к Закревской — *трусость*. Ухтомскому поклонился, *трусость*. Не мог поклониться Львовой, *трусость* (выделено Толстым. — *И. П.*)». — 46, 54). Естественным результатом недостаточного чувства собственного достоинства выступает обостренное, нередко «мелочное» «тщеславие». К самоуважению апеллируют также сетования Толстого типа «мало гордости, *fierté*», «мало *dignité*», «Пуаре принял слишком фамильярно и дал над собою влияние» (46, 47), «не называю вещи по имени» (46, 47), встречаются даже упреки в «низости».

Также постоянно Толстой отмечает в своем поведении «лень», или «привычку ничего не делать», к которой добавляет свойства, не соответствующие позитивистским, практическим устремлениям, такие

как «сбивчивость», «непостоянство», «неосновательность», недостаток «последовательности» и «терпения». Помимо трудолюбия и работоспособности Толстым приветствуются «здравый смысл» и умение трезво оценивать ситуацию, на что указывают упреки в «ожидании чего-то особенного». В этой связи характерно, что как «недостаток» расцениваются также спонтанные, неконтролируемые реакции, в первую очередь «страсть к игре» («желание играть»; «захотелось играть»; «хотел поиграть»).

Указания на ряд «слабостей», таких как «торопливость», «рассеянность», «необдуманность», «дурное расположение духа», «невнимательность», «аффектация», «привычка спорить», выявляют стремление Толстого к полному владению собой и невозмутимости, соприкасающееся с аристократическим «императивом самообладания»²⁴, «императивом мужской сдержанности»²⁵. С последним связана «подчеркнутая мужественность» джентльмена-аристократа²⁶, в отсутствии которой упрекает себя Толстой — отсюда его неоднократно высказанное недовольство как «недостатком энергии» / «характера» / «твердости», своей «нерешительностью» и «нерасчетливостью», так и плохой физической закалкой — «слабостью», «апатичностью», «сонливостью», даже «нежничеством». Но в то же время Толстой не проявляет ни особой заинтересованности модой, ни особой заботы о своей наружности, ему чужда дендистская «женственность»²⁷. В дневнике встречаются лишь единичные упоминания типа: «Смотрелся часто в зеркало. Это глупое, физическое себялюбие, из которого кроме дурного и смешного ничего выйти не может» (46, 48); «Выехал в скверных перчатках» (46, 49); «Беклемишева принял в фуфайке» (46, 56); «В дороге *неопрятен* (выделено Толстым.— И. П.)» (46, 57). Скучные замечания об одежде связаны скорее с соблюдением правил *savoir-vivre*²⁸; стремление Толстого к отточенным светским манерам проявляется также в резких упреках себе в «обжорстве», во внимании к умению вести разговор, к тонкости суждений («Правило. Стараться формировать слог: 1) в разговоре, 2) в письме». — 46, 54) и к подлинной вежливости (например: «У Колошиных скверно вышел из гостиной, слишком торопился и хотел сказать что-нибудь очень любезное — не вышло». — 46, 47).

Толстой неоднократно замечает в своем поведении элемент «театрализованности», видя «желание выказать», например, в рассказах «про свою постройку» (46, 49), про «свой образ жизни» (46, 54),

«про себя» (46, 54), и в «исполнении» светских ритуалов. «На Тверском бульваре хотел выказать» (46, 55), «Ездил с желанием выказать» (46, 55), «Ходил пешком с желанием выказать» (46, 56) (выделено Толстым). С притворством, лицемерием, неискренностью связаны также упреки в «обмане самого себя», «самохвальстве», «заносчивости» и «подражании». Но если эти (и все вышеназванные) свойства нацелены на самого себя — «обман самого себя», «самохвальство», «заносчивость», т. е. высокомерие, самоуверенность, «подражание» (подражать — следовать в своей жизни, поведении, деятельности кому-л., какому-л. образцу, примеру), — то неоднократно появляющиеся упреки во «лжи» и «обмане» предполагают какого-либо «другого», «адресата действия», наличие которого намеренно подчеркивается в дневнике самим Толстым: «Бегичеву солгал, что знаю сибирских Горчаковых» (46, 49), «Колошину и Дьяковым солгал» (46, 51), «в манеже Ермолову солгал (выделено Толстым. — И. П.)» (46, 56). Здесь выявляется значимость этического критерия в толстовском самонаблюдении. Порой он проявляется даже в обостренном виде — с одной стороны, в упреках в «ложном стыде» («fausse honte»), с другой — в неумении скрыть свое настоящее мнение, соблюдать правила формальной вежливости ради собственной выгоды, выражающемся в излишней «откровенности» в обществе/по отношению к кому-либо: «С Бегичевым откровенен» (46, 49), «явно говорил свое мнение у Беер» (46, 54), «говорил с Бегичевым слишком откровенно» (46, 57) (курсив мой. — И. П.).

В этом плане знаменателен вывод, к которому Толстой приходит за несколько дней до отъезда из Москвы в результате попытки «подвести итоги» своей «московской» жизни и осмыслить отмеченные «недостатки»: «Приехал я в Москву с тремя целями. 1) Играть. 2) Жениться. 3) Получить место. — Первое скверно и низко, и я, слава Богу, осмотрев положение своих дел и отрешившись от предрассудков, решился поправить и привести в порядок дела продажей части имения. Второе, благодаря умным советам брата Николиньки, оставил до тех пор, пока принудит к тому или любовь, или рассудок, или даже судьба, которой нельзя во всем противудействовать. Последнее невозможно до 2 лет службы в губернии <...>. Много слабостей имел я в это время. Главное, мало обращал внимания на правила нравственные, завлекаясь правилами, нужными для успеха. Потом, имел слишком тесный взгляд на вещи; например, давал себе много правил,

которые все можно было привести к одному — не иметь тщеславия. Забывая, что условием, необходимым для успеха, есть уверенность в себе, презрение к мелочам, которое не может иначе произойти, как от моральной возвышенности» (46, 52—53). Диарист невольно возвращается к первоначальной идее о необходимости «уединиться» в «замке» нравственного самоусовершенствования как единственно возможном жизненном ориентире: «Замок [аристократа] обычно строился на вершине горы и воплощал не только неприступность, но и отгороженность, отделенность, непрозрачность и более того — возвышенность, вознесенность по отношению к окружающему пространству. <...> Это возвышенное положение воплощалось не только в направленности взгляда [аристократа], но и в вершинном, башенном существовании в мире ценностей»²⁹. В этой связи характерно, что в специальную «тетрадь “Г”» (апрель — май 1851 г.) для выписок из читаемых книг Толстой заносит отрывок романа Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния», содержащий созвучные его умонастроению размышления о потребности «внутреннего уединения» в любых жизненных обстоятельствах: «Наконец, я считаю уединение настолько необходимым для счастья даже в светской жизни, что я бы не мог длительно наслаждаться каким бы то ни было чувством или согласовать свои поступки с каким бы то ни было постоянным принципом, если бы мне нельзя было создать себе внутреннее уединение, откуда мои собственные мнения высказывались бы лишь изредка и куда чужие мнения совсем бы не допускались»³⁰ (46, 73) (курсив мой. — И. П.).

Таким образом, как «стиль» жизни, формы времяпрепровождения, так и выбор поведенческого идеала³¹ позволяют обнаружить, что Толстой во многом ориентируется на джентльменскую и связанную с ней аристократическую модель жизни и поведения. С культурой русской аристократии, традиционно воспринимающей «носителем» не только западных мод, но и западных нравов»³², Толстого роднят также симпатии к «прозападному эмоционально-аксиологическому умонастроению»³³, выразившиеся, в частности, в вере в возможности разума и порицании лени. В то же время ориентированность Толстого именно на данный культурный комплекс выявляет его традиционалистские позиции³⁴, подразумевающие в первую очередь неприятие распространенной среди светского общества культуры денди, соотносящейся с культурой джентльмена как «приверженность к моде/традиционализм; изнеженность/закалка; болтливость/сдержанность;

поверхностные светские манеры/подлинная вежливость; лицемерие/правдивость; языковая манерность/простота речи; некоторая женственность/подчеркнутая мужественность»³⁵. Однако оба типа объединяет сосредоточенность исключительно на внешних аспектах поведения: для денди принципиально важна наружность, для джентльмена — манеры. Этим объясняется последующее признание Толстого о «беспреданной борьбе внутренней» в «последнее время, проведенное мною в Москве» (46, 60): следование модному поведенческому типу и успех в светском обществе нередко шли вразрез с нравственностью. В то же время для Толстого этический критерий был существенным: если в дневнике 1850 г. он лишь единожды высказывает недовольство собой за то, что, желая быть успешным в высоком свете, «слушал все ругательства графини на Васиньку, которого я люблю» (46, 41), то в списках «недостатков» за 1851 г. отмечаются и порицаются любые проявления лжи в своем поведении. Понимая, что «односторонность есть главная причина несчастий человека» (46, 7), Толстой стремится к гармоническому соединению «внешнего» (светская жизнь с ее ритуалами и кодексом поведения) и «внутреннего» (нравственные установки)³⁶. Вместе с тем пристальное самонаблюдение, стремление соблюсти этические нормы, даже в приземленных устремлениях, выявляют присущий Толстому по природе, подлинный «аристократизм» как «особое состояние ценностного сознания», «способность поднимать дух над всеми типами материально-реальной обусловленности»³⁷.

¹ Ср.: «Уединение равно полезно для человека, живущего в обществе, как общественность для человека, не живущего в оном. Отделись человек от общества, взойди он сам в себя, и как скоро скинет с него рассудок очки, которые показывали ему все в превратном виде, и как уяснится взгляд его на вещи, так что даже непонятно будет ему, как не видал он всего того прежде» (46, 3–4).

² Толстая А. Л. Отец: Жизнь Льва Толстого: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 46.

³ Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2006. С. 174.

⁴ Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 2006. С. 12.

⁵ Ср.: «Главное, что отличает денди от джентльмена, — неперемнное знатное происхождение последнего» (Вайнштейн О. Б. Указ. соч. С. 177).

⁶ В а й н ш т е й н О. Б. Указ. соч. С. 503.

⁷ 23 ноября 1849 г. Толстой был определен на службу в Тульское губернское правление канцелярским служителем Тульского дворянского депутатского собрания с зачислением в первый разряд. 30 декабря он был произведен в чин коллежского регистратора. См.: Гусев. *Летопись I*. С. 37, 39. Толстой хотел перейти служить в Москву («Переговорить с Петром о прощении на Высочайшее имя и о том, могу ли я перейти служить в Москву?» — 46, 41).

⁸ Вопрос служебной карьеры остается актуальным для Толстого и в 1851 г. Ср.: «Ехать к князю Сергею Дмитриевичу и поговорить о месте, к князю Андрею Ивановичу и просить о месте» (46, 45); «На 19 — место» (46, 45); «Обедать у Горчаковых, о месте» (46, 49).

⁹ В списках занятий Толстой указывает чтение книг о музыке (46, 41) и сочинение музыкальных произведений (46, 41), неоднократно замечает, что пишет о музыке (46, 42, 43) и играет (46, 42, 43).

¹⁰ О библиотеке и книжном магазине Готье см. подробнее, например: Сорокин В. Памятные места Рождественки и прилегающих к ней улиц и переулков (правая сторона). Электронная публикация: http://mos-nj.narod.ru/1990_/nj9503/nj9503_a.htm

¹¹ В это время Толстой пишет «повесть из цыганского быта» (46, 39, 40, 41, 42, 43) и вступление к «Четырем эпохам развития» (46, 42).

¹² В а й н ш т е й н О. Б. Указ. соч. С. 171.

¹³ Этот же отрывок письма в оригинале: «Serge Kalochine n'est pas marié comme on le disait mais il est devenu beaucoup plus rangé et travaille beaucoup à des traductions de romans dans des journaux et à faire des nouvelles qu'il fait imprimer. Je n'ai rien lu de lui mais on dit qu'il a beaucoup de talent et que ses petites pièces sont fort jolies; au moins il gagne honnêtement son pain et plus de pain que n'en rapportent 300 paysans» (59, 65).

¹⁴ «От 12 до 1 музыка» (46, 46); «Музыка с 11 до 12-ти» (46, 48); «от 9 до 11 музыка» (46, 49); «с 11 до 12 музыка» (46, 49).

¹⁵ «Вечер читать и дневник» (46, 49); «С 6 выписки и читать» (46, 49); «Вечером выписки и читать.— Концерт и читать» (46, 49); «с 10 до 12 читать и выписки <...> с 6 до 10 читать и писать» (46, 50); «С 8 до 9 распоряжения, читать и выписки. <...> С 5 до вечера читать и писать» (46, 50—51); «С 8 до 9 читать и писать <...> читать и писать до вечера» (46, 51); «с 8 до 9 читать и писать» (46, 51); «Вечером гимнастика, читать и писать до 8» (46, 52); «Вечером читать и писать» (46, 52); «С 8 до 10 перечитывать Ламартина <...> Вечер читать и писать» (46, 52); «С 8 до 10 читать и писать» (46, 54); «Встать в 9. До 12 читать и писать» (46, 54); «С 6 до 8 читать»

(46, 55); «С 10 до 12 фехтование и читать. <...> С 4 до 6 обед — читать и писать» (46, 55); «С 11 до 1 читать. <...> С 5 до 8 читать и баня» (46, 56); «С 5 до 11 писать и читать. <...> обед дома и читать» (46, 57); «Встал в 6. До 1 читать» (46, 57). С апреля по май 1851 г. Толстой ведет специальную «тетрадь "Г"» для выписок из прочитанных книг.

¹⁶ В «московских» записях за 1851 г. имеются упоминания о работе над «Детством» (46, 45, 48, 50–55) и «Историей вчерашнего дня» (46, 55–57). См. комментарии к записям от 18 января 1851 г. (46, 335, примеч. 142), 7 марта 1851 г. (46, 337, примеч. 158) и 24 марта 1851 г. (46, 344, примеч. 221).

¹⁷ Ср. отрывки из воспоминаний сестры Озерова, например: «Известия из Петербурга о поведении брата становились все хуже, хуже; это сильно печалило отца; наконец он получил письмо, которое поразило его скорбью, разлилась желчь, три дня он хворал, а затем <...> сделался сильный смертельный удар, и мы лишились последней опоры»; «В это время было получено известие от начальника Училища правоведения, что брата исключают за шалости. Неизбежно надо было хлопотать, чтобы его удержать в училище; что нам делать дома с мальчиком-шалуном, с которым начальство не может справиться? Кого послать в Петербург? Думали много, но людей не нашли; решилась я ехать. <...> Много было неприятного, тяжкого; однако, после долгих просьб, брат был оставлен до первой шалости. Я через два месяца возвратилась, и вслед за мной приехал и брат, который успел нашалить и был отправлен к нам. Тут начались неприятности без конца: мотовство, шалости, неприличное поведение брата». Памятные записки игумении Евгении Озеровой // Русский архив. 1898. № 3. С. 327, 329.

¹⁸ В конце апреля 1849 г. Толстой прекратил сдачу экзаменов на степень кандидата прав в Петербургском университете. См.: *Гусев. Летопись I*. С. 35–36.

¹⁹ Спортивная закалка отличала истинных английских джентльменов. Подробнее об этом см.: В а й н ш т е й н О. Б. Указ. соч. С. 172–173.

²⁰ О семье Я. В. Пуаре и его школе гимнастики и фехтования см., например: «Русского романа городского слышится загадочный мотив...»: История Марии Пуаре // Солнечный ветер. Историко-художественный журнал для всех. Электронная публикация: <http://vilavi.ru/sud/120108/120108-1.shtml>

²¹ Подробнее об этом см.: В а й н ш т е й н О. Б. Указ. соч. С. 307–323, 513.

²² Отчет о недостатках Толстой вел в дневнике еще некоторое время после отъезда из Москвы, по 15 апреля 1851 г. Параллельно шло составление «журнала для слабостей. (Франклиновского)» (46, 49).

²³ Список «недостатков» Толстого за период пребывания в Москве таков (записи с 7 марта по 3 апреля 1851 г.; запись от 3 апреля сделана в Ясной Поляне, но в ней рассматривается последний день Толстого в Москве и дорога в имение):

Недостаток	Дата записи
«fausse honte» / «ложный стыд»	7 марта 1851 г. (46, 47—48) <две ситуации> 9 марта 1851 г. (46, 49)
«mauvaise humeur» / «дурное расположение духа» / «был не в духе»	7 марта 1851 г. (46, 47—48) 21 марта 1851 г. (46, 53)
«необдуманность» / «необдуманно <что-либо (с)делал>»	7 марта 1851 г. (46, 47—48) 8 марта 1851 г. (46, 48) 9 марта 1851 г. (46, 49) 12 марта 1851 г. (46, 50) 15 марта 1851 г. (46, 51) 16 марта 1851 г. (46, 51) <две ситуации> 21 марта 1851 г. (46, 53) 23 марта 1851 г. (46, 54) 25 марта 1851 г. (46, 55) 31 марта 1851 г. (46, 57)
«нерешительность» / «мало решительности»	7 марта 1851 г. (46, 48) 9 марта 1851 г. (46, 49) 28 марта 1851 г. (46, 56)
«недостаток энергии» / «слабость энергии»	7 марта 1851 г. (46, 48) 9 марта 1851 г. (46, 49) 24 марта 1851 г. (46, 55) 25 марта 1851 г. (46, 55)
«обман самого себя» / «обман себя» / «себя обманывал» / «<делал что-либо>, обманывая себя»	7 марта 1851 г. (46, 47—48) 8 марта 1851 г. (46, 48) <две ситуации> 14 марта 1851 г. (46, 51) 22 марта 1851 г. (46, 54) 23 марта 1851 г. (46, 54) 25 марта 1851 г. (46, 55) 26 марта 1851 г. (46, 56) 28 марта 1851 г. (46, 56) 31 марта 1851 г. (46, 57) 3 апреля 1851 г. (46, 57)

«не называю вещи по имени» / «<говорил>, не называя вещей по имени» / «не называл вещи по имени»	7 марта 1851 г. (46, 47) 14 марта 1851 г. (46, 51) 25 марта 1851 г. (46, 55) 27 марта 1851 г. (46, 56)
«принял <кого-либо> слишком фамильярно»	7 марта 1851 г. (46, 47)
«дал над собою влияние»	7 марта 1851 г. (46, 47)
«откровенен» / «явно говорил свое мнение» / «говорил <с кем-либо> слишком откровенно»	11 марта 1851 г. (46, 49) 23 марта 1851 г. (46, 54) 31 марта 1851 г. (46, 57)
«торопливость» / «<(с)делал (делаю) что-либо> торопливо» / «<дделал что-либо>, (слишком) торопясь» / «торопился <что-либо делать>» / «слишком торопился»	7 марта 1851 г. (46, 47–48) 8 марта 1851 г. (46, 48) 9 марта 1851 г. (46, 49) 10 марта 1851 г. (46, 49) <три ситуации> 11 марта 1851 г. (46, 49) <две ситуации> 22 марта 1851 г. (46, 54) 25 марта 1851 г. (46, 55) <две ситуации> 26 марта 1851 г. (46, 56) 27 марта 1851 г. (46, 56) <две ситуации> 29 марта 1851 г. (46, 56)
«сбивчивость»	7 марта 1851 г. (46, 48)
«подражание» / «хотел подражать <кому-либо>»	7 марта 1851 г. (46, 47–48)
«непостоянство»	7 марта 1851 г. (46, 48)
«заносчивость»	8 марта 1851 г. (46, 48)
«глупое, физическое себялюбие»	8 марта 1851 г. (46, 48)
«рассеянность» / «(был) рассеян»	8 марта 1851 г. (46, 48) 11 марта 1851 г. (46, 49) 13 марта 1851 г. (46, 50) 14 марта 1851 г. (46, 51) 16 марта 1851 г. (46, 51) 17 марта 1851 г. (46, 52) 24 марта 1851 г. (46, 55) 25 марта 1851 г. (46, 55) 27 марта 1851 г. (46, 56) 29 марта 1851 г. (46, 56)

«самохвальство»	8 марта 1851 г. (46, 48)
«мелочное тщеславие» / «тщеславие» / «тщеслав- ное направление» / «был тщеславен» / «<делал что-либо> тщеславно»	8 марта 1851 г. (46, 48) 10 марта 1851 г. (46, 49) 19 марта 1851 г. (46, 52) 25 марта 1851 г. (46, 55) 30 марта 1851 г. (46, 57) 31 марта 1851 г. (46, 57) 3 апреля 1851 г. (46, 57)
«обжорство» / «объелся»	8 марта 1851 г. (46, 48) 13 марта 1851 г. (46, 50) 15 марта 1851 г. (46, 51) 16 марта 1851 г. (46, 51) 27 марта 1851 г. (46, 56) 30 марта 1851 г. (46, 57)
«недостаток последова- тельности»	8 марта 1851 г. (46, 48)
«невнимательность»	9 марта 1851 г. (46, 49)
«желание выказать» / «хотел выказать» / «хотел себя выказать»	7 марта 1851 г. (46, 47) 9 марта 1851 г. (46, 49) <две ситуации> 11 марта 1851 г. (46, 49) <две ситуации> 13 марта 1851 г. (46, 50) 21 марта 1851 г. (46, 53) 22 марта 1851 г. (46, 54) 23 марта 1851 г. (46, 54) <две ситуации> 24 марта 1851 г. (46, 55) 25 марта 1851 г. (46, 55) <две ситуации> 26 марта 1851 г. (46, 56) 27 марта 1851 г. (46, 56)
«трусость» / «трусил» / «струсил»	9 марта 1851 г. (46, 49) <две ситуации> 10 марта 1851 г. (46, 49) 11 марта 1851 г. (46, 49) <две ситуации> 12 марта 1851 г. (46, 50) <две ситуации> 13 марта 1851 г. (46, 50) <две ситуации> 15 марта 1851 г. (46, 51) 16 марта 1851 г. (46, 51) <две ситуации> 23 марта 1851 г. (46, 54) <четыре раза> 24 марта 1851 г. (46, 54-55) <пять ситуаций> 25 марта 1851 г. (46, 55) 27 марта 1851 г. (46, 56)

	28 марта 1851 г. (46, 56) 30 марта 1851 г. (46, 57) 31 марта 1851 г. (46, 57)
«неосновательность» / «<делал что-либо> неосновательно»	8 марта 1851 г. (46, 48) 9 марта 1851 г. (46, 49) 10 марта 1851 г. (46, 49)
«низость»	10 марта 1851 г. (46, 49)
«самонадеянность» / «<делал что-либо>, слишком надеюсь на себя»	10 марта 1851 (46, 49) 12 марта 1851 г. (46, 50)
«аффектация»	10 марта 1851 (46, 49)
«лень» / «привычка ниче- го не делать» / «ленился <что-либо делать>» / «ленился»	10 марта 1851 (46, 49) 13 марта 1851 г. (46, 50) <две ситуации> 14 марта 1851 г. (46, 51) <три ситуации> 15 марта 1851 г. (46, 51) <три ситуации> 16 марта 1851 г. (46, 51) <две ситуации> 17 марта 1851 г. (46, 52) 19 марта 1851 г. (49, 52) 20 марта 1851 г. (46, 52) <две ситуации> 21 марта 1851 г. (46, 53) 23 марта 1851 г. (46, 54) 24 марта 1851 г. (46, 54) 25 марта 1851 г. (46, 55) <три ситуации> 26 марта 1851 г. (46, 56) 27 марта 1851 г. (46, 56) 28 марта 1851 г. (46, 56) 29 марта 1851 г. (46, 56) 31 марта 1851 г. (46, 57)
«мало dignité»	11 марта 1851 г. (46, 49)
«слабость» / «<действо- вал> слабо» / «был слаб»	8 марта 1851 г. (46, 48) 12 марта 1851 г. (46, 50) 31 марта 1851 г. (46, 57) 3 апреля 1851 г. (46, 57)
«мало гордости, fierté» / «мало fierté»	13 марта 1851 г. (46, 50) 20 марта 1851 г. (46, 52) 24 марта 1851 г. (46, 55) 25 марта 1851 г. (46, 55) 28 марта 1851 г. (46, 56)

«ложь» / «солгал <кому-либо>» / «лгал»	7 марта 1851 г. (46, 47) 8 марта 1851 г. (46, 48) 10 марта 1851 г. (46, 49) 14 марта 1851 г. (46, 51) 24 марта 1851 г. (46, 55) 26 марта 1851 г. (46, 56)
«обман»	10 марта 1851 г. (46, 49)
«мало твердости» / «недостаток твердости»	15 марта 1851 г. (46, 51) 16 марта 1851 г. (46, 51) 17 марта 1851 г. (46, 52) 22 марта 1851 г. (46, 54) 23 марта 1851 г. (46, 54) 24 марта 1851 г. (46, 55) 31 марта 1851 г. (46, 57)
«недостаток характера» / «слабость характера» / «мало характера»	17 марта 1851 г. (46, 52) 24 марта 1851 г. (46, 55) 28 марта 1851 г. (46, 56)
«страсть к игре» / «<делал что-либо>, желая играть» / «желание играть» / «захотелось играть» / «хотел поиграть»	17 марта 1851 г. (46, 52) 20 марта 1851 г. (46, 52) 26 марта 1851 г. (46, 56) 29 марта 1851 г. (46, 57)
«апатичность»	19 марта 1851 г. (46, 52)
«привычка спорить»	24 марта 1851 г. (46, 55)
«нежничество»	24 марта 1851 г. (46, 55) 25 марта 1851 г. (46, 55) 29 марта 1851 г. (46, 57) 30 марта 1851 г. (46, 57)
«<сделал что-либо>, ожидая чего-то особенного» / «ожидал чего-то особенного» / «ожидание чего-то особенного»	12 марта 1851 г. (46, 50) <две ситуации> 20 марта 1851 г. (46, 52)
«сонливость»	27 марта 1851 г. (46, 56)
«сладострастие»	27 марта 1851 г. (46, 56)
«нерасчетливость»	28 марта 1851 г. (46, 56)
«мало терпения»	31 марта 1851 г. (46, 57)

«<был> вял»	3 апреля 1851 г. (46, 57)
«<был> неопрятен»	3 апреля 1851 г. (46, 57)

²⁴ «Истинный джентльмен <...> не должен проявлять свои чувства, особенно смущение или изумление. Его отличает немногословие и недоверие к слишком эмоциональным оценкам. <...> Принято считать, что такая сдержанность — признак английского национального характера <...>. Но, как справедливо заметил в свое время Г. К. Честертон, это скорее *идеал словесный, аристократический* (курсив мой. — И. П.), нежели национальный» (Вайнштейн О. Б. Указ. соч. С. 173).

²⁵ Вайнштейн О. Б. Указ. соч. С. 507.

²⁶ Там же. С. 177.

²⁷ Традиционно дендизм воспринимался как «женственная» культура в противовес джентльменству «настоящих мужчин» (Там же. С. 176).

²⁸ Ср. слова Бальзака о том, что «человек элегантный готов принять гостей в любую минуту... никакое посещение не может застать его врасплох» (цит. по: В а й н ш т е й н О. Б. Указ. соч. С. 509), и объяснения А. Чельского своему другу из провинции Василию Васильевичу: «...правило носить, есть что-нибудь похуже, если не видят другие», — это признак «дурного тона». Гончаров И. А. Письма столичного друга к провинциальному жениху // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. — СПб.: Наука, 1997 —... Т. 1. С. 490.

²⁹ Зубец О. П. Об аристократизме // Этическая мысль. Вып. 2. М., 2001. Электронная публикация: <http://ethics.iph.ras.ru/em/em2/9.html>

³⁰ См. комментарий к этому отрывку (46, 359, примеч. 360). В «тетради “Г”» отрывок романа Б. де Сен-Пьера записан на языке оригинала: «Enfin je crois la solitude tellement nécessaire au bonheur dans le monde même, qu'il me paraît impossible d'y goûter un plaisir durable d'un sentiment, quel qu'il soit, ou de régler sa conduite d'après quelque principe stable, si l'on ne se fait une solitude intérieure, d'où notre opinion sorte bien rarement, et l'opinion d'autrui n'entre jamais» (46, 73).

³¹ Отмечая в своем поведении определенные недостатки, Толстой тем самым выражает свою причастность к конкретной культуре со свойственным ей типом этикета, в отношении которого названные свойства являются «внесистемными». Ср.: «Основа этикета — условность и коммуникативность. <...> В рамках определенной культуры культивированный ею этикет образует относительно замкнутую систему». Ф а р и н о Е. Введение в литературоведение. СПб., 2004. С. 261–262.

³² В а й н ш т е й н О. Б. Указ. соч. С. 497.

³³ Щ у к и н В. Г. Западничество // Идеи в России — Ideas in Russia — Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski / Pod redakcją Andrzeja de Lazari. T. 2. Łódź, 1999. С. 152.

³⁴ Ср.: «Сам по себе этикет в произведении *не значим* (выделено автором.— И. П.), он значим в столкновении в этом же произведении с другой этикетной системой, с его нарушением, с отказом от него и т. п.— тогда обнаруживается в нем его моделирующий характер, стоящая за ним модель или концепция общественных отношений и отношение автора к такой модели, к так устроенному миру». Ф а р и н о Е. Указ. соч. С. 263.

³⁵ В а й н ш т е й н О. Б. Указ. соч. С. 177.

³⁶ Устремления Толстого соотносятся с поисками альтернативы «модным типам в российской светской жизни» (В а й н ш т е й н О. Б. Указ. соч. С. 504). Гончаров видел ее в аристократии, призванной стремиться к утопическому идеалу «порядочного человека», который «есть тесное, гармоническое сочетание наружного и внутреннего, нравственного умения жить», причем нравственная сторона, безусловно, «играет в нем первую роль». Г о н ч а р о в И. А. Письма столичного друга к провинциальному жениху // Г о н ч а р о в И. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. СПб.: Наука, 1997—... Т. 1. С. 477. См. также: В а й н ш т е й н О. Б. Указ. соч. С. 507—508.

³⁷ З у б е ц О. П. Указ. соч.

В. Н. Янушевский

ПРОЗА ТОЛСТОГО 1850—1860-х гг.
И ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЦЕЛОГО
В ЭПОСЕ: ОПЫТ АНАЛИЗА ФАБУЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРИНЦИПОМ «БЫТИЯ ГЕРОЯ»

Задача эпопеи — изображать те или иные эпизоды. Слова *эпизод* и *эпопея*, имеющие греческую основу, современный словарь иностранных слов объясняет, соответственно, как «событие» и «ряд событий». Для автора и читателя линейного эпического текста всякий эпизод действительно оказывается событием. Последовательность событий изображения, как сформулировал Бахтин, есть сюжет. Изображенные события образуют фабулу, задающую реальность героя. Будучи развернутой в пространстве и времени, фабула формирует «мир произведения».

По определению, событие — это то, что произошло или происходит в настоящее время. В теории вероятностей под событием понимают реализацию некоторой возможности, а для философского дискурса характерно употребление термина со-бытие. В литературоведении под событием принято понимать либо нарушение некоторой нормы и границы, распространяющееся как на событие изображения, так и на изображенное событие (нормативная эстетика), либо откровение, узнавание, акт смыслопорождения (герменевтика). Данные события неодинаково воспринимаются автором, героем и читателем.

Согласно современным представлениям, *событие* как целостный акт для исследователя являет собой совокупность трех событий: события изображения, события функционирования изображения и события восприятия изображения реципиентом-читателем¹. Каждый вид события поддается научному изучению на основе той или иной методологии и соответствующих аналитических процедур, однако результаты таких исследований не могут быть объединены воедино.

Иное дело — читатель. Воспринимая последовательно изображенные эпизоды, читатель благодаря взаимодействию трех фундаментальных структур сознания — *интенциональности*, *горизонтности* и *смыслообразования* — «видит» нечто целое, являющееся для него реальностью. Фабульная реальность, конституируемая одним сознанием (сознанием одного человека), всегда целостна. Но исследование художественной прозы показывает, что различные эпические тексты в акте чтения-восприятия дают разные реальности (речь идет не столько о несхожести воспроизводимого жизненного материала, сколько о различных типах *художественной реальности*). И чтобы понять эти различия, необходимо подвергнуть литературное произведение анализу.

Можно предположить, что, к примеру, сущность художественной реальности эпических произведений Толстого будет определяться двумя группами факторов: с одной стороны, особенностями творческого метода писателя, своеобразием того или иного периода его творчества, жанровой природой рассматриваемых произведений и т. п., а с другой — спецификой применяемых научных подходов, методологических принципов и исследовательских методик.

Выявление всех названных выше «особенностей» предполагает основывающийся на системном подходе поэлементный анализ объекта исследования. Несовершенство подобной методологии в ходе литературоведческих исследований, а при изучении произведений Толстого особенно, признавалось многими авторами. Например, А. Сабуров отмечал, что «восприятие художественного произведения в его целостности, как... единого явления, всегда сопровождается некоторым анализом, осознанием его элементов...»² В числе главных причин недостаточной релевантности традиционных методов исследования для изучения прозы Толстого чаще всего называют интегральную природу его художественных образов, их всеохватность, по-разному, впрочем, эти образы определяя: «миро-народ» (Л. Опульская), «русская жизнь» (С. Бычков), «русское чувство» (В. Хализев, С. Кормилов), «общая жизнь» (Л. Гинзбург), «жизнь всеобщая» (С. Бочаров) и т. д. Отмеченная особенность образной сферы произведений Толстого во многом определила и особенности дискурса толстоведческих исследований, для которого весьма показательны следующие выражения: «соборное единение» (В. Хализев, С. Кормилов), «общая идея мира», «общее чувство жизни» (Л. Гинзбург), «взаимосвязь различных

черт реализма Толстого» (М. Храпченко) и т. п. В. В. Ермилов искал «сущностную связь» всех романов Толстого, Б. М. Эйхенбаум «Анну Каренину» считал «синтетическим романом», а Н. Д. Ахшарумов одним из первых отметил многоплановость «Войны и мира», высказав при этом весьма спорную мысль о том, что в *таком* романе художественное единство было бы просто невозможно. Расхожая формула Ахшарумова — «замечательный художник, но плохой мыслитель» — отображает не столько проблемы Толстого, сколько проблемы самого критика, не сумевшего воспринять текст романа-эпопеи как *целое*.

В значительной мере восприятие практически любого произведения Толстого как *сложного целостного образования* было предопределено самим Толстым, который, говоря о «бесконечном лабиринте сцеплений»³, прежде всего имел в виду собственные сочинения и который в черновом предисловии к «Войне и миру» писал о своем намерении «захватить все» и «сопрягать все»⁴. В числе тех, кто попытался сформулировать законы поэтического единства, действующие в мире толстовского эпоса, одним из первых был В. И. Камянов. Поставив задачу «прочсть “Войну и мир” как поэтическое целое», автор отметил, что предшественники Толстого (Пушкин, Гоголь, Тургенев) возводили «эпические либо лиро-эпические конструкции» на строительной площадке, которая сознательно отгораживалась от фабульной реальности (у Пушкина это «образ свободного пути», у Гоголя — «образ двух Россий»); Толстой «тоже опускает свои эпические конструкции на единый опорный образ — у него это образ моря исторического, моря народного, — только толстовский образ призван не отвлекать часть от целого, но обнимать собою целое»⁵. Определив в качестве центральной проблемы композицию «Войны и мира», В. И. Камянов, как сказано в аннотации, «прослеживает диалектику внутренних сцеплений между звеньями образной системы романа»⁶, то есть ведет свое исследование в рамках системного подхода, предполагающего разнообразие аналитические процедуры.

Анализ — ведущий метод науки, и наука о литературе не является исключением. Неизбежные издержки, главной из которых следует считать разрушение эстетического объекта, принимаются к сведению, но в расчет, как правило, не берутся. После аналитических процедур в рамках междисциплинарных исследований (современная наука, а гуманистика особенно, сплошь междисциплинарна), в силу заведомой нерелевантности методологий частных научных дисциплин,

исследователь оставляет от *эстетического объекта* (в определении, данном М. Бахтиным) груды развалин. Принцип дополнительности, сформулированный Н. Бором исключительно для исследований в области ядерной физики, далеко не всегда применим в других естественных науках, не говоря уже о гуманистике вообще и литературоведении в частности. Трудности в координации наук и научных дисциплин осложнены проблемами их субординации: например, до сих пор нет полной ясности в том, какой методический инструментарий литературоведение может заимствовать у эстетики, а эстетика — у философии. Именно философия решительно берется за изучение сложных целостных объектов, обеспечивая науку соответствующей методологией и даже срастаясь с наукой, что порождает уникальные исследовательские стратегии.

Принцип целостности, сформулированный В. Дильтеем и М. Хайдеггером, может предоставить методологическую базу для исследования подобных объектов, в частности эпических произведений Толстого. Путеводной нитью для таких исследований может послужить, к примеру, экзистенциальная аналитика М. Хайдеггера, основополагающим понятием которой является *Dasein* (*присутствие*), а бытие *присутствия* рассматривается как *бытие-в-мире*.

Бытие присутствия как *бытие-к* обладает разными возможностями (бытие-к-миру, бытие-к-сущему, бытие-к-другому, бытие-к-себе, бытие-к-смерти и т. п.). Бытие читателя и исследователя-литературоведа — это прежде всего бытие-к-тексту. Художественный текст есть *сущее*, но сущее особенное — это сущее того же рода, что и человек, то есть, строго говоря, *не-сущее*, или *присутствие* (несомненным сущим является мир, а человек, живя в мире, находится *при* этом *сущем*, так или иначе на него воздействуя). *Присутствие* реализует себя в бытии, а «в вопросе о бытии человека это бытие нельзя суммирующе вычислять из... способов бытия тела, души, духа. И для самой развертывающейся таким путем онтологической попытки предпосылкой должна... стать идея бытия целого»⁷.

Если чтение рассматривать как один из модусов бытия человека, то, читая, «мы присутствуем» (Гадамер) при мире, принадлежащем, однако, к основоустройству присутствия. Такое — двойственное — толкование мира указывает на неоднородную структуру этого понятия. Титул «присутствие» в нашем случае получают читатель, автор и герой (можно предположить, что три эти «присутствия» снимаются в одном

общем присутствии). Присутствие экзистирует, причем экзистирует фактично, то есть понимает свое бытие по способу «наличия-для-меня» (Дильтей). Экзистируя, присутствие конституирует реальность. Аналогичным способом конституируется и художественная реальность. Как показал Хайдеггер, никакой реальности «до» экзистирующего присутствия нет и не может быть. Разумеется, книга как материальный объект, то есть как сущее, обладает «по-себе-бытием», но тогда речь следует вести о совсем иной реальности — реальности, фундаментальной бытием сущего.

В контексте экзистенциальной аналитики Хайдеггера *присутствиеразмерное* бытие есть реальность. Если эффект художественной реальности порождает текст (в акте чтения-восприятия), то, соответственно, художественная реальность — это присутствиеразмерное бытие как со-бытие. Со-бытийность такой реальности фундаментальна бытием-к-тексту как присутствием, что, в свою очередь, и обеспечивает со-бытие читателя, автора и героя (разумеется, герой «не подозревает» о *тексте*, зато он обитает в *мире*, в который разворачивается в акте чтения-восприятия линейный текст).

Если так понимаемую художественную реальность рассматривать как целостное образование, то особую актуальность получают проблема *анализа* подобных явлений и, соответственно, проблема единиц анализа, а также языка описания. Хайдеггер, например, использует такие понятия, как *модусы бытия* (действительность, реальность, необходимость), *фундаментальные экзистенциалы* (бытие-в-мире, страх, забота, понимание, настроенность, брошенность и пр.), *основоструктуры присутствия* (мирность, временность и т. д.) и др. Но возникает вопрос, насколько такой терминологический аппарат может быть релевантен литературоведческому исследованию. Одновременно важным оказывается обоснование необходимости целостного рассмотрения исследуемых объектов (довод, согласно которому «каждый данный предмет в результате нарушения его естественной связи с др. предметами меняет свое бытие»⁸, является убедительным только в том случае, если целостность полагается онтологически).

Наконец, трудностей нам добавляет и сам Хайдеггер, который не всегда бывает последователен в истолковании понятия *реальность*. Предложив «понимать “реальность” как присутствиеразмерное бытие»⁹, в заключительной главе своего основного труда он тем не менее разводит «бытие экзистирующего присутствия» и «бытие непри-

существования размерного сущего». Можно предположить, что навязчивое дифференцирование реальности как «предметности» и реальности как ментальной структуры человеческого сознания обусловлено ясно осознаваемой им «двузначностью» понятия *мир*: «мир как в-чем бытия-в и «мир» как внутримирное сущее»¹⁰. Становится очевидным, что эти два значения понятия «мир» и порождают две версии толкования реальности. Это же косвенно подтверждает В. Франкл, отмечая, что «существование не только интенционально, но также и трансцендентно». Сказанное означает, что человек «направлен» не только на себя (свое, предметности своего сознания), но и на что-то другое (не-свое, предметности мира). Кроме того, Франкл комментирует понятие Хайдеггера *бытие-в-мире*: «...чтобы правильно понять эту фразу, нужно признать, что быть человеком... значит быть вовлеченным, втянутым в ситуацию, быть противопоставленным миру, объективность и реальность которого несколько не умаляется субъективностью того «бытия», которое находится «в мире»»¹¹. В самом деле, Хайдеггер допускает возможность рассматривать мир как *озабочение сущим*, что фактически и позволяет представить мир онтически (в объектной форме).

Все это и определяет два способа восприятия мира: «растворение» человека в мире или же рассмотрение мира как чуждой ему «вещенальности». Последнее и служит основанием для различения двух типов реальности: реальности как «вещенальности» и реальности в экзистенциальном смысле — когда мы, к примеру, не замечаем очевидного. Другое дело, что в любом случае предметностью сознания является не вещь, а ее «образ», «эйдос», то есть *сущее*.

Можно достаточно определенно утверждать, что человеку свойственно воспринимать оба этих типа. Соответственно и читатель репрезентирует в акте чтения-восприятия два типа реальности: фабульную (пространственную) и смысло-временную. В совокупности они и образуют художественную реальность.

Главную же трудность представляет собой анализ художественной реальности как со-бытия — совместного бытия двух или нескольких *присутствий*. У Хайдеггера экспликация со-бытия дана пунктирно. А рассмотреть художественную реальность как диалог читателя, автора и героя, имеющих статус *присутствия*, без предварительной проработки соответствующих аналитических процедур невозможно. Однако некоторые исследователи считают, что такие процедуры вообще

нельзя разработать. «Своеобразным ядром мира человека, — отмечает Е. Ганс, — является Dasein, аналитика которого в рамках данной парадигмы (парадигмы «существования», в которой целостность мира обусловлена априорной структурой «бытия-в-мире». — В. Я.) сталкивается с фундаментальной трудностью: мир человека недоступен рациональному познанию, для постижения его смысла нужны внерациональные средства и методы»¹².

История изучения художественной реальности, равно как и опыт естественного читательского восприятия «мира произведения», показывают, что в акте чтения-восприятия разные *присутствия* снимаются не в одном *общем* присутствии, а в *герое*. На наш взгляд, именно эта литературоведческая категория имеет сложный состав и представляет собой многомерное образование, играя решающую роль в обеспечении целостности мира (как «мира героя») и художественной реальности (как присутствиеразмерного бытия — со-бытия), а отнюдь не категория *читатель*, как принято считать многими современными исследователями. В то же время категория *читатель* имеет чрезвычайно важное значение, поскольку именно эстетическая деятельность читателя создает ситуацию чтения-восприятия и именно сознание читателя порождает *реальность* как «кажимость» (В. И. Тьюпа), но на базе категории *читатель* нельзя построить комплекс объективированных аналитических процедур, поскольку «исследователь» и «читатель» соединены в одном субъекте. Разумеется, мы можем изучать восприятие одного и того же художественного текста *разными* читателями, используя диагностический инструментарий, к примеру, социологов, но такая методология едва ли будет уместна в литературоведческом исследовании.

Именно «человекосоразмерность» художественной реальности, будучи реальностью героя, и позволяет читателю воспринимать ее как *реальность*. Не случайно Л. Шестов в работах, посвященных анализу произведений Толстого, во-первых, всех персонажей рассматривает принципиально «наивнореалистически» (Гуковский) — как живых людей, а во-вторых, все происходящее с героями он относит непосредственно к автору и его жизненному опыту¹³. Последнее мнение разделяет и Л. Гинзбург: «Толстой широко пользовался в своих произведениях обстоятельствами собственной жизни»¹⁴.

Все это наводит нас на мысль о том, что реальность героя и, так сказать, реальность автора не настолько уж «внеположны»¹⁵, как это

может показаться в первом приближении, а именно: и автору, и герою присущ *единый способ бытия*. Разумеется, такой же *способ бытия* присущ и читателю, что и обеспечивает понимание читаемого текста. Но выбор этого способа осуществляет, конечно же, автор, тем самым задавая «формат» конституируемой читателем художественной реальности. При этом неверно было бы думать, что такая реальность сначала конституируется автором и только потом репрезентируется читателем. Художественная реальность формируется в со-бытийном акте.

Даже беглое рассмотрение наиболее «этапных» произведений Толстого, созданных в 1850—1860-е гг., показывает, что их персонажная сфера строится по инвариантной схеме, в основе которой непременно *два персонажа*, претендующих на статус *героя*. По всей видимости, причиной этого является «своеобразие художественного метода Толстого: мышление противоположностями, противопоставлениями, антитетичность, видение действительности в противоречиях» (В. Ермаков). «Классическая трагедия, — читаем у Л. Гинзбург, — сталкивала в одном человеке две разнонаправленные страсти или страсть и долг... Подобная *бинарность* присуща также и романтическому конфликту... В плане душевной жизни — это противоречивое единство личности, конечной и одновременно устремленной к бесконечному и сверхчувственному»¹⁶. В отличие от героя трагедии эпический герой (протагонист) также не чужд бесконечного и сверхчувственного, но противоречия жизни он решает через противостояние другому герою (антагонисту). В реалистических произведениях Толстого «противоречивое единство личности» не столько в душе героя, сколько в сознании автора. Отсюда — «поэтика контрастов» (Л. Гинзбург), художественное мышление с опорой на дихотомические модели.

В рассказе «Три смерти» два главных действующих лица, и оба обречены на смерть. Идет своего рода состязание персонажей — их *верификация* (проверка на «истинность»). Победителем, согласно замыслу Толстого, оказывается, по-видимому, ящик Федор. Впрочем, заявленную простую схему усложняет «третья смерть», происходящая с еще одним претендентом на роль героя — деревом (если у Гоголя главным героем мог быть даже *смех*, то им, в принципе, может быть *все что угодно*, любое «сущее»). В финале происходит возврат к исходной схеме: на одном полюсе *не-сущее* (смерть) как необходимость, на другом *сущее* (дерево) в своих возможностях. Члены схемы

сущностно стали другими, но оппозиционный принцип сохранился. В произведениях на тему смерти, написанных в более поздние периоды, Толстой будет то уходить от заявленной парной схемы в персонажной сфере («Смерть Ивана Ильича», «Записки сумасшедшего»), то вновь к ней возвращаться («Хозяин и работник»). Соответственно тексты этих произведений в акте чтения-восприятия будут порождать разные типы реальности: объективную, предметную, традиционно эпическую, практически лишенную психологизма — или же субъективную, «присутствиеразмерную», исполненную глубокого психологизма. Впрочем, будет правильнее говорить не о *типах* реальности, а о ее *модальностях*.

Или вот повесть «Казачья». Тут «протагонисту» Оленину противопоставлен «антагонист» Лукашка. И хотя в финале последний находится «при смерти», повесть все-таки называется «Казачья» (смысл названия может быть истолкован и так: «казачья» — это те *другие*, в число которых хотел бы, но не смог войти Оленин). Тот же принцип использован в «Войне и мире», где два претендента на роль героя — Пьер и князь Андрей, причем последний погибает. Наконец, в «Анне Карениной» этот принцип получает свою наибольшую реализацию, к чему читатель был вполне подготовлен предыдущими произведениями (зато неподготовленной оказалась критика, вставшая в тупик при попытке отыскать главного героя романа). Более поздние исследователи уже отмечали, что писатель создает «новый тип романа, где две сюжетных линии, где несколько героев и... где все... держится... на сложном переплетении идейных линий»¹⁷. А вот Б. Эйхенбаум разглядел в «Анне Карениной» вертикальное строение персонажной сферы, где «внизу» располагаются Стива Облонский и Бетси Тверская («светское дно»), «посередине» — Анна и Вронский, а «наверху» помещается «спасшийся» Левин, отныне во всем следующий нравственному закону¹⁸. Это позволяет сделать вывод о том, что всякому персонажу (и «положительному», и «отрицательному»), как и всякому человеку (и «хорошему», и «плохому»), присущ некий *единый способ бытия* — тот самый универсальный закон, который неустанно искал Толстой. И в данном случае этот «единый способ» в своей основе будет иметь бинарную схему.

Таким образом, есть смысл определять разрабатываемую нами исследовательскую методiku в соответствии с *принципом бытия героя*, обеспечивающим целостность художественной реальности.

Данная методика будет формироваться в рамках исследовательского подхода, который может быть классифицирован как *холистический* (*холизм* — от греч. *holon* — целое). В свою очередь холистический подход, по сути, есть подход онтологический, строящийся на базе «новой онтологии» и синтезирующий в себе феноменологический анализ и экзистенциальную аналитику. При практической реализации данного подхода частично используется методологическая схема, предложенная философом В. А. Коневым¹⁹.

Проблема целостности того или иного явления, относимого к гуманитарной сфере, всегда имеет оборотную сторону, которая, по сути, оказывается проблемой целостности человека: его личности, его судьбы, всей его жизни. Как возможно единство человеческой жизни при всем многообразии жизненных проявлений человека? Что обеспечивает повторяемость и узнаваемость человека как *этого* человека и эпического героя как *этого* героя? Что объединяет все их проявления в жизненной и фабульной реальности в некое целое, которое мы можем назвать их *жизнью* или *судьбой*? Наконец, что дает нам основание распространять понятие «человек» на самых разных людей? Очевидно, должна быть некоторая *инвариантная структура*, такую целостность обеспечивающая, которая тем не менее может быть «задана» в соответствии с самыми разными основаниями.

«Толстой, как никто другой, — отмечает Л. Я. Гинзбург, — постиг отдельного человека, но для него последний предел творческого познания не единичный человек, но полнота сверхличного человеческого опыта. Толстой — величайший мастер характера, но он переступил через индивидуальный характер, чтобы увидеть и показать *общую жизнь*... Герой Толстого больше, чем характер. То есть он действует не только как характер, но и как тот, в ком проявляются, через кого познаются законы и формы *общей жизни*»²⁰. Как известно, на протяжении всей своей жизни Толстой тщетно пытался решить проблему соотношения единичного и всеобщего как проблему чисто эпистемологическую. Зато он вполне успешно решил ее как проблему по преимуществу творческую, художественную (в известном смысле речь идет о проблеме типизации). А типологическое начало в каком-либо предмете или явлении всегда предполагает некую инвариантную структуру, преодолевающую разнообразие единичного. «Среди всех процессов и модификаций Толстому нужно было остановить, зафиксировать характер как подвижную, изменяющуюся, но *узнаваемую* структуру»²¹.

Но что обеспечивает целостность такой структуры? Что обеспечивает целостность человека?

Целостность человека, замечает Конев, «не может обеспечить предметное окружение, хотя, конечно, привычное окружение... создаст условия для повторяемости в жизни»²². В то же время в искусстве, и в литературе романтизма в частности, возникает антитеза «привычное окружение» — «непривычное (новое) окружение». «Охота к перемене мест» свойственна едва ли не каждому эпическому герою: передвижение в пространстве есть форма проявления свободы и/или несвободы героя, альтернативой чему служит изобретенный Достоевским «аршин пространства». Это в полной мере относится к героям Толстого: читатель видит в пути «больную барыню» Марию Дмитриевну («Три смерти»), изменение сущностного содержания своей жизни Оленин напрямую связывает со «сменой обстановки» («Казачи»). Князь Андрей Болконский *идет* на войну: «Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь — не по мне!» (9, 31; курсив мой. — В. Я.). «Экзистенциальное распутье» Пьера Безухова органично сопровождается распутьем дорожным: именно на *перепутье*, на постоялом дворе, происходит мнимо судьбоносная для него встреча с И. А. Баздеевым («Война и мир»).

Далее, продолжает размышлять Конев, целостность «не может обеспечить само социальное окружение человека (тип отношений, характер институций и т. п.), хотя, конечно, требования социальных ролей к человеку могут служить и служат основанием повторяемости его жизни. Но роли (социальные функции человека) не обеспечивают целостности человека, они еще должны войти в эту целостность»²³. Желание Оленина сменить, точнее, понизить социальный статус — «Я куплю сад, дом, запишусь в казаки» (6, 139) — можно интерпретировать как интуитивное стремление к «истинной» целостности через разрушение целостности действительной (пусть и ощущаемой им как не-целостность). А поскольку рядом с эпическим героем непременно должна быть «героиня», то и ее социальный статус соответствующий: она «представляется воображению в виде черкешенки-рабыни. <...> Она прелестна, но она необразованна, дика, груба» (6, 11). Потребность «бытия другим» приобретает черты навязчивости: «Вот ежели бы я мог сделаться казаком, <...> красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей <...> без мысли о том, кто я и зачем я?» (6, 122). Попытку «стать другим» (сменить окружение)

совершает и Пьер Безухов — «вместо того чтобы идти к тем, которые ожидали его, он пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота» (вполне традиционный мотив, знакомый нам и по «Метели» или «Евгению Онегину» Пушкина, и по гоголевской «Коляске»); мотив этот, предметно привязанный к деревенскому дому, прочно разместился в «горизонте сознания» Толстого, который, работая над эпизодом похищения Наташи Ростовой и отчетливо сознавая при этом, что с московской улицы непросто попасть на заднее крыльцо, тем не менее не заметил, как *ворота*, в которые вошли Анатолий и Долохов, через несколько строк превратились в его тексте в *калитку*). И далее читатель видит Пьера у Сухаревой башни «в кучерском кафтане, очевидно наряженного барина по походке и осанке» (11, 320–321).

В финале «Казачков» экзистенциальная нецелостность героя «фактически» будет выражена так: он несчастливый, себя не-любящий, не-любимый. «*Нелюбимый ты какой-то!*» — говорит ему на прощанье Ерошка (6, 149). Наряженный же в «крестьянское платье» Пьер, напротив, чувствует на себе «сияющий, радостный взгляд» Наташи, увидевшей его из окна кареты (11, 321), но наивное трагестирование героя вскоре обернется вынужденным переодеванием в убогое платье военнопленного.

Вопреки первоначальному замыслу Толстого «хождение в казаки» приводит Оленина к глубочайшей депрессии. В фабульной линии Пьера много странного, почти неправдоподобного: он, дуэлянт-новичок, в поединке на пистолетах одерживает верх над бретером Долоховым; он выжил в плену, а вот Каратаев — *идеал* Толстого — погиб. Любовно выписывая образ этого персонажа, Толстой, по-видимому, не заметил, что романная жизнь Платона бессмысленна, то есть *нереальна*. Реальность напрямую связана со смыслом, с преодолением чего-то и самопреодолением. Именно так, в интерпретации Хайдеггера, понимал реальность Дильтей: «Реальность есть *сопротивление*, точнее *сопротивляемость*»²⁴. Таким образом, если следовать логике В. Дильтея, *непротивление* порождает нечто противоположное реальности — *нереальность*.

Однако вернемся к проблеме целостности. Даже *память*, по мнению Конева, не способна обеспечить целостность человеческой личности, «хотя, конечно, память является тем... механизмом, работа которого... направлена на обеспечение способности индивида сохранять необходимую ему информацию, включать прошлое в настоящее,

а тем самым объединять моменты времени в некую целостность. Но память, как известно, не самостоятельна, она избирательна и направляется деятельностью человека»²⁵. Так, умирающий ящик Федор в «Трех смертях» печется о могильном — памятном! — камне, а у Оленина, ставшего жителем Новомлинской станицы, меняется содержание памяти: «Он вспоминал поход, миновавшую опасность. Вспоминал, что в опасности он вел себя хорошо. <...> Московские воспоминания уже были бог знает где. Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок» (6, 43). На это же указывает Л. Гинзбург: «Толстой показал, как рядом с законом памяти работает в человеке закон забвения, необходимого для того, чтобы расчищать место новой обусловленности, заново овладевающей человеком»²⁶. Однако спустя некоторое время в «письме» без адресата Оленин напишет: «Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего» (6, 122).

Память, таким образом, функционирует по своим законам, которые полностью соответствуют фундаментальным структурам сознания. Память обеспечивает историческую целостность человека; это означает, что, хотя человеку свойственно меняться, будущее такого человека творится из его настоящего. Оленин же, отправляясь на Кавказ, строит «себя будущего» как раз не «из себя настоящего» — он пытается строить собственное будущее исключительно из материала своего воображения: «Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами Амалатбеков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Все это представляется смутно, неясно, но слава, заманивая, и смерть, угрожая, составляют интерес этого будущего» (следует заметить, что антиномия «слава — смерть» больше соответствует другому образу — князя Андрея).

Воображение по сути своей антиисторично: для него настоящее служит тем пунктом, от которого воображение отталкивается. И была «еще одна, самая дорогая мечта, которая примешивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это мечта о женщине» (6, 11). Можно предположить, что стремление к «другой» целостности есть бегство от целостности, деформирующее личность героя. Не случайно в «письме» Оленин отметит, что чувствует «свою изломанность». С другой стороны, отрицание себя реального, «нетствование», недовольство

собой — это то состояние, с которого начинается *осуществление* человека или литературного героя.

Итак, необходимо выделить такое основание целостности человека или литературного героя, которое определяется самим человеческим бытием. «Таким основанием, — считает Конев, — должен выступать сам способ бытия человека, который присущ только ему и который организует как его существование, так и существование его мира». Этот способ бытия противоположен способу бытия материальных тел, который был выделен Декартом и выражен в прямоугольных координатах. Главное в такой системе координат — отнесение точки к значению координат, благодаря чему она получает свою определенность. Принцип Декартовых координат — принцип отнесения, отождествления, принцип сравнения познаваемого с заданным полем значений (этот принцип положен в фундамент общенаучного метода типологий, на котором, в свою очередь, основываются многие исследовательские методы филологической науки: культурно-исторический, сравнительно-исторический, сравнительно-типологический и т. д.).

Объективированный в Декартовых координатах тип рациональности охватил не только познание вещей, но и познание мира человека. Так человека понимало Просвещение: среда формирует характер. На этом принципе строится марксистская концепция человека: сущность человека есть совокупность всех общественных отношений. Ему же следуют различные социологические теории личности. «Однако, — отмечает Конев, — такое понимание определенности человека не выявляет его целостности, а указывает на то целое, частью которого он является. Целостность человека определяется его действием, сущность которого определяется не пространством Декартовых, а пространством Дантовых координат»²⁷.

Дантово пространство — это пространство души (пространство сознания и всех возможных его коррелятов, прежде всего — текста); подобное пространство всегда ощущает в акте чтения-восприятия читатель. Описанию такого пространства и посвящена, по сути, значительная часть «Божественной комедии». Место души — Эмпирей, куда она, однако, попадает, если очищена от груза грехов. Поэтому способ ее бытия в «нетленной геометрии» (Ф. Де Санктис) пространства духовной жизни — *спасение*. Но спасение — термин теологический; в философии ему может соответствовать термин *осуществление*, в психологии — *самореализация*, в литературоведении —

нии — *действие* и т. д. Литературный герой действует в фабульной реальности.

У каждого «свое» спасение: герой сам формирует свою «реальность», то есть сам определяет, что для него *реально*, а что — нет. Ради такого спасения, замечает Конев, душа должна отказаться от... (круги Ада показывают нам, от чего она должна отказаться), покаяться и очистить себя от... (уступы чистилища показывают, в чем она должна покаяться и от чего воздержаться). Акту подобного отказа-покаяния-воздержания в рассказе «Три смерти» соответствуют дарение сапог обреченным на смерть Федором молодому ямщику Сергею и ночной разговор Федора с кухаркой Настасьей, в повести «Казачи» — «письмо» Оленина, в «Войне и мире» — «смягчение» князя Андрея (12, 56) и последовавшее вскоре после этого его «пробуждение от жизни» (12, 64), а также осознание Пьером того, что в плену держат его самого, но не его «бессмертную душу» (12, 105–106).

«Принцип архитектоники «нетленной геометрии» — уйти, чтобы прийти, отказаться, чтобы получить, воздержаться, чтобы насладиться, наконец, спуститься (в Ад), чтобы подняться (в Рай, к вечному свету)»²⁸. Модуль этой «нетленной геометрии» определяет всю архитектуру Дантова мира. Дантовы координаты — это координаты отрицания, которые задают *апофатическое пространство* — пространство *предпочтительного* бытия. Человек обретает свою определенность (нравственную, культурную, личностную) в поле действия апофатического пространства через отрицание и отказ (это действие совершается даже и тогда, когда Дантовы координаты представлены положительным содержанием ценностей; так человек приходит к принятию положительных ценностей через проверку их сомнением). Место человека в апофатическом пространстве — в фокусе, где сходятся значения его отрицаний. Этот фокус и становится утверждением бытия человека.

Апофатическое пространство воспринимается не онтически (не в объектной форме), но экзистенциально. Соответственно время в таком пространстве имеет не хронологическую, а темпоральную природу. Именно экзистенциальная пространственность фундирует способность человека (автора, читателя, героя) создавать себе *разные* миры. Апофатическое пространство — естественная «среда обитания» героя реалистической литературы. «В реальности, где нет места каким-либо достойным человека ориентирам и целям, живут многие персонажи

русских писателей XIX века»²⁹. В контексте выявленной нами «двойственности» мира и реальности это означает, что такая *реальность* имеет не только *объективную* природу, но и творится самими персонажами.

Если пространство Декартовых координат существует (как «пустое» пространство) до всякого тела или точки, до всякого движения, то пространство Дантовых координат конституируется движением, человеческим действием, которое и придает им определенность. Апофатическое пространство требует усилия человека, героя, персонажа, первой и простейшей формой самопроявления которого выступает воздержание, остановка, ограничение. «Принцип Дантовых координат выявляет метафизическую основу личностного существования. «Нетствование» открывает личности смысл бытия, в котором индивид утверждает свою жизнь. Отрицаемое сущее преодолевается не просто бытием, а смыслом, осмысленным, значимым бытием, ценностью жизни. Поэтому первым, исходным *modus'ом operandi* становится отрицание-утверждение, утверждение через отрицание»³⁰.

Принципу «уйти, чтобы прийти» в рассказе «Три смерти» следует ямщик Федор, но в наибольшей степени *такой* уход свойствен дереву (барыня во власти другого принципа: *остаться* любой ценой). Сюжет «Казаков» вообще построен на «уходе» и «отказе» Оленина (позднее этот же «алгоритм» будет использован в «Отце Сергии»). Несмотря на то что первоначальный замысел повести (согласно которому Оленин все-таки добивается Марьяны) не осуществился, финал может быть прочитан не только как фиаско героя, так и не сумевшего выстроить свою жизнь в соответствии с той («жить для других») или иной («жить для себя») формулой счастья, но и как торжество принципа «уйти, чтобы вернуться» (в Москву!). В самом деле, ведь Оленин может вернуться не только опустошенным, но и просто *другим*. «Бытие другим» может оказаться вполне достижимым, только не на Кавказе, а в Москве... Но это маловероятно, потому что «апофатическое пространство» не может механически переместиться с Кавказа в Москву. Такое пространство вообще не имеет *места* в географическом смысле. Становится очевидным, что апофатическое пространство *присутствиеразмерно* (Хайдеггер): оно там, где его «носитель», то есть герой, и воспринимается оно им не онтически, но экзистенциально («от себя не убежишь»).

Современным читателю и исследователю хорошо известно, что метания толстовских героев являются отражением духовных проблем

самого автора. У «нетовщика» (Вяземский) Толстого и герой под стать ему самому (у них — автора и героя — зачастую «общее» мировоззрение). И если намерение Оленина стать казаком и жениться на Марьяне можно рассматривать как крайность, то проявлением похожей крайности следует считать запись, сделанную Толстым в записной книжке 13 апреля 1857 года: «Будущность России казачество — свобода, равенство и обязательная военная служба каждого»³¹.

Пьер Безухов как герой формально авантюрный (именно по канонам плутовского романа складывается его судьба), в романной жизни которого может быть бесчисленное количество эпизодов, в апофатическом пространстве пребывает не единожды, а по крайней мере трижды. Это связано с тем, что его фабульная линия выстроена как череда «взлетов» и «падений». Периоды «падения» соответствуют «трем разочарованиям»: в женитьбе и жене (Элен), в масонском движении и, наконец, в Наполеоне как «великом человеке». В концентрированном виде этим периодам соответствуют три узловых, своего рода кульминационных эпизода: обед в Английском клубе в честь Багратиона, бал накануне нового 1810 года (данный эпизод оказывается судьбоносным и для ряда других персонажей), ужин с капитаном Рамбалем. Именно в этих эпизодах недовольство героя собой и «миром» достигает наивысшей степени. Так в нем постепенно накапливается «экзистенциальное» — неосознаваемое — открытие, согласно которому решающим в его судьбе и судьбу определяющим является не тот или иной внешний объект или же субъект (Элен, «благодетель» Баздеев, Наполеон) и даже не «весь мир», а он сам. И тогда выходит — «изменяя себя, изменяю мир».

«Изображая отношения между человеком и внешним миром, — замечает Л. Гинзбург, — рационалистическая поэтика трактовала этот мир как предмет устремлений человека. Устремления эти и их объекты могут быть возвышенными (герои од и поэм, проявляя доблесть, достигают желанной славы) и могут быть «низкими», соответственно чему жизненный материал и распределялся по жанрам»³². Отсюда становится ясно, что «жанровый подход» к исследованию особенностей художественной реальности эпических произведений все-таки возможен, но лишь в контексте холистического подхода: единая бытийная «схема» будет иметь жанровые варианты. Сравнительное же изучение *мира и художественной реальности* того или иного эпического жанра на основе системных или структурных единиц анализа (например, тех,

что выделяет Ц. Тодоров)³³ невозможно, поскольку единицы эти окажутся одинаковыми в рассказе, повести и романе, а их комбинации едва ли будут иметь жанровые инварианты. Фундаментальный инвариант дает только бытие героя, независимо от того, злодей он или праведник. «Литература, — читаем у С. Залыгина, — то и дело шла от человека к миру, Толстой — от мира к человеку. Значит, здесь неизбежна философия»³⁴. Философия — в смысле онтология, а идти от мира к человеку — значит отказаться от рационалистических схем, типологий и алгоритмов. Это Толстой-мыслитель с трудом изживал в себе рационализм (так до конца и не преодолев его), а Толстой-художник легко и уверенно шел по пути отрицания рационализма, тем самым уподобляясь своим героям.

Отрицание — способ проявления оценки. А принятие некоего результата вследствие отрицания есть утверждение выделенного (созданного) бытия. «Человек, определяясь через отрицание, через нетствование не оказывается небытием, а получает определенность бытия, причем бытия значимого. Эта значимость бытия выражается в его самотождественности. Здесь индивид отождествляет себя с самим собой благодаря «абсолютному отношению к абсолюту» (Кьеркегор) как пункту самотождества. Абсолют и есть эта точка самоотождествления»³⁵. Отрицая, герой в то же время и утверждает, поскольку произвольно делает экзистенциальный «набросок» (Хайдеггер) собственного апофатического бытия, пусть с не вполне определенными сущностными характеристиками, зато с безусловно положительными значениями.

В «Войне и мире» последовательными «отрицателями» являются прежде всего князь Андрей, княжна Марья (до замужества), позднее к ним примыкает Пьер. Совсем иной тип личности являют собой юные Николай и Наташа Ростовы: их бытие состоит в восторженном возвещении совершенства мира и собственной, так сказать, «мироразмерности» (Хайдеггер). Лишь иногда апофатическое пространство «кажет» (Хайдеггер) им свою «жуть»: для Николая это бывает в минуты *растерянности*, когда он не может *найти себя*, для Наташи — в те моменты, когда кто-то из близких страдает (увидев плачущую Соню, она тотчас тоже принимается плакать). И если именины (9, 47—49, 78—83) — это акт *конфирмации* героини, то ночь в Отрадном (10, 156—157) — акт *аффирмации*: безоговорочное приятие мира, восторг перед ним и собственное растворение в таком мире в ситуации

«первобытия» (Хайдеггер): «Ах, какая прелесть!.. Ведь этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало». Эта ночь и знаменует собой Абсолют, когда, возвысив *мир*, героиня и себя возвышает до этого мира. Восторженно воспринимает Наташа и деревенский мир своего малознакомого дядюшки в финале эпизода охоты и легко «входит» в этот мир. Но подобная «восторженность» рано или поздно сменится на свою противоположность (в романе-эпопее просто невозможен однозначно «идиллический» герой). И потому трудно согласиться с уважаемыми авторами учебного пособия для вузов, утверждающими, что «неозабоченность положительных героев «Войны и мира»... собственным местом в жизни — результат и выражение их глубокой, органической *сопричастности бытию как целому*»³⁷. Как раз *такие* герои озабочены — и еще как! — своим местом в жизни. А «бытие» в данном контексте — всего лишь красивая «философская» метафора, а не строгий термин с определенным значением.

В полной мере апофатическое пространство «охватит» Наташу после ее неудавшегося побега с Анатолом Курагиным, а Николая — после смерти отца и открывшейся бездны бедности. То есть тот Абсолют, который естественным порядком (в ситуации «первобытия») обрели юные Наташа и Николай, оказался ложным, кажущимся, милым очарованием детства. А «зачарованные» герои неспособны к рефлексии, они «антиисторичны», поскольку лишены памяти и не делают «набросков» будущего. Подлинное движение к Абсолюту у Наташи начнется после смерти брата Пети, а Николая к активной жизни возродят слезы княжны Марьи. Более «правильную» конфигурацию имеют фабульные линии князя Андрея и Пьера, где череда «сдвинутых по фазе» (взаимно несовпадающих) «взлетов» и «падений» составит путь, ведущий к Истинному Абсолюту.

Абсолют возникает как результат остановки *негации* («отрицательности»), преодоления противостояния миру. Конечно, *негация* может и не останавливаться, но в таком случае она перестает быть продуктивной (что и происходит с А. Болконским; предельный случай, когда *негация* становится сущностной характеристикой личности героя, уничтожая его самого, являет нам пример *нигилиста* Базарова из тургеневских «Отцов и детей»). Тотальная, всепоглощающая *негация* непременно приводит героя к тому или иному негативному же результату, чаще всего — к смерти. *Негация* может проявляться не только в отношении ценностей, так или иначе заявленных в фабульной

реальности, но и тех ценностей или просто предпочтений, которым следует автор (это особенно характерно для Толстого 50–60-х годов). Так, ранение Долохова на дуэли, невятно мотивированная смерть Элен и мучительная гибель Анатоля Курагина происходят не по «логике фабулы», а по прихоти автора.

Если же негация становится продуктивной, то все заканчивается утверждением самодостаточности Я. Основанием определенности, считает Конев, тут выступает второй *modus operandi* утверждения индивидуальности, который обязательно включает в себя акт бытийной аффирмации — реальный поступок. Этот «пункт абсолюта», возникающий в результате отделения себя от окружения, становится основанием цельности и самоопределенности героя как личности (наиболее яркий пример — все из того же Тургенева: *поступок* Рудина в эпилоге одноименного романа).

«Отделены от окружения» (в том числе в силу естественных причин) практически все толстовские персонажи, обреченные на смерть (но если больной ямщик Федор в рассказе «Три смерти» отделен *другими*, то барыня Марья Дмитриевна сама себя подвергает изоляции). Такому «отделению» соответствуют отъезд Оленина на Кавказ, затворничество Пьера и чтение им сакральных книг (что напоминает *работы декабристов*), а впоследствии — пребывание в плену (что равносильно изоляции), далее — болезнь Наташи (тоже форма изоляции) и, наконец, приключившаяся вследствие смертельного ранения болезнь князя Андрея. Вынужденная жить в деревне, «отделена от окружения» княжна Марья. Подвергает себя невольной самоизоляции потеряв сына графиня Ростова. Практически вся жизнь Н. А. Болконского — во временных рамках романа — сплошное «отделение от окружения» (по причине ссылки, случившейся еще при Павле I). Как насильственное отделение от привычного — светского — окружения воспринимают свое пребывание в Лысых Горах Лиза Болконская и m-лле Бурьен (зато Анатолий Курагин и здесь ощущает себя в привычном — дамском — окружении). Прекращение супружеских отношений с Пьером Элен воспринимает как «поражение в правах» по причине нежелательного для себя удаления от сословных и имущественных привилегий.

Одним из лучших поступков Пьера, совершаемых «необдуманно», в результате естественного порыва, определенно можно считать спасение от смерти капитана Рамбала. Возымев намерение убить Наполеона,

он парадоксальным образом спасает жизнь офицеру наполеоновской армии, утверждая тем самым собственную самотождественность: истинный Пьер добр, мягок, застенчив — в общем, такой, что «мухи не обидит». Такой герой не способен на злодейство, какими бы благими намерениями это злодейство ни оправдывалось. Таким образом, собственное спасение героя может осуществляться не только напрямую, но и опосредованно — через спасение другого.

И вот тут в бытийной формуле Конева открывается решающий момент. Оказавшись в точке утверждения (или точке веры, или точке абсолюта, или точке индивидуальности), возникающей в апофатическом пространстве в результате отрицаний, литературный герой тем самым оказывается в смысло-временном пункте. «Время рождается в “экзистенциальной пространственности” (Хайдеггер) Дантовых координат и формально, и содержательно. Формально, потому что негация и аффирмация — это разные *состояния*, которые могут быть как разделены в своем свершении, так и совпадать в своем свершении (т. е. во времени). Содержательно — потому что, совершая некий акт негации (воздержания, *erosche*), индивид обнаруживает для себя ценности, которые он уже знал или еще не знал»³⁷. В подобные моменты время проявляет свой темпоральный характер, и тогда обнаруживаются «этажи» сознания, где идет «параллельная жизнь» (на самом деле речь идет о взаимодействии таких фундаментальных структур сознания, как *интенциональность* и *горизонтность*), а фабульная реальность и в предметном, и в экзистенциальном смыслах обнаруживает такое свойство, как *симультианность*. Так, во время ужина с капитаном Рамбалем «Пьер следил за всем тем, что говорил капитан, понимал все и вместе с тем следил за рядом личных воспоминаний, вдруг почему-то представших его воображению. Когда он слушал эти рассказы любви, его собственная любовь к Наташе неожиданно вдруг вспомнилась ему и, перебирая в своем воображении картины этой любви, он мысленно сравнивал их с рассказами Рамбала. Следя за рассказом о борьбе долга с любовью, Пьер видел перед собою все малейшие подробности своей последней встречи с предметом своей любви у Сухаревой башни. Тогда эта встреча не произвела на него влияния; он даже ни разу не вспомнил о ней. Но теперь ему казалось, что встреча эта имела что-то очень значительное и поэтическое» (11, 376). Обыденное, обычное, привычное в такие моменты может осознаться как высшая ценность, или как *смысл* (в том значении, в каком его понимает В. Франкл).

При этом рассматриваемый нами *modus operandi* может выступать, по терминологии Хайдеггера, как модус *дефективный*, когда та или иная ценность или истина остается незамеченной героем: «Князь Андрей не понял, что значит каждое данное мгновение для Наташи. Оно значит для Наташи то же самое, что оно значит для самой жизни. Жизнь всегда — вся, целиком, как она есть, во всей ее бесконечности и наполненности, — сосредоточена в каждом данном отдельном мгновении. И вместе с тем жизнь переливается через края *этого* мгновения — в бесконечность...»³⁸ Таким образом, реальному поступку — в дефективном модусе — будет соответствовать *отсутствие поступка*, причем это «отсутствие» будет *реально* представлено в той реальности, которую мы называем *фабульной* (классический пример — бездействие Обломова).

«Так в смысловременной структуре Дантовых координат появляется точка катафатической (*katafasis* — утверждение) ценности... Это третий *modus operandi* определения человека: теперь, когда я занял свое место, мир определился, поэтому “на том стою и не могу иначе”. Личность стала реальностью (то есть *реализовалась*. — В. Я.). Личность утверждает свою (себя и мира) реальность, что и выступает онтологическим основанием постоянства человека и его определенности»³⁹. Уже поздней ночью Пьер вместе с Рамбалем выходят на улицу, освещенную заревом первого московского пожара. «Глядя на высокое звездное небо, на месяц, на комету и на зарево, Пьер испытывал радостное умиление. «Ну, вот как хорошо! Ну, чего еще надобно?» — подумал он. И вдруг, когда он вспомнил свое намерение убить [Наполеона], голова его закружилась, с ним сделалось дурно, так что он прислонился к забору, чтобы не упасть» (11, 377). Здесь «не упасть» равнозначно выражению «не пасть». Внутренняя целостность, фундированная целостностью бытия (не наоборот!), удерживает героя от грехопадения.

В эпилоге «Войны и мира» Толстой сделал акцент на *осуществлении* судьбы только двух персонажей — Пьера и Наташи, остальных выведя за скобки. Но промелькнувшие на «заднем плане» В. Денисов и Н. Ростов тоже *осуществили* (реализовали) каждый свою судьбу. Подобное осуществление, таким образом, может иметь *дефективный* (не-осуществление) и *индифферентный* модусы. Соня, по словам Наташи, — «пустоцвет», но это вовсе не означает, что она не соответствует принципу бытия человека и что ее романная жизнь не осу-

ществилась. Все это лишний раз подтверждает, что художественная реальность — это по преимуществу реальность героя.

Даже «постоянство» человека и его «определенность» могут иметь дефективный модус. «Пробуждение от жизни» князя Андрея «сопровождается изменением отношения... к жизни... Первый раз, на Аустерлице, умирающий Андрей прощался с суетными мечтами о славе; здесь он прощается с самыми главными ощущениями жизни — перестает понимать ее смысл»⁴⁰. В начале же первого тома князь считает бессмысленной ту «жизнь», которую он ведет «здесь» — то есть в светском Петербурге.

По мнению Л. Гинзбург, «структурное единство, принцип связи отдельных, последовательных проявлений персонажа закладывается его экспозицией, той типологической моделью, которая нужна для первоначальной ориентации читателя»⁴⁵. Данное утверждение справедливо не только в отношении князя Андрея. Первое появление Наташи на страницах «Войны и мира» стремительно: «Вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка <...>. Очевидно было, что она нечаянно, с нерасчитанного бега, заскочила так далеко» (9, 47). В дальнейшем в каждом своем поступке Наташа всегда будет заходить «слишком далеко», соответствуя заданной Толстым «типологической модели». А Долохова читатель впервые «видит» сидящим на откосе окна — на границе двух пространств (замкнутого и открытого). Впоследствии Долохов всегда и везде будет находиться в пограничных ситуациях. Подобная самождественность персонажей есть, по сути, их тождественность единому, общему для всех бытийному принципу.

Определение человека по Дантовым координатам — это определение его свободы и ее содержания, это формирование самой способности человека утверждать свою судьбу, быть для себя «господином» и «первосвященником», как об этом говорит Вергилий своему спутнику. «Став событием мира, индивидуальность входит в него так, что она не может мыслить мир без своего действия и присутствия. Индивидуальность, по выражению М. Бахтина, обречена на «не-алиби в бытии» — всегда присутствие в мире. Поэтому ее действие — это всегда действие «*Actus a recentiori*» («Приведение в движение из настоящего»), которое открывает ей ее единственное время — время ее настоящей жизни, время, в котором должно проявиться и прошлое

(все прошлое!), и будущее (все будущее!). Так человек как индивидуальность становится не только сам определенностью и цельностью, но и становится основанием цельности и определенности мира, за который он отвечает»⁴⁶. Всякая попытка героя «стереть прошлое», «начать с чистого листа» и т. п. неизбежно приводит к утрате самодостовенности, и тогда *целость* становится труднодостижимой. Тогда герой обретает целостность в муках или — буквально по Хайдеггеру — в смерти.

Несмотря на несколько вольное обращение с терминами, свойственными экзистенциальной аналитике Хайдеггера, философ В. А. Кожев тем не менее сумел отыскать действительно весомую основу для обретения целостности личностью — принцип бытия человека. Из представленного выше аналитического обзора видно, что данный принцип практически полностью справедлив для определения целостности бытия литературного героя. Поскольку, как нами было установлено ранее, *мир произведения* и читателем, и литературоведом воспринимается по преимуществу как мир героя, целостность этого мира обусловлена бытийной целостностью героя. «Мирность» такого мира принадлежит к основоустройству героя как *присутствия*. Соответственно *реальность* этого героя есть реальность художественная. Она обладает онтологическим статусом, и вслед за Хайдеггером мы можем определить ее как *присутствиеразмерное бытие* — *со-бытие*. Анализ такого бытия отнюдь не ведет к разрушению художественной реальности как целостного эстетического объекта, а позволяет выявить ее сущностные характеристики.

Нетрудно заметить, что три *modus'а operandi*, задающие определенность бытия человека, сущностно соответствуют трехчленной сюжетной схеме В. Я. Проппа («недостача», «противоборство героя и его антагониста», обретение героем искомого)⁴⁷. «Наджанровый» характер схемы указывает на ее бытийную универсальность. Это лишний раз подтверждает приемлемость предлагаемого подхода, в соответствии с которым художественная реальность литературного произведения изначально рассматривается как реальность героя. А литературный герой (персонаж) воспринимается читателем не столько онтически, сколько, во-первых, экзистенциально (то есть через себя — через собственный *набросок*), а во-вторых, онтологически (в нашем случае — в соответствии с бытийной схемой, включающей три *modus'а operandi*). Проще говоря, персонаж воспринимается читателем как объект и в то

же время как субъект — *эмпатийно*, через себя и собственное бытие (точнее, через соотношение собственного бытия с бытием персонажа).

Здесь возможны возражения того рода, что в эпическом произведении (а в эпике Толстого — особенно) *художественная реальность всегда шире реальности героя*. В самом деле, какое отношение к реальности героя могут иметь авторские отступления? Оказывается, самое прямое. По мнению Л. Гинзбург, «для Толстого рассуждение, прямо высказанная мысль были равноправным элементом в том «лабиринте сцеплений», каким представлялось ему искусство»⁴⁴. Б. Эйхенбаум указал на конструктивное и жанровое значение философских отступлений «Войны и мира», на их связь с эпическим характером произведения⁴⁵. А. Сабуров подробно проследил связь отступлений с основным художественным текстом романа-эпопеи и обнаружил, что не только исторические личности, но и вымышленные герои вторгаются в философско-исторические отступления автора⁴⁶.

Другое дело, что художественная реальность — это и в самом деле не только реальность героя, но и реальность читателя, в эстетической деятельности которого художественная реальность и проявляется. Кроме того, именно читатель осуществляет возможность существования вновь открытого таким образом авторского смысла, что, в свою очередь, также включает автора в многомерное пространство художественной реальности. По мнению самого Толстого, «цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету» (30, 19). Говоря коротко, таким «цементом» Толстой считал присущую автору *систему ценностей*.

Особенности художественной реальности «Войны и мира» определяются и авторскими отступлениями, что свидетельствует о явной попытке управлять такой реальностью и, соответственно, о недостаточном доверии герою. Отсюда вытекает и вторая главная особенность такой реальности, которую можно определить как авторский произвол в отношении сюжетных линий некоторых героев и как недоверие герою как творцу собственной реальности и — более того — художественной реальности в целом. Толстой, как известно, вспоминал, что Пушкин как-то одному из своих приятелей сознался: «Представь, какую штуку уделала со мной Татьяна! Она — замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее». И продолжал: «То же самое и я могу сказать

про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы: они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не что мне хочется...»⁴⁷ Однако это — мысль зрелого Толстого. В 50—60-е годы он решительно и жестко пытается «вести» своих героев по фабульной действительности. «В дотолстовской прозе, — отмечала Л. Гинзбург, — характер был всегда целеустремленным, предназначенным к выполнению определенной задачи... Этого нельзя сказать об основных персонажах Толстого»⁴⁸. Об основных, пожалуй, нельзя, но функции и судьбы второстепенных персонажей, особенно тех, которые ему не были симпатичны, определяет сам автор.

Это позволяет выявить анализ художественной реальности в рамках холистического подхода, который исключает оценочное отношение к героям. Явной заданностью отличаются и персонажи рассказа «Три смерти», тогда как в более поздних произведениях на тему смерти фабульная реальность определяется именно в соответствии с принципом бытия человека. При этом Иван Ильич, например, становится определенностью и цельностью и — одновременно — основанием цельности и определенности мира у самой последней черты («Смерть Ивана Ильича»). Но полностью ли доверяет «зрелый» Толстой своему герою? Едва ли, поскольку в неоконченной повести «Записки сумасшедшего», к которой Толстой возвращался вплоть до 1903 года, он вновь заставляет своего героя биться и метаться в ожидании скорого конца. В этом определенно сказалось состояние самого Толстого, остро ощущавшего неполную реализацию своей судьбы.

И последнее. Толстому, как и всякому автору, в рамках локального текста также присущи три *modus'а operandi*, поскольку бытие художника — это, безусловно, бытие человека. И завершение произведения — это стремление к собственному осуществлению, к собственной бытийной целостности, а не только к «оцелнению» выполняемой работы (как известно, работая, Толстой никак не мог остановиться и всегда мучительно выписывал финал). Соответственно и бытие читателя включает три названные модуса, которые реализуются не в линейной последовательности, а темпорально. Это и есть, по сути, совмещение «трех присутствий» в одной — многомерной — реальности, реальности героя как со-бытия. Процессуальная развертка трех модусов и их строгая последовательность могут иметь место лишь как методический прием — в целях связанного научного описания.

Предложенная В. А. Коневым интерпретация бытия человека, разумеется, не единственная. В литературоведческих исследованиях могут быть использованы и другие модели и схемы. Подход Конева ценен тем, что им была сделана интерпретация бытия человека на основе целостного рассмотрения его судьбы. Мы же двигались в обратном направлении.

¹ См.: Федоров В. В. О природе поэтической реальности. М., 1984.

² Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого: Проблематика и поэтика. М., 1959. С. 4.

³ Л. Н. Толстой о литературе. М., 1955. С. 156.

⁴ Цит. по: Бочаров С. Г. «Война и мир» Л. Н. Толстого // Три шедевра русской классики. М., 1971. С. 99.

⁵ Камянов В. И. Поэтический мир эпоса. М., 1978. С. 4, 288–289.

⁶ Там же. С. 2.

⁷ Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С. 67.

⁸ Философский энциклопедический словарь. М., 2002. С. 20.

⁹ Хайдеггер М. Указ. соч. С. 153.

¹⁰ Там же. С. 486, 233.

¹¹ Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 284–285.

¹² Ганс Е. С. Проблема целостности человека и парадигмы философского мышления // Человек в культуре России: Материалы X Всероссийской научно-практической конференции. Ульяновск, 2002. С. 9.

¹³ См., напр.: Шестов Л. И. На Страшном суде // Шестов Л. И. На весах Иова. М., 2001. С. 110–166.

¹⁴ Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1976. С. 299.

¹⁵ Тезис о внеположности реальности автора и реальности героя подробно разработан В. В. Федоровым в его работе «О природе поэтической реальности» (М., 1984).

¹⁶ Гинзбург Л. Я. Указ. соч. С. 275.

¹⁷ Бычков С. П. Л. Н. Толстой: Очерк творчества. М., 1954. С. 305.

¹⁸ См.: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974.

¹⁹ Конев В. А. Принцип бытия человека как основа целостности личности // Человек в культуре России: Материалы X Всероссийской научно-практической конференции. Ульяновск, 2002. С. 3–5.

²⁰ Гинзбург Л. Я. Указ. соч. С. 302.

- ²¹ Там же. С. 305.
- ²² К о н е в В. А. Указ. соч. С. 3.
- ²³ Там же. С. 3.
- ²⁴ Х а й д е г г е р М. Указ. соч. 2003. С. 240.
- ²⁵ Человек в культуре России. Ульяновск, 2002. С.3.
- ²⁶ Г и н з б у р г Л. Я. Указ. соч. С. 310.
- ²⁷ Человек в культуре России. С. 3, 4.
- ²⁸ Там же. С. 4.
- ²⁹ Х а л и з е в В. Е. Теория литературы: Учебник. 2-е изд. М., 2000. С. 167.
- ³⁰ Человек в культуре России. С. 4.
- ³¹ Цит. по: Х р а п ч е н к о М. Б. Лев Толстой как художник. М., 1965. С. 53.
- ³² Г и н з б у р г Л. Я. Указ. соч. С. 273.
- ³³ Т о д о р о в Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 37–113.
- ³⁴ З а л ы г и н С. П. Литературные заботы. М., 1979. С. 234.
- ³⁵ Человек в культуре России. С. 4–5.
- ³⁶ Х а л и з е в В. Е., К о р м и л о в С. И. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир»: Учеб. пособие для пед. ин-тов. М., 1983. С. 20.
- ³⁷ Человек в культуре России. С. 5.
- ³⁸ Е р м и л о в В. В. Толстой-романист. М., 1965. С. 225.
- ³⁹ Человек в культуре России. С. 5.
- ⁴⁰ Ш к л о в с к и й В. Б. Заметки о прозе русских классиков. М., 1955. С. 277.
- ⁴¹ Г и н з б у р г Л. Я. Указ. соч. С. 272.
- ⁴² Человек в культуре России. С. 5.
- ⁴³ Х а л и з е в В. Е. Сюжет // Введение в литературоведение: Литературное произведение. М., 1999. С. 384.
- ⁴⁴ Г и н з б у р г Л. Я. Указ. соч. С. 312.
- ⁴⁵ Э й х е н б а у м Б. М. Лев Толстой. Кн. 2. Л.; М., 1931. С. 375–378.
- ⁴⁶ С а б у р о в А. А. Указ. соч. С. 448–464.
- ⁴⁷ Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 231–232.
- ⁴⁸ Г и н з б у р г Л. Я. Указ. соч. С. 309.

М. А. Можарова

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КОМЕДИИ «НИГИЛИСТ»*

В конце августа 1866 года в Ясной Поляне ждали гостей. К именинам Софьи Андреевны Толстой должны были приехать Татьяна Андреевна Берс, Мария Николаевна Толстая с дочерьми и Дмитрий Алексеевич Дьяков с семьей. Софья Андреевна сделала об этом запись в дневнике 27 августа. В следующий раз она обратилась к дневнику только 12 ноября: «У нас было так весело эти три недели от начала сентября <...>. Когда я долго не пишу журнал, мне жалко, что я не записываю свою счастливую жизнь. Эти три недели у нас гостили Дьяковы, Машенька с девочками, Таня, и была такая между нами дружба, такие простые, дружеские, легкие и приятные отношения, что, я думаю, редко можно встретить что-нибудь подобное. Я так радостно вспоминаю и 17 сентября, с музыкой, которая меня так удивила и обрадовала за обедом, и при этом милое любящее выражение Левы, и этот вечер на террасе при свете фонарей и огарочков, и оживленные, молодые фигуры барышень в кисейных белых платьях, маленький добродушный Колокольцев...» Сюрпризом для Софьи Андреевны стало приглашение в день ее именин военного оркестра из Ясенок и устроенный Львом Николаевичем танцевальный вечер. В дневнике она отметила: «Я сама удивлялась, что я, солидная, серьезная, танцевала с таким увлечением»¹.

Двадцатидвухлетняя хозяйка дома в компании сестры Тани, которая была двумя годами моложе ее, шестнадцатилетних Вари Толстой и Маши Дьяковой, четырнадцатилетней Лизы Толстой и Софьи Робертовны Войткевич — гувернантки Маши Дьяковой, которой было «лет 20—22»², забывала о своей «солидности», принимая участие и в музыкальных вечерах, и в разыгрывании шарад, и во всех веселых затеях молодых гостей.

* Работа подготовлена при поддержке РГНФ; грант № 08-04-00472а.

Позже Т. А. Кузминская вспоминала, что шарады, «нашего же сочинения», которые разыгрывались по вечерам, «навели Льва Николаевича на мысль написать пьесу» для домашнего спектакля, и он «в каких-нибудь 3—4 дня» написал комедию и назвал ее «Нигилист»³. О сюжете и постановке этой пьесы она рассказала в своих воспоминаниях о Марии Николаевне Толстой и в книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне». Последовательно содержание комедии Татьяна Андреевна изложила также 11 января 1919 года в письме к Н. В. Давыдову, который в это время писал статью о пьесах Толстого 1850—1860-х годов.

Сюжет комедии «Нигилист» был таков: «В деревне у себя живут молодые муж и жена. Они любят друг друга, живут тихо и уединенно. К ним приезжают погостить родственники, теща с двумя девицами, затем студент, пропитанный современными идеями. Начинается веселая, шумная, молодая жизнь: пикники, танцы, пение... Студент с идеями во всем принимает участие, но при этом красноречиво, не пропуская удобного случая, проповедует свои идеи барышням, жене помещика, теще, и даже, поймав где-то странницу, зашедшую в дом по пути в Киев, отвергает все, во что она верит... Барышни влюбляются в студента. Теща очарована его умом. Муж начинает ревновать свою жену к студенту; ему кажется, что и она заражена общим увлечением, он делает ей сцены ревности. В доме тишина и мир нарушены. Происходит сумбур: споры, проповеди, объяснения в любви, шум, всё перепутывается и смешивается; муж не верит ей и следит за нею. Студент, действительно, начинает слегка ухаживать за женой, возбуждая ревность молодых девушек. И одна лишь странница остается верна своей вере в чудеса мирра, точащегося из щечки Богородицы, и жена остается верна своей любви к мужу и старинным традициям веры. Кончается тем, что студента выпроваживают и тишина и спокойствие водворяются в доме с примирением мужа с женой» (7, 414).

Роли в комедии, за неимением мужчин-актеров, как сообщает Т. А. Кузминская, были распределены следующим образом: Софья Андреевна играла мужа, Татьяна Андреевна — жену, Софешь (губернантка Дьяковых) — тещу, Варя Толстая и Маша Дьякова — двух молодых девушек, Лиза Толстая — студента-нигилиста. Роль странницы, после долгих уговоров, согласилась сыграть Мария Николаевна Толстая, но с условием, что Лев Николаевич не будет писать для нее роли, которую она никогда не выучит, а только наметит ее выходы,

и уж она сама придумает, что говорить. Эта роль, и в особенности сцены странницы со студентом, по словам мемуаристки, оказались самыми удачными и яркими в комедии. «Если бы я не знала, что это Мария Николаевна, я бы не узнала ее, — вспоминала Татьяна Андреевна. — Одежда, грим, походка, котомка за спиной — все было точь-в-точь, как у настоящей странницы. Одни черные большие глаза были ее. Как она поклонилась с палкой в руке вроде посоха, как она подала мне прошивку и села, по моему приглашению, за стол — все было как настоящее, непринужденное, не сыгранное. Я взглянула на Льва Николаевича. Он положительно сиял от удовольствия. <...> Казалось, что все, что слышала Мария Николаевна в течение многих лет от странниц, она все ввела в свой рассказ. Все слилось в одно длинное, комическое и верное повествование»⁴.

По прошествии лет Т. А. Кузминская горько сожалела, что и рассказы странницы, и проповеди нигилиста, и вообще вся пьеса навсегда утрачены: «И подумать только, что никто из нас не записал этой комедии! Переписанные роли были брошены, как ненужная бумага. Так мало придавалось значения в те годы тому, что писал Лев Николаевич»⁵.

Действительно, о поставленном в яснополяском доме спектакле, о написанных Львом Николаевичем ролях, об импровизационной игре Марии Николаевны мы можем составить себе представление только по воспоминаниям очевидцев. Но не все бесследно исчезло. Сохранились две рукописи с названием «Комедия в трех действиях». В первой из них, более ранней, написанной рукой Софьи Андреевны, есть исправления и дополнения Толстого. Во второй, более полной рукописи, написанной рукой Варвары Валерияновны Толстой, авторской правки нет. Вторая рукопись представляет собой не вполне точную копию первой рукописи: в ней есть и пропуски, и дополнения, больше ремарок, включены также стихи, отсутствующие в первой рукописи. На обложке первой рукописи рукой С. А. Толстой написано карандашом: «Нигилист? Комедия в трех действиях». Ниже чернилами: «Продолжение Комедии [Нигилист] Зараженное семейство».

Мнение о том, что «Комедия в трех действиях» является ранней редакцией не дошедшей до нас комедии «Нигилист», разделяют все исследователи, обращавшиеся к этой теме: В. Ф. Саводник (7, 416)⁶, В. И. Срезневский (11, 458), составители «Описания рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого»⁷, К. Н. Ломунов. В книге

«Драматургия Л. Н. Толстого» К. Н. Ломунов обоснованно сопоставляет комедию «Нигилист» с ранней редакцией «Зараженного семейства»⁸.

У «Комедии в трех действиях» и «Нигилиста» много общего в развитии сюжета и в характерах персонажей, по есть и значительные отличия.

В «Комедии в трех действиях»:	В «Нигилисте»:
Глафира Федоровна, старая барыня.	Теща.
Фиона Андреевна, ее приживалка.	Странница.
Семен Иванович, сын Глафиры Федоровны, помещик лет 40.	Молодые муж и жена.
Марья Дмитриевна, его молодая жена.	Две девицы.
Люба, ее сестра.	
Наталья Павловна, подруга Любы.	
Николенька, гимназист, племянник Семена Ивановича.	Студент-нигилист.
Хрисанф Васильевич, студент, нигилист, учитель Николеньки.	

В составе, возрасте действующих лиц и в сюжетной линии «Комедии в трех действиях» легко узнаются реалии яснополянской жизни сентября 1866 года: шум, веселье, музыка, игры. В основе сюжета комедии — описание готовящегося к именинам Семена Ивановича поздравительного театрализованного представления. Не случайно, по-видимому, было выбрано и имя для помещика. Глафира Федоровна называет сына то Сеня, то Simon. На 12 сентября приходится день памяти Симеона Верхотурского, а на 28 сентября — Симона, епископа Суздальского. Софья Андреевна была именинницей 17 сентября, и подготовка домашнего спектакля в Ясной Поляне, несомненно, была связана с этим днем.

Роль гимназиста Николеньки могла быть написана для гостившего в Ясной Поляне «маленького добродушного Колокольцева», о котором упоминает Софья Андреевна. Вряд ли это был Николай Аполлонович Колокольцев, которому в 1866 году было уже восемнадцать лет. Скорее всего, это его младший брат, «меньшой Колокольцев», о котором Толстой упомянул в 1876 году в связи с тем, что юноша был «только что произведен» (62, 284—285), следовательно, в 1866 году он был в возрасте гимназиста.

В «Комедии в трех действиях», в отличие от «Нигилиста», вместо странницы — менее значительная роль приживалки Фионы Андреевны, сетующей на «новые порядки» и на то, что «генелисты завелись». Она только несколькими фразами выражает свое отношение к студенту и не вступает с ним в спор. Лишь одна реплика Фионы Андреевны: «Ай, страсти какие, студент* чертом нарядился!» — указывает на антагонизм этих персонажей. А в последних словах приживалки, обращенных к студенту: «Ай да нигилист, прострелил!» — выражено даже радостное удивление от увиденного представления.

В раннем тексте комедии студент Хрисанф Васильевич мало оправдывает звание нигилиста. Он не произносит проповедей, вполне безобиден и только смешон, барышни подтрунивают над ним. В конце комедии муж понимает, что его ревность к студенту была безосновательной, и все заканчивается общим примирением.

В комедии «Нигилист» оснований для недовольства и ревности мужа гораздо больше, и тема нигилизма звучит отчетливее. Студент проповедует идею равенства мужчины и женщины, которое, по его мнению, прежде всего выражается в том, что женщина должна «остричь свои длинные косы». Он отвергает почтение к родителям, богомольство называет «пустым шляньем», сравнивает Бога с «воздухом — кислородом», после чего странница, «крестясь и отплеываясь, как от нечистой силы», убегает от него. И главное различие комедий в финале — в «Нигилисте» «студента с идеями выпроваживают»⁹.

Почему для домашнего спектакля Толстым была избрана эта тема? Почему в первоначальный текст комедии вносились изменения и в результате тема нигилизма получила такое заостренное звучание?

Одна из причин этого видится в том, что Толстой так и не увидел на сцене написанную им в 1864 году комедию «Зараженное семей-

* Так же студента называет няня в комедии «Зараженное семейство».

ство». Возможно даже, что в начале августа 1866 года он беседовал о пьесе с В. А. Соллогубом, приехавшим погостить в Ясную Поляну¹⁰. Ведь именно у него продолжала храниться неопубликованная рукопись комедии. Очевидно, что Толстой и через два года не потерял интереса к теме нигилизма и стремился именно в драматической форме выразить свое отношение к этому явлению. Татьяна Андреевна запомнила, как радовали Толстого репетиции, как он учил девочек играть и как он говорил: «Как приятно писать для сцены. Слова на крыльях летят»¹¹.

На выбор темы для домашнего спектакля повлияло, вероятно, и еще одно обстоятельство — эпизод яснополянкой жизни, который на время омрачил счастливую семейную жизнь Толстых.

В своих воспоминаниях «Моя жизнь» Софья Андреевна писала: «Летом этого же 1866 года Лев Николаевич взял в управляющие какого-то разорившегося молодого дворянина из кадет. У него была хорошенькая, бойкая жена, стриженная нигилистка, любившая много говорить и умствовать. Не помню их фамилии; звали ее Марья Ивановна. Поселили их во флигеле, и так как я после родов еще никуда не ходила и болела, то Лев Николаевич сам взялся их устроить, для чего часто ходил во флигель и много болтал с хорошенькой Марьей Ивановной о литературе и о разных умственных предметах.

Меня это очень тревожило, и я ревновала ужасно Льва Николаевича, но в то же время особенно подчеркивала и преувеличивала свою любезность с Марьей Ивановной. К счастью, они прожили у нас недолго. Длинный и глупый бывший кадет оказался неспособен к хозяйству, да и ко всякому делу, а стоили они дорого, их и отравили»¹².

Толстой о своем недовольстве управляющим упомянул в письме брату Сергею Николаевичу: «Я, кажется, сделал глупость, взял управляющего барина с женой, 30 р. в месяц» (61, 145). В ответном письме Сергей Николаевич заметил: «Что управляющего барина взял, хотя и ошибся, очень понимаю, ибо по теперешнему недостатку во всякого рода прислуге Бог знает кого взять рад, и я то же бы сделал»¹³.

Первую запись в дневнике об управляющем и его жене Софья Андреевна сделала 19 июля: «У нас новый управляющий с женой. Она молода, хороша, *нигилистка*. У ней с Левою длинные, оживленные разговоры о литературе, об убеждениях, вообще длинные, неуместные; мучительные для меня и лестные для нее разговоры. Он проповедовал,

что в семью, в *intimité**, не надо вводить постороннее, особенно красивое и молодое существо, а сам первый на это попадает. Я, конечно, не показываю и вида, что мне это неприятно, но уже в жизни моей теперь нет минуты спокойной. <...> Напрасно Левочка так горячо ораторствует с Марией Ивановной. Теперь скоро час ночи, а я спать не могу. Точно предчувствие дурное, что будет эта управительская жена-нигилистка моей *bête noire***.»¹⁴.

Толстому, несомненно, интересен был тип женщины-нигилистки. Общение с Марией Ивановной могло добавить какие-то черты к уже созданному им два года назад образу эмансипированной стриженной Катерины Матвеевны Дудкиной. Н. Н. Гусев высказал даже предположение, что Толстому в период работы над «Зараженным семейством» или раннее вряд ли приходилось встречаться с теми женщинами, которых называли нигилистками, и при знакомстве с женой управляющего он «с большим вниманием вглядывался в этот новый для него тип женщины»¹⁵.

Софье Андреевне же присутствие Марии Ивановны становилось все тяжелее. 22 июля она записала в дневнике: «Нынче Лева ходил в тот дом под каким-то предлогом. Мария Ивановна мне это сказала, и еще разговаривал с ней под ее балконом. Зачем в дождь было ходить в тот дом? Она ему нравится, это очевидно, и это сводит меня с ума. Я желаю ей всевозможного зла, а с ней почему-то особенно ласкова. Скоро ли окажется негоден ее муж, и они уедут отсюда? А куда ревность измучает меня. <...> Я ее просто не могу переносить. Мне досадно глядеть на ее красоту, оживленность, особенно в присутствии Левочки». Через два дня была сделана еще одна запись, передающая то же настроение: «Нынче Левочка опять был в том доме и вследствие этого пожалел, что ей скучно. Потом спросил меня, зачем я не позвала их обедать. Если б я могла, я никогда бы не пустила ее в дом. <...> Авось откажут управляющему, и я избавлюсь от этой мучительной ревности к Марии Ивановне. Его жаль, а ее я не люблю».

Но еще прежде ожидаемого увольнения управляющего мучительное душевное состояние Софьи Андреевны изменилось. Дневниковых записей в июле она больше не делала, а 10 августа кратко отметила: «Ревность к Марии Ивановне ослабла совсем, она была почти не-

* Интимность (фр.).

** Злым гением (фр.).

основательна»¹⁶. О том, что тревога начала рассеиваться, можно судить даже и по самому факту отсутствия записей в период с 24 июля по 10 августа. Этот пробел отчасти восполняется письмом Софьи Андреевны к сестре Татьяне от 27 июля, из которого мы узнаем, что общество Марии Ивановны уже не тяготило Софью Андреевну: «У нас новый управляющий, бывший сам помещик, но у которого хозяйство шло так дурно, что он все бросил и пошел в управляющие. Он славный, простой, бывший кадет, длинный, страшный силач и молодой. У него жена восемнадцати лет, очень хорошенькая брюнетка, нигилистка, стриженная, болезненная, но довольно образованная, училась в петербургской гимназии. Мы с ней целые дни проводим, переписываем Лева, ездим за грибами, рассуждаем и спорим о литературе»¹⁷.

«Комедия в трех действиях» была написана Толстым в то время, когда вся молодая компания уже собралась в Ясной Поляне, то есть не раньше конца августа 1866 года. О появлении этой пьесы Т. А. Кузминская вспоминала: «Лев Николаевич добродушно относился ко всем нашим затеям. Однажды, глядя на представление нашей шарады, он сказал:

— Отчего вы не разучите какую-нибудь маленькую пьесу?

— Да где мы ее возьмем, а выписывать некогда, — говорила Соня.

— Напиши ты нам, — сказала я.

Несколько голосов подхватили:

— Да, да, Лев Николаевич, дядя Левочка, — кричали все. — Напишите нам!

— Хорошо, попробую, — сказал он»¹⁸.

Для домашнего спектакля Толстой выбрал тему, не только интересовавшую его как писателя, но имевшую также отношение к его частной жизни. Хотя ко времени создания комедии события, доставившие столько волнений Софье Андреевне, стали прошедшим, но, конечно, еще не забылись. «Комедия в трех действиях» могла быть именованным подарком Софье Андреевне. Не случайно Толстой придал своему сочинению форму благодушной шутки и закончил пьесу сценой общего примирения. В тексте комедии угадывается его желание развеять тревогу Софьи Андреевны, успокоить, рассмешить. Проявляется это даже в мелочах. Например, «костлявый» студент (7, 330) очень напоминает управляющего, которого Софья Андреевна дважды называет «длинным».

Впоследствии в пьесе, которая называлась «Нигилист», многое было изменено. По воспоминаниям Т. А. Кузминской, каждая репетиция

вносила что-то новое в развитие сюжета, текст постепенно менялся и дополнялся. В отличие от ранней редакции, где Семен Иваныч только удивлен и недоумевает, здесь мужу кажется, что жена его «увлекается студентом», он следит за ней, и «их мирная жизнь нарушается сценами ревности». Студент-нигилист уже не безобидный объект для розыгрышей барышень, он «молод, красив, развязан» и скорее похож на жену управляющего Марию Ивановну, «бойкую», «любившую много говорить и умствовать», как описывает ее Софья Андреевна. Завершается пьеса не примирением, а изгнанием нигилиста.

Возможно, в измененном сюжете комедии, поставленной на домашней сцене, отозвалось желание Софьи Андреевны поскорее расстаться с управляющим и его женой. Для такого предположения есть основания. В своих поздних воспоминаниях Софья Андреевна называет управляющего «глупым» и не находит ни одного сочувственного слова в его адрес. И в рассказе о Марии Ивановне нет даже намек на то примирительное настроение, которое выражено в ее письме Татьяне Андреевне от 27 июля и в дневниковой записи 10 августа. Так или иначе, но история недолгого пребывания управляющего и его жены в Ясной Поляне, несомненно, связана с замыслом и сюжетом комедии «Нигилист».

¹ ДСТ. Т. 1. С. 79–80.

² Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986. С. 309.

³ Кузминская Т. А. Мои воспоминания о графине М. Н. Толстой. СПб., 1914. С. 32.

⁴ Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. С. 311–312.

⁵ Там же. С. 313.

⁶ См. также: Толстой Л. Н. Неизданные художественные произведения. М., 1928. С. 143.

⁷ См.: Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого. М., 1955. С. 92.

⁸ Ломунов К. Н. Драматургия Л. Н. Толстого. М., 1956. С. 112.

⁹ Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. С. 310, 313.

¹⁰ См. запись в дневнике С. А. Толстой от 10 августа 1866 г.

¹¹ Кузминская Т. А. Мои воспоминания о графине М. Н. Толстой. С. 34.

¹² *Моя жизнь*. Тетрадь 2. С. 211–212.

¹³ *ПТСБ*. С. 304.

¹⁴ *ДСТ*. Т. 1. С. 77, 78.

¹⁵ *Гусев. Материалы II*. С. 626.

¹⁶ *ДСТ*. Т. 1. С. 78, 79.

¹⁷ *Гусев. Материалы II*. С. 626.

¹⁸ Кузминская Т. А. *Моя жизнь дома и в Ясной Поляне*. С. 310.

Коити Итокава

ОБ АНТИВОЕННОМ ПАФОСЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТОЛСТОГО

(Был ли «перелом» в творческом пути писателя?)

Принято употреблять термин «перелом», «кризис» (причем без кавычек) в отношении жизни и творчества Льва Толстого. При этом подразумевается, что «перелом» этот самоочевиден. Но так ли это? Действительно ли этот так называемый перелом имел место в жизни хозяина Ясной Поляны? На наш взгляд, тут остается множество вопросов. Попытаться ответить на них крайне важно, ибо взгляд на жизнь и творчество Толстого во многом зависит от того, целен или двойствен был жизненный путь писателя.

Сама «Исповедь» Толстого послужит одним из доказательств того, что в жизни ее автора никакого перелома не было. По сути дела, «Исповедь» является своего рода краткой духовной «автобиографией» Толстого. А биография немислима без изложения процесса становления человека от момента его рождения и до смерти (или же, как в данном случае, с детства и до времени написания произведения). Вот как начинается толстовская «Исповедь»: «Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили»¹.

В жизни и творчестве Толстого, так сказать, «в начале была двуединость» (если перефразировать известные слова Евангелия от Иоанна: «В начале было слово»). То, что составляет главное содержание позднего (то есть после «перелома») Толстого, наблюдается не только в зрелом творчестве писателя, но иногда и в раннем, даже в самом раннем (обратное тоже нередко бывает). Примечательно, что в «Набеге», над которым молодой Толстой работал почти одновременно, по крайней мере параллельно, с «Детством», уже звучит тема пацифизма, которая занимает центральное, едва ли не первое место

в мировоззрении Толстого после так называемого перелома. «Природа дышала примирительной красотой и силой. Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственнейшим выражением красоты и добра?»²

Здесь уже присутствует зародыш проповеди непротivления злу насилем, здесь ощущается дух Нагорной проповеди Иисуса Христа (что естественно, ибо заповедь о непротivлении злу насилем содержится именно в ней). И, быть может, не случайно именно в контексте восхищения красотой кавказской — то есть *горной* — природы возникает отзвук проповеди Христа, произнесенной тоже *на горе*, близ моря Галилейского (отсюда и название знаменитой проповеди). Красота природы присутствует и в Нагорной проповеди Иисуса Христа: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. <...> Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, ние прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Мф. 6, 26–29). Замечателен тот факт, что молодой Толстой, находясь на горном хребте Кавказа, то есть, так сказать, *на горе*, поднимался на духовную высоту, так же как и Иисус Христос возвышался духом на горе Галилейской. В связи с вышеприведенной выдержкой из «Набега» стоит, на мой взгляд, процитировать слова С. М. Толстого, внука писателя, который, также вспомнив рассказ «Набег», писал: «Что стало с поисками Толстым справедливости, любви и братства? <...> Этот вопрос до сих пор остается без ответа. <...> Неужели призыв Толстого, он ведь только повторил еще раз призывы Будды и Иисуса Христа, останется напрасным? Неужели “зеленая палочка”, тайна счастья человеческого, никогда не отыщется?»³

В «Севастопольских рассказах» тоже наблюдаются зачатки толстовского пацифизма. Правда, тут есть и ноты патриотизма — неотъемлемого атрибута войны и главного элемента джингоизма и милитаризма. Но примечательно, что второй рассказ (майский) кончается словами об истинном герое толстовского повествования: «Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому

должно подражать, в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны. <...> Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда»⁴. В повести, герои которой — не отдельные военные (добрые или дурные), а правда и истина, не может быть места джингоизму. Вот почему во втором рассказе севастопольского цикла, в отличие от остальных двух (первого и третьего), не господствует патриотизм — главная принадлежность джингоизма, милитаризма и войны.

Интересен тот факт, что у Толстого истина ведет к пацифизму, у Достоевского же, наоборот, истина ведет к джингоизму. Это столкновение мировоззрений двух великих русских писателей обнаружилось при обсуждении «восточного вопроса». В «Дневнике писателя» Достоевский нападает на Толстого, который в восьмой (последней) части «Анны Карениной», между прочим, выражает свои пацифистские взгляды в связи с Сербской войной 1870-х годов. Это столкновение двух писателей — по существу столкновение пацифизма с джингоизмом, уходящее корнями в борьбу вокруг истины. Для Толстого самое главное — истина, Достоевский же предпочитает истине Христа. В знаменитом письме к Н. Д. Фонвизиной (конец января — 20-е числа февраля 1854 г.) Достоевского пишет о своем «символе веры»: «Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»⁵.

Это письмо написано было в Сибири, сразу после выхода Достоевского из омского острога. А рассказ «Севастополь в мае» написан молодым Толстым в Крыму, где разгорелась очередная Русско-турецкая война. И характерно, что пацифистское мировоззрение Толстого создавалось именно на военном поприще, на Кавказе и в Крыму. Что касается христоцентричного мировоззрения Достоевского, то оно родилось в Сибири, на каторге. Поэтому как немыслимы жизнь и творчество Достоевского без Сибири и каторги, так немыслимы жизнь и творчество Толстого без Кавказа, Крыма и его участия в войне. Интересен при этом тот общий для обоих писателей факт, что их мировоззрение во многом складывалось на окраинах страны, а не в родных краях,

и не в обыденных обстоятельствах, а во время войны (у Толстого) и на картине (у Достоевского).

И очень значим, на мой взгляд, тот факт, что почти одновременно (в 1854 г. — Достоевский и в 1855 г. — Толстой) два писателя высказали свои незыблемые мировоззренческие позиции (правда, противоположные) относительно истины. Этот факт тем более привлекает наше внимание, что спустя без малого четверть века, в 1870-е годы, двум писателям суждено было столкнуться в связи с «восточным вопросом». Обнаруживается, что эта полемика, в ее глубинной сути, велась вокруг истины (у Толстого) и Христа (у Достоевского).

В «Анне Карениной» читаем: «Уже входя в детскую, он вспомнил, что такое было то, что он скрыл от себя. Это было то, что если главное доказательство божества есть откровение о том, что есть добро, то почему это откровение ограничивается одной христианской церковью? Какое отношение к этому откровению имеют верования буддистов, магометан, тоже исповедующих и делающих добро?»⁶ Это позиция истины, уходящая корнями в финальное признание «Севастополя в мае». Этой позицией продиктованы многие страницы более позднего творчества Толстого, в том числе страницы знаменитого трактата «Одумайтесь!», написанного по случаю начала Русско-японской войны.

В «Дневнике писателя» читаем: «Русский народ, понимающий восточный вопрос не иначе как в освобождении всего православного христианства и в великом будущем объединении церкви, если увидит, напротив, новые смуты и новый разлад, то будет слишком потрясен, и, может быть, глубоко отзовется и на нем, и на всем быте его всякий новый исход дела, особенно если оно в конце концов получит характер церковный по преимуществу. Вот по этому одному мы ни за что и никак не можем оставлять или ослаблять степень нашего нового участия в этом великом вопросе»⁷.

Нельзя не заметить великодушия и широты взглядов Толстого и, наоборот, ограниченности Достоевского (естественно, что пацифист великодушен, а джингоист ограничен). Автор «Дневника писателя» обвиняет автора «Анны Карениной» в обособленности. В чем укорит последний первого в ответ на это? В приспособлении к вкусам дня?

Строго говоря, эта полемика была односторонней, ибо, хотя Толстой высказал свое мнение по «восточному вопросу» в «Анне Карениной», он никак не отреагировал на суждения Достоевского об этом романе и на его высказывания по «восточному вопросу». Однако поле-

мика эта налицо, ибо один смело высказывал свое мнение по одному из самых насущных вопросов того времени, и другой серьезно реагировал на него.

Итак, *истина* или *христианство* в решении «восточного вопроса»? То или другое? Тут дело доходит до темы «Толстой или Достоевский» (в отличие от темы «Толстой и Достоевский»). Христианство Достоевского есть православное христианство (православие), как явствует из приведенной выше ссылки из «Дневника писателя». А православие неразрывно связано с идеей всеславянства в мировоззрении писателя, для которого, следовательно, «восточный вопрос» становится и всеславянским, и православным вопросом. Однако тут Достоевский попадает в западню, о которой не подозревает. Национализм в сущности своей клонится к джингоизму, милитаризму и войне. Всеславянство, будучи меганационализмом, не лишено этой тенденции. Автор «Дневника писателя» яростно встает на защиту балканских славян, исповедующих православие. Вопрос в том, что джингоист Достоевский, исповедующий православное христианство, явно нарушает заповеди Иисуса Христа. Хотя большинство славян, в том числе и Достоевский, — *православные* христиане, все-таки они христиане, которые обязаны соблюдать заповеди Христа. Но джингоист неизбежно допускает, а иногда и поощряет массовое убийство. «Не убивай», важнейшая из евангельских заповедей, запрещает всякое убийство, тем более массовое. А тот, кто нарушает эту заповедь, нарушает и другие заповеди, в том числе и заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя», ибо нечего и говорить о том, что он не любит, как самого себя, того ближнего, которого убивает. И еще: войне часто сопутствует прелюбодеяние, которое в Евангелии запрещается гораздо строже, чем в «Исходе». Поистине война повинна перед Евангелием и всей Библией. А как виновен перед Богом джингоист — тот, кто толкает людей на войну! И как виноват перед христианством джингоист Достоевский, настойчиво толкавший русский народ к участию в сербской войне!

Приходится сомневаться в христианстве Достоевского как автора ряда статей по «восточному вопросу». И заодно приходится сомневаться в «святом» православии, ради которого (и ради православного народа) Достоевский, в отличие от Толстого, дерзал нарушать святые заповеди самого Иисуса Христа. И не забудем, что он же в свое время дерзнул предпочесть Христа истине, тем самым предав Христа. Что такое вера в Христа без соблюдения заповедей Христа? Не является

ли такая вера неверием в Христа? Нередкое упоминание в «Дневнике писателя» о средневековых Крестовых походах служит еще одним доказательством того, что христианство Достоевского не пацифистское, а джингоистское. А джингоистское христианство выдает лжехристианскую и даже антихристианскую сущность свою.

Эпопея «Война и мир» является синтезом двух тематических ветвей, возникших в творчестве молодого Толстого. Первая ветвь — семейная тема, начатая автобиографической трилогией «Детство», «Отрочество», «Юность». Вторая ветвь — военная тема, тема кавказских и крымских военных рассказов. Война составляет одну из двух половин названия эпопеи «Война и мир». И эта эпопея немислима без присутствия в ней идейных и идеологических принадлежностей войны, таких как патриотизм, национализм, шовинизм, джингоизм, милитаризм, военный пафос и т. д. Однако эпопея не состоялась бы, если бы в ней не было того, что является противоположностью этим принадлежностям войны, — пацифизма, человеколюбия, антивоенного пафоса и т. д.

Антивоенный пафос автора эпопеи легко читается в душевном состоянии князя Андрея Болконского после Аустрелицкого сражения. «Князь Андрей Болконский твердо решил никогда не служить более в военной службе; и когда началась война и все должны были служить, он, чтобы отделаться от действительной службы, принял должность под начальством отца по сбору ополчения»⁸.

Это умонастроение возникло у князя Андрея во время кровавого Аустрелицкого сражения, когда он уже терял сознание. И характерно, что новая жизнь зарождается для него именно на грани смерти. «Но он ничего не видел. Над ним не было ничего уже, кроме неба, — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками»⁹.

В мыслях князя Андрея, следующих за этим, настойчиво повторяется фраза «(совсем) не так, (как)». То есть совсем не так, как раньше, как до этого момента. Тут рождается новый Андрей Болконский, для которого все прежнее — «ничто, пустое, обман», кроме «неба, высокого неба, бесконечного неба». Примечательно, что в эпопее «Война и мир», как и в давнем рассказе «Набег», антивоенный пафос рождается и выражается под впечатлением величия природы. А ведь оба произведения написаны до «перелома». Эпопея «Война и мир» создана в разгар творческой деятельности зрелого писателя, а «Набег» — чуть ли не самый первый опыт начинающего писателя. Этот факт мно-

го говорит, на наш взгляд, о том, как зарождался антивоенный пафос в произведениях Толстого. А ведь между первым кавказским рассказом и эпопеей были «Севастопольские рассказы», в работе над которыми писатель находит *истину*, как почву под ногами.

Антивоенный пафос в эпопее «Война и мир» доходит до высшей точки на страницах, изображающих Бородинское сражение: «Над всем полем, прежде столь весело-красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: “Довольно, довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете?”»

Измученным, без пищи и отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходиться сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебание, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: “Зачем, для чего мне убивать и быть убитому? Убивайте кого хотите, делайте что хотите, а я не хочу больше!” Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побежать куда попало»¹⁰. Эти строки полны протеста против войны, голая правда которой — массовое убийство. Мало того, дух этих строк сливается с духом других, содержащихся в целом ряде предыдущих и последующих произведений Толстого, во всей системе его творчества.

Что касается последующих произведений Толстого, то прежде всего нужно назвать трактат «Одумайтесь!», само название которого прямо перекликается с процитированными выше строками из «Войны и мира» («Опомнитесь. Что вы делаете?»).

Незыблемость антивоенного пафоса в произведениях Толстого подтверждается и замечательным наблюдением Н. Бурнашевой: «Как это ни парадоксально, в многочисленных “военных” произведениях Толстого, будь то короткие рассказы или величайшая книга о войне “Война и мир”, любимые герои Толстого (те, о ком автор мог сказать: “Там [т. е. в “Войне и мире”] есть сильные люди. Я их очень люблю”. — (61, 70), люди военные, участвуют в военных событиях, но... не убивают. Даже когда рассказчик в “Набеге” переживает “воинственный восторг”, чувство, при котором он, “кажется, был [бы] способен из

своей руки убить человека» [ГМТ. ОР. “Набер”, оп. 2, л. 3 об.], не поднимается у него рука на себе подобного.

То же чувство испытывают на войне юные Володя Козельцов и Петя Ростов; состояние, родственное этому чувству, охватит Михаила Козельцова в день последнего штурма Севастополя и Андрея Болконского во время Аустрелицкого сражения... И хотя Володя командовал двумя “мортирками”, которые стреляли по неприятелю, на его руках нет крови, как не запятнали себя ни капитан Хлопов, ни волонтер, ни даже Розенкранц, ни солдаты и офицеры из “Рубки леса” и севастопольских рассказов. Ни одного убийства нет на совести Николая Ростова, Андрея Болконского, капитана Тимохина, капитана Тушина, Василия Денисова...»¹¹

Углубление антивоенного пафоса заметно в «Исповеди» Толстого (произведении, знаменующем так называемый перелом в жизни писателя). После «перелома» в сочинениях Толстого появляется и сотни раз повторяется формула «непротивление злу насилием». Однако антивоенный пафос (иначе говоря, пацифистский дух) и непротивление злу насилием — не совсем разные позиции, они почти тождественны, ибо в основе обеих — общий дух, дух Нагорной проповеди, вершины Евангелий. В основе первой — заповедь: «Вы слышали, что сказано древним: “не убивай; кто же убьет, подлежит суду”. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Мтф. 5, 21–22). В основе же второй — заповедь: «Вы слышали, что сказано: “люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего”. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мтф. 5, 43–44). Следовательно, две эти позиции исходят из одного корня.

Первая и вторая половины жизни и творческого пути Толстого объединены и этими позициями, и этими заповедями. Из сказанного следует, что так называемого перелома в жизни и творчестве писателя, по сути дела, не было, не было двух четко разделенных «переломом» половин его жизни и творчества. Кажущийся переход от одного Толстого к иному — только переход от одной евангельской заповеди («не убивай») к другой («любите врагов ваших»). Нет двух Толстых, не было «перелома», так же как нет разлада в Евангелии, тем более в его вершинной части — Нагорной проповеди, через которую красной нитью проходит дух Божьей любви. После «перелома» антивоенные

настроения Толстого углубляются и усиливаются, что лишний раз подтверждает цельность мировоззрения писателя. В «Исповеди», касаясь Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., Толстой пишет: «В это время случилась война в России. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквях молились об успехе нашего оружия, и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших беспомощных юношей. И я обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся»¹².

Здесь можно наблюдать, что антивоенный пафос Толстого ничуть не ослаблен, а, наоборот, усилен в сравнении с «допереломным» временем. Приведенный отрывок, кстати, может служить непосредственным ответом Толстого Достоевскому, тоже одобрявшему эту войну и обвинившему Толстого в «обособлении» в час «святой войны», которую ведет Россия и все славянство.

В произведениях Толстого «послепереломного» периода жизни наряду с важнейшей заповедью «не убивай» фигурируют и другие заповеди Христа во главе с заповедью «не противься злому» (Мтф. 5, 39). Эта заповедь в качестве эпиграфа предпослана одному из народных рассказов писателя «Свечка». Эта же заповедь, вместе с заповедью «Мне отмщение. Я воздам» (Римл. 12, 19), служит эпиграфом и к рассказу «Крестник». Две эти заповеди — единой сути, так как последняя, без сокращений, звучит так: «19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: “Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь”». Нужно ли напоминать, что эта же заповедь (тоже с сокращением) открывает и «Анну Каренину».

Что же касается так называемых народных рассказов Толстого, то сам он их направление определил как «выражение в художественных образах учения Христа, его 5 заповедей...» (63, 326). Естественно, что эти рассказы составляют единую систему, ибо сами заповеди Христа, лежащие в их основе, сцеплены друг с другом воедино.

Среди «народных рассказов» Толстого есть истинный шедевр — «Сказка об Иване-дураке...». В своей идейной основе она представляет собой, так сказать, сказку о двух родах зла и едином добре. Два рода зла — это зло военное (Семена-воина), которое ведет к убийству,

и зло торговое (Тараса-брюхана), которое ведет к богатству одних и нищете других, а добро — христианское (Ивана-дурака). И примечательно, что два вида зла дополняют друг друга, о чем читаем в сказке:

«Семен-воин и говорит брату:

— Я,— говорит,— царство себе завоевал, и мне жить хорошо, только у меня денег нехватка — солдат кормить.

А Тарас-брюхан говорит:

— А я,— говорит,— нажил денег бугор большой, только одно,— говорит,— караулить денег некому.

Семен-воин говорит:

— Пойдем,— говорит,— к брату Ивану, и я велю ему еще солдат наделать,— тебе отдам твои деньги караулить, а ты вели ему мне денег натереть, чтоб было чем солдат кормить»¹³.

В конечном счете зло Семена и Тараса — общее. Зло Семена — убийство человека, зло же Тараса — отнятие у человека хлеба насущного. « — Да отчего ж ты, дурак, не станешь [солдат делать]?

— А оттого, что твои [Семена] солдаты человека до смерти убили. Я намедни пашу у дороги: вижу, баба по дороге гроб везет, а сама воет. Я спросил: “Кто помер?” Она говорит: “Мужа Семеновы солдаты на войне убили”. Я думал, что солдаты будут песни играть, а они человека до смерти убили. Не дам больше. <...>

— Да отчего же ты, дурак, не станешь [денег делать]?

— А оттого, что твои [Тараса] золотые у Михайловны корову отняли.

— Как отняли?

— Так отняли. Была у Михайловны корова, ребята молоко хлебали, а намедни пришли ее ребята ко мне молока просить. Я и говорю им: “А ваша корова где?” Говорят: “Тараса-брюхана приказчик приезжал, мамушке три золотые штучки дал, а она ему и отдала корову, нам теперь хлебать нечего”. Я думал, ты золотыми штукаами играть хочешь, а ты у ребят корову отнял. Не дам больше!»¹⁴

Иван никогда не противится братьям, с какой бы грубостью они и их жены ни обращались к нему, и показывает ясный пример исполнения евангельской заповеди о непротивлении злу насилием. Не вечны царства Семена и Тараса, а вечно царство Ивана. Не вечно зло, воплощенное в Семене и Тарасе, а вечно добро, которое олицетворяет Иван.

Сказка отвергает войну и наживу, отвергает Марса и Плутоса, двух злых богов, царствующих в истории человечества. Сказка символична для «послепереломного» творчества Толстого, в котором главенствующую роль играет христианство, а главные враги христианства — те, кто служит Марсу и Плутосу, вечно сопутствующим друг другу. И именно им противостоял Толстой в своем позднем творчестве. Что касается темы, связанной с Марсом, то Толстой разрабатывал ее и на всем протяжении «допереломного» периода, и в течение всего «постпереломного». Так что есть все основания говорить, что, по крайней мере касательно темы, связанной с Марсом, то есть антивоенного пафоса в творчестве Толстого, — никакого перелома не было, а была последовательность на протяжении всей творческой жизни писателя. Но только ли антивоенного пафоса касается это утверждение? Был ли в действительности тот перелом в жизни и творчестве Льва Николаевича Толстого, о котором так много сказано и написано?

¹ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1978–1985. Т. 16. С. 106.

² Там же. Т. 2. С. 21.

³ Толстой С. М. Дети Толстого. Тула, 1994. С. 46.

⁴ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 2. С. 145.

⁵ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990. Т. 27. Кн. 1. С. 176.

⁶ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 9. С. 413.

⁷ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 25. С. 73.

⁸ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. С. 99. Т. 5.

⁹ Там же. Т. 4. С. 354.

¹⁰ Там же. Т. 6. Стр. 272.

¹¹ Бурнашева Н. И. «...Пройти по трудной дороге открытия...»: Загадки и находки в рукописях Льва Толстого. М., 2005. С. 225–226.

¹² Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 16. С. 161–162.

¹³ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 10. С. 328.

¹⁴ Там же. С. 328–329.

ПСАЛТИРЬ В «АЗБУКЕ» ЛЬВА ТОЛСТОГО И РУССКАЯ ПСАЛМОДИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ*

Псалтирь — одна из самых распространенных на Руси с древнейших времен книг, которая, как известно, служила и учебной книгой, и совершеннейшим образцом высокой поэзии, была наглядным и одновременно любимым чтением многих поколений. Заняла свое место Псалтирь и в «Азбуке» Льва Николаевича Толстого.

Рассмотрению вопроса о роли и месте Псалтири в «Азбуке» следует предпослать несколько слов о значении этого труда Толстого и о составе педагогической книги в тех ее частях, которые включают произведения древней литературы.

Как известно, активная педагогическая деятельность Толстого относится к концу 1850-х — началу 1860-х годов, хотя впервые к школьной практической работе писатель обратился в конце 1840-х годов перед отъездом на Кавказ. Начав на рубеже 1860—1870-х годов работу над «Азбукой», он признавался в том, что созданию этой книги отдал четырнадцать лет, то есть рассматривал весь период от начала практической школьной деятельности до времени написания «Азбуки» как период непосредственной творческой работы над этой книгой.

К сожалению, этот труд Толстого практически не привлекает внимания исследователей его творчества, будучи предметом рассмотрения главным образом для педагогов и историков педагогической мысли России. «Азбука», «прочитанная» в контексте непосредственной творческой работы писателя и в контексте его жизни, немало удивляет своим, на первый взгляд, «скрытым» потенциалом. Подробное рассмотрение творческой истории «Азбуки» привело автора данной статьи ко многим значительным, как представляется, уточнениям роли этого поистине уникального труда Толстого¹.

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 08 — 04 — 00202 а.

С работой над «Азбукой» связан выход писателя из самого серьезного творческого кризиса, пережитого им после окончания работы над «Войной и миром» и пришедшегося на начало 1870-х годов. Именно тогда в переписке с Н. Н. Страховым писатель обозначил новый подход к своему творчеству. Этот кризис был связан для Толстого с мыслями о «возрождении в народности» литературы, с изменением взгляда на современный литературный язык. В этих же письмах (марта 1872 года) писатель свидетельствует, что «изменил приемы своего писания и язык» (61, 278), что «если будет какое-нибудь достоинство в статьях азбуки, то оно будет заключаться в простоте и ясности рисунка и штриха, т. е. языка» (61, 274). Изменение «приемов писания» коснулось отношения Толстого не только к языку своих произведений, но и к работе над содержанием и формой рассказов для «Азбуки». Результаты этого титанического труда сказались на всем последующем творчестве писателя, в частности на афористичности языка романа «Анна Каренина».

Начало формирования структуры «Азбуки», вопреки устоявшемуся мнению о том, что первые планы будущей книги относятся к концу 1860-х годов, следует искать в содержании и структуре книжек-приложений к педагогическому журналу «Ясная Поляна», издававшемуся несколькими годами ранее.

Через обращение к многочисленным первоисточникам сюжетов для детских рассказов Толстой приобщал маленьких читателей ко многим выдающимся образцам устного народного творчества, мировой литературы (сюжеты из Геродота, басни Эзопа, сюжеты, восходящие к произведениям европейской литературы, использование восточного фольклора — турецких, арабских, индийских сказок и др.).

Включенные в состав Славянских книг «Азбуки» произведения древней литературы не только выполняют познавательную, эстетическую и дидактическую функции, но и свидетельствуют о постепенном формировании основных контуров религиозного кризиса писателя.

Контекст домашней жизни Толстого периода работы над «Азбукой», отразившийся в переписке с близкими родственниками, его интеллектуальные интересы, острые социальные темы, затронутые в переписке с Н. Н. Страховым, свидетельствуют о напряженных раздумьях писателя над ролью семьи, воспитанием детей, положением женщины в обществе. Это постепенно подготавливало нравственную проблематику романа «Анна Каренина» и воплотившуюся в нем «мысль семейную».

Таким образом, в начале 1870-х годов «Азбука» явила собой не просто подведение итогов педагогической деятельности, но стала тем центром, в котором сходятся многие лучи творчества Толстого. Это позволяло писателю считать, что он «памятник воздвиг этой Азбукой» (61, 349).

В результате работы Л. Н. Толстого над «Азбукой» сложился непростой по составу труд с довольно сложной структурой, включающий в себя четыре книги, переработка которых продолжалась не один год, пройдя несколько этапов и завершившись созданием «Новой азбуки». Каждая из этих четырех книг, в свою очередь, распадалась на Русскую книгу для чтения и Славянскую книгу. Каждая из четырех Русских книг содержала несколько разделов, а каждая из четырех Славянских книг — лишь два основных раздела. В первом разделе легко просматриваются дидактические задачи, связанные с воспитательными установками автора, эстетические пристрастия писателя в области древней русской литературы, а также практическая задача обучения чтению «по-славянски». Первый раздел содержал исторические сведения и открывался извлечениями из Несторовой летописи, составлявшими в избранных эпизодах непрерывный хронологический поток повествования, проходящий через все четыре книги. Затем этот раздел продолжали избранные жития и поучительные слова из Великих Четых миней митрополита Макария и Четых миней Дмитрия Ростовского. Второй раздел носил религиозно-исторический характер, так как был построен на использовании текстов Священного Писания и молитв. В эти разделы входили отрывки из ветхозаветных текстов, Евангелий и Псалтири.

Первоначально Толстой, видимо, не предполагал выделения особых Славянских книг. Документы, иллюстрирующие составление писателем Славянских книг, а также черновые рукописи «Азбуки» свидетельствуют о сложном и поэтапном их становлении. От начального периода работы, когда писатель рассчитывал на летописные сказания, видимо, лишь как на источник исторического материала, остались рукописи так называемых «вольных» переложений из летописного свода. В основе их лежат летописные сказания о путешествии апостола Андрея по Руси, о расселении славянских племен и их обычаях, о смерти вещего Олега от своего коня и некоторые другие. В основном (за исключением переложения рассказа о разделении земель после потопа между сыновьями Ноя), это летописные сказания, избранные

и обработанные вне обычной хронологической последовательности летописного свода и носящие более занимательный, нежели монументально-исторический характер. Во время преподавания в школе Ясной Поляны Толстой заметил, что его ученики лучше всего воспринимают те летописные сказания, которые прошли, как он говорил, «обработку народным преданием», то есть пришли в летописный свод из устного народного творчества. Именно такие летописные сказания и были отобраны для «Азбуки».

Постепенно Несторова летопись начинает приобретать в составе «Азбуки» более привычный вид. В планах следующего этапа работы отмечено намерение *начать летопись* с рассказа о разделении земель после потопа между сыновьями Ноя, что естественно продолжалось повествованием о том, «откуда взялся народ русский» (21, 439). Таким образом, помещенные в «Азбуке» отрывки из летописного свода не потеряли своего монументально-исторического характера.

Религиозные разделы Славянских книг довольно устойчивы по составу: они открываются извлечениями из Книги Бытия, продолжают извлечениями из Евангелия от Луки (вторая книга) и Евангелия от Матфея (все остальные книги), а также в них включены самые простые и общеизвестные молитвы (молитва Господня, Символ веры, Десять заповедей) и некоторые псалмы.

В творческой истории религиозных разделов Славянских книг лишь появление «Истории Иосифа Прекрасного», или «Иосифа библейского», как ее называл Толстой, объяснено самим автором, который считал, что это один из самых поэтических и психологически сложных эпизодов Библии. «История Иосифа Прекрасного» была даже внесена Толстым в один из списков книг, которые произвели на него наибольшее впечатление в разные периоды его жизни. Эта история, которая в Книге Бытия начинается с 37-й главы, входит в четвертую Славянскую книгу.

Остальные отрывки из Книги Бытия помещены в «Азбуке» по порядку: начинаясь с 1-й главы (сотворение Богом неба и земли), продолжены 2-й и 3-й главами (сотворение Богом человека, последующее грехопадение, а затем и изгнание из рая) и далее, начиная с 6-й главы, описанием Всемирного потопа и историей праведного Ноя. Таким образом, за исключением особо полюбившейся Толстому «Истории Иосифа Прекрасного», извлечения из Книги Бытия непосредственно перекликались с извлечениями из летописного свода, они восполняли

в составе Славянских книг недостающую предысторию появления Русской земли. Родная история оказывалась, таким образом, вписанной не только в послепотопную, но и допотопную всемирную историю.

Среди памятников древней литературы, о которых шла речь, заняли свое место и псалмы. Рукописи «Азбуки» сохранили некоторые наброски Толстого, из которых видно, что писатель на первых этапах работы хотел использовать небольшие цитаты из псалмов для иллюстрирования отдельных букв славянского алфавита, примерно так, как это делалось в старых, допетровских букварях и азбуках. Первая трудность, с которой сталкивались юные читатели книги, — славянский алфавит и начертания букв. Для усвоения этого материала в окончательном варианте «Азбуки» Толстой прибег к остроумному приему: постепенно вводить в современный светский шрифт по одной букве иного начертания на каждой страничке. Поначалу же предполагался иной способ ознакомления со славянским алфавитом: давать небольшие отрывки текста как пример чтения каждой из букв. Листы рукописи «Азбуки» содержат в качестве примеров такого чтения цитаты, для которых Толстым сделаны необходимые комментарии, объясняющие отдельные грамматические формы или исторические реалии. Так, букву «ферт» предполагалось проиллюстрировать следующей цитатой из 91-го псалма: «Праведник, яко финикс процветет, яко кедр иже в Ливане умножится». На новом этапе работы Толстой заменяет эту фразу следующей: «Иосиф же приведен бысть в Египет и купи его Пентефрий раб фараонов»². Пример использованной Толстым старинной традиции подачи текста для иллюстрирования буквы находим в букваре Кариона Истомина. Там буква «ферт» сопровождалась таким текстом:

Ферт	пишем	есть	в языке славенском,
знать	строительство		в деле деревенском,
фертом	не ходят		землю орющии,
господин	зри	где	кормлю насущии.
Финикс	есть	древо	финикс же и птица,
в разум	сотвори		Господня десница.
В философии			назирай вся вещи,
свободишися			гордостныя пеши.
Фонарь	добрый	смысл	носи в дни и нощи,
фелонь,	фиялки		фиал в радость мощи.

Здесь же было изображение дерева, фелони, фонаря и фиалки³.

В той же 22-й рукописи «Азбуки» сохранились и другие примеры иллюстрирования текстом различных букв. Так, букве «рцы» соответствовала следующая текстовая иллюстрация: «Раба скорбяща не отрей, и не отврати лица Твоего от нищего»; буквам «слово» и «твердо» соответственно: «Сокрушает прещение сердце мудраго, безумный же бием не чувствует» и «Тяжко камень и не удобоносно песок, гнев же безумного тяжший обоего».

Отказавшись от иллюстрирования букв текстом, Толстой не отказывается от псалмов, которые заняли свое самостоятельное место в религиозных разделах Славянских книг. На листе 12-м в 29-й рукописи «Азбуки» карандашом обозначен 25-й псалом почерком, не очень похожим на руку Толстого. В 44-й рукописи отмечено рукой писателя, что 103-й псалом должен быть взят с переводом Библийского общества. В окончательном варианте первая Славянская книга не содержит псалма, во второй книге помещен 36-й, в третьей — 89-й и в четвертой — 103-й псалом.

Таким образом, в поле зрения писателя оказались четыре псалма, считая отброшенный 25-й. Было бы неправомерно остановиться на констатации этого факта. Четырнадцать лет труда над «Азбукой», о которых свидетельствовал сам автор, привели к хорошо продуманной и обоснованной внутренней цельности и стройности всей книги. Кроме того, Псалтирь не была бы исключительным поэтическим памятником, если бы поэтические образы и мотивы, содержащиеся там, не представляли картины постепенного развития и углубления смысла в рамках всей книги.

Разумно было бы, как представляется, попытаться ответить на вопросы о том, почему Толстым был произведен именно такой отбор псалмов, возможно ли проследить в них какую-либо ведущую тему, что могло определить его отказ от 25-го псалма, насколько избранные им псалмы созвучны с другими помещенными в Славянских книгах отрывками.

В оставленном 25-м псалме — «Суди ми, Господи, яко аз незлобою моею ходих: и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя...» — проходит тема преклонения перед Богом и прощения псалмопевца о том, чтобы Господь не погубил его вместе с нечестивыми. Развитие поэтической мысли этого псалма может быть выражено двумя ключевыми цитатами: «Возненавидех церковь

лукавнующих, и с нечестивыми не сяду... Нога моя ста на правоте...» Содержание 25-го псалма перекликается с содержанием 36-го, но при этом выпадает из общей композиции, представленной тремя псалмами, вошедшими в окончательный вариант «Азбуки».

36-й псалом по сравнению с 25-м более выразителен, чем, возможно, и вызван выбор именно его: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро; живи на земле, и храни истину. <...> Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек... <...> Праведники наследуют землю, и будут жить на ней вовек». Дидактический смысл этого псалма, предложенного для детского чтения, очевиден, но обращает на себя внимание тот факт, что тема «наследования земли» все же созвучна тем темам из Книги Бытия и Несторовой летописи, о которых уже шла речь.

В этом же псалме (25-й стих) есть такие слова: «Я был молод, и состарелся, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба...» В этой цитате из псалма слишком очевидна переключка с более поздней рукописью Толстого, ставшей одним из истоков его будущей «Исповеди».

Псалом 89-й развивает мысль о власти и гневе Господнем: «Господи! Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог». И далее развивается тема всеислия и всевластия Божия, скоротечности человеческой жизни: «Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Здесь же особо выделяется мысль о Боге как творце Вселенной, о красоте Его создания.

И наконец, 103-й псалом, один из самых красивых и поэтичных: «Благослови, душе моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием. Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер. <...> Как многочисленны дела Твои, Господи! Все создал Ты премудро; земля полна произведений Твоих». Подборка псалмов в «Азбуке» великолепно завершается этим образом величественной библейской поэзии. Главная мысль, проходящая через весь псалом, — величие Господне.

Таким образом, на протяжении этой небольшой подборки псалмов видно определенное развитие мысли, которое, как известно, присутствует и в Псалтири в целом: разграничение праведных и нечестивых,

власть Божия над человеком и, наконец, славословие Господу и величие Господне. Отобранные Толстым тексты не только полны значительного дидактического смысла, вполне доступного детскому восприятию, но и очень красивы. К тому же они развивают и поддерживают внутри этой группы текстов одну общую тему — тему Божьего величия, преподнесенную в ее разных аспектах.

Сотрудница Института мировой литературы им. А. М. Горького М. А. Можарова, принимая участие в подготовке Академического полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, любезно указала, что в рукописных материалах ранних редакций рассказа «Три смерти» присутствуют не попавшие в окончательный текст произведения и вольно переданные Толстым 29-й и 30-й стихи из 103-го псалма. Это следующий текст:

«29. Сокроешь лице Твое — мнутяся, отнимешь дух их — умирают, и в персть свою возвращаются;

30. Пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лице земли».

В 90-томном собрании сочинений Л. Н. Толстого опубликована лишь малая часть ранних вариантов рассказа «Три смерти»; среди них нет текстов, где обнаруживались бы скрытые цитаты 29-го и 30-го стихов 103-го псалма. И все же один из опубликованных там отрывков также содержит, как представляется, скрытую цитату из этого псалма, но уже — 31-го стиха: «Один раз жена дяди Хведора пришла съесть лепешку на его могиле, и лепешка была вкусна, и крохи падали на густую темно-зеленую росистую траву, и солнце светило ярко, и колокол гудел громко, и народ шел из церкви весело, и Бог не нарядовался, глядя на мир свой (курсив мой. — Е. Н.), а под землей Бог знает что оставалось от дяди Хведора» (5; 167). В 31-м стихе читаем: «Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих!» (22, 734). Как известно, «дела» эти — великолепие тварного мира, его многообразие, о котором и радуется Господь. Таким образом, содержание процитированного отрывка из вариантов «Трех смертей» и отрывков, содержащихся в рукописях и только готовящихся к публикации, фактически перекликается с содержанием всей заключительной части 103-го псалма.

Еще один вопрос, неминуемо встающий перед исследователем, заключается в том, мог ли, хотя бы гипотетически, выбор Толстого быть обусловлен в какой-либо степени предшествующей литературной

традицией. В данном случае это прежде всего русская поэтическая традиция переложения псалмов. Многие из русских поэтов неоднократно обращались к поэтическому преломлению в своем творчестве текстов, образов, мотивов, почерпнутых из Псалтири. Фигурирующие в составе «Азбуки» псалмы нашли воплощение в творчестве многих авторов. Например, 25-й псалом был переложен Н. Шатовым («Востань, Отец, и будь судьей!»), 36-й — М. Дмитриевым, И. Крыловым («Не раздражайся на порочных / И не завидуй их делам!») и Г. Державиным («Утешение добрым»). Особое внимание поэтов привлекал 103-й псалом. Известны его переложения В. Кюхельбекером («Благослови, душа моя! / Воспой Создателя вселенной...»), Ф. Глинкой («О, пой, играй, моя душа, / Благослови Творца природы...»), Г. Державиным («Величество Божие»), М. Ломоносовым («Да хвалит дух мой и язык / Всесильного Творца державу...»). Этот список можно было бы множить за счет имен других авторов.

Исследователи этой поэтической традиции справедливо указывают на то, что именно с Псалтирью «связано само возникновение и развитие русской поэзии»⁴, «прологом» для псалмодической традиции которой стала «Псалтирь рифмотворная» Симеона Полоцкого. Для развития поэтической традиции XVIII века громадное значение, как известно, имело предпринятое в 1743 году знаменитое поэтическое состязание между М. В. Ломоносовым, В. К. Тредиаковским и А. П. Сумароковым по переложению 143-го псалма. По мнению исследователя, «русские поэты, вникая в Священное Писание, отыскивая в нем свое, заветное, создали собственную традицию псалмической поэзии. Она неотрывна и от опыта прочтения других ветхозаветных книг, и от такого недооцененного еще художественного явления XVIII века, каким была духовная поэзия»⁵. С течением времени в русской поэзии обозначился отход от сакрального содержания псалмов и в большей степени стала проявляться поэтическая свобода, к концу XIX века сакральное, философско-религиозное содержание этих текстов преобразуется в русской поэзии в глубоко личные темы, более связывается с открытостью «живого чувства»⁶.

Значительное место в поэзии XVIII века заняли переложения псалмов М. В. Ломоносовым и Г. Р. Державиным. Как известно, А. С. Пушкин считал, что поэтические переложения Ломоносова «останутся вечными памятниками русской словесности»⁷. В его духовных одах, несомненно, главное место занимает тема величия Божия,

сочетающаяся с попыткой философского и сутубо научного постижения явлений. Его переложения не чужды были и выражению гражданских чувств. Исследователи отмечают, что при переложении псалмов Ломоносов «выбирал для перевода те из них, которые больше всего отвечали его настроениям. Отдельные библейские мотивы привлекали его своей гиперболической образностью и своего рода космическим чувством»⁸. «Космическое чувство» поэта особенно заметно в произведениях «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» и «Утреннее размышление о Божием величестве», а также в переложении 103-го псалма:

Да хвалит дух мой и язык
Всесильного Творца державу,
Великолепие и славу.
О Боже мой, коль Ты велик!

Одеян чудной красотой,
Зарей Божественного света,
Ты звезды распростер без счета
Шатру подобно пред Тобой⁹.

В наследии Г. Р. Державина представлено более двадцати переложений псалмов и стихотворения, тематически и образно связанные с Псалтирью, одной из его любимых поэтических книг. В духовной поэзии Державина исследователями особенно отмечено соседство двух тем — жизнелюбия и постоянной памяти о смерти: «Умение полнокровно, распахнуто жить и чувствовать, страстно переживать эту единственную жизнь в слове, может быть, и не давало ему отвести взгляд от смерти»¹¹. Как и Ломоносова, Державина увлекает в его переложениях не только тема величия Бога как Творца и властелина мира, но и восхищение гармонией мироздания. Эти основные темы в полной мере воплощаются и в стихотворении «Величество Божие», являющимся переложением 103-го псалма.

В поэтической традиции переложения псалмов во второй половине XVIII века, по мнению В. П. Зверева, просматривается возникновение «духовной потребности в выражении своих чувств именно в формах, близких к молитвам и псалмам», что было обусловлено своего рода «духовной тоской» дворян той эпохи по Богу и молитве¹¹.

Очевидная переключка основных тем и мотивов псалмодической поэзии Державина и Ломоносова с выбором Толстым псалмов для «Азбуки», имеет, как представляется, свое объяснение. К сожалению, в толстоведении очень мало внимания уделяется исследованию внутренней связи творчества Толстого с традициями и самим духом «безумного» и «мудрого» столетия. В данном случае, как представляется, налицо одна из таких скрепляющих нитей. Не следует забывать, что Толстой был сформирован и воспитан людьми, выросшими на культуре второй половины XVIII века, принадлежавшими к поколению 1810—1820-х годов. Писателю не чужда была близость к людям этого поколения и — через них — к духовной атмосфере сформировавшей их эпохи. Склонности самого Толстого как художника и писателя-историка к монументальным, масштабным замыслам как нельзя более отвечает одический монументализм темы величия Бога. Не чужда Толстому и мысль о неразрывном единстве жизни и смерти, недаром мотивы 103-го псалма появляются в довольно раннем притчеобразном рассказе «Три смерти». И наконец, Толстого-художника отличало то же «космическое чувство», которое проявилось в творчестве великих поэтов XVIII века. Достаточно указать лишь на некоторые особенности толстовской поэтики: присущий Толстому взгляд на масштабные исторические события как бы «с высоты» (описания военных действий в «Воине и мире», например); выход за пределы земного бытия и конкретных, «приземленных» мыслей через восприятие героями писателя неба. Эти качества поэтического мира Л. Н. Толстого в полной мере сказались и в «Азбуке».

¹ См. об этом следующие работы автора данной статьи: 1) Жанры древнерусской литературы в «Азбуке» Л. Н. Толстого // Проблемы жанров в русской литературе: Сб. научн. трудов. М., 1980; 2) Язык древнерусской литературы в «Азбуке» Л. Н. Толстого // Язык классической литературы: В 2 т. Т. 1. М., 2007; 3) К истории работы Л. Н. Толстого над «Азбукой» // Ясн. сб. 2008.

² ОР ГМТ. «Азбука», рукопись 22, л. 1.

³ Исто мин, Ка ри он. Лицевой букварь. М., 1916. С. 41.

⁴ Ро ма нов Б. Псалмопевец Давид и русская поэзия // Псалтирь в русской поэзии XVII—XX вв. М., 1995. С. 7.

⁵ Там же. С. 31.

⁶ Там же. С. 51.

⁷ Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1964. Т. 7. С. 29.

⁸ Морозов А. А. Михаил Васильевич Ломоносов // Ломоносов М. В. Избр. произв. Библиотека поэта. Большая серия. Второе изд. М.; Л., 1965 (Б-ка поэта; Б. с. 2-е изд.). С. 27.

⁹ Ломоносов М. В. Избр. произв. С. 211.

¹⁰ Романов Б. Духовные стихотворения Державина // Державин Г. Р. Духовные оды. М., 1993. С. 8.

¹¹ Зверев В. П. Федор Глинка — русский духовный писатель. М., 2002, С. 233—234.

В. В. Емельянов

ОБ ИСТОЧНИКАХ СКАЗКИ Л. Н. ТОЛСТОГО «АССИРИЙСКИЙ ЦАРЬ АСАРХАДОН»

Среди произведений Л. Н. Толстого сказка «Ассирийский царь Асархадон» (34, 126—130) занимает довольно скромное место, поскольку она является одним из многочисленных примеров творчества Толстого-проповедника и не отличается высокими художественными достоинствами. Тем не менее это произведение достойно нашего пристального внимания ввиду необычности его сюжета. В этой статье речь пойдет об источниках сказки Толстого (если говорить точнее — притчи в форме сказки), и задачей исследователя станет выявление первоначальной истории, приспособленной Толстым для своих проповеднических целей.

Сразу нужно отметить, что сказке Толстого до сих пор не уделялось должного внимания. В комментариях к томам 34 и 74 Полного собрания сочинений удалось найти несколько строк, проясняющих историю ее создания. Комментаторы цитируют письма самого Толстого и дневник А. Б. Гольденвейзера.

В дневнике Гольденвейзера среди записей, относящихся к первым числам июля 1903 г., упомянуто: «Л. Н. собирается изложить в художественной форме буддийское учение “Это ты” (“Tu twam asi”), смысл которого тот, что в каждом человеке и его поступках всегда можно узнать самого себя. Новый рассказ получил название “Ассирийский царь Асархадон”» (34, 561).

Толстой — Шолом-Алейхему: «Мысль сказки “Царь Асархадон” принадлежит не мне, а взята мною из сказки неизвестного автора, напечатанной в немецком журнале “Theosophischer Wegweiser”, в 5-м № 1903 года, под заглавием “Das bist du” <...>. Сказка “Das bist du” так хороша, что желательно бы было познакомить с нею как можно больше людей, и потому я перевел ее. Посылаю вам»¹ (74, 167).

Толстой написал три сказки: «Три вопроса», «Труд, смерть и болезнь» и «Ассирийский царь Асархадон». Сказки эти он посылает

в сборник в пользу евреев, пострадавших от кишиневского погрома. 20 августа 1903 г. Толстой послал Шолом-Алейхему две из них («Ассирийский царь Асархадон» и «Три вопроса») и написал ему: «Посылаю вам “Две сказки” для перевода их на жаргон и напечатания в еврейском сборнике, издаваемом в пользу пострадавших в Кишиневе евреев. Очень рад буду, если помещение этих сказок в сборнике сколько-нибудь поспособствует успеху издания» (74, 165–166). «Только нынче кончил сказки, и не три, а две. Недоволен» (54, 189) То же в письме В. Г. Черткову от 9 августа 1903 г.: «Сказки плохи. Но надо было освободиться от них» (88, 302).

Дневник Гольденвейзера: «Л. Н. недавно читал что-то по ассирийской истории».

Толстой о сказке «Ассирийский царь Асархадон» (дневник Гольденвейзера): «В ней заимствовано из “1001 ночи” только то, что он окупился. Лица, выведенные там, исторические»² (34, 555).

Первая публикация: на идише в сборнике «Гилф. Литературный сборник с иллюстрациями»; издание «Фольксбилдунг» (Варшава, издательство «Тушия»; цензурная дата — 4 августа 1903 г.). На русском: «I. Ассирийский царь Асархадон. II. Три вопроса. Две сказки»; издание «Посредника» для интеллигентных читателей (М., 1904) (34, 556).

В главе «Арабские страны» фундаментальной монографии А. И. Шифмана «Лев Толстой и Восток» сообщается: «Из арабских источников Толстой почерпнул материал и для своей знаменитой сказки “Ассирийский царь Асархадон”, написанной в 1903 г. для сборника в помощь жертвам кишиневского погрома. В сказке повествуется о том, как ассирийский царь Асархадон, разбив войска царя Лаилиэ и обратив его подданных в рабов, придумывал самую жестокую казнь для своего поверженного противника. Старик-мудрец уговорил всеильного Асархадона на мгновение окунуться в волшебную купель. И в течение этого мгновения властитель пережил все те муки и страдания, которые он уготовил своему врагу. Ужаснувшись их, он отпустил пленного царя Лаилиэ и его подданных на волю. Такой сказки у арабов нет. Толстой написал ее на материале, почерпнутом из подлинной истории ассирийских войн. В ней не изменены даже имена исторических лиц. Но сказочная деталь — волшебная купель, которая дает возможность мгновенно перенестись в неизведанные места и даже почувствовать себя другим человеком, заимствована из арабского фольклора. Это признавал и сам Толстой, когда говорил А. Б. Гольденвейзеру:

“В ней заимствовано из “1001 ночи” только то, что он окунулся. Лица, выведенные там, исторические”. Толстой сознательно придал своей сказке “арабский колорит”»³.

Большую работу Толстой проделывал и над источниками «арабской мудрости». Отбирая изречения для своих сборников, он кое-где устранил присущую восточным текстам цветистость языка, сделал их более ясными и доходчивыми. При этом, однако, он бережно относился к главной мысли изречений, сохранял их ясный нравственный смысл, глубину и афористичность.

Толстой изучал и древнейшую историю арабов. В его библиотеке хранятся серьезные исторические труды с многочисленными закладками и пометами, свидетельствующими о тщательной работе над источниками. Таковы, например, присланные ему в августе 1903 г. издателем А. Ф. Марксом книги по древней истории Востока, в том числе труды известной исследовательницы З. А. Рагозиной: «История Халдеи с отдаленнейших времен до возвышения Ассирии» (1902); «История Ассирии от возвышения ассирийской державы до падения Ниневии» (1902); «История Мидии, второго Вавилонского царства и возникновения персидской державы» (1903). «Историю Ассирии» Толстой использовал при работе над сказкой «Ассирийский царь Асархадон».

Толстой изучал также известный труд профессора Андерсона «История погибших цивилизаций Востока» в переводе с английского под редакцией В. В. Битнера (СПб., 1904), книгу профессора Астафьева «Древности вавилоно-ассирийские по новейшим открытиям» (СПб., 1882) и др.

Итак, из сообщенных сведений мы можем понять, что сказка писалась как пересказ теософской притчи, переведенной с немецкого, а затем была послана Шолом-Алейхему для печатания на идише. При ее написании Толстой вдохновлялся двумя основными источниками — теософской притчей и фрагментом из книги З. А. Рагозиной по истории Ассирии. Мотив погружения главного героя в воду был взят из арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Важно и то, что Толстой был недоволен написанными сказками, поскольку понимал, что создал их слишком быстро и они менее всего походят на законченные художественные произведения. Тем не менее, несмотря на свое обоснованное недовольство, он все же публикует их, поскольку хочет помочь евреям, пострадавшим от кишиневского погрома.

Сюжет прочтенной им истории как нельзя лучше отвечал избранной проповеднической задаче — напомнить палачам, что они такие же жертвы, как и те, кто пострадал по их вине. Царь Асархаддон (у Толстого — Асархадон), проявляющий снисхождение к своему врагу, должен был всколыхнуть у евреев память о страшных ассирийских завоеваниях Израиля. С другой стороны, сюжет сказки должен был возвестить недоброжелателям евреев, что в своих действиях они уподобились проклятым библейскими пророками ассирийцам. Но даже среди ассирийцев нашелся человек, который оказался способен на милосердие.

У сказки-притчи Толстого три основных источника. Ее идея взята из индуизма. *Tat twam asi* «То есть ты» — третья махавакья Упанишад («Поистине, покинутое жизнью, это [существо] умирает, но [сама] жизнь не умирает. И эта тонкая [сущность] — основа всего существующего, То — действительное, То — Атман. Ты — одно с Тем, Шветакету!»; Чхандогья-упанишада VI 11:3)⁴, нашедшая отражение в Бхагавадгите: «Тот является совершенным йогом, кто, сравнивая их со своей душой, видит истинное равенство всех живых существ как в счастье, так и в несчастье» (Бхагавадгита б: 32)⁵.

Мотив погружения в купель идет из фольклора (не обязательно арабского), в котором купание героя в молоке, ключевой воде и кипятке означает омоложение его тела, а полное погружение в водный источник связано с очищением от бесовских чар. Не менее важна здесь и ассоциация с крещением. Однако слова старца указывают именно на арабский источник этого мотива в сказке Толстого: «— О, как ужасно мучался я! И как долго! — говорит Асархадон. — Как долго? — говорит старец. — Ты только что окунул голову и тотчас опять высунул ее; видишь, вода из кружки еще не вся вылилась. Понял ли ты теперь?» (34, 129).

Представление о том, что время, проходящее в духовном путешествии героя, не равно времени, проживаемому людьми на земле (и показателем этого неравенства времен является вода, не успевающая вытечь из кувшина), — известный в мусульманской традиции сюжет Мираджа. Мирадж — ночь вознесения пророка Мухаммеда к престолу Аллаха. За время своего путешествия Пророк, ведомый ангелом Джабраилом, посетил Вифлеем, Иерусалим, семь небес и престол Аллаха, но когда он вернулся, то из кувшина, опрокинутого Джабраилом непосредственно перед путешествием, еще не успела вытечь вода. Мухаммед даже успел подхватить этот кувшин⁶.

Фабула сказки представляет собой переделанный эпизод из истории Ассирии. Обратимся теперь к источнику, которым пользовался сам Толстой. Это книга Зинаиды Алексеевны Рагозиной (1835—1910), очень известной в начале прошлого века писательницы, члена Британского общества по изучению Азии, члена Американской востоковедной ассоциации. В дотураевский период российского востоковедения Рагозина по предложению А. Ф. Маркса издала целый ряд книг по истории Древнего Востока. Некоторые из этих книг Маркс послал в 1903 г. Толстому в Ясную Поляну. Они до сих пор хранятся в его библиотеке. В томе об Ассирии имеются закладки между страницами 62 и 63 (поход Тиглатпаласара I на страну Наири), 142 и 143 (жертвоприношение младенцев в древней Финикии), 184 и 185 (постройка дворца Апшурнацирапала II)⁷.

Вот каково было описание аравийского похода Асархаддона⁸ в книге Рагозиной «История Ассирии. От возвышения ассирийской державы до падения Ниневии» (СПб., 1902):

«Сохранилось крайне замечательное описание похода в аравийскую область Базу. Какая это часть Аравии, до сих пор не дознано, но она, должно быть, отделялась от ассирийских владений широкой полосой пустыни. Некоторые полагают, что это был Йемен. Описывается дорога, пролегающая сперва через раскаленную, безводную пустыню — “Землю жажды”, — усеянную большими камнями, в которой водятся змеи и скорпионы, что саранча, — затем через высокие обнаженные горы... Нет повода сомневаться в истине слов Асархаддона, когда он говорит, что ни один царь до него не ходил в этот край. В этот поход убито было восемь аравийских князей, в том числе две женщины; сокровища их, конечно, были увезены. Один из оставшихся в живых князей, по имени Лаилиэ⁹, сначала бежал от неприятельского вторжения, но, услышав о похищении “своих богов”, совершил невероятный подвиг: он пошел следом за царем до самой Ниневии, с тем чтобы вымолить их у победителя ценой своего подданства. Асархаддон, от природы склонный к мягкости, “пожалел его и предложил ему братское свое расположение”. Он возвратил ему похищенных богов, приказав, однако, сделать на них надпись о взятии их в плен, с восхвалением “мощи Ашура, Господа своего”. Не довольствуясь этой милостью, царь одарил своего нового вассала всем только что завоеванным княжеством Базу, конечно потребовав с него присягу и дань» (С. 377—378).

Рагозина не была специалистом в области клинописи и пользовалась книгами на английском и французском языках. Ко времени написания ее книги уже существовала переведенная с французского монография египтолога Г. Масперо «Древняя история народов Востока» (М., 1895)¹⁰. Но она могла читать и одно из французских изданий этой книги. Там история с Лаилиэ излагается следующим образом:

«Он ограничился подчинением страны Базу, “местонахождение которой отдаленно, и путь по ней гибелен; это область расслабленности; место, где царит жажда”. Далее он подчинил себе страну Хазу и убил 8 ее царей. “Я увез в Ассирию их богов, их имущества, их сокровища и подданных. Лаяле, царь Иадиа, признал мое господство; когда он узнал о похищении своих богов, он предстал передо мною в Нинивии, в моем царском городе, и преклонился передо мною. Я простил его и принял радушно. Что же касается его богов, я написал под их изображениями хвалу Асура, моего господина, я принес их и вернул ему. Затем я вверил ему эту страну Базу, обязав его платить себе дань» (С. 457).

Из библиографии к книге Рагозиной видно, что она читала наиболее полную на то время монографию Э. Баджа «История Асархаддона» (Budge E. A. W. The History of Esarhaddon. London, 1880), в которой переводились все известные XIX веку фрагменты надписей этого царя. Фрагмент так называемого Цилиндра А, служащий источником всех сообщений об истории Лаилиэ, разбирается там достаточно подробно¹¹. Мы переведем его с аккадского языка, по клинописи, помещенной в книге Баджа (Р. 55—65). Вот что повелел высечь на этом цилиндре сам Асархаддон:

«Адуму — могучий город страны Ариби, который Синаххериб, царь Ассирии, отец, мой создатель, взял. Его имущество, его богатства, его богов я увез, в Ассирию переместил. Хазаилу, (царь) страны Ариби, со своей знатной данью в Ниневии, городе моего владычества, предо мной предстал и стопы мои облобызал. О возвращении богов своих он меня попросил, и милость я ему явил: идолы этих богов я обновил, и могущество Ашшура, моего владыки, и начертание моего имени написать на них повелел, назад ему их отдал. Табуа, работницу моего дворца, на царство над ними я поставил, и с ее богами в страну ее вернул. 65 верблюдов в добавление к (прежней) дани его отца я прибавил и на него¹² возложил. После того, как Хазаилу судьба взяла, Йаилу, его сына, на трон его я посадил. 10 мин золота, 1000

драгоценных камней, 50 верблюдов, 1000 благовоний в дополнение к дани его отца я прибавил и возложил на него.

Базу, удаленный край, пространство пустыни, почву соленую, обиталице жажды, 140 поприщ песчаной земли, чертополоха и камня “газели зубы”, 20 поприщ земли змей и скорпионов, что, подобно муравьям, заполонили землю, 30 поприщ Хазу, горы камня хашману, позади себя я оставил и прошел насквозь ту землю, где с древних времен ни один царь до меня не проходил. По приказу Ашшура, моего владыки, в глубину его царственно¹³ я прошел. 8 царей этой земли я убил, их богов, их имущество, их богатство и их людей в Ассирию я увел. Лайале, царь Йади, что перед моим оружием упорхнул, прослышал о пленении своих богов и в Ниневии, городе моего владычества, предо мной предстал и стопы мои облобызал. Милость я ему явил — сочувственно заговорил с ним¹⁴. На его богах, что я пленил, могущество Ашшура, моего владыки, я начертал, (богов этих) вернул, ему отдал. Эту землю Базу я ему поручил, налоги и дань моему владычеству на него возложил» (Сул. А II 55—III 52).

Таков путь сюжета от подлинной надписи Асархаддона, через перевод Баджа, пересказ Масперо и Рагозиной, к тексту сказки Толстого. Обратим внимание на ключевой момент всех описаний и пересказов — причину милосердия грозного ассирийского владыки. Сам Асархаддон сообщает, что явил милость (*rēti aršī*) царю Лайале только после его полного поклонения ему, сопровождаемого лобызанием стоп. То есть это был акт милосердия к покорившемуся противнику, пришедшему искать милости хозяина. Ранее точно так же Асархаддон помиловал Хазаилу, пришедшего к нему со знатной данью. Теперь он накладывает на Лайале такую же дань. Такова версия самого ассирийского царя¹⁵. С точки зрения Рагозиной, милосердие оказывается арабскому царю по причине мягкости характера Асархаддона. Он-де пожалел бедного Лаилиэ, поскольку тот следовал за ним до самой Ниневии, чтобы вымолить своих богов ценой подданства, и тем самым совершил невероятный подвиг. Масперо же и вовсе понимает «пожалел» как «простил» (на самом же деле речь идет не о прощении и не о жалости, а о хозяйской милости к оступившемуся вассалу). Наконец, Толстой придает истории откровенно философский и даже мистический характер, объясняя внезапное милосердие Асархаддона изменением его сознания.

Но если история с Лаилиэ имеет основание в надписях самого Асархаддона, то конец сказки Толстого — отречение Асархаддона

и его уход — покоится, увы, на совершенно легендарных основаниях. Причем речь идет не о древних легендах, а о мифах современной Толстому науки. Источником данной фантазии также послужил пассаж из книги Рагозиной:

«Личность Асархаддона ярко выделяется из числа всех ассирийских правителей и единодушно признается единственно симпатичной. Даже конец его жизни озарен каким-то романтическим отблеском. Утомленный, больной, он добровольно сложил с себя венец в пользу сына своего, Ашурбанипала. Тщетно было бы искать объяснения этого небывалого поступка в ассирийских летописях; там мы находим одни голые факты. Но не трудно отгадать, что царь не чувствовал в себе сил справиться с наступавшими тяжелыми временами. Ибо Тархарка уже начал оправляться от поражения, понесенного всего четыре года назад; отпавшие было от него князья убедились в том, что они мало выиграли, променяв его верховенство на ассирийский деспотизм, и готовилась новая обширная коалиция, так что можно было ожидать немедленного возобновления военных действий, требовавших энергии и, главное, — быстрой решимости. Ввиду такого положения дел становится понятным, что усталый царь, удрученный предчувствием скорой кончины, пожелал избавиться от непосильной ноши и передать ее молодому, деятельному сыну, с которым, вдобавок, он уже несколько лет делил царские обязанности и заботы. Итак, он торжественно и всенародно отрекся от ассирийского престола в пользу этого сына. Из летописи последнего известен самый день, в который свершилось это событие. 12 апреля 688¹⁶ г. до Р. Х. (день был выбран, конечно, “легкий”) он “созвал народ Ашура, от мала до велика, от берегов морей Верхнего и Нижнего” (Средиземного моря и Персидского залива), на посвящение на царство сына своего, которому была принесена присяга в присутствии его и перед великими богами. С этого дня Ашурбанипал “стал править Ашуровым царством” и “вступил, с радостью и громким ликованием, в царский дворец Сеннахериба, в котором отец его, Асархаддон, родился, рос и возмужал...”

Асархаддон оставил себе Вавилон, где он окончательно поселился, но и там он царствовал лишь номинально, назначив наместником младшего сына своего, Шамаш-Шумукина. Существует письмо к нему от Ашурбанипала, в котором молодой царь титулует себя царем ассирийским, отца же своего — “царем над землями Кардуниаша, Шумира и Аккада”. Асархаддон мирно кончил жизнь в Вавилоне,

менее года спустя после своего отречения от ассирийского престола» (С. 386—387).

Опять-таки нужно сказать, что сама Рагозина вследствие своего непрофессионализма ничего придумать не могла. Она прочитала об этом в каком-то европейском исследовании. Остается выяснить, в каком же именно. В монографии Э. Баджа о событиях последних лет Асархаддона сказано предельно корректно и только на основании известных надписей:

«Пока Асархаддон еще был царем, он посадил своего сына Ашшурбанапала на трон, чтобы тот правил вместе с ним. Таково свидетельство W. A. I., iii. i, 7, 9, где сказано:

9 Асархаддон, царь Ассирии, отец, мой создатель,

10 Волю Ашшура и Белит — богов, своих повелителей, — возвысил,

11 (Тех), кто приказал ему укрепить мою царственность.

Затем надпись говорит, что на 12-й день мая Асархаддон собрал вельмож царства и было провозглашено, что Ашшурбанапал должен стать царем. Это событие должно было произойти между 671 и 668 г. до Р. Х.

Когда Асархаддон вернулся в Ассирию, Тахарка поднял огромную армию и осадил Мемфис. Город пал в его руки после кровопролитной осады. Сообщение о его поражении содержится в анналах Ашшурбанапала. Асархаддон умер в 668 г. до Р. Х.» (Р. 6—7).

А вот что сказано в цитированной уже монографии Г. Масперо: «Его строительная деятельность продолжалась три года (671—669); едва она была окончена и намечен был план орнаментации, как Асархаддон сильно заболел в 669 году. Преждевременная весть о его смерти распространилась далеко за пределы его государства и оживила надежды его противников. Тагарку захватил Египет, разбил ассириян под стенами Мемфиса и взял город после смертоносной осады. Старый монарх, не будучи в состоянии лично вести войну, отрекся от престола 12 ийара 668 года в пользу своего старшего сына, Ассурбанипала, а сам удалился в Вавилон, где вскоре умер (667)» (С. 462).

В монографии А. Н. Астафьева (1882), которая тоже побывала в руках Толстого, содержится пересказ сведений из книги И. Менана «Анналы царей Ассирии» (1874): «Под конец своего царствования Ассурахиидин, получив тяжкую болезнь (669 г.), от которой потом и умер, передал престол старшему сыну своему, Ассурбанипалу, оста-

вив себе в управление лишь Вавилонию, где он и скончался в 667 г.» (С. 132).

Сам же Менан в книге, на которую ссылается Астафьев, пишет следующее: «Сependant Assarhaddon atteint d'une maladie qui devait le conduire au tombeau sentit un jour qu'il n'était plus en état de supporter le poids de ses conquêtes. Il abdiqua, le 12 airu du Limmu de Mar-la-arme (12 avril 664), en faveur de son fils aîné, et se reserve le commandement de la Babylonie, où il continua de régner jusqu'au moment de sa mort, qui eut lieu dans le courant de l'année suivante»* (Р. 250).

Версия о добровольном отречении Асархаддона была в науке XIX века необычайно популярной. Ее след мы видим и в статье «Ассирия» энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона: «Ассаргадон (680—667) снова овладел Вавилоном, избрал его своею резиденцией и предпринял там величественные постройки. Он передал своему преемнику господство над Халдеей, подчинил своей власти Египет, смирил эфиопа Таргака и изгнал Манассию из Иудеи в Вавилон. О деяниях его повествует сохранившаяся до нашего времени надпись в Нар-эль-кельбе, в Сирии, недалеко от Бейрута. Ассаргадон в старости отрекся от престола в 667 г., предоставив старшему сыну своему Ассурбанигабалу (Сарданапалу VI) Ассирию и младшему Самулма-садукину (Саосдукину) — Вавилон».

Наука того времени еще не знала о том, что Асархаддон умер 1 ноября 669 г. во время похода на Египет и все это время оставался ассирийским царем. И свидетельство надписи о приведении людей Ассирии к присяге Ашшурбанапалу она принимала за добровольный отход прежнего царя от власти. На самом же деле произошло следующее: Асархаддон еще при своей жизни, в мае 672 г., утратив незадолго перед тем старшего своего сына, заставил придворных присягнуть своему следующему сыну и ввел его в дела Ассирии; сам же он остался у власти, но выбрал своей резиденцией Вавилон¹⁷. Этот хитрый политический ход наука XIX века принимала за романтический поступок,

* Между тем Ассархаддон, предавшись болезни, которая должна была его привести к могиле, чувствовал, что скоро он больше не сможет удерживать свои завоевания. Он уступил власть 12 айара в год лимму Марлаарме (12 апреля 664) в пользу своего старшего сына, оставив себе управление Вавилонией, где он продолжал править до момента своей смерти, наступившей в следующем году (фр.).

видя в Асархаддоне едва ли не отшельника, отрекшегося от власти во имя вкушения духовных благ. Таким, во всяком случае, подает его русскому читателю Рагозина.

Таким образом, можно заключить, что источниками сказки-притчи Толстого в той или иной степени послужили три сюжета разных народов Востока: а) философская максима индуизма, взятая из Упанишад и Бхагавадгиты; б) арабская история вознесения Мухаммеда; в) ассирийская история Асархаддона и Лаилиэ. Эта последняя история и сформировала фабулу сказки. Возможно, Толстой сразу же ухватился за сюжет с Лаилиэ именно потому, что сам он в это время раздумывал об уходе из Ясной Поляны. Толстой видел в самом себе такого повелителя, который из чувства милосердия и сострадания к угнетенным готов порвать со всяческой властью, довольствуясь только рубищем аскета¹⁸. Тогда существенно проясняется подтекст сказки Толстого. Когда он писал свое произведение, то думал о себе самом как о носителе жестокой власти, по вине которого страдают люди и которому надлежало бы уйти в странники подобно Асархаддону. Когда же он отдавал сказку в еврейскую печать, то уже представлял асархаддонами погромщиков, а в образе страдальца Лаилиэ видел весь еврейский народ. Но этого соединения исповеди с проповедью тогда не заметил никто.

¹ Притча вышла в свет только в 1906 г., но переведена была еще летом 1903 г.

² Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого: В 2 т. М., 1922. Т. 1. С. 114.

³ Шифман А. И. Лев Толстой и Восток. М., 1971. С. 589–590.

⁴ Чхандогья-упанишада / Пер. А. Я. Сыркина. М., 1991.

⁵ Бхагавадгита / Пер. В. С. Семенцова. М., 1985.

⁶ <http://www.arabic.ru/world/islam/miraj.html>; традиционный рассказ о Мирадже основан на описании, данном в биографии Мухаммада, принадлежащей перу Ибн Хишама.

⁷ Сообщено А. Н. Полосиной, за что приношу ей сердечную благодарность.

⁸ Не знаю, было ли известно Толстому стихотворение В. Я. Брюсова «Ассаргадон» (1897). Но в этом стихотворении не был упомянут арабский поход, а в притче Толстого никак не затронуты те деяния Асархаддона, о которых вещает Ассаргадон Брюсова. Скорее всего, между этими произведениями нет ничего общего.

⁹ Только Рагозина передавала клинописное слоговое написание La-a-a-le-e как Лаилиэ. В переводе книги Г. Масперо оно передано как Лайале. Следовательно, можно не сомневаться в том, что источником сказки Толстого стала именно книга Рагозиной.

¹⁰ Не будучи специалистом в области ассириологии, Масперо в главе об ассирийской истории ссылается на труды Дж. Смита, Э. Баджа (Budge E. A. W. The History of Esarhaddon. London, 1880) и И. Менана (Menant J. Annales des rois d'Assyrie. Paris, 1874). Однако, излагая факты по данным источникам, он всегда делает из этих фактов собственные выводы.

¹¹ Современный исследователь древней истории арабов, ассириолог И. Эфаль датирует кампанию Асархаддона против племенных вождей Базу 677–676 гг. до н. э., а саму страну Базу локализует в районе Бахрейна (Eph'ail I. The Ancient Arabs. Nomads on the Borders of the Fertile Crescent 9th–5th Centuries B. C. Leiden, 1982. P. 130–137).

¹² По смыслу должно быть «на нее», но в тексте стоит местоимение мужского рода единственного числа 3-го лица.

¹³ Буквально «как султан» (*салтаниш*).

¹⁴ Первые издатели текста читают эту фразу, *aq-ta-bi-šu₂ a-hu-[tum]*, — «я говорил с ним (о) братстве» (Бадж). «Братство» в данном контексте означает «возможность братских (т. е. равных) отношений между правителями». Однако о равенстве в случае Асархаддона и Лайале говорить не приходится, поскольку последний является вассалом и данником первого. Если же понять разбитый последний знак как LAR, получим *aq-ta-bi-šu₂ a-hu-[lap]* — «я сказал ему *ахулап*». Это слово означает восклицание при сочувствии. Оно известно из надписей деда Асархаддона царя Саргона II: *rēma aršišunūtima utnennīšunu alqi...aqbīšunu ahulap* — «Милость я им явил — молитвы их принял... *ахулап* им сказал» (Chicago Assyrian Dictionary, A1, 214).

¹⁵ Еще один раз имя Лайале встречается во фрагменте ниневийской призмы Асархаддона, где читаем: «Их богов, их имущество, их богатство и их людей в Ассирию я увел. Лайале, царь Йади, что перед моим оружием упорхнул, в великом страхе пал. В Ниневии он предо мной предстал и стопы мои облобызал. Милость я ему явил — эту землю Базу ему поручил» (Nin. A IV 71–76; Vogel R. Die Inschriften Asarhaddons Königs von Assyrien. Graz, 1967. S. 56–57). В данном фрагменте вовсе не говорится о возвращении царю Лайале богов его народа, а милость, оказанная Асархаддоном, касается только дарования власти над районом Базу преклонившемуся пред ним вассалу. Изворотливый, вечно лояльный Лайале усидел и при следующем царе

Ашшурбанапале, в письме которого (ABL, 839, rev. 8) единожды помянут «Лайале, царь Безу» (E r h ' a l I. The Ancient Arabs... P. 131).

¹⁶ Опечатка в книге Рагозиной. На самом деле, конечно, 668 г.

¹⁷ Точные данные о последних месяцах жизни Асархаддона были известны уже Б. А. Тураеву: «Едва ушло из Египта ассирийское войско, как Тахарка, собравшись с силами, вновь появился на сцене и уже овладел Мемфисом. Асархаддон немедленно лично отправился против него, но на дороге умер (кон. 669)» (Тураев Б. А. История Древнего Востока: В 2 т. Л., 1935. Т. 2. С. 52). Современная наука подтверждает информацию надписи Ашшурбанапала о прижизненном отцовском приказе присягать ему на верность: «Еще при жизни Асархаддона все население Ассирии было приведено к присяге на верность Ашшурбанапалу. Он смог беспрепятственно занять ассирийский престол» (История Востока. Восток в древности. М., 1999. Т. 1: С. 239).

¹⁸ Это стремление хорошо просматривается уже в «Исповеди», где сказано: «Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни — спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милосердным» («Исповедь», гл. XIII).

С. Ю. Николаева

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ КНИГИ Л. Н. ТОЛСТОГО «КРУГ ЧТЕНИЯ»*

Проблема жанрового своеобразия «Круга чтения» Л. Н. Толстого сложна в силу того, что история создания книги оказалась весьма длительной и жанрово-композиционная структура в процессе работы писателя менялась, эволюционировала, а также в силу того, что Толстой избрал для себя особые творческие ориентиры, опираясь на древние традиции русской литературы.

Мысль о создании «Круга чтения» возникла у Толстого еще в середине 1880-х гг., то есть в период работы над «народными рассказами», а значит, в период глубокого интереса писателя к древнерусским литературным источникам, прежде всего Прологу, Четным минеям, Патерикам¹, разного рода энциклопедическим и дидактическим сборникам наподобие «Пчелы», «Измарагда» и др.

Дневниковые записи свидетельствуют о настойчивости и целеустремленности творческой мысли Толстого: «Надо себе составить Круг чтения: Эпиктет, Марк Аврелий, Лаоцзы, Будда, Паскаль, Евангелие. — Это и для всех бы нужно» (49, 68); «Я по себе знаю, какую это придаст силу, спокойствие и счастье — входить в общение с такими душами, как Сократ, Эпиктет, Арнольд, Паркер. <...> Очень бы мне хотелось составить Круг чтения, т. е. ряд книг и выборки из них, которые все говорят про то одно, что нужно человеку прежде всего, в чем его жизнь, его благо» (85, 218); «Вопрос о том, что читать доброе по-русски? заставляет меня страдать укорами совести» (64, 152).

В начале 1904 г. начинается непосредственная работа над составлением «Круга чтения», которому предшествовала книга «Мысли мудрых людей на каждый день» (1903), и при этом Толстой настойчиво

* Исследование проводилось при финансовой поддержке РГНФ (проект № 04-04-00300а «Книга Л. Н. Толстого “Круг чтения”: проблематика, источники, текстология»).

использует самое простое жанровое определение — «календарь»: «составлял новый календарь», «занимался календарем», «пытался работать над календарем» (55, 3–7). Предполагалось, что на каждый день календаря читателю будет предложено какое-либо «душеполезное» чтение. Как известно, календарная форма организации «четьего» материала пришла от богослужебных книг и была продиктована церковным канонам. И в Прологе, и в Четьих минеях слова, поучения и жития располагались в строгом соответствии с церковным календарем и его памятными датами. Правда, существовала особая традиция расширения содержания подобных книг путем различных «толкований»² — и тогда появлялись Псалтырь Толковая, Псалтырь Гадательная, Палея Толковая и др.³ Интересна история Пролога на русской почве: первоначально эта книга содержала лишь слова и поучения, а также богослужебные тексты, но позднее в нее были включены многочисленные жития святых в кратких, так называемых проложных редакциях⁴.

По сути дела, логика развития жанрового мышления Толстого оказалась аналогичной. Во-первых, как в древнерусской «Пчеле» или «Измарагде», так и в книге Толстого афоризмы каждого дня оказались подчинены какой-то одной теме, рубрике. Во-вторых, количество афоризмов в каждом ежедневном чтении оказалось довольно велико — от четырех до пятнадцати, так что возникла дополнительная необходимость обдумывать их композицию, и в итоге каждое ежедневное чтение превратилось в особое единство, особую жанровую форму. В-третьих, Толстой пришел к необходимости включить в книгу материалы художественные, биографические, исторические и разработал такие структурные элементы книги, как «недельные» и «месячные» чтения. Сами термины, необычные для литературы, были заимствованы из богослужебной практики: «неделя о святых женах-мироносицах», «неделя о слепом», «неделя о самарянине» и т. д. — все это воскресные церковные чтения, у которых есть свое определенное место в церковном календаре, расчисленное по Пасхалиям. «Месячные чтения» — это и есть «Четьи минеи».

Так, например, для 6 января Толстой намечает тему «Усилие», и, конечно, не случайно. В этот день празднуется Святое Богоявление, или Крещение, то есть вспоминается Крещение Господа Иисуса Христа Иоанном Крестителем в водах Иордана, причем первое название праздника — Богоявление — обращает внимание на то, что при этом событии произошло особое явление всех трех лиц Божества.

Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы явить свою человеческую природу, подать всем людям пример смирения и усилia над собой, показать, что он готов в своей земной жизни до конца нести свой крест. Крещение означает, что человек решительно перерождается, становится новым человеком, умирает для жизни плотской и возрождается к жизни духовной, для Христа и других людей. «Все христиане должны помнить, что данный в Таинстве Крещения талант, залог новой жизни, приумножается путем личных усилий, иногда подвигом всей жизни. <...> ...Сатана изгоняется из его сердца. Хотя возможность искушать за Дьяволом остается, но он становится как бы внешним человеку»⁵.

По сути дела, Толстой точно следует православной точке зрения, выбирая ключевые понятия в богословском комментарии к теме Крещения Господня, — в данном случае это «усилие», «добро», «зло». И далее его работа состоит в том, чтобы дать читателю фрагменты из разных источников в определенной последовательности, которая выражает собственно толстовскую нравственную мысль. Можно проследить, как изящно выстраивается эта мысль.

Сначала намечается исходный тезис: «Усилие нужно для делания добра, но еще нужнее для воздержания от зла». Затем следует ряд аргументов, модальность которых меняется по восходящей и становится все более учительной, побудительной.

Прежде всего говорится о необходимости самоограничения, воздержания: «Для достижения святости нет ничего важнее воздержания. Воздержание же должно быть раннею привычкою. Если оно ранняя привычка, то оно утверждает в добродетели. Для того, кто утверждён в добродетели, нет ничего, чего бы он не мог превозмочь. *Лао-Тсе*».

Затем речь идет о тщетности и иллюзорности удовлетворения праздных желаний: «Все то, чем люди так восхищаются, все, ради приобретения чего они так волнуются и хлопочут, все это не приносит им ни малейшего счастья. Покуда люди хлопочут, они думают, что благо их в том, чего они домогаются. Но лишь только они получают желаемое, они опять начинают волноваться, сокрушаться и завидовать тому, чего у них еще нет. Не удовлетворением своих праздных желаний достигается спокойствие, но, наоборот, избавлением себя от таких желаний. Если хочешь увериться в том, что это правда, то приложи к освобождению себя от своих пустых желаний хоть наполовину столько же труда, сколько ты до сих пор тратил на их исполнение, и ты сам

скоро увидишь, что, поступая так, ты получишь гораздо больше покоя и счастья. *По Эпиктету*».

Затем Толстой переходит к испытаниям на жизненном пути человека и к человеческим чувствам, призывает к сдержанности: «Слава человеку, не поддающемуся искушению. Бог испытывает всякого: одного богатством, другого бедностью; богатого — откроет ли он руку нуждающемуся, бедного же — снесет ли он безропотно, с покорностью свои страдания. *Талмуд*»; «Лишь того я назову верным возничим, кто сдерживает свой гнев, несущийся подобно стремительной колеснице; другие же, бессильные, только держатся за поводья. [*Дхаммапада.*] *Буддийская мудрость*».

Итак, первоначально сформулированный тезис о «воздержании» (самоограничении) трансформируется в тезис о «сдержанности» (усилии, преодолении себя).

Наконец, венчают это «крещенское чтение» практические советы продолжать борьбу с самим собой: «Если, обремененный неприятными делами, ты чувствуешь приступ гнева или возмущения, то спеши уйти в самого себя и не теряй самообладания. Чем более мы упражняемся в том, чтобы силою воли вернуться к спокойному настроению души, тем способность удерживать спокойствие духа усиливается. *Марк Аврелий*»; «Сколько бы раз ни пришлось тебе падать, не достигнув победы над своими страстями, не унывай. Всякое усилие борьбы уменьшает силу страсти и облегчает победу над ней» (41, 20). Налицо целостность и завершенность фрагмента, полнота развития намеченного нравственно-философского сюжета.

2 февраля православная церковь празднует Сретение — христианский праздник, установленный в память принесения Св. Девой Иисуса Христа в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения Спасителя. Здесь их встретил Симеон Богоприимец, которому было обещано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Эта встреча — главное событие данного праздника, она знаменуется словами Симеона: «Ныне отпускаеши раба Твоего». Речь идет не просто о смерти, а о встрече со смертью, об ожидаемой и желанной смерти, которая не страшна верующему человеку, увидевшего Спасителя. И Толстой на этот день намечает тему «Смерть».

Завязка сюжета состоит в том, что Толстой говорит о разном отношении к смерти: «Жизнь с забвением смерти и жизнь с сознанием ежечасного приближения к смерти — два совершенно различные состояния».

Из последующих аргументов становится ясно, что предпочтительной для Толстого является вторая точка зрения: «Чем больше перенесена жизнь из области телесной в область духовную, тем менее страшна смерть. Для человека, живущего вполне духовной жизнью, страха этого не может быть»; «Когда ты твердо убежден и помнишь, что с часу на час тебе предстоит сбросить свою внешнюю оболочку, свое тело, т. е. умереть, тебе легче соблюдать справедливость и поступать по правде, легче покоряться судьбе своей. Думай только о том, как бы не отступить от правды в каждом предстоящем тебе сегодня деле и как бы покорно нести то, что сейчас предстоит тебе. Живи так — и ты не только встретишь невозмутимо всякие людские толки, пересуды, покушения, — ты даже не станешь думать о них, но все бедствия, которые могут постигнуть тебя, покажутся тебе неважными, потому что, живя так, все желания твои сольются в одно — исполнять волю Бога. А это ты всегда можешь сделать. *По Марку Аврелию*».

В понимании православной церкви, «смерть ужасна, но в ней мера всего высокого, мера достоинства человека. Готовностью умереть измеряется храбрость, верность, надежда, любовь, вера»⁶. В полном соответствии с таким пониманием Толстой подбирает свои афоризмы: «Думай чаще о смерти и живи так, как будто ты знаешь, что должен скоро умереть. Как бы ты ни сомневался в том, как поступить, представь себе, что ты умрешь к вечеру, и сомнение тотчас же разрешается, тотчас же ясно, что дело долга и что личные желания»; «Мысль о близости смерти распределяет все наши поступки по степени их истинной важности для нашей жизни. Приговоренный к немедленной казни не станет заботиться об увеличении, сохранении своего состояния, ни об установлении о себе доброй славы, ни о торжестве своего народа перед другими, ни об открытии новой планеты и т. п., но за минуту перед смертью постарается утешить огорченного, поднимет упавшего старика, перевяжет рану, починит игрушку ребенку...»

Православие считает земную жизнь величайшим благом, поскольку истинный христианин «может наполнить каждое мгновение ее светом Христовой любви»⁷. И Толстой развивает эти же мотивы: «Я люблю свой сад, люблю читать книжку, люблю ласкать детей. Умирая, я лишаюсь этого, и потому мне не хочется умирать, и я боюсь смерти. Может случиться, что вся моя жизнь составлена из таких временных, мирских желаний и их удовлетворения. Если так, то мне нельзя не бояться того, что прекращает эти желания. Но если эти желания и их удовлетворение

изменились во мне и заменились другим желанием — исполнять волю Бога, отдаться ему в том виде, в котором я теперь, и во всех возможных видах, в которых буду, то чем больше заменилась моя воля волей Бога, тем меньше не только страшна мне смерть, но тем меньше существует для меня смерть. А если совсем заменятся мои желания блага своей личности желанием исполнения воли Бога, то и не будет для меня ничего, кроме жизни»; «Заменять мирское, временное вечным это — путь жизни, и по нем-то надо идти. А как? Это в своей душе знает каждый из нас».

Итоговое суждение Толстого звучит как комментарий к жизни Симеона Богоприимца: «Вспоминать о смерти значит жить без мысли о ней. О смерти нужно не вспоминать, а спокойно, радостно жить с сознанием ее постоянного приближения» (41, 79).

15 августа празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Церковь на примере этого события учит, что «смерть не есть уничтожение нашего бытия, а только переход от земли на небо, от тления и разрушения к вечному бессмертию». Господь забрал Богородицу на небо и воссоединился с ней⁸. Поэтому темой толстовского чтения становится «Радость». И Толстой в зачине своего философского микросюжета дает разные толкования радости: «Радость жизни свойственна животным, детям и святым: животным потому, что у них нет разума, который, будучи ложно направлен, лишил бы их этой радости; детям потому, что разум их еще не успел извратиться; святым потому, что жизнь дает им то самое, чего они желают: возможность совершенствования, приближения к Богу» (41, 573).

Высшей радостью, по Толстому, является духовная радость человека в процессе работы над собой — радость «приближения к Богу». Для доказательства этой мысли писатель использует притчу о виноградарях, которые не исполнили своего предназначения и тем самым лишили себя высшей радости, обрекли себя на злую смерть: «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выковал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградары, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградары, увидевши сына, сказали друг другу: это наследник;

пойдем убьем его и завладеем наследством его. И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои» (Мф. 21, 33—41). Духовные ценности, выработанные человечеством на протяжении веков, — это и есть сад, нуждающийся в сохранении и преумножении. Обречены на исчезновение, превращение в прах те, кто не способен растить свой, данный свыше, виноградник.

Как обращение к современникам, забывшим о своем высоком предназначении, звучат слова Толстого: «Людям дан сад, который сажали не они, и, для того чтобы им радоваться жизнью, им нужно только исполнять условие, под которым им передан сад. Они не исполняют его и говорят, что виноваты не они, а хозяин сада»⁹.

Финальные сентенции Толстого вновь возвращают читателя к теме самосовершенствования, которое непосредственно ведет к радости: «Ты ищешь рай, хочешь быть там, где нет страданий и вражды, — освободи свое сердце, сделай его чистым и светлым, и тебе уже и здесь будет тот рай, которого ты желаешь»; «Если жизнь не представляется тебе великой, незаслуженной радостью, то это только потому, что разум твой ложно направлен» (41, 575—575).

Несомненно, отчетливее всех прочих календарных вех Толстой обозначает богородичные праздники. На 8 сентября приходится Рождество Богородицы, чье участие в жизни каждого человека, в жизни земной и Небесной Церкви очень велико. И Толстой обозначает тему этого дня: «Детство». Раскрывается эта тема с необычайным воодушевлением, начиная с общего положения — «В детях все величайшие возможности» — и продолжая многочисленными цитатами из Евангелия, подтверждающими нравственную чистоту души ребенка: «И Иисус сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Наконец, делается заключение о необходимости беречь и охранять детство и девственность: «Какое время может быть лучше детства, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и потребность любви — являются единственными побуждениями в жизни»; «Уважай

всякого человека, но в сто раз больше уважай ребенка и берегись того, чтобы не нарушить девственной чистоты души его» (42, 22–24).

Обращает на себя внимание и такая дата в книге Толстого, как 21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник этот напоминает нам о предуготовлении Богородицы к жизненному подвигу, к подвижнической жизни, к служению Богу. И Толстой называет тему этого дня: «Служение».

Разработка этой темы скрупулезная, детальная. Прежде всего, писатель считает, что каждый человек способен посвятить себя Служению: «Нет того особенного подвига, который бы мы могли совершить в этой жизни. Вся жизнь наша должна быть этим подвигом». Необходимо только сосредоточить на нем все свои духовные силы: «При каждом пробуждении задавайся вопросом: что бы доброго совершить сегодня? и думай: ведь солнце, закатясь, унесет с собой частицу предназначенной мне жизни. *Индийское изречение*». Цитата из Паскаля подтверждает необходимость систематических духовных усилий: «Добродетель человека измеряется не его необыкновенными усилиями, а его ежедневным поведением. *Паскаль*».

Затем Толстой предлагает «рационалистический» аргумент: «Выгода служения Богу перед служением людям в том, что перед людьми невольно хочешь выказаться в лучшем свете и огорчаешься, когда тебя выставляют в дурном; перед Богом же ничего этого нет. Он знает тебя, каков ты, и перед Ним никто тебя оклеветать не может, так что тебе не нужно стараться казаться, а нужно только действительно быть лучше». После этого Толстой снова возвращается к мотиву ежедневных усилий человека над собой: «Да будет каждая утренняя заря для вас как бы началом жизни, и каждый закат солнца как бы концом ее, и пусть каждая из этих коротких жизней оставляет по себе след любовного дела, совершенного для других, и доброго усилия над собой. *Джон Рёскин*».

Участие в «работе Бога» — вот смысл жизненного подвига человека: «По отношению к служению Богу все наши поступки — те, которые считаются важными, и те, которые считаются ничтожными, — одинаково значительны или одинаково незначительны. Мы не знаем, какое будет сделано из них употребление, но знаем то, что мы должны делать» (42, 271–272). Введение Богородицы во храм интерпретируется Толстым как метафора, иносказание: всякий, служащий Божьему делу, «входит в храм».

Наконец, Толстой отчетливо обозначает такие вехи календаря, как Рождество Христово и конец года.

На 24 декабря, канун Рождества, писатель намечает тему: «Рост». Это излюбленная Толстым тема соотношения духовного и телесного начал в человеке, тема нравственной эволюции человека. Исходный тезис звучит так: «С детства начинается рост духовной и уменьшение телесной силы. Как два конуса, обращенные вершинами к основаниям, равномерно уменьшается телесная сила и растет сила духовная».

Затем возникает мотив таинства, тишины: «Гармоничный рост как в природе, так и в человеке всегда совершается в молчании, в тишине; шумно бывает только все разрушительное, порочное и грубое.

Однако немногие понимают необходимость жизни в тиши и молчании для истинного духовного роста и развития. Большею частью люди живут в суете и сумятице и скучают, когда им приходится оставаться одним.

Только в тишине уединения может человек найти могущественную силу жизни и роста. Это самое говорил Христос словами: “Когда же молишься, войди в клеть твою...” Мир страшно нуждается в этом молчаливом росте для осуществления мира. Его отвлекают от истинного духовного роста тысячи голосов, сулящих ему спасение в виде разных новых учений, которые будто бы могут спасти его.

Нам нужно больше быть в тишине, и голос молчания сообщит нам истину, которая освободит нас. *Люси Малори*».

Далее следует несколько высказываний о физическом и духовном росте человека и делается вывод о том, что человек, живущий духовной жизнью, познает радость жизни вечной и бесконечной:

«Растите духовно и помогайте расти другим. В этом вся жизнь. Ужасно положение того, кто не сознает в себе духовной жизни и роста. Была одна телесная жизнь — и та неудержимо уничтожается и вот-вот исчезнет. Сознай свою духовную сущность, живи ею, и вместо отчаяния ты узнаешь ничем не нарушимую и все увеличивающуюся радость» (42, 376–378).

Дата 25 декабря — Рождество Христово — закономерно приводит Толстого к теме «Милосердие», которая плавно перерастает в тему «Воспитание», заявленную на 26 декабря.

Последний день уходящего года — 31 декабря — отмечен темой «Настоящее», то есть темой времени. Анализ показывает, что и здесь, обращаясь к проблеме общефилософской, Толстой не противоречит православной точке зрения, а следует ей, отстаивает ее.

«Прошедшего нет, будущее не наступило. Настоящее есть бесконечно малая точка соприкосновения несуществующего прошедшего с несуществующим будущим. И в ней-то, в этой безвременной точке, и совершается истинная жизнь человека», — это исходный тезис, призыв к читателю жить здесь и сейчас, то есть в настоящем.

Он находит соответствие в «Православном катехизисе»: «Только настоящее принадлежит нам, а между тем человек часто склонен разрушать его ради мечты о неверном будущем. Часто люди устремляются за будущим, попирая настоящее. <...> Каждое мгновение времени может стать настоящей ценностью, если оно не служит только средством к последующему и если мы непосредственно готовы отдать его чему-либо ценному. Это возможно, если мы живем не только будущим, но и настоящим и если мы умеем не только действовать, но и созерцать. Только через настоящее и через внимание к нему можно достигнуть вечного. И Бога можно встретить только в настоящем мгновении, а не в мечтах о будущем»¹⁰.

Толстой уточняет, что нужно не просто жить здесь и сейчас, — здесь и сейчас нужно реализовать свой нравственный потенциал, свою духовную сущность: «Времени нет. Есть только бесконечно малое настоящее. В нем-то и совершается жизнь. И потому на одно настоящее должен направить человек все свои духовные силы».

Итак, в своей книге Толстой создает уникальный жанр тематически организованного ежедневного чтения, своего рода философского «стихотворения в прозе». В каждом таком «стихотворении» представлена поэзия мысли, развернут законченный микросюжет. Все множество философских фрагментов складывается у Толстого в единую мозаику, в систему, подчиненную календарному принципу. По сути дела, это принцип христианского календаря, в основе которого лежит архетип земной жизни Иисуса Христа. Именно Христос остается для Толстого идеалом святости, а православие — основой нравственности современного человека. Именно с христианством связывает писатель нравственные ориентиры грядущего века.

Ярким примером воплощения глубинной связи ежедневных чтений с «недельными» и «месячными» может служить второе недельное чтение января — толстовское произведение «Кающийся грешник» (по мотивам древнерусской «Повести о бражнике»). Если в первом январском недельном чтении — рассказе «Воров сын» (по мотивам рассказа Н. С. Лескова «Под Рождество обидели») — повествуется об обстоя-

тельствах, изначально предопределивших весь жизненный путь человека, то в «Кающемся грешнике» говорится о финале земной жизни, который предвосхищает судьбу человека в мире загробном. Толстой показывает начало и конец жизни, проводит параллель между ними и выявляет зеркальную симметрию: доброта, милосердие и любовь людей по отношению к лесковскому герою, «ворову сыну», преобразили его нравственную сущность, сделали его праведником; толстовского «бражника» доброта, милосердие и любовь «Святых Отцов» сделали «наследником» Царства Небесного. В первом случае герой спасается от искушения и греха, во втором случае искушения и грехи прощаются герою, который спасается подобно разбойнику, бывшему вместе с Христом на кресте.

И «Воров сын», и «Кающийся грешник» ставят целью скорректировать «рождественскую» тематику, внося новые, дополнительные смысловые коннотации, тяготеющие к «пасхальному» архетипу, так как в обоих случаях речь идет не столько о «рождестве» человека, сколько о его перерождении, о нравственном воскресении, о возрождении души к жизни вечной. Таким образом, включая «Кающегося грешника», который был написан еще в 1886 г., в «Круг чтения», Толстой понимал, что художественная концепция его рассказа корректно вписалась в контекст новой книги. Это было обусловлено тем, что переработка древнерусской «Повести о бражнике» осуществлялась Толстым в собственном, глубоко оригинальном направлении.

Первоисточник был знаком Толстому по различным публикациям, а значит, и в разных редакциях и вариантах. Материалы яснополянской библиотеки свидетельствуют, что писатель располагал текстом «Повести о бражнике», впервые опубликованной в журнале «Русская беседа» (1859. № 6)¹¹, а также изданиями А. Н. Афанасьева, Г. Кушелева-Безбородко, Ф. И. Буслаева, А. Д. Галахова и др.¹²

Различия в текстах «Повести о бражнике» оказались весьма значительными, что дало Толстому известную творческую свободу, позволило полностью реализовать собственный замысел, оставаясь вместе с тем в рамках древнерусского сюжета, сохраняя его аутентичность. Известно, что в древнерусском произведении главный герой, бражник, вступает у врат рая в диалог с апостолами Петром и Павлом, с ветхозаветными иудейскими царями Давидом и Соломоном, святителем Мирликийским Николаем и Иоанном Богословом, причем количество участников этого нравственно-философского диспута колеблется

в разных редакциях от трех до шести. В зачине повести может присутствовать или отсутствовать упоминание об «аскетическом» образе жизни бражника, который «в нощи на камени спал». Варьируется и финал произведения: герой всегда попадает в рай, но лишь иногда занимает там лучшее место, вступая в полемику по этому поводу со Святыми Отцами. Наконец, вариативной является моралистическая концовка повести, автор которой призывает «сынов русских», «православных христиан» «не упиваться без памяти»¹³.

Все толстовские отступления от текста, как и случаи совпадения с первоисточником, весьма репрезентативны и свидетельствуют о наличии целостного художественного замысла автора. Замысел этот не тождествен известным, общепринятым трактовкам древнерусской повести.

Казалось бы, близкой Толстому могла показаться точка зрения, согласно которой «Повесть о бражнике» принадлежит смеховой литературе и должна восприниматься в одном ряду с дидактическими и сатирическими сочинениями против пьянства («Слово о хмеле», «Служба кабаку» и др.). В структуре «Круга чтения» важное место занимают нравоучительные фрагменты, направленные против «одурманивания людей». И тем не менее Толстой отказывается от прямой морализации, от узко, в бытовом смысле понимаемой темы пьянства и движется по пути художественного обобщения: он заменяет образ горького пьяницы, бражника образом грешника, не давая конкретных указаний на грехи своего героя.

В древнерусской повести ситуация питья точно обозначена уже в зачине: «Бысть неки бражник, и зело много вина пил во вся дни живота своего, а всяким ковшем Господа Бога прославляя и чясто в нощи Богу молился»¹⁴. Толстой, в отличие от древнерусского автора, обобщает: «Жил на свете человек семьдесят лет, и прожил он всю жизнь в грехах. И заболел этот человек и не каялся» (41, 37). По Толстому, человек прожил отмеренный ему срок жизни, прожил, как любой грешный человек. Он не сразу раскаялся, но все-таки пришел к Богу.

В древнерусской повести отсутствует психологическая мотивировка той настойчивости, с какой бражник стремится попасть в рай, — просто сам Бог в назначенный срок посылает ангела за бражником: «И повеле Господь взять бражникову душу, посла аггела своево, и взят аггел бражникову душу, и постави ю у врат святаго рая Божия, а сам аньел и прочь пошел. Бражник же начя у врат рая толкатися...» (222).

У Толстого данный эпизод приобретает нравственно-психологическую направленность и трансформируется в соответствии с евангельской топикой. Акцент делается на раскаянии героя и его обращении к Богу: «И когда пришла смерть, в последний час заплакал он и сказал: “Господи! как разбойнику на кресте, прости мне!” Только успел сказать — вышла душа. И возлюбила душа грешника Бога и поверила в милость его и пришла к дверям рая. И стал стучаться грешник и проситься в Царство Небесное» (41, 37–39). Писатель считает необходимым вновь вспомнить разговор Иисуса с разбойником, происходивший во время казни, — разговор, полностью приведенный им в эпиграфе к рассказу.

Центральная часть «Повести о бражнике» — это диалоги героя с обитателями рая. По сравнению с лаконичным текстом повести XVII века Толстой усиливает драматизм полемики, тщательно детализируя все разговоры, психологически мотивируя все реплики. Стилистика Толстого при этом тяготеет к Евангелию, каждая новая строка начинается союзом «и». Тем самым Толстой актуализирует религиозный смысл древнерусской повести, евангельский аспект, новозаветную нравственность, суть которой видит в любви.

Вот как передается первый разговор бражника с одним из апостолов у древнерусского писателя: «...и приде ко вратом верховны апостол Петр, и вопроси: “Кто естъ толкущися у врат рая?” Он же рече: “Аз есмь грешны человек бражник, хощу с вами в раю пребыти”. Петр рече: “Бражником zde не входимо!” И рече бражник: “Кто ты еси тамо? Глас твой слышу, а имени твоего не ведаю”. Он же рече: “Аз естъ Петр апостол”. Слышав сия бражник, рече: “А ты помниши ли, Петр, егда Христа взяли на распятие, и ты тогда трижды отрекся еси от Христа? А я, бражник, никогда не отрекся от Христа. О чем ты в раю живеши?” Петр же отиде прочь посрамлен» (222). Как видим, беседа ограничивается кратким напоминанием Петру о его троекратном отречении от Христа.

В толстовской интерпретации диалог более пространственный, каждой реплике придается особый вес:

«И услышал он голос из-за двери: “Какой человек стучится в двери райские? И какие дела совершил человек этот в жизни своей?”

И отвечал голос обличителя и перечислил все грешные дела человека этого. И не назвал добрых дел никаких.

И отвечал голос из-за двери: “Не могут грешники войти в Царство Небесное. Отойди отсюда”.

И сказал человек: “Господи! голос твой слышу, а лица не вижу и имени твоего не знаю”.

И отвечал голос: “Я — Петр апостол”» (40).

И далее речь грешника приобретает риторический характер, становится эмоционально-экспрессивной, психологически воздействует на восприятие оппонента и читателя:

«И сказал грешник: “Пожалей меня, Петр апостол, вспомни слабость человеческую и милость Божию. Не ты ли был ученик Христов, не ты ли из самых уст его слышал учение его и видал пример жизни его? А вспомни,— когда Он тосковал и скорбел душою и три раза просил тебя не спать, а молиться, и ты спал, потому глаза твои отяжелели, и три раза Он застал тебя спящим. Так же и я.

А вспомни еще, как обещал Ему самому до смерти не отречься от Него, и как ты три раза отрекся от Него, когда повели его к Каиафе. Так же и я.

И вспомни еще, как запел петух, и ты вышел вон и заплакал горько. Так же и я. Нельзя тебе не впустить меня”.

И затих голос за дверьми райскими» (41, 37—39).

Упоминания о человеческой слабости, о милости Божией, о тоске и скорби Иисуса, о заплакавшем когда-то Петре — все это взято Толстым из Евангелия, но обработано по-толстовски, то есть максимально приближено к точке зрения читателя. «Так же и я»,— эту фразу грешник произносит трижды. Если древнерусский бражник считает, что, в отличие от апостола Петра, не отрекался от Христа, то толстовский грешник признает свои грехи: «Так же и я». Он объединяет себя с апостолом Петром, но не противопоставляет себя ему. Поэтому в древнерусском тексте Петр оказывается «посрамлен», а у Толстого его голос просто «затихает». Диалог завершается не победой грешника, но примирением спорящих, что принципиально важно для толстовской концепции.

Очень характерна толстовская избирательность по отношению к персонажам повести. Петр и Павел, Давид и Соломон, Николай Чудотворец и Иоанн Богослов — эти имена в народном восприятии всегда соотносимы, всегда образуют своеобразные пары. Однако Толстой оставляет в своем тексте Петра, Давида и Иоанна, исключая Павла, Соломона и Николая Чудотворца. Художественный потенциал всех этих образов одинаково велик, все они включены в сложнейшие мифологические, библейские, исторические парадигмы мировой культуры.

Чем же руководствуется в своем выборе Толстой? Сопоставительный анализ текстов позволяет сделать следующие выводы.

Прежде всего, Толстой ориентируется все же не на общекультурные стереотипы, а на текст «Повести о бражнике». Древнерусский писатель в своем сюжете о Петре сделал акцент на мотиве предательства по отношению к Христу, а в сюжете о Павле — на мотиве убийства одного из учеников Христа: «Бражник же начя еще у врат рая толкаться. И приде ко вратом Павел апостол и рече: “Кто есть у врат рая толкаетца?” — “Аз есть бражник, хощу с вами в раю пребывати”. Отвеща Павел: “Бражником зде не входимо!” Бражник рече: “Кто еси ты, господине? Глас твой слышу, а имени твоего не вем”. — “Аз есть Павел апостол”. Бражник рече: “Ты еси Павел! Помниши ли, егда ты первомученика архидиякона Стефана камением побил? Аз, бражник, нико не убил!” И Павел апостол отиде прочь» (222).

Толстой опускает эпизод с Павлом, так как, безусловно, тема предательства, связанная с Петром, нравственно и психологически более сложна, более драматична, чем история убийства «по идеологическим причинам», она позволяет раскрыть тончайшие оттенки человеческих переживаний и создать многоаспектный мотивный комплекс: «Не ты ли был ученик Христов»; «Он тосковал и скорбел душою и три раза просил тебя не спать, а молиться, и ты спал, потому глаза твои отяжелели»; «как обещал Ему самому до смерти не отречься от Него, и как ты три раза отрекся от Него»; «запел петух, и ты вышел вон и заплакал горько». Общечеловеческая сущность Петра и толстовского грешника оказываются на первом плане, подробно комментируются Толстым. Отметим, что Толстой идет вслед за Чеховым — автором рассказа «Студент», в котором также рассматривается всеобщая связь между людьми разных эпох и культур.

Сопоставление эпизодов с Давидом и Соломоном дает приблизительно такой же результат. Древнерусский писатель охотно использовал сюжет о прелюбодеянии царя Давида, согрешившего с прекрасной Вирсавией и погубившего ее мужа: «Бражник же еще начя у врат толкаться. И приде ко вратом рая царь Давыд: “Кто есть у врат толкаетца?” — “Аз есть бражник, хощу с вами в раю пребыти”. Царь Давыд рече: “Бражником зде не входимо!” И рече бражник: “Господине, глас твой слышу, а в очи тебя не вижу, имени твоего не вем”. — “Аз есть царь Давыд”. И рече бражник: “Помниши ли ты, царь Давыд, егда слугу своего Урию послал на службу и веле ево убити, а жену ево

взял к себе на постелю? И ты в рай живеши, а меня в рай не пускаеши!” И царь Давид отиде прочь посрамлен» (223).

Этому эффектному, вполне «романическому» сюжету с его ярким человеческим содержанием явно проигрывает довольно запутанное, требующее отдельного внимания, большого объема текста и тщательного комментария апокрифическое повествование о том, как Соломон находился в преисподней и был спасен оттуда Иисусом, но в старости все же поклонялся идолам, забыв истинного Бога: «Бражник начя у врат рая толкаться. И приде ко вратом царь Соломон: “Кто есть толкаетца у врат рая?” — “Аз есь бражник, хоцу с вами в рай быти”. Рече царь: “Бражником zde не входимо!” Бражник рече: “Кто еси ты? Глас твой слышу, а имени твоего не вем”. — “Аз есмь царь Соломон”. Отвещав бражник: “Ты еси Соломон! Егда ты был во аде, и тебя хотел Господь Бог оставити во аде, и ты возопил: “Господи Боже мои, да вознесетца рука твоя, не забуди убогих своих до конца!” А се еше жены послушал, идолом поклонился, оставя Бога Жива, и четыредесять лет работал еси им! А я, бражник, никому не поклонился, кроме Господа Бога своего. О чем ты в рай вшел?” И царь Соломон отиде посрамлен» (223).

Разумеется, тема преступной любви Давида и Вирсавии, в отличие от темной истории мудреца Соломона, не могла не показаться Толстому наиболее отвечающей замыслу его книги, и он извлек из этого эпизода максимальный художественный эффект:

«И, постояв недолго, опять стал стучаться грешник и проситься в Царство Небесное.

И послышался из-за дверей другой голос и сказал: “Кто человек этот, и как жил он на свете?”

И отвечал голос обличителя, и опять повторил все худые дела грешника, и не назвал добрых дел никаких.

И отвечал голос из-за двери: “Отойди отсюда, не могут такие грешники жить с нами вместе в рай”.

И сказал грешник: “Господи! голос твой слышу, а лица не вижу и имени твоего не знаю”.

И сказал ему голос: “Я — царь и пророк Давид”. И не отчаялся грешник, не отошел от двери рая и стал говорить: “Пожалей меня, царь Давид, и вспомни слабость человеческую и милость Божию. Бог любил тебя и возвеличил перед людьми. Все было у тебя: и царство, и слава, и богатство, и жены, и дети, а увидел ты с крыши жену бедного

человека, и грех вошел в тебя, и взял ты жену Урия и убил его самого мечом аммонитян. Ты, богач, отнял у бедного последнюю овечку и погубил его самого. То же делал и я. И вспомни потом, как ты покаялся и говорил: я сознаю вину свою и сокрушаюсь о грехе своем. Так же и я. Нельзя тебе не впустить меня» (41). Вновь Толстой повторяет слова про «слабость человеческую и милость Божию», вновь вводит словесную формулу «так же и я», вновь завершает сюжет мотивом примирения: «И затих голос за дверьми» (223).

Что касается третьей пары персонажей — Николая Чудотворца и Иоанна Богослова, — то в данном случае выбор Толстого осуществлялся не на уровне драматических человеческих страстей и отношений, а на уровне нравственно-этических позиций героев. Сюжет о Николае Толстой отвергает вполне закономерно: вводит читателя в суть богословской полемики между Николаем Мирликийским и ересиархом Арием, утверждавшим неравенство Богу-Отцу Сына Божия, — это означало нарушить художественную структуру произведения, описывать же рукоприкладство одного из высших деятелей церкви, ставшего одним из любимейших святых на Руси, олицетворением «русского Бога», — писатель также не мог. Поэтому он исключил следующий фрагмент: «Бражник же начя у врат рая толкаться. И приде ко вратом святитель Никола: “Кто ешь толкуцися у врат рая?” — “Аз ешь бражник, хощу с вами в раю во царствие внити”. Рече Никола: “Бражником zde не входимо в рай! Им ешь мука вечная и тартар неисповедим!” Бражник рече: “Зане глас твой слышу, а имени твоего не знаю, кто еси ты?” Рече <...> Никола: “Аз ешь Николай”. Слышав сия бражник, рече: “Ты еси Николай! Помниши ли: егда Святити Отцы были на Вселенском соборе и обличяли еретиков, и ты тогда дерзнул рукою на Ария безумнаго? Святителем не подобает рукою дерзку быти. В Законе пишет: не убий, а ты убил рукою Ария треклятаго!” Николай, сия слышав, отиде прочь» (223).

Зато фрагмент об Иоанне Богослове привлек внимание Толстого, так как строился на мотиве христианской любви — доминирующем мотиве всего «Круга чтения»: «Бражник же еще начя у врат рая толкаться. И приде ко вратом Иоанн Богослов, друг Христов, и рече: “Кто у врат рая толкаетца?” — “Аз ешь бражник, хощу с вами в раю быти”. Отвещав Иоанн Богослов: “Бражником ешь не наследимо Царство Небесное, но уготованна им мука вечная, что бражником отнюдь не входимо в рай!” Рече ему бражник: “Кто ешь тамо? Зане глас твой

слышу, а имени твоего не знаю”. — “Аз есть Иоанн Богослов”. Рече бражник: “А вы с Лукою написали во Евангельи: друг друга любяй. А Бог всех любит, а вы пришелца ненавидите, а вы меня ненавидите. Иоанн Богослов! Либо руки своя отпишишь, либо слова отопришь!” Иоанн Богослов рече: “Ты еси наш человек, бражник! Вниди к нам в рай”. И отверзе ему врата» (224).

Свою интерпретацию диалога грешника с Иоанном Толстой основывает на Евангелии от Иоанна, которое очень любил и многократно использовал в качестве эпиграфов к своим произведениям. Лейтмотив этого Евангелия: «Бог есть любовь». И Толстой в очередной раз обыгрывает эти слова в своем художественном тексте:

«И, постояв недолго, опять стал стучаться грешник и проситься в Царство Небесное. И послышался из-за дверей третий голос и сказал: “Кто человек этот? И как прожил он на свете?”

И отвечал голос обличителя и в третий раз перечислил худые дела человека и не назвал добрых.

И отвечал голос из-за двери: “Отойди отсюда. Не могут грешники войти в Царство Небесное”.

И отвечал грешник: “Голос твой слышу, но лица не вижу и имени твоего не знаю”.

И отвечал голос: “Я — Иоанн Богослов, любимый ученик Христа”.

И обрадовался грешник и сказал: “Теперь нельзя не впустить меня: Петр и Давид впустят меня за то, что они знают слабость человеческую и милость Божию. А ты впустишь меня потому, что в тебе любви много. Не ты ли, Иоанн Богослов, написал в книге своей, что Бог есть любовь и что, кто не любит, тот не знает Бога? Не ты ли при старости говорил людям одно слово: “Братья, любите друг друга!” Как же ты теперь возненавидишь и отгонишь меня? Или отрекись от того, что сказал ты сам, или полюби меня и впусти в Царство Небесное”.

И отворились врата райские, и обнял Иоанн кающегося грешника и впустил его в Царство Небесное» (41).

Совершенно очевидно, что подобное завершение спора грешника с Иоанном полностью исключало возможность смеховой концовки, посрамляющей «Святых Отцов» и утверждающей право героя на лучшее место в раю. В первоисточнике такая концовка присутствовала: «Бражник же вниде в рай и сел в лутчем месте. Святии Отцы почяли глаголати: “Почто ты, бражник, вниде в рай и еще сел в лутчем

месте? Мы к сему месту нимало приступить смели”. Отвеща им бражник: “Святии Отцы! Не умеете вы говорить з бражником, не токмо что с трезвым!” И рекоша вси Святии Отцы: “Буди благословен ты, бражник, тем местом во веки веков”. Аминь» (224).

Толстой от такого финала отказался. Заключительные строки его рассказа посвящены уже не просто примирению героев, но любви между ними. Финал коррелирует с зачином, а также с эпиграфом к рассказу, взятом писателем из Евангелия от Луки: «И сказал Иисус: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (40). Толстой хотел показать самую возможность спасения грешного человека и вполне убедительно аргументировал ее своими художественными средствами.

Глубинная мысль рассказа «Кающийся грешник» — это мысль о божественном начале в каждом человеке, в каждой душе, мысль о сокровенной внутренней связи каждого человека с Богом. Поэтому древнерусская повесть глубоко переосмысливается Толстым, подвергается переакцентуации смыслов, освобождается от смеховых, сатирических элементов. Меняется, преобразуется жанровая структура повести: из нее исчезают черты пародии, разрушается поэтика анекдота, новеллистичность. Вместо этого нарастают дидактичность, философичность, лиризм, вступающие друг с другом в сложное взаимодействие.

Думается, Толстой исходил из жанровой структуры своей книги в целом, а также учитывал жанровое своеобразие древнерусского произведения. Уже первая публикация «Повести о бражнике» сопровождалась комментарием К. С. Аксакова, который истолковал ее не в сатирическом ключе, а в религиозно-философском, а современные исследователи и вовсе указывают на то, что прикрепление произведения к сатирической традиции в сознании читателей и книжников произошло не в момент его создания, а на позднейшем этапе¹⁵.

К. С. Аксаков так сформулировал главную мысль древнерусского автора: «Бражник входит в рай: вот основа этой повести. С первого взгляда это может показаться странным. Иные, может быть, подумают, не хотел ли русский народ оправдать этой повестью страсть свою к пьянству. <...> Ничего подобного тут нет. <...> Бражник не значит: пьяница. Бражник <...> значит: человек пирующий»¹⁶. Критик развивает своеобразную философию пира: «Но само собой разумеется,

что эта пиршественная радость жизни допускается, оправдывается, одобряется даже, но не требуется от человека и что одно это вечно пирующее веселье само по себе еще не составляет нравственной заслуги, заглаживающей другие грехи. Пусть человек пирует — и славит Бога, пусть пирует — и любит братьев, пусть пирует — и <...> не поклоняется идолам, т. е. ничему не рабствует»¹⁷. Эту мысль подхватывает и усиливает современный ученый, утверждая, что в древнерусской повести герой охарактеризован как человек, который «пьет и Бога славит», а если учесть, что на Руси «существовала как светская, так и церковная традиция “пить и Бога славить”, то грех бражника превращается чуть ли не в достоинство и становится понятной та уверенность, с которой герой отстаивает свое право на место в раю»¹⁸.

К. С. Аксаков и вслед за ним С. А. Семячко говорят о бражнике, обратившемся к Богу, Толстой — о кающемся грешнике. Можно дополнить этот ряд именем Достоевского, который использовал параллель с бражником для автохарактеристики Мармеладова и в какой-то мере предварил интерпретацию Толстого. «Бражник» Мармеладов, осознавая свой грех, говорил: «Не веселья жажду, а скорби и слез»¹⁹. Но поскольку Толстой сознательно опустил тему пиршественной радости, заменив ее темой радости жизни в мире Божиим, опустил тему бражничества, заменив ее темой обобщенного греха и покаяния, то мотивы «скорби и слез» вышли у него на первый план и обусловили глубокий лиризм произведения. Толстовский грешник ищет понимания у представителей райской стражи и просит у них сочувствия, милосердия, сострадания.

Философско-учительный смысл толстовского рассказа поддерживается и усиливается всем контекстом «Круга чтения», а в узком смысле — содержанием чтений, непосредственно примыкающих к рассказу, обрамляющих его. Предшествует «Кающемуся грешнику» чтение 14 января, озаглавленное «Любовь», следует же за ним чтение 15 января под названием «Вера». Анализ композиции этих чтений подтверждает их тесную связь с рассказом, философские фрагменты толстовской книги взаимодействуют с художественными.

В частности, фрагмент «Любовь» содержит своеобразный микросюжет, который развивается от утверждения любви человека к Богу к утверждению любви к Божескому началу в человеке.

Толстой начинает с того, что наиболее понятно и естественно для любого человека. Человек по природе слаб, эгоистичен, самолюбив.

И писатель направляет человека на путь истинный, призывая любить не себя и свои пороки, а Бога: «Любить в себе можно только Того, Кто один во всех. Любить же Того, Кто один во всех, значит любить Бога» (38).

В качестве доказательства далее Толстой приводит цитату из Евангелия от Матфея: «Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (38).

Далее говорится о необходимости прежде всего не умения думать, а любви для сохранения человечества на земле: «Живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях.

Как будто бы Бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтобы они жили заодно, и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно.

Людям кажется, что они заботой о себе живы, а живы они одною любовью. Если бы не было любви в людях, не вырос бы ни один ребенок, не остался бы жив ни один человек» (38—39).

Любовь — основа единения людей, источник жизни. Таков промежуточный вывод Толстого: «Люди живы любовью; любовь к себе — начало смерти, любовь к Богу и людям — начало жизни» (39).

Затем приводится излюбленная Толстым цитата из сочинений Иоанна Богослова: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог — в нем. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Братья, будем любить друг друга, ибо любящий рожден от Бога и знает Бога, потому что Бог есть любовь. Пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог — в нем» (39). Таким образом, возникает прямая переключка с текстом рассказа «Кающийся грешник», где герой прямо ссылается на эти же высказывания апостола Иоанна.

В дальнейшем развитии микросюжета возникает новая коллизия: «Если человек не может простить брата, он не любит его. Истинная любовь бесконечна, и нет количества тех оскорблений, которые она не простила бы, если она истинная любовь» (39). Очевидно, здесь

имеется очередное предварение слов кающегося грешника. Сама же коллизия предвосхищает суть конфликта в рассказе «Кающийся грешник»: жители рая не хотят простить героя и трижды не пускают его, ссылаясь на его греховность: «Отойди отсюда. Не могут грешники войти в Царство Небесное».

Толстой пытается доказать (и при этом не противоречит христианскому учению), что Бог милосерден к любому человеку, а потому и мы должны прощать грешников и любить их. Как хороший психолог, писатель понимает все препятствия, возникающие перед такой любовью: «Любить того, кто нам приятен, не значит любить. Истинная любовь только та, когда в человеке любишь того же Бога, какой в тебе. Этой любовью любишь не только своих родных, не только тех, которые любят тебя, но любишь неприятных, злых людей, ненавидящих тебя. Чтобы любить таких людей, надо помнить, что тот, с кем имеешь дело, любит себя так же, как и ты себя, и что в нем тот же Бог, какой и в тебе. Если помнишь это, то и поймешь, как тебе надо отнестись к нему. И если поймешь, то полюбишь его, а если полюбишь так, то такая любовь даст тебе больше радости, чем любовь к любящим тебя».

Итоговый вывод Толстого состоит в том, что любовь к Богу и к людям — результат серьезного нравственного, духовного труда: «Любовь не есть основное начало нашей жизни. Любовь — последствие, а не причина. Причина любви — сознание в себе Божеского, духовного начала. Это сознание требует любви». Духовный труд «производит любовь» (39).

На этом фоне сюжет рассказа «Кающийся грешник» представляется художественной реализацией, развертыванием во времени философского микросюжета. Герой трудится сам и заставляет своих собеседников трудиться духовно, обсуждая с ними их собственные грехи, наиболее жизнеподобные и понятные читателю, — грех предательства и грех прелюбодеяния. Осуществив до конца эту трудную, но радостную работу души и духа, грешник и апостол Иоанн обнимаются и вместе оказываются в раю.

Однако Толстому недостаточно такой концовки. Он пишет еще и своеобразное заключение, эпилог к своему рассказу. В чтении 15 января он неожиданно возвращается к одному из мотивов «Повести о бражнике», который был им исключен из художественного пространства рассказа «Кающийся грешник». Речь идет о своеобразном ответвлении сюжета, связанном с Николаем Мирликийским. Выше

упоминалось, что Николай ожесточился на «безумного Ария», который отказывался признать равенство Бога-Отца и Бога-Сына и их глубинную связь, иначе говоря, подверг сомнению основной догмат православия — догмат о Святой Троице.

Толстой уделяет особое внимание этой проблеме, так как вся его книга обращена к человеку и призвана обратить человека к Богу. Поэтому чтение 15 января он безо всякой преамбулы начинает именно с этой проблемы: «Основной смысл учения Христа — в устанавливании непосредственного общения человека — Сына Божия — с Отцом Богом» (41).

Толстой развивает идею человечности Христа, говорит о его богочеловеческой природе и убеждает читателя в том, что христианское учение может быть реальным руководством в жизни каждого грешного человека: «Вы спрашиваете, в чем главная сущность характера Христа. Я отвечаю, что это — Его уверенность в величии человеческой души. Он видел в человеке отражение и образ божества и потому любил человека, кто бы он ни был, какие бы ни были условия его жизни и характера. Иисус смотрел на людей взором, пронизывающим материальную оболочку, — тело исчезало перед ним. Он смотрел сквозь наряды богатого и лохмотья нищего в душу человека; и там, среди мрака невежества и пятен греха, Он находил зачатки силы и совершенства, которые могут бесконечно развиваться, духовную, бессмертную природу. В самом низко падшем, развращенном человеке Он видел существо, которое может превратиться в ангела света. Даже более того: Он чувствовал, что в Нем Самом нет ничего такого, чего бы не мог достигнуть каждый человек. Чаннинг» (41).

Следующий весьма логичный ход мысли Толстого — это утверждение индивидуального характера духовного поиска каждого человека. У каждого человека свой путь к Богу, это путь индивидуального нравственного самосовершенствования, индивидуального испытания, индивидуального прозрения: «Для народов, как и для личностей, освобождение от предрассудков не уменьшает нравственных преград, но только заменяет более грубые руководства жизни более возвышенными. Многие бедные души теряют при этой замене свою поддержку. Но в этом нет ничего дурного или опасного. Это только рост. Ребенок должен выучиться ходить один. Сначала человек, лишившийся привычного суеверия, чувствует себя потерянным, бездомным. Но это отнятие от него внешних поддержек загоняет его внутрь себя и этим

самым укрепляет его. Он чувствует себя лицом к лицу с Богом: он читает не по книге, а в душе своей смысл учения, и его маленькая часовня расширяется до величественного храма небесного свода. *Эмерсон*» (42).

Далее Толстой описывает «по Канту» различные, но рационалистически вычисленные пути к Богу: «Познание Бога может быть или умственным, или нравственным, основанным на вере. Умственное познание ненадежно и подвержено опасным ошибкам; нравственное же познание приписывает Богу только такие свойства, которые требуют нравственных поступков. Такая вера естественна и сверхъестественна» (42).

Но, по Толстому, истинная вера выше рационализма, поэтому: «Ищите не только нравственной жизни, но стремитесь к тому, что выше нравственности. *Торо*» (42).

Итоговое заключение Толстого гласит, что общение человека с Богом может и должно быть сокровенным, глубинным, непосредственным, прямым, не зависящим от общественных, социальных установлений: «Бойтесь всего, что становится между вами и Богом — духом, живущим в вашей душе» (42). Замысел рассказа «Кающийся грешник» состоял в том, чтобы обосновать мысль о Божеском начале в каждом человеке и внушить читателю надежду на возможность спасения для каждого.

Итак, говоря о жанровом своеобразии книги «Круг чтения», следует признать основными жанрообразующими факторами такие признаки, как внутренняя целостность ежедневного чтения (своего рода философского «стихотворения в прозе»), соотношенность и подчас сращенность «недельных» и «месячных» чтений с контекстом ежедневных чтений, а также связь тематики ежедневных чтений с устойчивыми (непереходящими) календарными датами. Все эти особенности обусловлены тем, что Толстой опирается на архетип земной жизни Иисуса Христа, воссоздавая в своей книге путь жизни для современного человека.

¹ Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. М., 1972. Т. 1. Ч. 1. С. 270, 331; Т. 1. Ч. 2. С. 135.

² Демченков С. А. Эволюция жанров христианской книжности: основные пути жанрообразования // Святоотеческие традиции в русской литературе: В 2 ч. Омск, 2005. Ч. 1. С. 44.

³ С перанский М. Н. История древней русской литературы. СПб., 2002. С. 167.

⁴ Словарь книжников и книжности Древней Руси: В 4 вып. Вып. 1. XI — первая половина XIV в. Л., 1987. С. 376.

⁵ Епископ Александр (Семенов-Тянь-Шанский). Православный катехизис. М., 1990. С. 56—57.

⁶ Там же. С. 111.

⁷ Там же.

⁸ Полный православный богословский энциклопедический словарь: В 2 т. СПб., б. г. Т. 2. Стлб. 2206.

⁹ Возможно, данные рассуждения Толстого являются откликом на судьбу героев пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад».

¹⁰ Епископ Александр (Семенов-Тянь-Шанский). Указ. соч. С. 104.

¹¹ Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне: Библиографическое описание. Периодические издания на русском языке. М., 1978. С. 103.

¹² Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Т. 1. Ч. 1. М., 1972. С. 53, 89, 131, 171.

¹³ См. анализ вариантов: Словарь книжников и книжности Древней Руси: В 4 вып. Вып. 3 (XVII век). СПб., 1998. Ч. 3. С. 85—87.

¹⁴ Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. Вып. 1. М., 1989. С. 222. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием номеров страниц в скобках.

¹⁵ Словарь книжников и книжности Древней Руси: В 4 вып. СПб., 1998. Вып. 3 (XVII век). Ч. 3. С. 87.

¹⁶ Аксаков К. С. Примечание к «Повести о бражнике» // Русская беседа. 1859. № 6. С. 184.

¹⁷ Там же. С. 187.

¹⁸ Семячко С. А. К интерпретации «Повести о бражнике» // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы. СПб., 1996. Т. 49. С. 407.

¹⁹ На связь «Преступления и наказания» с «Повестью о бражнике» впервые указано в статье: Лотман Л. М. Романы Достоевского и русская легенда // Русская литература. 1972. № 2. С. 129—141.

А. Н. Полосина

Л. Н. ТОЛСТОЙ — ПЕРЕВОДЧИК ИНДИЙСКИХ СКАЗОК И БАСЕН

(по материалам яснополянской библиотеки)*

В статье рассматриваются просветительская деятельность Толстого как переводчика индийских басен с французского языка; его вклад в развитие этого жанра; особенности его духовных интересов; принципы художественного перевода; источники «Азбуки» и «Русских книг для чтения» и восприятие писателем индийского фольклора через хорошо развитую литературную традицию переводов восточного фольклора на французский язык.

Исследователи — особенно стоит упомянуть Э. М. Зайденшнур и А. И. Шифмана — отмечали симпатию и глубокий интерес писателя к фольклору народов Индии, а также к ее религиозным учениям.

Отличительной особенностью духовных интересов Л. Н. Толстого был энциклопедизм, основная задача его переводческой деятельности — просветительская. В кругу его интересов как писателя, читателя, переводчика и издателя были сказки, басни, былины всех народов, привлекавшие его еще в отрочестве. В яснополянской библиотеке писателя имеются книги великих баснописцев И. А. Крылова, Эзопа, Жана де Лафонтена на русском и французском языках, «Избранные басни из Метаморфоз» Овидия, басни Лессинга, сказки Андерсена, «Историческое объяснение басен» аббата Антуана Банье, «Словарь басни» Франсуа Ноэля, «Египетские и греческие басни» Антуана Жозефа Пернети (Pernety), «Басни для больших и маленьких» Шарля Рише, «Сказки для больших и маленьких детей» Александра Дюма-отца, памятники русского народного творчества — былины «Добрыня Никитич», «Илья Муромец», «Алепа Попович»

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), грант № 09-04-00368а, и Французского государства (стипендия EGIDE, Paris, 2009).

и т. д. Сказки всех народов всегда производили на него огромное впечатление (66, 67). Толстому нравились арабские сказки «Тысяча и одна ночь», которые он читал в отрочестве. Особенно большое впечатление произвела на него сказка о принце Камаральзамане, так как «поэзия сказок» (54, 50) всегда его завораживала. Из знаменитого письма к М. М. Ледерле известно, что «Сказки тысячи одной ночи: “40 разбойников”, “Принц Камаральзаман”» произвели на него «большое» впечатление, а «русские былины: “Добрыня Никитич”, “Илья Муромец”, “Алеша Попович”, народные сказки — огромное» (66, 67). Как известно, Толстой и сам в молодости сочинял и рассказывал сказки.

Попутно отметим, что С. Л. Толстой в «Очерках былого» пишет, что его отец в семидесятые годы «во время составления “Азбуки” и “Книг для чтения” и позднее не переставал изучать русский язык и собирать слова, поговорки и пословицы. В то же время он читал словарь Даля, былины, сборники сказок и пословиц»¹.

Об этом же периоде интереса к народной мудрости, как одной из форм философского сознания, пишет С. А. Толстая: «Все лето прошлое он читал и занимался философией; <...> стал читать русские сказки и былины. Навел его на это чтение замысел писать и составлять книги для детского чтения для четырех возрастов, начиная с азбуки. Сказки и былины приводили его в восторг. Былина о Даниле Ловчанине навела его на мысль написать на эту тему драму. Сказки и типы, как, например, Илья Муромец, Алеша Попович и многие другие, наводили его на мысль написать роман и взять характеры русских богатырей для этого романа»².

В годы работы над «Азбукой» в сферу его творческих интересов попал фольклор «высокоодаренного и духовными и телесными силами» (37, 259) народа Индии, в частности «Индийские сказки и басни» Бидпая³, которые вошли в состав книги «Тысяча и один день» из серии «Литературный Пантеон: Восточная литература: Романы: Сказки». Как известно, знаменитый сборник басен и притч индийского происхождения распространился на мусульманском Востоке и христианском Западе в VI в. В VIII в. появился арабский перевод сборника, который считается источником всех его позднейших переводов на другие языки. Предполагается, что оригинал был создан в IV—III в. до н. э. (по другой версии — в I в.)⁴ полулегендарным брахманом Бидпаем (или Пильпаем), имя которого как автора впервые появилось в арабском переводе

в VIII в. и с тех пор закрепилось. Этот вариант сборника Бидпая получил заглавие «Калила и Димна», он стал основой бесчисленного количества переводов на греческий, древнееврейский, испанский, итальянский, турецкий, армянский и другие языки⁵. В XIII в. с древнееврейского текст «Калилы и Димны» был переведен Реймоном де Безье (Raymond de Bézier) на латинский язык по приказу Жанны Наваррской. В Западной Европе с него были сделаны переводы на немецкий, французский, итальянский и другие языки. С турецкого языка на французский сборник был переведен в XVIII в. Галланом и Кардоном⁶. Нравоучительные басни Бидпая были известны Вольтеру, они упомянуты в его «Философском словаре»⁷.

В славянские литературы сборник Бидпая пришел из Византии в греческом переводе не позднее XIII в. В 1762 г. басни Бидпая были впервые переведены в России с французского языка Борисом Волковым⁸, переводчиком Академии наук. Древнеиндийские сюжеты переходят в сборники притч и басен. Они становятся известны русскому баснописцу И. А. Крылову.

Как известно, Толстой знакомился с лучшими произведениями западноевропейской, древнегреческой, арабской, индийской литературы в переводах на французский язык, который пользовался в России в XVIII—XIX вв. особой авторитетностью. Одним из источников «Азбуки» была вышеупомянутая книга «Тысяча и один день», в которую кроме басен входят персидские сказки «Тысяча и один день» Петиса де ла Круа, «История персидского султана и его визирей» (в его же переводе); памятник литературы Ирана, сборник притч «Гулистан» персидского писателя XIII в. Саади; «Индийские сказки и басни» Бидпая (в переводе Антуана Галлана); «Индийские, персидские и турецкие басни и сказки» и «Китайские новеллы». При отборе для перевода Толстой отдает предпочтение древнеиндийским басням.

В «Набросках тем, статей и рассказов для “Азбуки”», составленных писателем в первой половине 1871 г., в разделе I имеется такая запись: «59. 399. 101 jours» (21, 429). В общем списке этого раздела, содержащем сто десять тем, эта запись, если рассматривать ее умозрительно, непонятна. На самом деле она расшифровывается весьма просто, если иметь перед глазами книгу «Тысяча и один день»: «59» — порядковый номер из «Набросков тем, статей...», «399» — страница, на которой находится басня «Histoire de scheikh Schehqbeddin» (из

«Contes et fables indiennes de Bidpai») в книге «Тысяча и один день», которую Толстой обозначил как «101 jours».

Или такая запись: «61. 410, la petite corneille» (21, 429). «61» — порядковый номер, «410» — страница, на которой находится басня в этой книге, «la petite corneille» — сокращенное заглавие басни Бидпая «Le derviche et la petite corneille». Басня заимствована из книги «Mille et Un Jour. Contes persans» (Paris, 1839. P. 410—411) из раздела «Contes et fables indiennes de Bidpai». Для полноты картины отметим, что в этой книге из яснополянской библиотеки загнут нижний уголок на странице 410. При переводе Толстым басня «Дервиш и вороненок» получает заглавие «Галчонок» (21, 223).

Следующая запись: «62. La souris prodigue» (21, 429) — это басня Бидпая «Расточительная мышь» из сборника «Contes et fables indiennes de Bidpai», находится на страницах 411—413, с загнутыми вдвое, по-толстовски, нижними уголками. Она переведена Толстым с французского как «Мышь под амбаром» (21, 159).

Или: «63. 432». «432» — это страница начала басни «L'héron, l'écrevisse et les poissons» («Цапля, рак и рыбы») в книге «Mille et Un Jour» (Paris, 1839. P. 432—433). Эта басня из сборника «Contes et fables indiennes de Bidpai» переведена Толстым как «Цапля, рыбы и рак» (21, 177).

И так далее до порядкового номера 72.

В число произведений, включенных Толстым в «Русские книги для чтения», из этого списка вошло около тридцати переводов и переделок восточных басен и сказок.

Из письма С. А. Толстой к сестре Т. А. Кузминской известно, что уже в сентябре 1871 г. Толстой работал над составлением «Азбуки»: «Мы теперь занялись опять детскими книжечками, Левочка пишет, я с Варей [В. В. Нагорновой] переписываю, идет очень хорошо» (21, 553).

Источником «Русских книг для чтения» кроме индийских сказок и басен из книги «Тысяча и один день» стали «Индийские сказки и притчи» Станисласа Жюльена⁹ и книга под заглавием «Мораль в действии»¹⁰, составителями и переводчиками которой были Р.-М. Китар и Ш. Мартен. Известно, что из последнего источника заимствованы по крайней мере две истории: «Строгое наказание» (21, 206), в подлиннике «Anecdote Turque» («Турецкий анекдот»), и «Лев и собачка» (21, 165) — «Le lion et l'éragneul» («Лев и спаниель»). Эти две книги в августе 1872 г. Толстой упоминает в письме к Н. Н. Страхову:

«Басни с индийского из 2-х французских переводов¹¹ — переделаны de fond en comble*» (61, 307).

(Отметим в скобках, что источники около десяти вошедших в «Азбуку» басен древнеиндийского, персидского, турецкого и китайского происхождения по-прежнему остаются неатрибутированными.)

В переписке Толстого с современниками немало сказано о художественных принципах перевода сказок и басен для «Азбуки». Так, 3 марта 1872 г. он пишет Н. Н. Страхову: «Если будет какое-нибудь достоинство в статьях “Азбуки”, то оно будет заключаться в простоте и ясности рисунка и штриха, то есть языка» (61, 274). Эти же принципы изложены в письме к детскому писателю Е. В. Львову 29 марта — 1 февраля 1876 г.: «Эти рассказы, басни, написанные в книжках, есть просеянное из в 20 раз большего количества приготовленных рассказов, и каждый из них был переделыван по 10 раз и стоил мне большего труда, чем какое бы ни было из всех писаний. Главная его трудность была в том, чтобы было просто, ясно, не было бы ничего лишнего и фальшивого. <...> Только вы увидите, как это долго и как мало можно написать хорошего. Joseph de Maistre пишет своему королю в 12-м году длинное письмо о войне и Петербурге и кончает письмо так: “Je prie Votre Majesté d’excuser la longueur de cette lettre. Je n’ai pas eu le temps de la faire plus courte”¹². И когда вы станете употреблять время на то, чтобы делать вещи как можно короче (это первое правило), вы увидите, как это трудно» (62, 250). Напомним, что Е. В. Львов — один из немногих, кто в то время высоко оценил рассказы, сказки и басни Толстого, помещенные в «Русских книгах для чтения».

В ходе работы над «Азбукой» пришло понимание, что необходимо изменить стиль, язык, слог. Так, в мартовском письме (22, 25 марта 1872 г.) к Н. Н. Страхову он пишет: «Я изменил приемы своего писания и язык. <...> Язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, — мне мил. Язык этот, кроме того — и это главное — есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит, а наш литературный язык без костей. <...> Что хочешь мели — все похоже на литературу. <...> Просто люблю определенное, ясное и красивое и умеренное и все это нахожу в народной поэзии и языке и жизни» (61, 278).

* Полностью (фр.).

В апреле 1872 г. он пишет А. А. Толстой, что «Азбука одна может дать работы на 100 лет. Для нее нужно знание греческой, индийской, арабской литератур, нужны все естественные науки, астрономия, физика, и работа над языком ужасная — надо, чтоб все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно. Как француз какой-то сказал: “La clarté est la politesse de ceux qui veulent enseigner, s'adressant au public”^{*}» (61, 283). Здесь к принципам простоты и ясности добавляется лаконизм, а над всем этим витает дух энциклопедизма, отличительной особенностью духовных интересов и характерной черты представителей русской культуры, присущей А. С. Пушкину и Л. Н. Толстому.

Главными принципам перевода Толстого были лаконизм, простота и ясность языка. Для него «образец лаконизма» — это басни Эзопа. С. Л. Толстой в «Очерках былого» пишет, что «читая басни Эзопа в подлиннике, он сравнивал их с баснями Лафонтена, не в пользу последних. Он говорил, что “у Лафонтена много искусственного и лишнего; Эзоп же образец лаконизма. Так, у Лафонтена ворона держит во рту кусочек сыру; сыр Лафонтену понадобился для рифмы fromage и plumage^{**}. А Крылов, не знавший по-гречески, также написал: “Вороне где-то бог послал кусочек сыру”. Между тем ни вороне, ни лисице не свойственно питаться сыром. Насколько лучше сказано у Эзопа: “Ворона держала в клюве кусок мяса”!»¹³

Эзоп по праву считается отцом басни. Его произведения в этом жанре кратки и всем доступны. В небольших жанровых сценках проявляются черты характера человека, свойственные и животным. Простые незамысловатые сюжеты дидактичны. Последователи Эзопа — Федр, Лафонтен, Флориан, Лессинг, Крылов, Толстой и др. При переводе греческих, индийских или турецких басен Толстой следовал эзоповской традиции.

Философский Восток всегда имел для писателя большое значение. В научной литературе не раз обращали внимание на тяготение писателя к восточным темам. Более всего Толстого привлекал не столько эстетический, сколько дидактический аспект. Выбор Толстого продиктован нижеследующим тематическим репертуаром индийских басен: переменчивость судьбы, предопределение, добро и зло, людская глупость,

^{*} Ясность — это вежливость тех, кто, желая обучать, адресуется к широкой публике (фр.).

^{**} Сыр и перья (фр.).

жадность, алчность, честолюбие, упрямство, нечестность, зависть, трудолюбие, братство, гуманность, отказ от предрассудков, терпимость, и т. д.; во избежание ошибок предлагается не искать того, что не дано природой, учиться на прошлом опыте, освобождаться от страстей. Эти темы становятся определяющими. Этическая программа Толстого была тесно связана с осмыслением именно этих проблем.

Сюжет басни «Обезьяна» заимствован Толстым из индийской басни «Le singe et le menuisier» («Обезьяна и столяр») из сборника «Contes et fables indiennes de Bidpai»¹⁴, входящей в состав книги «Тысяча и один день». На странице, где начинается эта басня, загнут нижний уголок. Объем басни «Обезьяна» в вольном переводе Толстого существенно сокращен. Она в высшей степени кратка и проста и, как многие другие басни в его переводе, начинается с действия, которое стремительно развивается: «Один человек пошел в лес, срубил дерево и стал распиливать. Он поднял конец дерева на пень, сел верхом и стал пилить. Потом он забил клин в распиленное место и стал пилить дальше. Распилил, вынул клин и переложил его еще дальше. Обезьяна сидела на дереве и смотрела. Когда человек лег спать, обезьяна села верхом на дереве и хотела то же делать; но когда она вынула клин, дерево сжалось и прищемило ей хвост. Она стала рваться и кричать. Человек проснулся, прибил обезьяну и привязал на веревку» (21, 110). В оригинале, как уже было сказано, басня называется «Обезьяна и столяр», в переводе Б. Волкова — «О столяре и обезьяне», у Толстого — «Обезьяна», так как фигурирующий в оригинале столяр в его тексте назван просто человек. Эта тенденция, снимающая национальную и профессиональную принадлежность, иногда сохраняется при переводе некоторых других басен. Во французской версии читаем: «Par hasard le menuisier quitta son travail et alla — quelque affaire»¹⁵. У Волкова ближе к французскому источнику, хотя его перевод далеко не буквален: «Когда столяр оставил свое дело, а обезьяна увидела, что никого нет, то она, пришед, вынула один клин»¹⁶. Перевод Толстого лапидарен: «Человек лег спать». Его перевод: «Когда она вынула клин, дерево сжалось и прищемило ей хвост», соответствует французскому источнику: «обезьяне дерево прищемило хвост»; у Волкова: «бревна сплотились и защемили две ноги у обезьяны». Во французском тексте столяр, вместо того чтобы освободить обезьяну, убил ее. Волков следует оригиналу. Для Толстого любое насилие, над кем бы оно ни совершалось, над человеком или животным, было совершенно недопустимо,

поэтому слово «убить» он снимает: «Человек проснулся, прибил обезьяну и привязал на веревку» (21, 110). Он вводит разговорное слово «прибить», то есть побить, поколотить кого-либо. По ходу действия басни проясняется назидание. Во французском оригинале оно выражено в жалобах пострадавшей обезьяны. У Волкова нравоучение сокращено, вывод делает он сам: «Сия басня учит нас, что мы не должны мешаться в посторонние дела»¹⁷. Толстой избегает назидания: читатель должен иметь смелость сделать вывод сам.

Попутно отметим, что эта басня как бы пропитана убеждением, что в мире царят зло и несправедливость, что так всегда было и будет. Этой же идеей пропитана басня «Рыбы и рак» (21, 177), источник которой — индийская басня из сборника Бидпая; во французском переводе: «L'héron, l'écrevisse et les poissons» («Цапля, рак и рыбы») из книги «Mille et Un Jours (Paris, 1839, p. 432—433»).

«Жила цапля у пруда и состарелась; не стало уж в ней силы ловить рыбу. Стала она придумывать, как бы ей хитростью прожить. Она и говорит рыбам: “А вы, рыбы, не знаете, что на вас беда собирается: слышала я от людей — хотят они пруд спустить и вас всех повыловить. Знаю я, тут за горой хорош прудок есть. Я бы помогла, да стара стала: тяжело летать”. Рыбы стали просить цаплю, чтоб помогла. Цапля и говорит: “Пожалуй, постараюсь для вас, перенесу вас, только вдруг не могу, а поодиночке”. Вот рыбы и рады; все просят: “Меня отнеси, меня отнеси!” И принялась цапля носить их: возьмет, вынесет в поле, да и съест. И переела она так много рыб. Жил в пруду старый рак. Как стала цапля выносить рыбу, он смекнул дело и говорит: “Ну, теперь, цапля, и меня снеси на новоселье”. Цапля взяла рака и понесла. Как вылетела она на поле, хотела сбросить рака. Но рак увидал рыбьи косточки на поле, стиснул клещами цаплю за шею и удавил ее, а сам приполз назад к пруду и рассказал рыбам» (21, 177).

Эта же басня в «Панчатантре»¹⁸ не имеет названия, но представлена как «Рассказ шестой», который ведет шакал; во французском переводе рассказ ведет лиса, то же самое в переводе Волкова, который назвал эту басню «О журавле и раке»¹⁹. В русском переводе XVIII в. Б. Волков так выразил мораль этой басни: «Сей пример показывает, что хитрый человек всегда бывает жертвой своих хитростей»²⁰.

Общеизвестно, что этот же сюжет, заимствованный из сборников басен Бидпая и Локмана, разработан Лафонтеном в басне «Рыбы и баклан». Мораль его басни такова: «И поняли они, что доверять не след

// Тому, кому для жизни нужна жизнь другую. // Для них, положим, все равно, // Различья не было: что человек, что птица // Их будут есть. Не все ль одно? // Конец один, хотя различны лица. // Днем раньше, позже — все равно // Всем умереть им суждено» (переводе А. Зарина)²¹. Отметим кстати, что французскому баснописцу басни Бидпая были хорошо известны. Он высказывался о них так: «В знак признательности я должен сказать, что содержанием некоторых басен обязан труду ученого индейца, Бидпая, который своими соотечественниками считался древнее Эзопа. А может быть, это и был Эзоп сам, под именем ученого Локмана. <...> Бидпай выбрал форму басен, чтобы говорить правду»²².

В басне «Рыбы и рак», как и в предшествующей, Толстой сохраняет сюжет и композицию, не переосмысливает идею, сокращает связку с предыдущей басней, а также некоторые детали и эпизоды, вносит в текст стилистические изменения в соответствии с литературной нормой своего времени, насыщает ее реалистическими, бытовыми деталями и следует уже выработанным требованиям, которые позднее будут изложены в трактате «Что такое искусство?». Это — «заразительность», «ясность, простота и краткость», присутствует также оглядка на «мужицкий здравый смысл». Перевод Толстого далеко не буквален. Текст басни в его переводе звучит так же естественно и свободно, как оригинал.

Басня «Отчего на свете зло» (21, 300) — вольный перевод с французского индийской сказки «Le religieux, la colombe, le corbeau, le serpent venimeux et le serf» («Монах, голубь, ворон, ядовитая змея и олень») из сборника Станисласа Жюльена²³ «Les avadânas»^{*24}. Содержание басни — спор зверей о том, откуда происходит зло. Ворон говорит, что все зло происходит от голода; голубь считает, что зло — от любви; змея находит, что зло — от злости; олень считает, что зло не от голода, не от любви, не от злости, а от страха. Этот спор зверей слышит пустынный, расположившийся под деревом и понимавший язык зверей. Он им говорит: «Не от голода, не от любви, не от злобы, не от страха все наши мучения, а от нашего тела все зло на свете: от него и голод, и любовь, и злоба, и страх» (21, 301). Во французской версии мораль выражена в поучении: «нужно обуздывать свои страсти»²⁵.

* Неловкий льстец (санскр.).

Басню из сборника С. Жюльена «L'homme et la perle» («Человек и жемчужина»)²⁶ Толстой перевел как «Водяной и жемчужина»: «Один человек ехал на лодке и уронил драгоценный жемчуг в море. Человек вернулся к берегу, взял ведро [в подлиннике: деревянный сосуд] и стал черпать воду и выливать на землю. Он черпал и выливал три дня без устали. На четвертый день вышел из моря водяной [в оригинале — бог моря] и спросил: «Зачем ты черпаешь?» Человек говорит: «Я черпаю затем, что уронил жемчуг». Водяной спросил: «А скоро ли ты перестанешь?» Человек говорит: «Когда высушу море, тогда перестану». Тогда водяной вернулся в море, принес тот самый жемчуг и отдал человеку [в подлиннике: «тогда бог моря, признав искренность его намерений, достал из моря жемчужину»]» (21, 182). Басня русифицирована, языческий персонаж заменен на русского фольклорного водяного. Динамичное действие перемежается лаконичными диалогами.

Индийской басне «Le sage et le fou» («Мудрый и глупый») из сборника Станисласа Жюльена²⁷ Толстой дает заглавие «Ноша». Он сокращает содержание и также русифицирует ее. Местом действия стала Москва 1812 г., повествованию и речи персонажей придается русский колорит. Прямая речь сокращена и имеет простонародный характер, изменен конец басни. В характере глупого усилено его упрямство. В оригинале возвращению домой глупого с его ношей никто не обрадовался, он чувствует себя удрученным. У Толстого глупый остался ни с чем: «На дороге их застал дождь и так намочил шерсть, что глупый бросил и пришел домой ни с чем, а умный принес золото и стал богат» (21, 77–78).

При переводе индийской басни «La tête et la queue du serpent»²⁸ («Голова и хвост змеи») сокращены небольшие подробности разговора между головой и хвостом. Нравоучение для «тех, кто хочет отказаться от той роли, которая предназначена им природой», снято.

В первую «Русскую книгу для чтения» вошла индийская басня «Le kchattriva et ses deux heritiers»²⁹ («Знатный отец и его два наследника»), она названа Толстым «Дележ наследства» (21, 114). При переводе изменено заглавие, сокращена прямая речь. Повествование динамично. Братья буквально исполнили совет старого крестьянина, как им разделить наследство отца пополам, и стали всеобщим посмешищем. Мораль басни — не будь упрям как осел — сокращена.

Источник басни «Удача» — сборник С. Жюльена³⁰. При переводе басни «Le marchand et le baton» («Купец и его палка») Тол-

стой сильно отступил от оригинала, изменил заглавие на «Удачу» (в нем скрыто нравоучение) и жанр басни — на быль, сократил всю описательную часть, очень динамично передал ход событий, исключил упоминание Цейлона, снял волшебный элемент (в оригинале: если поджечь палку и поднести к дыму любой камень, то он превратится в драгоценный). У Толстого, вместо «волшебной палки», «человек взял горсть земли под ногами и положил в сумку» (21, 150), в которой после возвращения домой он нашел камень «драгоценнее всех других вместе» (там же).

Басня о людской глупости «Три калача и одна баранка» (21, 162) — перевод басни «L'homme et la moitié de gâteau» («Человек и половина пирожного») ³¹ из сборника С. Жюльена. Во французской версии человек съел шесть с половиной пирожных, но почувствовал себя сытым после того, как съел последнюю половину пирожного. Сюжету приданы русские черты, изменено заглавие, семь с половиной пирожных трансформировались в три калача и одну баранку.

Еще одна басня о людской глупости «Слепой и молоко» (21, 208) — перевод сказки «L'aveugle et la couleur du lait» («Слепой и цвет молока») из сборника С. Жюльена ³². Слепой и зрячий ведут очень динамичный диалог о том, какого цвета молоко. Индийский колорит заменен русским: рис стал мукой, каури ³³ заменено бумагой, белый аист — зайцем-беляком.

Басня об опасности разногласия «Птицы в сети» — сокращенный перевод басни «Les oiseaux et l'oiseleur» («Птицы и птицелов») из сборника С. Жюльена ³⁴. Повествование динамично и лаконично. Текст перевода близок к оригиналу, но в конце, как в басне «Обезьяна», Толстой снимает слово «убивать». В оригинале: «...птицы упали на землю, птицелов <...> поймал их и убил». Толстовский вариант: «Как пришел вечер, птицы потянули на ночлег, каждая в свою сторону: одна к лесу, другая к болоту, третья в поле; и все с сетью упали на землю, и охотник взял их» (21, 243).

Басня об ограниченности мировоззрения «Царь и слоны» (21, 280) — перевод сказки «Les aveugles et l'éléphant du roi» («Слепые и слон короля») из сборника С. Жюльена ³⁵. Здесь минимизирован индийский колорит: сняты название страны, имя правителя и хвалебные слова в его адрес. Повествование динамично, ответы слепых кратки.

Басня «Самые лучшие груши» (21, 170), мораль которой: ничего сверх меры (ne faites rien de trop), — перевод басни «Le maître de

maison et l'acheteur de mangues»³⁶ («Хозяин дома и покупатель манговых плодов») из сборника Жюльена. Внесены русские реалии: барин, груши, купец. Сделаны несущественные сокращения.

В басне о жадности «Обезьяна и горох» — «Le singe et sa poignée de pois» («Обезьяна и горсть гороха»)³⁷ из сборника С. Жюльена — изменено заглавие. У Толстого обезьяна уронила горошину, хотела поднять и просыпала двадцать горошинок. В оригинале она просыпала все горошины, и, пока собирала их, куры и утки склевали остальные. Куры и утки в толстовском переводе отсутствуют. Введен эмоциональный элемент, усилен гнев обезьяны: «...она рассердилась, разметала весь горох и убежала» (21, 118).

Басня о тех, кто все теряет из-за глупых амбиций, «Дойная корова» (21, 118) — переработка басни «Le brahmane et sa vache laitière» («Брамин и его дойная корова»)³⁸. Снят социальный мотив оригинала: брамин был крайне беден. Он позвал монахов (у Толстого — гостей). Конец басни в толстовском переводе сокращен. В оригинале больше жесткости: «Монахи насмехались над ним и сказали ему, что он дурак».

Таким образом, все вышеприведенные басни и сказки находятся в типологической связи друг с другом. Толстовские переводы непосредственно связаны с французскими переводами А. Галлана, С. Жюльена, Р.-М. Китара и Ш. Мартена. Отличительными чертами его художественного перевода являются ясность и лаконизм. Толстой сокращал многие подробности. Всякий раз, заимствуя сюжетные контуры источника, он создавал свою басню, свою сказку. Он снимал почти все нравоучения, присутствующие во французском оригинале. Под пером Толстого басни и сказки Бидпая творчески перерабатывались и создавались как самобытный, полный народной мудрости цикл басен, являющий образ истины.

Одной из главных особенностей толстовского перевода басен является стремительное развитие действия. Все темы интерпретированы самобытно. Басня как жанр приобретает у Толстого свои особые, жестко очерченные границы.

Некоторая часть индийских басен, где действующие лица животные, переведены без существенных изменений. Например, «Мышь под амбаром», «Голова и хвост змеи», «Волк и лук», «Обезьяна и горох», «Царь и слоны» и др.

Интересно отметить, что «Русские книги для чтения» были переведены с русского на французский язык Шарлем Саломоном и изданы

в 1928 г.³⁹ Еще через год они были переизданы, а последнее их издание для Парижского университета, также в его переводе, с параллельными текстами на русском и французском языках и предисловием Андре Моруа, вышло в 1951 г.⁴⁰ Перевод этих басен с русского на французский может служить примером того, что в теории литературы называется *sui generis*^{*}, когда переводное произведение начинает жить самостоятельной жизнью. Многие переведенные Толстым басни живут и теперь как толстовские, например басня «Лев и спаниель», которая приобрела заглавие «Лев и собачка» и жанр «быль».

¹ Толстой С. Л. Очерки былого. М., 1975. С. 101.

² Толстая С. А. Дневники: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 495.

³ Bid-раі — милосердный (добрый) философ (*санскр.*). Бидпай или Пильпай (Bidrai ou Pilray) — полупоупендарный брахман, автор сборника басен, притч, апологов, которые вдохновили восточных и западных баснописцев и иллюстраторов. Жил предположительно в IV—III вв. до н. э. (см.: Le nouveau dictionnaire des auteurs de tous les temps et de tous les pays. Paris: Robert Laffont, 1994. Т. 1. P. 352—353), по другой версии — в I в. (см.: Le nouveau dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays. Т. 2. P. 2615—2616).

⁴ См.: Le nouveau dictionnaire des auteurs de tous les temps et de tous les pays. Т. 1. P. 352—353; Т. 2. P. 2615—2616.

⁵ Ibid. Т. 2. P. 2615—2616.

⁶ См.: Traduction de la version turque en français par Galland et Cardonne. Paris, 1724.

⁷ Dictionnaire de la pensée de Voltaire par lui-même. Paris : Edition complexe, 1994. P. 621.

⁸ Политические и нравоупчительные басни Пильпая, философа индейскаго, с французскаго переведены Академии наук переводчиком Борисом Волковым. СПб., 1762.

⁹ Julien S. Les avadânas: Contes et apologues indiens inconnu jusque'à ce jour. Paris: Bebjamin Duprat, 1859.

¹⁰ Quitard P. M. et Martin Ch. La morale en action ou Choix de faits mémorables et d'anecdotes instructives: Propres à faire aimer la sagesse, à former le coeur des jeunes par l'exemple de toutes les vertus et à orner leur esprit. Paris: Eugene Penaud et Cie, 1845/1846.

^{*} В своем роде (*лат.*).

¹¹ Имеются в виду книги: Julien S. Les avadânas: Contes et apologues indiens inconnu jusque'à ce jour. Paris: Bebjamin Duprat, 1859 и Quitard P. M. et Martin Ch. La morale en action ou Choix de faits mémorables et d'anecdotes instructives: Propres à faire aimer la sagesse, à former le cœur des jeunes par l'exemple de toutes les vertus et à orner leur esprit. Paris: Eugène Penaud et Cie, 1845/1846.

¹² «Прошу ваше величество простить мне столь длинное письмо, но у меня не было времени написать короче» (фр.). Из письма Жозефа де Местра королю Сардинии от 5/17 августа 1812 г.

¹³ Толстой С. Л. Указ. соч. С. 42.

¹⁴ Contes et fables indiennes de Bidpai // Mille et un jours: Contes persans, traduit en français par Pétis de Lacroix. Paris: Auguste Desrez, 1839. P. 414–415.

¹⁵ Ibid. P. 414.

¹⁶ Политическая и нравоучительная басня Пильпая, философа индейскаго... С. 59.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Панчатантра / Пер. с санскрита А. Сыркина. М., 1972. С. 66–69.

¹⁹ Политическая и нравоучительная басня Пильпая, философа индейскаго... С. 90–93.

²⁰ Там же. С. 92.

²¹ Лафонтен Ж. де. Басни. М., 2005. С. 504.

²² Индийские басни Бидпая и Локмана. Киев, 1876. С. 5.

²³ Жюльен (Julien) Станислас Эньян (1799–1873) — французский востоковед, синолог, филолог широкого профиля. Источником басен, которые он перевел на французский язык, были или индийские сборники или буддийские труды, написанные на санскрите, носящие одно и то же название. Труд, из которого он заимствовал басни, притчи и аллегории, называется «Pi-yu» («Comparaisons ou Similitudes», на санскрите «Les avadânas») (XVI в.).

²⁴ Julien S. Les avadânas: Contes et apologues indiens inconnu jusque'à ce jour: Suivis de fables, de poésies et de nouvelles chinoises / Traduit par m. Stanislas Julien. Paris: Bebjamin Duprat, 1859. Т. 1. P. 37–40.

²⁵ С. Жюльен заимствовал эту басню из труда под названием «Fa-kiu-pi-yu-king, ou le Livre des comparaisons tirées des livres sacrés».

²⁶ Julien S. Op. cit. Т. 2. P. 30–31.

²⁷ Ibid. Т. 1. P. 83–87. Сюжет индийской басни восходит к труду под названием «Tchang-han-king» (Dirghâma sôutra, livre VII).

²⁸ Ibid. Т. 1. P. 152–154. Сюжет этой басни восходит к труду под названием «Fa-youen-tchou-lin» (livre LXXVIII).

²⁹ Ср.: Julien S. *Les avadânas*. Т. 1. Р. 81—82. Сюжет этой басни восходит к труду под названием «Pe-ye-king, ou le Livre des comparaisons» (livre II).

³⁰ Ibid. Т. 1. Р. 127—130. Сюжет басни восходит к труду под названием «Tchong-king-siouen-tsapi-yu-king».

³¹ Ibid. Т. 1. Р. 227—228. Сюжет басни восходит к труду под названием «Pe-yu-king, le Livre des cent comparaisons» (partie I).

³² Ibid. Т. 1. Р. 225—226. Сюжет басни восходит к труду под названием «Youen-yang-miao-king» (partie II).

³³ Раковины моллюска каури во многих странах использовались в качестве денег.

³⁴ Julien S. *Op. cit.* Т. 1. Р. 155—157.

³⁵ Ibid. Т. 1. Р. 47—50. Сюжет басни восходит к труду под названием «Fo-choue-i-tso-king» (livre I).

³⁶ Ibid. Т. 1. Р. 146—147. Сюжет басни восходит к труду под названием «Pe-yu-king, le Livre des cent comparaisons» (partie II).

³⁷ Ibid. Т. 2. Р. 6—7. Сюжет басни восходит к труду под названием «Pe-yu-king, le Livre des cent comparaisons» (partie II).

³⁸ Ibid. Т. 2. Р. 79—80. Сюжет басни восходит к труду под названием «Tchong-king-siouen-tsapi-yu-king, ou Mélanges de similitudes», tirés des livres sacrés.

³⁹ Tolstoï L. *Les quatres livres de lecture, 1863—1872 / Edition du Centenaire*. Paris: Bossart, 1928.

⁴⁰ См.: Зайденшнур Э. Е. «Азбука» Л. И. Толстого и многонациональная детская литература // *Ясн. сб.* 1974. Тула, 1974. С. 41.

К. М. Постникова

КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В ОСМЫСЛЕНИИ ПОЗДНЕГО ТОЛСТОГО

На протяжении многих лет Л. Н. Толстой неустанно, с удивительным постоянством и настойчивостью обращался в своем философско-публицистическом творчестве к размышлениям о времени и о пространстве.

В сочинении «Исповедь» пространство и время как философские категории писателем еще не рассматриваются. Вместе с тем ответы на вопросы: «Зачем я живу?», «Что я такое с моими желаниями?» — автор давал, обращаясь именно к этим категориям. При этом он разграничивал для себя пространство и — «бесконечно большое пространство», время и — «бесконечно долгое время». Жизнь человека Толстой не ограничивает пространством и временем, а выводит ее за их пределы: «В бесконечно большом пространстве, в бесконечно долгое время, бесконечно малые частицы видоизменяются в бесконечной сложности, и когда ты поймешь законы этих видоизменений, тогда поймешь, зачем ты живешь» (23, 18). По Толстому, через представления о *конечных* явлениях невозможно постичь бесконечное: «...мне ясно стало, что законов бесконечного развития не может быть; ясно стало, что сказать: в бесконечном пространстве и времени все развивается, совершенствуется, усложняется, дифференцируется, — это значит ничего не сказать. Все это — слова без значения, ибо в бесконечном нет ни сложного, ни простого, ни передела, ни зада, ни лучше, ни хуже» (23, 17–18).

Первый философский труд, в котором отведено большое место размышлениям о пространстве и времени, — трактат «О жизни». Рассуждая над этими категориями, Толстой исходит из разграничения жизни животной и жизни разумной. По его мнению, животная жизнь есть «ложная» жизнь. Люди, живущие ею, устремлены к достижению личного блага, принимая за жизнь лишь «видимую» ее часть. Эта часть проходит во времени и в пространстве, протекает в сознательное время жизни человека, ограниченное фактами его рождения и смерти.

Определение жизни, исходя из «ложного», идущего из глубин веков взгляда на нее, таково: «...жизнь — это случайная игра сил в веществе, проявляющаяся в пространстве и времени» (26, 399). Раскрывая такой взгляд на жизнь, Толстой связывает понятие жизни с понятиями смерти, случайности, призрачности, неестественности и неразумности. В толстовском понимании, при ложном взгляде на жизнь «смерть не только не должна быть страшна, но должна быть страшна жизнь — как нечто неестественное и неразумное, как это и есть у буддистов и новых пессимистов, Шопенгауэра и Гартмана» (26, 400).

Истинный же взгляд на жизнь позволяет понимать жизнь «как то невидимое * сознание ее, которое я ношу в себе» (26, 399). «Сознаю же я всегда свою жизнь не так, что я был или буду (так я рассуждаю о своей жизни), а сознаю свою жизнь так, что я есмь — никогда нигде не начинаюсь, никогда нигде и не кончаюсь. С сознанием моей жизни несоединимо понятие времени и пространства. Жизнь моя проявляется во времени, пространстве, но это только проявление ее. Сама же жизнь, создаваемая мною, создается мною вне времени и пространства. Так что при этом взгляде выходит наоборот: не сознание жизни есть призрак, а все пространственное и временное — призрачно. И потому временное и пространственное прекращение телесного существования при этом взгляде не имеет ничего действительного и не может не только прекратить, но и нарушить моей истинной жизни. И смерти при этом взгляде не существует» (26, 400).

В сочинении «О жизни» при пояснении ложного и должного понимания жизни складываются философские представления Толстого о пространстве и времени. Эти представления для мыслителя неразрывно связаны с феноменом жизни. Позднее в своем многожанровом творчестве Толстой неоднократно рассуждал о времени и пространстве.

Осветим некоторые особенности формирования понятий категорий пространства и времени на примере толстовских дневников, записных книжек, писем 1890—1910-х гг., сборника мыслей «Круг чтения», над которым Толстой работал в 1904—1906-х гг., и попытаемся определить причины его многократного обращения к этим категориям.

С определенным жанром у Толстого был связан свой способ изложения мысли, свой способ составления дефиниций. Так, в записных

* Здесь и далее разрядка моя. — К. П.

книжках и дневниках, адресованных прежде всего самому себе, а не читателю, был открыт сам процесс развития мысли. Толстой первоначально записывал то или иное определяемое слово (время, пространство, жизнь, Бог) или словосочетание (смысл жизни). Затем сразу давал к нему определение, зачастую с поправками, исправлениями: «пространство есть предел личности» (53, 17); «Бог есть жизнь вечная и всемирная в бесконечном времени и пространстве» (41, 393); «(Я вспомнил теперь; это было о времени.) Рассуждая о том, что будет после смерти, мы рассуждаем о том, о чем *не можем* рассуждать: рассуждаем временно, т. е. с участием времени, о том состоянии, которое будет вне времени. Время ведь есть только, также и пространство, форма нашей жизни. А мы из нее уйдем. Как же тогда время» (57, 19). В последнем толстовском суждении сначала было дано определяемое слово (время), затем был выявлен «парадокс» в его осмыслении, после чего последовала постановка вопроса.

Сопутствующими в процессе осмысления Толстым категорий времени и пространства были такие категории, понятия и явления, как *Бог* («Сущее есть только то, что мы называем Богом». — 57, 80), *сознание*, *мир*, *человек*, *тело*, *смерть* («Смерть есть только один шаг в нашем непрерывном развитии». — 41, 545), *жизнь* («Жизнь наша есть <...> часть чего-то несоизмеримо огромного, есть конечная частица бесконечного». — 87, 9), *любовь*, *я*, *движение* («Время есть только отношение жизни и движения этих существ». — 53, 316), *сон* («Пора проснуться, т. е. умереть». — 58, 21).

Толстой, записывая свои размышления о времени и о пространстве, особое внимание уделяет форме выражения мысли, стремясь передать свою мысль максимально точно и понятно. Для этого Толстой нередко использует прием сравнения: он сравнивает то, о чем рассуждает, с похожим явлением (например, со сном), с фактом (с бытовыми фактами, фактами из жизни), с какой-либо категорией (например, с категорией движения), а после вводит саму дефиницию.

Толстой предпочитает вводить развернутые сравнения, рисуя при этом картины, создавая сцены. Приведем обширнейшую цитату — пример рассуждения о времени, в котором используется прием сравнения. Толстой добивается здесь нового качества в процессе выражения своей мысли. Благодаря удачно найденному явлению для сравнения он разрушает автоматизм собственного восприятия времени и получает возможность выйти на качественно иной, новый уровень

постижения Бытия: «Все знают и все замечали те странные сны, которые кончаются пробуждением от какого-нибудь внешнего воздействия на сонного: или стук, шум, или прикосновение, или падение, причем этот в действительности случившийся шум, толчок или еще что получает во сне [характер] заключительного впечатления после многих, как будто подготавливавших к нему. Так что сон я вспоминаю, например, так: я приезжаю к брату и встречаю его на крыльце с ружьем и собакой. Он зовет меня идти с собой на охоту, я говорю, что у меня ружья нет. Он говорит, что можно вместо ружья взять, почему-то, кларнет. Я не удивляюсь и иду с ним по знакомым местам на охоту, но по знакомым местам этим мы приходим к морю (я тоже не удивляюсь). По морю плывут корабли, они же и лебеди. Брат говорит: стреляй. Я исполняю его желание, беру кларнет в рот, но никак не могу дуть. Тогда он говорит: ну, так я, — и стреляет. И выстрел так громок, что я просыпаюсь в постели и вижу, что то, что был выстрел, это стук от упавших ширм, стоявших против окна и поваленных ветром. Мы все знаем такие сны и удивляемся, как это сейчас совершившееся дело, разбудившее меня, могло во сне подготавливаться всем тем, что я до этого видел во сне и что привело к этому только что совершившемуся мгновенному событию? Этот обман времени имеет, по моему мнению, очень важное значение. А именно то, что времени нет, а что нам представляется все во времени только потому, что таково свойство нашего ума. Точно тот же обман происходит и в том, что мы называем действительной жизнью. Только с той разницей, что от того сновидения мы проснулись, а от жизни проснемся только при смерти. Только тогда мы узнаем и убедимся, что реально было в этой жизни то, что спало и что проснулось при смерти. То же, что случалось с тобой и что тебе казалось, что ты делал в этой жизни, было то же самое, что человек спящий, видящий сны. От этого происходит и то, что как во время сна для человека нет времени, т. е. спит ли он час или сто, одинаково для спящего, так же и для человека, живущего в этом мире, времени нет. Он всегда в настоящем. Очень все это трудно выразить, но что-то тут есть, и очень важное» (57, 139–140).

В этой записи писатель выявляет разные виды времени: время, которое соответствует нашей действительности, то есть бытовое, привычное время, и время, стоящее как бы за границами привычного для человека времени. Именно это последнее и есть, по Толстому, настоящее время: время, свойственное «разумной», а не «животной» жизни.

В конце каждого из рассуждений о времени и о пространстве Толстой, как правило, вводит авторефлексию, собственный комментарий, оценку к только что написанному. Некоторые записи свидетельствуют о существующей для Толстого проблеме выражения мысли: автор выражает свое неудовольствие записанным: «Все вздор необдуманый» (53, 138), «Надо бы яснее, да не осилю» (57, 20), «Нехорошо, неясно» (58, 96). Другие оценки указывают на понимание пишущим явно-го противоречия между его пониманием пространства и времени — и достигнутой на данный момент степенью ясности выражения, между пониманием явления — и формой выражения мысли: «Это надо разъяснить. После» (53, 17); «Чувствую, что тут что-то есть, но не могу еще ясно выразить» (53, 100); «неясно, но я понимаю. Разъясню после» (53, 225); «Дурно выразил, но хорошо» (58, 104). Толстой отмечает противоречие между своей мыслью и итоговым словесным определением пространства и времени: «Нехорошо, а когда думалось, казалось хорошо» (58, 8), «Не вышло, а думалось, как сильно, ново!» (58, 54).

В эпистолярном наследии Толстого также встречаются определения пространства и времени. В письмах особенности определения Толстым категорий пространства и времени во многом сближаются с таковыми в его записных книжках и дневниках: в них не дается четких, итоговых дефиниций, они также личного характера. Как правило, эти определения предстают перед читателем как бы между прочим, среди других описываемых событий и мыслей автора. Толстой словно желает поделиться своими соображениями с адресатом (М. А. Стаховичем, М. П. Новиковым, В. Г. Чертковым). В письме к давнему знакомому, писателю М. П. Новикову, от 4 сентября 1907 г. Толстой замечал: «Ес-ли бы вы не верили в необходимость именно такой жизни, а верили бы в то, что жизнь ваша есть проявление в вашей ограниченной форме в этом мире того внепространственного, вневременного начала всего, которое вы сознаете в себе, и что не только главная, но единственная свойственная вам жизнь и деятельность есть стремление к единению со всем живущим, т. е. любовью, тогда вы бы не устраивали, как теперь, свою жизнь по составленной и излюбленной вами лично программе (хотя программа эта и хороша), но, исполняя волю высшего начала, предоставили бы судьбе, обстоятельствам поставить вас в те или иные условия» (77, 188).

Возникает вопрос: почему поздний Толстой из года в год так настойчиво в беседах с самим собой, в письмах к своим корреспондентам обращался к размышлениям о времени и пространстве? Допустимо ли, имея в виду многочисленные личные записи о категориях пространства и времени, делать вывод о каких-либо затруднениях Толстого в процессе выражения мысли?

Представляется, что нет необходимости рассуждать о Толстом-философе, на протяжении длительного времени удачно или неудачно формулирующем свои мысли. На этом пути ничего, кроме досадных недоумений, нас не ожидает. Думается, что речь должна идти о чем-то другом. Надо говорить о самом Толстом, о чем-то чрезвычайно важном для него, то есть о том, что именно происходило с ним самим в те моменты, когда он размышлял о времени и пространстве.

Импульсом к этим раздумьям были размышления о жизни и переживание Толстым смерти. Если в 1890-е годы Толстой большее внимание уделял вопросу «Что есть жизнь?», то с начала 1900-х — все больше размышлял о смерти. Запись, относящаяся к 1910 г.: «Умирая, можно сказать только то, что спокоен, потому что знаю, что иду к Тому, от Кого пришел» (58, 12).

Возможно, столь частое обращение Толстого к осмыслению пространства и времени не сводилось для него исключительно к поиску собственно ответа. По всей вероятности, во время формулирования, выражения своей мысли Толстому был важен сам момент переживания, сам момент соприкосновения с тем, что пролегает вне «видимого» пространства и вне «конечного» времени. Толстой как будто стирал границы между тем и другим. Границы между «видимым», «конечным» и неизведанным, непознаваемым, бесконечным становились не так важны. Толстой как будто *продлевался* в жизнь, которая есть вне нашей «видимой» земной жизни.

Совершенно иной пример представления категорий пространства и времени встречаем в позднем произведении Толстого «Круг чтения» (1904—1906). Здесь Толстой излагал свое мирозерцание, давая развернутый ряд избранных, собранных и расположенных на каждый день мыслей многих писателей, философов, религиозных мыслителей. Необходимо особо подчеркнуть, что определения времени и пространства в большинстве случаев не принадлежат самому Толстому (он, как правило, осуществлял только их выбор). Правда, нельзя забывать, что сам Толстой замечал в предисловии: «Мысли без подписи

или взяты мною из сборников, в которых не обозначены их авторы, или принадлежат мне» (41, 9).

Есть записи достаточно краткие и лаконичные: «Последний день несет нам не уничтожение, а только перемену» (Цицерон) (41, 546); «для человека, живущего духовной жизнью, нет смерти» (41, 546). Есть и развернутые суждения: «Смерть есть только один шаг в нашем непрерывном развитии. Таким же шагом было и наше рождение, с той лишь разницей, что рождение есть смерть для одной формы бытия, а смерть есть рождение в другую форму бытия. Смерть — это счастье для умирающего человека. Умирая, перестанешь быть смертным. Я не могу смотреть на эту перемену с ужасом, подобно некоторым людям. По-моему, смерть есть перемена к лучшему. Разве мы не безумны, когда говорим о приготовлении к смерти? Наше дело — жить. Тот, кто умеет жить, сумеет и умереть. Я хочу жить, душа наша никогда не говорит нам, что мы умрем. Чувства умирают, а чувства-то и создали смерть. Так стоит ли беспокоиться о ней разумным людям?» (Теодор Паркер) (41, 545). Другая запись: «Если человек есть только телесное существо, то смерть есть конец всего. Если же человек есть существо духовное и тело есть только ограничение духовного существа, то смерть — только изменение» (41, 544). Еще одна: «Каждый человек содержит в себе сознание жизни всего человечества. Оно лежит глубоко в душе человека, но оно есть. И рано или поздно человек должен прийти к сознанию этой более обширной жизни. Отречение от своих личных целей, которое совершается в нем, тотчас же вознаграждается более сильной жизнью, в которую он вступает. Только отрекаясь от своей исключительной личности, человек делается настоящей живой личностью и, признавая свою жизнь других, сознает в себе жизнь, не имеющую ни пределов, ни конца» (Карпентер) (41, 548).

В «Круге чтения» мысли о пространстве, времени, жизни и смерти представлены в своем *завершенном виде*, в своем *конечном варианте*. Все записи, адресованные широкому кругу читателей, составлялись и писались Толстым как безусловные, не допускающие каких бы то ни было сомнений. Дефиниции уже не сопровождались, как в дневниках и в записных книжках, оценками. Толстой, цитируя высказывания того или иного авторитетного мыслителя (Цицерона, Паркера, Карпентера, Лабрюйера), был вполне удовлетворен отсылкой своего читателя к уже существующим в философии определениям пространства и времени. Это отвечало поставленной им задаче. В предисловии к «Кругу

чтения» Лев Толстой писал: «...цель моей книги состоит <...> в том, чтобы, воспользовавшись великими, плодотворными мыслями разных писателей, дать большому числу читателей доступный им ежедневный круг чтения, возбуждающий лучшие мысли и чувства» (41, 9).

ВЗГЛЯДЫ Л. Н. ТОЛСТОГО НА ЯЗЫК КАК НА МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА

В процессе исследования творчества Льва Николаевича Толстого проблема языка писателя вообще и отношение самого автора к языку как материалу словесного творчества в частности не может быть рассмотрена вне эволюции его мировоззрения.

Какими должны быть требования к языку? Для кого писать? Как должны и должны ли взаимодействовать язык народа и язык литературы? Эти вопросы решались Толстым по-разному в разные периоды его духовного развития. Но были принципы, остававшиеся неизменными независимо от эволюции мировоззрения писателя.

Для Толстого слово как первоэлемент литературы всегда было прежде всего средством «выражения действительности». Такое отношение к слову не менялось на всем протяжении творческого пути великого реалиста. В дневнике 1897 года содержится запись: «Есть люди... для которых слово есть только средство достижения цели и совершенно свободно от основного своего значения — быть выражением действительности» (53, 173). Толстой, однако, видел свою задачу как художника не в том, чтобы просто «отражать реальность» в своих произведениях, а в том, чтобы исследовать ее — исследовать правду жизни, искать истину. Отсюда рационализм языка его произведений — от логического осмысления изображаемой действительности во всей ее полноте, от стремления дойти до сущности в результате анализа причин и следствий того или иного явления реальной жизни. Еще в «Севастопольских рассказах» Толстой провозглашал правду главным своим героем: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда» (4, 59). Этому требованию правды Лев Толстой остался верен до конца, а следовательно, остался верен правде языка. Не менялось также и вытекающее из этого принципа убеждение, что писать хорошо можно, только неустанно

исправляя, т. е. улучшая первоначальный вариант отдельного предложения, абзаца или целой главы произведения в процессе работы.

Общеизвестно, как требователен был Толстой к языку своих творений. Помногу раз переписывались страницы и целые главы рукописи романа-эпопеи «Война и мир» и других произведений. «Войну и мир» Толстой продолжал усиленно править даже в гранках. В ответ на замечание отвечавшего за корректуру П. И. Бартенева, который ужасался тому, как безжалостно автор «колушает» прекрасный текст, Толстой писал: «То именно, что вам нравится, было бы много хуже, ежели бы не было раз 5 перемарано» (61, 176). К такому убеждению Толстой пришел еще в самом начале творческого пути, в процессе работы над повестью «Детство»: «Надо навсегда отбросить мысль писать без поправок» (46, 144). В результате Толстой имел основания сказать о своем втором романе «Анна Каренина», что ни одно слово в нем не может быть заменено: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал, сначала» (62, 267).

Толстой добивался точности языка, так как ему была нужна смысловая точность, которая возможна только при точности каждого слова в контексте произведения. Точность языка Толстого — это стремление к адекватности языкового выражения выражаемому, стремление к тому, чтобы автора нельзя было понять по-другому, иначе, чем он хотел. Во многом от этого стремления и происходит известная «затрудненность» синтаксиса, которая отличает стиль Толстого. Чтобы показать все многообразие явлений жизни во всем их единстве, ему необходимы были подробные описания и характеристики, развернутые комментарии, и это заставляло его использовать сложные синтаксические конструкции, периоды. Однако эта кажущаяся синтаксическая загроможденность в поэтике Толстого абсолютно оправданна. Его текст удивителен по своей органичности. В нем происходит сцепление и взаимопроникновение смыслов, когда каждый компонент получает новое значение, обнаруживая такие потенциальные и ассоциативные семантические приращения, которых он не имел вне данного текста. Рассказывая в письме к Н. Н. Страхову о процессе своей работы над романом «Анна Каренина», Толстой признается: «Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, но <...> каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется

одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя, а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения» (62, 269). Б. М. Гаспаров в книге «Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования» такого рода процессы смыслообразования, в том числе наблюдаемые и в произведениях Толстого, называет «смысловой индукцией», о которой пишет так: «Сущность смысловой индукции состоит в способности как любого компонента высказывания, так и всего высказывания в целом к непрерывному изменению и развертыванию смысла на основе тотального взаимодействия между различными компонентами, попадающими в герметическую рамку текста... Чем больше компонентов вовлекается в процессы смысловой индукции данного текста — тем богаче и многостороннее оказывается сетка их взаимодействий... Внесение все новых элементов не размывает границы текста, а, напротив, увеличивает число и интенсивность ассоциативных связей внутри текста и тем самым утверждает его целостность»¹. Ярким примером «смысловой индукции» ученый считает знаменитую сцену в салоне Анны Павловны Шерер, открывающую «Войну и мир».

Эволюция мировоззрения и, в частности, эстетики Льва Толстого вела за собой эволюцию его языка и стиля. Особенно это стало заметно в произведениях, написанных после так называемого «перелома» в духовной жизни писателя. Кстати, условность выражений «перелом» и «переход на новые позиции в мировоззрении», по крайней мере их относительность, совершенно очевидна, так как «новые» взгляды не были новыми в буквальном смысле, они содержались в сознании и отражались в творчестве Толстого изначально. Духовный кризис все же имел место (исследователи жизни и творчества Л. Н. Толстого обычно указывают на вторую половину 70-х — начало 80-х годов XIX в.), и влияния его на стиль писателя нельзя не заметить. Если раньше авторский взгляд «формировался» в результате сопоставления точек зрения разных героев, когда Толстой использовал, по выражению В. В. Виноградова, «принцип субъективной многоплановости повествовательной речи» (очень интересно продолжает разработку проблемы соотношения точек зрения героев и авторской позиции в художественной прозе Толстого Б. А. Успенский)², то после кризиса, веря, что он нашел ответ на вопрос об истинных путях преобразования

жизни, автор прямо, от своего лица обращается к читателю, не ограничиваясь сопоставлением точек зрения героев. Не случайно в позднем творчестве писателя преобладает публицистика, где он имеет возможность прямо выражать свою (именно свою, а не автора или рассказчика) точку зрения. Но и во многих художественных произведениях позднего Толстого позиция автора особо акцентируется, нередко повествование ведется от первого лица, и произведение часто становится похожим на внутренний монолог самого автора. Таким образом, проза Толстого этого периода «являет собою пример текста, в организации которого творческая воля автора играет если не исчерпывающую (это было бы невозможно), то во всяком случае исключительно большую роль»³.

Кроме того, особое значение для Толстого в поздний период творчества приобретает требование простоты художественной, а особенно публицистической речи, которое всегда было для него характерно. Еще в 1853 году он записывает в дневнике: «Пробный камень ясного понимания предмета состоит в том, чтобы быть в состоянии передать его на простонародном языке необразованному человеку» (46, 286). В 1862 году в статье «О языке народных книжек» читаем: «Язык должен быть понятный <...> и умышленно не испещренный словами местного наречия». И дальше: «Язык должен быть не только понятный или простонародный, но язык должен быть *хороший* (курсив Л. Н. Толстого. — Ю. А.)» (8, 427).

Но в 1870-е годы, в связи с кризисом мировоззрения, требование простоты становится особенно актуальным, распространяясь на все творчество писателя. Теперь оно непосредственно вытекает из главных принципов эстетики Толстого. Художник, считает Толстой, должен писать о том новом, что он увидел и понял в реальной действительности, он должен рассказать людям об этом для того, чтобы научить их жизни, чтобы обогатить их сознание, а эта задача может быть решена, только если язык произведения будет прост и доступен любому грамотному человеку. «Надо, чтоб все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно», — говорит он в письме к А. А. Толстой в 1872 году (61, 283). «Я изменил приемы своего писания и язык, но, повторяю, не потому, что рассудил, что так надобно <...>. Язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, — мне мил. Язык этот, кроме того, — и это главное — есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее,

напыщенное, болезненное — язык не позволит», — читаем в письме того же 1872 года к Н. Н. Страхову (61, 278).

Характерно высказывание Льва Толстого, содержащееся в письме к Софье Андреевне Толстой (1887), о его стремлении приблизить свой язык к народной речи: «Занимался нынче тоже хорошо. Пересматривал, поправлял сначала. Как бы хотелось перевести все на русский язык, чтобы Тит понял. И как тогда все сокращается и уясняется. От общения с профессорами многословие, труднословие и неясность, от общения с мужиками сжатость, красота языка и ясность» (84, 25).

Считая простоту необходимым условием прекрасного, Толстой до конца оставался верен этому требованию.

Как понимал Толстой цель литературного творчества? Еще в юности, в начале пути он приходит к мысли, что целью любого произведения должны быть польза и добродетель. Об этом он пишет в дневнике: «Я удивлялся тому, как могли мы до такой степени утратить понятие о единственной цели литературы — нравственной, что заговорите теперь о необходимости нравоучения в литературе, никто не поймет вас» (46, 214). Такое понимание цели литературного труда делает совершенно закономерным усиление впоследствии, после перелома, нравственного императива и, как следствие, появление нравоучительной интонации в его сочинениях. Но главным для Толстого-художника всегда было стремление найти в человеке лучшее, действительно прекрасное и сосредоточить на этом свое внимание, а значит, и внимание читателя. Сознывая себя учителем жизни, Толстой акцентировал все усилия на том, что сказать людям, а не на том, как это сказать. «Надо быть смелым, — писал он в 1857 году, — а то ничего не сделаешь, кроме грациозного, а мне много нужно сказать нового и дельного» (47, 142). А в 1896 году он продолжит эту мысль: «Утонченность и сила искусства почти всегда диаметрально противоположны» (53, 112). И действительно, в своей художественной речи он как будто намеренно избегает «изящества» и «гладкости», предпочитая силу, мощь, простоту, естественность живого языка. Поэтому все главные принципы Толстого в отношении языка (требования правды, точности, простоты) в итоге подчинены в его художественном сознании главному — высокой нравственной цели литературы.

Споры о языке произведений Льва Толстого были всегда. Достаточно вспомнить, что еще в 1856 году писатель и литературный критик «Современника» А. В. Дружинин по поводу присланной в журнал

повести «Юность» упрекал Толстого в безграмотности его речи, а в 1870 году журнал «Сын Отечества» (№ 3)⁴ писал: «...что за язык в последнем романе г. Толстого? Речь его, там, где идет рассказ от лица автора, сплетается часто из нагроможденных одно на другое предложений в такие безобразные периоды, с таким повторением одних и тех же слов, что напоминает невольно средневековую латынь или писание наших старых приказных». Впоследствии великого писателя стремились «поправлять» Н. Н. Страхов, П. И. Бартенев и другие причастные к изданию его произведений литераторы. Но, как мы видели, «неправильности» были органичны для языка Толстого, и это, безусловно, были мнимые неправильности (об этом, в частности, статья Б. И. Богина «Мнимые синтаксические неточности у Л. Н. Толстого»)⁵. Споры о языке и стиле Льва Толстого периодически возникают и в наше время. Так, на страницах газеты «Литературная Россия» в 2002 году развернулась любопытная дискуссия. Газета опубликовала острые, полемические материалы, выражающие разные, иногда диаметрально противоположные точки зрения на язык Толстого. Накал остроты спора можно почувствовать, читая заголовки статей. Начало дискуссии положила статья С. Логинова «О графах и графоманах»⁶. Ответная статья М. Дунаева называлась «Как же графу не быть графоманом?»⁷ «Уличивший» Льва Толстого в неграмотности и неумении писать С. Логинов получает блестящую отповедь М. Дунаева, обличающего своего оппонента как духовно убогого, ограниченного человека и бездарного читателя. В подкрепление своих доказательств М. Дунаев приводит замечательное высказывание А. П. Чехова о языке Л. Н. Толстого: «Какая сила! Форма, по-видимому, неуклюжа, но зато какая широкая свобода, какой страшный, необъятный художник чувствует в этой неуклюжести! В одной фразе три раза “который” и два раза “видимо”, фраза сделана дурно, не кистью, а точно молотком, но какой фонтан бьет из-под этих “которых”, какая прячется под ним гибкая, стройная, глубокая мысль, какая кричащая правда!.. Мысль и красота, подобно урагану и волнам, не должны знать привычных, определенных форм. Их форма — свобода, не стесняемая никакими соображениями о “которых” и “видимо”»⁸.

Фразеология занимает далеко не последнее место в ряду языковых средств, с помощью которых Толстой стремился донести до читателя концептуально значимую для себя информацию. Известно, что он использовал фразеологические единицы в своих произведениях не ин-

туитивно, а вполне осознанно: писатель в течение всей жизни собирал пословицы и поговорки, о чем свидетельствует содержание множества его записных книжек; не просто просматривал или читал, а исследовал изданные сборники паремий (в частности, сборник И. М. Снегирева), доказательством чему являются многочисленные пометы писателя, оставленные в этих книгах. Толстому доставляло огромное удовольствие чтение пословиц: «Давно уже чтение сборника пословиц Снегирева составляет для меня одно из любимых — не занятий, но наслаждений. На каждую пословицу мне представляются лица из народа и их столкновения в смысле пословицы. <...> В числе неосуществимых мечтаний мне всегда представлялся ряд не то повестей, не то картин, написанных на пословицы» (8, 302). В результате большинство произведений Толстого насыщено фразеологическими единицами, в том числе и паремиями, поскольку именно паремии «фиксируют и передают от одного поколения к другому общественный опыт», «различные общественно значимые сведения»⁹, в них запечатлена «мудрость народа, его ценностная картина мира»¹⁰.

Толстой усматривал в русской фразеологии большой познавательный потенциал. И действительно, фразеологический материал «ценен тем, что одномоментно совмещает в себе несколько этнически маркированных систем, поскольку, во-первых, он включает в себе народную философию, которую (в идеале) должны разделять все представители этноса, во-вторых, сохраняет систему традиционных образов, известных данной этнической общности и определяющих характер мировидения в прошлом и объясняющих мотивацию поведения человека сегодняшнего дня; в-третьих, в концентрированном виде дает систему народных оценок мира, человека и бытия»¹¹. Особенно большой познавательной емкостью обладают паремии. Поскольку в афористичной форме пословицы и поговорки содержат в себе сумму активных и пассивных (языковых) знаний о внешнем порядке вещей и внутреннем мире человека, постольку они прекрасно подходили писателю для включения, например, в учебно-методические тексты, «народные» рассказы, рассказы для детей — в те произведения, в которых познавательный потенциал паремий особенно эффективно мог быть использован.

Однако паремии в частности и фразеологические единицы русского языка в целом были привлекательны для Толстого прежде всего потому, что они, обладая возможностью выполнять назидательные

функции, вполне вписывались в ту систему жизненных ценностей, которой был привержен писатель, и соответствовали той дидактической установке, которая характерна для большинства его произведений, особенно последнего периода творчества.

Таким образом, язык, которым написаны тексты А. Н. Толстого, отражает мировоззренческие установки писателя, понимание им цели словесного творчества и задач, которые должен решать художник в своих произведениях.

¹ Гаспаров Б. М. Язык. Память. Образ: Лингвистика языкового существования. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 326–328.

² Успенский Б. А. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000. С. 59–99.

³ Гаспаров Б. М. Указ. соч. С. 332.

⁴ Сын Отечества. 1870. № 3. С. 61.

⁵ Богин Б. И. Мнимые синтаксические неточности у А. Н. Толстого // XXII Толстовские чтения: Тезисы докладов Международной научной конференции. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. А. Н. Толстого, 1995. С. 81.

⁶ <http://lib.ru/LOGINOW/tolstoy.txt>

⁷ Лит. Россия. 2002. № 7. 25 января. С. 8–9.

⁸ Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. М.: Наука, 1974–1982. Т. 7. С. 510.

⁹ Костомаров В. Г., Верещагин Е. М. О пословицах, поговорках и крылатых выражениях в лингвострановедческом учебном словаре // Фелицына В. П., Прохоров Ю. Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения: Лингвострановедческий словарь. М.: Русский язык, 1979. С. 4–5.

¹⁰ Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа. Языки русской культуры, 1996. С. 73.

¹¹ Фархутдинова Ф. Ф. О познавательном потенциале паремий // Словарное наследие В. П. Жукова и пути развития русской и общей лексикографии. Великий Новгород, 2004. С. 311.

Июлия Меджибовская

ОТВЕТ ТОЛСТОГО НА ТЕРРОР И РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАСИЛИЕ

Несмотря на устоявшуюся репутацию Толстого как одного из самых ярких мыслителей радикального направления, малое количество литературы, обращающейся к его деятельности, связанной с другими радикальными учениями, теориями террора в частности, — поразительно, хотя в определенной степени и закономерно. Толстой не оставил нам во всем объеме своего наследия сколько-нибудь законченной теории касательно террористической борьбы, поскольку он не рассматривал ее в отрыве от проблем проявления насилия в истории и общественной борьбе вообще. В задачу данной статьи входит проследить за развитием взглядов Толстого на проблему политического насилия и террора, включая сюда литературные портреты и риторические средства, используемые Толстым при изображении террора и террористов. Для правильной установки их отношения с теориями, современными Толстому, с одной стороны, и современными нам — с другой, в заключительной части статьи взгляды Толстого на террор будут представлены в критической перспективе¹.

Ввиду постоянной смены тактики между мерами возмездия и упреждения, бесконечно подстраивающейся под сиюминутные политические реалии, сама возможность исчерпывающего определения террора остается спорной². Как же нам найти здесь место для Толстого? На сегодняшний день аргумент научных комментаторов по вопросам террора таков: поскольку источники терроризма носят политический характер и касаются удерживания, захвата или уничтожения существующей власти, классическими образцами террора являются попытки *целенаправленного* уничтожения отдельных лиц, правительств или целых наций, входящих в сферу действия властных структур, посредством разнообразных форм «насильственного устрашения». Поэтому существуют две основные формы террора: государственный («легитимный» — сверху вниз) и «незаконный», то есть идущий снизу вверх³.

Уже в конце XIX в. русские толковые словари содержали описание обеих наиболее распространенных форм террора. Энциклопедический словарь, изданный под общей редакцией Флорентия Павленкова (первое издание вышло в 1899 г.), добился спорного результата, признав террор неотъемлемой частью российской истории начиная с 1878 г., то есть со времени январского покушения на Санкт-Петербургского градоначальника Федора Трепова, совершенного Верой Засулич, и чуть более позднего теракта, в результате которого Сергей Степняк-Кравчинский заколол главу российских спецслужб Николая Мезенцева. Словарь Павленкова представил террористов как лиц, которые признают уничтожение официальных представителей государственных служб за легитимные средства ведения политической борьбы⁴. В статье о терроре, написанной в 1901 г. для словаря Брокгауза и Эфрона, критик консервативного толка Владимир Герье избрал для своего анализа времена Великой французской революции. Он сконцентрировал внимание на разоблачении террора как обреченной формы политического управления, превращающей всех своих участников в изуродованных ужасом марионеток. Несмотря на исчерпывающий анализ, Герье совершенно не коснулся XIX в. и новых форм террористической борьбы в России⁵.

Противоречивые определения только подстегнули интерес Толстого к проблеме. В качестве иллюстрации возьмем период времени с января по март 1909 г., предпоследнего года жизни писателя, который в буквальном смысле преисполнен заботами о проблемах радикальной политики. В это время в Ясной Поляне побывала депутация духовных и официальных лиц, которая начала с увещаний о прекращении пропаганды против правительства и закончила предупреждением о невозможности продолжения Толстым кампании в пользу арестованных и отданных под суд революционеров. В конце января Толстой прочел «Андрея Кожухова», роман покойного писателя-террориста Степняка-Кравчинского, а затем принялся за «Письма из Шлиссельбургской крепости» незадолго перед этим вышедшего на свободу Николая Морозова, автора нашумевшей в 1880-е годы брошюры «Террористическая борьба». Морозов и Толстой состояли в переписке, с 1908 г. перешедшей в личное знакомство после посещения революционером Ясной Поляны (Морозов неоднократно пересылал Толстому книги с дарственной надписью). В феврале 1909 г. Толстой занимался чтением старых номеров запрещенного журнала «Былое», бывшего единственным в своем роде периодическим изданием, целиком посвя-

ценным изучению истории революционной борьбы в России начиная с декабристского и заканчивая эсеровским движением.

Еще более красноречивы наброски нескольких незавершенных работ Толстого 1909 г., в частности несколько прозаических и драматических версий, относящихся к повести «Павел Кудряш», а также прозаический набросок под условным заглавием «Иеромонах Илиодор». Толстой считал продвижение сюжета о Павле, юноше из рабочей среды, примыкающем к эсеровскому движению в силу наивной тяги к образованным людям, неудовлетворительным. Гораздо более, нежели возможность разоблачения подобной формы самообразования, увлек Толстого сюжет «Илиодора». Судя по сохранившимся фрагментам, Толстой намеревался написать вещь поразительной силы о потере Илиодором веры и окончательном разрыве с церковью сразу после особенно фальшивого богослужения. После этой части рассказа наброски Толстого не более как схематичны, но характер планов и подготовительных материалов позволяет заметить, что в намечаемых набросках Илиодор примыкает к революционному движению, вплоть до участия в покушении на высокопоставленное лицо из царской фамилии, и в конце концов подвергается казни бок о бок с двумя товарищами, будучи, как Христос, распят палачами посередине приговоренных. Понятно, почему столь малое внимание уделялось исследователями этим последним художественным наброскам Толстого. Ведь они завершают его литературный путь. Понадобится время, чтобы изучить последние творческие планы Толстого досконально. На данном этапе важно и бесспорно только то, что сохранившиеся наброски последних работ и насыщенный график погружения Толстого в изучение буден, теории, практики и истории революционного террора свидетельствуют о его глубокой увлеченности этой темой.

До 1878 г. Толстой почти не писал о революциях и революционерах — факт весьма нехарактерный для литературы XIX в., как русской так и европейской. Будучи современником нескольких крупных революционных событий, Толстой обошел молчанием и революции 1848-го и 1869—1870 гг. в Европе, и освободительное движение в Польше в 1861—1863 гг. Только много лет спустя Толстой откликнется на эти события. Во время своего сотрудничества в прогрессивном по идеологической направленности «Современнике», где появились его первые печатные работы, Толстой оставался, пожалуй, самым политически индифферентным его автором. С конца 1840-х до конца

1860-х гг. Толстой — это осторожный либерал, мирившийся с крепостным правом, опасавшийся революции со стороны дворянского сословия, однако яро противостоявший любой форме государственного вмешательства и контроля. Как художника Толстого притягивала тема насилия. В годы воинской службы (1852—1856) Толстой изучал как формы принуждения, применявшиеся военачальниками по отношению к подчиненным для поддержания дисциплины и для развертывания военных действий против внешнего врага, так и формы неповиновения подчиненных силе, отдающей приказы. Он даже составил таблицу, распределив типы военнослужащих по степени их подчиняемости и реакции на насильственные меры (4, 287—288, 292).

Первой известной литературной оценкой Толстым современных ему форм экстремизма можно считать сохранившиеся фрагменты «Нигилиста», его драматической шалости 1866 г., написанной по прошествии всего полугодия после скандального выстрела Дмитрия Каракозова, неудачно покушавшегося в апреле 1866 г. на жизнь императора Александра II. В разгар ажиотажа вокруг возможных нигилистских заговоров шуточно-сатирическая пьеса Толстого кажется не более как легкомысленной пародией на горе-террористов. Место действия пьесы — провинциальное дворянское поместье. Сорокалетнему помещику Семену Ивановичу невдомек, что его супруга готовит ему сюрприз к дню его рождения, подговаривая губернатора своего юного племянника — разночинца, не закончившего курс атеиста с несурным именем Хрисанф, выдающим его происхождение из духовного сословия, — помочь ей подготовить и с выдумкой упаковать подарок, предназначенный Семену. Для подготовки сюрприза Хрисанф и молодая помещица часто уединяются; как истые конспираторы, они подолгу шепчутся в кладовке, вселяя недоуменные подозрения в старосветских домочадцев. Старая приживалка Фиона моментально окрестила Хрисанфа нигилистом. Как только вести о зловещем заговоре достигают Семена Ивановича, он требует развернуть сверток и предъявить ему содержимое. Ни бомбы, ни пистолета там не оказывается, и драматический эффект испаряется, не оставляя запаха пороха. Первой спохватывается все та же Фиона, закатываясь хохотом и поздравляя не именинника, а Хрисанфа, чьи шутки бьют метче каракозовских выстрелов: «Ай да нигилист, прострелил!» (7, 341). Если мы сравним толстовскую пародию на террористов с полными отчаянной страсти и страха за судьбы монархии выступлениями в печати Достоевского, нападав-

шего на «нигилятину» в фельетонах, присно и во языцех, на первый взгляд кажется, что Толстой недооценивает серьезности проблемы. Но обратим внимание на емкость и сложность насущных для поддержания террора средств, затронутых в шуточном толстовском скетче: власть держится на страхе, страхе перед абсолютно неведомым, страхе перед моментом разоблачения неведомого как катастрофой, анонсирующей свой приход вакханалией насилия. Более того, Толстой указывает нам и на возможные способы спасения от этого страха, а именно на браваду самовыражения и на обреченно-фанатическую веру в эффективность своего участия в действе тех, кто «подстраивает мину», и тех, кто ее обезвреживает, одновременно подчеркивая капитуляцию и того и другого перед неподвластными человеку силами случая и авторитета власти. Связь между террором, насилием и властью и является тайной пружиной «Нигилиста».

Как бы они ни были разбросанны и немногочисленны, все без исключения высказывания Толстого о политическом насилии, относящиеся к периоду до 1878 года, касаются той или иной формы выступления против суверенной власти, так или иначе затрагивая все попытки оправдания террора (сверху вниз или снизу вверх). В тетрадке 1835 г. сохранились записи Толстого семи с небольшим лет от роду. В размышлении об орле и мальчике юный автор заворочен тем, как сильный беспрепятственно наказывает слабого. С не терпящей возражений краткостью он описывает, как орел заклевал мальчика насмерть. Возьмем на заметку важную деталь: мальчик дразнил символизирующего имперскую власть царя птиц (1, 213). В 1860-х гг. Толстой задается вопросом: не является ли насилие проявлением действия циклического и вместе с тем поступательного зоологического закона, руководящего жизнью человеческого общества в не меньшей мере, чем он руководит, скажем, жизнью пчел? Приводя примеры изуверской жестокости, обуянности стадной готовностью к убийству и прочих проявлений инстинкта насилия во время войн, революций и других кризисных моментов в исторической жизни человечества, Толстой — особенно в набросках и комментариях к «Войне и миру» — настойчиво сравнивает сообщества людей с насекомыми и другими представителями общественной фауны.

«Зачем миллионы людей убивали друг друга, тогда как с сотворения мира известно, что это и физически и нравственно дурно? Затем, что это так неизбежно было нужно, что, исполняя это, люди исполняли тот стихийный, зоологический закон, который исполняют пчелы, истребляя

друг друга к осени, по которому самцы животных истребляют друг друга. Другого ответа нельзя дать на этот страшный вопрос» (16, 14).

Однако Толстой искал и другие ответы. Уже в своем незаконченном, но гениальном по силе интуитивных выводов и догадок наброске «О насилии» (не датирован, предположительно — около 1861–1862) Толстой проводит черту между насилием политическим и животным. В отличие от насилия политического, богоданность которого Толстой подспудно отрицает, животное насилие в жизни человечества — не человеческих рук дело. Оно свыше. Толстой отделяет насилие примордиальное, насилие самих начал жизни (*силу*), от самозванной симуляции этой силы государством, которая и порождает *насилие*. Механизм тут таков. Большинство как неизбежность принимается необходимостью насилия через механизмы государства и общества в целях самосохранения и защиты от террора, исходящего от примордиальной силы. В соответствии с этой догадкой, сделанной задолго до выдающихся политологов и мыслителей XX в., значительно развивших данную идею (от Карла Шмитта до Элиаса Канетти), данная примордиальная сила и является главным источником террора, поскольку она одна достигает *целенаправленного уничтожения и устрашения насилием*, которые определяют террор в самых полных и основных его описаниях.

Как и Жозеф де Местр (высказывание которого приводится ниже), Толстой, испытавший на себе глубокое влияние автора *Les soirées de Saint-Petersbourg, Fragments sur la France* и *Sur les délais de la justice divine*, считает, что политика — есть марионетка примордиальной силы, что во время революций цепь, на которую посажен человек, «резко укорачивается в своей длине», что его, связанного по ногам, влечет «неведомая сила», что диапазон его действий сведен до минимума и «что средства, оставшиеся в его распоряжении, обманывают его»⁶.

В «Войне и мире» Толстой приходит к противоречивой гипотезе о том, что власть является агрегатом индивидуальных волей, на время переданных одному лицу, суверену или его убийце, что политическая власть, сублимирующая силу, является также и ее рукой, вершащей террор, пишущей его теорию, приводящей в действие лезвие гильотины или наносящей смертельный удар ножом ничему не подозревавшему диктатору. Невозможность для Пьера Безухова совершить покушение на Наполеона ввиду того, что план этот «рассуждение только» (14, 300), но никак не реализующая себя историческая необходимость, находит для себя такие же объяснения, как и *невозможность объяс-*

нений того, почему во времена Великого террора во Франции «Людовика XVI казнили за то, что его считали преступником, а через год убили тех, кто его казнил, тоже за что-то. Что дурно? Что хорошо?»⁷ В 1861—1863 гг. интерес Толстого к Пьеру, на ранних стадиях работы над «Войной и миром» еще не окончательно отделившемся от персонажа Пьера Лабазова из более ранних планов романа о декабристах, заключался в его способности оправдания политических убийств сообщениями государственной необходимости и «общего блага»⁸. Показательно, что Пьер, только что горячо отстаивавший в роялистском по настрою умов салоне Аннет Шерер столь непопулярные там меры террора, предпринятые Наполеоном, а до него якобинцами, не в состоянии отразить ни единого возгласа возмущения по поводу его радикализма. Пьер «не знал, кому отвечать»⁹, и отделался беспомощно-доброй улыбкой, прикрывая как свою, так и авторскую неготовность ответить на вопрос о моральной ответственности за политические преступления.

В первом эпилоге к «Войне и миру» Толстой наконец подвергает проверке позицию Пьера, активиста Союза благоденствия. Теперь Пьер вовлечен напрямую в процесс изменения самодержавной власти в целях, выгодных дворянству. Он открыто обсуждает моральную целесообразность царубийства ввиду необходимости противиться бездействию Александра I перед лицом угрозы выживанию дворянства в результате неминуемой революции третьего сословия и крестьянства. Пьер становится заговорщиком лишь постольку, поскольку «насилие» существующей власти чересчур беспомощно и не в состоянии защитить ни его семью, ни его класс в целом от растущей угрозы со стороны примордиальной силы, выражением каковой является народный бунт.

В июле 1861 г. похожими вопросами занимался герценовский «Колокол». Герцен и Огарев сформулировали дилемму Пьера на языке текущего исторического момента. Одним из назревших «проклятых вопросов» они уже считали не защиту дворянства от революции, но возможное удовлетворение нужд народа ненасильственным путем. На вопрос же, что нужно народу, Огарев дал известный ответ: «землю и волю». Ответ этот послужил названием организации нового поколения русских народников (изначально чуждого насилию), которая в скором времени перерастет в анархистские, террористические и марксистские формы. Одновременная критика Толстым в 1860-е гг. рационалистической защиты государственной власти консерваторами

с одной стороны и герценовской концепции свободной политической воли — с другой повлекла за собой его критику 1870-х годов, направленную дополнительно и против покорности власти требованиям насилия со стороны населения (это была новая сторона толстовской политической мысли по сравнению с 1860-ми гг.). Именно в этом ключе Толстой трактует массовое истерическое воодушевление, сопровождавшее панславистские настроения во время Турецкой кампании в 1877—1888 гг. С этого момента толстовская политическая мысль наконец начинает обретать свои зрелые контуры и логически завершает его предыдущие размышления о суверенном благе при наличии доказательств неадекватности суверенной власти своему назначению. Только с этого момента, в конце 1870-х гг., Толстой наконец формулирует главные основы своего антигосударственного учения.

В 1878 г., на пятидесятом году жизни писателя, в самом начале его героического и трагического поприща в поисках истинной христианской веры, политическое сознание Толстого полностью созрело. В том же году созрел к действию и русский террор. Вряд ли можно назвать совпадением тот факт, что после долгого перерыва, но сразу же после первых громких покушений Засулич и Кравчинского Толстой возвращается к работе над романом о декабристах. Особенно интересуют его декабристы, защищавшие покушения или совершившие их (Якушкин, Рылеев, Каховский) (48, 194). Одновременно Толстой конспектирует материалы о подвергнутом казни за покушение на царского шпиона Коцебу Карле Занде, судьба которого питала декабристские мечтания о высокой революционной жертве (17, 446). В это самое время Толстой начинает трактовать Иисуса как революционера, ненасильственно ломающего вековой закон возмездия, *lex talionis*, установленный патриархами, эту основу государственного насилия¹⁰. В нарождающемся религиозно-политических взглядах Толстого практика непротivления включала в себя, как и ранее для Мартина Лютера, неповиновение закону возмездия и, таким образом, неповиновение государственной власти, противоречившей в самой своей основе учению Христа. И Толстой, и Лютер используют сходные аргументы, называя ненасильственные меры в духе христианского законоуложения единственно политически правомерными¹¹.

Внося свою лепту в общенациональную дискуссию, Толстой высказался о покушении Веры Засулич на генерала Трепова именно с этой позиции. Невзирая на преобладавшие в либеральной прессе дифирам-

бы по адресу пореформенных судебных институтов России, особенно суда присяжных, оправдавшего Засулич, Толстой не был впечатлен ни оправдательным приговором, ни жертвенными мотивами ее поступка. Одновременно он подверг критике жестокость тюремного начальства, приказавшего выпороть Алексея Боголюбова, находившегося в заключении товарища Засулич, за которого она и решила мстить. А. Ф. Кони, председательствовавший на процессе, чье умение вести дебаты оказалось решающим для оправдания Засулич, писал в своих воспоминаниях о первой встрече с Толстым в 1887 г., что тот стал с порога, почти пренебрегая правилами вежливости при встрече гостя, расспрашивать его о деле Засулич¹². Оно его глубоко волновало — особенно в 1880-е годы, когда волна насилия в поединке террора государственного и революционного уже набрала необоримую силу. С 1878 г. Толстой и Кони предупреждали правительство о потенциальной опасности взаимного насилия и о необходимости прекратить обращение с революционерами как с обреченными на истребление особями.

В письме к Н. Н. Страхову, одному из самых непоколебимых критиков нигилизма в России, Толстой делится соображениями по поводу возможности разорвать круг насилия, говоря следующее о поколении Засулич: «Засуличевское дело не шутка. Это бессмыслица, дурь, нашедшая на людей недаром. Это первые члены из ряда, еще нам непонятного; но это дело важное. Славянская дурь была предвозвестница войны, это похоже на предвозвестие революции» (62, 411). У Толстого вызывал настоящее омерзение нездоровый интерес к Засулич со стороны высшего общества, тут же окрестившего свою обожаемую «маленькую негодяйку» «русской Шарлоттой Корде»¹³. В письме от 6 апреля 1878 г. к Александре Андреевне Толстой, своей двоюродной тетке, долгое время бывшей фрейлиной при дворе, Толстой высказал отвращение по поводу дошедшего «до зверства» озлобления «друг на друга двух крайних партий», революционеров и правительства: «Все те, которые оправдали убийцу и сочувствовали оправданию, очень хорошо знают, что для их собственной безопасности нельзя и не надо оправдывать убийство, но для них вопрос был не в том, кто прав, а кто победит. Все это, мне кажется, предвещает много несчастий и много греха. А в том и другом лагере люди, и люди хорошие. Неужели не может быть таких условий, в которых бы они перестали бы быть зверями и стали бы опять людьми» (62, 409). Ввиду все большего разочарования в деятельности народовольцев и молодых революционеров

Толстой пытался воздействовать на них распространением своих взглядов относительно ненасильственного переустройства жизни. В этом ряду стоит его переписка с М. А. Энгельгардтом конца 1882 — начала 1883 г. и попытка воздействовать на революционеров через своих эмиссаров: в начале 1883 г. М. С. Громека отвозил Энгельгардту рукописи толстовских работ о непротивлении. По этому поводу и, видимо, подтверждая как обоюдно принятое ими мнение, в письме к Толстому с впечатлениями о поездке Громека упоминает народовольческое движение как «революцию свихнувшихся барчуков» (63, 135).

В своем беспрецедентном письме императору Александру III, сыну только что погибшего царя-освободителя, написанном 8—15 марта 1881 г., то есть спустя всего несколько дней после народовольческой расправы над Александром II, Толстой предпринимает попытку быть посредником между столь горячо осуждаемыми им двумя крайними партиями. Риторические средства, которыми Толстой пользуется для достижения своей цели, на первый взгляд странны, поскольку он начинает с полных негодования реплик по адресу «врагов народа, презренных мальчишек, безбожных тварей, нарушающих спокойствие и жизнь вверенных миллионов, и убийц отца» (63, 45). Как будто подогревая настроения мести нового царя, Толстой тут же осаждает гнев увещеваниями о его христианском долге не мстить своим личным врагам и врагам вверенного ему государства. Более того, Толстой настаивает на необходимости пренебречь существующими государственными законами, если ими возбраняется или просто не предусматривается освобождение царевубийц (63, 49, 51). Уже в апреле 1881 г. царевубийц казнили, и одновременно началась война между Толстым и государством. Молодой царь мог сравнить тон христианского анархизма, преобладавшего в толстовском письме, с тоном записки, одновременно полученной им от Исполнительного комитета «Народной воли», которая настаивала на нарушении царем закона в смысле совсем обратном тому, о чем как христианский брат христианского брата просил Александра III Толстой. В отличие от Толстого народовольческий ультиматум требовал от Александра пренебречь своими личными чувствами и чувствами других подданных во имя исполнения царем своего гражданского долга. Это не значило, что народовольцы просили царя простить своих товарищей, находящихся под трибуналом. Напротив, они в приподнято-декламационном духе объясняли, что были скорбно рады приносимой всей организацией суровой жертве. Они называли

ужасной и достойной сожаления, но необходимой утрату товарищей, исполненных столь многих талантов и энергии, но с колоссальной силой выражали уверенность в том, что идея цареубийства популярна в России, поскольку царь и его слуги перестали заботиться о благосостоянии народа. Долг царя, с точки зрения народолюбцев, заключался в обеспечении этого благосостояния. И до тех пор пока, долгом этим царь будет пренебрегать, они пророчили новую кровь¹⁴.

Хотя новое поколение революционеров пользовалось политическим словарем, сходным с тем, которым в эпилогах к «Войне и миру» пользовались Пьер и декабристы, Толстой чувствовал, что по сравнению с декабристами им недоставало нравственной чистоты. В 1880-х гг. Толстой предпринимает одну попытку за другой для того, чтобы найти положительный элемент в деятельности народолюбцев, и изобретает особую версию нравственных координат. Задумываясь об оправдании Страховым в «Письмах о нигилизме» (1881) политических репрессий правительства против революционеров, Толстой составил набросок ответа (который не был послан). В этом наброске он задумывается о казни через повешение молодого народолюбца, члена террористической группы Валериана Осинского (1853—1879), о котором Толстой отзывался как о «юноше прекрасном», который «был революционер и писал прокламации» и которого «повесили в Киеве» (63, 67—68). На самом деле, как было известно, при аресте Осинский был вооружен и оказывал сопротивление. В письме к Страхову Толстой явно и безоговорочно на стороне революционеров: «Ваша точка зрения мне очень, очень знакома (она очень распространенная теперь и очень мне не сочувственна). Нигилисты — это название каких-то ужасных существ, имеющих только подобие человеческое. И вы делаете исследование над этими существами. И по вашим исследованиям оказывается, что даже когда они жертвуют своею жизнью для духовной цели, они делают не добро, но действуют по каким-то психологическим законам бессознательно и дурно.

Я не могу разделять этого взгляда и считаю его дурным. Человек всегда хорош, и если он делает дурно, то надо искать источник зла в соблазнах, вовлекавших его во зло, а не в дурных свойствах гордости, невежества. И для того, чтобы указать соблазны, вовлекшие революционеров в убийство, нечего далеко ходить. Переполненная Сибирь, тюрьмы, войны, виселицы, нищета народа, кощунство, жадность и жестокость властей — не отговорки, а настоящий источник соблазна» (63, 68).

Итак, в черновике письма к Страхову Толстой не оправдывает вполне сам революционный террор, но оправдывает поиски духовного характера, духовные цели, к которым стремятся революционеры в ответ на Сибирь, казни, нищету народа и деградацию властей. Соблазн революции — не соблазн духовного поиска как такового, но соблазн отождествления этого поиска с насилием. Толстой опять, хотя на новом по сравнению с предыдущими десятилетиями уровне, вовлечен в решение проблемы соревнования силы власти с властью силы. Впервые революция кажется ему дверью, через которую высокодуховная политическая деятельность может прийти к выполнению важных функций примордиальной силы. Вспомним, что ни слепой народный бунт (выражение бездуховного, животного начала этой силы), ни политический террор снизу и сверху времен французской революции и декабристского движения, стремившиеся самозванно узурпировать авторитет силы посредством насилия, не удовлетворяли вполне толстовским запросам. Народолюбческая жертвенность, «соблазн духовностью» заставили Толстого на время переосмыслить некоторые свои позиции. Он был довольно близок к тому, чтобы принять бомбометание за одну из стадий активного духовного поиска: дело дошло до бомб только оттого, что революционное самовыражение не имело возможности существовать в мирных формах.

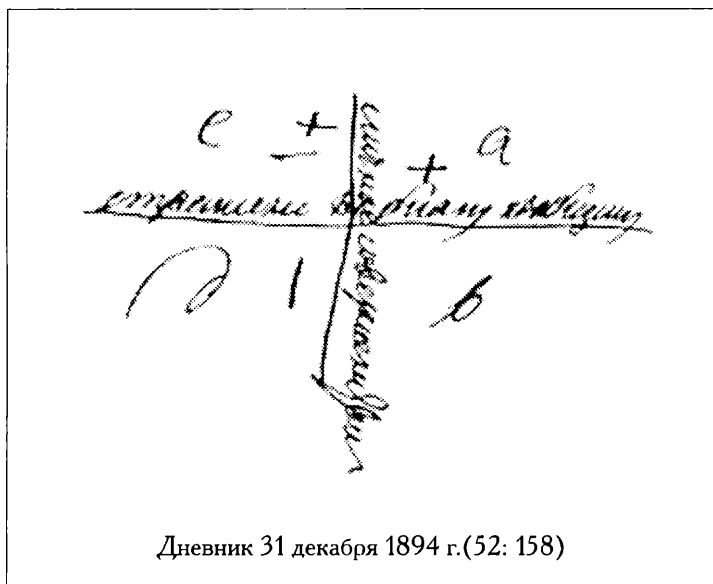
В середине 1880-х годов из-за духовной спячки, царившей в обществе его круга (следы этой депрессии заметны на страницах его дневника и в письмах тех лет), следует обратить внимание на оценку Толстым деятельности члена «Народной воли» Натальи Армфельд, осужденной в 1879 г. к 14 годам каторжных работ, чью переписку он читал в апреле 1884 г. Чтение это натолкнуло его на размышления о людях «высокого строя»: *«Нельзя запрещать людям высказывать друг другу свои мысли о том, как лучше устроиться. А это одно, до бомб, делали наши революционеры. Мы так одурели, что это выражение своих мыслей нам кажется преступлением»* (49, 81).

Более выдержанную оценку соотношения духовности и целесообразности в революционной деятельности Толстой дает десять лет спустя, в конце декабря 1894 года, в дневниковом размышлении, выдающем огромную эволюцию его взглядов. Начнем с толстовского рассуждения о сути героизма Желябова и Кибальчича, участников событий 1 марта 1881 г., к которым его привели разговоры в редакции издательства «Посредник»: *«Зашел в Посредник, там говорили о том,*

что можно ли Желябова, Кибальчича признать высоко нравственными, самоотверженными людьми. Я сказал, что нет. Почему? Потому что поступок, обдуманно совершенный ими, был безнравственен. Почему? Потому что для того, чтобы поступок был нравственен, нужно, чтобы он удовлетворил двум условиям: чтобы он был направлен к благу людей и к личному совершенствованию. Поступок, чтобы быть нравственным, должен быть определен двумя положительными координатами. И быть всегда на диагонали этих координат. Выходит такой чертеж» (52, 158).

Толстой далее сопровождает свои раздумья двумя уникальными схемами для оценки духовного поступка (см. рис. 1 и 2, приведенные ниже).

Рис. 1

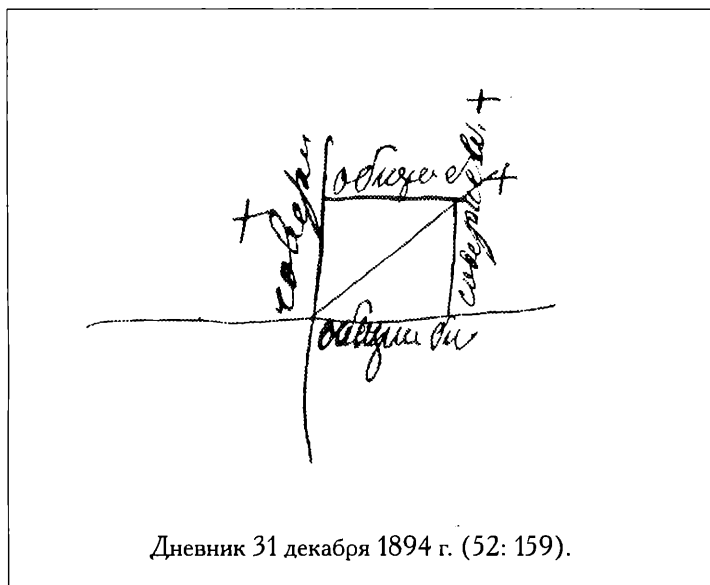


На этой диаграмме горизонтальная ось представляет собой стремление к общему благу, а вертикальная представляет собой личное совершенствование. «Так что, — пишет Толстой, — если поступок определяется стремлением к общему благу и личным совершенствованием, то он будет всегда в поле *a*, на диагонали *+*. Если же обратное, то будет в поле *d*. И будет совсем дурной. Если же в поле *b*, то, хотя

и будет стремиться к общему благу, будет лишен личного совершенствования. Таковы все поступки организаций, правительственные, революционные, 1 марта, инквизиция. Если же поступок будет в поле с, то, хотя он и будет стремиться к совершенствованию, он будет лишен стремления к общему благу. Таковы все аскетические поступки — стояние на столбу, и т. п. » (52, 159).

Обратимся ко второму рисунку.

Рис. 2



На этой диаграмме Толстой демонстрирует, что поступок, продиктованный интересами общего блага и личного совершенствования, будет поступательно подниматься по диагонали в поле +, то есть стремиться к идеалу духовного поведения.

Мы еще вернемся к диаграммам в заключительной части статьи, сравнивая толстовское новаторство при анализе человеческого поступка с современными философскими теориями. На данный момент важно отметить, что Толстой наконец нашел соотносительное мерило при оценке революционного и правительственного терроризма. Именно поэтому он с гениальной чуткостью одновременно и противопоставил, и отождествил аскетизм и инквизицию, эти две крайние и часто со-

существующие формы выражения двух тенденций — заботы об общем благе и заботы о собственном совершенствовании, этих основных элементов, вдохновляющих политическое бытие современного человека.

По поводу расположения осей координат нужно сделать пояснение касательно аксиологической ценности, придаваемой Толстым общему благу по сравнению с личным совершенствованием. Прочитав английский журнальный вариант данной статьи, американский комментатор Уильям Никел сделал замечание по поводу отсутствия Бога на обеих осях толстовской схемы¹⁵. Такая оценка, если признавать существование аксиологии поступка у Толстого, как признает ее автор данной статьи, совершенно неоправданна. Дело в том, что в действительно сложной и часто вызывающей споры толстовской версии христианской веры ни личный Бог, ни тем более Бог метафизический и не мог быть самоцелью или даже заведомым ориентиром движения, в противном случае это приводило бы к искажениям духовной структуры поступка, в крайних выражениях своих приводя, как и показал Толстой, к уродствам аскезы или инквизиции. Толстовский Бог для человека существует только как самоориентация в деятельном служении делу любви.

Наконец, так же неверно полагать, что, отдав горизонталь общему благу, а вертикаль личному совершенствованию, Толстой отдает предпочтение вертикали как чему-то более идеальному по отношению к горизонтали как чему-то более приземленному. Во-первых, как духовный геометр, по своему духовному темпераменту Толстой чужд мистицизма, присущего, скажем, неоплатоникам, или очень интересовавшему его Паскалю, или некоторым философам-идеалистам, приверженцам вертикали. И с ними, и с другими, даже такими, как Гердер, то есть частично «вертикальными» мыслителями, Толстой неумолимо полемизирует по поводу характера и смысла идеального в человеческом поступке¹⁶.

Вспомним письмо Толстого Гавриилу Русанову от 28 ноября 1903 г., в котором графически воспроизведена схема вечности и человеческого места в ней. Можно по-разному понимать это место — от признания полной его бессмысленности до признания особой миссии, открывающейся в тяжких, но окрыляющих его смыслом откровениях разумного сознания. Смысл этого сознания, которое Толстой определил для себя в коротких отрывках 1879—1880 годов как разумение, «ставшее за Бога», и сформулировал более четко в «Соединении и переводе

четырёх Евангелий», не только в том, что оно духовно, а в том, что оно действительно духовно¹⁷. «Он то, что он говорит», — написал Толстой в письме к А. А. Толстой в начале февраля 1880 г. (63, 8), подразумевая, что слова Христа о прощении и любви полностью воплотились в его делах, делая его поэтому воплощением Слова Бога-Творца, его сыном и продолжателем. Христос «стал за Бога», по емкому выражению Вступления к «Четвероевангелию» (24, 26), в словах и делах своих. В схеме, начерченной в письме к Русанову, эта мысль продолжается и развивается. Человек может быть бессмертен не только потому, что он также и духовен, он не есть один выхолощенный дух. «Наша жизнь есть наше сознание себя вечным, бесконечным, т. е. безвременным и внепространственным духом, ограниченным условиями временных и пространственных явлений. Я так представляю себе: [следует чертеж двух параллельных линий, обрамляющих движение расширяющихся вверх и вниз сфер деятельности человека внутри ограниченного линиями пространства]. Параллельные линии, теряющиеся в обе стороны, не имеющие ни конца, ни начала, это истинная, духовная, божеская жизнь. Соединяясь с нею, познаем то, что имеем право назвать жизнью. Фигурки, начинающиеся рождением, более или менее часто соприкасающиеся с вечной истинной жизнью, это жизнь людей с точки зрения внешнего наблюдения. Чем больше человек соприкасается с истинной жизнью, тем жизни у него больше. В стремлении к наибольшему соприкосновению задача совершенствования. Лучшая жизнь та, когда, как в последней фигуре, она сливается с вечной жизнью, и смерть уничтожается. В этом стремлении сущность жизни человека. Зачем это? Не знаю. Знает тот, кто владыка жизни, кто — сама жизнь. Простите за всю эту чепуху. Все это в таком зародышном и уродливом виде позволяю себе писать только вам» (74, 245).

В толстовской схеме, таким образом, человек сотрудничает с вечностью, простирающейся бесконечно, но существующей для него в пределах двух параллельных (но не вертикальных) линий, ограничивающих пространство его контакта с вечностью пространством его жизни. Говоря иначе, человек может слиться с вечностью, то есть влекущей его силой, только делая осмысленные для себя и продиктованные любовью к жизни ненасильственные дела. Двигаясь только по вертикали, он отнимает у себя эту возможность. Он не может плыть вспять, не может, оставаясь живым во плоти, до бесконечности двигаться впе-

ред, не может разбить пределов ограничивающих его снизу или сверху параллелей, но он может и должен стремиться к сопутствующему движению, раздвигая этим диапазон своего пребывания в жизни. В этом смысле схема 1903 г. подтверждает догадку Толстого (из дневникового наброска 1894 г.) о положительном поле деятельности, гармонически сочетающей в себе заботу об общем благе и личном самоусовершенствовании. Характерно также, что обе схемы Толстой не обнародовал широко, а оставил в лаборатории собственных своих раздумий — схема 1894 г. осталась в дневнике, схемой 1903 г. он поделился с одним из самых сокровенно близких ему людей, каких в эту пору было уже слишком мало среди живущих.

Таким образом, раздумья Толстого о святости жизни, о смысле бессмертия и о духовности поступка шли бок о бок с его анализом истоков и последствий революционной борьбы. 20 мая 1904 г. он отправил В. Г. Черткову письмо, позднее в доработанном виде напечатанное как предисловие к статье Черткова «О революции» (1904). В письме Толстой развивал идею о том, что бомбометание — это одна из рискованных форм социального развлечения, родственная охоте, скалолазанию и занятиям спортом. Люди увлекаются подобным времяпрепровождением на досуге, особенно когда его много; когда им не на что больше расходувать свою энергию, они предаются мечтаниям как о чем-то приятном, так и о чем-то разрушительном, причем границы приятного и разрушительного скоро стираются, и мечты изнывающих от тоски бездельников ищут разрешения. Мечты остаются мечтаниями до поры до времени. Тон толстовскому предисловию к статье Черткова задает более ранняя, знаменитая его статья «Для чего люди одурманиваются?» (1890), в которой приводились похожие доводы при объяснении пороков современной жизни, но тогда, за исключением известного объяснения пути Раскольникова «шаг за шагом к преступлению», Толстой ограничивался в основном критикой обиходных, а не политических страстей (например, ужас скотобоев объяснялся порочной любовью зажиточных людей к поеданию мяса). Можно с легкостью найти изъяны в построении толстовской аргументации 1890 г. начиная с простейших — например, Раскольникову как раз часто не хватало денег на мясо, вино и папиросы, у него не было ни сил, ни повода беситься с жиру, а хватало на это сил персонажам типа Лебезятникова. Но Толстой абсолютно прав в главном: у Раскольникова много вынужденного досуга, он опьяняется порочной идеей и в дурмане своих мыслей об

общем благе, при пустом желудке и почти полном пренебрежении к себе и к человеку вообще, шаг за шагом приводит в исполнение бредовую идею о счастье многих. Но, будучи приведена в исполнение, она моментально нарушает его арифметику прихода и убытка и теряет всякий смысл.

В 1890 г. Толстой не вдается в объяснение важных сопутствующих моментов «дела Раскольников». Например, он ничего не пишет о том, что наряду со смертью «бесполезной вши», старухи-процентщицы, осчастливленные миллионы должны принять на свою совесть, вместе со своим преступным освободителем, смерть «побочной жертвы», Лизаветы, арест невинного Миколки, боль и непомерные благородные жертвы других вовлеченных в раскольниковское несчастье людей из круга семьи, друзей и жалеющих о его потерянной душе чужих и близких. Предисловие к статье Черткова вносит существенные коррективы в толстовские объяснения «неблагих мечтаний» потомков Раскольникова, и сытых и голодных, курящих и аскетов, безупречных и порочных, которые будут изготавливать взрывчатку и бросать бомбы¹⁸. Вот как Толстой объясняет происходящее с ними: «Только тем, что революционная деятельность есть спорт, и можно объяснить то, что люди здравомыслящие предаются такой явно бесполезной деятельности, и то, что никакие доводы, доказывающие тщету и даже вред их деятельности, не действуют на них. Жалко видеть, когда энергия людей тратится на то, чтобы убивать животных, пробегать на велосипедах большие пространства, скакать через канавы, бороться и т. п., и еще более жалко, когда эта энергия тратится на то, чтобы тревожить людей, вовлекать их в опасную деятельность, разрушающую их жизнь, или еще хуже: делать динамит, взрывать или просто убивать какое-нибудь почитаемое вредным правительственное лицо, на место которого готовы тысячи еще более вредных» (88, 333).

Итак, в начале 1900-х годов Толстой развивает дневниковую мысль 1894 г. о безнравственности революционной жертвы, о том, что «поступок, обдуманно совершенный ими, был безнравственен» (52, 158). При анализе приведенной выше цитаты отметим в ней как упор на «здравомыслие» или на особого рода одурманенную обдуманность в действиях революционных охотников, так и на их жестокость не только по отношению к взятой на мушку жертве из числа «вредных правительственных лиц», но и на подвергаемых ими смертельной опасности товарищей, вовлеченных в дело часто по наивности. Возвращаясь к «делу Раскольникова», неверно было бы считать, что,

упомягая о нарушении спокойствия мирных граждан, Толстой говорит в тоне сердобольного радетеля об общественном порядке, защитника свихнувшейся молодежи от самой себя вроде Порфирия Петровича из романа Достоевского.

Что касается проблем нарушения общественного порядка, то Толстой не согласен с Достоевским в первую очередь по следующим важным пунктам. В письме к Черткову Толстой говорит столь подробно о дурно употребленной революционным охотником свободе действий, потому что разбор свободы поступка (начатые серьезно в эпилогах к «Войне и миру» и продолженные в 1880-е годы в дискуссии об активном духовном поиске) важнее всего для него, особенно важно для него качество этой свободы, начинающееся с того, кто до чего охоч именно в духовных своих устремлениях. Как стало возможным, что охота на животных, досужая форма спорта, превратилась в охоту на вредных с точки зрения революционеров людей? Как стало возможным, что самоусовершенствование и служение общему благу соскочили с диагонали поля + и затерялись в полях *b*, *c* и *d*?

Взвешивая приоритеты общего блага и личного совершенствования в письме к Черткову и критикуя революционное понимание свободы, Толстой, в отличие от хамелеонно вкрадчивого добряка Порфирия, созданного Достоевским, скорее уважает революционеров, потому что он не уважает порядка, о котором радеет Достоевский, потому что после 1893—1894 годов он считает, что «скотобойня» — не просто результат порочной любви большей части общества к мясу, а символ террора власти против находящихся в загоне. Пытаясь найти правильные методы того, как выбраться из загона, Толстой, с одной стороны, убеждается в том, что эти правильные меры — не правительственные. С другой стороны, он убеждается все больше в том, что революционные методы, уже столь широко и долго практиковавшиеся, только усугубили степень превращения государства и власти в тюремного забойщика и сузили пространство загона. Отличает Толстого от Достоевского не только неприятие забойщика и его аргументов ни на каких условиях, но и нелюбовь к царству пафосного страдания, насаждаемого Достоевским, неприятие культа жертвы ради другого, во-первых, и демонизации революции и революционеров, осуществленной в «Бесах», во-вторых.

В письме к Черткову для Толстого важнее всего характеристика не забойщика, но революционного охотника, которого он сравнивает

не с гордыми демонами или вошедшими в людей бесами, превращающими их в стадо обреченных свиней; страсть революционера к опасности он отождествляет с мужеством знаменитого охотника на львов Жерара, ссылаясь и на свой собственный опыт охоты: «Невольно любишься молодечеством Жерара, охотника на львов, точно так же невольно любишься, независимо от последствий их деятельности, и молодечеством, самоотвержением русских революционеров, ходивших в народ, так же как и отчаянной деятельностью Халтуриных, Рысаковых, Михайловых и других, но нельзя не видеть, что главный двигатель деятельности этих людей был тот же, как и тот, который руководил Жераром. Как Жерар не мог не видеть того, что убийством десятка львов он не избавит жителей Африки от львиной опасности, так же и люди, ходившие в народ, или устраивающие шествия по улицам с флагами, или убивающие отдельных правительственных лиц, не могли не видеть, что они этими средствами никогда не победят русского правительства. Так что главным двигателем и тех и других, очевидно, было не достижение известной цели, а избыток сил, борьба с опасностями, игра своей жизнью. Когда я был охотником, я помню, что несмотря на то, что я был в полном обладании своих умственных способностей, все рассуждения о безумии того, чтобы скакать сломя голову за ненужным мне зайцем или волком или ездить за сотни верст, чтобы, увязая в болотах или снегу, убить нескольких ненужных мне птичек или столь же ненужного медведя, все эти рассуждения я пропускал мимо ушей и был не только уверен в важности своей деятельности, но гордился ею. То же и с революционерами» (88, 332—333).

Однако рассуждения Толстого о сходстве охоты и революции остались частью дружеской переписки: в напечатанной версии предисловия к статье Черткова Толстой полностью отказался от охотничьих аналогий и развил те идеи письма, которые, как и в неотправленном двумя десятилетиями раньше письме Страхову, касались большого вопроса о целесообразности насилия в благих целях. Поскольку именно в письме к Черткову, своему ближайшему соратнику тех лет, Толстой был наименее стеснен в выражении своих мыслей, приведем выдержку из письма, а не из статьи: «Только вспомнить русские попытки недворцовых революций начиная с 14 декабря до последних дел несчастного Гершуни. Попытка революции 14 декабря, происходившая в самых выгодных условиях случайного междуцарствия, <...> и та не имела ни малейшего вероятия успеха. <...> Все

же последующие попытки русских революций начиная от походе- ний десятка молодых мужчин и женщин, намеревавшихся, вооружив русских крестьян находившимися в их распоряжении 30 револьвера- ми, победить миллионную правительственную армию, и до последних шестивей рабочих с флагами и криками “долой самодержавие”, легко разгоняемых десятками будочников и казаков с нагайками, также и те взрывы и убийства 70-х годов, кончившиеся 1-м марта, ни в ка- ком случае не могли кончиться ничем иным, как только гибелью многих хороших людей и самой жестокой реакцией со стороны пра- вительства» (88, 332).

Принимая во внимание сказанное и недосказанное Толстым, мы понимаем, как и почему идет гораздо дальше простых раскладок о це- лесообразности или нецелесообразности понесенных потерь в зави- симости как от меры достигнутых результатов, так и от вложенных средств или тяжести вынужденных преступлений. Почему он говорит о том, что страсть к революции кажется неугасимой точно так же, как и страсть к охоте? Толстой охотился и считал невозможным не охотить- ся, как только отдавал себя этой глупой и никчемной, по его словам, страсти. Важно, как настойчиво Толстой подчеркивает, что это была не его личная, выдуманная им или выношенная страсть, а готовность следовать с самозабвением модному поветрию, традиции. В конце кон- цов он отказался от занятия охотой как от постыдного участия в насилии, и оно полностью потеряло над ним власть. Только в том смысле, что, предаваясь революционному поветрию как охоте, люди теряют власть над свободой воли и поступков, и следует понимать Толстого. Сфера революции, как и охота, как и политическая власть и борьба вокруг нее (к чему и ведет Толстой), — это иллюзия свободы деятельности, которая не может вполне удовлетворить или гарантировать достиже- ние искомого результата. В этом смысле следует сравнить толстовскую трактовку рабства и самообмана революционной деятельности на диа- грамме 1894 г. и в письме к Черткову с его ранней, унаследованной от де Местра, детерминистской трактовкой влечения революционеров цепью исторической необходимости, символизирующей карательную метафизику, данную свыше *власть силы* над человеком, которую невозможно ни отвратить, ни облегчить никакими насильственными средствами, поскольку само насилие находится во власти силы и слу- жит ее тайным целям. Сравним с этой картиной абсолютного рабства понимание Толстым свободной воли Христа и «влечения вечностью»

в пространном объяснении этой высшей формы свободной несвободы как служения целям вечности, — объяснении, которое дано в письме к Русанову 1903 г. Вследствие кардинального изменения религиозных взглядов Толстого с середины 1870-х годов, которые продолжали развиваться и в последующие десятилетия до самой его смерти (во многом благодаря постоянному переосмыслению им революционной борьбы), Толстой теперь считает, предвосхищая мысли Ханны Арендт о революции, терроре и тоталитаризме, что человек в состоянии разорвать цепь насилия, отвязать себя от нее, но не в качестве революционера, охотящегося на правительство, или правительственного агента, охотящегося на революционера. Как тогда? В последние шесть лет жизни Толстой продолжал решать этот вопрос свободы воли на пути движения к вечности.

В конце концов, в опубликованном как открытое письмо «Предисловии к статье В. Г. Черткова “О революции”», открываемым дружеским обращением «Владимир Григорьевич» и выражением полного согласия с оценкой Чертковым революции, Толстой сохранил всего несколько абзацев из письма, говорящих о безрассудной трате драгоценных человеческих средств, которыми так богата революционная среда. В предисловии Толстой обращается скорее не к Черткову, а напрямую к молодежи, пытаясь отговорить ее от швыряния бомб или камней, поскольку «существующие правительства давно уже узнали своих врагов и те опасности, которые им угрожают, и потому давно уже приняли и теперь неусыпно принимают все меры к тому, чтобы сделать невозможным разрушение того строя, на котором они держатся» (36, 149). В своих высказываниях о неоправданных жертвах и бесполезности революционного террора народовольцев, а за ними эсеров 1903—1904 годов, Толстой косвенно согласен с Лениным по вопросу высокой цены бесполезных утрат, но совершенно не согласен с марксистами, противниками эсеров, осуждавшими всего лишь неэффективность определенных методов насильственной борьбы, но не сам факт насильственной борьбы: «На место Александра II — Александр III, на место Боголепова — Глазов, на место Сипягина — Плеве, на место Бобрикова — Оболенский. Не успел еще дописать этого, как нет уже и Плеве, и на место его готовится еще кто-то, наверное еще вреднее Плеве, потому что после убийства Плеве правительство должно сделаться еще жесточе» (36, 150).

Хотя в дневнике и частных высказываниях, а также в давнем уже письме к Александру III он позволял себе едкие реплики по поводу наро-

довольцев, в предисловии к статье Черткова Толстой пишет взволнованный некролог павшим, «лучшим, высоко нравственным, добрым людям, каковы были Перовская, Осинский, Лизогуб и многие другие (я говорю только про умерших), увлеченные задором борьбы, [они] доведены не только до траты своих лучших сил на достижение недостижимого, но и до допущения противного всей их природе преступления — убийства, до содействия ему, участия в нем» (36, 151). А это только обратная сторона насилия со стороны правительства, потому что в сущности своей то, что по определению революционеров «считается свободой, есть в большей мере случаев нарушение свободы людей» (36, 151).

Внимание Толстого к опасности заражения молодечеством принормальной жертвы — себя и других, — более того, чисто риторического в основе своей отождествления революционной жертвы со святостью возмездия, нашло самое глубокое выражение в художественных произведениях, в созданных им литературных портретах террористов. Но не только. Изумительны также тонкий стилистический такт Толстого по отношению к революционерам и умышленная бестактность по отношению к властям, с которыми Толстой трактует мысль о молодечестве. Вот какую трансформацию претерпела тема охоты при ее перенесении из личного письма к Черткову в напечатанный текст предисловия:

Невольно любуешься молодечеством Жерара, охотника на львов, точно так же невольно любуешься, независимо от последствий их деятельности, и молодечеством, самоотвержением русских революционеров, ходивших в народ, так же как и отчаянной деятельностью Халтуринных, Рысаковых, Михайловых и других, но нельзя не видеть, что главный двигатель деятельности этих людей был тот же, как и тот, который руководил Жераром. Как Жерар не мог не видеть того, что убий-

Нельзя не признавать молодечества и самоотвержения людей, как Халтурин, Рысаков, Михайлов и теперь убийц Бобрикова и Плева, которые прямо жертвовали своими жизнями для достижения недостижимой цели; так же как и тех, которые с величайшими лишениями, рискуя свободой и часто жизнью, идут в народ, чтобы бунтовать его, или печатают и развозят революционные брошюры; но нельзя не видеть того, что деятельность этих людей не могла и не может привести ни к чему

ством десятка львов он не избавит жителей Африки от львиной опасности, так же и люди, ходившие в народ, или устраивающие шествия по улицам с флагами, или убивающие отдельных правительственных лиц, не могли не видеть, что они этими средствами никогда не победят русского правительства (88, 332).

иному, как к *погибели их самих* и к *ухудшению общего положения* (36, 150) (в обеих цитатах курсив мой. — И. М.).

В письме (в левой колонке), почти помимо воли, как чем-то неотразимым, Толстой любит молодечество Жерара, убивающего львов, и молодечество «Халтуриных, Рысаковых, Михайловых и других», то есть царевичей (что не удалось довершить ценой жизни Халтурину в 1880 г., удалось годом позже, той же ценой, Рысакову и Михайлову). Только как художника, опьяненного пограничной ситуацией, в которой присутствует возвышенное, Льва Толстого одинаково восхищают «неизъяснимыми наслаждениями» всего, что, по словам пушкинского Вальсингама, «гибелью грозит», и поэтическая бесшабашность охоты на льва, и молодечество охоты на человека, и почти картинное, как он это представил, хождение в народ или с флагами по улицам, *вопреки опасности для собственной жизни и вопреки заведомой бесполезности подобных действий*.

В значительно сокращенном и лишенном поэтических излишеств фрагменте предисловия (в правой колонке) Толстой все же допускает моральные излишества, возможные только в ситуации поэтического отстранения, но не в публицистике 76-летнего мэтра мировой литературы. Тем не менее Толстой сознательно идет на огромный риск. Начиная с того, что молодечество охотников и самоотверженность все тех же Халтурина, Рысакова и Михайлова он совершенно уравнивает в правах, они уже не представлены как предмет для любования, которому хочется и можно подражать в силу его неотразимой и заразной притягательности. Для того чтобы отбить охоту у молодежи подражать революционным охотникам, Толстой подчеркивает свойственную им труднодостижимую аскезу и идеальность их жертвенности. Мало того, только что закончив говорить об этих уже причисленных к революционному сонму святых, он тут же добавляет к их списку уже без-

ымянных «убийц Бобрикова и Плеве», разбивая таким образом миф о святости и подчеркивая никчемность политического убийства, героика которого быстро выветривается из памяти. Это убийство, не говоря уже о том, кто его совершил, не остается в памяти и не приносит большего результата, чем развоз «революционных брошюр». Уничтожительность этой «арифметики», сводящая весь тон фрагмента к совершенной прозаичности, делает убийц, которые считают, что они «прямо жертвовали своими жизнями для достижения недостижимой цели», не более и не менее как виновниками не только собственной «погибели», но и «ухудшения общего положения» (36, 150). Сравним с этим суровым приговором из предисловия выраженное скорее как расчет эффективности средств окончание цитаты из письма, где Толстой говорит, что «этими [молодеческими] средствами» революционеры «никогда не победят русского правительства» (88, 332). После столь детальных сравнений следует отметить, что победа над русским правительством является целью и Толстого, но иными, не революционными средствами. Поэтому он и позволяет себе беспрецедентную свободу говорить о том, что убийцы Бобрикова и Плеве «прямо жертвовали своими жизнями».

Явная писательская потребность Толстого в переделке террористов и их поведения на свой лад находится в центре анализа следующей части статьи.

Продолжение следует.

¹ Данная работа является расширенной версией статьи “Tolstoy’s Response to Terror and Revolutionary Violence” (Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2008. Vol. 9. № 3. P. 505–531), специально переработанной автором для «Яснополянского сборника».

² По вопросу классических определений связи террора и насилия см.: Mayer A. J. The Furies: Violence and Terror in the French and Russian Revolutions (Princeton, NJ and Oxford, UK: Princeton University Press, 2000). О том, что единое определение террора невозможно да и ненужно, см.: Merari A. Terrorism as a Strategy of Insurgency // The History of Terrorism From Antiquity to Al Qaeda / Ed. G. Chaliand and A. Blin. Berkeley, Ca.; London: University of California Press, 2007. P. 12.

³ См. «Введение» Дэвида Виттакера к его антологии The Terrorist Reader (London; New York: Routledge, 2001. P. 3–5). См. также вводную ста-

тью редакторов тома: *The History of Terrorism From Antiquity to Al Qaeda* (Р. 7–8).

⁴ Павленков Ф. Ф. *Энциклопедический словарь*. СПб., 1913. Стб. 2532.

⁵ *Энциклопедический словарь* Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1893–1905. Т. 33. С. 69–81.

⁶ Maistre J. de. *Considerations on France // The Works of Joseph de Maistre / Selected, translated, and introduced by Jack Lively; With a new foreword by Robert Nisbet*. New York: Schocken Books, 1971. P. 48–49.

⁷ Толстой Л. Н. *Собр. соч.*: В 22 т. М., 1980. Т. 5. С. 70.

⁸ Там же. Т. 4. С. 27–28.

⁹ Там же. Т. 4. С. 29.

¹⁰ О толстовском интересе к декабристам и о месте замысла романа о декабристах в духовном переломе Толстого см.: Medzhibovskaya I. *Tolstoy and the Religious Culture of His Time: A Biography of a Long Conversion, 1845–1887*. Lanham, MD: Lexington Books; Rowman and Littlefield Publishers, 2008. P. 57–197.

¹¹ См.: Luther M. *Selections from his Writings / Ed. and with an introduction by J. Dillenberger*. New York: Anchor Books. A Division of Random House, 1962. P. 364.

¹² Коши А. Ф. *Собр. соч.*: В 8 т. М., 1968. Т. 6. С. 461.

¹³ О прозвищах Засулич см.: Коши А. Ф. Т. 2. С. 69.

¹⁴ См.: Kravchinskii S. M. *Nihilism as It Is. Being Stepniak's Pamphlets translated by E.L. Voynich and Felix Volkhonsky's Claims of the Russian Liberals / With an intro by Dr. R. Spence Watson*. London: T. F. Unwin, 1894. P. 81–90. The *People's Will* leaflet appeared 12 March, 1881. Русский текст воззвания «Исполнительный комитет императору Александру III» см. в кн.: Александр III: Воспоминания, дневники, письма. СПб.: Изд. Пушкинского фонда, 2001. С. 126–129.

¹⁵ См.: Nickell W. *New Directions in Tolstol Scholarship // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2008. Vol. 9. № 3. P. 555–566, особ. 565.

¹⁶ Относительное исключение составляют случаи обсуждения Толстым периода «инерции высоты», следующего после пробуждения разумного сознания. Наблюдая свою жизнь и жизнь других людей с внезапно открывшейся высоты, человек либо возвращается к животному, бездуховному, плоскостному бытию и отрицает необходимость служения высшему благу, либо начинает жить разумной жизнью, в которой правильно совмещаются самые

важные требования всех плоскостей и осей бытия вне узко понятых рамок пространства и времени. См. гл. 14 трактата «О жизни» (26, 361).

¹⁷ Толстой изложил свою трактовку непротivления насилию насилием как главный смысл христианского поступка в большинстве своих известных духовно-философских и публицистических трудов, таких как «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», «О жизни», «Царство Божие внутри вас» и др.

¹⁸ В письме к Черткову, ставшем черновиком предисловия к чертковской статье, Толстой концентрирует внимание на потомках Раскольниковца, на революционерах. Динамика их вставания в революционную борьбу интересует его гораздо более довольно предсказуемых «потомков Лебезятникова», которые подадутся в сыск или будут провокаторами.

А. А. Златопольская

«ИСПОВЕДЬ» РУССО В ТВОРЧЕСТВЕ ТОЛСТОГО И ДОСТОЕВСКОГО И ОБРАЗ «ЖЕНЕВСКОГО ГРАЖДАНИНА» В РУССКОЙ МЫСЛИ XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА

Толстой и Достоевский — два русских писателя, на творчество которых особое влияние оказали образ и идеи Руссо. И его «Исповедь», и сама его личность — предмет пристального интереса как для Толстого, так и для Достоевского. Несмотря на их прямо противоположные оценки «Исповеди» и личности Руссо, в этих оценках имеется немало сходного.

Личность Руссо и притягивала, и отталкивала Достоевского. Белинский пронзительно уловил внутреннее сходство между ними. «Он [Руссо] так похож на Достоевского, который убежден глубоко, что все человечество завидует ему и преследует его»¹.

Для Достоевского в период его увлечения идеями утопического социализма и верой в добрую природу человека личность Руссо воспринимается с интересом и скорее в положительном ключе. В «Неточке Незвановой» он вкладывает похвалу Руссо и его педагогическим принципам в уста гувернантки мадам Леотар, которую описывает с симпатией.

По-иному он относится к Руссо после каторги и ссылки.

Он не принимает социально-политических воззрений Руссо. «Женевские идеи», идеи Руссо ведут к социализму, что тождественно для Достоевского равенству. Человек, по Руссо, свободен, однако равенство, считает Достоевский, противоречит свободе и ведет к деспотизму. И когда Достоевский в «Бесах» вкладывает в уста Шигалева сентенцию: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом»², он явно имеет в виду «Общественный договор», начинающийся словами: «Человек рождается свободным», где Руссо затем полностью подчиняет отдельную личность государству народного суверенитета. Для Достоевского идеи Руссо, так же как

идеи французских просветителей и материалистов, так же как идеи западных социалистов, — идеи буржуазные, замешанные на эгоизме. Идеи Руссо, по Достоевскому, — это не просто идеи одного из французских философов. «Женевские идеи — это добродетель без Христа, мой друг, теперешние идеи, или, лучше сказать, идеи всей теперешней цивилизации», — пишет Достоевский в «Подростке»³. Для Достоевского французское Просвещение, символом которого для него являются идеи Руссо, с его верой в разум и апелляцией к природе человека, по сути дела, отвергает Христа и христианство. С помощью этих идей нельзя объяснить ничего в человеке, тем более сделать его лучше. В заметке «Социализм и христианство» Достоевский отмечает: «Вы верите в *l'homme de la raison*, в *l'homme de la nature et de la vérité* и не замечаете, что он кукла, которая не существует»⁴. И здесь явная полемика Достоевского с идеями не только социализма, но и Просвещения, с его надеждой на разум (*l'homme de la raison*), а также с идеями Руссо. *L'homme de la nature et de la vérité* («Человек природы и истины») — надпись на надгробном памятнике Руссо в Эрменонвиле; эта надпись восходит к первым строкам «Исповеди»: «*Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature; et cet homme, ce sera moi*»⁵ («Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, — и этим человеком буду я»)⁶. Истоком «женевских идей», так же как и социализма, является католицизм — религия, отвергшая Христа.

Природа человека, не знающего или отвергшего Христа, — зла и греховна. Поэтому исповедь — это не моральный подвиг, а симптом морального падения. Полная исповедь равна отсутствию стыда в человеке, отсутствию для него всяких нравственных норм. «Как Руссо находил наслаждение загалываясь, так и он находил сладострастное наслаждение загаливаться перед юношей, даже развращать его полную своей откровенностью»⁷. Достоевский проводит параллель между исповедью и эксгибиционизмом, вспоминая в романе «Подросток» соответствующие эпизоды у Руссо. Полная исповедь, без морального осуждения сделанного и покаяния, становится отвратительной игрой, развращающей окружающих. Такова игра у Настасьи Филипповны в романе «Идиот», когда вспоминаются и выносятся на всеобщее обозрение самые дурные поступки⁸. Для Достоевского подлинная исповедь должна сопровождаться моральным усилием, страданием и покаянием.

Говоря в девятой главе «Бесов» устами Тихона о том, что Ставрогин не перенесет того, что «стыдно, смешно», что «есть преступления поистине некрасивые... есть преступления стыдные, позорные, мимо всякого ужаса, так сказать, даже слишком уж не изящные»⁹, Достоевский явно имел в виду строки из «Исповеди» Руссо: «Трудней всего признаваться не в том, что преступно, а в том, что смешно и постыдно»¹⁰. Однако признаваться в том, что смешно и постыдно, можно совершая моральный подвиг, что и предлагает Ставрогину Тихон, а можно нигилистически презирая все нравственные нормы, показывая, что все дозволено.

Не может быть действительно прекрасного человека, по Достоевскому, без веры в Бога, в бессмертие души, без веры в Христа. Именно такими «естественными людьми» являются для Достоевского князь Мышкин и Алеша Карамазов — «ранний человеколюбец». Они стараются в греховной душе каждого человека пробудить доброе, божественное, христианское начало, однако эти усилия заканчиваются трагедией.

Для Толстого, страстного поклонника Руссо, исповедь — это также моральный подвиг. Известно, что Толстой высоко ценил Руссо. В 1901 году, под конец жизни, Толстой вспоминал: «Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая словарь музыки. Я более чем восхищался им, — я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо натального креста. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я их написал сам»¹¹. «Исповедь» Толстой прочел впервые в 1852 году. 24 июня 1852 года он записывает в дневнике: «Начал читать *Confessions*, которую не могу не критиковать» (46, 126). Однако по мере продолжения чтения оценка «Исповеди» меняется. 8 июля 1852 года Толстой отмечает в дневнике: «Читал с большим удовольствием *Confessions* (46, 132).

Ранний Толстой, протестуя против лжи современного общества, как и герои Достоевского, ради искренности и правды пытается даже отбросить понятия «дурного» и «хорошего», которые кажутся ему лицемерными. «Никогда не забуду сильного и радостного впечатления и того презрения к людской лжи и любви к правде, которые произвели на меня признания Руссо. “Так как все люди такие же, как я, думал я с наслаждением: не я один такой урод, с бездной гадких качеств родился на свете. Зачем же они все лгут и притворяются, когда уже все обличены этой книгой?” — спрашивал я себя. И так сильно было

в то время мое стремление к знанию, что я уже не признавал ни дурного, ни хорошего. Одно возможное добро мне казалось искренность как в дурном, так и в хорошем. Рассуждение Руссо о нравственных преимуществах дикого состояния над цивилизованным тоже пришлось мне чрезвычайно по сердцу» (2, 345). Однако это не искренность «сладострастника». У Толстого с самого начала эта искренность связана с моральным усилием, в сущности с преодолением дурного в себе, с исканием правды и Бога. В одном из черновиков «Войны и мира» Пьер Безухов называет «Исповедь» не книгой, а поступком, а лицемерная и фальшивая А. П. Шерер, возражает ему, говоря что у Руссо были «слишком гадкие грехи» (9, 366). Если Достоевский противопоставляет религию Христа и религиозные воззрения Руссо, то Толстой интерпретирует религию Евангелия, христианство как руссоистскую религию сердца. «Руссо был моим учителем с 15-летнего возраста. Руссо и Евангелие — два самых сильных и благотворных влияния на мою жизнь. Руссо не стареет» (75, 234). В третьей редакции «Воскресения» Толстой пишет о Нехлюдове: «Он прочел тогда в первый раз Confessions Руссо, знаменитую первую его речь, Эмиля и Profession de foi d'un vicaire savoyard. И в первый раз он понял христианство и решил, что будет жить так, как проповедовал Pierre и как говорит ему его сердце. Он тогда составил себе правила жизни, которые должны были совершенствовать его тело и душу, и стремился следовать им» (33, 136).

Однако Толстой — хотя он и верит, в отличие от Достоевского, в добрую природу человека, а отсюда следует, что он принимает интуитивную доброту и разум человека из народа, — как и Достоевский подчеркивает, в отличие от Руссо, свою греховность. Достаточно отметить интонацию Руссо в первых строках его вступления к «Исповеди», где он отмечает, что он является лучшим из людей, и интонацию «Исповеди» Толстого, где он говорит, что он является худшим из людей, что он греховен. Да и само название этого произведения Толстого «Исповедь» несет в себе скрытую полемику с книгой «женевского гражданина», несмотря на пиетет Толстого по отношению к Руссо. Признание Толстым (и здесь явная переключка с Достоевским) греховности человека ставит под вопрос его представление, восходящее к Руссо, о доброй человеческой природе. Его слова, что исповедоваться — это «выворачивать всю грязь своей души» (23, 51), напоминают похожие высказывания Достоевского. Руссо в нравственном смысле

статичен, он любит добродетель и осуждает себя за отступления от нее, добродетель у Руссо неразрывно связана с совестью, которая является голосом Бога, однако Бог, как и добродетель, дан, его не нужно искать. Толстой же ищет смысл жизни, который нельзя постичь разумом, а следовательно, ищет Бога. Для Руссо добродетель тесно связана со страстями, для Толстого необходимо подавление страстей. Для Достоевского также страсти являются иррациональным, демоническим началом в человеке. И здесь и Достоевский, и Толстой восходят к Августину.

Позиции Толстого и Достоевского противоположны. Но и диаметрально противоположное отношение к «Исповеди» Руссо и в то же время парадоксально сходные моменты в оценке этого произведения столь различными мыслителями коренятся в противоречивости оценки самим Руссо природы человека, а также в традиции восприятия образа «женевского гражданина», заложенной еще в XVIII — начале XIX века.

Особенности изображения человека в «Исповеди» тесно связаны с философско-антропологическими, этическими и религиозными воззрениями «женевского гражданина». Эти воззрения противоречивы. Добрая природа человека, как и его свобода, является не налично существующей, а своего рода идеальной конструкцией, точкой отсчета, необходимой для объяснения и обличения эмпирической истории. Склонность человека к «развращению», его наличное и на протяжении веков исторически несвободное состояние ставит под вопрос его врожденную доброту и свободу. Очень хорошо это противоречие Руссо выразил Герцен: «...что сказали бы вы человеку, который, грустно качая головой, заметил бы вам, что “рыбы рождаются для того, чтобы летать, — и вечно плавают”. <...> Давши вам такой ответ, он будет вправе вас спросить, отчего вы у Руссо не требуете отчета, почему он говорит, что человек должен быть свободен, опираясь на то, что он постоянно в цепях? Отчего все существующее только и существует так, как оно должно существовать, а человек напротив?»¹²

В «Исповеди» декларации об изначально доброй природе человека противостоит фактическое признание сложности, иррациональности человеческой природы, присутствия в ней злого, порочного начала, и не всегда это зло можно свести к пагубному воздействию социальных отношений. Противоречивость понимания Руссо природы человека отмечалась мыслителями еще в начале XIX века. Так, в статье

«Некоторые мнения о Вольтере, Руссо и литературе семнадцатого века» в переводе М. Невзорова отмечается: «Руссо родился с великим огнем в уме и в сердце. <...> Доказательством сему служит то, что он имел вкус к добру, <...> он любил человека, и особливо чрез долгое время думал, что люди все совершенны и все превосходны. Когда напоследок лета и опыт заставили его мысли свои о чelовсках сличить с их действиями, то он, нашедши противное своему мнению, столько возмутился, видя их далекими от совершенства, столько тронулся, видя себя наконец обманутым, столько рассердился, что это произвело в нем потрясение, повергнувшее его в крайнюю противоположность тому мнению, которого он держался большую часть жизни; таким образом, он, начавши думать, что все человеки превосходны, кончил мысли свои тем, что все человеки чудовища: сие довело его до безумия; ибо весьма вероятно, что он умер сумасшедшим»¹³. Под влиянием христианства Руссо во многих случаях резко разграничивает добродетель и порок, к этому разграничению его побуждает и влияние рационалистической философии. Порок — следствие незнания, отсутствия просвещения. В то же время под влиянием сенсуалистической философии у Руссо имеется тенденция и пороки человека считать естественными, природными, в конечном счете оправданными изначально доброй его природой, либо вызванными общественными установлениями. Поэтому для Руссо важен принцип искренности, искренности не только в отношении себя, но и в отношении других. В отличие от христианских авторов, в частности от блаженного Августина, у Руссо практически отсутствует понятие греха и церковного покаяния. В то же время — и здесь Руссо отстывает от сенсуализма — в его философско-антропологических и философско-этических взглядах огромную роль играет совесть, божественный инстинкт, который связывает человека с Богом, является воплощением его доброй природы. Роль совести, сердца в философско-антропологической системе Руссо связывает его с христианством. Раскаяние Руссо — это раскаяние перед своей совестью, а не покаяние непосредственно перед Богом; отвергает Руссо и церковь как посредника между Богом и людьми в вопросах совести.

«Исповедь» в России узнали позже других наиболее важных произведений Руссо. В частности, в некрологе, посвященном Руссо, напечатанном в «Санкт-Петербургских ведомостях» 7 августа 1778 года, в перечне важнейших произведений Руссо нет «Исповеди», автор с ней незнаком, но отмечается, что «найлены в бумагах его <...>

записки о его жизни»¹⁴. Перевод знаменитого начала «Исповеди» появился в приложении к книге Лебег де Преля в 1781 году¹⁵, а перевод первых шести книг «Исповеди» — только в 1797 году¹⁶, хотя, безусловно, «Исповедь» читали в основном на французском — языке тогдашнего образованного общества. До знакомства с «Исповедью» образ Руссо для мыслителей России формировался под воздействием других его произведений, а также свидетельств о его жизни. Еще до знакомства с автобиографией «женевского гражданина» формируются два образа Руссо, различных, однако пересекающихся друг с другом. Это образ нелюдима, Диогена, удивляющего и шокирующего людей своим поведением, мастера софизмов и парадоксов (одним из источников такого образа явились первые трактаты Руссо, критика им наук и искусств, которая, как правило, вызывала в России неприятие), и образ гонимого праведника, основанный на фактах его биографии. Образ парадоксалиста и софиста мы видим в произведениях Сумарокова, раннего Фонвизина («Послание к Ямщику»). До знакомства с «Исповедью» Фонвизин характеризует Руссо как мизантропа. «Руссо твой живет в Париже, как медведь в берлоге. Ласкаюсь, однако, его увидеть. Мне обещались показать этого урода»¹⁷. Зачастую, рассматривая Руссо как мастера парадоксов, русские мыслители не видели существенной разницы между Руссо и другими французскими просветителями, все они казались разрушителями устоев. Другую оценку мы видим в некрологе Ж.-Ж. Руссо, напечатанном в «Санкт-Петербургских ведомостях». Для автора некролога Руссо — гонимый мудрец и праведник. Автор подчеркивает единство философско-этических воззрений Руссо и его жизни. В духе православной христианской традиции он отмечает смирение «женевского гражданина». «Но все сие не может стать в сравнение с добродетельною жизнью сего философа. Гонимый, скитающийся, кроющийся, терпящий все нужды, все недостатки, все обиды, кои невинны человек терпеть может, то есть клевету и зависть, не токмо не мстил, но ниже ни на кого не жаловался. <...> Никто не мог склонить его ни в какой нужде принять какое-нибудь вспоможение»¹⁸.

После знакомства с «Исповедью» образ «женевского гражданина», «человека природы и истины» в целом не претерпел коренных изменений, однако в этом образе появились многие ранее не существовавшие оттенки. Отныне откровенная автобиография Руссо, его признания становятся фактом его биографии, чертой его облика. Уже нельзя говорить о смирении Руссо.

Так, суждения об «Исповеди» Руссо мы находим в письмах Фонвизина и в его «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях». Для Д. И. Фонвизина именно «Исповедь» Руссо явилась поворотным пунктом в изменении отношения к женевскому мыслителю, выделении Руссо из круга энциклопедистов, наделение его чертами мудреца и праведника. В письме к П. И. Панину он высоко оценивает искренность Руссо в его «Исповеди», рассматривая искренность как одну из важнейших христианских добродетелей. В то же время он подчеркивает светские, гуманистические черты «Исповеди», в это время «Исповедь» для него не только и не столько исповедание женевским мыслителем своих грехов перед Богом, сколько «услуга человечеству». «Книга, которую он сочинил, есть не что иное, как исповедь всех его дел и помышлений. Считая, что прежде смерти его никто читать не будет, изобразил он без малейшего притворства всю свою душу, как мерзка она ни была в некоторые моменты, как сии моменты завлекали его в сильнейшие злодеяния, как возвращался он к добродетели, словом, обнаружил он сердце свое и тем хотел сделать услугу человечеству, показав ему в самой слабости, каково суть человеческое сердце»¹⁹. Характерно, что в это время он сочувственно воспринимает руссоистское понимание божества. Говоря о природе как о воплощении величия Творца, он ссылается на Руссо²⁰.

Несколько по-другому оценивается «Исповедь» в «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях», которое было написано Фонвизиним в конце жизни и осталось неоконченным. Под влиянием болезни в творчестве Фонвизина усиливаются православные, христианские черты. Фонвизин по-прежнему высоко оценивает «Исповедь» Руссо, называя ее подвигом. Однако «Чистосердечное признание» близко не столько к «Исповеди» Руссо, сколько к «Исповеди» Августина с его признанием изначальной испорченности и греховности человеческой природы, характерным для традиционной христианской, в том числе православной, точки зрения. Для Фонвизина и в этом его отличие от деклараций Руссо) человеческая природа греховна и иррациональна. И в то же время (здесь сказывается влияние Руссо) Фонвизин признает доброту и неиспорченность своего сердца, в его религиозных воззрениях видно влияние «религии сердца» Руссо, однако Фонвизин воспринимает те аспекты «религии сердца», которые близки к традиционной христианской точке зрения. Ю. М. Лотман отмечал, что в отличие от Руссо Фонвизин стремится не рас-

сказать все о самом себе, а рассказать все о своих грехах, осуждает Руссо за рассказы о чужих поступках²¹. Однако необходимо отметить, что, видя отличие своих признаний от «Исповеди» Руссо, он не противопоставляет свою позицию позиции «жениевского гражданина», по-прежнему высоко оценивает искренность Руссо, считая, что открытие своего сердца перед людьми является шагом к раскрытию своего сердца перед Богом.

Другим фактором, способствовавшим уточнению и в некоторых случаях изменению восприятия образа Руссо, явилась Великая французская революция, на практике пытавшаяся воплотить руссоистские идеи о доброй человеческой природе и о разрушении общественных установлений, которые эту добрую природу портят.

Наиболее резко отрицают представления о доброй, рациональной в своей основе человеческой природе те мыслители, которые и ранее не усваивали эти представления глубоко. Так, П. С. Потемкин пишет в письме к Шувалову, размышляя о последствиях французского Просвещения, в том числе и учения Руссо: «Как могли они не предузнать, что человек может быть премудр, но человеки буйны суть?»²²

Высоко оценивая личность Руссо, Н. М. Карамзин в повести, полемически по отношению к Руссо названной «Моя исповедь», выявляет разрушительные тенденции знаменитого произведения Руссо. Не случайно в первых строках повести Карамзина герой, для которого сняты моральные барьеры, в отличие от Руссо категорически отрицает нравственную цель своей исповеди: «...в противность всем исповедникам, наперед сказываю, что признания мои не имеют никакой нравственной цели. Пишу — так!»²³ В «Моей исповеди» Карамзин сближает руссоистские идеи о человеческой природе, о воспитании человека с вольтерьянством и французским материализмом, показывает их отрицательную, нигилистическую сторону, показывает разрушительную силу человеческих страстей, столь высоко ценимых Руссо. Для Карамзина человеческая природа иррациональна и зла, следовательно, исповедь отнюдь не естественна, она превращается в столь осуждаемое Руссо театральное представление. Сама жизнь есть театр, бессмысленная, жестокая комедия, она представляется игрой китайских теней. Человек эгоистичен по своей природе, страсти человека являются результатом его эгоизма, не ограниченные с одной стороны разумом, а с другой стороны традициями, они ведут к войне всех против всех, к хаосу, к потере смысла индивидуального существования.

Для Карамзина полное подчинение страстям исключает совесть в человеке. Совесть же, по Карамзину (как и по Руссо), является внутренним голосом, но (в отличие от точки зрения Руссо) совесть и добродетель не связаны со страстями. Совесть и стыд неразрывны с традициями, с опытом поколений. Полная искренность может быть не моральным подвигом и покаянием в своих пороках и грехах, а наоборот, результатом полного снятия нравственных запретов, потери веры в Бога. «Как скоро нет в человеке старомодного варварского стыда, то всего легче быть автором исповеди. Тут не надобно ломать головы; надобно только вспомнить проказы свои, и книга готова»²⁴, — пишет Карамзин. Карамзин показывает только определенную тенденцию, которую он видит в свете существующей моральной практики в «Исповеди» Руссо, тенденцию, которая наряду с вольтерьянством и французским материализмом вела к снятию моральных запретов, к войне всех против всех. Однако отношение к самой личности Руссо неизменно положительное. В целом это положительное отношение к личности Руссо как писателю и мыслителю гуманному, религиозному и чувствительному господствовало в русской мысли и после французской революции. Часто религиозный Руссо противопоставлялся Вольтеру как ниспровергателю морали и религии.

Однако имелись мыслители, сближавшие моральные и религиозные принципы Вольтера, Руссо и французских материалистов. Причем негативное отношение к «Исповеди» переносилось и на личность Руссо. Часто они были в целом враждебны французскому Просвещению. Так, А. П. Голицын в предисловии к переведенному им «Собранию отрывков, взятых из нравственных и политических писателей» отмечал: «Писатели представляют бедствия, причиненные софизмами Жан-Жака Руссо, беззаконием Вольтера и мнимыми философскими сочинениями XVIII века»²⁵. Отношение к «Исповеди», так же как и к другим романам Руссо, у Голицына отрицательное. «Занимаясь книгою под названием роман, думают только забавляться им, и забавляясь — опасные правила, находящиеся в романах, развращают сердце и научают некоторый класс людей тому, что знать для их счастья чрезвычайно вредно. <...> Во многих передних знатных господ, по милости дурных романов, всякой день переводимых, слуги знают, что философ и славной человек воровал и был лакеем»²⁶. Слова «философ и славной человек воровал и был лакеем» явно отсылают нас к первой части «Исповеди» Руссо, где «женевский гражданин» рассказывает об этих поступках.

Негативно относится и к личности Руссо, и к его «Исповеди» К. Н. Батюшков. В статье «Нечто о морали, основанной на философии и религии» он говорит об «Исповеди» Руссо как исповеди не перед Богом, а перед людьми. Однако, в отличие от Фонвизина, он резко порицает такую исповедь, называя ее «ужасною книгою», негативно оценивает и личность Руссо. Причина моральной испорченности Руссо, по Батюшкову, то, что его религиозные воззрения — это не воззрения религии откровения, а следовательно, это воззрения нехристианские, ибо христианину свойственно смирение и исповедание грехов только перед Богом. Как и Фонвизин, Батюшков осуждает Руссо за нелюбезную оценку им других людей. «Поклоняться добродетели и изменять ей, быть почитателем истины и не обретать ее — вот плачевный удел нравственности, которая не опирается на якорь веры. Одно заблуждение рождает другое. Руссо начал софизмами, кончил ужасною книгою. Он пожелал оправдаться перед людьми, как перед Богом, со всей искренностью человека глубоко растроганного, но гордого в самом унижении, тогда как надлежало исповедовать тайны единому Верховному Существо, не с гордостью мудреца, который укоряет природу в своих слабостях, но со смирением христианина. Один Бог может требовать от нас подобной исповеди, люди не достойны оной. И что же? Оправдывая себя, он оскорбил и дружество, и любовь, и родство, и все, что человечество имеет священного, заветного для души благородной; он оскорбил тени своих друзей, давно забытых согражданами, оскорбил их самым несправедливым приговором по неведению, ибо истина на земле одному Богу известна»²⁷. Можно отметить, что Батюшков высказывает мысли об учении Руссо как о «добродетели без Христа», которые разовьет далее Достоевский. Как и Карамзин, Батюшков сближает этику Руссо с вольтерьянством и французским материализмом. И здесь мы видим мотив, который имеет место у Голицына. Для Батюшкова, в противовес господствующему мнению, Руссо больше сделал для подрыва традиционных ценностей, чем Вольтер, так как он своей чувствительностью, возбуждением страстей, «религией сердца» влияет не на ум, а на душу человека. «Вот почему чтение Вольтера менее развратило умов, нежели пламенные мечтания и блестящие софизмы Руссо: один говорит беспрестанно уму, другой сердцу»²⁸.

Таким образом, восприятие «Исповеди» и личности «жениевского гражданина» как Толстым, так и Достоевским основывалось на традиции, сформированной уже в XVIII — начале XIX века. Русские

мыслители этого периода воспринимают личность Руссо в тесной связи с его «Исповедью». Феномен исповеди зачастую рассматривается разными авторами прямо противоположным образом — либо как моральный подвиг, либо как симптом морального падения. Но несмотря на различия взглядов, в отличие от Руссо, русские мыслители говорят об исповеди в тесной связи с понятиями греха и покаяния, подчеркивая греховную, неоднозначную, иррациональную природу человека. Исповедь должна быть исповедью не перед людьми, а перед Богом.

¹ Из письма Белинского к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. (Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1956. Т. 12. С. 467).

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990. Т. 10. С. 311.

³ Там же. Т. 13. С. 173.

⁴ Там же. Т. 20. С. 203.

⁵ Rousseau J. J. Œuvres complètes. Paris, 1959. Т. 1. P. 5.

⁶ Руссо Ж. - Ж. Избранное. М., 1996. С. 7.

⁷ Ф. М. Достоевский в работе над романом «Подросток»: Творческие рукописи // Литературное наследство. М., 1965. Т. 77. С. 90.

⁸ Достоевский Ф. М. Полное собр. соч.: В 30 т. Т. 8. С. 120

⁹ Там же. Т. 11. С. 27.

¹⁰ Руссо Ж. - Ж. Избранное. С. 17.

¹¹ Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 4 т. М.; Пг., 1923. Т. 1. С. 124.

¹² Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 6. С. 94–95.

¹³ Некоторые мнения о Вольтере, Руссо и литературе семнадцатого века / Пер. М. Невзорова // Друг юности. 1811. Декабрь. С. 50–51.

¹⁴ Санкт-Петербургские ведомости. 1778. 7 авг. С. 249.

¹⁵ См.: Вступление или предисловие, определенное к запискам Ж.-Ж. Руссо, писанное им самим и скоро после его смерти обнародованное. In: Лебег де Прель А. Г. Выписка из уведомления о последнем времени жизни Жан-Жака Руссо, о приключении его смерти и какие по нем остались сочинения, писанного на французском языке г. Лебег де Прелем, доктором в Париже и цензором королевским в 1778 году. СПб., 1781. С. 43–46.

¹⁶ См.: Исповедание Жан-Жака Руссо, уроженца и гражданина женеvского / Перевел с французского языка Дмитрий Болтин. М., 1797.

¹⁷ Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 438.

¹⁸ Санкт-Петербургские ведомости. 1778. 7 авг. С. 551.

¹⁹ Ф о н в и з и н Д. И. Собр. соч. Т. 2. С. 479.

²⁰ Там же.

²¹ Л о т м а н Ю. М. Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века // Л о т м а н Ю. М. Русская литература и культура Просвещения. М., 2000. С. 184.

²² Московский вестник. 1809. Ч. 1. С. 89.

²³ К а р а м з и н П. М. Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 730.

²⁴ Там же. С. 729.

²⁵ Г о л и ц ы н А. П. Предисловие переводчика // Собрание отрывков, взятых из нравственных и политических писателей / [Сост. и] пер. с фр. Г. [А. П. Голицын]. М., 1811. С. 4.

²⁶ Там же. С. 8, 45.

²⁷ Б а т ю ш к о в К. Н. Нечто о морали, основанной на философии и религии // Российский музеум. 1815. Ч. 4, декабрь. С. 250.

²⁸ Там же. С. 238 (примечание).

Л. А. Сапченко

«...БОЛЬШЕ ВСЕГО СБЛИЖАЕТСЯ С КАРАМЗИНЫМ»*

В своей работе «Молодой Толстой» Б. М. Эйхенбаум писал: «Как ни кажется это парадоксальным, но в историко-литературном смысле Толстой больше всего сближается с Карамзиным <...> “Письма русского путешественника” соответствуют описательным очеркам Толстого, “Детство” находит себе прообраз в “Рыцаре нашего времени”, написанном тоже под влиянием Стерна (“Тристрам Шенди”); прибавим сюда интерес Карамзина к нравственной философии и истории, своего рода “кризис” художественного творчества (как бы ни были различны психологические основания) — и сопоставление это перестает быть столь неожиданным»¹. Б. М. Эйхенбаум полагал, что истоки творчества Толстого следует искать не в творчестве его ближайших предшественников — в том числе Пушкина и Гоголя, — а в творчестве Карамзина, Стерна, Руссо и других писателей XVIII века².

Карамзин и «Декабристы». Готовя материалы к роману «Декабристы», Толстой последовательно включает в строящуюся картину мира образ Карамзина, отбирает сведения о нем из книги М. П. Погодина «Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников» (М., 1866). Романист отмечает, что в Петербурге Карамзин жил в доме Екатерины Федоровны Муравьевой, матери будущего декабриста Никиты Муравьева, а под рубрикой «1816» — это год, когда Карамзин закончил и подготовил к публикации 8 томов «Истории», — среди других записей есть следующая: «Карамзину милости и историограф». Действительно, 18 марта 1816 года историографу были пожалованы чин статского советника и орден Св. Анны 1-й степени. Но перед этим, приехав в Петербург 2 февраля,

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), № проекта 08-04-21401 а/В.

Карамзин полтора месяца томился в ожидании царской аудиенции, которая последовала только после его вынужденного визита к Аракчееву.

В книге Погодина Толстой мог прочитать о том, что в 1816 году в условиях высочайшей цензуры Карамзин как историограф продолжал отстаивать необходимость полной правды: «Академики и профессеры не отдают своих сочинений в публичную цензуру. Государственный историограф имеет, кажется, право на такое же милостивое отличие. Он должен разуместь, что и как писать; собственная его ответственность не уступает цензорской. Надеюсь, что в моей книге нет ничего против веры, государя и нравственности, но, быть может, что цензоры не позволят мне, например, говорить о жестокости царя Ивана Васильевича. В таком случае что будет история?»³ Ср. толстовское: «Эпиграф к истории я бы написал: “Ничего не утаю”. Мало то, чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно — умалчивая» (46, 212).

Под 1816 годом Толстой намеревается, кроме того, «узнать Карамзина отъявленных врагов» (17, 458). Толстой помещает также перечень «знаменитых живых писателей» того времени: «Карамзин, Державин, Дмитриев, Батюшков, В. Пушкин, Хвостов, Шишков, Нелединский, Кутузов, Дашков» (17, 459). В подготовительных материалах Толстого читаем также: «Карамзин знает Пушкина и принимает в нем участие» (17, 458). Под 1824 годом Толстой отмечает следующее: «Карамзин жил на Маховой (sic!) в доме Мижуева». Затем: «Карамзинский выходил 10 и 11 том о Феодоре Иоанновиче» (17, 460). О Карамзине в 1824 году, как указывают комментаторы, Толстой почерпнул сведения из воспоминаний К. С. Сербиновича, опубликованных в «Русской старине» (1874. № 9).

Наиболее трудным для осмысления является фрагмент из письма к В. В. Стасову, где Толстой сообщает о сведениях, представленных декабристом Свистуновым и касающихся настоятельного требования Карамзиным казни декабристов (62, 430). Толстой просил об этом дополнительных сведений у Стасова, но, видимо, не получил, так как Карамзин не мог настаивать на жестоких мерах и требовать казни.

Хорошо известно, что отношение историографа к самому факту выступления 14 декабря было резко негативным. Восставшие были для него несомненными преступниками, и не только перед Богом и государем, но и перед своими родными и близкими.

В «Воспоминаниях прошедшего», написанных слугой Карамзина Владимиром Лотиным и не введенных еще в научный оборот, запечатлены некоторые эпизоды и детали, характеризующие Карамзина в дни декабрьских событий: «В страшный и незабываемый день в нашей северной столице, в день восшествия на престол всероссийский государя императора Николая Павловича, приезжает около 9 часов утра граф Румянцев да и говорит: “Николай Михайлович, я ехал к вам, а по Гороховой бегут москвичи в беспорядке, и ружья наружу, сохрани боже, чтобы не было худого, бегут на площадь”. А Карамзин, одеваясь, и говорит: “А что даст бог, то и будет”. В этот момент входит Сперанский, одетый уже в форму. Карамзин поспешил одеться, и отправились вместе во Дворец, куда и меня взяли, с Миллионной на половину Марии Федоровны, они <нрзб.> и лакеев велели отпустить домой, а мне остаться, взойдя на лестницу, я снял шубу с Николая Михайловича, и был в дежурной камер <?> фурьерской; часто выходил с придворными на подъезде, смотрел на приходящие войска и скопляющийся народ, по приезде митрополита Карамзин не велел мне отлучаться дальше коридора. В скорости все пошли на площадь, куда было увлекся и я, но Карамзин воротил меня, и забыл ему подать калоши, он отправился просто в башмаках, я в коридоре поджидал его, пока воротился. <...> Озябли ноги, зачем я не дал калош, через полчаса отправился на площадь, надев шубу и калоши. Более как через час возвратился, да и говорит: “Худо, Владимир, какой-то негодяй Милорадовича ранил”. Все засуетилось, все забегало, все сделалось в каком-то оцепенении, <...> уже стало смеркаться, слышались выстрелы на площади, еще часа через полтора выходит Карамзин ко мне в коридор да и говорит: “Слава богу, Владимир, перекрестись, да и ступай-ка домой с богом, скажи Катерине Андреевне, что государь жив и здоров, и я тоже. Да постой, я тебя велю проводить козаку, да скажи, чтобы дети молились богу да ложились спать, а меня чтобы не ждали, я, может, здесь и ночую”. Козак меня проводил до Фонтанки, где я через лед и пришел благополучно безо всяких приключений. Рассказав Карамзиной, что видел и слышал в этот день, Карамзин же возвратился в придворной карете часов в 10-ть, усталый, но менее расстроенный...»⁴

Приведенные воспоминания подтверждают консерватизм и монархизм Карамзина, но в то же время рисуют живой облик человека, удрученного трагическими событиями, думающего о судьбе близких,

облик, не совпадающий с тем, каким он предстает в восприятии П. Н. Свистунова.

В жизнеописаниях Карамзина нередко приводятся воспоминания декабриста А. Е. Розена о поведении историографа после 14 декабря: «Журналы и газеты русские твердили о бесчеловечных умыслах, о безнравственной цели тайных обществ, о жестокосердии членов этих обществ, о зверской их наружности. Но тогда журналы и газеты выражали только мнение и волю правительства; издатели не смели иметь своего мнения, а мнения общественного не было никакого. Из русских один только Н. М. Карамзин, имевший доступ к государю, дерзнул замолвить слово, сказав: “Ваше величество! Заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века”»⁵. Этот известный эпизод трактуется как свидетельство высокого личного достоинства Карамзина, при том что он декабризма решительно не принимал, но как историк видел «широкие причины, глубокие основы»⁶.

Воспоминания В. Лотина были адресованы барону М. А. Корфу, автору известной Л. Н. Толстому книги «Восшествие на престол императора Николая I» (СПб., 1857), построенной, как сказано в предисловии, на свидетельствах «достоверных очевидцев» и «деятелей 14 декабря».

Толстой не мог вполне разделить и резко отрицательных отзывов будущих декабристов об «Истории государства Российского», последовавших после того, как начали выходить ее тома. Толстовское отношение к «Истории...» было более сложным, имели место и притяжение, и отталкивание.

Главное же, что в эволюции замысла романа зримо реализовалось карамзинское представление о настоящем как следствии прошедшего: от своей современности и замысла «Декабристов» (1856) Толстой перешел к 1825 году, эпохе «заблуждений и несчастий» своего героя, потом обратился к молодости декабриста, совпавшей с Отечественной войной 1812 года, а затем к 1805–1807 годам — началу событий.

«Жизнь есть сон». Сведения о жизни Карамзина, материалы его журналов, его письма к Дмитриеву и др. Толстой использовал для создания портрета героя времени.

Так, Ю. М. Лотман указывает на принципиальное значение статей карамзинского «Вестника Европы» для отражения в романе Толстого бонапартистских настроений начала XIX века. Именно

в журнале Карамзина Толстой уловил «оттенки духа времени, порой ускользающие от внимания историков», и «не случайно сделал в первых главах “Войны и мира” и князя Андрея Болконского, и Пьера Безухова бонапартистами»⁷. Критическое изображение Толстым деятельности Александра I и Сперанского порой обнаруживает точки соприкосновения с карамзинской запиской “О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях”»⁸.

Среди этих многочисленных параллелей есть еще одна, не отмеченная, как кажется, исследователями. Речь идет о поразительном сходстве умонастроений Карамзина в последние годы его жизни и последними днями жизни толстовского героя — Андрея Болконского. Эта общая черта находит выражение в повторяющемся мотиве «жизнь есть сон».

Среди записок Карамзина Б. М. Эйхенбаум отмечает записанный по-французски афоризм: «Да, жизнь есть только сон; но сам тот, кто видит сон, *существует*»⁹.

Oui, la vie n'est qu'un *rêve*; mais celui qui *rêve*, *existe*.

(Не сон ли жизнь и здешний свет?)

Но тот, кто видит сон, живет)¹⁰.

В письме к Дмитриеву от 30 сентября 1821 г. Карамзин помещает стихи, адресованные императрице Елизавете Алексеевне:

«Здесь все мечта и сон; но будет пробужденье!

Тебя узнал я здесь в прелестном сновиденье:

Узнаю наяву!

В самом деле, чем больше приближаюсь я к концу жизни, тем более она кажется мне сновидением. Я готов проснуться, когда угодно Богу: желаю только уже не иметь мучительных снов до гроба; а мысль о смерти, кажется, не пугает меня»¹¹.

Тема «жизнь есть сон» продолжает звучать в письмах Карамзина. 21 января 1824 г. он пишет Дмитриеву — «в надежде читать твои Записки, от Альфы до Омеги, еще смотря на Автора в твоём или в моём кабинете, в Петербурге или в Москве, если сновидение моей жизни продлится той минуты, как ты поставишь пункт для настоящего и будущего»¹².

Он уже смотрит «на здешний свет как на гостиницу» (в письме к брату Василию Михайловичу 29 декабря 1824 года)¹³.

В письме к А. И. Тургеневу в Германию от 6 сентября 1825 г. он напоминает ему о долге служения Отечеству, но предвидит для самого себя уже иное: «...я не переменял понятий в ваше отсутствие; с ними, вероятно, и закрою глаза, для здешнего света, *roug voir plus clair*» (чтобы видеть более отчетливо)¹⁴.

Мысли о земном сне и пробуждении от него, для того чтобы вполне предаться привязанностям сердца, звучат также в письме к графу Каподистрия (1825): «Соединение душ не прекращается с жизнью материальною: переживший сохраняет воспоминание, отшедший, быть может, более выигрывает, нежели теряет. Земные путешественники слишком рассеяны: им нет досуга заботиться о дружбе; не прежде как бросив свой посох, мы можем предаться вполне привязанностям своего сердца: тогда растерянное во времени будет отыскано в вечности». И далее: «Не слишком боясь смерти, иногда смотрю на нее с каким-то радушием и любя повторять с Ж.-Ж. Руссо, что засыпающий на руках отца беззаботен о своем пробуждении, я допиваю по каплям сладкое бытие земное; я радуюсь им по-своему, неприметно для зависти»¹⁵.

После ранения в сражении при Бородине начинается «освобождение» толстовского героя от земной жизни. «Характерно предсмертное размышление князя о любви и смерти, — пишет современный исследователь. — Смерть для князя Андрея — это последнее испытание, последнее дело, которое приводит его к просветлению и “пробуждению”. Здесь Толстой повторяет известную еще с древнейших времен идею, что земная жизнь — это смерть души, а тело — ее могила. Тогда смерть — это освобождение и воскресение души к новой жизни, истинной и вечной, в которой и торжествует подлинная Божественная любовь»¹⁶.

Князю Андрею снится сон, что он умер. «Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся. «Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение!» — вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его. <...> С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна — пробуждение

от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения. Ничего не было страшного и резкого в этом относительно медленном пробуждении» (7, 70—71).

Была сделана попытка истолковать этот эпизод в категориях философии экзистенциализма (учения К. Ясперса). Предсмертные думы князя Андрея рассматриваются как его восхождение «по срезам сознаний человеческого бытия с первого уровня — бытия человека как эмпирического индивида — к философской Вере в ходе чтения шифров трансценденции, когда человек апеллирует к аксиологическому Абсолюту — Богу как символу экзистенции. При этом шифры не имеют общезначимости — их надо пережить в горизонте собственной творческой активности». «...Экзистенция — обнаружение князем Андреем своей свободы — невыводима из субстрата его социальной жизни, она связана с трансцендентным, которое отнюдь не означает нечто сверхъестественное, как в мировых религиях»¹⁷.

Однако наблюдения над подготовительными материалами к «Декабристам», а затем к «Воине и миру» показывают, что в центре внимания Толстого в это время была не формирующаяся философия экзистенциализма, а исторические документы, подлинные свидетельства (письма, воспоминания, журнальная хроника и т. д.) художественно осваиваемой эпохи. Кроме того, здесь нельзя не упомянуть наследие Руссо, тот общий источник, из которого черпали и Карамзин, и Толстой.

«Препятствовать злу есть благотворить». Нравственный идеал Толстого постоянно обнаруживает свое родство с морально-философскими ценностями, созданными сентиментализмом. Наряду со святыми для Толстого семейными узами встают отношения, основанные на дружестве, взаимопонимании и чести. Социальная структура общества заменяется моральной. «Идеей единства рода человеческого пронизано все его творчество. Единства добровольного, — единства в добре и бескорыстной любви»¹⁸. «...Благо людей только в единении их» (37, 211), — утверждал Толстой. В «Воине и мире» эту мысль выражает Пьер Безухов: «Ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое» (7, 307).

Оба писателя, Карамзин и Толстой, видели способ противостояния злу не в противодействии, а в творении добра согласно со своей совестью:

так, 2 сентября 1825 г. Карамзин писал Н. И. Кривцову: «Препятствовать злу есть благотворить; негативное бывает иной раз лучше *позитивного*. Много труда и неприятностей; но сердце вещун: если делаем пользу, то внутренно наслаждаемся»¹⁹.

Предваряя мысли Толстого о том, что хорошим людям нужно объединиться, Карамзин писал в 1803 году: «На свете есть только одна хорошая партия: друзей человечества и добра»²⁰. Как бы подхватывая эти слова, толстовский герой говорит: «... возьметесь рука с рукою те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя — деятельная добродетель» (7, 305).

Пытаясь осмыслить основы мироустройства, оба писателя признают существование надличных законов, воспринимаемое порой как трагедия. Но оба согласны и в том, что приятие их, доверие к ним составляют высшую мудрость человека. «Мы думаем, — говорит Пьер Безухов, — как нас выкинет из привычной дорожки, что все пропало; а тут только начинается новое, хорошее» (7, 235). Карамзин также допускал, что великие неустройства и разрушения предваряют «новое, совершеннейшее бытие», «высочайшую гармонию» (2, 185).

Близки толстовским взглядам и следующие мысли из записной книжки Карамзина: «Не знаю, для чего существую; но знаю, что мне надо делаться добрым, не для награды, а для того, что Бог дал мне любовь к добру и ненависть ко злу. Все остальное предаю в волю Того, Кем существую».

Или: «Мы все как муха на возу: важничаем и в своей невинности считаем себя виновниками великих происшествий! — Поистине велик тот, кто чувствует свое ничтожество — пред Богом!»²¹

«Дорого не написание “Истории государства Российского”, а добро жить». Известно особое отношение Л. Н. Толстого к религиозно-философскому наследию Паскаля. «Паскаль является для Толстого примером в принципе и в идеале необходимого всем людям преобразования и обращения, выстраивания подлинной иерархии, перехода от “второстепенного” к “главному”, от “профессионального” к “человеческому”, от “человеческого” к “божественному”, от “славолюбия” к “Боголюбию»²². Готовя «Круг чтения», Толстой, по-видимому, тщательно перечитывал Паскаля: в качестве заглавий для рубрик этого сборника толстой берет заглавия фрагментов из «Мыслей».

Так же и неизданный рукописный альбом Карамзина²³, подобно «Мыслям» Паскаля, поделен на «главы», названные порой так же,

как и у французского философа: «Евангелие. Иисус Христос», «Бедность человеческая», «Бог» и т. д. Отметки Толстого при чтении Паскаля и выписки, сделанные Карамзиным в альбоме, в значительной степени совпадают. Вместе с Паскалем Карамзин размышляет о соотношении силы и справедливости, о суете и покое, о «бедности» человеческой, о творении добра как высшей форме деятельности, превосходящей литературное творчество.

Размышления Паскаля о бессознательном порыве человека к истине и благу даже и в пору заблуждений, о необходимости мыслить достойно отзываются в горестных раздумьях Карамзина в письме к А. И. Тургеневу, написанном после смерти дочери Натальи в 1815 году: «Жить есть не писать историю, не писать трагедии или комедии; а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику; все другое, любезный мой приятель, есть шелуха, — не исключаю и моих осьми или девяти томов... Делайте что и как можете, только любите добро: а что есть добро, спрашивайте у совести»²⁴.

В мае 1873 года Толстой писал Т. А. Кузминской (после смерти ее дочери Даши): «...уверен по моему духовному родству с тобою, и по тону твоего письма, к[оторое] я понял вполне, что твое горе отозвалось в тебе так же, как и во мне смерть брата (смерть ребенка еще величественнее и таинственнее); и ты, вероятно, перенесешь как должно. Главное, без ропота, а с мыслью, что нам нельзя понять, что мы и зачем, и только смиряться надо» (62, 27).

Строки из письма Карамзина к А. И. Тургеневу Толстой дважды упоминает в письмах к Г. А. Русанову. 12 марта 1889 года: «Карамзин где-то сказал, что дело не в том, чтобы писать “Историю Государства Российского”, а в том, чтобы жить добро». 18 июня 1889 года: «Карамзин сказал лучше всего, что он написал: “Дорого не написание “Истории Государства Российского”, а добро жить”» (64, 235, 267).

Толстой осознавал место Карамзина в общественной жизни изучаемого периода, и осмысление карамзинского наследия (его «Истории...», публицистики, переписки) помогало писателю в процессе проникновения в дух эпохи, в постижении им характера героев своего времени, в воссоздании им картин русской действительности первой четверти XIX столетия.

¹ Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987. С. 54.

² Проблема «Толстой и Карамзин», поставленная Б. М. Эйхенбаумом, получила развитие в работах Ю. М. Лотмана, С. О. Шмидта, Т. С. Карловой, Н. Д. Блудилиной, И. А. Юртаевой и О. Б. Кафановой, Н. Б. Спектор и др. См. также: Сапченко Л. А. «Мысли о супружестве»: Руссо, Карамзин, Толстой // Толстовский сборник: 2003. Л. Н. Толстой и судьбы современной цивилизации: Материалы ХХІХ Международных толстовских чтений, посвященных 175-летию со дня рождения Л. Н. Толстого: В 2 ч. Ч. 1. Литературоведение и лингвистика. Тула, 2003. С. 178–188. Сапченко Л. А. «Маша, или Счастливое раскаяние»: (К литературной генеалогии «Семейного счастья») // Л. Н. Толстой и Ф. И. Тютчев в русском литературном процессе. М., 2004. С. 24–36. Сапченко Л. А. «Сельский житель» и «Русский путешественник» в произведениях Л. Н. Толстого «Утро помещика» и «Люцерн»: (К проблеме «Толстой и Карамзин») // Яснополянский сборник: 2004. Тула, 2004. С. 113–129. Сапченко Л. А. Н. М. Карамзин об искусстве и действительности // Русская словесность в мировом культурном контексте: Материалы Международного конгресса. М., 2004. С. 34–36.

³ Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями М. Погодина. М., 1866. Ч. 1–2. С. 171.

⁴ Воспоминания прошедшего, писанные купцом Владимиром Лотным 1857-го года, ноября 1 дня. РГАЛИ, ф. № 2591, оп. 1, ед. хр. 195, л. 6–7 об.

⁵ Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907. С. 112.

⁶ Эйдельман Н. Я. Последний летописец. М., 1983. С. 140.

⁷ Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 282.

⁸ См.: Лотман Ю. М. «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века // Лотман Ю. М. Карамзин. Сотворение Карамзина: Статьи и исследования, 1957–1990. Заметки и рецензии. СПб., 1997. С. 588–600.

⁹ Эйхенбаум Б. М. Карамзин // Карамзин: Pro et contra. Личность и творчество Н. М. Карамзина в оценке русских писателей, исследователей, критиков: Антология / Сост. Л. А. Сапченко. СПб., 2006. С. 406.

¹⁰ Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. Ч. 1. СПб., 1862. С. 196, 199.

¹¹ Карамзин Н. М. Письма к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 316.

¹² Там же. С. 368.

¹³ Атеней. 1858. № 28. С. 116.

¹⁴ Русская старина. 1899. Апрель. С. 229.

¹⁵ Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями М. Погодина. С. 444.

¹⁶ Телегин С. М. Как умирают герои Льва Толстого // Яснополянский сборник: 2008. Тула, 2008. С. 208.

¹⁷ Голубева Л. Н. Экзистенциалистские истоки философствования Л. Н. Толстого // Толстовский сборник: 2003. Л. Н. Толстой и судьбы современной цивилизации: Материалы XXIX Международных толстовских чтений, посвященных 175-летию со дня рождения Л. Н. Толстого: В 2 ч. Ч. 2. Педагогика. Философия. Краеведение. Тула, 2003. С. 216.

¹⁸ Галаган Г. Я. Л. Н. Толстой: Философско-исторические основы единения людей // Единение людей в творчестве Л. Н. Толстого: Фрагменты рукописей / А. А. Донсков, Г. Я. Галаган, Л. Д. Громова. Ottawa, 2002. С. 88.

¹⁹ Погодин М. П. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. М., 1866. С. 336.

²⁰ Вестник Европы. 1803. Ч. 9. С. 56.

²¹ Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. Ч. 1. С. 196–197.

²² Тарасов Б. Н. «Мыслящий тростник»: Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей. М., 2004. С. 556.

²³ Карамзин Н. М. Альбом с различными выписками: (Стихи, пословицы и др.). ГАРФ, ф. 728, оп. 1, т. 1, индекс 567.

²⁴ Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. Ч. 1. С. 260.

Н. Г. Михновец

УЧЕНИЕ ДАРВИНА И ЕГО КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН В ОСМЫСЛЕНИИ ТОЛСТОГО

24 ноября 1859 г. — дата выхода в свет труда Чарльза Дарвина «О происхождении видов путем естественного подбора и сохранении благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Книга английского естествоиспытателя имела неслыханный успех: уже в 1860—1864 гг. она была переведена на немецкий, французский и русский языки; в Англии, Германии, Франции учение Дарвина активно пропагандировали, его сопровождали разъяснениями, авторизованными изложениями, дополнениями, комментариями. Так, в Лондоне профессор Т. Г. Гексли¹ прочел шесть популярных лекций для рабочих, а вскоре, в 1864 и 1866 г., эти лекции были опубликованы и в Санкт-Петербурге. В России активно печатали работы последователей и пропагандистов учения Дарвина². «Имя Дарвина приобрело такую популярность, какой не доставалось ни одному ученому; вообще его теория произвела б е с п р и м е р н о е * в истории науки впечатление»³, — подытожил в 1890 г. М. Энгельгардт, автор статьи о Дарвине в Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.

Поразительнее всего складывалась культурная история: учение Дарвина стремительно завоевывало не столько научный мир, сколько умы современников, зачастую весьма далеких от дебатов в сфере естествознания. Дарвиновская идея, как полагал естествоиспытатель и социолог Н. Я. Данилевский, оказалась в высшей степени своевременной. Однако был и другой, не менее важный фактор такого невиданного успеха: труд английского естествоиспытателя внес в культуру крупную идею — идею эволюции. Французский ученый, философ и теолог П. Тейяр де Шарден, восторженный почитатель учения Дарвина, спрашивал в 1946 г.: «Что такое эволюция — теория, система,

* Здесь и далее разрядка моя. — Н. М.

гипотеза?» И отвечал: «Нет, нечто гораздо большее, чем все это: она — основное условие, которому должны были отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и истинными. Свет, озаряющий все факты, кривая, в которой должны сомкнуться все линии, — вот что такое эволюция»⁴.

К середине XIX века, как писал академик К. А. Тимирязев, для сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии, географии стало очевидно «с х о д с т в о всех существующих и существовавших организмов»⁵. В науке возникла настоятельная необходимость «допустить е д и н с т в о всего живого в пространстве и во времени»⁶. Этому мешало прежде существовавшее представление о «неподвижности видовых форм», в силу которого «виды не изменяются, не превращаются одни в другие, не дают начала другим видам»⁷. Сложившееся противоречие разрешил Дарвин: его учение опровергло догмат «неподвижности и самостоятельности сотворения (Богом.— Н. М.) видовых форм»⁸. Дарвин полагал, что виды *изменяются и совершенствуются* в процессе развития, а «все явления развития» происходят с ориентацией на такие факторы, как «борьба за существование, изменчивость и наследственность»⁹. Открытие Дарвина без промедления было распространено современниками на человека и его жизнь. Профессор Гексли так и утверждал: «Если воззрения г. Дарвина правильны, в таком случае они одинаково применимы как к низшим млекопитающим, так точно и к человеку»¹⁰.

Современники хорошо понимали важность происходивших в обществе перемен. «Теория Дарвина требует, <...> чтобы множество вопросов, слишком поспешно решенных, было снова подвергнуто серьезному исследованию»¹¹, — решительно заявил в 1862 г. публицист П. А. Бибииков, один из первых российских горячих приверженцев Дарвина. В том же году его оппонент, публицист и философ Н. Н. Страхов, точно и без особого восторга определил статус труда Дарвина: «Нынешние успехи естественных наук необходимо предполагают некоторый в е л и к и й п е р е в о р о т в умственном настроении человечества»¹². В XX веке труд Дарвина также оценивается как значительный для развития человеческой мысли. Так, Тейяр де Шарден утверждал: «Поистине слепы те, кто не хочет видеть размаха движения, которое, выйдя далеко за рамки естествоведения, последовательно захватило химию, физику, социологию и даже математику и историю религий. Одна за другой всколыхнулись все обла-

сти человеческого знания, подхваченные одним и тем же глубоким стремлением к изучению какого-либо вида *развития*»¹³.

Такое единодушное признание и восторженными последователями, и непримиримыми противниками совершенно особой роли дарвиновского учения в науке и в культуре лишний раз подтверждает, что дарвинизм (понимаемый нами в данном случае широко — как сама естественнонаучная теория, как основа, позволяющая по-новому рассмотреть развитие индивида, исторический прогресс, мировое развитие, а также как культурный феномен второй половины XIX—XX веков) — явление *многосоставное и сложное*, до сих пор не допускающее тех или иных однозначных оценок. В предлагаемой статье бóльшее внимание будет уделено одному аспекту: бытованию дарвиновского учения в культуре и широкому диалогу вокруг этого.

Сам Дарвин не ставил под сомнение представление о божественном происхождении мира¹⁴, однако именно его учение самым решительным образом способствовало этому. Теория Дарвина *в корне* — и помимо воли автора «Происхождения видов» — изменяла взгляд современников на происхождение мира и человека, на смысл человеческой жизни. Страхов, обдумывая в связи с учением Дарвина последствия, обусловленные процессом утверждения естественнонаучного типа познания, писал: «Вера в прогресс, в развитие, в усовершенствование заступила место веры в неизменные сущности и вечные истины»¹⁵. По образному выражению критика Н. К. Михайловского, в современном мире дарвинизм «производит» *«ампутацию»*¹⁶ человека от Бога. Показательно, что в Западной Европе и в России труд Дарвина сразу стали сопровождать идеи социал-дарвинизма.

Повестью «Записки из подполья» (1864) Ф. М. Достоевский первым в художественной литературе откликнулся на явление нового учения. При этом в центре его внимания была не сама теория Дарвина, а ее неизбежные *последствия* для культуры. Увлечение современников дарвиновской теорией осмыслялось Достоевским как очень тревожная тенденция настоящего времени. Его повесть «Записки из подполья» стремилась побудить читателей к началу широкого культурного диалога.

Лев Толстой далеко не сразу включился в диалог вокруг Дарвина, это произошло позднее, в 1880—1890-е гг., во время «второй волны» интереса российского общества к труду английского естествоиспытателя.

Экспансии новейшего научного представления о развитии природы во все сферы жизни противостояло религиозное, философское понимание человека. Одним из самых активных и последовательных противников дарвинизма с начала 1860-х гг. был Н. Н. Страхов, в 1880-е гг. он опубликовал в Петербурге несколько трудов¹⁷. В Москве начиная с 1860-х гг. весьма энергично пропагандировал учение Дарвина ученый-естественник К. А. Тимирязев. В 1883 г. вышла его работа «Чарльз Дарвин и его учение», а к 1898 г. она выдержала уже три переиздания¹⁸. В 1887—1889 гг. развернулась острая полемика вокруг дарвинизма, вызванная работой Н. Я. Данилевского «Дарвинизм» (1885). Ее участниками были Н. Н. Страхов, тогда еще профессор К. А. Тимирязев, академик А. С. Фаминцын и др. Подобные дискуссии были, безусловно, полезны для каждой из сторон: в Западной Европе и в России постепенно подготавливалась смена этапа тогдашнего противостояния науки и религии, науки и философии — этапом их конструктивного диалога с выходом к новым идеям, к новым учениям (на рубеже XIX—XX веков и в первой половине XX века возникли, например, учение о биосфере и о ноосфере, теория синтеза космической эволюции и христианского учения).

Толстой следил за публицистическими выступлениями своих современников. В письме от 10 ноября 1887 г. он спрашивал, где будет опубликована статья Страхова «Всегдашняя ошибка дарвинистов (По поводу статьи проф. Тимирязева: “Опровергнут ли дарвинизм?”)» (64; 122)¹⁹. Писатель был в курсе всей истории полемики между Страховым и Тимирязевым. Толстой интересовался работой Страхова над статьей «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского»²⁰ и выражал свое отношение к сделанному: «Заключение спора о Дарвинизме мне понравилось», — сообщал он другу в письме от 18 мая 1890 г. (65, 94). Публичная лекция Тимирязева, имевшая большой успех, называлась «Опровергнут ли дарвинизм?», а одна из ответных его статей Страхову — «Бессильная злоба антидарвиниста»²¹. Полемический задор московского ученого, характер ведения им дискуссии, по всей вероятности, пришлись Толстому по душе — не случайно в одном из писем Страхову он призывал: «И не спорьте, хотя бы я был не прав; а в ответ напишите мне о моих слабостях, те, которые вы видите, а я не вижу, да поядовитей, потимирязевское...» (65, 94).

Сочинения самого Толстого «Так что же нам делать?», «О жизни»²² внесли свой вклад в полемику вокруг теории Дарвина. В работах

1880—1890 гг. Толстой неоднократно отсылал как к самому учению, так и к культурному феномену, связанному с ним.

В трактате «Так что же нам делать?» Толстой определяет учение Дарвина как одно из «праздных играний мысли людей так называемой науки». Он не без иронии передает содержание теории: «...живые существа, т. е. организмы, происходили одни из других,— не только один организм из другого, но один организм из многих, т. е. ...в очень долгий промежуток времени, в миллион лет например, не только от одного предка может произойти рыба и утка, но из роя пчел может сделаться одно животное» (25, 338). Толстому было важно указать на фактическую «сверхзадачу» дарвиновского труда: «По решению вопроса Моисеем (в полемике с которым и состоит все значение этой теории) выходит, что разнообразие видов живых существ произошло по воле Бога и бесконечному могуществу Его; по теории же эволюции выходит, что разнообразие живых существ произошло по случайности и по разнообразным условиям наследственности и среды в бесконечно долгое время. Теория эволюции, говоря простым языком, утверждает только то, что по случайности в бесконечно долгое время из чего хотите может выйти все что хотите» (25, 338—339).

«Опытное» знание, негодует Толстой, решительно сузило сферу представлений о человеке: человека приравнивали к животному. И жизнь человека оказалась подчинена, как и жизнь «кротов и бобров», общему «закону изменения их существования» (26, 350). Современное «ложное» знание сосредоточилось исключительно на внешнем, «видимом» (то есть — по контексту толстовских размышлений — на биологическом, историческом, пространственно-временном) «проявлении существования людей». В итоге это новейшее знание оперирует только понятием «животная личность человека».

По Толстому, предмет истинного знания есть жизнь человека, «известная ему в его сознании» (26, 332). Современное же «ложное» научное знание *подставило* «под понятие в с е й жизни человека <...> в и д и м у ю ч а с т ь е е — животное существование» (там же), в результате одна «часть предмета» была признана «за весь предмет» (26, 333).

По мысли Толстого, ранее представлялось, что «животная личность» человека (как одна из неизменных составляющих частей личности человека) должна быть подчинена «разуму для достижения блага истинной жизни» (26, 349). Однако предметом знания — после

предпринятого современной наукой замещения целого его частью — стало «изучение существования людей, независимо от блага ж и з н и» (там же).

Как следствие, полагает Толстой, «целью живых существ представляется при этом внешнем наблюдении — сохранение с в о е й личности, сохранение с в о е г о вида, воспроизведение себе подобных и борьба за существование» (26, 333). Закон же «временного и пространственного существования есть борьба всех против каждого, каждого против каждого и против всех» (26, 386—387). И «жизнь мира», если встать на позицию нынешней «опытной» науки, составлена «из связанных между собой личностей, желающих истребить и съесть одна другую» (26, 325).

В трактате «Так что же нам делать?» Толстой писал, что человечество с древних времен живет, имея знание, «в чем назначение и благо людей». «Наука о благе людей для поверхностного наблюдения кажется различной; у буддистов, браминов, евреев, христиан, конфуцианцев, таосистов; хотя стоит только вникнуть в эти учения, чтобы увидеть одинаковую сущность» (25, 366). Толстой, принимая «одинаковую сущность» этих великих учений, был твердо убежден, что *благо людей* состоит «в их единении между собою и в установлении вместо царствующего теперь насилия — царства любви»²³.

Однако современная «опытная» наука предлагала совершенно иное понимание блага. Для человека, приравненного дарвинизмом, повторим за Толстым, к животному, благом должно стать «животное существование» (26, 333). «Животной» личностью за благо принимается теперь ее собственное индивидуальное наслаждение, «плотское благо». В погоне за таким благом по-новому понятый человек вступает в борьбу «со всем миром».

По Толстому, человек (в случае этого нового его представления о благе жизни), даже если он поставлен в самые «выгодные условия» и «может успешно бороться с другими личностями», неизменно движется по дороге «скуки, пресыщения, трудов» (26, 325) к страданиям, которые всегда связаны с наслаждениями, и к смерти как абсолютному уничтожению. Жизнь человека, так понимающего благо, «подвержена тысячам случайностям уничтожения от других борющихся с ним существ» (там же) и исполнена ужасающим страхом смерти: «Животная личность, стремясь к благу, стремится каждым дыханием к величайшему злу — к смерти» (26, 383). Толстой

последовательно противопоставляет «плотскому благу» — «чувство любви, которое не только уничтожает этот страх, но влечет человека к последней жертве своего плотского существования для блага других» (там же). Все эти представления нашли свое выражение и в художественном творчестве Толстого тех лет — прежде всего в повести «Смерть Ивана Ильича»²⁴.

Само учение Дарвина для Толстого не было новаторским: он указал на его связь с предшественниками — с утверждениями О. Конта и с законом Т. Р. Мальтуса (см.: 25, 339). Собственно теория Дарвина Толстому не была интересна, русский мыслитель обратил внимание на роль, которую она играет в современном ему социуме, и указал на исключительно потребительское отношение к ней в обществе.

Основное внимание русского мыслителя привлекли результаты экстраполяции учения Дарвина на историю. Английский естествоиспытатель, полагал Толстой, поставил «закон борьбы за существование в основу прогресса жизни» (37, 73). «Жизненная конкуренция» между людьми *всегда* существовала в истории человечества, однако с приходом теории Дарвина «борьба за существование» в представлениях современников стала впервые претендовать на статус *основного* закона для человеческого сообщества.

Такое миропонимание было неприемлемо для Толстого. В работе «Так что же нам делать?» он иначе сформулировал закон жизни человека: «Я понял, что человек, кроме жизни для своего личного блага, неизбежно должен служить и благу других людей; что если брать сравнения из мира животных, как это любят делать некоторые люди, защищая насилие и борьбу борьбой за существование в мире животных, то сравнение надо брать из животных общественных, как пчелы, и что потому человек, не говоря уже о вложенной в него любви к ближнему, и разумом, и самой природой своей призван к служению другим людям и общей человеческой цели. Я понял, что это естественный закон человека, тот, при котором только он может исполнить свое назначение и потому быть счастливым» (25, 292—293). В книге «О жизни» он писал, что человеку стоит только отказаться от «блага личного существования» и «признать свою жизнь в стремлении к благу других, чтобы увидеть в мире совсем другое: увидеть рядом с случаями и явлениями борьбы существ постоянное взаимное служение друг другу этих существ, — служение, без которого немислимо существование мира» (26, 370). Закон

жизни человека, утверждает Толстой, «не есть борьба, а, напротив, взаимное служение существ друг другу» (26, 373).

Последователи Дарвина, вооружившись его учением, с необыкновенной легкостью стали решать напряженные вопросы общественной жизни. В «Воспоминании о суде над солдатом» (1908) Толстой приводит весьма показательные рассуждения о необходимости смертной казни, принадлежащие профессору Иенского университета Эрнсту Геккелю, автору сочинения «Естественная история миротворения» (1868): «...смертная казнь для громадного большинства неисправимых преступников и негодяев является не только справедливым возмездием для них, но и великим благодеянием для лучшей части человечества, подобно тому, как для успешного разведения хорошо культивируемого сада требуется истребить вредные сорные травы. И точно так же, как тщательное удаление зарослей принесет полевым растениям больше света, воздуха и места, неослабное истребление всех закоренелых преступников не только облегчит лучшей части человечества “борьбу за существование”, но и произведет выгодный для него искусственный подбор, так как таким образом будет отнята у этих выродившихся отбросов человечества возможность наследственно передать человечеству их дурные качества» (37, 74). Однако у Толстого такой ход рассуждений вызывает неизбежные вопросы: кому, собственно, принадлежит право определять, кто именно вреден? Допустимо ли лишать человека возможности измениться? «Я, например,— иронизирует Толстой,— считаю, что хуже и вреднее г-на Геккеля я не знаю никого. Неужели мне и людям одних со мною убеждений приговорить г-на Геккеля к повешению? Напротив, чем грубее заблуждения г-на Геккеля, тем больше я желаю ему образумиться и ни в каком случае не хотел бы лишить [его] этой возможности» (там же).

Толстой размышлял над причинами, в силу которых та или иная современная теория вызывает в обществе столь глубокое сочувствие, так быстро распространяется, почти беспрепятственно и безоговорочно усваивается.

Для Толстого главной причиной тому — в случае с теорией Дарвина — была ее способность *служить* «царствующему мировоззрению» времени. Позитивизм Конта, учение Дарвина, «антропология, биология и социология», по его мнению, изложенному в трактате «Так что же нам делать?», не случайно «стали любимыми» в современном мире — «они все с л у ж а т о п р а в д а н и ю существующего освобождения

себя одними людьми от человеческой обязанности труда и поглощения ими труда других» (25, 317).

Толстой указывает на особенности усвоения дарвиновского учения в современном ему российском обществе: праздные образованные люди распространяют закон борьбы за существование далеко не на всех людей (не на себя, в частности), но — исключительно на жизнь трудящегося народа. Эти праздные люди твердо уверены, что они-то, служа делу прогресса и принося тем самым пользу человечеству, имеют полное право пользоваться плодами чужого труда. В обществе, с негодованием говорит Толстой, широко утвердилось представление, что одним суждено «умирать с голода и работать, а другим вечно праздновать, и <...> эта-то самая гибель одних и празднование других и есть несомненный закон жизни человечества» (25, 318). Современная наука стала служить целям оправдания для праздной, нетрудящейся части общества, а также целям убеждения трудовой «толпы» в неизменности существующего в социуме порядка вещей. Новому закону, как убеждают «толпу», «д о л ж н о подчиняться» (там же). Толстой указывает на определившуюся в последнее десятилетие удивительную особенность социальной психологии: если «масса» образованных людей неизменно придерживается выгодного для нее «ходячего оправдания», то трудовая «толпа» легко принимает «на веру г о т о в ы е в ы в о д ы» жрецов науки (там же).

Такие представления Толстого об истинных причинах популярности учения были устойчивыми; так, в трактате «Что такое искусство?» (1897—1898) в связи с теорией Мальтуса и выросшим на ее основе учением Дарвина он писал: «Habent sua fata libelli pro capite lectoris* — и так же и еще больше habent sua fata отдельные теории от того состояния заблуждения, в котором находится общество, среди и ради которого придуманы эти теории. Если теория оправдывает то ложное положение, в котором находится известная часть общества, то, как бы ни была неосновательна теория и даже очевидно ложна, она воспринимается и становится в е р о ю этой части общества» (30, 77).

«Опытная эволюционная наука», ограничиваясь рассмотрением одной только стороны жизни и уясняя «законы явлений, с о п у т с т в у ю щ и х жизни человека» (26, 351), почему-то «заявляет приязания на изучение в с е й жизни» (26, 320). Эта наука, по Толстому,

* Книги имеют свою судьбу по разумению читателей (лат.).

начинает играть отнюдь не подобающую ей роль: *замещает* прежнее вероучение, давая людям новые представления о добре и зле, освобождая их от личной нравственной ответственности, внушая мысль о неизменности существующего порядка вещей. Теория Мальтуса и учение Дарвина, пишет Толстой, «несли в себе тот драгоценный для толпы (в этом случае автор имеет в виду весь современный социум.— *Н. М.*) смысл, что в существующем зле человеческих обществ не виноваты люди и что существующий порядок есть тот самый, который и должен быть; и новая теория была принята толпою с полною верой и неслыханным восторгом. И вот на этих двух произвольных и неправильных положениях, принятых как догматы веры, утвердилось новое научное вероучение» (25, 339).

На учения, своевременно отвечающие определенным запросам общества, как правило, складывается мода. В дневнике от 21 марта 1902 г. Толстой вспоминал: «Три модные философии на моей памяти: Гегель, Дарвин и теперь Ничше. Первый оправдывал все существующее; второй приравнивал человека к животному, оправдывал борьбу, т. е. зло в людях; третий доказывает, что то, что противится в природе человека злу,— есть ложное воспитание, ошибка. Не знаю, куда идти дальше» (54, 126—127).

В разных кругах образованного общества того или иного времени обычно существует определенная мода — на художников, писателей, музыкантов, философов, ученых, на те или иные учения и сочинения. На ее основе формируется набор знаковых имен, «расхожих» высказываний и «готовых» представлений. В конце XIX века такой набор неизменно включал в себя понятия и положения, относящиеся к дарвиновскому учению («наследственность», «эволюция», «борьба за существование» и др.). «Термины “дарвинист”, “дарвинизм”, “борьба за существование” сделались ходячими»²⁵, — сетовал в 1890 г. ранее упомянутый нами М. Энгельгардт. В романе «Воскресение» о речи товарища прокурора на суде сказано: «В его речи было все самое последнее, что было тогда в ходу в его круге и что принималось тогда и принимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости. Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тард, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декадентство» (32, 72). Графа Ивана Михайловича «вытесняют» со службы «по закону борьбы за существование точно

такие же, как и он, научившиеся писать и понимать бумаги, представительные и беспринципные чиновники» (32, 252).

Народная жизнь была свободна от подобных литературных, философских и научных «наваждений»²⁶, в «Воскресении» читаем об одном из крестьянин: «В религиозном отношении он был также типичным крестьянином: никогда не думал о метафизических вопросах, о начале всех начал, о загробной жизни. Бог был для него, как и для Араго, гипотезой, в которой он до сих пор не встречал надобности. Ему никакого дела не было до того, каким образом начался мир, по Моисею или Дарвину, и дарвинизм, который так казался важен его сотоварищам, для него был такой же игрушкой мысли, как и творение в 6 дней».

В сочинении «О Шекспире и о драме» (1906) Толстой вновь размышлял над феноменом художественных, философских, научных «наваждений». Он указывал на неизменные этапы существования в образованном обществе тех или иных модных учений и сочинений: вначале внезапное и преувеличенное восхваление этих научных теорий и художественных произведений, а затем их скоростипажное и полное забвение. Толстой связывал этот феномен со сменой одного «царствующего мировоззрения» другим: «Так на моей памяти, в 40-х годах, было в области художественной возвеличение и восхваление Евг. Сю, Жорж Занд, в области социальной — Фурье, в области философской — Конт и Гегель, в области научной — Дарвин» (35, 261). Потом новые имена замещают старые: «Сю совсем забыт, Жорж Занд забывается и заменяется писаниями Зола и декадентами Бодлером, Верленом, Метерлинком и др.» (35, 262). Другие имена — Гегеля, Конта, Дарвина — «еще держатся, но начинают забываться, заменяясь учением Ничше» (там же). Однако Толстой признавал, что отдельные учения, «возникнув вследствие особенных, случайно выгодных для их утверждения причин, до такой степени соответствуют распространенному в обществе и в особенности в литературных кругах мировоззрению, что держатся чрезвычайно долго» (там же).

Увлечение современников теорией Дарвина в начале нового века так и не ослабевало, с болью Толстой видел проявление этого в собственной семье. В своем последнем прощальном письме (1 ноября 1910 г.) Толстой обращался к сыну Сергею: «Еще хотел прибавить тебе, Сережа, совет о том, чтобы ты подумал о своей жизни, о том, кто ты, что ты, в чем смысл человеческой жизни и как должен прожить ее всякий разумный человек. Те усвоенные тобою взгляды дарвинизма,

эволюции и борьбы за существование не объяснят тебе смысла твоей жизни и не дадут руководства в поступках, а жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из него неизменного руководства есть жалкое существование. Подумай об этом. Любя тебя, вероятно накануне смерти, говорю это» (82, 223).

Толстой резко отрицательно отнесся к роли дарвинизма в современном обществе. Он протестовал против безраздельной веры «грубого» большинства в «опытную» науку и не признавал за этой наукой истинного знания. Толстой стремился обратить умы современников к вопросам, что есть жизнь, что есть благо. Он противостоял современной тенденции распространить идею развития на сферу моральных представлений, Толстой настаивал: величайшие мыслители человечества уже высказали непреложные истины.

В ходе своих собственно философских размышлений о жизни, выходящей за границы пространства и времени, Толстой однажды допустил возможность опереться на дарвиновские идеи сходства, развития и видоизменения. В дневнике от 30 сентября 1906 г. Толстой писал: «Что такое порода? Черты предков, повторяющиеся в потомках. Так что всякое живое существо носит в себе все черты (или возможность их) всех предков (если верить в Дарвинизм, то всей бесконечной лестницы существ) и передает свои черты, которые будут бесконечно видоизменяться, всем последующим поколениям. Так что каждое существо, как и я сам, есть только частица какого-то одного, временем расчлененного существа — существа бесконечного. Каждый человек, каждое существо есть только одна точка среди бесконечного времени и бесконечного пространства.— Так, я, Лев Толстой, емь временное проявление Толстых, Волконских, Трубецких, Горчаковых и т. д. Я частица не только временного, но и пространственного существования. Я выделяю себя из этой бесконечности только потому, что сознаю себя» (55, 248—249). Эти размышления Толстого о бесконечном едином существе, расчленяемом на частицы (на разные «Я», а в случае «породы» связанные между собой «Я») во времени и в пространстве, о сознании как единственном условии выделения (но не отделении) «Я» из бесконечности — могут быть рассмотрены в контексте представлений о биосфере и ноосфере.

¹ В русской традиции этого ученого именуют Гексли, а его потомков — Хаксли (писателя О. Хаксли, биолога-эволюциониста сэра Дж. Хаксли и физиолога сэра Э. Хаксли). Известно, что за последовательную поддержку идей Дарвина и яркие выступления Т. Г. Гексли называли «бульдогом Дарвина».

² В одном только 1864 г. увидело свет несколько таких изданий, например: 1) Карла Дарвина учение *Происхождение видов* в царстве растений и животных, примененное к истории миротворения. Изложено и объяснено Фридрихом Ролле / С приложением биографии Дарвина, составленной С. Шэнеманом; Перевод старшего учителя 5 гимназии М. Владимирского; С многими политипажами. СПб., 1864; 2) О причинах явлений в органической природе: Лекции профессора Т. Гексли, читанные рабочим. СПб., 1864; 3) Место человека в царстве животном. Соч-е Томаса Генриха Гуксея. М., 1864.

³ Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. М., 1991. Т. 19. С. 134.

⁴ Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 2002. С. 225.

⁵ Тимирязев К. А. Значение переворота, произведенного в современном естествознании Дарвином // Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. М., 1952. С. 22.

⁶ Там же. С. 24.

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. 19. С. 135.

¹⁰ Напи сведения о причинах явлений в *органической природе*: Шесть популярных лекций, прочитанных в музее для практической геологии профессором Т. Г. Гексли. СПб., 1866. С. 219.

¹¹ Бибииков П. А. Сентиментальная философия: (По поводу чтения г-жи Ройсер о теории Дарвина и тревог, возбужденных ими) // Бибииков П. А. Критические этюды. СПб., 1865. С. 114.

¹² Страхов Н. Н. Дурные признаки // Время. 1962. № 11. С. 161.

¹³ Тейяр де Шарден П. Феномен человека. С. 225.

¹⁴ Дарвин писал: «Я не вижу достаточного основания, почему бы воззрения, излагаемые в этой книге, могли задевать чье-либо религиозное чувство» (Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь. Л., 1991. С. 413).

¹⁵ Страхов Н. Н. Дурные признаки. С. 165.

¹⁶ Михайловский Н. К. Сочинения: В 6 т. СПб., 1896—1897. Т. 1. С. 412.

¹⁷ Имеются в виду следующие работы Страхова: «Дарвинизм. Критическое исследование Н. Я. Данилевского» (1886); «Всегдашняя ошибка дарвинистов» (1887); глава «Дарвин» во второй книге «Борьба с Западом в нашей литературе» (1882—1896).

¹⁸ Заметим, что эта работа К. А. Тимирязева многократно и огромными тиражами переиздавалась в СССР в сталинское время.

¹⁹ Эта статья была опубликована в двух последних номерах «Русского вестника» за 1887 г. (№ 11. С. 66—114; № 12. С. 98—129).

²⁰ Статья была опубликована в «Русском вестнике» в 1889 г. (№ 12. С. 186—203).

²¹ Статья была опубликована в московском журнале «Русская мысль» (1889. Май, июнь, июль).

²² Напомним, что трактат «Так что же нам делать?» был написан в 1885 г., а полностью издан только в 1889-м и за пределами России, в Женеве. Над сочинением «О жизни» Толстой работал в 1886—1887 гг. Отрывки из этого произведения были опубликованы в петербургской еженедельной газете «Неделя» (1889. № 1—6). В 1888 г. ее перевод, выполненный американкой И. Хэпгуд (Hargood), был опубликован в Нью-Йорке. Перевод «О жизни» на французский язык, сделанный С. А. Толстой, был издан в Париже в 1889 г. В 1891 г. труд переведен на немецкий язык, в 1895-м — на чешский. Книга «О жизни» была напечатана полностью и по-русски — в Женеве, в типографии М. Элпидина, в 1891 г.

²³ Цит. по записи профессора А. Г. Русанова. См.: Русанов А. Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом // Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1960. Т. 2. С. 80.

²⁴ Об отклике на учение Дарвина в повести «Крейцера соната» см.: Михновец Н. Г. Диалогическое в «Крейцеровой сонате» Л. Н. Толстого // Ясн. сб. 1998. Тула, 1999. С. 79.

²⁵ Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. 19. С. 134.

²⁶ Многочисленные увлечения образованной части общества Толстой определял как «наваждения» (см.: 35, 262).

Ю. В. Прокопчук

ДМИТРИЙ НЕХЛЮДОВ И ЖАН ВАЛЬЖАН: ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА

О параллелях в творчестве Л. Н. Толстого и В. Гюго написано немало¹. Исследователи неоднократно подчеркивали постоянный интерес Толстого к творчеству великого француза, которого он очень любил и называл одним из самых близких ему по духу писателей². Переработанные отрывки произведений французского классика он включал в свои сборники детских рассказов и книгу «Круг чтения». Великих гуманистов всегда сближало особое внимание к нравственной проблематике, невозможность равнодушно смотреть на беды униженных, оскорбленных, «отверженных» обществом. Роман «Отверженные», одно из самых крупных произведений знаменитого француза, Толстой прочел в 1863 г., почти сразу после выхода романа в свет, и дал ему высокую оценку³.

Первые сравнения «Отверженных» Гюго и толстовского «Воскресения» принадлежали французским авторам. Толстой был весьма популярен во Франции. Как только в 1899 г. вышел в свет роман «Воскресение», он практически сразу был переведен на французский язык. В романе Толстого многие увидели продолжение гуманистических традиций Гюго⁴. Так, французский критик А. Бретон подчеркнул видимую связь между произведениями «как в сюжете, так и в том пафосе любви, милосердия и человеческого братства, которым они проникнуты»⁵.

Любопытно, что в черновых редакциях «Воскресения» упоминается произведение Гюго: в списке книг, которые князь Нехлюдов хотел передать в тюрьму Масловой, значился и роман «Отверженные»⁶.

В данной статье речь пойдет о нравственной проблематике романов и о вопросах нравственного развития героев. Русский и французский писатели, по словам одного критика, «вернули в литературу возвышенное»⁷. И Толстой, и Гюго ставили героев перед необходимостью решать труднейшие нравственные проблемы, выявляющие истинную сущность человека.

О целесообразности сравнительного анализа творчества Толстого и Гюго писал, в частности, Г. В. Краснов, сравнивший мотив «отверженных» в произведениях русского и французского классиков. Ученый отметил, что «Толстого, как и Гюго, волновала, прежде всего, идея прозрения, проблема выхода героя к истине»⁸. Путь нравственного развития героев «Воскресения» и «Отверженных» очень непрост и тернист. В данной статье мы намерены сравнить тот нравственный выбор, который пришлось сделать Жану Вальжану *до и во время суда* над Шанматье, и нравственный выбор Нехлюдова *во время и после суда* над Катюшей Масловой. Сравнительный анализ данных фрагментов позволит глубже постичь сходства и различия в представлениях русского и французского писателей о нравственном развитии личности, о стремлении к нравственному идеалу, о путях духовного самосовершенствования и преображения героев.

Исследователями не раз подчеркивались различия романтического и реалистического подходов к изображению героев. Например, А. Бретон отмечал: «В то время как герои Гюго — это создание ума, персонафицированные абстрактные идеи», персонажи Толстого — «живые люди, нарисованные так верно, что мы их узнаем»⁹. Критик полагал, что, в отличие от романа «Отверженные», «изобилующего театральными мелодраматическими эффектами», роман Толстого описывает события предельно достоверно и убедительно с художественной точки зрения¹⁰.

На первый взгляд, между судьбами князя Дмитрия Ивановича Нехлюдова и бывшего каторжника Жана Вальжана нет ничего общего: дворянин Нехлюдов и бедняк Вальжан, посаженный в тюрьму за кражу батона хлеба; относительно ровная, спокойная жизнь Нехлюдова и рваная, зигзагообразная линия судьбы Вальжана... Совершенно разными были и прегрешения этих героев. Тем не менее есть немало оснований для сравнения как нравственных страданий героев, так и тех внешних обстоятельств, которые им сопутствуют.

Действие обоих романов начинается в эпоху господства реакционных, консервативных сил. Во Франции это 10–20-е годы XIX века — время реставрации Бурбонов, в России — 80-е годы XIX века, эпоха контрреформ Александра III. В обоих случаях имеет место суд над несправедливо обвиненным человеком. Эти люди — Шанматье и Маслова — стояли на низшей ступени социальной лестницы и были совершенно беззащитны. Как в том, так и в другом случае главные

герои были косвенно виновны в том, что человека судят. В обоих случаях во время судебного заседания были совершены ошибки, которые могли привести (в романе Гюго) и привели (в романе Толстого) к трагическим последствиям в судьбах героев. Как Нехлюдов, так и Вальжан испытали во время судебного заседания чувство стыда и страха. В том и в другом случае имело место признание героев, но если Нехлюдов сделал это после судебного заседания, причем не публично, то Жан Вальжан — во время него. Оба героя в свое время оступились, ушли в сторону с истинного пути, и оба вернулись на него, прежде всего потому, что в них заговорила совесть. Однако у Вальжана, в отличие от Нехлюдова, был духовный наставник — епископ Мириэль.

«Воскресение» Нехлюдова произошло после длительной «нравственной спячки», вызванной отходом от первоначально истинных, с точки зрения Толстого, юношеских идеалов. Поступок Вальжана был подготовлен довольно длительным периодом нравственного развития, начавшегося после встречи с епископом Мириэлем. Правда, и задатки у Вальжана были очень хорошие. Так, будучи очень бедным, он заботился прежде всего не о себе, а о детях своей сестры.

Если Нехлюдов пережил «воскресение» или духовное преобразование, то Вальжан перешел на новую ступень духовного развития, символизирующую особого рода благородство и самопожертвование. У героев Гюго высшая ступень духовного совершенства соединяется с неким особым благородством души, с готовностью уступить сопернику, простить врагу. Подобные поступки характерны для героев романов французского классика (Бюг-Жаргаль, Говэн, Гуинпен и др.).

В романах Гюго поступок, действие, внешний эффект нередко довлеют над внутренними процессами. Русский же классик, будучи тонким психологом, мастерски описывал внутренний, духовный процесс, сосредотачивая внимание читателя на нем. Поступок у Толстого как бы отходит на второй план, он является всего лишь следствием нравственного пробуждения.

В «Отверженных» внешний эффект всегда присутствует, в том числе и в рассматриваемой нами сцене суда. Выступление Вальжана на суде было для присутствующих громом среди ясного неба, вспышкой молнии, развязкой, коренным образом меняющей ход судебного процесса. Вальжан совершил подвиг, героический поступок, потрясший всех находившихся в зале суда.

В поступках Нехлюдова нет ничего героического, выдающегося. Творчеству Толстого, убежденного в том, что все истинно великое просто, что самые значительные изменения совершаются незаметно, были чужды внешние эффекты.

Нехлюдов не смог воздействовать на формальную сторону дела: прошение в Сенат не было удовлетворено, приговор Масловой оставили без изменения. Его помощь была лишь духовной. В то время как Вальжан оказал Шанматье самую что ни на есть реальную, действительную помощь, ибо после выступления мэра Монрейля-Приморского с бедняка было снято обвинение.

В обоих романах авторы описывают суд присяжных — демократическую форму судопроизводства. Однако такой суд не только не облегчает участь заключенных, но и, наоборот, усугубляет ее. Толстой и Гюго рисуют картину полного равнодушия судебных чиновников к заключенным, описывают факты лжесвидетельства, ложных обвинений, следствием чего является осуждение невинных людей. В романе Гюго мы сталкиваемся с более серьезными фактами нарушения юридических прав подсудимых и закона в целом, чем в «Воскресении». Судебная ошибка, из-за которой вынесли приговор Масловой, выглядит вполне реалистично по сравнению с тем набором юридических казусов, из-за которых должен был быть осужден Шанматье. Не случайно, что в основе эпизода с осуждением Масловой лежит реальное событие. Русский писатель стремился к реалистичному, максимально достоверному изображению суда, консультировался с профессиональными юристами (А. Ф. Кони) при воспроизведении сцены суда. В «Воскресении» описание суда над Масловой занимает важное, довольно большое для этого произведения место. В «Отверженных» суд всего лишь фон для описания поступка Вальжана, картина суда описывается настолько подробно, насколько это необходимо для воспроизведения мыслей и слов главного героя.

Большой интерес для анализа проблемы нравственного выбора представляет мотив соблазнов, воздействующих на героев романов. У Вальжана вполне определенная дилемма «ехать в суд или не ехать», соблазн толкает его к тому, чтобы не оставлять прежнюю жизнь. В результате преодоления этого соблазна, после героического, без преувеличения, поступка, Вальжан потерял все. Для Гюго особенно важны именно такие поступки, его герои рискуют буквально всем, что у них есть: не только состоянием, но и жизнью, здоровьем, положением

в обществе. Нехлюдов подвержен соблазну старой, до нравственно-го пробуждения, жизни, которая и не является его настоящей, истинной жизнью. С другой стороны, появляются перспективы новой, основанной на духовном развитии личности. У Нехлюдова нет такой четко определенной дилеммы, как у Вальжана, его выбор менее, как это может показаться, принципиален, но именно он-то, по Толстому, и является особенно важным. Сюжет у Толстого менее драматизирован, он больше приближен к реальной жизни. Герой Толстого практически ничем не рисковал. Даже после «пробуждения» он сохранил положение в обществе, часть состояния, изменив лишь некоторым своим привычкам. Толстой акцентирует внимание на внутренних, а не внешних изменениях личности. Нравственный выбор Нехлюдова не сопряжен с решением жизненно важных вопросов, для помощи Масловой Нехлюдову не приходится приносить такие жертвы, как Вальжану для помощи Шанматье.

Характерна связь поступков героев с христианской моралью. Любовь к ближнему, готовность к самопожертвованию, торжество правды божеской, которая стоит намного выше правды человеческой,— приверженность этим ценностям, безусловно, объединяет Нехлюдова и Вальжана. Однако они оба испытывали сомнения по поводу того, нужно ли оказывать помощь ближнему, ибо не хотели менять привычные условия жизни, инстинктивно сопротивляясь назревшему пробуждению. Описывая преодоление соблазнов, авторы не случайно упоминают о христианской традиции. Так, согласно Толстому, совесть Нехлюдова подчинилась Богу-хозяину: «Он всё не покорялся тому чувству раскаяния, которое начинало говорить в нем. Ему представлялось это случайностью, которая пройдет и не нарушит его жизни. <...> Нехлюдов чувствовал уже всю гадость того, что он наделал, чувствовал и могущественную руку хозяина, но он всё еще не понимал значения того, что он сделал, не признавал самого хозяина. Ему всё хотелось не верить в то, что то, что было перед ним, было его дело. Но неумолимая невидимая рука держала его, и он предчувствовал уже, что он не отвертится» (32, 77—78). По Гюго, сомнения Вальжана также обусловлены влиянием христианских идей. Обдумывая поездку на суд, он подчинялся той силе, которая вела Иисуса Христа на казнь ради спасения всего человечества: «Через несколько секунд он опять, помимо воли, возобновил свой мрачный диалог, в котором он один и говорил и слушал, высказывая то, о чем бы ему хотелось умолчать,

выслушивая то, чего ему не хотелось бы слышать, подчиняясь той таинственной силе, которая приказывала ему: “Думай!”, как две тысячи лет назад приказала другому осужденному: “Иди!”» (Т. 1. С. 209)¹¹.

Однако сам процесс приобщения героев к божеской правде описывается авторами по-разному. Пробуждение Вальжана началось со встречи с епископом Мириэлем, который стал его духовным наставником. Христианская тема часто звучит в «Отверженных». В понимании Гюго борьба добра и зла в душе и жизни человека и утверждение начала добра неизбежны при стремлении к христианскому идеалу. Характерно в этом смысле изречение Мириэля, подарившего подсвечники Жану Вальжану: «Жан Вальжан, брат мой, вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее Богу» (Т. 1. С. 104).

По Толстому, стремление к христианскому идеалу предполагает естественный, медленный духовный рост, возвращение на тот истинный путь, по которому всегда идут духовно ориентированные люди. Пробуждение Нехлюдова — это возвращение к первоистокам, к первоначально чистому, незамутненному, лишенному греховной направленности взгляду на мир, возвращение к чистой юности.

У Гюго мы не наблюдаем попыток перестроить человеческое общество в соответствии с христианским учением любви и всепрощения. Мадлен-Вальжан не проклинает основы несправедливого, «нехристианского» (по Толстому) порядка. Являясь мэром Монрейля-Приморского, он ведет всего лишь добропорядочную жизнь чиновника буржуазного общества, занимаясь, правда, при этом благотворительностью, помогая людям, руководствуясь чувством справедливости и пр. Христианство Толстого резко антибуржуазно, оно ориентировано на достижение идеала в земной жизни. Евангельские отрывки в конце романа звучат как обличение, как приговор общественному строю. И Нехлюдов по отношению к социальным порядкам настроен гораздо более решительно, чем Вальжан.

Оба героя — Нехлюдов и Вальжан — в самом начале рассматриваемых эпизодов (когда Вальжан узнал от Жавера о Шанматье, а Нехлюдов узнал на суде Маслову) испытали страх перед возможным разоблачением. «“Неужели узнала?” — с ужасом подумал Нехлюдов, чувствуя, как кровь прилиwała ему к лицу» (32, 40). Примерно такими же были и мысли Вальжана: «В первую минуту инстинкт

самосохранения одержал в нем верх над всеми другими чувствами; г-н Мадлен поспешил собраться с мыслями, подавил свое волнение, осознал присутствие Жавера и всю сопряженную с этим опасность» (Т. 1. С. 205).

Имел место страх и в дальнейшем, когда героям пришла в голову мысль выступить с саморазоблачением. Так, у Нехлюдова «страх перед позором, которым он покрыл бы себя, если бы все здесь, в зале суда, узнали его поступок, заглушал происходившую в нем внутреннюю работу. Страх этот в первое время был сильнее всего» (32, 75). Боялся выступить с признанием и Вальжан: «Когда он слушал Жавера, первой его мыслью было идти, бежать, донести на себя, освободить этого Шанмагье из тюрьмы и сесть туда самому; эта мысль была такой мучительной и такой острой, словно его резнули по живому телу; но потом она исчезла, и он сказал себе: "Нет! Нет! Что это я!" Он подавил в себе первый великодушный порыв и отступил перед подвигом» (Т. 1. С. 205).

Оба героя испытывают соблазн избавления от проблемы в случае «удачного» решения исхода дела. «И в душе Нехлюдова шевельнулось дурное чувство. Перед этим, предвидя ее оправдание и оставление в городе, он был в нерешительности, как отнестись к ней; и отношение к ней было трудно. Каторга же и Сибирь сразу уничтожали возможность всякого отношения к ней: недобитая птица перестала бы трепаться в ягдташе и напоминать о себе» (32, 85). Похожими были мысли Вальжана, который испытывал соблазн не ехать в суд, ничего не менять в своей жизни: «Так угодно Богу. Я не должен противиться его воле. А почему ему угодно это? Чтобы я мог продолжать начатое, чтобы я мог творить добро» (Т. 1. С. 208).

Но после непростой внутренней работы Нехлюдов и Вальжан осознали важность, богоугодность единственно правильного выбора. «Нехлюдов <...> смотрел на Маслову, и в душе его шла сложная и мучительная работа. <...> В глубине своей души он уже чувствовал всю жестокость, подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни, и та страшная завеса, которая каким-то чудом всё это время, все эти двенадцать лет скрывала от него и это его преступление, и всю его последующую жизнь, уже колебалась, и он урывками уже заглядывал за нее» (32, 34 и 78). Подобные чувства испытывал и Вальжан: «То, что он хотел прогнать, вошло в комнату; то, что он хотел ослепить,

смотрело на него. То была его совесть. Его совесть, иначе говоря — Бог. Разве не было у него иной — высокой, истинной цели? Спасти не жизнь свою, но душу. Снова стать честным и добрым. Быть праведником! И так, надо ехать в Аррас, освободить мнимого Жана Вальжана и выдать настоящего! <...> Надо исполнить свой долг! Надо спасти этого человека! <...> Он чувствовал, что для его совести и его судьбы вновь наступила решительная минута; что епископ отметил первую фазу его жизни, а Шанматье отмечает вторую. После великого перелома — великое испытание» (Т. 1. С. 210–211).

Очевидно, что, несмотря на целый ряд различий, обусловленных как художественным методом писателей, так и мировоззренческими основами, русский и французский классики сходятся в главном: дело спасения человеческой души, необходимость поступать так, как велит Бог, совесть, значительно выше соображений выгоды, ложного стыда, положения в обществе, личного счастья и пр. И не случаен постоянный интерес яснополянского писателя именно к тем фрагментам произведений Гюго, которые преисполнены нравственного пафоса, особого, характерного для французского гения благородства, способны приподнять читателя над будничной суетой и обыденностью, пробудить лучшие струны человеческой души. Ведь к этому стремился в своем творчестве и сам Толстой, как никто другой понимавший, в чем состоит главное дело человеческой жизни.

¹ См., например: Архангельская Т. Н. Толстой читает роман В. Гюго «Отверженные» // *Ясн. сб.* 1992. С. 51–63; Кадло М. Лев Толстой — читатель и переводчик Виктора Гюго // *Ясн. сб.* 2004. С. 179–190; Краснов Г. В. Мотив «отверженных» у Толстого и Гюго // *Сравнительное изучение литератур.* Л., 1976. С. 299–303; Сахалтуев А. А. Лев Толстой за чтением Виктора Гюго (по материалам яснополянской библиотеки Толстого) // *Материалы 6-й конференции по итогам науч. работы Шадринского гос. пед. ин-та (20–22 апр. 1968 г.).* Филол. науки. Шадринск, 1969. С. 33–39; Ремизов В. Б. Сила детства как творческий стимул Льва Толстого // *Толстовский ежегодник: 2002.* Тула, 2003. С. 256–277.

² Толстой о литературе и искусстве // *ЛН.* Т. 37–38. М., 1939. С. 532.

³ Высокая оценка «Отверженных» содержится в дневнике Толстого (48, 52). В списке, составленном в 1891 году для биографа Ледерле, Толстой

отметил, что произведение французского классика произвело на него «огромное впечатление» (66, 68).

⁴ См.: Краснов Г. В. Указ. соч. С. 302.

⁵ Цит. по: Горная В. Э. Зарубежные современники Л. Н. Толстого о романе «Воскресение» // Роман Л. Н. Толстого «Воскресение»: историко-функциональное исследование. М., 1991. С. 129–130.

⁶ На этот факт обратил внимание, в частности, Г. В. Краснов (Указ. соч. С. 302).

⁷ Цит. по: Краснов Г. В. Указ. соч. С. 300–301.

⁸ Там же. С. 301.

⁹ Горная В. Э. Указ. соч. С. 129–130.

¹⁰ Там же.

¹¹ Здесь и далее ссылки даются на издание: Гюго В. Отверженные: Роман: В 2 т. / Пер. с фр. под ред. С. И. Рошаль. М., 1958.

И. К. Грызлова

ОБРАЗ НАПОЛЕОНА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВОСПРИЯТИИ СТЕНДАЛЯ И Л. Н. ТОЛСТОГО

Образ Наполеона с молодых лет волновал Стендаля и Толстого, оба они обращались к нему для проверки своих теорий и взглядов на ход исторических процессов и роль в них исторической личности. И, несмотря на различный подход к этим вопросам, они во многом пришли к одинаковым выводам.

Анри Мари Бейль (Стендаль) посвятил Бонапарту две книги: «Жизнь Наполеона» и «Воспоминания о Наполеоне». Толстой выводит в своем романе «Война и мир» Наполеона одним из действующих лиц. Многие источники, которыми пользовался Стендаль, опубликованные при его жизни исторические труды послужили впоследствии материалом для работы Л. Н. Толстого над этим образом. Например, «История французской революции» Тьера, «Записки с острова Св. Елены» Ласказа и другие.

Многочисленные высказывания о Наполеоне, его характеристику мы находим у Стендаля также в сочинениях «Записки туриста», «Воспоминания эготиста», «Жизнь Анри Брюлара». Последние работы включают в себе немало автобиографического материала.

Анри Бейль начал писать «Воспоминания о Наполеоне» в 1816 году, работа продолжалась еще 20 лет.

«Не следует забывать, — отмечал в историко-литературной справке к 11-му тому сочинений Стендаля критик Б. Г. Реизов, — что обе книги Стендаля о Наполеоне представляют собой не более как первые черновые наброски, которые должны были подвергнуться дальнейшей обработке и проверке»¹.

Приступая к работе над историей Наполеона, Стендаль признавался в своем вступлении к ней, что берется за эту работу с чувством религиозного благоговения.

Его любимые герои Жюльен Сорель и Фабрицио дель Донго из романов «Красное и черное» и «Пармская обитель» могут быть признаны наполеонианцами.

Стендаль лично знал Наполеона. В предисловии к «Воспоминаниям о Наполеоне» он писал: «С 1806 года по 1814 год я жил в обществе, внимание которого привлекали действия императора. Часть указанного времени я состоял при дворе этого великого человека и видел его два-три раза в неделю». И далее, по-итальянски, из Оды в честь Наполеона Мандзони: «Он был воплощением славы. Пусть потомство вынесет высокий приговор».

«Некто имел случай видеть Наполеона в Сен-Клу, при Маренго, в Москве; теперь он описывает его жизнь, нисколько не притязая на красоту стиля. Этот человек ненавидит напыщенность, двоюродную сестру лицемерия — порока, модного в XIX веке» (Т. 11. С. 195), — так пишет о себе Стендаль в предисловии к «Воспоминаниям о Наполеоне». И дальше продолжает уже от первого лица: «Я пишу историю событий так, как хотелось бы видеть ее написанной другим, независимо от таланта. Моя цель — познакомить публику с этим исключительным человеком, которого я любил при жизни, которого я уважаю теперь всей силой своего презрения к тому, что пришло ему на смену <...>».

Впервые я увидел генерала Бонапарта через два дня после его перехода через Сен-Бернар. Это было в форте Баярд (22 мая 1800 года) <...>. Спустя 8 или 9 дней после битвы при Маренго я был допущен в его ложу в Ла-Скала для отчета о действиях, связанных с занятием Аронской цитадели. Я был при вступлении Наполеона в Берлин в 1806 году, в Москву в 1812 году, в Силезии в 1813 году. Я имел случай видеть его во все эти периоды. Впервые этот великий человек заговорил со мной во время парада в Кремле. Я был удостоен им длительной беседы во время кампании 1813 года» (Т. 11. С. 204).

Стендаль много писал, но выпускал при жизни только некоторую часть из всего им созданного. Десятки, если не сотни его замыслов либо вовсе не были осуществлены, либо были брошены на полдороге. В своих военных записках он хотел рассказать о событиях, в которых сам принимал участие как драгунский офицер, интендант и инспектор коронных имуществ. Однако трудности огромного литературного предприятия, которое должно было вылиться в несколько томов, обилие материалов, сложность осмысления исторических проблем, очевидно, испугали его. К сожалению, его свидетельства о больше других интересующих нас событиях 1812 года дошли до нас в виде отдельных замечаний, разбросанных в разных сочинениях, в коротких записках, письмах к родным и друзьям. Правда, известно, что их автор соби-

рался написать отдельную историю этой войны и даже договаривался с издателем, но так и не приступил к ней.

«На берегах Немана впервые Стендаль собрал воедино свои записки и мысли, разбросанные на клочках бумаги, переписал их тщательно в сафьяновые тетради и сложил в баул». Так писал прекрасный знаток жизни и творчества Стендаля Анатолий Виноградов, автор двух книг об Анри Бейле — романа «Три цвета времени» (1931) и исследования «Стендаль и его время» (1938). «С этим грузом мыслей и замыслов, — продолжает Виноградов, — 13 августа Стендаль нагнал в Орше наступающую армию. Когда он присоединился к ней, угар первых побед уже рассеялся. Сожжение хлебных запасов, истребление жилищ и отравление колодцев скоро показали Наполеону, насколько он не понимал трудностей похода. Как и в Испании, он столкнулся с сопротивлением всего народа»².

Самым неприятным для французов было то, что русская армия, избегая боя, уходила и уходила. Наполеон надеялся, что ее отступление не могло длиться бесконечно: политически невозможно было отдавать Москву без боя.

И бой состоялся! Бейль был свидетелем Бородинского сражения. Это помогло ему впоследствии в описании битвы при Ватерлоо (которой он не видел) в романе «Пармская обитель». Это описание произвело столь сильное впечатление на Льва Толстого, что он взял его за основу для создания картины боя под Бородином в романе «Война и мир».

Сам Бейль редко вспоминает об этом сражении и лишь вскользь упоминает в связи с каким-нибудь именем или неприятным моментом. Например, в «Воспоминаниях эгориста», говоря о знакомом генерале Гро, Бейль называет его «самым тупым рубакой из всей императорской гвардии, а это не пустяк. Он говорил с провансальским акцентом и особенно горел желанием рубить тех французов, которые были враждебны кормившему его человеку. Этот тип был мне настолько противен, что в вечер после Бородинской битвы, заметив в нескольких шагах от себя останки двух или трех гвардейских генералов, я не мог удержаться, чтобы не заметить: “Несколькими нагледцами стало меньше!” — замечание, чуть не погубившее меня и показавшееся бесчеловечным» (Т. 11. С. 350—351).

Помимо упомянутых выше трудов Ласказа и Тьера среди многочисленных источников для произведений Стендаля о Наполеоне

критики выделяют «Историю Наполеона» Вальтера Скотта (фр. пер. 1827), «Политическую и военную жизнь Наполеона» известного специалиста по военному делу Жомини (1827), «Мемуары Наполеона», составленные генералом Гурго и Монтелоном (1822—1827). Разумеется, ни один из этих источников не обладал какой-нибудь научной достоверностью, все они почти апологетичны и скорее являются орудием страстной бонапартистской пропаганды, нежели созвучны взглядам Стендаля.

«Подбирая материалы, списывая со всех источников целые страницы, переводя английские статьи, полемизируя с противниками — ультрароялистами, конституционалистами и даже бонапартистами, — Стендаль утверждал не только свое понимание Наполеона, но и свои политические взгляды», — утверждает критик Б. Реизов в историко-литературной справке к книгам «Жизнь Наполеона» и «Воспоминания о Наполеоне» (Т. 11. С. 392). Там же Реизов отмечает, что Стендаль высоко ценил волю Наполеона: «Его привлекала энергичная власть, способная поднять народ на великие действия и вдохновить на подвиг. Но вместе с тем <...> Стендаль ненавидел деспотизм этого энергичного правителя, так как деспотизм подавляет инициативу народа и вызывает духовное оскудение нации. Стендаль восхищается генералом Бонапартом, видя в нем народного героя — вождя революционной нации... а в императоре Наполеоне видит деспота, подчинившего политику интересам своего честолюбия».

Стендаль часто критикует своего героя. «Он идеализирует молодого республиканского генерала, чтобы показать ошибки императора. Став монархом, Наполеон должен быть поддержкой монархического принципа повсюду. Он не понимал, что королевский двор не может решать судьбу народа и решать за народ. <...> Он просчитался в своей борьбе с Россией. Стендаль считал, что император просчитался и в Испании, что не захотел остаться сыном революции. Такова была общая концепция Стендаля. <...> Узник Св. Елены, несмотря на все свое величие, понес заслуженную кару за то, что он уничтожил свободу, которую призван был защищать...» (там же). Тут он вполне перекликается с Толстым, который на просьбу высказать свое мнение о Наполеоне, отвечал А. И. Эртелю 15 января 1890 года: «Ничего вам не могу сказать про Наполеона. <...> Светлых сторон не найдете, нельзя найти, пока не исчерпаются все темные, страшные, которые представляет это лицо. Самый драгоценный матерьял, это «*Mémorial de St. Héleine*».

И записки доктора о нем. Как ни раздувают они его величие, жалкая толстая фигура с брюхом, в шляпе, шляющаяся по острову и живущая только воспоминаниями своего бывшего quasi-величия, поразительно жалка и гадка» (65, 4–5).

Правда, Толстой, в отличие от Стендаля, понимает наполеоновское величие как мнимое. Он еще в молодости понял ложность точки зрения Наполеона, «ожидавшего переворотов в Европе от личностей, владык» (42, 206). В 1857 году Толстой после посещения саркофага Наполеона в Париже сделал запись в дневнике: «Обоготворение злодея ужасно» (47, 118).

«Стендаль никогда не был бонапартистом, — пишет Б. Рейзов, — хотя и утверждал, что любил императора всю свою жизнь <...>. Он никогда не принял бы идеи бонапартизма, утверждавшие полезность деспотизма и вред народовластия» (Т. 11. С. 394).

Подтверждение тому, о чем говорят критики, касаясь отношения Стендаля к деятельности Наполеона, мы находим, обращаясь непосредственно к сочинениям Стендаля о Наполеоне, явно полемичным по отношению к бонапартизму. В «Воспоминаниях о Наполеоне» Стендаль пишет, что по окончании военной школы в Бриенне молодой артиллерийский офицер имел далеко не полное образование. «За исключением математики, артиллерийского дела, военного искусства и Плутарха, Наполеон ничего не знал. Живя в Валансе, Осонне, Наполеон много читал <...>. Эти книги пробуждали или усиливали в нем страстные чувства, но давали ли познания тех великих истин, которые вполне доказаны и которые в дальнейшем могли служить основой для житейского поведения? <...> В беседах императора его невежество обычно не обнаруживалось; во-первых, он управлял разговором, а во-вторых, он с чисто итальянской ловкостью никогда не выдавал своего невежества неосторожным вопросом или необдуманном замечанием <...>.

Что касается науки об управлении государством, той, которая впоследствии могла бы оказаться наиболее полезной для Наполеона, образование этого великого человека, можно сказать, было ничтожным. Ему было понятно только управление полководца, заставляющего свои войска действовать: 1) из преданности родине, 2) из чувства чести, 3) из страха наказания, 4) из самолюбия или честолюбивых побуждений <...>.

Словом, вследствие прискорбных пробелов его раннего образования история для него не существовала; он знал только те факты,

которые совершались у него на глазах, да и то он их видел сквозь призму своего страха перед якобинцами и своей любви, своего пристрастия к Сен-Жерменскому предместью.

Все эти данные, касающиеся Наполеона-императора, понадобились мне, чтобы показать, к чему сводилось столь хваленое образование в ту пору, когда он был лейтенантом артиллерии. Он не знал ни орфографии, ни латыни, ни истории» (Т. 11. С. 223—226).

Через некоторое время Наполеон получил чин капитана. После осады Тулона в 1794 г. был произведен в бригадные генералы и назначен начальником артиллерии в армию, действовавшую в Италии. «Имя генерала Бонапарта было у всех на устах. Никому в голову не приходило высмеять этого малорослого человека, такого бледного и такого хилого, такого невзрачного. Поведение Наполеона, безупречное и всегда строго рассчитанное на то, чтобы заставить уважать себя, создало авторитет в глазах армии <...>. Она прощала ему тщедушный вид, она еще больше любила его за невзрачность» (Т. 11. С. 363). По мнению Стендаля, «солдаты открыли в нем необыкновенного человека, сердце, жаждущее славы, и горячее желание даровать Республике победу» (Т. 11. С. 238).

В папке R-232 Гренобльской библиотеки имеется следующая заметка о портретах Наполеона Бонапарта: «Почти все портреты Наполеона, которые мне довелось видеть, являются карикатурными, — утверждает Стендаль. — Многие художники придавали ему вдохновенный взор поэта. Этот взор не вяжется с той изумительной способностью сосредоточивать внимание, которая составляет отличительную черту его гениальной натуры. Мне кажется, что в этом взоре выражено состояние человека, потерявшего нить своих мыслей или же только что созерцавшего величественное зрелище. Он часто улыбался, но никогда не смеялся <...>. Наименее плохи изображения, выполненные Робером Лефевром и Шодэ, хуже всех — работы Давида и Кановы» (Т. 11. С. 21).

«Я считаю, — пишет автор «Воспоминаний о Наполеоне», — что историк Наполеона, не представляющий глазам читателя его повествований об Итальянской кампании в том виде, как их оставил этот великий человек, не может притязать на то, чтобы познакомить с характером Наполеона <...>. Совершенно иное дело — период с 1800 по 1814 год. В этот период Наполеон сперва хотел стать, а затем — оставаться императором, и он оказался в суровой необходимости лгать» (Т. 11. С. 237).

С таким обликом Бонапарта мы встречаемся в книгах Стендаля «Жизнь Наполеона» и «Воспоминания о Наполеоне». Но для Толстого нет и не может быть перемен в характере Наполеона в зависимости от времени. Для него Наполеон самовлюбленный и самонадеянный властелин Франции, упоенный успехом, ослепленный славой, приписывающий своей личности движущую роль в ходе исторических событий. Эти отрицательные черты дополняют его «маленький рост», «неприятно-притворная улыбка на лице», «жирная грудь», «толстые плечи», «круглый живот» и «жирные ляжки коротеньких ног». Даже в небольших сценах, в малейших жестах чувствуется, по мнению Толстого, безумная гордость Наполеона, самомнение человека, привыкшего повелевать и верить в то, что каждое движение его руки рассыпает счастье или сеет горе.

Стендаль же после упоминания невзрачной внешности Наполеона продолжал выражать свое восхищение генералом Бонапартом, поступки которого были полной противоположностью его внешним данным.

«Одержав победу, этот изумительный полководец призывал немедленно составить список тридцати-сорока человек, представляемых к награждению орденом Почетного легиона или с повышением по службе, — сообщает Стендаль. — Списки эти, зачастую составленные на поле битвы, нацарапанные карандашом, почти всегда собственноручно подписанные Наполеоном, по сей день хранятся в государственных архивах <...>. В тех весьма редких случаях, когда генерал не догадывался составить список, император заявлял: “Я жалуя такому-то полку десять офицерских и десять солдатских крестов Почетного легиона”. Такой способ награждения несовместим со славой. По мере того как шитье на мундирах делалось богаче и орденов на них все прибавлялось, сердца под ними черствели» (Т. 11. С. 128–129).

«Любовь к Наполеону — единственная страсть, сохранившаяся во мне, — отмечает Стендаль, — но это отнюдь не мешает мне видеть недостатки ума и жалкие слабости, которые можно поставить ему в упрек».³

Стендаль превозносил личность Наполеона часто в сравнении с тошнотворным правлением презираемых им глупцов Бурбонов. Он превозносил действия Наполеона-военачальника и уничижительно относился к Наполеону как главе государства. Он считал, что совмещение им обязанностей императора с обязанностями главнокомандующего явилось одной из причин поражения в битве под Лейпцигом,

а потом падения всей империи, опиравшейся на бесцветные личности, достигшие самых высоких постов благодаря сложным интригам, раздиравшим правительство.

Невольно приходит на память текст Толстого в «Войне и мире», где он описывает бегство великой армии из России и полное бессилие Наполеона управлять такой армией: «Наполеон, представляющийся нам руководителем всего этого движения (как диким представлялась фигура, вырезанная на носу корабля, силою, руководящую корабль), Наполеон во все это время своей деятельности был подобен ребенку, который, держась за тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит» (12, 92).

Несмотря на культ Бонапарта как гениального полководца, Стендаль ясно показывает противоречия его натуры. И хотя он старается взять под защиту многие его проступки, даже преступления, называя их ошибками, объясняя их необходимостью, продиктованной сложившимися обстоятельствами, — он говорит о них открыто, вскрывая их страшную сущность: «Не считая мелких упреков, делаемых Наполеону по поводу его поведения в Египте, ему обычно вменяют в вину как тяжчайшие преступления:

- 1) избиение пленных в Яффе;
- 2) отравление по его приказу больных солдат его войск под Сен-Жан д'Акр;
- 3) его мнимое обращение в мусульманство;
- 4) его отъезд из армии» (Т. 11. С. 24).

Стендаль пробует сам объяснить эти события в книге «Жизнь Наполеона»: «Имеет ли полководец право для спасения своего войска умертвить пленных, или поставить их в условия, в которых они неизбежно должны погибнуть, или же передать их в руки кочевников, которые не дадут им пощады? Римляне не стали бы даже задавать себе такого вопроса <...>.

Наполеон сам рассказывал ряду лиц, что он хотел приказать врачам отравить <...> больных в своей армии. “Я велел <...> прописать им сильную дозу опиума и прибавил, что это лучше, чем отдать их во власть турок» (Т. 11. С. 26, 28).

«Что касается вероотступничества Наполеона в Египте, — продолжал Стендаль, — то все свои воззвания он начинал словами: “Нет Бога, кроме Бога, а Магомет его пророк”. Это мнимое прегрешение произвело впечатление в одной только Англии <...>. Такой способ

действия увенчался полным успехом <...>. “Вы не можете себе представить, — говорил Наполеон лорду Эбрингтону, — сколько много я добился в Египте тем, что сделал вид, будто перешел в их веру”» (Т. 11. С. 28).

«Что касается другого его поступка, гораздо более серьезного, — того, что он бросил в Египте свою армию на произвол судьбы, — то этим он прежде всего совершил преступление против правительства, за которое это правительство могло его подвергнуть законной каре. Но он не совершил этим преступление против своей армии, которую оставил в прекрасном состоянии <...>».

Получив известия о поражении французских войск, о потере Италии, об анархии и недовольстве внутри страны, Наполеон из этой печальной картины сделал вывод, что Директория не может удержаться. Он явился в Париж, чтобы спасти Францию и обеспечить за собой место в новом правительстве. Своим возвращением из Египта он принес пользу и родине и себе самому; большего нельзя требовать от слабых смертных <...>. Жизнь этого человека — гимн величию души» (Т. 11. С. 28–29).

Такое оправдательное объяснение дает Стендаль действиям Наполеона в Египте. Он, как и многие авторы мемуаров, повествует о них скорее как о гуманных актах со стороны Наполеона. Толстой же видит в поступках Бонапарта жестокость, ложь, преступления. В дневнике 19 марта 1865 года Толстой делает запись: «Вся Египетская экспедиция — французское тщеславное злодейство» (48, 60). Еще раньше, 8 апреля 1857 года, очевидно при чтении воспоминаний Ласказа, на которого так часто опирается Стендаль, он отмечает в записной книжке тот же факт: «В одно и то же время убитым в Раштаде оставляют кресты и охают, и Бонапарт убивает 4000 человек в Жаффе» (47, 205).

И уже в романе мы читаем: «Даже этот последний поступок бегства, на языке человеческого называемый последней степенью подлости, которой учится стыдиться каждый ребенок, и этот поступок на языке историков получает оправдание <...>. Величие как будто исключает возможность хорошего и дурного. Для великого — нет дурного. Нет ужаса, который мог быть поставлен в вину тому, кто велик <...>. Для нас, с данною нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды» (12, 165).

Однако, несмотря на преклонение перед гением Наполеона, Стендаль отдает себе полный отчет во многих противоречиях его натуры. Он

часто выносит «великому корсиканцу» такие суровые приговоры, от которых недалеко до толстовского развенчания Наполеона. В 1817 году он приветствовал «падение Тирана», человека, исполненного эгоизма, совершенно лишённого политического таланта и ненавидящего всем сердцем свободу. В «Воспоминаниях эгоиста» Стендаль признается: «Я со вздохом говорю себе теперь, в 1832 году: “Вот до какого падения мелкое парижское тщеславие довело итальянца Наполеона!”» (Т. 13. С. 353).

И в дальнейшем повествовании книги «Жизнь Наполеона» у Стендаля все сильнее звучат разоблачительные ноты в раскрытии характера и действий Наполеона: «Генерал Бонапарт был чрезвычайно невежествен в искусстве управления, — читаем мы. — Проникнутый военным духом, он обсуждения всегда принимал за неповиновение. Опыт изо дня в день доказывал ему его огромное превосходство, и он слишком презирал людей, чтобы позволить им обсуждать меры, признаваемые им благотворными <...>».

Если конституция, которую он дал Франции, была составлена с каким-либо расчетом, — это был расчет на то, чтобы незаметно вновь привести эту прекрасную страну к абсолютной монархии, а отнюдь не на то, чтобы довершить ее приобщение к свободе <...>».

Постепенное размышление, основанное на отрицательных наблюдениях, привело окружающих к выводу, что он преследует исключительно свои личные цели. Тотчас им завладела свора льстецов. Как это обычно бывает, они стали доводить до крайности все то, что считали мнением своего властелина <...>».

Когда отравленный воздух двора вконец развратил Наполеона и развил его самомнение до болезненных размеров, он уволил Талейрана и Фуше, заменив их самыми ограниченными из всех своих льстецов» (Т. 11. С. 37–38). Тлетворный воздух двора перекинулся и в армию. «Начальник главного штаба окружил себя подобием двора, чтобы подчеркнуть свое превосходство над теми маршалами, которые — он сам сознавал — были талантливее его <...>». Ко времени похода в Россию армия уже до такой степени прониклась эгоизмом и развратилась, что готова была ставить условия своему полководцу! <...>»

Образованность, дисциплина, выдержка, готовность повиноваться ослабевали <...>» (Т. 11. С. 127, 130).

Близость оценок Стендаля к толстовским здесь более чем очевидна. Общая им обоим неприязнь к честолюбию, эгоизму, раздутому

самомнению лишала в их глазах личность Наполеона ее героического ореола. Но Стендаль только наметил то, что Толстой довел до конечных отрицательных выводов в романе «Война и мир»: «Только то, что происходило в его душе, — писал он, — имело интерес для него. Все, что было вне его, не имело для него значения, потому что все в мире, как ему казалось, зависело от его воли» (11, 23).

И как бы в заключение характеристики Наполеона Толстой писал в романе: «...и никогда, до конца жизни своей, не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, чтобы он мог понимать их значение. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого» (11, 258).

Трудно найти более убедительные слова, чем эти строки Толстого, чтобы понять истинную сущность личности Наполеона, приведшего к падению свою империю.

¹ Стендаль. Собрание сочинений: В 15 т. М., 1959. Т. 11. С. 393. В дальнейшем выдержки из сочинений Стендаля приводятся по этому изданию с указанием в скобках номеров тома и страницы.

² Виноградов А. К. Стендаль и его время. М., 1960. С. 104.

³ Цит. по: Тимашева О. В. Три Наполеона. Отечественная война 1812 года // Источники. Памятники. Проблемы: Матералы IX Всероссийской научной конференции. Бородино, 4–6 сентября 2000 г. М., 2001. С. 245.

С. Н. Аверкина

«ЭПИЧЕСКАЯ ИРОНИЯ» Т. МАННА, ИЛИ «ПОСЛЕ Л. Н. ТОЛСТОГО»

Для большинства больших художников начала XX в. Л. Н. Толстой — «патриарх» эпического слова. Автор «Анны Карениной» фактически создал новый жанр — «русский роман». Отсюда такое сильное присутствие «русского пласта» во всей европейской и американской культуре. Роман «после Толстого» содержит уже не только «ренессансную» память, но и «русскую». Не случайно размышления об эпосе непременно возвращают Томаса Манна к разговору о Толстом.

Однако следует учитывать и «критический темперамент» Манна: для понимания каждого культурного феномена он сложно соотносит культурные ряды, связывая и сталкивая нескольких авторов. Например, сопоставляя творчество И. В. Гёте и Ф. Шиллера, он выстраивает свою художественную систему на антитезе «наивного», жизненного (*Vitalität*) и «сентиментального», болезненного искусства. Подчеркивая оппозицию Микеланджело Буонарроти — Данте Алигьери, Манн противопоставляет художника чувственности «*Sinnlichkeit*» (как отмечено в эссе «Эротика Микеланджело», в романе «Доктор Фаустус» и в новелле «Закон») и художника «боли и вины», «*Künstler des Leidensweges*» (что отмечено в статье «О Данте» и в романе «Волшебная гора»)¹. Так, автор «Анны Карениной» в эстетической системе Манна непременно сравнивается с Ф. М. Достоевским и оказывается в одном ряду с Гёте и Микеланджело, а Достоевский, в свою очередь, — с Шиллером и Данте (*Ist Tolstoj der Michelangelo des Ostens, so darf man Dostojewskij den Dante dieser Sphäre nennen*)*². Теоретизируя, Манн невольно «ограничивает» влияние Толстого, нарочито сводя его творчество к «продуктивной схеме». Что это за схема, становится

* Если Толстой — Микеланджело Востока, то Достоевского можно назвать его Данте (нем.).

понятным при анализе ряда программных статей, посвященных проблеме эпоса: «Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма» (1922), «Толстой. К столетию со дня рождения» (1928), «Путь Гете как писателя» (1932), «Искусство романа» (1939), «Анна Каренина» (1939), «История "Доктора Фаустуса". Роман одного романа» (1949).

Почти все перечисленные статьи и доклады написаны после Первой мировой войны, то есть после завершения новеллы «Смерть в Венеции», когда «формально» завершился период создания «классических» новелл писателя. Приближалось время романов-экспериментов, текстов, жанровая специфика которых неоднозначна. Это некие «наджанровые эпические формы» повествования, как их назовет сам автор, те формы, которые отвечают духу времени, адекватны ему. Поясним эту мысль.

Манн опровергает положение Гегеля, утверждавшего, что драма, «объединяя в себе все остальные поэтические виды и жанры, неоспоримо является королевой в царстве поэзии, а роман — <...> продукт распада стихотворного эпоса»³. Писатель, напротив, исходит из положения, что «эпос отражает архаический мир, а роман — мир современный»⁴. При этом «современность» эпоса заключается в потребности проникновения во внутреннюю жизнь с ее сложностями, «скучными» деталями, бесконечной «тянучестью», медлительностью, когда «эпизод» разрастается до первообразца, углубляется, обращается к основам бытия: «Роман проникает во **внутреннюю жизнь**»⁵, «не может удовлетвориться **единичной деталью**, отдельными эпизодами и частностями, и <...> самозабвенно останавливается на каждой из них, словно данный эпизод и данная частность для него особенно важны, <...> ибо ему неведома торопливость, у него впереди — нескончаемое время, он — дух терпения, верности, выжидания, медлительности, которая согрета любовью и потому дает радость, он — дух чарующей скуки, с ее неоднозначностью и богатством, похожем на дух эпоса в целом; «**эпическое начало**» — «могучий и величественный дух, всеобъемлющий, богатый как **сама жизнь**, бескрайний, как монотонно рокочущее море»⁶, «в одно и то же время грандиозный и точный, певучий и рассудительный»⁷.

Вторая позиция, которой придерживается Манн, заключается в том, что в романе «эпическое начало» выражено сильнее и непосредственнее», чем собственно в архаическом эпосе, благодаря возможности

«сохранения дистанции» (отсутствия идеологии) между повествователем и повествованием, благодаря стремлению к *объективности*. Именно роман царит над нами, взирая с «высоты свободы, покоя и объективности»⁸, — заключает писатель. Эта цитата приближает к центральной категории критических работ Томаса Манна о романе — *иронии*.

Понятие «ирония» Манн раскрывает метафорически, связывая ее появление с аполлоническим характером «искусства эпоса». «Аполлон далекоразящий» для Манна — в первую очередь «бог дали, бог дистанции, объективности, бог *иронии*». «Ирония [при этом] — „все-приятие“, „радостный взгляд <...> с высоты свободы”⁹. Вместе с тем ирония — еще и «точка встречи» двух противоположных векторов культуры. Назовем их векторами «природы» и «духа». Манн считает, что «между двумя этими началами — вся правда о романе»¹⁰. Сущность двух начал можно пояснить, обратившись к статьям «Гете и Толстой» и «Искусство романа». В них Манн условно разделяет художников на два вышеназванных типа, которые обязательно *вместе* входят в культуру, — «больной, духовный, христианский» и «здоровый, природный, спинозианский». И в этом Манн видит «смягчающий» характер современного эпоса, снимающего множество противоречий, заставляющего задуматься о многогранности культуры. В собственном творчестве он также настаивает на сложной встрече обоих начал, которые, однако, не должны спутываться, а должны «интересоваться» друг другом.

«Толстовско-гетевский» тип, жизнь во всей ее полноте, кажется Манну притягивающим центром, *активным* началом интереса, точкой отсчета, с которой начинается литература; противоположный тип — интересующейся стороной.

Манн объясняет это на примере письма, в котором Шиллер «предостерегает» Гете от увлечения Кантом, своим духовным учителем и кумиром. Почему? Гете, по мысли Манна, «может быть только спинозистом; обращение к философии свободы немедленно разрушит его прекрасный наивный характер»¹¹. Автор «Искусства романа» считает, что именно здесь открывается «*проблема иронии*, <...> самая глубокая и прельстительная из всех существующих проблем». Приведем всю цитату целиком: «*Нет ничего более чуждого духу, <...> чем желание обратить природу в свою веру. Дух сам предостерегает ее против себя. Нравственному сентименталисту природа*

кажется прекрасной, <...> нетронутой. Сознание воспринимает невинность, мораль воспринимает божественное, дух воспринимает природу как прекрасное, и в той своеобразно абсолютной оценке присутствует **сам бог иронии**, в ней обитает Эрот»¹².

Итак, дух тянется к природе, «глубоко преклоняется перед ней» «сохраняя при этом свое несколько ласковое презрение» к ней¹³. С другой стороны, «наивному характеру свойственен иронический взгляд на жизнь, родственный его объективности и прямо совпадающий для него с понятием поэзии, потому что он парит в свободной игре над реальностью, над счастьем и несчастьем, над добром и злом, над смертью и жизнью»¹⁴. Так наивное привлекает сентиментальное, поэзия привлекает критику, эпос/роман на каждом повороте смысла наполняется иронией, мифологизируется.

Подводя итог размышлениям Манна, сделаем вывод о природе романа. Он — объективное, ироническое повествование, соединившее опыт «наивного» и «христианизированного» взгляда на культуру, поэзию как таковую и размышление о ней, «сотворение» культуры и рефлексию о границах и формах мифов и архетипов, положенных в ее основу. Исходя из этого теоретического построения, можно заметить, что Манн, восхищаясь эпической силой Толстого, вместе с тем ограничивает его роль. По его мнению, *ирония* начинается только «после Толстого», в преодолении Толстого!

Холодно-критический взгляд вообще характерен для некоторых работ Томаса Манна. И это заметно уже в его первом серьезном и неоднозначном теоретическом произведении «Записки аполитичного» (этот текст не переведен на русский язык). В нем Манн, увлеченный в начале Первой мировой войны успехами немецкой армии, выстраивает апологию немецкого духа — как ему кажется, возвышенно артистичного и воинственного, не опускающегося до «мелочной и неискренней дипломатичности», аполитичного в высоком смысле этого слова. Позднее писатель пересмотрел некоторые положения, высказанные в этой работе. Но для нас может быть интересным контекст, в котором в «Записках аполитичного» упоминается Л. Н. Толстой. Манн критикует позднего Толстого за отход от романного творчества (и эта мысль, выраженная сдержаннее, звучит и в других статьях и заметках писателя): «Я был поражен и шокирован его творческой необузданностью и полнейшим отрицанием всего, что есть чистая идея, что является собственно философией истории. Я не мог смириться с

этой христианско-народнической ограниченностью, радикально-“му-
жицким” отрицанием индивидуальной героичности, великого человека.
Здесь — пропасть, здесь — разница между немецким и националь-
ным русским духом, здесь начинается сопротивление личности, здесь,
на родине Гете и Ницше»¹⁵.

Манн решительно заявляет об узости, излишней социальной ори-
ентированности, недостаточной «религиозности» русского классика
в последний период его творчества. Толстому-проповеднику он отка-
зывает в главном принципе духовности — росте («Bildung»), критиче-
ском, творческом отношении к действительности (принципе протеста,
Protest, как его понимал Манн)¹⁶. Но поражает и противоположенный
эпитет — «beglückt». Манн отмечает напористость, чрезмерную сме-
лость, «безапелляционность» Толстого.

Возможно, эта чрезмерность, избыточность и является одним из
интересных поворотов разговора о русском влиянии на Европу. Если
обращаться к собственному восприятию, приведу образ, который, как
мне кажется, исключительно ярко показывает оба полюса отношения
к России, воспринятого в русле общего «антиевропейского мифа»
начала века и этой особой психологической черты русского характера —
«чрезмерности». Это образ «хлопнувшей двери» (Tür zuschlagen),
словно кто-то стремительно или бесцеремонно ворвался, даже вва-
лился, словно «mit der Tür ins Hause fällt»¹⁷. Интересно, что в рома-
не «Волшебная гора» в связи с появлением русской героини — мадам
Шоша в главе «Frauenzimmer» — Манн использует именно этот
мотив хлопающей двери. Хотя этот «азиатский» образ может пока-
заться спорным и где-то провокативным.

Не зная русского языка, Манн, конечно, воспринимал литерату-
ру России опосредованно (наиболее сильно на него повлияла критика
и публицистика Д. С. Мережковского, чрезвычайно широко извест-
ного на Западе критическими работами о русской культуре). Тем не
менее Манн признавался, что его сформировали два явления, и оба —
религиозного характера: «знакомство с Ницше и знакомство с русской
культурой»¹⁸. Этому признанию вполне можно доверять. Хорошо из-
вестны статьи Томаса Манна об А. Чехове, И. Тургеневе, И. Шмеле-
ве и других русских писателях. В предисловии к «Русской антологии»
Манн даже пытается создать собственную концепцию становления
русской литературы. Но ее он начинает не с Толстого, а с Гоголя.
Однако это тема отдельного разговора. Толстой для Томаса Манна —

безусловно, фигура, вызывающая восхищение, но и вызывающая протест. Следуя Толстому-эпику, автор «Волшебной горы» настойчиво борется с ним, «интересуется» и «иронизирует»...

¹ Thomas-Mann-Handbuch. Stuttgart, 2001. S. 609–611; S. 247–248.

² М а н н Т. h. Betrachtungen des Unpolitischen. Fr. Am M., 2004. S. 580.

³ М а н н Т. Собр. соч.: В 10 т. М., 1959–1961. Т. 10. С. 275.

⁴ Там же. С. 280.

⁵ Т. Манн цитирует А. Шюппенгауэра, считавшего, что роман тем выше и благороднее, чем больше он проникает во внутреннюю жизнь и чем меньше представляет внешнюю. М а н н Т. Собр. соч. Т. 10. С. 280.

⁶ Сравнение «моря и эпоса» (М а н н Т. Собр. соч. Т. 10. С. 250) находим в работах о Л. Н. Толстом: «дыхание мерно катящего свои валы океана эпического искусства» («Анна Каренина». Предисловие к американскому изданию» (1939)).

⁷ М а н н Т. Собр. соч. Т. 10. С. 276.

⁸ Там же. С. 277.

⁹ Примечательно, что в рассуждении об аполлоническом начале искусства романа Манн говорит о себе, о своей знаменитой «холодности», сравнивая ее с ироничностью романного сознания: «Но разве этот суровый лук (слово, острое, как месть художника болезненной чувствительности) не такая же неотъемлемая принадлежность Аполлона, как и сладостная лира?» И далее: «“Критическая точность выражения” не связана с озлоблением» (М а н н Т. Собр. соч. Т. 9. С. 17).

¹⁰ М а н н Т. Собр. соч. Т. 10. С. 277.

¹¹ Там же. Т. 9. С. 529.

¹² Там же. Т. 10. С. 530.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же.

¹⁵ М а н н Т. h. Betrachtungen des Unpolitischen. S. 508–509 (Ich war «Beglückt und erschüttert von seiner schöpferischer Gewalt und voller Abneigung gegen alles, was Idee, was Geschichtsphilosophie darin ist: gegen diese christlich-demokratische Hartstirnigkeit, diese radikale und mushikhafte Negierung des Helden, des großen Menschen. Hier ist die Kluft und Fremdheit zwischen deutschem und national russischem Geist, hier beginnt der Widerstand Eines, in der Heimnat Goethes und Nitzsches» / Я был «счастлив и поражен ощущением его поэтической мощи и полного отрицания всего того, что есть *идея*, как ее понимает

история философии, ощущением этой христианско-демократической твердолобости, жесткого, мужицкого отрицания героики, человеческого величия. Здесь — пропасть и чуждость между немецким и русским национальным духом. На родине Гете и Ницше именно с героического начинается «сопротивляющийся» человек»). — *Пер. авт.*

¹⁶ Именно *Bildung und Protest* — основные свойства немецкой культуры, по мнению Ф. М. Достоевского, на которое и опирается Т. Манн в «Записках аполитичного» (*Betrachtungen des Unpolitischen*. S. 62). «*Bildung ist ein spezifisch deutscher Begriff; er stammt von Goethe, von ihm hat er den plastisch-kuenstlerischen Charakter, den Sinn der Freiheit, Kultur und Lebensandacht erhalten, in welchem Turgenjew das Wort gebrauchte, durch ihn ist dieser Begriff in Deutschland zum erzieherischen Prinzip erhoben worden, wie bei keinem anderen Volk*». «*Deutschland, das protestierende Reich...Nicht allein jene Formel des Protestes, die sich zu Luther Zeiten entwickelte, sondern ein ewiges Protestantentum, sein ewiger Protest, wie er einsetzte mit Armin gegen römische Welt...*» / «Становление — типично немецкое понятие, идущее от Гете, от него оно унаследовало художественно-пластический характер, ощущение свободы, культуры и преклонение перед жизнью. В этом значении Тургенев ввел его в культурный обиход, и оно поднялось до принципа воспитания, как ни в какой другой стране». «Германия — царство протеста. Не только протеста, оформившегося во времена Лютера, но и вечного протеста, каким он зародился во времена Арминия, сопротивлявшегося римлянам». — *Пер. авт.*

¹⁷ Это устойчивое разговорное выражение («*mit der Tür ins Hause fallen*») переводится как «рубить с плеча», «делать что-то стремительно, предварительно не обдумывая». Буквальный перевод: «падать с дверью в дом».

¹⁸ *Betrachtungen des Unpolitischen*. S. 578.

Н. А. Мозохина

ХУДОЖНИЦА ЕЛИЗАВЕТА БЁМ — ИЛЛЮСТРАТОР Л. Н. ТОЛСТОГО

Среди знакомых Л. Н. Толстого встречается имя художницы Елизаветы Меркурьевны Бём (урожд. Эндауровой), много работавшей в области книжной иллюстрации, силуэта и прикладной графики и выполнявшей многочисленные заказы русской аристократии на поздравительные адреса и другие рисунки «по случаю». Известно, что она была большой почитательницей творчества писателя, неоднократно рисовала его портреты и делала портреты героинь его романов. Сохранились свидетельства, согласно которым Толстой положительно отзывался о ее графических работах и даже ставил ее творчество в пример. Однако редкость этих отзывов и упоминаний ее имени в эстетико-теоретических трудах писателя свидетельствуют о наличии у него внутренних противоречий в связи с оценкой ее художественного труда.

Е. М. Бём получила то художественное образование, на которое только могла претендовать женщина в ее время, — в 1864 г. она окончила Рисовальную школу Общества поощрения художеств. Будучи ученицей И. Н. Крамского, с которым она до конца его жизни состояла в дружественной переписке, она не следовала критической направленности передвижников, не затрагивала в своем творчестве социальной проблематики и оставалась на протяжении всей своей жизни «камерной» художницей.

Единственная встреча художницы с Толстым состоялась в 1897 г. в Петербурге, хотя их заочное знакомство относится к 1885 г. и связано с передачей писателю приятельницей Бём А. В. Дмоховской нескольких тетрадей с силуэтами, выполненными Елизаветой Меркурьевной¹. Скорее всего, имея в виду необычайную скромность художницы, неоднократно отмеченную современниками, это была личная инициатива ее знакомой.

В ответ на присылку рисунков в июне 1885 г. Толстой отправил художнице предложение сотрудничать с издательством «Посредник»:

«Очень благодарен вам за прекрасные ваши картинки. Я уж давно знаю их и люблюсь ими. Не слышали ли вы про издание лубочных книжек и картин Сытина, частью которых занимаются близкие мне люди и отчасти и я. В Петербурге есть склад этих изданий на Б. Дворянской, 25. Принимают участие в этом деле Савицкий, Кившенко, Крамской и Репин. Как бы хорошо было, если бы вы захотели послужить этому делу» (63, 256—257). Бём тотчас же согласилась: «Если по мере моих сил и способностей я буду в состоянии принести хоть малую пользу этому делу, то сочту себя весьма счастливой»².

Переписка Бём с Толстым не была непрерывной. Однако они внимательно следили за творчеством друг друга и были связаны общими знакомыми. Е. М. Бём была знакома с Чертковыми, вела с ними переписку, в которой часто упоминалось имя Толстого. Например, в августе 1895 г. она получила от В. Г. Черткова «длинное письмо», в котором тот говорит о писателе: «...здоров, быстр и много пишет»³.

9 февраля 1897 г. во время краткого визита Толстого в Петербург для прощания с уезжавшими в заграничную ссылку В. Г. Чертковым и П. И. Бирюковым Бём познакомилась с Толстым лично. Сохранились воспоминания художницы об этом событии, опубликованные по записи из архива В. И. Срезневского (Гос. лит. музей)⁴. В рукописном отделе Пушкинского Дома хранятся эти же воспоминания, записанные со слов художницы рукой В. П. Шнейдер⁵.

Бём познакомилась с писателем на вечере у Чертковых и имела возможность лично узнать мнение Толстого о своем творчестве. Когда речь зашла об искусстве, он поставил работы художницы всем в пример: «Надо, чтобы всякий в своем деле был понятен и интеллигенции, и простым людям. Вот вы, Елизавета Меркурьевна, в ваших небольших графических силуэтах достигли этого и понятны тем и другим»⁶.

Вторая встреча Толстого и Бём произошла на следующий день в Публичной библиотеке у В. В. Стасова. При прощании писатель заметил: «Прощайте, Елизавета Меркурьевна, гора с горой не сходятся, а людям как не встретиться, всегда буду рад общению с вами»⁷. Однако новых встреч не было. Дальнейшее общение также происходило через переписку третьих лиц.

В 1898 г., к семидесятилетию писателя, Бём на Дятьковском хрустальном заводе С. Мальцова, где директором был брат художницы, исполнила эскизы «стаканов и проч. с орнаментами из русских рукописей»⁸. По-видимому, эти изделия из стекла предназначались для



Е. М. Бём. Л. Н. Толстой среди яснополянских детей.
Открытое письмо. СПб.: Изд. «Ришар», 1909—1910.

преподнесения писателю в день торжеств. Дальнейшая судьба их неизвестна; в каталоге произведений Бём, составленном С. Чапкиной-Ругой, они не значатся⁹.

Летом 1900 г. В. В. Стасов после визита в Ясную Поляну написал художнице, что писатель «был очень, очень доволен Вашей памятью о нем и тотчас же попросил, чтобы я написал Вам “большой поклон” и сказал, что “очень Вас любит и уважает”»¹⁰. В 1906 г. И. И. Горбунов-Посадов сообщает Толстому со слов художницы о последних минутах жизни В. В. Стасова¹¹. А в 1910 г. на открытке по рисунку Бём «Л. Н. Толстой среди яснополянских детей», выпущенной в петербургском издательстве «Ришар», Толстым было сообщено М. А. Стаховичу об открытии в Ясной Поляне библиотеки (90, 341).

На этой открытке была воспроизведена одноименная акварель художницы, исполненная в 1909 г. и хранящаяся ныне в ГМТ. История создания этого рисунка неизвестна, но это единственный портрет Толстого работы Бём, с которым писатель был знаком. Известно, что художница пыталась зарисовать его в доме Чертковых во время первой

встречи с ним: «Взяла карандаш: хотела попробовать его набросать, но он вскинул на меня глаза, и у меня не хватило смелости продолжать»¹².

Композиционное построение акварели таково, что зритель оказывается в роли одного из яснополянских детей, окруживших Толстого. Известной своим мастерством в изображении детей Бём было несложно составить композицию из множества детских лиц и их типажей, каждый из которых по-своему реагирует на обращение к ним великого писателя. Один мальчик явно смущен и смотрит с недоверием, другие с большим интересом слушают его, еще один мальчик остается равнодушным. И главным в этом рисунке оказывается не столько личность Толстого, сколько отношение к нему и его словам детей. Таким образом, его образ раскрывается опосредованно, через выражения лиц маленьких жителей Ясной Поляны. А сам портрет писателя в этой работе решен лишь в общих чертах.

По воспоминаниям знавших ее людей, портретное сходство художнице не удавалось. Хотя она бралась за такого рода работы, они оказывались неудачными, как, например, портреты А. А. Чичерина, М. Г. Савиной и других. По словам близкой приятельницы художницы А. П. Шнейдер, «это всегда было мучением», а неудача очень остро ею воспринималась¹³.

Известны несколько портретов Толстого работы Е. М. Бём. По каталогу С. Чапкиной-Руги, их всего тринадцать и еще один условный — «Голова крестьянина (Л. Н. Толстой)». Все они были исполнены после знакомства художницы с писателем по памяти. «Голова крестьянина» из собрания Вологодской областной картинной галереи, скорее всего, портретом писателя не является. Этот профильный рисунок подписан художницей и датирован ею 1887 г., когда личное знакомство еще не произошло. Акварель носит характер явной натурной зарисовки и по характеру исполнения прекрасно вписывается в этот круг работ художницы. Черты лица изображенного лишь отдаленно напоминают черты лица Толстого, а схожесть с писателем определяется только типом прически и бородой.

Остальные портреты, в большинстве своем без подписи художницы, не вызывают сомнений в том, кто на них изображен. Только четыре из них носят самостоятельный характер, а основная их часть, выполненная в технике силуэта (ныне хранятся в ГМТ), является разработкой траурного портрета писателя. Три силуэта наклеены на картон с рамкой

или венком и надписью «7 ноября», датой смерти Толстого. А еще три представляют собой вариации на эту тему. Акварельный профильный портрет писателя из того же собрания, скорее всего, также написан с целью создания траурного изображения. Художница могла по памяти исполнить этот портрет, чтобы с его помощью нарисовать профиль писателя. Неизвестно, был ли опубликован в печати хотя бы один из вариантов траурного портрета.

Два самостоятельных силуэтных портрета писателя — за работой и с книгой — так же маловыразительны, как и траурные. Силуэты Е. М. Бём с ее любовью к дробной форме необычайно хороши для сюжетных повествований, но для портретов такой подход не очень удачен, особенно в этих двух случаях, когда плоскостность самого портретного изображения приходит в диссонанс с объемным изображением книги или стола с письменными принадлежностями.

Чрезвычайно маленький овальный портрет писателя за работой, выполненный сепией, исполнен искусно, тщательно выписана каждая мельчайшая деталь. Столь популярный у русских художников, портретировавших писателя, сюжет в этом миниатюрном рисунке кажется созданным именно для памятного медальона.

Два силуэта Толстого, изображенного в профиль (также из собрания ГМТ), являются подготовительными работами для открытки издания «Ришар». Только на открытке силуэт писателя был белым на черном фоне, а на рисунках — черным на белом фоне. Открытка была выпущена без номера, то есть вне основного заказа. Возможно, исполнялась она срочно, в связи со смертью писателя, потому на ней и не была проставлена нумерация.

Еще один портрет писателя был исполнен Бём также для открытки по заказу устроителей выставки «Детский мир». На рисунке изображен мальчик-гусляр, а над ним помещены медальоны с портретами четырех выдающихся деятелей русской культуры в детстве. Наряду с А. С. Пушкиным, А. Г. Рубинштейном и В. В. Верещагиным был помещен портрет Толстого.

Сложности для Бём в портретном жанре сказались и в ее работах по иллюстрированию произведений Толстого, которые также не всегда отличались психологической глубиной и проникновением в образ. В первую очередь это касается ее «портретов» главных героинь романов писателя, исполненных по заказу петербургского издательства «Ришар» специально для открытых писем. Об особом заказе

рисунков для открыток свидетельствуют два эскиза к ним, хранящиеся в ГМТ, размер которых соответствует размеру бланка почтовой карточки.

Владелец фирмы «Ришар» Рихард Лютерман, немецкий подданный и владелец магазина искусственных цветов, издавал открытые письма в основном репродукционного характера, однако некоторые художники работали и по его особым заказам¹⁴. Когда он обратился к выпуску открытых писем, то одним из первых художников, кого он пригласил к сотрудничеству для создания оригинальных художественных открыток, стала Е. М. Бём, работы которой в этом жанре были очень популярны в России. Издание открыток с ее рисунками заведомо обеспечивало издателю коммерческий успех. Например, сотрудники известного в России открыточного издательства Общины св. Евгении отмечали: «... при издании нового рисунка можно только предугадывать, как он пойдет, а наверняка (за несколькими исключениями: Бём, например) сказать нельзя»¹⁵.

Единовременно Р. Лютерманом было выпущено сразу восемьдесят открыток художницы. Всего же для этого издательства Бём нарисовала более ста открытых писем. И только шесть из них тематически связаны с Толстым. О двух портретных изображениях писателя уже говорилось выше. Еще четыре открытки были объединены в серию под названием «Типы Л. Н. Толстого». Ее создание относится к 1910-м гг., поскольку по издательской нумерации она вышла после открытки «Л. Н. Толстой среди яснополянских детей» 1909 г. В нее вошли «портреты» Анны Карениной, Катюши Масловой, Наташи Ростовской и Маланьи из «Тихона и Маланьи».

Эти «портреты» сложно назвать удачными. Характеры героинь переданы лишь поверхностно, но такая их трактовка прекрасно согласуется со спецификой открытки как жанра. Бём снимает психологический аспект, делая ставку на легкость восприятия, упрощая образы героинь и в жанровом отношении превращая их портреты в типичные для открыток «головки», которые отражали какую-либо одну черту характера человека или его социальный статус. Например, в образе Анны Карениной на первый план выдвигается ее принадлежность высшему аристократическому обществу.

Более удачны иллюстрации художницы к толстовской «Сказке об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах» и его



Е. М. Бём.

E. Boehm.

Types de L. Tolstoi.
Malania (Tihon et Malania).

Е. М. Бём. Маланья («Тихон и Маланья»).

Открытое письмо из серии «Типы Л. Толстого».

СПб.: Изд. «Ришар», 1910-е гг.

комедии «Первый винокур, или Как чертенюк краюшку заслужил» (исследователь творчества Бём С. Чапкина-Руга ошибочно приписала Толстому и сказку Н. А. Полушина «Исай, эфиопский царь», которую иллюстрировала художница)¹⁶.

Эти произведения увидели свет практически одновременно, в 1886 г., в издании «Посредника». Они были снабжены рисунками плодovitого книжного иллюстратора второй половины XIX столетия М. Г. Малы-

шева¹⁷. Это были посредственные и незапоминающиеся иллюстрации, какими часто сопровождалась дешевые издания для народа. Печатались эти книжки в типографии И. Д. Сытина, который спонсировал издательство «Посредника».

Сытин был частым заказчиком рисунков Бём. Он ценил быстроту ее работы и популярность ее творчества у всех слоев населения. О ее успехах у широкой публики говорит наличие ее работ в коллекциях представителей аристократических фамилий (например, графини Е. Шереметевой и Н. Тевяшовой), в собрании крупнейшего специалиста по русской гравюре и литографии Е. Е. Рейтерна¹⁸, а также свидетельства современников, согласно которым, «когда листы “Репки”¹⁹ были выставлены в окнах магазина “Аванцо”, то перед ними стояли извозчики и от души хохотали. Такое же удовольствие эти листы доставляли рабочим у Ильина²⁰, когда они печатались»²¹.

И. Д. Сытин, стремясь получить выгоду от такой всенародной любви к творчеству художницы, заказал ей рисунки для собственного издания «Сказки об Иване-дураке». В 1887 г., то есть через год после выхода сказки в издании «Посредника», книжка увидела свет²². Художницей были исполнены силуэтные рисунки для первой и последней страниц обложки и титульного листа. В том же году в московской типографии Вильде сказка была переиздана с рисунками художницы для обложки, но без силуэта для титульного листа²³.

В ГМТ сохранилось несколько авторских листов с вариантами иллюстраций художницы к сказке. По-видимому, силуэты чертят были найдены ею сразу, поскольку они остаются неизменными от рисунка к рисунку. Менялись только размеры композиций, шел поиск расположения фигур на пространстве листа, убирались или добавлялись незначительные элементы антуража.

Для иллюстрирования художницей были выбраны из сказки сюжеты, связанные по действию с чертенятами. При этом Бём иллюстрировала не столько сам текст, сколько фантазировала по его мотивам. Если сговор чертенят на первой странице обложки имеет отношение непосредственно к сюжету, то два других рисунка — это вариации «на тему». Использование техники силуэта в связи с этой темой оказалось очень органичным, поскольку черный цвет ассоциируется с нечистой силой, обитающей под землей. Прекрасно со сплошной черной заливкой силуэтов чертенят согласуется первой рисунок снопов сена с четко выписанным каждым колоском.

«Первый винокур» с рисунками Бём был издан уже не самим Сыттым, а под маркой «Посредника»²⁴. Для этой книги художница исполнила только два рисунка для обложки. Это издание отличает прекрасная полиграфическая печать, которая представила силуэты в наиболее выгодном свете. При этом иллюстрации к этой комедии носят несколько иной характер, чем к «Ивану-дураку». В них более акцентированно дьявольское начало, и черти здесь уже не столь безобидны и совсем не похожи на шаловливых детей.

К тому же 1887 году относится целая серия рисунков с портретами персонажей пьесы Толстого «Власть тьмы». Возможно, эти иллюстрации создавались по заказу издательства «Посредник», но по неизвестной причине так и не были опубликованы. Скорее всего, глубокого проникновения в характеры персонажей Бём не добивалась, ей важнее было передать какие-то их бытовые характеристики, внешние признаки.

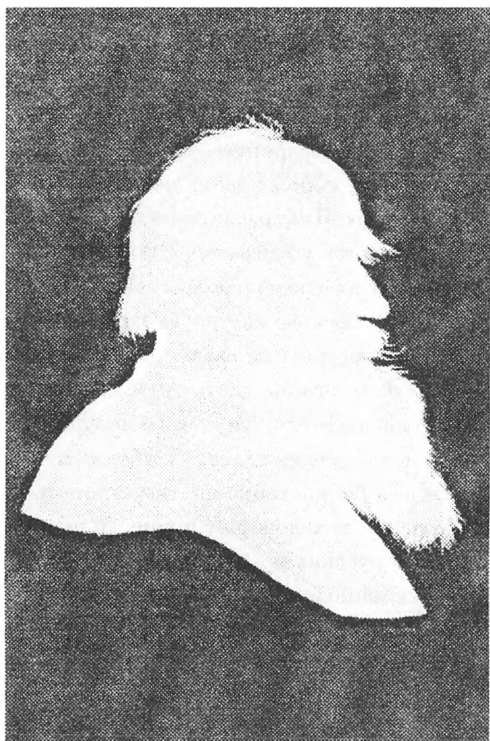
Вновь обратиться к «Власти тьмы» художницу заставила долгожданная постановка пьесы в России в 1895 г. Незадолго до премьеры она познакомилась с М. Г. Савиной, которая исполняла в спектакле роль Акулины. Художница отдыхала в местечке Друскеники Гродненской губернии, куда в то же лето на лечение приехала актриса. Бём загорелась желанием написать ее портрет, но, по словам Ф. Д. Батюшкова, «Савина медлит заявиться, вероятно ожидая, что ванны ее немножко “помолодят”»²⁵. Однако согласие было получено, и художнице удалось сделать два портретных наброска. По ее свидетельству, «Мария Гавриловна во время сеансов так увлекательно рассказывала разные эпизоды из своей артистической деятельности, так сверкала остроумием, так умела заинтересовать своими воспоминаниями, меткими характеристиками известных деятелей на разных поприщах, что кисть выпадала из рук»²⁶. «Чересчур она [Бём] волновалась, да и Савина постарела, подурнела и красавицу из нее трудно было сдюжить»²⁷, — отмечал Ф. Д. Батюшков.

Было решено отложить сеансы до зимы, но они так и не возобновились. Однако художницей был написан портрет актрисы в роли Акулины из «Власти тьмы». Этот портрет она исполняла по памяти после премьеры в Александринском театре. Наряду с ним Бём сделала еще несколько зарисовок актеров, исполнивших в этом спектакле главные роли: В. Н. Давыдова в роли Акима, В. В. Стрельской в роли Матрены, К. А. Варламова в роли Митрича.

Посетила художница и спектакль «Власть тьмы», поставленный на сцене Театра Литературно-драматического кружка, где премьера состоялась на день раньше, чем в Александринском театре. Здесь она исполнила аналогичные «ролевые портреты» Э. В. Холмской в роли Анисьи, П. А. Стрепетовой в роли Матрены, М. А. Михайлова в роли Акима и П. К. Красовского в роли Митрича. На тех листах, где помещено несколько «ролевых портретов», они не объединены единством действия и представляют собой просто несколько зарисовок, никак между собой не связанных. Фигуры актеров на этих листах небольшие, поэтому портретное сходство угадывается с большим трудом. Должный представать в этих работах «актер в роли» оказывается только «типом из пьесы», похожим на обычную натурную зарисовку из жизни.

Таким образом, рассмотренные выше примеры произведений Бём, связанных с именем Толстого, не дают оснований поставить ее в ряд лучших иллюстраторов писателя. Многие ей не удавалось, а специфика ее дарования не позволяла ей сделать глубокие по содержанию рисунки, которые смогли бы достойно соответствовать произведениям писателя, хотя известность художнице принесли именно ее иллюстрации к произведениям русских прозаиков. Интересно, что их отзывы о творчестве Бём всегда положительны; они не только отмечали простоту и доходчивость ее работ для обычных людей, но и умение вникнуть в литературный текст, перевести его на язык изобразительного искусства так, что писатель видел и узнавал своих героев такими, какими он их сам изобразил. Для творчества художницы характерна ее прочная внутренняя связь с литературой, образами которой она вдохновлялась и, более того, воспитывалась. Она постоянно следила за всеми новинками прозы и через нее изучала жизнь и людей.

Иллюстрируя книгу, Е. М. Бем с большим вниманием относилась не только к постраничным иллюстрациям и рисунку обложки, но и к малейшей виньетке. Оформленные ею книги и литографические листы отличаются художественной цельностью и одновременно занимательностью, причем близкой по содержанию тому, что Толстой называл «заразительностью искусства». Всенародная любовь, которой пользовались ее произведения, свидетельствует о той понятности, которая была категорическим требованием писателя к любому произведению искусства. А характер их восприятия широким зрителем был близок тому чувству, которое, по мнению Толстого, отличало настоящее произведение от поддельного; это то чувство, когда «воспринимающий



Е. М. Бём. Л. Н. Толстой.
Открытое письмо. СПб.: Изд. «Ришар», 1910 (?).

до такой степени сливается с художником, что ему кажется, что воспринимаемый им предмет сделан не кем-либо другим, а им самим, и что всё то, что выражается этим предметом, есть то самое, что так давно уже ему хотелось выразить» (30, 149).

Важно отметить, что знакомство писателя и художницы произошло именно в тот момент, когда он приступил к написанию статьи «Что такое искусство?», поэтому его высокое мнение о творчестве художницы, зафиксированное в ее воспоминаниях, имеет большое значение при анализе его художественно-эстетических взглядов и размышлений

о природе искусства. Неудачные его портреты и некоторые иллюстрации к его произведениям, которые вряд ли могли «заразить» собой широкую публику, были мало ему известны, поскольку принадлежали нетиражной графике, а увидеть их можно было только при личной встрече с художницей. Открытки же были изданы, скорее всего, после смерти писателя. Таким образом, он судил о ее творчестве, практически не имея примеров иллюстрирования ею его собственных произведений, за исключением изданий «Посредника», которые можно приписать к наиболее удачным ее работам. Бём более удавалось проникновение в художественный мир других современных ей писателей, а также иллюстрирование русских народных сказок и поговорок. Именно эта сторона ее творчества, наиболее популярная при ее жизни, была ему известна.

Из всех особенностей творчества Бём Толстой выделил только его понятность для всех. Однако были и еще некоторые моменты, которые могли привлечь внимание писателя к работам художницы. В первую очередь следует отметить религиозную содержательность ее рисунков. При всей внешней светскости и занимательности ее работ художница особо акцентирует религиозность своих персонажей. «Русский» антураж, используемый ею, является способом, с помощью которого она заявляет своих героев как православных верующих.

Импонировало Толстому и сочувствие художницы делу массовых народных изданий, поскольку во второй половине XIX столетия иллюстрирование подобных книг не считалось для большого художника достойным его звания заработком. Очень часто такие издания воспринимались одним из проявлений меценатства, с которым в начале XX в. деятели искусства и культуры стали бороться особенно активно.

Однако творчество Е. М. Бём целиком вписывается в контекст этого культурного явления, хотя и не ограничивается им одним. К концу XIX в. русская культура средних слоев городского населения достигает апогея своего развития. Им близки идеи простоты и практичности, стремление к комфорту и уюту. Понятие красоты сцепляется в их сознании с представлениями об удобстве и благоустройстве. Они сознательно ограничивают воспринимаемый ими мир пространством собственного жилища. Поэтому каждый находящийся в нем предмет быта или интерьера всегда осознается ими как имеющий большое значение для формирования образа этого мира, становится особенно важным и освещается теплом человеческого отношения.

К изображению в этой системе предъявляются особые требования. Оно должно соотноситься с патриархальными традициями и привычками семьи, должно радовать глаз и в определенной степени развлекать ум (с чем, однако, не был согласен Толстой). Работы Бём оказались созвучны умонастроениям такой публики, они заставляли забыть о внешнем мире и целиком сосредоточиться на маленьких радостях семейной жизни. Созданный ею мир был стабилен, так как базировался на достижениях тысячелетней мудрости русского народа — тех проверенных временем пословицах и поговорках, которые художница хорошо знала и которыми умело пользовалась при создании очередного рисунка. Миру ее образов можно было доверять, как можно было доверять опыту собственных бабушек и дедушек.

Таким образом, «тихое» искусство Бём, хотя и высоко оценивалось Толстым, во многом входило в противоречие с его художественно-эстетической программой. Имя художницы ни разу не упоминалось им в его трудах, посвященных вопросам искусства. «Понятность» и «заразительность» ее произведений упоминались им лишь как пример хорошей работы художника, находящегося на правильном пути. Однако изучение творчества Елизаветы Меркурьевны Бём, в том числе и ее произведений, связанных с именем Толстого, необходимо для понимания культурного контекста времени и художественно-эстетических концепций второй половины XIX — начала XX в.

¹ См.: Л. Н. Толстой и художники: Л. Н. Толстой об искусстве: Письма, дневники. Воспоминания / Сост. И. А. Бродский. М., 1978. С. 260.

² Цит. по: Л. Н. Толстой и художники... С. 81.

³ РО ИРЛИ, ф. 340, оп. 1, ед. хр. 38, л. 146 об.

⁴ Л. Н. Толстой: К 120-летию со дня рождения (1828—1948). М., 1948. С. 373—376.

⁵ РО ИРЛИ, ф. 340, оп. 1, ед. хр. 1. Интересно, что описываемые здесь события ошибочно датированы 1883 годом, а сама запись отнесена к 1892 г. Природа этой ошибки неясна, поскольку В. П. Шнейдер была ближайшей приятельницей Е. М. Бём, состояла с ней в постоянной дружеской переписке и именно ей была передана переписка художницы с некоторыми выдающимися деятелями русской культуры, которая после поступления архива сестер Шнейдер в Пушкинский Дом образовала в составе этого архива отдельный фонд.

⁶ *РО ИРЛИ*, ф. 340, оп. 1, ед. хр. 1, л. 6.

⁷ Там же, л. 8.

⁸ *РО ИРЛИ*, ф. 340, оп. 4, ед. хр. 22, л. 6 об.

⁹ Чапкина - Руга С. А. Русский стиль Елизаветы Бём. М., 2007. С. 487–501.

¹⁰ В Ясной Поляне: Письмо В. В. Стасова к Елиз. М. Бём // Невский альманах. Пг., 1917. Вып. 2. С. 212.

¹¹ Буслаяев Ф. В. Корреспонденты Л. Н. Толстого. М., 1940. С. 50.

¹² *РО ИРЛИ*, ф. 340, оп. 1, ед. хр. 1, л. 1 об.

¹³ *РО ИРЛИ*, ф. 340, оп. 1, ед. хр. 7, л. 5.

¹⁴ См. подробнее об издательстве: Мозохина Н. А. Штрихи к истории фирмы «Ришар» // Петербургский коллекционер. 2008. №5 (50). С. 50–51.

¹⁵ ЦГИА СПб., ф. 202, оп. 2, ед. хр. 1475, л. 153–154.

¹⁶ Чапкина - Руга С. А. Русский стиль Елизаветы Бём. С. 249–250.

¹⁷ Толстой Л. Н. Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах. М.: Посредник, 1886; Толстой Л. Н. Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил. М.: Посредник, 1886.

¹⁸ *РО ИРЛИ*, ф. 340, оп. 4, ед. хр. 30, л. 2 об.

¹⁹ Народная сказка о репке. Силуэты Е. Бём. СПб.: Изд. А. Фельтена, 1881.

²⁰ А. А. Ильин — владелец Картографического заведения в Петербурге, одной из крупнейших и лучших типографий в России; двоюродный дядя Е. М. Бём со стороны матери.

²¹ *РО ИРЛИ*, ф. 340, оп. 1, ед. хр. 1, л. 6 об.

²² Толстой Л. Н. Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах. М.: Тип. И. Д. Сытина и К^о, 1887.

²³ Толстой Л. Н. Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах. М.: Тип. Вильде, 1887.

²⁴ Толстой Л. Н. Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил. М.: Посредник, 1887.

²⁵ *РО ИРЛИ*, ф. 340, оп. 1, ед. хр. 30, л. 51.

²⁶ Батюшков Ф. Д. Ел. М. Бём и М. Г. Савина // Невский альманах. Пг., 1917. Вып. 2. С. 188.

²⁷ *РО ИРЛИ*, ф. 340, оп. 1, ед. хр. 30, л. 61 об.

Н. В. Жилиякова

ЧЕРНОСОТЕННАЯ И ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ О Л. Н. ТОЛСТОМ

(1910 г., Томск)

Уход Л. Н. Толстого, его скоротечная болезнь и смерть в конце 1910 г. вызвали бурное обсуждение на страницах российской печати — как столичной, так и провинциальной. Исследование местной периодики позволяет увидеть, какой уровень осмысления личности и творчества Толстого задавался российской прессой разных направлений, в том числе малоисследованной официальной и черносотенной печатью этого периода.

Характерным примером здесь может служить пресса города Томска, бывшего в 1910 г. центром огромной Томской губернии, в которую входили современные Томская, Новосибирская, Кемеровская, Алтайская области и часть других территорий. Он обладал разветвленной системой периодики, в которую входили официальные и частные газеты и журналы.

Официальными органами печати в Томске были газеты «Томские губернские ведомости» (1857—1917) и «Томские епархиальные ведомости» (1880—1917), в структуру которых входил «Неофициальный отдел» — здесь публиковались отчеты, статьи, фельетоны, литературно-художественные материалы.

Кроме крупных частных газет либерального и социал-демократического направлений «Сибирская жизнь» и «Сибирское слово» в 1910 г. в Томске издавалась политическая, общественная и литературная газета «Сибирская правда» (1908—1915), орган Томского губернского отдела Союза русского народа. Ее редактором-издателем с 1910 г. был В. А. Залесский. Названию газеты сопутствовало ее кредо: «Россия для русских. Православие, самодержавие, русская народность». Небольшого формата (немногим больше А4) газета использовала иллюстрации (карикатуры), отличалась особой стилистикой

и пафосностью. В объявлении о подписке «Сибирская правда» так формулировала свои задачи: «энергично бороться с засилием иноверцев, иноплеменников и жидов», «самоотверженно отражать революционную деятельность». Политическая полемика — основное содержание «Сибирской правды».

Имя Льва Толстого в 1910 г. появилось в самом первом номере «Сибирской правды», это была перепечатка из газеты «Земщина» «Обращение В. Шулгина к графу Л. Толстому», в котором «правый» депутат обвиняет «старого графа» в том, что тот «в холе, в тепле, в довольстве, в безопасности» из Ясной Поляны «поучает»: «Не противьтесь злу, христиане», в то время как «кругом ад», «проклятая революция вытравила в сердцах человеческих все, что в них было человеческого», и «зверь» готов расправиться со всеми, в том числе и с графом и его семьей. «Мы, властители, мы, законодатели, мы, судьи, — пишет автор статьи, — мы начнем и свершим борьбу со зверем, и когда кончим свое черное и кровавое дело, пойдем отдавать ответ Господу Богу», а «престарелый писатель» «пусть остается чистым, неокровавленным».

«Сибирская правда» не стеснялась в выражениях в тех материалах, где речь шла о религиозности Толстого. Ярким примером может служить опубликованная 10 апреля небольшая статья Михаила Сырокомля-Сопощько под названием «Как хоронить яснополянского шарлатана (Доклад главной Палате народного союза во имя Михаила Архангела)»; ее автор напоминал, что «лет восемь назад Св. Синод распорядился по Империи, чтобы никто из православных иереев не дерзал, в случае смерти основателя богохульной толстовщины, хоронить его труп по православному обряду и с пением “со святыми упокой!” — что, конечно, было бы таким поруганием нашей веры, какое послужило бы к отменному удовольствию всем кощунникам». Но, добавляет автор, «граф Толстой — живуч: смерть, должно быть, по нынешним временам уклонилась в толстовщину и стала в тупик перед “бессмертным”, “славным”, “великим”... разбойником пера». Призывая всех священников к соблюдению установленного правила, он восклицал: «Не забывайте: граф Толстой предан анафеме, отлучен от церкви, обречен на вечную гибель, ибо вне Церкви, а особенно при хулении Ее, спасение невозможно. Довольно было ему ругаться над Невестой Христовой церковью при жизни: не дадим ему, подлому, поругаться над нею и после смерти!» Агрессивный тон, исступленная

нетерпимость характерны и для других высказываний авторов «Сибирской правды» (и не только по отношению к Толстому).

Необходимо отметить, что 1 мая в «Сибирской правде» появилась публикация «Нашим анонимам», которая дает основание считать, что один из читателей газеты в письме в редакцию (оно не было опубликовано) выступил в защиту Толстого, подписавшись «Крестьянин». Газета же считает, что, «заступаясь за известного развратителя нравственности и кощунника графа Л. Толстого — наш аноним этим самым доказал, кто он таков в исполнении религиозных обрядностей».

«Сибирская правда» была вполне солидарна с «Земщиной» в том, что «Толстой является символом отрицания всего, чем живо Русское государство», и так же недоумевала относительно того, «уместны ли вокруг его имени бесконечная шумиха и беспрестанные напоминания о нем», однако не без удовольствия ссылалась на его авторитет в случае, например, употребления слова «жид», поскольку оно встречается в произведениях Толстого и, судя по переписке, писатель считал это слово «определением национальности, как, например, француз и т. д.» (все это газета писала в день рождения писателя, 28 августа).

В «Томских епархиальных ведомостях» о писателе нет никаких упоминаний (что неудивительно), а вот в «Томских губернских ведомостях» имя Толстого постоянно появлялось на первой полосе газеты: в «Официальном отделе», в «Циркулярах Главного управления по делам печати» — в той части, где речь шла об аресте и уничтожении книг и брошюр. И только один раз, 17 февраля, Толстой был упомянут в «Томских губернских ведомостях» в отделе неофициальном — в связи с антиалкогольным съездом, которому в газете была посвящена статья «Против зеленого змия». Автор указывает, что «думский депутат от Самары, Чельшев, с благословения Л. Толстого, предлагал, в целях борьбы с народным пьянством, печатать на ярлыках водочной посуды: — Водка — яд». Это средство газета называла «наивным», считая, что от водки «не ярлыками надо отпугивать», а уничтожить «этот самый яд», делать его недоступным для народа.

Таким образом, и до сенсационного известия об уходе Толстого имя его периодически появлялось на страницах местной черносотенной прессы. Что касается печати официальной, то информация, представленная здесь, демонстрировала неустанную борьбу правительства с произведениями Толстого путем ареста и уничтожения изданий.

Картину томской дополняют архивные сведения из Государственного архива Томской области (ГАТО). Здесь хранится дело «О смерти Толстого Л. Н.»¹, в котором представлены телеграммы, секретные донесения, рапорты, свидетельствующие о большой тревоге, с какой ожидали власти известия о смерти великого русского писателя, и о том, что предпринимали для соблюдения порядка в Томске и Томской губернии после получения печального известия.

Отправленная томскому губернатору еще 5 ноября из Петербурга экстренная телеграмма гласила: «Если в случае смерти графа Льва Толстого поступят просьбы о служении панихид не оказывайте противодействия и предоставьте всецело разрешение этого вопроса местной духовной власти Точка За устроителями и присутствующими на панихидах благоволите приказать учредить неослабное наблюдение и никоим образом не допускайте никаких выступлений противоположительного характера»².

На следующий день, 6 ноября, в Томске была получена телеграмма следующего содержания: «Случае смерти Льва Толстого если учебным начальством высших учебных заведений будут разрешены сходки студентов по этому поводу не оказывайте противодействия при соблюдении условий в законе указанных Точка Необходимо первое чтобы на сходках не было резолюций с призывом каким-либо демонстрациям второе чтобы не было резолюций порицания Свят Синоду или правительству»³. На основе этой телеграммы были составлены письма ректору Томского университета, директору Томского технологического института, попечителю Западно-Сибирского учебного округа, информирующие их об указаниях министерства внутренних дел⁴. На основе этих документов можно сделать вывод о том, что правительство ожидало общественного резонанса в ответ на известие о смерти писателя, и прежде всего в связи с отлучением его от церкви.

Наконец, 8 ноября 1910 г., когда уже было известно о смерти Л. Н. Толстого, томский губернатор получил телеграмму, дополняющую уже сделанные указания: «Ввиду последовавших инструкций о том чтобы члены администрации не чинили препятствий духовным лицам служению панихид по скончавшемуся графу Льву Толстому благоволите принять меры к тому чтобы публикации в газетах о служении панихид допускались на иначе как с разрешения полиции по получении письменного извещения подлежащего духовного лица в том что

панихида действительно будет служить дабы под предлогом служения панихиды не организовалось бы в определенном месте собрание публики с целью противоправительственных демонстраций»⁵.

Известие о смерти Льва Толстого пришло в Томск вечером 7 ноября. В частных ежедневных томских газетах «Сибирская жизнь» и «Сибирское слово» за 7–9 ноября 1910 г. можно было прочитать о том, как отреагировало томское общество на это событие. Так, «Сибирское слово» 7 и 8 ноября в рубрике «Томская жизнь» поместило следующие краткие сообщения корреспондентов:

«Соединенное заседание Императорского Русского технического общества и союза сибирских инженеров для заслушания доклада о перспективах хлебного экспорта из Сибири ввиду национального горя почтило память Л. Н. Толстого вставанием и постановило закрыть заседание в знак траура. Собрание отложено на вторник в 7 час. вечера в горной аудитории.

Общественное собрание постановило не допускать в течение трех дней никаких увеселений и зрелищ в помещении собрания.

Детский вечер, назначенный в воскресенье, по случаю кончины Л. Н. Толстого не состоялся.

В технологическом институте происходила сходка по академическим вопросам. По получении известий о кончине Толстого академическую сходку постановили закрыть, память почтили вставанием и пропели вечную память. Семье Толстого решено послать телеграмму о соболезновании в знак траура и постановили в течении трех дней не производить никаких учебных занятий. Это постановление развешено по стенам коридора института.

На улицах. После выхода телеграмм, известивших о смерти Л. Н. Толстого, на улицах замечался особый подъем и оживление. Телеграммы раскупались нарасхват. Особенно интересно отметить, как к киоскам и продавцам газет подходили группы мужичков и спрашивали «что-нибудь поподробнее о смерти Л. Н. Толстого». Вечером на улицах, особенно около «иллюзионов», наблюдались усиленные наряды полиции.

В учебных заведениях.

Технологический институт. В понедельник, 8 ноября, занятий в институте нет. Комиссией студентов, выбранной на сходке, послана 7 ноября следующая телеграмма:

«Остапово. Владимиру Григорьевичу Черткову.

Глубокой болью в сердцах томских студентов-технологов отозвалась страшная весть о кончине учителя правды, царя духа, великого писателя земли русской!

Вечная память, вечная любовь Великому из Великих — Льву Толстому!”

Лекции профессорами не читаются. Возбужденные, студенты группами собираются в вестибюле института, собираясь направиться к университету, чтобы совместно почтить память Л. Н. Толстого.

В университете. С утра в понедельник происходила сходка студентов-универсантов по поводу смерти Л. Н. Толстого. Студенты-технологи и посторонняя публика в университет не допускаются. Занятий не производится. Около института и университета дефилируют конные стражники. Настроение повышенное.

Высшие женские курсы. На высших женских курсах абсолютная пустота. Курсистки отправились для почтения памяти Л. Н. Толстого совместно с другими высшими учебными заведениями. Занятий нет.

Получены сведения о временном прекращении занятий в зубо-лечебной школе и других учебных заведениях.

Шествие. Вышедшие со сходки студенты университета были встречены огромным числом студентов-технологов, собравшихся к этому времени у здания университета. Перед портретом Л. Н. Толстого, украшенном живыми цветами, была пропета “Вечная память”. Потом шествие направилось по Почтамтской улице к зданию института, где еще присоединилось много студентов. После исполнения “Вечной памяти” студенты громадной толпой направилась в город, но у входа в университетский двор были встречены полицмейстером с нарядом полиции, преградившим путь. После этого было решено разойтись».

Если студенты, потрясенные известием о смерти Толстого, обращались к томскому обществу с требованием отменить увеселительные мероприятия в знак траура по великому писателю, а большинство публики, по свидетельству томского полицмейстера, восприняло эту новость достаточно равнодушно, то черносотенный Союз русского народа в эти дни затеял целый процесс по обвинению в нападении на киоск гимназистов, требовавших «прекращения торговли по случаю смерти графа Толстого»⁶. Кроме того, 16 декабря 1910 г. из Ново-Николаевска томскому губернатору пришла телеграмма от уполномоченного Союза русского народа, который требовал запретить запла-

нированное на 12 декабря чествование Толстого, поскольку «Толстой враг церкви и государства»⁷. Чествование запрещено не было, но наблюдение за ним велось, о чем свидетельствует рапорт пристава Соколова; впрочем, по его словам, «собрание прошло совершенно спокойно и никаких попыток к демонстрации не было»⁸.

В «толстовские дни» 1910 г., по замечанию «Сибирской жизни» (1910. 18 ноября), только «Русское знамя» оставалось «непреклонным»: газета писала о том, что «своим же поруганием Христова учения и царской власти Толстой уронил себя и как сын православной церкви, и как сын России, и как писатель. Жиды, безбожники, иноверцы и иноземцы за это именно и чествуют его. Но непристойно подражать им всему государству». «Дубровинские понятия о непристойности», — прокомментировала это высказывание «Сибирская жизнь». С «Русским знаменем» была солидарна «Земщина», и — томская «Сибирская правда».

В этой газете в ноябре-декабре 1910 г. было помещено несколько материалов, связанных со смертью Толстого. Поскольку «Сибирская правда» была изданием еженедельным, здесь в основном помещались не оперативные отклики на события, а их оценка.

Первый блок материалов был опубликован в номере от 20 ноября 1910 г. Позиция газеты здесь четко обозначилась в «письме в редакцию газеты „Сибирская правда“» под названием «По поводу смерти Л. Н. Толстого» (подпись — Христианин). Во-первых, это обвинение «левой печати» в том, что она «раздула до невероятных пределов смерть графа Л. Н. Толстого, то есть возвела его естественную смерть до национального горя (?!)». Во-вторых, стремление умалить значение писателя под видом «объективного взгляда». Так, «Христианин» писал: «Что он, Толстой, был незаурядный талант, — это бесспорно, но все же ничего нового не создал, ни в области философии, ни в религии, в которой заявил себя не только со стороны пошлого циника, но и невежественного профана». В-третьих, основной претензией к Толстому было, конечно, его отношение к церкви. Он прославился, по мнению автора «Сибирской правды», «своим атеизмом, как модным в современной жидовско-освободительной печати», «всю свою жизнь и энергию направил к унижению не только православной церкви, но всех других христианских церквей».

Наконец, практически во всех материалах «Сибирской правды» шла полемика с местными томскими изданиями. В настоящем материа-

ле автор откликнулся на заметку «Обнажите головы...», помещенную в «местном уличном листке» «Сибирское слово», № 7. По этому поводу он разразился целым пассажем: «Конечно, хулиганье, а не порядочные люди, иначе позволительно спросить кликуш этой печати: обнажили ли ваши головы, когда умер молитвенник земли русской глубоко почитаемый протоиерей о. Иоанн Кронштадский?» («когда на полях Маньчжурии истерзанный русский двухглавый орел истекал кровью», «когда гибли в Цусимском проливе русские броненосцы» и т. д.). В заключение этого материала автор прямо перешел к оскорблениям: «...ваш плач о смерти Толстого понятен: вы лишились в нем популярного безбожника, всю жизнь почти боровшегося с церковью Христовой. На земле он получил возмездие, зарытый вопреки вековых народных ритуалов всех стран, не чуждых даже его ценителям-жидам, как четвероногая тварь, и на небе, конечно, воздастся ему по заслугам».

Тон, заданный этим материалом, был выдержан и другими авторами. Поскольку смерть Толстого стала значимым событием русской общественной жизни, газета не могла его «замолчать», и в этом же номере были помещены еще два материала: «сценка с натуры» «Толстой умер» Вс. Дементьева и анонимное выступление «Два момента в жизни Льва Николаевича Толстого».

Первый представляет собой описание того дня, когда в Томске было получено известие о смерти Толстого. Написанный человеком, который не разделял чувства скорби по писателю, этот материал отражал внешнюю сторону событий, причем автор находил в происходящем даже какие-то комические моменты: «В воскресенье (7 ноября) вечером томичи узнали о смерти Л. Н. Толстого. Весть эта, как громом, ошеломила местных жидовствующих студентов, которые тотчас же избрали из себя особую “делегацию” и двинулись по улицам Томска закрывать кинематографы и другие увеселительные зрелища. Не знаю, чем бы вся эта комедия окончилась, если бы не подоспели чины полиции, при виде которых “товарищи” стремительно принуждены были перебежать от одного кинематографа к другому». Основную часть материала занимал рассказ о том, как студенты пытались отменить спектакль в обществе народных развлечений, но им это не удалось. Вс. Дементьев, как и многие «правые», также предпочитал не упоминать о литературных заслугах Толстого, считая, что «умер не какой-либо государственный деятель или сановник, а умер выживший из ума 82-летний богоотступник», и не одобряя действий студентов.

Довольно странное впечатление производит на современного читателя материал «Два момента в жизни Льва Николаевича Толстого», поскольку здесь доказывалось, что в жизни Толстого огромную роль сыграло дважды (в 1903 г. и 25 сентября 1910 г.) посланное автором письмо, в котором он наставлял писателя на путь истинный. Автор «Сибирской правды» утверждал: «...спустя несколько дней после его получения Лев Николаевич удаляется от семьи, чтобы остаток дней провести в одиночестве вдали от окружающих его комедиантов», «он несомненно искал человека, который, как автор письма, сказал бы ему слово правды и утешения». В тексте курсивом была выделена главная мысль: «Два эти момента двукратной посылки письма к Льву Николаевичу и связанные с этими моментами просветления в душе Льва Николаевича, насколько известно, единственные за этот период времени с 1903 г. показывают, что Лев Николаевич был христианином», только «окружающая его среда», по мнению автора, повинна в том, что не произошло воссоединения писателя с церковью. Здесь писатель характеризуется как «великий художник и доброй души человек» — «таким его понимал, таким его и рисовал себе всякий русский не идолопоклонник», который «болел сердцем за Льва Николаевича и надеялся, что в последние минуты жизни Лев Николаевич стряхнет с себя напускное неверие и примирится с собой, людьми и Богом». То есть в тексте довольно легко прочитывается сожаление о том, что Толстой не стал таким «сусальным», каким он представлялся автору.

В двух номерах «Сибирской правды», 20 ноября и 11 декабря, было опубликовано стихотворное произведение Н. Костенского «К памяти Л. Н. Толстого» с подзаголовком «Открытое письмо автору романа "Воскресение"». В конце стихотворения стоит дата и место его написания — «октябрь 1899, г. Стародуб». Содержание его — полемика с Толстым по поводу описания суда над Катюшей Масловой в «Воскресении»; автор доказывал, что в суде все происходит по-другому, и в целом «подделка здесь видна — видна натяжка, граф».

27 ноября «Сибирская правда» поместила материал «По поводу толстовских дней в Томске» за подписью Мирянин, в котором автор подчеркивал: «По случаю смерти Л. Н. Толстого Томск пережил знаменательные дни. В самом деле: шествие студентов с портретом писателя, трехдневное неученье, заседание городской думы, университетского совета, телеграммы вдове от различных томских обществ, учреждений и т. д., вот чем Томск проявил свое отношение к собы-

тию». Однако автор был не согласен с определением, которое дают писателю томские газеты: «Толстой — совесть мира», и аргументировал свою точку зрения так: «Что такое это “совесть мира”? Как мог быть Толстой совестью мира, когда не только жители Патагонии, но и яснополянские крестьяне едва ли знали, чего требует эта “Совесть”? Ведь учение о непротивлении, о Боге, Христе, критика догматики и пр. — это такие вещи, которые доступны лишь горсти образованных людей, да и у них вызывают глубокие разногласия». И вновь здесь повторялась мысль о том, что «скончавшийся писатель при всей гениальности своей не дал ни цельного мирозерцания, ни цельного идеала жизни и тем более он не осуществил его». При этом обращает на себя внимание относительно спокойный тон этого выступления, резко отличающийся от многих материалов «Сибирской правды».

Теме разделения России на два лагеря, которые четко обозначились в «толстовские дни», посвящен материал «Красносотенное беснование», опубликованный «Сибирской правдой» 4 декабря. Его автор живописал «гвалт, и свист, и крики, и оглушительные вопли... в лагере красных предателей родины нашей, оглушавшем воем своим русскую землю по случаю смерти врага Церкви, Государства и общества — Льва Толстого». Либеральная печать была охарактеризована как «краснопогромные листки жидов и шаббесгоев», в которых «враги Христа и Церкви требовали, чтобы Церковь молилась за того, кто хулил и порицал ее, эту Церковь жида и русские выродки осмеливались ругать за то, что она отлучила от себя того, кто вздумал хулить ее грязью клеветы, поношений и кощунства», и т. д.

Этой «вакханалии» в материале противопоставлялась «национальная, коренная, подлинная, русская Россия», настоящая «черная сотня», которая «с презрением и отвращением» наблюдала происходящее. Ее-то автор и призывал готовить «наши грозные боевые силы», «не выдавать Россию, Царя и Церковь». Таким образом, «толстовские дни» автор рассматривал как некую лакмусовую бумажку, которая позволяла отличить «красную сотню» от «черной сотни», а Толстого однозначно оценивал только в негативном свете.

Однако в этом же номере, в материале «По поводу трагедии в Остаповском домике» (подпись — Ив. Крестич) была представлена точка зрения на «две жизни Толстого»: первая, «жизнь даровитейшего писателя и мыслителя, вознесла его на пьедестал величия, почета и всемирной известности, он стал популярным не только в своем отече-

стве, но и во всем мире; его имя произносят не только ученые и литераторы, но и простые, в серых зипунах, граждане», вторая же жизнь Толстого характеризуется Ив. Крестичем как «жизнь запродавшего душу еретика, безбожного хулителя Церкви и ее представителей», которая «низвергла в глазах всего истинно верующего человечества в самую зловонную грязь, в тину позора, унижения и бесславия». Автор признавался, что ему «вчуже становится до боли обидно за покойного маститого старца». Он задавался вопросом: «...кто довел до всего этого гиганта-мыслителя? Кто был помехою ему покаяться перед смертью и вернуться в лоно церкви?» Ответ для автора «Сибирской правды» был очевиден: это «иудейские клеветы, жадно охранявшие свою добычу», и главным образом — «гг. Чертковы и Ко». Толстой здесь также представал как человек, который поддался чужому влиянию, в глубине души же он, по мнению автора материала, вернулся к церкви, в его сердце «пробудился» «духовный голос». Основная мысль этого материала — сожаление о том, что Толстой не примирился с церковью.

Эту же позицию заняла газета «Томские епархиальные ведомости», которая 15 ноября откликнулась на смерть писателя публикацией «Мысли православного по поводу смерти Л. Н. Толстого» (подписано: «Православный»). Автор характеризовал произошедшее как «ужасную трагедию», которая заключалась, по его мнению, прежде всего в том, что граф Толстой «умер... но не почил, как почивают праведники о Господе». «Православный» описывал картину борьбы души и духа Толстого, как она представлялась ему: «Предчувствие смерти пробудило в душе графа ужасное борение духа. Душа по природе христианка, душа, некогда крестившаяся во Христа и облекшаяся в Него, рвалась к Христу, как дитя к любящей матери, а мятежный дух, охваченный гордостью и самомнением, оковал ее как цепями». И «бегство» Толстого, по мнению автора, произошло именно из-за того, что он был «не в силах вынести этого борения духа». В итоге же писатель умер, «не имея мира в самом себе, — умер, порвав общение с св. Церковью, порвав духовное и даже плотское общение с своими предками — чадами церкви Христовой». Автор приходит к выводу, что именно поэтому смерть Толстого вызвала «не чувство печали, как обычно бывает у близких умершему людей, а чувство жалости и сострадания», которое «испытывают не одни его поклонники, но и многие из тех, которые были глубоко оскорблены его богохульными писаниями в самых свя-

тейших чувствах». В целом же смерть Толстого, по мнению «Православного», это «назидательный урок для тех, которые не дорожат верою — этим драгоценнейшим даром Божиим».

Обращает на себя внимание то, что эта публикация предстает в газете как частное мнение, но не официальная позиция церкви.

Официальная же газета «Томские губернские ведомости» в этом вопросе проявила максимум изобретательности. Она не могла обойти молчанием факт смерти великого писателя, но определиться с собственной позицией не торопилась, поскольку даже в официальных кругах о кончине Толстого не было единого мнения. И газета вышла из положения следующим образом: в двух номерах, от 17 и 21 ноября, она перепечатала материал «Граф Лев Николаевич Толстой» из «Правительственного вестника» (№ 242), официальной газеты Российской империи.

В этом материале после краткого информационного сообщения («На станции Астапово 7-го ноября, в 6 часов 5 минут утра скончался великий русский писатель Лев Толстой») помещена биография писателя, в которой речь идет преимущественно о его литературном творчестве. Автор материала доходит до написания «Войны и мира» и «Анны Карениной» и по поводу последнего произведения высказывает такую точку зрения: «...этим произведением, занимающим также одно из первых мест не только в нашей родной литературе, но и в литературе мировой, <...> вообще заканчивается период художественного творчества Л. Н. Толстого, вступившего затем на иной путь, убивший в нем великого художника и в результате приведший его к скорбной трагедии на станции Астапово». Автор добавляет, что сам Толстой считал этот период как раз временем «духовного рождения». На этом статья обрывается, и, несмотря на фразу «окончание следует», больше не возобновляется.

В итоге «Томские губернские ведомости», с одной стороны, признали литературные заслуги Толстого, с другой же — сумели обойти «скользкие места» биографии писателя, при этом выразив только официальную точку зрения и ни слова не добавив от себя.

Итак, черносотенная и официальная печать как России, так и Томска в «толстовские дни» продемонстрировала достаточно неоднозначное отношение к великому русскому писателю. В целом она практически не оспаривала его литературных заслуг, однако была категорически против его позиции как общественного деятеля и религиозного

мыслителя. Если пресса демократическая и либеральная формировала представление о Толстом как о великом русском писателе, мыслителе, философе, то для черносотенной печати (при явном сочувствии официальной) Толстой был символом «жидовства», «красносотенного беснования», «врагом церкви и государства». Многие эпитеты для современного человека звучат неприемлемо резко, однако само содержание материалов дает достаточное представление о том, что в русском обществе существовали разные точки зрения на личность Л. Н. Толстого.

¹ ГАТО, ф. 3, оп. 13, д. 1856.

² ГАТО, ф. 3, оп. 13, д. 1856, л. 10.

³ ГАТО, ф. 3, оп. 13, д. 1856, л. 11.

⁴ См.: ГАТО, ф. 3, оп. 13, д. 1856, л. 15—15 об.

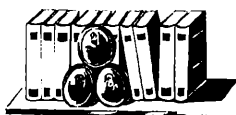
⁵ ГАТО, ф. 3, оп. 13, д. 1856, л. 17.

⁶ См. ГАТО, ф. 3, оп. 13, д. 1856, л. 29—42 об.

⁷ ГАТО, ф. 3, оп. 13, д. 1856, д. 45.

⁸ ГАТО, ф. 3, оп. 13, д. 1856, л. 46.

**Л. Н. ТОЛСТОЙ
И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ**



А. Г. Королева

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ИВАН ЮВАЧЕВ

Замысел рассказа, позднее получившего заглавие «Божеское и человеческое», относится к концу 1897 г. В дневнике 13 декабря этого же года в числе сюжетов, которые «стóбит и можно обработать, как должно», Толстым под № 13 записан сюжет: «Казнь в Одессе» (53, 170). Это свидетельствует о том, что Л. Н. Толстому было известно о казни в Одессе 8 августа 1879 г. революционеров Лизогуба, Чубарова и Давиденко по обвинению в подготовке покушения на Александра II. Особенно его заинтересовали личность и судьба Дмитрия Лизогуба. Толстой знал о нем по рассказам его близких знакомых, по книге С. М. Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия», а также по биографии, написанной неизвестным лицом и хранящейся среди его бумаг.

Толстой намеревался включить историю Лизогуба в роман «Воскресение», но в окончательную редакцию она не вошла. В 1904 г. в Ясной Поляне гостил скульптор И. Я. Гинцбург вместе с В. В. Стасовым. В это время писатель работал над «календарем с изречениями». Гости попросили прочесть что-нибудь из новых вещей. Он читал главы из еще незаконченного рассказа «Божеское и человеческое». История Лизогуба, описание его заключения в тюрьме, страха перед казнью и его последних минут произвели на слушающих сильное впечатление. О сочувственном отношении Толстого к Лизогубу говорит тот факт, что он плакал, читая некоторые главы этого рассказа¹.

Над «Божеским и человеческим» Толстой работал в 1903—1906 гг. 18 октября 1905 г. в письме к В. Г. Черткову он сообщил: «Получил ваше письмо, милый друг, и корректуру “Божеского и человеческого”. Боюсь, что сделаю этим вам большое затруднение, но, начав перечитывать “Божеское и человеческое”, ужаснулся на то, как главная часть, предсмертные часы Светлогуба отвратительно дурны. Спасибо, что прислали мне. Напечатать это не только было бы позорно, но жалко потерять случай высказать так много нужного. Я постараюсь и намерен это сделать» (89, 25). Эта запись соотносится с дневниковой записью

23 октября 1905 г.: «Чертков прислал корректуры *Божеского и Человеческого*, и мне очень не понравилось, а переделать хочется, но едва ли осилю: предмет огромной важности: отношение к смерти. Есть план, но как удастся исполнить» (55, 167). Действительно, для Толстого вопрос жизни и смерти всегда был краеугольным камнем. Уместно вспомнить, что он вообще серьезно изучал проблему жизни и смерти в ее библейском аспекте на протяжении всего творчества.

Обратимся к рассказу. Толстой показывает зарождение революционных взглядов своего героя и той идеологии, которая привела его к участию в террористических актах и к заключению в тюрьму. Он пишет о равнодушии своего героя к обрядовой стороне религии: она была для него вторична. Он уверен в необходимости познания сути учения Бога. После второго месяца заключения Светлогубу дали в руки Евангелие, после чтения которого он решил, что надо менять свою жизнь. Все зло, он знал, происходило оттого, что люди потеряли истинную веру. А между тем он знал, что истинная вера есть. Знал он это потому, что чувствовал веру в своем сердце. И он искал эту веру везде. Больше всего он надеялся ее найти в Откровении Иоанна. «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освещается еще. Се, грядущее скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» [Откр. 22, 11–12]. И он постоянно читал эту таинственную книгу и всякую минуту ждал “Грядущего”, который не только воздаст каждому по делам его, но и откроет всю божескую истину людям» (42, 209).

Прижимая к сердцу Евангелие, юноша пошел на казнь. Он не мог понять значения всего того, что объявлялось в приговоре, и «не мог обнять всего значения предстоящей минуты. <...> Светлогуб не верил в Бога и даже часто смеялся над людьми, верящими в Бога. Он и теперь не верил в Бога, не верил потому, что не мог не только словами выразить, но мыслью “обнять Его. <...> В руки твои предаю дух мой”, вспомнил Светлогуб слова Евангелия. Дух его не противился смерти, но сильное, молодое тело не принимало ее, не покорялось и хотело бороться» (42, 212).

Можно предположить, что прообразами Светлогуба и Меженецкого, источниками описаний жизни политических заключенных, их духовного прозрения и потерь были устные рассказы о них и книги участника народнического движения, публициста Ивана Павловича Ювачева (псевд. Миролубов; 1860–1936). Это подтверждается тем,

что имя его воспринимается Толстым и его окружением в соотношении с персонажами «Божеского и человеческого». Он становится желанным гостем Ясной Поляны, его книги читают вслух. Н. К. Гудзий и Е. С. Серебровская в комментариях к «Божескому и человеческому» впервые упомянули тогда еще не опубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, где писатель И. П. Ювачев упоминается как предполагаемый прототип Светлогуба. 27 ноября 1905 г. в записках Маковицкого зафиксировано, что «приехавший <...> шлис-сельбуржец И. П. Ювачев (Миролюбов) рассказал о своем процессе и сидении в Шлиссельбургской крепости, и это очень сходно с тем, что рассказано Толстым относительно того и другого в отношении к Светлогубу» (42, 646). Каким же образом переплелись судьбы вымышленного героя Толстого, Светлогуба, и одного из возможных его прототипов? В какой мере биография Ювачева нашла отражение в «Божеском и человеческом»?

И. П. Ювачев происходил из семьи дворцового служителя. В молодости он избрал для себя службу моряка. Был завербован в террористическую организацию «Народная воля». Отличался горячим характером, мечтал о цареубийстве, даже опытные революционеры сдерживали его порывы. В ночь покушения на царя ему было видение грозного архистратига Михаила и обещание вечного проклятия за Помазанника Божия, о чем он рассказал на исповеди оптинскому старцу Иосифу. Среди революционеров появился провокатор, все заговорщики были арестованы, среди них оказался Ювачев. Во второй половине сентября 1884 г. в Петербурге состоялся «процесс четырнадцати». Арест, ожидание суда, приговора действовали отрезвляюще. Ювачева и еще шестерых приговорили к смертной казни через повешение. После подачи апелляции смертный приговор был заменен на пятнадцать лет каторги. В январе 1885 г. Шлиссельбургскую крепость посетил товарищ министра внутренних дел генерал П. В. Оржевский. По рассказам В. Фигнер, переступив порог камеры Ювачева, генерал застал его на молитве, с Библией в руках. На вопрос, не желает ли он поступить в монастырь, заключенный ответил, что недостойн. По этому ответу можно судить о степени внутреннего перерождения и о глубине его раскаяния. Из Шлиссельбурга он был переведен на Сахалин, а затем его судьба определилась согласно его внутренним убеждениям. В 1897 г. он был освобожден. В Петербурге он занимался научно-исследовательской работой и был известен как православный

писатель. В 1903 г. его избрали членом-корреспондентом главной физической обсерватории Академии наук. Вместе с женой, Н. И. Колобакиной, он занимался социальной реабилитацией женщин, вышедших из мест заключения.

Жена Даниила Хармса (сына Ювачева) утверждала, что между И. П. Ювачевым и Толстым сложились теплые взаимоотношения; Ювачев не раз посещал Ясную Поляну, переписывался с С. А. Толстой. Был случай, когда его приглашали на финку* к Толстым, так как он прекрасно разбирался в земледелии после сахалинской «одиссеи». Иван Павлович звонил из Ясной Поляны жене по телефону², узнавая о ее здоровье³.

О визитах Ювачева в Ясную Поляну, о его дружеских взаимоотношениях с Толстым известно из разных источников. Это — его переписка с С. А. Толстой, записки Д. П. Маковицкого, летопись Н. Н. Гусева. Маковицкий одной записью не ограничился, его уникальный литературный труд донес до нас ту атмосферу, которую создавал Ювачев во время многочисленных приездов в Ясную Поляну. Переписка Ювачева с графиней С. А. Толстой дает представление о внутреннем мире этого неординарного человека, прошедшего удивительный путь от приговоренного к казни революционера до воцерковленного писателя.

Ювачев прожил жизнь, одновременно похожую и не похожую на «революционные метания» Светлогуба и Меженецкого из «Божеского и человеческого», хотя трагический опыт заключения, ожидания приговора и казни он пережил, о чем поведал в книгах, затем — Толстому во время личных встреч. Он вспоминал, что первой книгой, которую он получил в одиночке, было Евангелие и что он страшно этому обрадовался. Потом ему дали Библию.

После смертного приговора Ювачев пять дней ждал казни. Первую группу осужденных казнили, а вторую, в которую он входил вместе с товарищами из Морского корпуса, помиловали. Когда его посадили в Шлиссельбург в одиночку, он решил не думать о греховном, не лгать, не сердиться, не ненавидеть. Он писал родственникам после заточения в крепости: «Скажу, жил внутренней, духовной жизнью. Лишенный внешних картин, в моем воображении рисовал много внутренних. Например, дни, недели, месяцы созерцал построенный храм Божий в моем воображении»⁴.

* Ф и н к а — пахота и боронование.

В апреле 1906 г. Толстой принимается за радикальную переработку текста «Божеского и человеческого». 24–25 апреля 1906 г. в письме И. И. Горбунову-Посадову он пишет: «“Божеское и человеческое” на днях поправлю и пришлю» (76, 153). Не исключено, что Толстой поправлял рассказ после чтения повести Ювачева «В Шлиссельбургской тюрьме»⁵, которую перечитывал несколько раз. Маковицкий пишет, что это очень сходно с тем, что происходит с героем «Божеского и человеческого»: «Ювачев рассказывал о своем процессе и заключении в Шлиссельбурге (Очень похоже на то, как Л. Н. описал Светлогуба в “Еще трех смертях”⁶), скольких перевешали, сколько перемерло, сошло с ума, какие это все были самоотверженные, энергичные, чистые люди»⁷. Ювачев объяснил Маковицкому, что, вероятно, Толстой воспользовался для своей повести составленным им описанием своей жизни в крепости, которое он несколько лет тому назад послал Толстому. Н. Н. Гусев подтверждает, что Толстой читал воспоминания И. П. Ювачева с 27 февраля по 1 марта 1906 г.⁸

25 февраля 1900 г. Толстой получил от Ювачева письмо и сообщение о том, что высланы две книги «Исторического вестника» (1900. Т. 79. Янв., февр.) с повестью «Восемь лет на Сахалине».

Доказательством того, что Толстой воспроизвел, как предполагал сам Ювачев, некоторые отрывки из его книги, являются, например, следы чтения в тексте, где речь идет об эпизоде с пробой порошка, которым посыпали кандалы. Отмечено то место, где изображен момент, когда Ювачева заковывали в кандалы.

Маковицкий записывает высказывание Толстого: «Я описание одиночного заключения Ювачева читал — было хорошее»⁹. После освобождения Ювачев не раз бывал в Ясной Поляне. 27 ноября 1905 г. Маковицкий подробно описывает его визит, тематику бесед с ним, личность гостя, отношение к нему Толстого. Этот визит во многом повлиял на то, что автор «Божеского и человеческого» в который раз перерабатывал образ своего героя — Светлогуба.

О том, что во время встречи с Ювачевым Толстой был очень внимателен к гостю, пристально всматривался в его внутренний мир, говорит следующая запись Маковицкого: «Ювачев по умственному характеру (такой же, как характер лица) напоминает мне Урусова: он тоже математик, и есть у него теории исторические. Ювачев православный, у него теория с запинкой, как была у Хомякова. Мне его теория православия очень нравится. Согласно его учению, после Христа были две

церкви — иудейская и христианская. Иудейская разрушилась, когда Богу было угодно, когда был разрушен храм в 70 году. Теперь же есть православная церковь и церковь свободных христиан; существуют одна возле другой. Православная разрушится, когда Богу будет угодно; нападать на нее не надо»¹⁰.

Толстой очень заинтересовался рассказом Ювачева о том, что в детстве он был очень религиозен, а в юности стал атеистом. В тюрьме он вновь обратился к религии, в стенах Шлиссельбургской крепости его убеждения изменились полностью, молодого офицера, бредившего революцией, больше не было. Из биографии Ювачева: «Был несчастный осужденный человек. В одночасье утративший все, что наполняло когда-то смыслом и радостью его жизнь, человек остался один на один с бедой, справиться с которой он был не в состоянии. Тут мог помочь и утешить только Бог»¹¹. Ювачев обратился к Богу. Восемь лет он провёл на каторге, на Сахалине, где и стал писать рассказы под псевдонимом Миролюбов. Безусловно, это был знак его полного отречения от прежних воззрений. Материал для своих рассказов он черпал из горького опыта и своей жизни, и других каторжан. В его сахалинских рассказах не просто дана зарисовка этой страшной жизни, но отчетливо видна притча об истинном смысле жизни православного человека¹². И дальнейшая судьба Ювачева определилась в полном соответствии с его новыми религиозными взглядами. К Толстому он приезжал уже убежденным православным христианином.

27 ноября 1905 г. Маковицкий записывает: «Пополудни был <...> И. П. Ювачев (Миролюбов), с кротким выражением бледного лица. С 1883 до 1889 г. пробыл в Шлиссельбурге и на Сахалине (восемь лет каторжным); был приговорен к смерти (но переменили ему наказание) за то, что был знаком с Фигнер и еще с кем-то»¹³. (Для такого далекого от православия человека, как В. Фигнер, смысл духовного перерождения Ювачева был непонятен. Поэтому революционерка, как и другие его сотоварищи по заключению, объясняла обращение Ивана Павловича к религии душевным заболеванием.)¹⁴ Маковицкий записывает, что Ювачев «верит в личного Бога. Отрицает насилие и знает многих бывших революционеров, которые отошли от насилия»¹⁵. Видимо, Толстой и Ювачев не сошлись в религиозных взглядах, потому что позже Толстой говорил: «Ювачев, хотя я разрушаю его веру, относится ко мне очень хорошо»¹⁶. Потом добавил: «Мне свойственна моя, но никак не думаю, что она высшая»¹⁷.

В беседах с Толстым Ювачев затрагивал злободневные темы, очень волновавшие писателя, например, рассказывал, что творится в Петербурге, что социал-демократы хотят ввести диктатуру пролетариата, надеясь, что если пролетариат захватит власть в России, то вслед за Россией то же самое произойдет в других государствах. А восемьдесят процентов крестьян не имеют понятия о социализме, они хотят земли, а социалисты смотрят на земельную реформу как на средство привлечения крестьян на свою сторону. Для Льва Толстого были важны разные мнения по этому вопросу, так как он собирал материалы для статей о социалистическом движении.

Ювачев делился и своими размышлениями по поводу писательской работы, говоря о том, что он понимает искусство вообще, а в частности писательство так, чтобы творить, описывать новое, что еще не описано. С этой точки зрения он критиковал романы Ольги Шапир и произведения Потапенко. Сам он старался писать так, чтобы читатели получали новые знания, создавал для них новую картину мира. Целостная природа побеждает рефлексирующий дух Ювачева, в своих книгах он вырабатывает очень близкую Льву Толстому позицию — «я для всех». Поэтому его книги и ценились в яснополянской семье.

Толстой, как выяснилось, испытывал особенный интерес к Сахалину. Он читал очерки Власа Дорошевича и впоследствии отзывался о них неодобрительно, читал очерки Чехова, но и они ему не понравились¹⁸.

Ювачев высказывал весьма оригинальное мнение о значении Сахалина в геополитической системе России, ведь там он прожил восемь лет и хорошо знал жизнь острова. Он говорил об этом богатом углем, рыбой крае, о том, что на юге родится пшеница. По его мнению, Сахалин был бы житницей всего Востока, если бы правительство не превратило его в тюремные застенки. Он спорил с Чеховым, считая, что тот писал свою мрачную книгу о Сахалине по заказу либералов. Чехов встречался с Ювачевым во время пребывания на Сахалине и упоминает о нем в 10-й главе своей книги «Остров Сахалин». «Поселок Рыковский. Бывший мичман, человек замечательно трудолюбивый и добрый; он исправляет еще также должность церковного старосты»¹⁹.

Толстой продолжал изучать книги Ювачева, присланные в Ясную Поляну. Он не только был знаком с воспоминаниями о Шлиссельбурге и книгой о Сахалине, но и просматривал сборник «Между миром и монастырем» (1903). Это говорит о том, что его интерес к жизни

и творчеству Ювачева долго не угасал. Печатные работы Ювачева, которые читал и просматривал Толстой, хранятся в яснополянской библиотеке, например: «В Шлиссельбургской тюрьме» (Отт. из: «Исторический вестник». 1906. Т. 103, февраль. Стр. 464—492); «Монастырь — тюрьма» (Отт. из: «Исторический вестник» (6. г.); «Паломничество в Палестину к гробу Господню» (СПб., 1904); «По тайному священству. (Отт. из: «Исторический вестник». 1908. Т. 111, март, апрель) и др.²⁰.

Немаловажно то, что Толстой выделял своего гостя среди многочисленных яснополянских паломников. Ювачев делился со своим старшим современником самым сокровенным. Именно Толстому он сказал во время одной из встреч, что обрел наконец понимание истинного смысла и цели человеческой жизни, обрел через покаяние и веру. Толстого покорили кротость, смирение Ювачева, признание, что после долгих лет заключения он не держит зла на судей и тюремщиков. 7 августа 1907 г. Маковицкий записал размышления Толстого, высказанные после того, как речь зашла о Ювачеве: «Внутреннее изменение — главное, внешнее изменение — это последствия, нельзя заботиться о последствиях, они всегда будут соответствующие. <...> ...А я и вы — то божественное начало, которое чувствуем в себе, которое во всех нас. В последнее время нехорошее чувство к человеку, который тебя ненавидит, часто пробовал побороть в мысли посредством любви. Это удавалось»²¹. Философия смерти, как результат философии жизни, имеющей или не имеющей божественную основу, является, на мой взгляд, контрапунктом «Божеского и человеческого».

¹ См.: Гинцбург И. Я. Стасов у Толстого // Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом. М., 1911. С. 106, 113.

² Из воспоминаний сына яснополянского лесничего М. М. Морозова видно, что в их доме в 1900-е гг. был телефон: «Встречи со Толстым были часты. Он заходил в наш дом, стоявший на шоссе, иногда в непогоду, гуляя по “Каменной дороге”, или чтобы воспользоваться телефоном» (См.: Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1923. Т. 2. С. 16).

³ Глоцер В., Дурново М. Мой муж Даниил Хармс // Новый мир. 1999. № 10. С. 108, 111.

⁴ http://hrono.info/biograf/bio_yu/yuvachov.html; <http://www.icrap.org/ru/tsup5-1.html>

⁵ Исторический вестник. 1900. Т. 79. Янв., февр.

⁶ Заглавие одного из вариантов «Божеского и человеческого».

⁷ ЯЭ. Кн. 1. С. 472.

⁸ Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, 1891–1910. М., 1960. С. 548.

⁹ ЯЭ. Кн. 1. С. 476.

¹⁰ ЯЭ. Кн. 1. С. 476.

¹¹ http://hrono.info/biograf/bio_yu/yuvachov.html; <http://www.icrap.org/ru/tsup5-1.html>

¹² Речь идет о житии преподобного Ефрема Сирина: на основании этого жития создается притча о житии Михаила Рюхина, одного из героев Ювачева. См.: <http://vos.1september.ru/20002/29/6.htm>

¹³ ЯЭ. Кн. 1. С. 474.

¹⁴ http://hronos.km.ru/biograf/bio_yu/yuvachov.html

¹⁵ ЯЭ. Кн. 1. С. 475.

¹⁶ ЯЭ. Кн. 2. С. 475.

¹⁷ ЯЭ. Кн. 2. С. 475.

¹⁸ Интервью и беседы с Львом Толстым. М., 1986. С. 470, 117.

¹⁹ Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1978. Т. 15. С. 160.

²⁰ См.: Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне: Библиографическое описание: Книги на русском языке: В 2 ч. Тула, 1975. Ч. 2. С. 504.

²¹ ЯЭ. Кн. 2. С. 489.

Священник Георгий Ореханов

А. Л. ТОЛСТАЯ И В. Г. ЧЕРТКОВ

Александра Львовна Толстая (1884—1979) — младшая дочь Л. Н. Толстого, по всей видимости, самый близкий ему человек среди членов семьи. Она прожила интересную, насыщенную, творческую жизнь, полную разочарований, невзгод, самоотверженного труда, духовного поиска, жизнь, прошедшую под знаком постоянного, абсолютно бескорыстного, самоотверженного служения другим людям. А. Л. Толстая была человеком огромной энергии и воли, имела несомненный организаторский талант, впоследствии была прекрасным лектором. Возможно — мы не можем игнорировать этого мистического момента биографии А. Л. Толстой, — ей всегда помогала молитва ее крестной матери, графини А. А. Толстой, в честь которой она и была названа Александрой.

В этом смысле поистине пророческим выглядит последнее письмо Л. Н. Толстого гр. А. А. Толстой, которое было написано незадолго до смерти последней, 9 февраля 1903 г., и которое как бы подводит итог их многолетней переписке и сложной дружбе. В этом письме Толстой говорит о предстоящей встрече графини со своей крестницей и о том, что его младшая дочь Саша и он сам несколько смущены неправославием последней. Далее он пишет: «Не судите ни ее, ни меня строго за это. Я умышленно не влиял на нее, но невольно она по *внешности* подчинилась мне. Но, как вы знаете, в ее года еще религия не составляет необходимости. А ей много впереди. А когда наступит настоящая религиозная потребность, она изберет то, что ей нужно» (74, 36).

По свидетельству многих лиц, А. Л. Толстая испытывала в детстве чувство одиночества и оставленности, утверждая, что мать, гр. С. А. Толстая, ее не любит и даже подвергает телесным наказаниям. Возможно, именно этим обстоятельством объясняется ее глубокая привязанность к отцу, которой она не изменяла всю свою жизнь.

Можно предположить также, что сложности во взаимоотношениях с матерью объясняют безоглядную готовность младшей дочери писателя

в определенный период жизни следовать в фарватере планов ближайшего друга писателя и его издателя В. Г. Черткова. Здесь могла иметь место даже некоторая подавленность его личностью, юношески нерелексированное стремление противопоставить себя всей семье, «идти за Толстым». Этот максимализм приводил часто к открытым манифестациям. Например, уже после отлучения Л. Н. Толстого от Церкви, в Вербное воскресенье 1901 г. (30 марта), А. Л. Толстая категорически отказалась идти в храм со своей матерью. В знак протеста против решения Святейшего синода она вместе с пасынком своей сестры, Т. Л. Толстой, М. М. Сухотиным пыталась участвовать в «нелегальном» гектографировании и распространении антицерковных материалов. 3 апреля 1902 г. гр. С. А. Толстая с горечью писала «бабушке», гр. А. А. Толстой, крестной своей младшей дочери, что граф «загубил» Сашу, «которая, не прожив еще никакой духовной жизни, сразу перескочила к неверию и отрицанию», «ничего не читала, мало думала, совсем не боролась, ушла из церкви и осталась ни при чем. Упорство же и характер в ней не гибкие, и я бессильна перед твердым влиянием отца»¹.

Вопрос о взаимоотношениях А. Л. Толстой с В. Г. Чертковым имеет принципиальное значение с точки зрения реконструкции последнего периода жизни писателя, истории его завещания и его духовного наследия в целом. В какой степени младшая дочь Толстого и его ближайший помощник были единомышленниками в 1910 году? Когда между ними возник конфликт? Как развивались их отношения после октября 1917-го? Эти вопросы ждут своего разрешения.

Именно А. Л. Толстой, как известно, было суждено стать по завещанию формальной наследницей своего отца. Она была активной участницей событий лета 1910 г. и сопровождала писателя во время его последней поездки до Астапова.

Во время Первой мировой войны А. Л. Толстая проявила исключительную самоотверженность — уйдя добровольно на фронт, она была сестрой милосердия и организатором летучих санитарных отрядов, пережила ранение, тропическую лихорадку, госпиталь и вернулась после войны в звании полковника и с тремя Георгиевскими медалями.

После революции 1917 г. ее судьба сложилась во многом трагично, однако предсказание отца исполнилось буквально: ей было дано много, очень много впереди, и когда наступила настоящая религиозная потребность, она избрала то, что ей нужно, — путь веры и Церкви. Правда,

произошло это после многих страданий и мытарств. Будучи директором («полномочным комиссаром») музея-усадьбы «Ясная Поляна», она безуспешно пыталась бороться с антирелигиозной направленностью нового режима, в результате чего неоднократно подвергалась арестам. Первый имел место в ночь на 15 июля 1919 г.; освобождение А. Л. Толстая получила по указанию Ф. Э. Дзержинского благодаря ходатайству В. Г. Черткова, а вскоре после этого совершенно неожиданно для себя и была назначена комиссаром Ясной Поляны. Однако вскоре (в марте 1920 г.) она была снова арестована, на этот раз уже по гораздо более серьезному обвинению — в причастности к знаменитому Тактическому центру. Некоторые сведения об этом периоде жизни А. Л. Толстой дают воспоминания супруги известного историка С. П. Мельгунова, П. Е. Мельгуновой, которая сообщает, что А. Л. Толстая проявила большую заботу о ее муже и особенно большое мужество на самом процессе, фактически погубив себя заявлением, что, как дочь Толстого, не признает никакого суда, в особенности большевистского².

Приговором Верховного трибунала от 16—20 августа 1920 г. по делу Тактического центра А. Л. Толстая была признана виновной в пособничестве контрреволюционной организации и приговорена к трехлетнему заключению в одном из первых большевистских лагерей на территории нынешнего Новоспасского монастыря. После года заключения, 13 января 1921 г., А. Л. Толстая была выпущена на свободу по амнистии, после чего активно занялась тем, что считала делом всей своей жизни, — изданием сочинений отца и спасением Ясной Поляны. Летом 1921 г. она принимала участие в деятельности Всероссийского комитета помощи голодающим и в связи с этой деятельностью подверглась кратковременному аресту в августе этого же года. Есть сведения, что и в этот раз очень активную роль в освобождении А. Л. Толстой из лагеря сыграл именно В. Г. Чертков.

Вплоть до своего выезда из России А. Л. Толстая вместе с братом, С. Л. Толстым, возглавляла «Кооперативное товарищество по изучению и распространению произведений Толстого». В конечном итоге, убедившись в полной бесперспективности усилий, направленных на сохранение наследия своего отца в той форме, как она себе это представляла, А. Л. Толстая обратилась к новой власти с просьбой выпустить ее за границу (формальный предлог — чтение лекций о Толстом). Просьба была удовлетворена. Так осенью 1929 г. А. Л. Толстая

оказалась сначала в Японии, а потом в США, где явилась основательницей Толстовского фонда, а затем и сельскохозяйственной фермы, благодаря которой многие тысячи эмигрантов были буквально спасены от голодной смерти.

Две большие загадки связаны с интересной, насыщенной парадоксальными событиями жизнью А. Л. Толстой: загадка ее отношений с В. Г. Чертковым и загадка ее религиозного обращения. Дело в том, что во всех публикациях об отце и своей собственной жизни А. Л. Толстая фактически ни словом (за отдельными исключениями) не обмолвилась о роли В. Г. Черткова в жизни отца, в отличие от других его последователей, посвятивших В. Г. Черткову обширные воспоминания и записи в своих дневниках. Складывается впечатление, что до определенного момента А. Л. Толстая находилась под огромным влиянием В. Г. Черткова, возможно, в какой-то степени была послушным орудием в его руках. И в то же самое время хорошо знавший обоих В. Ф. Булгаков утверждает безапелляционно, что А. Л. Толстая, вопреки бытующим представлениям, «в душе не любила Черткова и боялась его»³.

Кроме того, нам практически ничего не известно о том духовном перевороте, который привел ее, последовательную противницу Православной церкви, к церковной ограде. Всю свою сознательную жизнь А. Л. Толстая была глубоко религиозна, размышляла о вере и молитве, но это еще не был путь к Церкви. В этом смысле очень показательна запись в дневнике, сделанная ею 23 февраля 1906 г.: «Сегодня хочется молиться, просить Кого-то помочь, и не знаю, есть ли этот Кто-то, или это чувство сентиментальное, это желание молитвы, привычка с детства, еще не забытая мною, вздор, не имеющий смысла. Сейчас чувствую, что могу лезть на лестницу, стою внизу ее и знаю, что цель моя лезть по ней кверху, но кажется мне, что это великий труд»⁴. Безусловно, записывая эти строки, А. Л. Толстая не могла представить себе, как высока и трудна будет в ее жизни эта лестница.

К сожалению, А. Л. Толстой принадлежала трагическая роль в событиях на станции Астапово: она дважды отказала преподобному старцу Варсонофию в его просьбе видеть умирающего Л. Н. Толстого. Можно предполагать по некоторым местам ее автобиографии «Дочь», что изменению взгляда на Церковь могли способствовать встречи с духовенством и ужасные картины преследования священнослужителей, свидетельницей которых она была. Во всяком случае, достоверно

известно, что в 1957 г. А. Л. Толстая основала при Толстовском фонде церковь во имя преподобного Сергия Радонежского, которая стала важным центром духовной жизни русской диаспоры в США. Кроме того, мы знаем, что духовником А. Л. Толстой в США был будущий епископ Вашингтонский и Сан-Францисский Василий (Родзянко), ставшей в результате женитьбы своей старшей сестры и одного из внуков Толстого родственником Толстых. В своих воспоминаниях он говорит об А. Л. Толстой как о человеке, болезненно пережившем революцию 1917 г. и воочию убедившемся в том, что идеи ее отца стали толчком для разрастания революционных настроений. Епископ Василий свидетельствует, что во взглядах А. Л. Толстой именно в начале 20-х годов произошел перелом. К моменту построения церкви у себя на ферме, по свидетельству еп. Василия, она полностью отошла от идей отца и глубоко раскаивалась в событиях, связанных с приездом старца Варсонофия в Астапово⁵. Характерно, что в письме старшей сестре Татьяне из Японии в 1931 г. А. Л. Толстая благодарит последнюю за понимание и добавляет: «...нет во мне ни задора, ни осуждения, ни всего того, чего было так много раньше!»⁶

Оценка своей роли в бурных событиях семейной жизни Толстых в начале XX века содержится и в беседе А. Л. Толстой с С. М. Толстым: «Мне было только двадцать лет, когда я осталась одна с родителями во время самого тяжелого периода их жизни. <...> Я была слишком молода и глупа, чтобы объективно оценить ситуацию»⁷. Позже, уже в США, известный американский журналист А. Седых обратился к А. Л. Толстой с вопросом: «Ваш отец был отлучен от Церкви. А вы, любимая его дочь, построили на Толстовской ферме церковь, в которой даже не можете отслужить панихиду по Льву Николаевичу». Александра Львовна, помолчав, тихо сказала: «Церковь я построила на ферме для себя и для тех русских, кто в ней нуждается»⁸. В 1979 г. отпевание А. Л. Толстой совершал Первоиерарх РПЦЗ митрополит Филарет (Воскресенский), а похоронена она на кладбище при Новодевичьем монастыре в Спринг Валли, штат Нью-Йорк.

Говоря об отношениях между А. Л. Толстой и В. Г. Чертковым, следует иметь в виду, что, как можно предполагать с большой вероятностью, своего идейного апогея они достигли в момент подготовки завещания писателя. Письма, отправленные А. Л. Толстой из Ясной Поляны В. Г. Черткову, со всей очевидностью свидетельствуют, что версия В. Г. Черткова о происхождении завещания Л. Н. Толстого,

изложенная им в известной книге 1922 г., не выдерживает никакой критики: ближайший помощник писателя не только знал во всех подробностях о малейших деталях подготовки завещания, но и принимал в этом процессе непосредственное участие. В письме от 11 октября 1909 г. она указывает: «На днях много думала о завещании отца, и пришло в голову, особенно после разговора с Пав<лом> Ив<ановичем> Бирюковым, что лучше было бы написать такое завещание и закрепить его подписями свидетелей, объявить сыновьям при жизни о своем желании и воле. <...> Из разговора с отцом вынесла впечатление, что он исполнит все, что нужно. Теперь думайте и решайте Вы, как лучше. Нельзя ли поднять речь о всех сочинениях? Прошу Вас, не медлите. Когда придет Таня*, будет много труднее, а может быть, и совсем невозможно что-либо устроить»⁹. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что речь в письме идет не о тайном от семьи, а об официальном, открытом заявлении своей воли — именно таково всегда было намерение и самого Л. Н. Толстого, и, как следует из текста письма, самой А. Л. Толстой. Однако это совершенно не входило в планы Владимира Григорьевича — по той простой причине, что открытое заявление Толстого могло быть изменено в пользу семьи кем-либо из ее членов. Во втором письме, от 27 октября 1909 г., А. Л. Толстая указывает, что не видит среди детей достойной кандидатуры на роль душеприказчика: «Решайте, вы все, друзья, можете ли вы доверить мне это, такой великой важности дело. Я вижу только этот один выход и поэтому возьмусь за это (и знаю, что вы не пожалеете, что доверились мне), хотя много тяжелого придется пережить»¹⁰.

Таким образом, в конце 1909 г. А. Л. Толстая, которой, заметим, в это время было только двадцать пять лет, была готова совершить, как она полагала, подвиг по спасению сочинений своего отца — литературное наследие Толстого должно было стать всеобщим достоянием.

Однако скоро стало ясно, что реальная подкладка этой истории гораздо прозаичнее. На основании выводов, сделанных некоторыми современными исследователями, можно констатировать, что к середине 1912 г. следует отнести начало осложнений между А. Л. Толстой и В. Г. Чертковым. Примечательно, что еще 2 апреля 1913 г. В. Г. Чертков составляет «Домашнее духовное завещание», в котором рукописи Л. Н. Толстого передает А. Л. Толстой. Интересно также, что из

* Старшая сестра Александры Львовны Т. Л. Сухотина-Толстая. — *Авт.*

перечня передаваемых материалов исключены письма Л. Н. Толстого В. Г. Черткову. Кроме того, важно отметить, что в этом завещании А. Л. Толстая, вопреки более поздним заявлениям В. Г. Черткова, предстает как лицо, которому «Лев Николаевич Толстой завещал авторское право на все свои произведения», причем в случае смерти В. Г. Черткова его наследники должны помочь А. Л. Толстой осуществить свое право в отношении рукописей отца¹¹. В июле 1913 г. эти отношения, если судить по письму сотрудника Черткова К. С. Шохор-Троцкого к А. Л. Толстой, уже вступили в очень острую фазу¹². А в конце 1913 года Толстая пишет Черткову гневное письмо, в котором откровенно обвиняет своего бывшего союзника в предательстве интересов писателя¹³.

В начале 1914 г. Чертков и А. Л. Толстая снова перешли на «вы» по требованию последней — младшая дочь Толстого, очевидно, перестает доверять лучшему другу своего отца¹⁴. 20 января 1914 г. она пишет Черткову большое письмо, объясняя ему, что ее понимание того, кому именно и как Толстой поручил исполнение своей воли, совершенно расходится с пониманием Черткова: «Мы, исполнители воли Толстого, совершенно разошлись во взглядах на это дело». Далее А. Л. Толстая подчеркивает, что считает деньги великим злом, так всегда смотрел на это и ее отец, поэтому «не следует думать о том, чтобы выколачивать из самых сокровенных мыслей Л. Н-ча, из его “святого святых” побольше денег, помещая эти сокровенные святые мысли в сомнительных журналах или газетах, торгуясь с издателями их, кто даст больше»¹⁵. В цитируемом письме, видимо, в первый раз А. Л. Толстая высказывает предположение, что, вопреки своим ожиданиям, была в истории завещания не активным, а второстепенным, подставным лицом. Приблизительно в это время В. Г. Чертков начинает настаивать на том, что право распределения прибыли от издания сочинений Толстого принадлежит исключительно ему, а А. Л. Толстая в истории с завещанием должна играть совершенно подчиненную роль. Здесь следует иметь в виду то обстоятельство, что именно в это время Чертков лишился материальной поддержки своей матери.

5 апреля 1914 г. А. Л. Толстая записывает в своем дневнике (во время пребывания во Франции): «После завтрака я отвечала Ч<ерткову> на его длинное письмо. Не могу сдержаться и пишу зло. Я не могу сдержаться главным образом потому, что все письмо его пропитано фарисейством. Говоря о доброжелательстве и уважении, он

не может сдержаться от ненависти и презрения, которые, ловко замаскированные, проглядывают в каждой его витиеватой фразе. Говоря об откровенности, он весь погряз в иезуитстве и фарисействе»¹⁶. На следующий день — новая запись в дневнике: «Сегодня утром перечла письмо Ч<ерткова>. Снова и еще более прежнего оно поразило своим фарисейством. Мой ответ неудовлетворителен. Отложила до России. <...> Я знаю, что это гадко, но у меня такое чувство: за что они меня мучают, даже здесь, куда уехала от всего, что издергало всю душу, все нервы там, в России? Ну, ничего! <...> Как иногда хочется покоя. Чтобы никого не было, только природа. А главное, не было бы фонда, Ч<ерткова>, старушки Дмитриевой, Муравьева, крестьян — ничего. Было бы то, что отец написал, говорил, а провалилось бы то, что налипло вокруг его имени»¹⁷.

В итоге в 1914 г. отношения между А. Л. Толстой и В. Г. Чертковым осложняются настолько, что возникает необходимость протоколировать их встречи¹⁸.

Дискуссия о реальных и мнимых наследниках Толстого затянулась на очень долгий срок и была продолжена после Октябрьской революции 1917 г., когда для ее участников наступил момент самоопределения — сотрудничать или нет с новой властью. Нужно заметить, что до весны 1919 г. В. Г. Чертков был известен как смелый обличитель новой власти, называвший большевиков врагами всего русского народа, наподобие воров и убийц, которых народ ненавидит¹⁹. В 1919 г., в день первого ареста А. Л. Толстой, В. Г. Чертков на правах друга и последователя Толстого обратился с письмом к Ф. Э. Держжинскому с просьбой о ее освобождении, указывая, между прочим, на ее слабое здоровье и опасность для нее заключения²⁰, и А. Л. Толстая в этот раз была действительно освобождена.

В 1920—1921 гг., в контексте споров о путях издания сочинений Толстого в Советской России, В. Г. Чертков совершенно определенно высказался по поводу своих прав на рукописное наследие Толстого. В письмах, отправленных 18 октября 1920 г. в редакции английских газет по поводу издания за пределами России сочинений Толстого, говорится о том, что, «согласно завещательным распоряжениям писателя, редактирование, равно как и первое посмертное издание всех произведений Л. Н. Толстого было им поручено исключительно В. Г. Черткову»²¹. В письме к А. Л. Толстой от 31 января 1921 г. он указывает, что настоящая воля Толстого относительно издания его сочинений после

смерти изложена в его дополнительных распоряжениях, «написанных хотя и не его рукой, а моею, — но излагающих его точные указания, как он собственноручно и отметил в нескольких строках над своей подписью в этой бумаге <...>, юридическое завещание на Ваше имя было написано единственно для того, чтобы дать Вам формальную возможность обеспечить точное исполнение распоряжений, изложенных в этой дополнительной бумаге и предоставлявших мне одному право первого издания всех его посмертных изданий»²². Другими словами, с точки зрения В. Г. Черткова А. Л. Толстая была просто марионеткой, которая должна была всемерно способствовать исполнению его воли, а дополнительное распоряжение в глазах Черткова гораздо важнее самого завещания. В письме от 8 октября 1922 г. Чертков просит А. Л. Толстую дать ему письменное удостоверение в том, что она признает смысл пояснительной к завещанию Толстого записки от 31 июля 1910 г. в нужном для него, В. Г. Черткова, ключе, в обмен на что готов передать ей часть творений Толстого для первого издания.

Можно предположить, что осенью 1922 г. произошел какой-то решительный разрыв между ними, так как в письме от 31 октября 1922 г. Чертков упоминает об «отлучении» его кружком А. Л. Толстой²³. В чем была причина этого разрыва и отлучения, можно догадаться по письму самой А. Л. Толстой от 28 октября, в котором Александра Львовна прямо спрашивала Черткова: «Неужели Вы правда считаете, что я фиктивное, подставное лицо в завещании Л. Н. и что так и он и Вы *всегда* смотрели на мое участие в завещании? Неужели Вы так думаете? Мне трудно этому поверить»²⁴. Отвечая ей, Чертков пишет, что не знает, в каком смысле Толстая употребляет эти слова — в том же, «в каком, в первое время, так часто и так убежденно утверждали, что эти слова выражают характер порученной Вам роли, или в каком-нибудь ином. Во всяком случае, в настоящее время, по прошествии 12 лет, нам с Вами начать подыскивать наиболее подходящие эпитеты для определения порученных нам ролей — было бы, по моему мнению, не только праздным, но и нежелательным занятием»²⁵. Интересно заметить, что в заявлении В. И. Ленину, которое было написано в конце 1920 — начале 1921 г., В. Чертков несколько по-иному интерпретирует роль А. Л. Толстой в деле завещания: ее отец поручил ей содействовать Черткову в осуществлении задачи, порученной последнему писателем, в том числе ограждать свободу его действий от посягательства членов семьи Толстого²⁶.

Известно, что поиск компромисса между А. Л. Толстой и В. Г. Чертковым продолжался практически до отъезда последней из Советской России. А. Л. Толстая оказалась в железных тисках, ее собственная роль в последние годы жизни отца стала ей понятна, но, повторяю, нигде ни одним словом она не упрекнула в чем-либо В. Г. Черткова. Только в ее воспоминаниях о Толстом «Отец» невольно прорвались некоторые характерные замечания: здесь говорится о его властности, о том, что он «овладевал всеми мыслями, писаниями Толстого, по-своему, по-чертковски, интерпретируя их, точно это было его собственностью». В другом месте она пишет, что Чертков не терпел возражений, в нем сочетались очень разные сложные качества души²⁷.

В Российском государственном архиве литературы и искусства хранится весьма примечательный документ (машинопись) — описание плавания по океану в Калифорнию, датированное 25 июля 1931 г. В архивном описании документ отмечен как письмо А. Л. Толстой В. Г. Черткову. То, что данное письмо написано именно А. Л. Толстой, не вызывает сомнений, ибо детали поездки совпадают с соответствующими отрывками из опубликованных воспоминаний А. Л. Толстой. Кончается письмо такими словами: «Я ни на минуту никого не забываю, сердце мое, моя душа, мои мысли всегда с близкими мне. Любящая Вас А<лександра>. Очень беспокоюсь о здоровье вашем»²⁸.

По всей видимости, это последнее известное исследователям письмо А. Л. Толстой В. Г. Черткову. Конечно, можно предположить, что до конца своей жизни она сохранила к Черткову теплое и благодарное чувство. Но как тогда согласовать текст письма, его задушевный колорит с теми жесткими строками, которые были процитированы выше и которые написаны гораздо позже, уже в США? Этот и другие вопросы ждут своего дальнейшего научного рассмотрения.

¹ Об отлучении Льва Толстого: По материалам семейной переписки / Предисл., публ. и примеч. Л. В. Гладковой // Октябрь. 1993. № 9. С. 188.

² Мельгунов С. П. Воспоминания и дневники. М., 2003. С. 379 и далее.

³ Булгаков В. Ф. О Толстом. Тула, 1964. С. 218.

⁴ Толстая А. Л. Дневники: 1903, 1904, 1906, 1907 годы / Вступ. ст., публ. и примеч. Н. А. Калининой и С. Д. Новиковой // Толстовский ежегодник: 2002. Тула, 2003. С. 85—86.

⁵ Репин В., Василий (Родзянко). Вера и неверие Льва Толстого: Беседа писателя Вячеслава Репина с епископом Вашингтонским и Сан-Францисским Василием (Родзянко) // Новый мир. 1998. № 7. С. 161.

⁶ Неизвестная Александра Толстая. М., 2001. С. 53.

⁷ Толстой С. М. Дети Толстого. Тула, 1994. С. 223.

⁸ Неизвестная Александра Толстая. С. 158.

⁹ ОР ГМТ, ф. 60, оп. 1, инв. № 62 440 Б. Нумерация листов отсутствует. Цитируемое письмо было частично опубликовано в издании: Александра Толстая: Каталог выставки. Тула, 2000.

¹⁰ ОР ГМТ, ф. 60, оп. 1, инв. № 62 441 Б. Нумерация листов отсутствует.

¹¹ РГАЛИ, ф. 508, оп. 1, д. 384. 1913. Чертков В. Г. Духовное завещание с распоряжением о передаче своего архива А. Л. Толстой, л. 1.

¹² ОР ГМТ, ф. 62, п. 1, №. 48.

¹³ ОР ГМТ, ф. 60, кор. 70. Машинописная копия. К сожалению, письмо полностью не сохранилось, но отдельные отрывки из него можно прочитать. Вот важная выдержка из него: «Да, ты прав, то отношение, которое было у меня после смерти отца, когда я в вагоне сказала тебе о том, что после отца я считаю тебя самым близким человеком, исчезло. Не знаю, почему и как это случилось, это случилось так постепенно, что я перехода этого не могла уловить. Скажу только, что отчасти причиной этому было то, что на меня тяжестью давила твоя настойчивость в делах, когда я только потому, что считала, что отец тебе поручил все, уступала в вещах, которые были против меня, а ты этого не замечал и делал по-своему. Может быть, я виновата в том, что я уступала, но, с одной стороны, убеждение в том, что ты главный распорядитель воли отца, а с другой, твой деспотичный характер побуждали меня к этому. И в душе каждый раз оставался осадок, что ты этого не чувствуешь и не понимаешь».

¹⁴ Письмо А. Л. Толстой В. Г. Черткову от 10 янв. 1914 г. ОР ГМТ, ф. 60, кор. 70.

¹⁵ Ядовкер Ю. Д. К истории исполнения завещания Л. Н. Толстого (1911—1914 гг.) // Толстовский ежегодник: 2001. М., 2001. С. 464.

¹⁶ Толстая А. Л. «...Засни, беспокойное сердце». Дневник. 1914 г. / Вступ. ст., публ. и примеч. Н. А. Калининой и С. Д. Новиковой // Толстовский ежегодник: 2003. Тула, 2006. С. 32.

¹⁷ Там же. С. 34. О. К. Дмитриева — посетительница Л. Н. Толстого, связанная с В. Г. Чертковым по издательским делам. Н. К. Муравьев — известный адвокат, составитель завещания Л. Н. Толстого. Крестьяне упо-

мянуты в письме в связи с проектом передачи им выкупленных А. Л. Толстой у семьи Л. Н. Толстого земель Ясной Поляны.

¹⁸ Я до в кер Ю. Д. Указ. соч. С. 465—466.

¹⁹ Шенталинский В. Донос на Сократа // Новый мир. 1996. № 11. С. 172.

²⁰ Там же. С. 170.

²¹ РГАЛИ, ф. 552, оп. 1, д. 2878. 1920. Письмо по поручению В. Г. Черткова в редакцию английской газеты об организации Центрального бюро с целью контроля над всеми изданиями Толстого по всему миру.

²² РГАЛИ, ф. 552, оп. 1, д. 73. Письма В. Г. Черткова А. Л. Толстой [1913—1921], л. 4—5.

²³ Там же, л. 47.

²⁴ РГАЛИ, ф. 552, оп. 1, д. 2693. Письма А. Л. Толстой В. Г. Черткову [1920—1927], л. 9.

²⁵ РГАЛИ, ф. 552, оп. 1, д. 73. Письма В. Г. Черткова А. Л. Толстой [1913—1921], л. 48.

²⁶ Из бумаг В. Г. Черткова и его современников / Вступ., публ. и примеч. А. Д. Романенко // Филологические записки: Вест. литературоведения и языкознания / Воронежский государственный университет. Воронеж, 2003. Вып. 19. С. 240.

²⁷ Толстая А. Л. Отец: Жизнь Льва Толстого: В 2 т. М., 2001. Т. 2. С. 187, 364—365. Очень характерно, что в некрологе В. Г. Черткова, опубликованном в Париже в 1936 г., говорится о том, что «даже близкая к отцу Александра Львовна не любила Черткова». См: ОР ГМТ, ф. 60, оп. 2, ед. хр. 111. 1936. Отклики на смерть В. Г. Черткова: Р. С. «В. Г. Чертков». Париж. [«Последние новости»]. 11 ноября 1936 г. (Франция). С. 2.

²⁸ РГАЛИ, ф. 552, оп. 5, д. 1. 1931. Письмо А. Л. Толстой В. Г. Черткову.

В. И. Литвинова

«ДЕЛО НАШЕ ОДНО...»

(Т. М. Бондарев как вдохновитель
социальных идей Л. Н. Толстого)*

Прочитав статью графа Л. Н. Толстого «Женщины», Н. К. Михайловский в своих «Критических опытах» заметил: «Удивительная статья графа начинается ссылкой на Библию, по которой мужчине дан закон труда, а женщине — закон рождения. Ссылка эта совсем чужая графу Толстому, который строит свое здание на Новом, а не на Ветхом Завете, на Евангелии, а не на Библии. Эта ссылка, равно как и непосредственно примыкающие к ней размышления о неизменности обоих законов, принадлежат некому минусинскому крестьянину, с логической стройностью которого читатели могли познакомиться из одной статьи Глеба Успенского в “Русской мысли”. Статья эта называется “Трудами рук своих” и помещена в серии очерков талантливого писателя, озаглавленных “Скучающая публика”»¹.

Действительно, Г. И. Успенский, поставив перед читающей публикой, во-первых, вопрос о том, «как жить свято» вообще, и во-вторых — о будущем народных масс, попытался донести до ее сознания основные положения работы мужицкого философа Тимофея Бондарева «Трудолюбие и тунеядство». При этом он признавался: «Произведение это кажется бледным, не громким, не трещит, не открывает каких-нибудь неведомых чудес, а напротив — толкует о вещах, всем известных и даже непривлекательных» (С. 265). Ценность его заключена в самом содержании, которое косвенно перекликается с упомянутой статьей Л. Н. Толстого. Подобно тому как самой природой определены функции мужского и женского организма, так и современный человек должен осознавать, что в него свыше уже

* Исследование осуществлено при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (Государственный контракт 02.740.11.0374).

заложена необходимость самому полностью удовлетворять свои жизненные потребности.

Следуя логике Бондарева, Успенский утверждает, что современное ему общество разделено на «людей труда» и «нерабочий народ», а потому «нравственно, разумно и полезно только то, что уменьшает разнородность общества. Научная формула, — продолжает он, — выраженная словами: самому удовлетворять все свои потребности, характеризующими форму жизни огромной массы русского земледельческого населения, говорит нам, что у русского народа есть полная возможность развиваться широко, самостоятельно, справедливо, нравственно, разумно» (С. 266). Этот разумный и нравственный идеал человеческого существования не только сознательно подтверждается словом человека из народной земледельческой среды, но и доказывает, что идеал этот таится прочно в самой народной душе.

Успенский полагает, что «если читатель, даже скучающий, усвоит себе хотя бы мало-мальски ясные очертания “справедливого, разумного и нравственного” типа существования, проверит им себя и подумает о будущем русского народа, применяясь к его нравственным свойствам и идеалам, то, если он не оживет и не воспрянет, все-таки он хоть думать начнет светлее, увереннее, у него “хоть что-нибудь” будет впереди, но это “что-нибудь” — наверное светлое, справедливое, “божественное”» (С. 266).

Т. М. Бондарев (1820—1889) — сын крепостного крестьянина в имении помещика Чернозубова-Янова, Нижнечеркасского округа области Войска Донского. С раннего детства он проявил серьезное отношение к жизни и замечательную любознательность, что позволило подростку наладить дружбу с местным дьячком, обучившим Бондарева грамоте. Судя по вольным цитатам, приведенным им в главной своей книге, он был знаком с «Рогоносцем по воображению» А. П. Сумарокова, «Путешествием из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, «Потерянным раем» Дж. Мильтона, баснями И. А. Крылова, духовной литературой. По воспоминаниям Николая Михайловича Мартынова, основателя Минусинского музея, Бондарев наизусть читал ему «Деревню» А. С. Пушкина. Чтение книг уже в отроческом возрасте пробудило в Бондареве желание анализировать причины жизненных тягот и делать выводы, которые с годами все больше не устраивали помещика Чернозубова. При первой же возможности барин избавился от хлопотного «почемучки», сдав его в солдаты. Бондарев так об этом

написал в своем главном труде: «Иду я по дороге и несу бутылку с водой в руках, и мне рассудилось, что эта вода не нужна будет, и я, не оставившись, вылил эту воду... И это случилось против помещичьих ворот, в отдаленности на 200 сажень. Помещик и увидел из окна, что я лил воду против его ворот, признал меня колдуном и чародеем и в том же году отдал меня в солдаты на 38 году жизни моей, по николаевским законам на 25 лет»².

Оставив четверых детей на попечение жены, Бондарев прослужил на Кавказе в 26-м полку Кубанского войска 10 лет. Среди сослуживцев он прославился большим знатоком в области литературы, комментировал известные ему художественные тексты. А вот как он объяснял, с какой целью помещик отправляет в солдаты сорокалетнего крепостного: «С тою, что он, начиная с десяти годов, поработает помещику 30 лет, да до десятка детей народит и вскормит, потом начнет клониться к старости, и силы у него слабеть станут, он его тогда в солдаты на 25 годов — ведь это помещику и царю большая польза!»³

Ошибочно полагая, что иная религия защитит человека от произвола государства, Бондарев отказывается от православия и переходит в секту иудействующих («субботников»), называя себя Давидом Абрамовичем. Его поступок оказался достаточным предлогом для полкового руководства, чтобы избавиться от опасного пропагандиста прав человека: Бондарева лишили воинского звания, медали и заключили на два года в Усть-Лабинскую тюрьму.

В 1867 году военно-судная комиссия направляет Бондарева на вечное поселение в Сибирь. Енисейский губернатор определил ему место ссылки деревню Иудино, исторически приговоренную принимать у себя всевозможных отступников от православия. Обилие «неучтенной» целинной земли и крестьянское трудолюбие позволили Бондареву за небольшой срок построить дом, обзавестись семьей, иметь излишки хлеба на продажу. Единственный грамотный на всю деревню, он открыл школу для крестьянских детей и учительствовал в ней на протяжении 30 лет. Одним из первых на месте поселения он стал заниматься орошением полей, выращиванием овощей, о которых сибиряки даже не слышали раньше, отправлять избыток продуктов по Абакану и Енисею на Север. Даже в самые неурожайные годы земледелец ухитрялся уйти в зиму с доходами. Раздумывая над тем, почему он, вчера унижаемый и бедный батрак, сегодня чувствует себя независимым хозяином, Бондарев приходил к осознанию того, что в основе любого

благополучия лежит свободный труд. Свои выводы и предложения по поводу облегчения крестьянской участи он изложил в ряде своеобразных сочинений, которые с некоторой натяжкой можно определить как публицистические.

Люди, по убеждению Бондарева, разобщены правом владения землей. Сделать трудящихся и тунеядцев единомышленниками, по его убеждению, поможет сплывающий труд по выращиванию хлеба. В этом должны быть заинтересованы все. Бондарев был уверен в том, что изобрел самый верный способ примирить оба «крута». Нужно только всем одинаково усердно работать на пашне, уметь выращивать хлеб. Свою формулу всеобщего счастья он разослал «в правительственные круги», но там только испугались бондаревских каракуль. Причины страха объяснимы: один за другим в разных изданиях пошли отклики на труд сибирского философа. О нем писали «Сибирская газета» (1884. № 27) и «Русский Бог» (1884. № 12), газета «Русский труд» почти полностью перепечатала труд Бондарева.

Окружной исправник Александрович 23 апреля 1893 года под грифом «совершенно секретно» сообщил его превосходительству господину енисейскому губернатору: «Находя в этом до крайности безграмотном и нелепом сочинении много оскорбительных и поносительных выражений для правительства и имея в виду... довольно толстую тетрадь его рукописи, причем тут же пришиты письма литератора Л. Н. Толстого, почтовые квитанции в отсылке разных корреспонденций... я только поэтому считаю нужным представить на распоряжение вашего превосходительства. Семенов, земский заседатель 4-го участка Минусинского округа, давая громадную ценность произведению Бондарева, просил, чтобы я просмотрел эту рукопись и сделанные о ней отзывы Толстого как в письмах к Бондареву, так и в газетах. Рукопись пробыла у меня, должно быть, дней 7 или 10, но и за это время я не успел ее прочитать...»⁴ Губернская администрация, как видим, прочитать рукопись «не успела», но сочла ее тем не менее нелепым сочинением. Что касается титулярного советника Семенова, то и он в своем рапорте от 3 мая 1893 г. на имя губернатора докладывает о том, что поскольку исправник назвал сочинение Бондарева «чушь», то он не заботился о сочинении крестьянина: «Я увез его обратно в Бею и теперь хорошо не помню, кажется, я передал его волостному писарю, или оно еще у меня. Во всяком случае, я попросил жену поискать». В январе 1896 года губернатор наконец узнает из донесения началь-

ника Енисейского губернского жандармского управления, кто такой Бондарев: «Уже старик под 70 лет, человек начитанный, много пишет обличительных статей и сочинений по поводу “Трудолюбия и тунеядства”; некоторые из своих сочинений <...> посылает на исправление к известному писателю графу Льву Толстому, которому, очевидно, он хорошо знаком и с которым состоит в переписке. По слухам, какое-то из сочинений Бондарева было исправлено графом Львом Толстым, но неприятием этой статьи русскими журналами таковая графом Толстым была направлена в Париж и там напечатана в одном из французских журналов, кажется в “Revue des deux mondes” или “Débats”»⁵.

В 1880-х гг. сыльные интеллигенты А. В. Амфитеатров, В. С. Лебедев, И. П. Белоконский, С. Я. Елпатьевский смогли ознакомиться с двухсотстраничной рукописью крестьянского философа под названием «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца», в которой мужицкий публицист отстаивает право человека труда на собственное слово: «Хотя я и не знатного рода, а не имею ли я права писать, говорить что-либо, трактовать о трудолюбии и тунеядстве? Полное право имею»⁶. Один экземпляр рукописи В. С. Лебедев через посредничество основателя Минусинского краеведческого музея Н. М. Мартянова переправил Л. Н. Толстому.

Толстой сразу же заинтересовался сибирским мыслителем и в письме к В. С. Лебедеву (июль 1885 г.) попросил сообщить подробности о личности Бондарева: его звании, семейном положении, религиозных убеждениях («как бы хорошо было, если бы они ограничивались первородными законами и законами только нравственными, связанными с ними»). Волновал великого графа и образ жизни сибирского крестьянина, его настроения. Он просил Лебедева передать Бондареву, что он «в этой рукописи со всем созвучный» (63, 338).

Чем же заинтересовал сибирский хлебороб великого графа?

Прежде всего, вероятно, самим фактом обращения малограмотного крестьянина к писательскому труду. И. П. Белоконский, близко знавший Бондарева, сетовал: «Без всякой поддержки, сочувствия, без возможности проверить верность своих взглядов живут представители этой интеллигенции в царстве тьмы, спытывая муки Тантала; от природы впечатлительные, нервозные, чуткие ко всем проявлениям жизни, они не в силах остановить работу мысли, а мысль эта наталкивает их на различные “проклятые вопросы”, решение которых им не под силу. Остается — жить и мучиться, мучиться и жить, как живут все»

(С. 272). Таким несчастным мучеником видит Белоконский Тимофея Бондарева: «Все, носившееся отрывочно, бессвязно в этой голове, начало приводиться в порядок, обобщаться и выразилось в конце концов в оригинальное, “достойное прессы” сочинение» (С. 274).

Книге «Трудолюбие и тунеядство» был предпослан эпиграф, в котором заключалась вся суть «учения»: «В поте лица твоего снеси хлеб твой, дожде же возвратиши в землю, от нея же взять» (Бытия, 3, 19). Собственно, в самом названии главного труда Тимофея Бондарева заключена основная его мысль, разумная, спасающая от бед мысль о всеобщем труде.

Сочинение предваряют два предисловия: в первом Бондарев сообщает свою биографию, во втором — обращается к читателю с оригинальной просьбой, в которую вкраплена мораль: «В заключение всего прошу читателя прежде двое суток хлеба не есть, да тогда делать оценку этим вопросам».

В сочинении Бондарева ясно ощутимы две ведущие темы, над которыми задумывался и Л. Н. Толстой: 1) критика недостатков существующего общественного строя; 2) указание спасительного средства для общего благоденствия.

Сила трезвых выводов по первой теме растворяется в наивности и мечтательности второй. Для обличения государственности в целом было достаточно критического рассудка публициста и его отзывчивости к угнетенным: «Как от смертоносного яда и как от ядовитого змея бегаеи и за разные углы хоронитесь от трудов, да тех людей, которые до изнеможения работают, признали, чего на свете нету хуже и ничтожней»⁷, — писал Бондарев в своем «Первородном покаянии». А для указания средств к достижению счастливой жизни одной сомнительной формулы — «земледельческий первородный закон» — оказалось недостаточно.

Земельная проблема волновала и Толстого, и немало любопытных наблюдений, созвучных его настроениям, он нашел в труде сибирского философа. Главная человеческая ценность, по Бондареву, — земля: «Начиная от Рюрика, первого князя российскийского, роды и роды наши без всякого набора войска добровольно выходили на очевидную смерть против врагов, где кровь человеческая реками лилась. Попавшимся в плен гвозди под ногти забивали, на горячие сковороды ставили. А за что они — предки наши — страдали? За землю! Чтоб было на чем будущим родам жить. Близу 250 годов горше лютой смерти

страдали в крепостном рабстве. За что? За землю! В казну подать несли — за что? За землю! Безропотно выполняют все налоги — за что? За землю! Дают для защиты отечества своего солдат — за что? За землю!»⁸ Далее он задает резонный вопрос: «Кому земля принадлежит, в роскоши утопающим или в трудах погруженным?»⁹

Бондарев приводит неоспоримые примеры для доказательства мысли о том, что хозяином земли является землепашец. Несправедливость же российская узаконила совершенно иной подход к проблеме, потому и гневается крестьянин: «Я говорил и говорить буду, что земля не вам, белоручкам-помещикам, принадлежит, а нам, крестьянам. Земля с трудом непрерывным канатом связана, т. е. чья земля, того и труды должны быть над нею. На каком же основании и с каким расчетом вы у нас по всей внутренней России землю отобрали и в свою вечную собственность присвоили? Да разве не наглость — одному человеку отдать многие тысячи десятин земли, а другой такой же человек — ему и одной десятины нет»¹⁰.

Несправедливость, связанная с владением земель, делит весь мир, по мнению Бондарева, на «два круга: возвышенный и почтенный, а другой — униженный и отверженный». Разделение общества по этому принципу позволяет крестьянскому философу сделать глобальные выводы: от начала века тянутся труд с праздностью, а хлеб с тунеядством, бедняки вынуждены не щадя живота своего трудиться и за себя, и за тех, кто не хочет этого делать.

Толстой проникся искренним уважением к Бондареву. Во всех письмах, адресованных ему, он подчеркивал силу, ясность, красоту его языка, искренность его убеждений, важность основной мысли труда крестьянского философа. Суть ее заключалась в том, что для достижения полного изобилия в стране нужно уничтожить социальное неравенство, уважать человека не за богатства и чины, а за его обязательную долю в хлеборобном деле. Если каждый человек, по мнению Бондарева, будет «два часа в день работать на хлеб»¹¹, то скоро наступит всеобщее благоденствие.

Толстой высоко оценил стремление Бондарева подойти к решению вопроса о земле с позиций человека, от которого зависят не только экономика, но и сама жизнь. Узнав о том, что появились сельскохозяйственные машины, способные заменить тяжелый труд хлебороба, Бондарев в первую очередь поинтересовался: окажутся ли они доступными крестьянам по цене? Местные интеллигенты объяснили крестьянину,

что пока техника, конечно, очень дорогая, но создатели ее, несомненно, были отмечены правительством. Бондарев обиделся: «Если кто делает незначительное и маловажное изобретение — вы удостоиваете его награды медалью с надписью “За трудолюбие и искусство”. Было ли от начала века, кто бы получил за хлебно трудолюбие и искусство награду? Не было! Из бедных людей, у которых до десятка детей малых, отец и мать — дряхлые старики, и они их кормят, да еще из одного и продают частицу на подати и другие домашние надобности, получили ли из них хотя бы из тысячи один? Нет!»¹²

«Народный заступник» чувствует личную ответственность за благосостояние народа. В своих посланиях Бондарев без обиняков обращался к правительству, отлынивавшему, по его разумению, от своих прямых обязанностей, с требованием решить земельный вопрос: «Ты, правительство, как меня, Бондарева, признаешь: умным или глупым? Хорошим или полезным? Это твое дело, а я себя признаю верным ходатаем о благополучии всего мира, т. е. разыскиваю меры и средства, чем и как избавиться от нищеты. А это дело не малое, важное, его не всякий и не каждый не вдруг и не сразу сделает»¹³.

Сибирский правдоискатель предлагал признать крестьянство полноправным хозяином земли, уважать и по заслугам оценивать его нелегкий, но такой важный в масштабах государства труд. Один из немногих, он отказался от приниженного раболепия перед правительством, обращаясь к нему на «ты»: «Если же тебе помещиков и других богачей жалко, то вынь из своего кармана да дай ему. Нет, для тебя своей собственности жалко, потому из чужого кармана тащишь и тем искренних своих друзей даришь, т. е. последний кусок хлеба у бедного человека с рук вырвешь (это землю) и тем друзей своих одаришь. Ты своим добром подари его»¹⁴.

Так, добиваясь «истины, правосудия и милосердия друг к другу», Бондарев боготворил земледельческий труд. Не ради наслаждения, не в силу необходимости, не во имя искупления какой-либо вины, а как первородный закон: «Прошу вас, други мои читатели, в продолжение чтения этого не упускать из вида того, что будто бы я один только хлебный труд ценю дорого, а прочие и прочие труды признаю дешевыми. Нет, прошу не воображать этого. Все труды полезны, и все они душе-спасительны, но тысячу тысячей и тьмы дороже всех хлебный труд, потому что в нем состоит жизнь, а кроме его — голодная и долго мучительная неизбежная смерть»¹⁵.

Толстой нашел в деятельности Бондарева подтверждение своих предположений о ведущем значении творческой личности мужика в истории России. В беседе с писателем Пругавиным он высказал мысль о том, что «Бондарев превосходно, гениально... да, да, гениально доказал, что земледельческий труд должен быть нравственной обязанностью каждого человека»¹⁶. В письме от 15—20 июля 1885 года Толстой уведомлял Бондарева: «То, что вы говорите, это святая истина, и то, что вы сказали, не пройдет даром; оно обличит неправду людей. Я буду стараться разъяснять то же самое» (63, 276). Другу своему П. И. Бирюкову Толстой признавался: «Очень уж пробрал меня Бондарев. Я не могу опомниться от полученного впечатления» (63, 363).

Общественный идеал самоучки-публициста — всем трудиться на общей земле — был близок Толстому, перешедшему к тому времени на позиции патриархального крестьянства. Он разделял негодование земледельца по поводу тунеядцев и пытался успокоить Бондарева, призывая его к всепрощению: «И не тужите и о том, что ваши близкие вас не понимают и не ценят. Что вам за дело? Вы ведь не для славы человеческой трудились. А дело ваше принесло плоды и принесет, только не придется нам видеть их и вкусить от них. Я знаю по себе, что ваше писание много помогло людям и будет помогать. А чтобы сразу все так сделалось — этого нельзя и ждать не надо. Заставить всех силком трудиться никак нельзя потому, что сила-то вся в руках тех, которые не хотят трудиться» (63, 276).

Можно предположить, что сильное впечатление на Толстого оказали не только идеи, созвучные его собственным, но сила и образность выражения мысли крестьянским сочинителем.

«Русскому делу» не случайно стиль «Труда» Тимофея Бондарева показался близким «к Даниилу Заточнику, Протопопу Аввакуму и т. п. <...> Эта рукопись живо напомнила древние произведения народного творчества, ставшие историческим достоянием нашей литературы. Есть еще на Руси уголок, где в полной силе царят простота и искренность XIV—XVI веков: голос оттуда»¹⁷.

Прочитав рукопись сибирского мыслителя, Толстой писал В. С. Лебедеву: «Вчера я получил через редакцию “Русской мысли” рукописи Бондарева, присланные вами. Мое мнение, что вся русская мысль (конечно, не журнал) с тех пор, как она выражается, не произвела с своими университетами, академиями, книгами и журналами ничего

подобного по значительности, силе и ясности. <...> Это не шутка и не интересное проявление мужицкой литературы, а это событие в жизни не только русского народа, но и всего человечества. Вчера я прочел рукопись в своем семейном кругу, и все встали после прочтения молча и пристыженные разошлись. Все как будто знакомо, но никогда не было так просто и так ясно выражено, без того лишнего, что невольно входит в наши интеллигентные рассуждения» (63, 335). Абсолютную схожесть с Бондаревым в размышлениях о земле Толстой выразил в своем «Письме студенту о праве» (38, 58).

Толстой заверял Бондарева, что постарается издать его книгу: «Приложу все старания, чтобы она была отпечатана так, как вы хотите, без всякого приложения и отнятия. <...> Из вашей статьи я почерпнул много полезного для людей, и в той книге, которую я пишу об этом же предмете, упомянул о том, что я почерпнул это не от ученых и мудрых мира сего, но от крестьянина Т. М. Бондарева. <...> Я думаю так, что если человек понял истину Божию и высказал или написал ее, то она не пропадет. <...> Плохой тот пахарь, который оглядывается назад: много ли он напахал» (63, 332—333).

В 1888 году Толстому удалось в сокращенном виде напечатать мысли Бондарева под заголовком «Трудолюбие, или Торжество земледельца» в № 12—13 журнала «Русское дело». В редакционном предисловии было отмечено: «Сочинение почтенного старика-земледельца имеет и свои несомненные достоинства. По мысли оно интересно как протест против того неуважения, с каким наше необразованное общество и государство относится к земледельческому труду. По форме — как удивительно простое и поэтическое произведение, полное чарующей искренности». Номера этих журналов были уничтожены сразу после их выхода, а редактор «Русского дела» получил предостережение от министра за его «вредное» направление. Узнав об этом, Бондарев выразил енисейскому губернатору в письменной форме свое крайнее возмущение: два великих литератора, Глеб Успенский и Лев Толстой, «на всевозможные лады хвалят, превозносят, выше облак поднимают и всему свету показывают одобрение моему учению, с целью пожелания обратить всю вселенную на сказанный путь благочестия», и все это — о книге, которую в глаза никто не видел. Стало быть, «похвалу, одобрение и возвышенность моему сочинению печатать можно, а само-го учения, т. е. ту вещь, которая одобряется, в свет выпустить нельзя» (63, 335).

Практичный крестьянин решил лично встретиться с авторитетным писателем и договориться с ним о частностях в распространении своего главного труда. Запасшись сухарями и вяленным мясом, он по весенней распутице тронулся в путь, сумел преодолеть ледниковые вершины Алатау, переночевал в городе Кузнецке, где в 1858 году жил Ф. М. Достоевский, полюбовался старинной крепостью, построенной по приказу Петра I шведскими пленными. Но, к сожалению, местные полицейские чины не поняли объяснений крестьянина, не осознали необходимости его встречи с графом и вернули ходока в Иудино, где его уже ждало обвинение «в безвестной отлучке». Оставалось обращаться к Толстому только в письмах.

Между тем Толстой предпринимает попытку напечатать труд сибирского мыслителя за границей. Спонсором стал известный в Сибири меценат И. М. Сибиряков, который обговорил условия с издательством Фламариона в Париже. Посредниками между издательством и Толстым стали братья Эмиль и Амадей Пажес.

Пажесы издали книгу Бондарева на французском языке с предваряющей статьей Л. Н. Толстого. Посланный Бондареву экземпляр этого издания он не получил, так как минусинская полиция утаила непонятную иностранную книжку. В августе 1895 года Толстой писал Бондареву по этому поводу: «Очень сожалею, что французский перевод твоего сочинения, посланный дочерью в Минусинск, пропал, и до сих пор мы еще не добыли нового. Постараюсь при случае приобрести и тогда пришлю. <...> Книгу мою: Царство Божие внутри вас желал бы прислать тебе, да боюсь, как бы не перехватили и не пропала бы. <...> В том, что пишешь о том, что суд будет не внешний, а внутренний, я согласен и так же думаю. Пожалуйста, напиши мне, что имеешь важное сказать. Жить нам остается немного, и что имеешь сказать, надо поскорее и повернее выговаривать, пока еще живы» (68, 143). Только спустя пять лет после выхода французского перевода книги Бондарева он получил наконец ее экземпляр, но понадобилось еще три года, чтобы Бондареву перевели ее¹⁸. Он прочел перевод и остался очень недоволен. В письме к Д. П. Маковицкому от 6 октября 1898 года Бондарев так объяснял причину неудачного перевода: «Как ссудомлена да исковеркана! Л. Н. Толстой делал выборку с полного моего сочинения и представлял за границу для печати не сам, а поручил там какому-то. Он тот, который ненавидит как наш земельный труд, также и само хлебоделание, потому ему писать так, как у меня написано,

не нравится. Мною написанное он признает низким для себя, и у самого толку нет, как хуже быть не может. А Льву Николаевичу проверить, чего и как он там написал, времени не достало, потому он так и отправил его за границу для печатания»¹⁹.

Толстой в письме от 11 сентября 1898 года успокаивал Бондарева: «Напрасно ты думаешь, что книга твоя переводом испорчена. <...> В ней переведено все самое существенное. <...> Переведена же она на французский язык прекрасно и читается очень хорошо. <...> От дули желаю тебе душевного спокойствия и в жизни и в встрече близко уже предстоящей нам смерти» (71, 438).

Письма этого адресат получить не успел. После трехдневной болезни он умер 3 ноября 1898 года.

Увлечение Бондаревым не было минутной прихотью яснополянского мыслителя. Спустя годы, 2 апреля 1906 г., он записывает в дневнике: «Совершенно ясно стало в последнее время, что род земледельческой жизни не есть один из различных родов жизни, а есть жизнь, как книга — Библия, сама жизнь, единственная жизнь человеческая, при которой только возможно проявление всех высших человеческих свойств. Главная ошибка при устройстве человеческих обществ, и такая, которая устраняет возможность какого-нибудь разумного устройства жизни, — та, что люди хотят устроить общество без земледельческой жизни или при таком устройстве, при котором земледельческая жизнь — только одна и самая ничтожная форма жизни. Как прав Бондарев!» (55, 212).

Обещание ознакомить читающую публику с мыслями крестьянского философа-самоучки Толстой сдержал и «необыкновенную правду» мужика великий граф выразил прежде всего в своих статьях «Конец века», «Обращение к русским людям», «Великий грех», в которых лейтмотивом провел мысль об отчуждении земли у помещиков и передаче ее крестьянам. В статье для Словаря Венгерова он указывал: «Странно и дико должно показаться людям теперешнее мое утверждение, что сочинение Бондарева, над наивностью которого мы снисходительно улыбаемся с высоты своего умственного величия, переживет все сочинения, описываемые в историях русской литературы, и произведет больше влияния на людей, чем все они взятые вместе»²⁰.

¹ Цит. по: Белоко́нский И. П. Тимофей Михайлович Бондарев. СПб., 1905. С. 263. В дальнейшем ссылки на эту книгу даны в тексте с указанием номеров страниц в скобках.

² Бондарев Т. М. Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца. Отдел редкой книги Красноярской краевой библиотеки, ф. Юдина, оп. 1977.

³ Бондарев Т. М. Труд и тунеядство, или Торжество земледельца (рукопись для Г. И. Успенского). ЦГАЛИ, ф. Бондарева, ед. хр. 1256/44, л. 1–20.

⁴ Цит. по: Владимирова Е. И. Т. М. Бондарев и Л. Н. Толстой. Красноярск, 1938. С. 58.

⁵ Там же. С. 64.

⁶ Архив Минусинского регионального краеведческого музея, оп. 2, д. 11, л. 2.

⁷ Там же, оп. 2, д. 12, л. 9.

⁸ Там же, оп. 2, д. 11, л. 61.

⁹ Там же, л. 1.

¹⁰ Там же, л. 63.

¹¹ Там же, оп. 2, д. 10, л. 3.

¹² Бондарев Т. М. Труд и тунеядство, или Торжество земледельца (рукопись для Г. И. Успенского). ЦГАЛИ, ф. Бондарева, ед. хр. 1256/44, л. 1–20.

¹³ Архив Минусинского регионального краеведческого музея, оп. 2, д. 13, л. 85.

¹⁴ Там же, оп. 2, д. 11, л. 63.

¹⁵ Бондарев Т. М. Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца. Отдел редкой книги Красноярской краевой библиотеки, ф. Юдина, оп. 1977.

¹⁶ Пругавин А. С. О парадоксах Л. Н. Толстого // Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом. М., 1911.

¹⁷ Граф Толстой и крестьянин Бондарев как проповедники хлебного труда // Русское дело. 1888. № 13. С. 11–13.

¹⁸ Обратный перевод труда Бондарева с французского в настоящее время общедоступен: он воспроизведен в журнале «Енисей» (1989. № 6. С. 47–56; 1990. № 1. С. 47–56).

¹⁹ Цит. по: Владимирова Е. И. Т. М. Бондарев и Л. Н. Толстой. С. 50.

²⁰ Венгерова С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. СПб., 1897. Т. 5. С. 75.

Л. Ф. Майорова

БОРИС ОСИПОВИЧ ГОЛЬДЕНБЛАТ

Борис Осипович Гольденблат родился 31 июля 1864 г. В 1888 г. он окончил юридический факультет Новороссийского университета и приехал на работу в Тулу. Сначала служил помощником присяжного поверенного, затем присяжным поверенным.

В 1893 г. друг Л. Н. Толстого Н. В. Давыдов, тогда председатель Тульского окружного суда, познакомил писателя с Гольденблатом и порекомендовал его в качестве защитника по делам крестьян и разного звания бедных людей, которые обращались к Толстому за помощью. Если Толстой решал, что пришедший к нему проситель нуждается в защите перед судом, он отправлял письмо к Гольденблату или шел на станцию Козлова Засаека или к лесничему, чтобы поговорить с адвокатом по телефону. В 90-томном собрании сочинений Толстого имеются его письма к Гольденблату. Вот, например, одно из них, от 23 мая 1910 г.: «Борис Осипович, ко мне пришел очень не только интересный, но почтенный человек, *Петр Аксенов Фокин*, отказавшийся от военной службы и из-за этого протрадавший много лет в военных тюрьмах. Теперь его выпустили, но, несмотря на то что он Тульского уезда, в 12 верстах от Тулы, его приписали к Кашире и требуют от него ежедневного личного явления в тамошнее какое-то учреждение. Нельзя ли ему устроить так, чтобы он мог являться в волостное правление или хоть в Тулу? Уверен, что вы сделаете, что можно, и впредь благодарю вас. Уважающий вас Лев Толстой» (82, 33).

Общение Толстого и Гольденблата в период с мая 1905 г. по май 1910 г. отражено в «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого. Например, 18 июня 1906 г. он пишет: «Утром был посетитель: рабочий, чинивший котлы на Патронном заводе. Испортил себе глаза на этой работе. Лев Николаевич дал ему записку в несколько строк Гольденблату»¹ (записка неизвестна). 7 октября 1909 г. он записал, что Толстой по телефону говорил с Гольденблатом об избитом телятинском старосте²; 20 ноября 1909 г., что Александра Львовна поехала



Б. О. Гольденблат.
Тула. 1898 г. (?) Фотография В. А. Вакуленко

к Гольденблату просить о мужике-солдате и вдове мужика, задавленного локомотивом в Щекино³.

Однажды Толстой присутствовал в судебном заседании, где по его просьбе защитником выступал Гольденблат. Было это 16 января 1910 г. Об этом сообщает сам Борис Осипович: «Группа крестьян свыше двадцати человек в праздничный день возвращалась из уездного города Крапивны к себе домой. Продали хлеб, выпили и сильно навеселе по проселку тянутся обозом в самом благодушном настроении духа. Вслед за ними выехала из Крапивны почта. И ямщик и почтальон тоже крепко выпивши. Мчатся лихо почтовые лошади... С гиканьем, свистом, руганью, врезаваются почтовые сани в обоз. Подымается перебранка, ссора. Почтальон выхватывает шашку, рубит у крестьян построжки, раскровавливает руку одному мужичку и... одерживает победу. Мужички сворачивают в сторону по пояс в снег, помогают почтовым саням выбраться на дорогу: и снова потянулся длинной лентой обоз в свою засыпанную снегом дереvушку. Казалось бы, и делу конец, но почтальон в пылу сражения потерял шашку, да и опоздал на станцию, где должен был объяснить причину опоздания и отсутствия шашки. Вот он и придумал, что на него произведено было по дороге разбойное нападение крестьянами, которые хотели ограбить почту, он защищался, но у него отняли шашку и т. д. Еле спасся. Возникло дело. Разбойное нападение толпой на почту, отнятие оружия — одним словом, дело, грозящее лишением прав, каторгой.

Заинтересовался этим делом Толстой, принял в обвиняемых сердечное, близкое участие; написал мне письмо с просьбой принять на себя защиту крестьян и вдруг неожиданно для всех приехал на суд... Прочитан обвинительный акт, допрошены свидетели, опрошены обвиняемые... Кончена речь защитника. Палата ушла совещаться. Боюсь оглянуться; боюсь посмотреть на Льва Николаевича. Страшно!.. Стою как пригвожденный к месту, но вот подходит ко мне Душан Петрович и говорит, что меня зовет Лев Николаевич. Он, этот великий сердцевед, понял и почувствовал мои переживания и мое настроение и с необыкновенной чуткостью позвал меня, обласкал, утешил, ободрил: «Как братьев защитили. Как хорошо, любовно, по-братски»⁴.

Маковицкий, в свою очередь, записал в этот день: «Защитник (Гольденблат) говорил убедительно, мягко»⁵. Толстой в своих письмах к Гольденблату не раз благодарил его за помощь. Например, 6 мая 1903 г. он пишет: «Еще раз благодарю вас за многократную вашу

помощь» (74, 114). 10 февраля 1909 г.: «Боюсь, что очень вам надоел, любезный Борис Осипович, но, надеясь на ваше доброе расположение, посылаю к вам еще одного очень трогательного просителя» (79, 64).

Февральскую революцию Гольденблат принял сочувственно, с надеждой. Об этом свидетельствует его маленькая книжечка «Волостное земское управление», которая имеется в Тульской областной библиотеке. Автор пишет: «Революция уничтожила то бесправное положение, в котором находились крестьяне. Крестьяне по старому закону как бы приравнивались к малолетним, они не имели право свободно распоряжаться ни своим имуществом, ни своею личностью, над ними всегда была опека, не всегда к тому же беспристрастная, но неизменно тягостная, унижительная, обидная... Слава Богу, это бесправие пало, крестьяне стали свободными гражданами, сразу стали взрослыми людьми. Но взрослые люди и поступать должны, как подобает взрослым, т. е. сознательно, вдумчиво, осторожно. Пенять теперь не на кого... Сами, своими силами, своим разумом должны устраивать свою жизнь так, чтобы и самим хорошо было жить да и другим не хуже. Устраивать жизнь по-хорошему мы должны не только свою собственную, не только своей семьи, но и всей деревни, волости, уезда, губернии и государства»⁶.

С 1918 по 1925 г. в Туле были изданы еще три книги Гольденבלата по правовым вопросам.

В трудное для всей страны и для Ясной Поляны время Гольденблат был организатором и одним из главных действующих лиц общества «Ясная Поляна». 26 апреля 1918 г. Тульским окружным судом было зарегистрировано это общество в память Л. Н. Толстого. Первая статья об обществе опубликована в том же номере «Известий Тульской кооперации», где и воспоминания Гольденבלата. Мы читаем в статье: «Мысль об учреждении этого Общества возникла осенью прошлого 1917 г., когда по всему Крапивенскому уезду горели помещичьи усадьбы и волна этих пожаров все ближе придвигалась к Ясной Поляне. В октябре выяснилось, что опасность миновала и что те меры охраны Ясной Поляны, которые были приняты еще летом, вполне достаточны. Однако мысль об организации Общества в память Л. Н. Толстого не заглохла.

Летом этого же года группа учредителей выработала устав «Просветительного Общества Ясная Поляна в память Л. Н. Толстого», который был зарегистрирован Тульским Окружным судом. Цели

общества определены в уставе следующим образом: "Общество имеет целью заботу о сохранении Ясной Поляны и могилы Льва Николаевича как драгоценнейшего достояния человечества, а равно превращении Ясной Поляны в культурно-просветительный центр. Для достижения этой цели Общество принимает меры: 1) К поддержанию в должном виде дома, в котором жил Лев Николаевич, к сохранению всех предметов, имеющих отношение до жизни и творений его, к приведению в благоустроенный вид парка, сада, аллей и дорог. 2) К устройству школ, курсов, лекций, библиотек, народного университета, музея, книжных магазинов, читальни и других культурных учреждений. 3) К организации экскурсий в Ясную Поляну. 4) К собиранию материалов, изданию сборников, газет и т. д."»⁷. Членами общества могли быть лица, достигшие 18-летнего возраста, без различия национальности и подданства. Члены общества должны были вносить ежегодно в кассу общества 3 рубля, члены, внесшие единовременно не менее 100 рублей, признавались пожизненными членами и освобождались навсегда от взносов. Правление общества размещалось в Туле, на улице Стародворянской, 25, в доме Гольденבלата. Общие собрания общества были очередные и чрезвычайные; очередные намечалось проводить два раза в год: первое не позже 1 марта, а второе — 28 августа, в день рождения Л. Н. Толстого. 15 сентября 1918 г. происходило первое общее собрание. Оно наметило план деятельности и избрало правление. В состав правления избраны: П. А. Сергеенко (председатель), Б. О. Гольденבלат (товарищ председателя), А. Н. Арсеньев (казначей), Н. И. Поспелов (секретарь), Е. Д. Высокомирный, С. М. Серебровский и В. В. Логтинов. Было решено, что ближайшая деятельность общества должна пойти в трех направлениях: охрана самой Ясной Поляны, облегчение всем желающим посещения и осмотра Ясной Поляны, сооружение в Ясной Поляне памятника, достойного имени Л. Н. Толстого.

«Охранять Ясную Поляну пока не приходится,— сообщается в статье,— т. к. семья Толстого живет там в полной безопасности, в усадьбе до сих пор все цело и никаких покушений на нее ни с какой стороны не предвидится.

Правление Общества считает своей обязанностью принять меры, прежде всего, к улучшению путей сообщения с Ясной Поляной. Для этого необходимо облегчить проезд по железной дороге и улучшить проселок от станции Засека до Ясной Поляны. Когда восстановится

правильное железнодорожное движение, предполагается просить об установлении прямого сообщения Москва — Засека (хотя бы один вагон в сутки), пока же возбуждено ходатайство о переименовании станции Засека в “Ясную Поляну”»⁸.

«Труднее всего осуществить, — пишет автор статьи А. Арсеньев, — третий пункт программы деятельности Общества. Правление полагает, что наилучшим памятником Толстому была бы образцовая школа его имени... Комиссариатом Народного Просвещения ассигновано на Общество “Ясная Поляна” 5500000 р. согласно представленной смете». Статья заканчивается так: «Правление ясно сознает, сколько сил и средств потребуется для осуществления поставленных им задач. Оно далеко от уверенности, что у него хватит сил и умения справиться с принятым на себя делом. Оно надеется только на то, что великое имя Л. Н. Толстого привлечет к этому делу всех чтущих его память, всех, кому дорого просвещение русского народа и кто искренно стремится к распространению культуры в нашем отечестве»⁹.

Далее перечислим некоторые действия общества 1919 г. 2 февраля 1919 г. С. А. Толстая и Т. Л. Сухотина обратились в общество с просьбой о передаче управления усадьбой обществу «Ясная Поляна». 18 февраля вопрос был решен положительно. 27 мая 1919 г. правительством принято решение о национализации имени Ясная Поляна и передаче управления Просветительному обществу «Ясная Поляна» под контролем и по инструкции Наркомзема¹⁰.

Осенью 1919 г. войска Деникина приближались к Туле. 8 октября состоялась экстренное заседание общества, на котором присутствовала Т. Л. Сухотина. Общество отправило письмо в Совнарком, в котором сообщалось: «Надвигающиеся с юга военные события вызывают тревожные мысли о судьбах бывшего имени Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”».

Правление Общества “Ясная Поляна” не исполнило бы своего долга, если бы оставило этот вопрос открытым, зависящим от всяких слепых случайностей и не обратилось бы в СНК.

...Долг совести повелевает обратить Ваше внимание на ту опасность, которая грозит ей, если она станет ареной боев. Эта возможность не исключена, т. к. в Ясной Поляне в настоящее время расквартирована кавалерийская часть. Мы думаем, что не только военная часть должна быть выведена из Ясной Поляны, но, может быть, у Вас имеется возможность поставить об этом в известность врага, у которого

при этих условиях не подымутся руки на уничтожение Ясной Поляны, принадлежащей всему человечеству». 15 октября полк был выведен из Ясной Поляны¹¹.

23 ноября Т. Л. Сухотина пишет Гольденблату: «Многоуважаемый Борис Осипович! Пожалуйста, исключите меня из членов общества «Ясная Поляна»... я не могу оставаться членом Вашего Общества, пока председателем его состоит Сергеенко П. А.»¹². К концу 1919 г. Сергеенко сложил с себя полномочия председателя общества «Ясная Поляна». Новым председателем был избран Б. О. Гольденблат, в этой роли он пробыл до лета 1921 г. Таким образом, он не только был единомышленником Л. Н. Толстого и очень часто бескорыстно помогал ему защищать бедных людей, но и очень много сделал для сохранения яснополянской усадьбы.

В середине 1920-х гг. Борис Осипович с женой перебрались на жительство в Ленинград. В январе 1929 г., отвечая на письмо Н. Н. Гусева, Гольденблат пишет: «К моему глубокому сожалению, я не записывал того, что мне в течение нашего долгого знакомства говорил Лев Николаевич. Все в прошлом, я долго помнил почти все, что он мне говорил, но время, а в особенности мое здоровье, много затуманило»¹³. В этом же письме он пишет, что в Туле «прожил всю свою жизнь». Дом, в котором жил Гольденблат, и сейчас стоит на улице Бундурина (бывшей Стародворянской), 25.

А теперь о портрете Гольденבלата. Дело в том, что изображений этого человека не было ни в фондах «Ясной Поляны», ни в ГМТ. Получить его фотографию посчастливилось от его потомка из Израиля. Случилось это так. Не раз я занималась в краеведческом отделе Тульской областной библиотеки, изучая биографию Гольденבלата и библиографию о нем. В одно из таких посещений сотрудница отдела Марина Владимировна Шуманская сообщила мне, что в библиотеку по электронной почте пришло письмо следующего содержания: «Здравствуйте, я занимаюсь историей своей семьи. Один из моих предков, Гольденблат Б. О., был дружен с Л. Н. Толстым. Меня интересуют любые сведения о его предках — потомках... Большое спасибо. Л. Гутерман». Это письмо меня обрадовало и придало сил для дальнейших поисков хотя бы потому, что одновременно со мной судьбой Б. О. Гольденבלата интересуется близкий ему по крови человек. Правда, отыскать адрес Гутермана оказалось не так просто, но в конце концов он был установлен через мою санкт-петербургскую подругу Галину

Алексеевну Коренькову. Благодаря ей мы передали Льву Владимировичу Гутерману известные нам сведения о Гольденблате. А он прислал нам его фотографию.

¹ ЯЗ. Кн. 2. С. 164.

² ЯЗ. Кн. 4. С. 67.

³ ЯЗ. Кн. 4. С. 117.

⁴ Гольденблат Б. О. Л. Н. Толстой в суде (Из воспоминаний защитника) // Известия Тульской кооперации. 1918. 15 нояб. С. 3.

⁵ ЯЗ. Кн. 4. С. 158.

⁶ Гольденблат Б. О. Волостное земское управление. Тула, 1917. С. 2.

⁷ Известия тульской кооперации. 1918. 15 нояб. С. 5.

⁸ Там же. С. 7.

⁹ Там же. С. 8.

¹⁰ Тихонова Д. Н. Ясная Поляна: родовое имение, музей-усадьба: Сохранение наследия Л. Н. Толстого (вторая половина XIX века — 1930 год). Тула, 2000. С. 136.

¹¹ Там же. С. 139.

¹² Толстой И. В. Свет Ясной Поляны. М., 1986. С. 267.

¹³ Новые материалы Л. Н. Толстого и о Толстом. Мюнхен, 1997. С. 257.

Л. Е. Кочешкова

Б. М. ЭЙХЕНБАУМ О Л. Н. ТОЛСТОМ: ПРОБЛЕМА КОММЕНТИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО ТЕКСТА

При издании классических трудов по литературоведению большое значение приобретает проблема комментирования научного текста. Недавно из печати вышел большой том, включающий в себя работы Б. М. Эйхенбаума о Толстом. В этой книге впервые прокомментирован многотомный труд Эйхенбаума «Лев Толстой. Кн. 1. 50-е годы», «Лев Толстой. Кн. 2. 60-е годы», «Лев Толстой. Семидесятые годы», ряд статей исследователя о Толстом. Работа над комментированием текстов Эйхенбаума, выполненная мною совместно с И. Ю. Матвеевой, послужила основой для написания этой статьи.

Литературоведческое исследование обладает сложной природой, в научном тексте оно допускает «присутствие» личности ученого. В трудах Б. М. Эйхенбаума очень много личного — на эту особенность его исследований указывали в своих работах М. О. Чудакова, И. Н. Сухих. Предварительная работа — изучение биографии, дневников, писем Эйхенбаума, воспоминаний об ученом — обнаружила, что весь этот материал необходим для комментария, знание читателем фактов биографии исследователя углубляет понимание литературоведческого текста. Работа над комментарием вывела нас к проблеме соотношения мира исследователя и мира писателя.

Л. Я. Гинзбург замечательно сказала, что «историко-литературным работам особую динамичность придает их подспудное личное значение, скрытое отношение к жизненным задачам писавшего. У больших научных трудов Бориса Михайловича Эйхенбаума был свой интимный смысл — проблема исторического поведения личности», «для Эйхенбаума на одном полюсе историзма — поведение героев его научных книг. <...> На другом полюсе — поступки самого ученого, литератора, личности»¹. Последнее утверждение хочется несколько уточнить: в связи с работами Эйхенбаума о Толстом предпочтительнее говорить

не о двух «полюсах», а скорее о сложном соотношении мира писателя и мира исследователя, их взаимодействии.

У Эйхенбаума личность исследователя, многосторонне раскрывшаяся в его литературоведческих работах, не «потеснила» Толстого — наоборот, на фоне личного, «эйхенбаумовского», толстовский мир парадоксальным образом высветился глубоко и всесторонне.

В статье пойдет речь об одной книге Эйхенбаума — «Лев Толстой. 50-е годы», являющейся первой частью многотомного исследования о Толстом. В свете заявленной проблемы она представляет особый интерес. В этой книге очень много материала по биографии Толстого. Исследователь творчества Эйхенбаума М. О. Чудакова справедливо отметила, что у Бориса Михайловича в середине 1920-х гг. было два тесно связанных желания: с одной стороны, желание строить свою биографию и, с другой, писать о чужой биографии².

Монография Эйхенбаума «Лев Толстой. 50-е годы» вышла в 1928 г. одновременно с книгой В. Б. Шкловского «Материал и стиль в романе Льва Толстого “Война и мир”». В письме от 28 апреля 1929 г. Эйхенбаум так отозвался об этой работе Шкловского: «...книга замечательная отдельными главами и местами, но замечательная Шкловским, борьбой Шкловского и Толстого, радостью Шкловского, который входит в дом Толстого без всякого страха и хлопает его по плечу»³. Если говорить о «взаимоотношениях» Эйхенбаума и Толстого в книге «Лев Толстой. 50-е годы», то это не «борьба» писателя и исследователя, которую Эйхенбаум увидел у Шкловского. В книге Эйхенбаума не исследователь входит в дом Толстого, а как будто Толстой выходит ему навстречу.

Поясним сказанное, обратившись к истории создания книги. Задумывая книгу о Толстом, Эйхенбаум ставил целью не только исследование творчества Толстого, но и решение глубоко личных проблем. 1 марта 1928 г. он писал в дневнике: «Все мучаюсь над вопросом о том, как написать мне книгу о Толстом, чтобы она для меня (выделено автором. — Л. К.) имела значение»⁴. Эта дневниковая запись может быть истолкована по-разному. Во-первых, речь идет о поиске Эйхенбаумом нового подхода к литературе. Первые работы ученого — вступительная статья к тому с «Детством. Отрочеством. Юностью», книга «Молодой Толстой», вышедшие в 1922 г., — написаны с применением методов формальной школы. В период работы над монографией «Лев Толстой. 50-е годы», в середине 1920-х гг., формальная

школа переживала кризис. В дневнике Эйхенбаум рассуждал: «Прежний тип — как я написал “Молодого Толстого” или “Лермонтова” как-то сейчас уже устарел для меня. Хочется черпнуть иначе, а как?»⁵ Выходом из сложившейся ситуации для Эйхенбаума стала созданная им теория «литературного быта»; она изложена в двух статьях 1927 г.: «Литература и писатель» и «Литература и литературный быт». По Эйхенбауму, проблема «литературного быта» — это «проблема самой литературной профессии, самого “дела литературы”» — «как быть писателем» (выделено автором. — Л. К.)⁶.

Поначалу Эйхенбаум попробовал применить новую теорию к анализу творчества Гоголя — в «Красной газете» 4 марта 1927 г. была опубликована его статья «Гоголь и “дело литературы”». Но уже в статье «Литература и писатель», включенной в майский пятый номер «Звезды» этого же 1927 г., рассмотрен другой материал — творчество Пушкина и Толстого.

Основную мысль книги Эйхенбаум сформулировал в одной из дневниковых записей, где тоже рядом стоят имена Толстого и Пушкина: «...для Толстого литература все время меняет свои функции, никогда не превращаясь в профессиональное дело. Он ищет “независимости” обратным Пушкину ходом — уходом в “дело”, которое меняется»; «Он все время ищет дела (выделено автором. — Л. К.), не желая быть просто литератором, как Тургенев. В этом весь смысл его эволюции»⁷.

На завершающем этапе работы над книгой летом 1928 г. на первом плане оказалась неожиданно для самого автора глава, посвященная Толстому-помещику и его отношению к разным теориям освобождения крестьян. В этой главе Эйхенбаум очень детально разбирал каждую теорию, отношение Толстого к ней, привлекая большой эпистолярный, дневниковый, мемуарный и документальный материал. Казалось бы, глава имеет мало отношения к литературе. Однако Эйхенбаум искал здесь соотношение «литературного» и «внелитературного» ряда, позицию Толстого-помещика он соотнес с позицией Толстого-писателя, утверждая, что «художественное творчество Толстого родилось из архаического пафоса — как демонстрация против “современности”»⁸. Таким образом, Эйхенбаум, отталкиваясь от личной проблемы, вышел к пониманию сложного единства творческого пути Толстого, на котором сменяют друг друга периоды литературной деятельности и «кризисы», «уходы в дело».

Переход от формализма к теории литературного быта осуществлялся у Эйхенбаума не как отказ от прежних взглядов, а как осознание необходимости выработать новый подход к литературе в новых исторических условиях. Для Эйхенбаума было важно не только найти новую научную позицию, но и сохранить верность важным жизненным установкам — сохранить доверие к истории, умение сопрягать свою жизнь с историей и современностью. Это еще один «личный», «эйхенбаумовский» слой в книге о Толстом. Еще в 1914 году Эйхенбаум писал: «От долгого вдумывания в современность я совершенно естественно иду к прошлому...», «современность для меня... основной импульс моей работы, основной смысл научного творчества»⁹. Этим принципам Эйхенбаум был верен и в дальнейшем.

В центре монографии «Лев Толстой. 50-е годы» Эйхенбаум ставит проблему Истории, чрезвычайно актуальную в это время для него самого. Прислушиваясь к «современности», Эйхенбаум пишет о Толстом очень «злободневную», «современную» книгу, прежде всего по своей форме, — «книгу» о писателе. В 1920-е гг. вышли книга-хроника В. В. Вересаева «Пушкин в жизни» (1925—1926), романы о писателях: Ю. Н. Тынянова «Кюхля» (1925), «Смерть Вазир-Мухтара» (1929), О. Д. Форш «Современники» (1926), Б. А. Лавренева «Гравиюра на дереве» (1929), К. А. Большакова «Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова» (1928) и др. Не случайно Шкловский советовал Эйхенбауму «писать роман», указывая на беллетристичность стиля в его книге о Толстом¹⁰.

Монография Эйхенбаума «современна» и в другом отношении. Ученый рассматривает в своей книге о 1850-х гг. многие проблемы, которые приобрели актуальность в литературе современной ему эпохи: соотношение прозы и поэзии, кризис романа, тенденцию к бесфабульности, «мозаичности», «импрессионистичности» прозы и др. Путь Эйхенбаума от современности — к прошлому, наполненный личным смыслом, дал ученому возможность увидеть в творчестве Толстого те тенденции, которые получают свое развитие в литературе XX века.

Личное отношение к проблеме истории позволило ученому понять Толстого с его очень сложным противоречивым ощущением исторического процесса. С одной стороны, Эйхенбаум видел принципиальный антиисторизм толстовского творчества. В начале книги «Лев Толстой. Кн. 2. 60-е годы», подводя итог сказанному им в книге о 1850-х го-

дах, Эйхенбаум писал: «Толстой вел войну не столько с той или другой современностью, сколько с историей как таковой — с самым фактом исторического процесса (выделено автором. — Л. К.). Он, как архивист, не хотел с ним соглашаться, не допускал его возможности»¹¹. Этот аспект толстовского «историзма» развернут Эйхенбаумом в его статьях «О противоречиях Льва Толстого», «Пушкин и Толстой».

С другой стороны, Эйхенбаум отмечал у Толстого сильный «исторический инстинкт», «необычайную способность эволюционировать»¹². Эту особенность толстовского историзма Эйхенбаум рассматривал во многих своих работах, и практически везде он цитировал письмо Толстого к Е. П. Ковалевскому от 12 марта 1860 г.: «Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы узнать, что нужно делать, а в том, чтобы узнать, что делать прежде, а что после»¹³. По Эйхенбауму, этой «мудростью», этим «искусством» Толстой обладал в высшей степени. Во время Крымской войны Толстой написал «Севастопольские рассказы», на полемику о пушкинском и гоголевском направлении в литературе ответил повестью «Два гусара», полемика о «чистом искусстве» нашла отражение в его повести «Альберт», когда же встал вопрос о народном образовании, Толстой бросил литературу и занялся яснополянской школой (см. также статью Эйхенбаума «Творческие стимулы Толстого»).

В книге «Лев Толстой. 50-е годы» Эйхенбаум увидел парадоксальность толстовского отношения к истории: «Ворча на современность и борясь с нею, Толстой именно поэтому непрерывно следует за ней, нападая с самых неожиданных сторон»¹⁴. В этой сложности толстовского историзма Эйхенбаум раскрыл глубину природы писателя.

Вновь вернемся к дневниковой записи ученого: «...как написать мне книгу о Толстом, чтобы она для меня имела значение». Речь здесь идет о преодолении не только научного, но и личного биографического кризиса сорокалетия. «...Я и в самом деле с трудом обедаю, с трудом живу и с ужасом думаю о будущем. <...> Мне скоро 39 лет. История утомила меня, а отдыхать я не хочу и не умею. У меня тоска по поступкам, по биографии»¹⁵, — писал он Шкловскому 25 июня 1925 г. Приближавшееся сорокалетие Эйхенбаум воспринимал как рубеж, после которого человек должен заново отстаивать свою жизненную позицию перед лицом нового молодого поколения. К проблеме поколений Эйхенбаум обращался в работах разных лет, в дневниках и письмах. По его мнению, каждому поколению отведен для активной

деятельности определенный период — десять лет. В статье об Анне Ахматовой 1923 года Эйхенбаум писал: «Десять лет — цифра сакральная: именно столько дарит история каждому поколению. Потом приходит “племя младое” — и начинается сложная, иногда трагическая борьба двух соседних поколений»¹⁶. В соответствии с «законом десятилетий» (выражение Эйхенбаума из предисловия к сборнику «Литература. Теория. Критика. Полемика», написанного в 1926 году 40-летним ученым) Эйхенбаум осмыслял и толстовский творческий путь.

В процессе работы над первой книгой о Толстом Эйхенбаум обдумывал разные варианты ее структуры, но оставлял неизменным деление по десятилетиям: «будет 5 частей ... почти по десятилетиям» (6 марта 1928 г.)¹⁷; «выйдет, примерно, по десятилетиям: 1846—1855, 1856—1865» (4 июня 1928 г.)¹⁸. В этом контексте раскрывается смысл названий трех книг Эйхенбаума: «Лев Толстой. 50-е годы», «Лев Толстой. 60-е годы», «Лев Толстой. Семидесятые годы».

В основе периодизации творчества Толстого и литературного процесса в целом у Эйхенбаума лежит особое индивидуальное ощущение времени, свойственное ученому. Однако именно этот, по сути дела, очень личный подход вывел Эйхенбаума к пониманию особенностей творческого пути писателя. Как писал ученый, «Толстому удалось до конца жизни, на протяжении почти 60 лет (1852—1910), удержаться в литературе, несмотря на смену эпох и поколений»¹⁹. «Первое сорокалетие его жизни <...> было для него только подготовкой к деятельности, периодом ориентации»²⁰. Причем и в этот «школьный», «подготовительный» период Толстой занимал особое место. В одном из писем Эйхенбаум возражал Шкловскому: «Что значит “человек стержневой своего времени”? Чернышевский, Тургенев были очень “стержневые” и знали и читали очень много. Толстой был сложнее, хитрее, крупнее по натуре, готовил себе 60 лет работы. В 50-х и 60-х гг. он, конечно, “боковой”, но не просто. Он ищет власти, а не литературы» (28 апреля 1929 г.)²¹. И только «второе сорокалетие определило его деятельность и его поведение, заслонив собой предыдущие годы и сообщив им смысл школьных лет»²².

«Лев Толстой. 50-е годы» — ключевая для Эйхенбаума книга, которая содержит в себе зерно многих статей ученого 1930-х гг. Во втором томе «Лев Толстой. 60-е годы» (1931) Эйхенбаум продолжил изучение многих проблем, поставленных в первой монографии. Однако «Лев Толстой. 60-е годы» — это уже совсем другая по своей

концепции книга. Первый том строился по хронологическому принципу, с опорой на биографию Толстого. Ключевая проблема истории была здесь развернута в плоскости: история человеческой жизни, человек и сменяющие друг друга поколения. Второй том построен вокруг одной книги — «Война и мир». Отдельные главы монографии Эйхенбаума посвящены или конкретному произведению Толстого, подготавливающему появление «Войны и мира», или конкретному человеку, писателю, мыслителю, с которым связано творчество Толстого. Эйхенбаум «идет» от одного имени к другому, выявляя сложную систему исторических взаимосвязей. Проблема истории предстает здесь совсем в другой плоскости: человек в потоке истории, человек в системе исторических взаимосвязей. Во втором томе Эйхенбаум постепенно выходит к совершенно новому крупному масштабу видения, который характерен для его поздних работ. Исследование «личностного» начала в творчестве Эйхенбаума 1830-х гг., периода создания второго и третьего томов о Толстом, еще только предстоит.

¹ Гинзбург Л. Я. Проблема поведения. Б. М. Эйхенбаум // Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом: Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. Л., 1989. С. 357.

² Чудакова М. О. Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова // Тыняновский сборник: Вторые тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 113.

³ Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским / Вступ. заметка, публ. и коммент. О. Панченко // Вопросы литературы. 1984. № 12. С. 201.

⁴ Работа над Толстым. Б. М. Эйхенбаум: Из дневников 1926—1959 гг. / Публ. С. А. Митрохиной // Контекст: 1981. М., 1982. С. 267.

⁵ Там же. С. 265.

⁶ Эйхенбаум Б. М. Литературный быт // Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987. С. 430—431.

⁷ Работа над Толстым. Б. М. Эйхенбаум: Из дневников 1926—1959 гг. С. 270.

⁸ Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Кн. 1. 50-е годы. Л., 1928. С. 291.

⁹ Письма Б. М. Эйхенбаума к А. С. Долинину / Подгот. текста, вступ. заметка и примеч. Л. Л. Долининой // Звезда. 1996. № 5. С. 182.

¹⁰ См.: Чудакова М. О. Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова. С. 119.

¹¹ Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Кн. 2. 60-е годы. Л.; М., 1931. С. 17.

¹² Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Кн. 1. 50-е годы. С. 371.

¹³ Там же. С. 370.

¹⁴ Там же. С. 371.

¹⁵ Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским. С. 189.

¹⁶ Эйхенбаум Б. М. Анна Ахматова: Опыт анализа // Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л., 1969. С. 75.

¹⁷ Работа над Толстым. Б. М. Эйхенбаум: Из дневников 1926–1959 гг. С. 268.

¹⁸ Там же. С. 271.

¹⁹ Эйхенбаум Б. М. Толстой до «Войны и мира» // Островский А. Г. Молодой Толстой в записях современников. Л., 1929. С. 9.

²⁰ Там же. С. 11.

²¹ Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским. С. 201.

²² Эйхенбаум Б. М. Толстой до «Войны и мира». С. 11.

И. Ю. Матвеева

«МЕЧТАЮ СДЕЛАТЬ КНИГУ О ТОЛСТОМ»

(главы незавершенной монографии
о Льве Толстом Б. М. Эйхенбаума)

Основная идея данной статьи возникла при подготовке издания трудов Б. М. Эйхенбаума, в которое должны были войти все основные работы исследователя, посвященные изучению жизни и творчества Л. Н. Толстого¹.

Работы о Толстом организуют исследовательскую биографию Эйхенбаума. Сама динамика исследовательской мысли в постижении творчества Толстого представляет интерес для научного осмысления.

Особое значение имеют поздние работы Эйхенбаума о Толстом, в качестве итога исследовательского пути. В течение второй половины 1940-х и в 1950-е годы Эйхенбаум работал над новой книгой о Толстом. Ее замысел воплощен в нескольких главах: «Толстой-студент», «Толстой на Кавказе», «Толстой в кругу "Современника"». В дневнике от 4 ноября 1946 г. Эйхенбаум писал: «Вчера отправил письмо П. И. Лебедеву-Полянскому с просьбой разрешить мне написать сначала книжку о Толстом... а потом, к концу 1947 г., сделать из нее главу... для "Истории литературы"...»²

Это третье обращение Эйхенбаума к раннему периоду жизни и творчества Толстого. Первая работа «Молодой Толстой» вышла в 1922 г., книга «Лев Толстой. 50-е годы» появилась в 1928 г., и, наконец, главы незавершенной монографии, которые не были опубликованы при жизни Эйхенбаума, вышли в качестве приложения к книге «Лев Толстой. Семидесятые годы» в 1974 г. Книги получились разными и по методу и по тем задачам, которые решались автором. Но одно замечание, появившееся еще в самом начале работы, определит общий подход исследователя. В дневнике Эйхенбаума от 12 августа 1918 г. (тогда он впервые обратился к изучению творчества Толстого) появляется запись: «Как бы избавиться от иконописания в статье о Толстом!»³ В одной из

своих ранних статей «О Льве Толстом» Эйхенбаум фиксирует утвердившийся взгляд на жизнь и творчество писателя: «Мы до сих пор... судим о Толстом по его собственной "Исповеди". Сделали из Толстого икону — так уж привыкли»⁴. В поздней незаконченной монографии Эйхенбаум пишет по поводу толстовской «Исповеди»: «"Исповедь" была, конечно, не столько действительной исповедью или автобиографией (особенно в отношении юности), сколько проповедью, имевшей свою специальную задачу»⁵.

В книге «Молодой Толстой» впервые поставлен вопрос о Толстом как вопрос в чистом виде литературоведческий, где, по словам Эйхенбаума, «центром становятся проблемы поэтики самой по себе...»⁶ Именно в таком развитии исследовательской мысли, в «уяснении основных вопросов поэтики» Эйхенбаум видит «органическое движение современной филологии»⁷.

Нужно отметить, что внимание к форме художественного произведения, в ущерб вниманию к его содержательной стороне, иногда нуждается в комментарии. Остановимся на одном примере из книги «Молодой Толстой». Эйхенбаум приводит размышление Толстого об искусстве начала XIX века, записанное Л. Я. Гуревич: «Я думаю, что в то время искусство еще вырабатывалось, нужно было выработать форму — форма не давалась как что-то готовое, что можно очень легко сделать внешними средствами — затверженными и всем доступными техническими приемами. <...> Оттого в искусстве того времени все было так свежо»⁸. Эйхенбаум следующим образом комментирует это высказывание Толстого: «Тут, между прочим, с совершенной ясностью различается форма (о "содержании" нет и речи) и простая техника как навык...»⁹ В своей работе Эйхенбаум усиливает высказывание уточнением — «о содержании нет и речи». Но отметим, что в статье Л. Я. Гуревич был фрагмент фразы Толстого, опущенный в книге Эйхенбаума. Приведем этот опущенный фрагмент: «Тогда форма была неотделима от содержания именно потому, что ее нужно было создавать известной напряженной внутренней работой, в которой содержание пробивалось наружу»¹⁰. В высказывании Толстого речь идет именно о форме, через которую пробивается содержание. Эйхенбаум же все внимание сосредотачивает на форме художественного произведения.

Однако значение книги «Молодой Толстой» для изучения творчества Толстого трудно переоценить. Крайности, объяснимые полеми-

ческими условиями, в которых она появилась, стираются, и остается внимание к структуре художественного произведения, очищенное от психологического и социологического толкования. По замечанию Ю. М. Лотмана, «формальная школа поставила в центр внимания само литературное произведение, его текст», ученые и исследователи подчинились требованию времени, «обращение к секретам мастерства было веяньем времени»¹¹.

Продолжая работу над творчеством Толстого и ощущая потребность по-новому подойти к биографии и личности писателя, Эйхенбаум в 1928 г. запишет: «В книге “Молодой Толстой” одно сказано робко, другое чересчур смело, а третье вовсе не сказано...»¹²

Для Эйхенбаума на первый план в книге «Молодой Толстой» выходил вопрос о рождении нового стиля. Книга «Лев Толстой. 50-е годы» поставила вопрос об историческом поведении личности. В главах незавершенной монографии о Толстом главной стала эпоха, сама история, которая с наибольшей силой проявилась в жизни и творчестве гениального писателя.

Главы предполагаемой монографии объединены биографией Толстого, в которую включен обширный литературно-бытовой материал, что уже было сделано Эйхенбаумом ранее, но исследователь подчеркивал, что видит новую книгу совершенно в другом свете. В письме Шкловскому от 18 марта 1947 г. Эйхенбаум писал: «Многое у меня теперь иначе, начиная с Казанского периода, который я на днях закончил»¹³.

Сомнения Эйхенбаума в том, как организовать материал, отражены в его дневниках конца 1940-х — начала 1950-х гг. В записи от 31 марта 1950 г. читаем: «Опять возвращаюсь к работе, хотя еще не уверен, что пойдет, и еще не все решил — колеблюсь: с одной стороны, серия небольших конкретных очерков (вроде как о зеленой палочке), с другой — книга. Надо бы так параллельно и вести, поскольку в книге детали не поместятся. Обдумываю план книги»¹⁴.

Нужно сказать, что судьба последних книг Эйхенбаума о Толстом драматична. Портфель с рукописями, созданными во время блокады, пропал на Ладожском озере. В дневнике Эйхенбаума от 15 июля 1952 г. есть запись: «Вспомнилось, как работал тогда во время блокады над вопросом о философских исканиях Толстого... как читал (в декабре 1941) доклад в Пушкинском Доме и говорил о соотношении философии Толстого с французской практической философией 50–70-х годов

(Жане, Вашро и др.). Как я тогда увлекался, как много сделал! Весь материал (наброски, выписки) пропали вместе с портфелем на Ладожском озере»¹⁵; и позже — в дневнике 1957 г.: «Вспоминал о потере на Ладожском озере материалов к IV тому книги о Толстом. К этому я уже никогда не вернусь, а жаль! Хорошо получалось с философией Толстого, которая выводилась из “кустарного круга” в мировой — с опорой на французскую практическую философию середины XIX века (Жане, Вашро и др.) и на восточную (китайскую, индийскую) этику. Как интересно было бы сделать это, да нет — поздно!»¹⁶

Показательна в этой связи запись в дневнике, когда Эйхенбаум работал над главами незавершенной монографии: «Странно! Натолкнулся в книге Е. Боброва (“Философия в России”) на статью об А. А. Козлове, отсюда к книжке Козлова — “Религия Толстого”, которую я читал во время блокады в 1941 г. (в связи с работой над философией Толстого) — тот самый экземпляр. Там много оказалось подчеркнутым — в том числе о связи с социализмом и даже Пьер Леру! Все это тогда у меня было в мозгу. Потом я забыл, и весь материал пропал на Ладожском озере. А теперь я пришел к тому же, думая, что впервые. Это просто восстановилась мысль 1941 года. Удивительно!»¹⁷

Позднее исследование Эйхенбаума разрастается и насыщается новыми литературными, историческими фактами. «Деталей» становится все больше: подробности биографии Толстого, его окружение, философские концепции и веяния эпохи, история рода. Внимание Эйхенбаума сосредотачивается на соотношении разных исторических периодов, которые начинают пересекаться в сознании и биографии Толстого. В дневнике от 20 апреля 1947 г. Эйхенбаум, размышляя о книге, пишет: «Если бы еще лет 20 настоящей научной работы, я бы сделал дело: перевернул бы весь вопрос о Толстом, поставил бы его по-настоящему, исторически»¹⁸.

Слово «исторический» становится ключевым в поздних работах Эйхенбаума. Объяснение причин исторического подхода к творчеству писателя снова находим в его дневнике: «Гений — это явление, в котором исторические силы народа скапливаются и высказываются в нужный момент»¹⁹, и: «Гений является в результате накопления исторических сил — поэтому сознание истории в нем органично и обязательно»²⁰.

Начало незавершенной монографии сразу вписывает героя повествования в определенную историческую эпоху: «Юность Льва Ни-

колаевича Толстого относится к замечательной эпохе 40-х годов»²¹. Характер эпохи Эйхенбаум определяет при помощи знаковых имен: «Во главе нового движения становятся Белинский и Герцен; зарождается журнал “Современник”, начинают свою деятельность Тургенев, Некрасов, Достоевский, Салтыков-Щедрин»²².

Вопрос об эпохе и истории уже по-своему был поставлен Эйхенбаумом в книге «Лев Толстой. 50-е годы»; в предисловии к ней Эйхенбаум отмечал: «“Литературный быт” частично привел меня к изучению биографического материала, но под знаком не “жизни” вообще (“жизнь и творчество”), а исторической судьбы, исторического поведения. Таким образом, биографический “уклон” явился как борьба с беспринципным и безразличным биографизмом, не разрешающим исторических проблем»²³. Уже в этой книге исследователя интересует не столько метод, сколько материал: «Книга эта,— уточняет Эйхенбаум,— не полемическая и даже не “методологическая”. Основное значение в ней имеют материал и его сопоставление»²⁴.

Начало книги «Лев Толстой. 50-е годы» также вводит историческую перспективу в повествование о Толстом, но акценты расставлены несколько иначе, чем в незавершенной монографии: «Когда умер Пушкин и в литературу стали входить “люди сороковых годов”, Толстой был еще мальчиком и воспитывался в патриархальной обстановке дворянской помещичьей семьи, далекой от формировавшегося тогда мира “русской интеллигенции” — с ее философскими кружками, журналами и пр. На некоторых фактах этого “до-литературного” периода его жизни надо остановиться прежде всего — не для собственно биографического анализа... а потому, что Толстой сам придавал им литературное и историческое значение, используя их не только как материал для своих хроник и романов, но и как основу для устройства своей литературной судьбы, своей писательской позиции, своего жизненного дела»²⁵.

В книге «Лев Толстой. 50-е годы» деятельность Толстого, писательская позиция осмысливается как сознательно выбранный путь, моделирование определенного типа поведения. Волевая установка Толстого в отношении его деятельности неоднократно подчеркивается в этой книге. По мнению Эйхенбаума, Ясная Поляна — «не только поместье, но и место хранения традиций, причудливый в своей противоречивости, архаистический в своей основе мир, созданный отчасти воображением, отчасти упорством Льва Толстого»²⁶. По словам Эйхенбаума,

искусство для Толстого «не профессия, не “артистическая” специальность, а одно из дел, явившееся взамен других и наряду с другими»²⁷.

Эйхенбаум отмечает внимание писателя к потребностям времени: Толстой, «начиная с 1850 г., не только пристально следил за происходящим в литературе движением, но и очень тонко улавливал ее направления и потребности»²⁸. В книге Эйхенбаума появляется слово «заказ» в отношении первых художественных произведений Толстого: «Пройденный до 1852 г. Толстым путь упорного самонаблюдения и самоиспытывания достаточно подготовил его к выполнению именно этого заказа»²⁹.

Хронологически и идейно к книге «Лев Толстой. 50-е годы» примыкают работа с характерным названием «Литературная карьера Толстого» (1929) и статья «Творческие стимулы Толстого» (1935), где Эйхенбаум подчеркивает, что каждое слово Толстого было «вмешательством... в дела и события его эпохи, все это было результатом сложной исторической тактики и стратегии»: «Когда идет Крымская война, он едет в Севастополь и пишет военные рассказы. Когда начинается спор об “отцах и детях”, он пишет повесть “Два гусара”. Когда возникает полемика о “чистом искусстве”, он пишет повесть “Альберт”. Когда поднимается вопрос о женской эмансипации, он пишет роман “Семейное счастье”. Когда все начинают говорить о “народе”, он бросает литературу, становится сельским учителем и пишет памфлет под названием: “Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?”»³⁰.

Характер размышлений исследователя в незавершенной монографии несколько иной. Эйхенбаум, начиная со студенческих лет Толстого, говорит не столько о сознательном выборе, типе поведения писателя, сколько о взаимосвязи внутреннего развития молодого Толстого и исторической эпохи: «Студенческие годы Толстого были, таким образом, годами большого умственного и душевного напряжения. Мало того: это напряжение не было беспредметным, неопределенным — оно имело свою цель, характерную для эпохи»³¹. Во внутреннем развитии Толстого Эйхенбаум отмечает не столько его волевую установку, сколько волю истории: «40-е годы были пережиты Толстым не только как его личная “юность”, но и как “эпоха”, сознание которой он своему уловил и выразил»³².

Такой исторический взгляд исследователя на изучение биографии и творчества Толстого определяет особый подход к художественным

текстам. Эйхенбаум говорит, что текстом повести «Юность» можно пользоваться как своего рода «мемуаром». Отсутствие дневниковых записей Толстого Эйхенбаум восполняет фрагментами художественных текстов: «Вторая сфера деятельности, намеченной в деревне, не отражена в дневнике, потому что Толстой перестал его вести (после 16 июня 1847 г.); о ней можно составить себе представление по “Роману русского помещика”»³³.

Записи в дневниках Эйхенбаума фиксируют тот же подход к художественным текстам писателя: «Читал из черновых редакций “Казачков”, где раскрыта вся молодость с поразительной ясностью и глубиной... Это все надо ввести в главу “Между Казанью и Кавказом” — совершенно заменяет дневник и дает даже больше, потому что говорится о самом важном»³⁴.

Одним из принципов работы в позднем исследовании Эйхенбаума становится «реконструкция»; в дневнике от 17 апреля 1952 г. он писал: «Надо выдерживать тематическое строение книги. Первая глава — не детство “вообще”, а то из детства, что было важно для будущего Толстого. С этой стороны (т.е. с идейно-биографической, исторической), детство Толстого надо реконструировать, потому что он сам об этой стороне почти ничего не знал...»³⁵

Эйхенбаум фиксирует и осмысляет движение и взаимопроникновение идей, которые стимулируют преобразующий творческий процесс писателя. В дневнике за август 1949 г., сопоставляя фрагменты из романа В. Гюго «Отверженные» и размышления Толстого, он цитирует вступительную статью А. К. Виноградова к изданию «Отверженных» (Academia, 1931): «Как это всегда бывало у Толстого, глубокое и органическое усвоение проблемы романа выражалось у него в форме позднего осадка впечатлений с полной переработкой чужой идеи до неузнаваемости»³⁶.

В главах незавершенной монографии Эйхенбаум принципиально иначе осмысляет студенческий период жизни Толстого. В книге «Лев Толстой. 50-е годы» исследователь ограничился характеристикой Толстого «пустяшный малый», принадлежащей С. Н. Толстому, и отметил «типическое» в поведении студента Толстого.

В поздней работе казанский период жизни писателя разворачивается, насыщается историческим материалом и становится философским и психологическим фундаментом для его дальнейшего творчества. Эйхенбаум утверждает, что «признания самого Толстого о своих

студенческих годах и разнообразны и противоречивы; притом все они относятся к старости и связаны с некоторыми характерными для этих лет тенденциями. Нельзя поэтому безоговорочно пользоваться и ограничиваться такого рода материалом при изучении казанского периода»³⁷. В книге сделан следующий вывод: «...казанские годы были периодом не столько “праздной жизни”, сколько “философских открытий”»³⁸.

Основное идейное движение эпохи от идеалистических концепций к увлечениям конкретной, практической деятельностью Эйхенбаум улавливает в ранних набросках Толстого. На этот раз, обращаясь к дневникам юного Толстого, исследователь приходит к выводу, что «философские наброски юного Толстого содержат несомненные следы его знакомства с немецким идеализмом»³⁹. Отказ Толстого от пространного философствования Эйхенбаум также определяет характерным для эпохи поворотом; о дальнейших записях Толстого исследователь говорит: «Однако “разум”, о котором говорит здесь Толстой, — это вовсе не тот “чистый разум”, о котором говорили немецкие философы; это “разум” утопистов и просветителей — тот всеобщий разум, на котором была основана вера в прогресс, в возможность улучшения человеческой жизни, разум не трансцендентный, не созерцательный, а практический, выражающийся в форме моральных истин и правил. Этот-то разум и эти истины имеет в виду Толстой... Юный Толстой вместе со своим поколением, со своей эпохой вступал в область социально-утопических идей (“перестраивал весь мир божий”»⁴⁰.

Эстетические поиски Толстого Эйхенбаум также соотносит с основополагающими тенденциями эпохи. Приведем пример, как Эйхенбаум комментирует набросок Толстого «Поездка на Мамакай-юрт» (1852). Толстой сам указывал на источники своих поэтических представлений о Кавказе — Марлинского, кавказские сочинения Лермонтова; в сознании Толстого остались только поэтические образы. Эйхенбаум отмечает, что «действительность разрушила все эти романтические представления — и Толстой решительно отказывается от них»⁴¹. Затем следует добавление: «Итак, при всем отказе от “поэтических образов”, навеянных чтением Марлинского и Лермонтова, Толстой не отказывается от поэзии вообще — наоборот: он считает своей обязанностью найти поэзию в самой действительности... Толстой ставит перед собой именно реалистические задачи (не “натура”, а действительность) и в этом смысле стоит на высоте художественных требований, создан-

ных новой эпохой»⁴². Дальнейшие размышления Толстого Эйхенбаум соотносит с книгой Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», «утверждавшего, что прекрасное в жизни выше, чем прекрасное в искусстве, что действительность выше мечты и пр.»⁴³.

По мысли Эйхенбаума, художественные поиски Толстого органически связаны с эстетическими поисками мыслителей и теоретиков искусства его эпохи.

Таким образом, для исследователя основной задачей в позднем труде о Толстом становится выявление «подлинного исторического смысла» художественного явления. В дневнике от 15 сентября 1957 г. Эйхенбаум писал: «Для изучения (анализа) художественного произведения прошлого надо держать фоном всю систему философских (философско-исторических), религиозно-нравственных, общественных (утопических) и научных теорий, идей, представлений эпохи — только на таком фоне могут выступить подлинные исторические смыслы художественных произведений этого времени»⁴⁴.

Вопрос о Толстом в книге поставлен именно «исторически», не случайно в дневнике появляется определение «историческая биография» Толстого⁴⁵.

Говорить о методе поздних работ Эйхенбаума практически невозможно. В дневнике от 29 февраля 1952 г. Эйхенбаум отмечал: «Я, кажется (тьфу, тьфу!), всерьез и окончательно начал писать биографию Толстого. Как будто нашел тон, ритм, последовательность. И правильный метод...»⁴⁶ Описывая этот метод, Эйхенбаум только указывает: «...опишу сначала в тетради (большой серой, вот эта), давая себе волю, а потом, когда почувствую, что нашел и “сама пойдет”, переложу на листки — набело»⁴⁷. Можно только сказать, что поздние работы Эйхенбаума принципиально отличны от ранних: их характеризует всеобъемлющее знание, которое дает возможность многогранного и многостороннего освещения каждого литературного явления, творчества писателя.

Книга о Толстом, задуманная и так до конца не написанная, остается важнейшим стимулом для его жизни и работы в последние годы. Ю. А. Бережнова, ученица Эйхенбаума, вспоминала, как исследователь в январе 1957 г. делился своими планами: «Я совершенно здоров и мечтаю сделать книгу о Толстом, но пока еще нет времени...»⁴⁸ В письме к Шкловскому от 5 августа 1957 г. Эйхенбаум говорит о своих

исследовательских планах еще более определенно: «Я посмотрел свои рукописи и записи к работе о Толстом, сделанные в годы молчания. Надумано и догадано было очень много — и много забыто. Надо вернуться и восстанавливать. Буду собирать и отчасти заново писать книгу: “Лев Толстой. Очерки и исследования”. К началу 1959 года сделаю — в 1960 г. можно было бы выпустить. Это мне будет почти 75 лет — на этом, верно, и кончить придется»⁴⁹.

¹ Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. СПб., 2009.

² Работа над Толстым. Б. М. Эйхенбаум: Из дневников 1926–1959 гг. / Публ. С. А. Митрохиной // Контекст: 1981. М., 1982. С. 275.

³ Эйхенбаум Б. М. «Мучительно работаю над статьей о Толстом...» / Публикация О. Б. Эйхенбаум; Сост., вступ. заметка и примеч. Т. Бек // Вопросы литературы. 1978. № 3. С. 311.

⁴ Эйхенбаум Б. М. О Льве Толстом // Жизнь искусства. 1919. 23 ноября. С. 1.

⁵ Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 755.

⁶ Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу: Сб. ст. Л., 1924. С. 3.

⁷ Там же. С. 4.

⁸ Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 134.

⁹ Там же. С. 134.

¹⁰ Гуревич Л. Я. Художественные заветы Толстого // Гуревич Л. Я. Литература и эстетика. М., 1912. С. 230–231.

¹¹ Лотман Ю. М. Пушкин 1999 года. Каким он будет? // Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 136.

¹² Работа над Толстым. Б. М. Эйхенбаум: Из дневников 1926–1959 гг. С. 266.

¹³ Цит. по: Кертис Дж. Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. СПб., 2004. С. 334.

¹⁴ Работа над Толстым. Б. М. Эйхенбаум: Из дневников 1926–1959 гг. С. 285.

¹⁵ Там же. С. 295.

¹⁶ Там же. С. 299.

¹⁷ Там же. С. 276.

¹⁸ Там же. С. 277.

¹⁹ Там же. С. 291.

²⁰ Там же. С. 293.

²¹ Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 751.

²² Там же. С. 751.

²³ Там же. С. 148.

²⁴ Там же. С. 149.

²⁵ Там же. С. 150.

²⁶ Там же. С. 150.

²⁷ Там же. С. 150.

²⁸ Там же. С. 189.

²⁹ Там же. С. 189.

³⁰ Там же. С. 693.

³¹ Там же. С. 766.

³² Там же. С. 767.

³³ Там же. С. 772.

³⁴ Работа над Толстым. Б. М. Эйхенбаум: Из дневников 1926—1959 гг. С. 280.

³⁵ Там же. С. 295.

³⁶ Там же. С. 282.

³⁷ Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 755.

³⁸ Там же. С. 762.

³⁹ Там же. С. 762.

⁴⁰ Там же. С. 764.

⁴¹ Там же. С. 780.

⁴² Там же. С. 780—781.

⁴³ Там же. С. 781.

⁴⁴ Работа над Толстым. Б. М. Эйхенбаум: Из дневников 1926—1959 гг. С. 301.

⁴⁵ Там же. С. 295.

⁴⁶ Там же. С. 290.

⁴⁷ Там же. С. 290.

⁴⁸ Бережнова Ю. А. Из разговоров с Б. М. Эйхенбаумом // Звезда. 1997. № 10. С. 164.

⁴⁹ Цит. по: Кертис Дж. Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. С. 338.

Г. И. Колосова

ЗНАКОВЫЕ ВСТРЕЧИ: Г. Н. ПОТАНИН И Л. Н. ТОЛСТОЙ В СУДЬБЕ В. Ф. БУЛГАКОВА

В жизни Валентина Федоровича Булгакова (1886—1966) были две замечательные встречи: с выдающимся ученым и путешественником Г. Н. Потаниным и великим русским писателем Л. Н. Толстым. От Потанина он получил путевку в жизнь. Встреча с Толстым дала ему возможность не только личного общения с писателем, но и позволила оказать ему свою посильную помощь — в последний год жизни Толстого он стал его личным секретарем.

Валентин Булгаков родился 13 (25) ноября 1886 г. в г. Кузнецке (ныне Новокузнецк) в семье штатного смотрителя уездных училищ Ф. А. Булгакова. Начальное образование Валентин получил в Кузнецком уездном училище. В 1898 г. он вместе с младшим братом Вениамином и еще с тремя своими товарищами приезжает в Томск, чтобы продолжить учебу в мужской гимназии. Живут они в пансионе при гимназии. Постепенно включаются в общественно-культурную среду города. Следует отметить, что Томск в этот период особенно быстро растет во всех смыслах — и внешне, и в интеллектуальном отношении.

Потанин приезжает из Красноярска в Томск в начале апреля 1902 г. (это подтверждает его первое письмо из Томска к М. Г. Васильевой, датированное 9 апреля). Весть о приезде Потанина быстро распространилась по городу, так как Григорий Николаевич очень энергично включился в культурно-общественную жизнь города. Возможно, что приезд Потанина в Томск повлиял на решение гимназиста Булгакова собирать исторический и фольклорный материал в Томской губернии, так как он обращается к ученому с просьбой дать необходимые наставления. Ответное письмо Потанина, который вообще отвечал на письма достаточно быстро, датировано 21 апреля 1902 г. Потанин пишет: «Милостивый государь, тороплюсь ответить на Ваше любезное письмо.

Наблюдения над домашним [бытом] и религиозными верованиями черневых татар, конечно, имеют большой интерес для науки, хотя об этом предмете в литературе уже имеются некоторые сведения, преимущественно обнародованные о Вербицким, но это, разумеется, не исчерпывает задачи.

Если в Ваших руках уже находятся собранные материалы, то для того, чтобы сказать, что они представляют, новый ли материал или слабое повторение уже сообщенных литературе сведений, нужно их видеть.

Если Вы только имеете впереди задачу собирания материалов, то я могу этому сочувствовать. Для меня лично большой интерес представляют сказки, предания и легенды. И если Вы имеете в районе черневых татар людей, которые охотно бы взялись за собирание сказок и преданий, то я, между прочим, просил бы Вас обратить внимание на предания об Ойрот-хане, о шамане Хан-Хурмосе и о шамане Таин-Тархан-бо и заговоре князя Шидырвана или Шидыр-урбана. Готовый к услугам Григорий Потанин»¹.

В конце мая Потанин уезжает на Алтай на все лето, а возвращается в город в конце сентября. Это подтверждает его письмо к П. И. Макушину, датированное 1 октября, которое он подписывает как «член совета Общества попечения о начальном образовании в Томске».

В начале 1903 г. Потанин стал устраивать журфиксы, приглашая на свои вторники и молодежь, тянувшуюся к нему. Известный сибирский писатель Г. Д. Гребенщиков, вспоминая впоследствии о таких встречах, писал, что многие из них «чувствовали в нем не дедушку, не строгого наставника, не генерала от литературы и науки, а старшего, хорошего, простого, доброго товарища, с которым дерзали даже спорить и шутить и который и сам всех баловал своими шутками и рассказами о смешном, а главное — сказками о Востоке»².

Надо отметить, что секрет любви и всеобщего обожания, которым был окружен Григорий Николаевич, объяснялся не только его мудростью, ученостью или принесенными на общественный алтарь жертвами, — секрет этот был заключен в его душе и сердце. Потанину были присущи притягивающие к нему людей «высокоидеальная нравственная чистота и цельность, которые ковались в течение всей его долгой и подвижнической жизни»³.

Молодой гимназист Булаков был частым гостем у Потанина, который по-дружески относился к нему и всячески старался помогать

молодому исследователю. Как явствует из воспоминаний Булгакова, темами его бесед с Потаниным были не только сказки. Григорий Николаевич знакомил Валентина с творчеством алтайского художника Г. Гуркина, делился воспоминаниями о Ядринцеве и о многом другом.

Что касается Валентина Булгакова, то он весьма активно начал свою литературно-исследовательскую деятельность. Так, например, он собрал все сведения о венчании в 1857 г. Ф. М. Достоевского с М. Д. Исаевой в Кузнецке. Многие сведения он узнал непосредственно от о. Евгения Тюменцева, который венчал Достоевского с Исаевой в Богородской церкви. Булгаков, будучи гимназистом 7-го класса, весь собранный материал опубликовал в октябре 1904 г. в иллюстрированном приложении к газете «Сибирская жизнь»⁴, которое редактировал Потанин.

Летом 1904 г. Булгаков, руководствуясь наставлениями Потанина, записывает сказки в разных уездах Томской губернии: в Бийском уезде в селах Чемал и Коурак; в Кузнецком уезде в селах Сосновском, Ильинском и деревне Коневой. В следующем 1905 г. Булгаков продолжил свои фольклористические исследования в селе Бердском Барнаульского уезда, а также среди татар в Камляжской волости Бийского уезда.

Свою деятельность по сбору народных сказок гимназист Булгаков проводил в летнее время, а по возвращении в Томск показывал Григорию Николаевичу записи сказок. Кроме личных встреч между ними установилась и переписка. Известно несколько писем Потанина к Булгакову, относящихся к 1904—1906 гг. Фрагмент из письма от 17 июня 1904 г.: «Благодарю Вас за Ваше письмо. Из алтайских преданий обратите внимание на предания об Ойрот-хане, о котором Вы уже писали в “Сибирской жизни”; нет ли рассказа, по какому поводу он исчез из края, что завещал народу, не оставил ли каких наставлений, не связывается ли с его фигурой представление о блаженном золотом веке и прочее?»⁵

Собранные Булгаковым 28 сказок были опубликованы в конце 1906 г. в очередном выпуске «Записок Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества по этнографии». Сборник был издан в Томске под редакцией Г. Н. Потанина⁶. В своем примечании он особо отметил, что Булгаков к записанным им сказкам составил предисловие и привел сведения о сказителях, с которыми общался. С первых встреч и бесед

с молодым исследователем Потанину по душе пришлось такие его личные качества, как целеустремленность, трудолюбие, старательность и тщательность выполнения работы.

Томскую гимназию Валентин Булгаков окончил в 1906 г. с золотой медалью. Потанин, продолжая опекать Булгакова, постарался помочь ему определиться в поисках своего исследовательского направления. В августе 1906 г. он пишет рекомендательное письмо к В. Ф. Миллеру: «Многоуважаемый Всеволод Федорович! Смее ли беспокоить Вас усиленной просьбой оказать покровительство молодому человеку, с которым пишу это письмо.

Валентин Федорович Булгаков, кончив Томскую гимназию, намерен продолжать образование, поступив на историко-филологический факультет Московского университета.

Рекомендую его Вам как будущего собирателя русского фольклора. В течение двух лет он записывал сказки в селах Коураке и Бердском Томской губернии»⁷. Далее Потанин, обеспокоенный тем, что занятий в университете может не быть, просит найти для Булгакова какую-нибудь работу, чтобы время не пропало даром. Потанин отмечает очень характерную черту Булгакова: «Насколько я могу судить, из него может выработаться искусный записыватель сказок; по крайней мере бердские сказки записаны им с такой пунктуальностью, какая мне, например, недоступна; он скорее грешит преувеличением точной передачи, чем пропусками».

Таким образом, можно считать, что встреча и время общения с выдающимся ученым стали отправной точкой в дальнейшей судьбе Валентина Булгакова. Между тем переписка Потанина с Булгаковым-студентом продолжалась. Очень интересно то, как он обращается к своему двадцатилетнему адресату. В письме от 3 декабря 1906 г. Потанин пишет: «Многоуважаемый Валентин Федорович! Извините, что так долго оттянул исполнение своей обязанности ответить на целый ряд Ваших писем»⁸.

Он сообщает о том, как печатается книга, где публикуются сказки, собранные Булгаковым; рекомендует тему для статьи и объясняет, какого характера необходимо собрать материал для нее; просит побывать в редакции «Этнографического обозрения» и справиться о судьбе рукописи С. Х. Бейлина. Кроме этого, Григорий Николаевич пишет: «Очень рад, что Всеволод Федорович отнесся к Вам участливо. Благодарю Вас за Ваши письма и отчеты о Вашей деятельности. Библио-

графические занятия втянут Вас в область фольклористики и укрепят в ней. С удовольствием буду читать Ваши письма, если будете сообщать о Ваших работах»⁹.

В. Ф. Булгаков, став студентом историко-филологического факультета Московского университета, все же постепенно отошел от изучения народного фольклора, так как оказался под впечатлением прочитанных публицистических и философских работ Л. Н. Толстого. Позднее, в своих «Воспоминаниях о Толстом», он напишет, что когда заинтересовался ими, то решил поехать в Ясную Поляну, чтобы в беседе с Львом Николаевичем выяснить некоторые волнующие его вопросы.

Первая встреча молодого студента, которому был всего 21 год, с великим писателем состоялась 23 августа 1907 г. Просто и искренне ответил Толстой на ряд вопросов, которые он задал. В своих воспоминаниях Булгаков позже напишет: «Затем он подарил нам несколько книжек, дружески попрощался с нами. И лицо его было уже совсем другим, чем при встрече под “деревом бедных”. Ни следа строгости не осталось в нем. Он уже знал нас. Он видел, что не пустое любопытство привело нас в Ясную Поляну. Он считал нас друзьями. Мы покинули Толстого совершенно счастливыми»¹⁰.

10 апреля 1908 г. состоялась еще одна встреча Булгакова с Толстым. Следует отметить, что подробности этих встреч он изложил в статье под названием «День в среде Л. Н. Толстого и его друзей». Статья была опубликована в 1908 г. в двух номерах томской газеты «Сибирская жизнь»¹¹.

Талантливый студент, разделяя основы религиозно-общественного учения, исповедуемого Толстым, задумал написать книгу «Христианская этика. Систематические очерки мировоззрения Л. Н. Толстого». По окончании работы над книгой он решил по совету друзей показать рукопись Толстому, а также решить ряд вопросов и сомнений, что и стало причиной для третьей поездки в Ясную Поляну 23–24 декабря 1909 г.

Однако Булгакову предстояло снова войти в общение с «великим писателем русской земли», и на этот раз — по обстоятельствам исключительного характера и на довольно продолжительное время¹². Что же это были за обстоятельства? В. Г. Чертков, с которым Булгаков уже был близко знаком, рекомендовал его Толстому на место секретаря вместо Н. Н. Гусева, отправленного в административную ссылку

за распространение запрещенных статей Л. Н. Толстого. Неудивительно, что Булгаков с большой охотой отозвался на предложение стать секретарем своего любимого писателя. Уладив свои дела в университете, 17 января 1910 г. он приезжает в Ясную Поляну. Так неожиданным для него образом он стал личным секретарем великого писателя в последний год его жизни. Булгаков пользуется его доверием и дружбой, оказывая во всем свою посильную помощь. Нет необходимости приводить этому подтверждения, так как это нашло отражение в его дневнике, который Булгаков вел день за днем. Он с большой пунктуальностью и точностью фиксировал факты и события яснополянской жизни, записывал мысли, которыми делился с ним великий писатель.

В качестве секретаря Толстого Булгаков был всего один год, но именно последний год жизни писателя был самым сложным и трудным. Известно, что после смерти Л. Н. Толстого Валентин Федорович в 1911 г. опубликовал свой дневник под названием «У Л. Н. Толстого в последний год его жизни». В советское время дневник неоднократно переиздавался с дополнениями и уточнениями, но уже под названием «Л. Н. Толстой в последний год его жизни»¹³.

Томичи были одними из первых, перед кем Валентин Федорович выступал с воспоминаниями о Толстом. Он приехал в Томск в 1911 г. в середине апреля и выступил на вечере, устроенный литературно-артистическим кружком¹⁴.

Уже в 1911 г. он принимается за сложное и важное дело: изучение состава толстовской библиотеки, описание каждой книги, брошюры, начав с выявления всех помет и записей на книгах. Об этом он напишет Потанину в одном из своих писем: «Никогда, среди всех перипетий моей довольно-таки разнообразной жизни, не забываю Вашего доброго отношения ко мне в Томске и занятий фольклором под Вашим руководством.

В данное время я живу в Ясной Поляне и заканчиваю порученное мне Москов[ским] Толстов[ским] обществом библиографическое описание библиотеки Толстого»¹⁵. Здесь и пригодились его знания библиографического описания книг. Это описание библиотеки осталось в рукописном виде, но значительно позднее, спустя многие десятилетия, Булгаков вновь вернется к этой работе.

Можно считать, что всю свою последующую жизнь — а это более полувека — Валентин Федорович являлся летописцем жизни и творчества Л. Н. Толстого, который остался для него кумиром на всю жизнь.

В начале 1920-х гг. Булгаков активно занимался созданием толстовских музеев, но затем судьба его сложилась довольно сложно. В 1923 г. он вместе с семьей выехал в Чехословакию. С лекциями и докладами о жизни и творчестве Л. Н. Толстого он посетил многие европейские страны. В 1941 г. Булгаков был арестован и до конца войны находился в баварском лагере для интернированных советских граждан. В 1948 г. вместе с семьей он вернулся в СССР, и конечно — в Ясную Поляну.

Долгие годы Валентин Федорович был научным сотрудником, а затем и хранителем яснополянского дома-музея Толстого. Активно занимался просветительской деятельностью, выступая с лекциями, докладами, беседами, проводил экскурсии по музею, много консультировал, писал воспоминания и пр. Под его руководством научными сотрудниками музея-усадьбы была начата работа по библиографическому описанию личной библиотеки Л. Н. Толстого¹⁶.

Особо следует подчеркнуть, что любовь к Сибири, к Кузнецку и Томску у Булгакова осталась на всю жизнь. В своих письмах к землякам (в частности, в конце 1950-х гг. он переписывался с А. П. Абрамовым) он всегда с особой радостью вспоминал различные эпизоды своей молодости, с любовью писал о людях, с которыми учился и встречался, часто вспоминая с благодарностью и своего первого учителя жизни Г. Н. Потанина. В конце июля 1959 г. Булгаков со своим братом Вениамином посетил Кузнецк (который тогда назывался Сталинск), где встретил многих своих старых знакомых¹⁷.

Известный сибирский писатель Г. Д. Гребенщиков, тоже имевший возможность встретиться с Л. Н. Толстым, в своих воспоминаниях, как бы сопоставляя две личности, Потанина и Толстого, отметил, что «для сибиряков Потанин то же, что Толстой для всех обремененных духовной жаждой и скорбью людей мира. Наши скорби более реальны, более просты, но для разрешения их нам нужен добрый и авторитетный друг. Этим другом для Сибири и являлся Григорий Николаевич, как Толстой был другом всего мира»¹⁸. Так что Валентину Федоровичу Булгакову выпало счастье встретить на своем жизненном пути двух «добрых и авторитетных друзей» в лице Г. Н. Потанина и Л. Н. Толстого.

Публикуем два письма В. Ф. Булгакова к Г. Н. Потанину, которые хранятся в Научной библиотеке Томского государственного университета. Письма публикуются впервые.

№ 1

Москва, 1 мая 1908 г.

Остоженка, Савеловский пер., д. 15, кв. 4.

Глубоко уважаемый Григорий Николаевич! По поводу только что прошедшей Пасхи, поздравляю Вас с праздником и с наступающей новой весной. Занимаюсь изучением философии и... Толстого. Два раза был в Ясной Поляне. Здесь не перестаю вспоминать о Вас. В Томск летом не приеду. Желая здоровья и всего лучшего.

*Вал. Булгаков*¹⁹.

№ 2

Ст<анция> Засака, Тульской г<убернии>

Им<ение> Ясная Поляна.

Дорогой Григорий Николаевич!

Позвольте обратиться к Вам с просьбой. Участвующий в редактировании для печати дневников Л. Н. Толстого бывший секретарь его Ник<олай> Ник<олаевич> Гусев заинтересовался личностью Аркадия Ивановича Якоби, бывшего профессором гигиены в Харьковском университете и товарищем брата Льва Толстого — Дмитрия. Сам Толстой посетил Якоби в Харькове в 1885 г. Интересно то, что Якоби, бросив профессию, поселился в Сибири среди инородцев, изучал их и старался помогать им, чем мог. Толстой отзывался о нем с глубоким уважением.

К сожалению, более подробных сведений о Якоби у нас нет. Вы так хорошо знаете Сибирь и прошлое ее молодой культуры, — не попадалось ли Вам когда-нибудь имя Аркадия Ивановича Якоби среди имен людей, послуживших так или иначе общей нашей родине? Память Ваша вмещает этих имен, вероятно, больше, чем чья бы то ни было теперь, и потому я решился побеспокоить Вас своим вопросом, за ответ на который буду искренно признателен.

С радостью пользуюсь этим случаем, чтобы послать Вам свои лучшие пожелания и самый душевный привет. Никогда, среди всех перипетий моей довольно-таки разнообразной жизни, не забываю Вашего доброго отношения ко мне в Томске и занятий фольклором под Вашим руководством.

В данное время я живу в Ясной Поляне и заканчиваю порученное мне Москов<ским> Толстов<ским> обществом библиографическое описание библиотеки Толстого. Дело это затянулось, ввиду того что мне пришлось просидеть 1 г<од> и 1 м<есяц> в тюрьме за составление и распространение христианского воззвания против войны. Теперь я выпущен на поруки до суда, и скоро, вероятно, снова отвезут меня в «Таганку» или в «Бутырку». Сейчас тяжело всем, что я и не думаю об этих маленьких страданиях: они тонут в общем горе.

Пока до свидания, дорогой Григорий Николаевич! С прежним глубоким уважением жму Вашу руку.

Передайте, пожалуйста, мое почтение Вашей супруге²⁰. Искренно преданный Вам Вал. Булгаков²¹.

¹ Письма Г. Н. Потанина: В 5 т. Иркутск, 1992. Т. 5. С. 53–54.

² Гребенщиков Г. Д. Большой сибирский дедушка: (Из личных встреч с Г. Н. Потаниным) // Литературное наследство Сибири. Т. 7. Григорий Николаевич Потанин. Новосибирск, 1986. С. 283–294.

³ Там же. С. 287.

⁴ Булгаков В. Ф. Ф. М. Достоевский в Кузнецке // Сибирская жизнь. XXIII иллюстрированное приложение к № 221. Томск. 1904. 10 окт. С. 1.

⁵ Письма Г. Н. Потанина. Т. 5. С. 69.

⁶ Записки Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества по этнографии. Томск, 1906. Т. 1 Вып. 3. С. 59–183, 195–200.

⁷ Письма Г. Н. Потанина. Т. 5. С. 81.

⁸ Там же. С. 83.

⁹ Там же.

¹⁰ Булгаков В. Ф. О Толстом: Воспоминания и рассказы. Тула, 1978. С. 66–67.

¹¹ Сибирская жизнь. Томск. 1908. Июнь — июль.

¹² Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, 1891–1910. М., 1960. С. 739.

¹³ Булгаков В. Ф. У Л. Н. Толстого в последний год его жизни: Дневник В. Ф. Булгакова. М., 1911; Лев Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л. Н. Толстого В. Ф. Булгакова. М., 1920; Л. Н. Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л. Н. Толстого. М., 1960; То же. М., 1989.

¹⁴ Сибирская жизнь. Томск. 1911. № 80.

¹⁵ ИБ ТГУ. Архив Г. Н. Потанина. Переписка. № 473, л. 2.

¹⁶ Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне: Библиографическое описание: В 2 кн. М., 1972—1978.

¹⁷ Архив Е. А. Макаровой. Письмо В. Ф. Булгакова к А. П. Абрамову от 12 июля 1959 г. Л. 1.

¹⁸ Гр е б е н ц и к о в Г. Д. Большой сибирский дедушка. С. 294.

¹⁹ ИБ ТГУ. Архив Г. Н. Потанина. Переписка. № 472. Автограф. Письмо написано на почтовой открытке с изображением здания консерватории в Москве. Отправлена из Москвы 1 мая 1908 г., получена в Томске 8 мая 1908 г.

²⁰ Васильева Мария Георгиевна (1863—1943), сибирская поэтесса, с 1911 г. жена Г. Н. Потанина.

²¹ ИБ ТГУ. Архив Г. Н. Потанина. Переписка. № 473. Автограф. Письмо условно датируется по содержанию 1914—1915 гг.

М. В. Строганов

К ИСТОРИИ ПЕРВОГО ПРИЕЗДА Л. Н. ТОЛСТОГО В ТВЕРСКОЙ КРАЙ

Л. Н. Толстой приезжал в Тверской край несколько раз чуть не стоил ему жизни. Мы знаем о нем из рассказа самого Толстого «Охота пуще неволи», который с подзаголовком «Рассказ охотника» вошел в «Четвертую русскую книгу для чтения» (1875), предназначенную для обучения детей из народа и широко распространенную в среде демократически настроенной интеллигенции. Вот этот маленький рассказ:

«Мы были на охоте за медведями. Товарищу пришлось стрелять по медведю; он ранил его, да в мягкое место. Осталось немного крови на снегу, а медведь ушел.

Мы сошлись в лесу и стали судить, как нам быть: идти ли теперь отыскивать этого медведя или подождать три дня, пока медведь уляжется.

Стали мы спрашивать мужиков-медвежатников, можно или нельзя обойти теперь этого медведя? Старик-медвежатник говорит: „Нельзя, надо медведю дать остепениться; дней чрез пять обойти можно, а теперь за ним ходить — только напугаешь, он и не ляжет“.

А молодой мужик-медвежатник спорил со стариком и говорил, что обойти теперь можно. „По этому снегу, — говорит, — медведь далеко не уйдет, — медведь жирный. Он нынче же ляжет. А не ляжет, так я его на лыжах догоню“.

И товарищ мой тоже не хотел теперь обходить и советовал подождать.

Я и говорю: „Да что спорить. Вы делайте как хотите, а я пойду с Демьяном по следу. Обойдем — хорошо, не обойдем — все равно делать нынче нечего, а еще не поздно“.

Так и сделали.

Товарищи пошли к саням, да в деревню, а мы с Демьяном взяли с собой хлеба и остались в лесу.

Как ушли все от нас, мы с Демьяном осмотрели ружья, подоткнули шубы за пояса и пошли по следу.

Погода была хорошая: морозно и тихо. Но ходьба на лыжах была трудная: снег был глубокий и праховый. Осадки снега в лесу не было, да еще снежок выпал накануне, так что лыжи уходили в снег на четверть, а где и больше.

Медвежий след издали был виден. Видно было, как шел медведь, как местами по брюхо проваливался и выворачивал снег. Мы шли сначала в виду от следа, крупным лесом; а потом, как пошел след в мелкий ельник, Демьян остановился. „Надо, — говорит, — бросать след. Должно быть, здесь ляжет. Присаживаться стал — на снегу видно. Пойдем прочь от следа и круг дадим. Только тише надо, не кричать, не кашлять, а то спугнешь“.

Пошли мы прочь от следа, влево. Прошли шагов пятьсот, глядим — след медвежий опять перед нами. Пошли мы опять по следу, и вывел нас этот след на дорогу. Остановились мы на дороге и стали рассматривать, в какую сторону пошел медведь. Кое-где по дороге видно было, как всю лапу с пальцами отпечатал медведь, а кое-где — как в лаптях мужик ступал по дороге. Видно, что пошел он к деревне.

Пошли мы по дороге. Демьян и говорит: „Теперь смотреть нечего на дорогу; где сойдет с дороги вправо или влево, видно будет в снегу. Где-нибудь своротит, не пойдет же в деревню“.

Прошли мы так по дороге с версту; видим впереди — след с дороги. Посмотрели — что за чудо! след медвежий, да не с дороги в лес, а из лесу на дорогу идет: пальцами к дороге. Я говорю: „Это другой медведь“. Демьян посмотрел, подумал. „Нет, — говорит, — это он самый, только обманывать начал. Он задом с дороги сошел“. Пошли мы по следу, так и есть. Видно, медведь прошел с дороги шагов десять задом, зашел за сосну, повернулся и пошел прямо. Демьян остановился и говорит: „Теперь верно обойдем. Больше ему и лечь негде, как в этом болоте. Пойдем в обход“.

Пошли мы в обход, по частому ельнику. Я уж устал, да и труднее стало ехать. То на куст можжевельниковый наедешь, зацепишь, то промеж ног елочка подвернется, то лыжа свернется без привычки, то на пень, то на колоду наедешь под снегом. Стал я уж уставать. Снял я шубу, и пот с меня так и льет. А Демьян как на лодке плывет. Точно сами под ним лыжи ходят. Ни зацепит нигде, ни свернется. И мою шубу еще себе за плечи перекинул и все меня понукает.

Дали мы круг версты в три, обошли болото. Я уже отставать стал — лыжи сворачиваются, ноги путаются. Остановился вдруг впереди меня Демьян и машет рукой. Я подошел. Демьян пригнулся, шепчет и показывает: „Видишь, сорока над ломом щекочет; птица издалече его дух слышит. Это он“.

Взяли мы прочь, прошли еще с версту и нашли опять на старый след. Так что мы кругом обошли медведя, и он в середине нашего обхода остался. Остановились мы. Я и шапку снял и расстегнулся весь: жарко мне, как в бане, весь, как мышь, мокрый. И Демьян раскраснелся, рукавом утирается. „Ну,— говорит,— барин, дело сделали, теперь отдохнуть надо“.

А уж заря сквозь лес краснеть стала. Сели мы на лыжи отдыхать. Достали хлеб из мешка и соль; поел я сначала снегу, а потом хлеба. И такой мне хлеб вкусный показался, что я в жизнь такого не ел. Посидели мы; уж и смеркаться стало. Я спросил Демьяна, далеко ли до деревни. „Да верст двенадцать будет. Дойдем ночью, а теперь отдохнуть надо. Надевай-ка шубу, барин, а то остудишься“.

Наломал Демьян ветвей еловых, обил снег, настлал кровать, и легли мы с ним рядышком, руки под головы подложили. И сам не помню я, как заснул. Проснулся я часа через два. Треснуло что-то.

Я так крепко спал, что и забыл, где я заснул. Оглянулся я — что за чудо! Где я? Палаты какие-то белые надо мной, и столбы белые, и на всем блестящие блестят. Глянул вверх — разводы белые, а промеж разводов свод какой-то вороненый, и огни разноцветные горят. Огляделся я, вспомнил, что мы в лесу и что это деревья в снегу и в инее мне за палаты показались, а огни — это звезды на небе промеж сучьев дрожат.

В ночь иней выпал: и на сучьях иней, и на шубе моей иней, и Демьян весь под инеем, и сыплется сверху иней. Разбудил я Демьяна. Стали мы на лыжи и пошли. Тихо в лесу; только слышно, как мы лыжами по мягкому снегу посовываем, да кое-где треснет дерево от мороза, и по всему лесу голк раздается. Один раз только живое что-то зашумело близехонько от нас и прочь побежало. Я так и думал, что медведь. Подошли к тому месту, откуда зашумело, увидели следы зайчьи, и осинки обглоданы. Это зайцы кормились.

Вышли мы на дорогу, привязали лыжи за собой и пошли по дороге. Идти легко стало. Лыжи сзади по накатанной дороге раскатываются, громыхают, снежок под сапогами поскрипывает, холодный иней

на лицо, как пушок, липнет. А звезды вдоль по сучьям точно навстречу бегут, засветятся, потухнут, — точно все небо ходуном ходит.

Товарищ спал, — я разбудил его. Мы рассказали, как обошли медведя, и велели хозяину к утру собрать загонщиков-мужиков. Поужинали и легли спать.

Я бы с усталости проспал до обеда, да товарищ разбудил меня. Вскочил я, смотрю: товарищ уж одет, с ружьем что-то возится.

„А где Демьян?“ — „Он уже давно в лесу. Уж и обклад поверил, сюда прибежал; а теперь повел загонщиков заводить“. Умылся я, оделся, зарядил свои ружья; сели в сани, поехали.

Мороз все держал крепкий, тихо было, и солнца не видать было; туман стоял наверху, и иней садился.

Проехали мы версты три по дороге, подъехали к лесу. Видим: в низочке дымок синее и народ стоит, — мужики и бабы с дубинами.

Слезли мы, подошли к народу. Мужики сидят, картошки жарят, смеются с бабами.

И Демьян с ними. Поднялся народ, повел их Демьян расставлять кругом по нашему вчерашнему обходу. Вытянулись мужики и бабы ниткой, 30 человек — только по пояс их видно — зашли в лес; потом пошли мы с товарищем по их следу.

Дорожка хоть и натоптана, да тяжело идти; зато падать некуда, — как промежду двух стен идешь.

Прошли мы так с полверсты; смотрим — уж Демьян с другой стороны к нам бежит на лыжах, машет рукой, чтоб к нему шли.

Подошли мы к нему, показал нам места. Стал я на свое место, огляделся.

Налево от меня высокий ельник; сквозь него далеко видно, и за деревьями чернеется мне мужик-загонщик. Против меня частый, молодой ельник в рост человека. И на ельнике сучья повисли и слиплись от снега. В середине ельника дорожка, засыпанная снегом. Дорожка эта прямо на меня идет. Направо от меня частый ельник, а на конце ельника полянка. И на этой полянке, вижу я, что Демьян ставит товарища.

Осмотрел я свои два ружья, взвел курки и стал раздумывать, где бы мне получше стать. Сзади меня в трех шагах большая сосна. „Дай стану у сосны и ружье другое к ней прислоню“. Полез я к сосне, провалился выше колен, обтоптал у сосны площадку аршина в полтора и на ней устроился. Одно ружье взял в руки, а другое с взведенными

курками прислонил к сосне. Кинжал я вынул и вложил, чтобы знать, что в случае нужды он легко вынимается.

Только я устроился, слышу, кричит в лесу Демьян.

„Пошел! в ход пошел! пошел!“ И как закричал Демьян, на кругу закричали мужики разными голосами, „Пошел! Ууу!..“ — кричали мужики. „Ай! И-их!“ — кричали бабы тонкими голосами.

Медведь был в кругу. Демьян гнал его. Кругом везде кричал народ, только я и товарищ стояли, молчали и не шевелились, ждали медведя. Стою я, смотрю, слушаю, сердце у меня так и стучит. Держусь за ружье, подрагиваю. Вот-вот, думаю, выскочит, прицелюсь, выстрелю, упадет... Вдруг налево слышу я, в снегу обваливается что-то, только далеко. Глянул я в высокий ельник: шагов на 50, за деревьями, стоит что-то черное, большое. Приложился я и жду. Думаю, не подбежит ли ближе. Смотрю: шевельнул он ушами, повернулся и назад. Сбоку мне его всего видно стало. Здоровенный зверище! Нацелился я сторяча. Хлоп! — слышу: шлепнулась об дерево моя пуля. Смотрю из-за дыма, — медведь мой назад катит в обклад и скрылся за лесом. Ну, думаю, пропало мое дело; теперь уж не набежит на меня; либо товарищу стрелять, либо через мужиков пойдет, а уж не на меня. Стою я, зарядил опять ружье и слушаю. Кричат мужики со всех сторон, но с правой стороны, недалеко от товарища, слышу, непутем кричит какая-то баба: „Вот он! Вот он! Вот он! Сюда! Сюда! Ой, ой! Ай, ай, ай!“

Видно — на глазах медведь. Не жду уже я к себе медведя и гляжу направо, на товарища. Смотрю: Демьян с палочкой без лыж, по тропинке бежит к товарищу; присел подле него и палкой указывает ему на что-то, как будто целится. Вижу: товарищ вскинул ружье, целится туда, куда показывает Демьян. Хлоп! — выпалил. „Ну, — думаю, — убил“. Только, смотрю, не бежит товарищ за медведем. „Видно, промах или плохо попал, — уйдет, — думаю, — теперь медведь назад, а ко мне уже не выскочит!“ Что такое? Впереди себя слышу вдруг — как вихорь летит кто-то, близехонько сыплется снег, и пыхтит. Поглядел я перед собой: а он прямехонько на меня по дорожке между частым ельником катит стремглав и, видно, со страху сам себя не помнит. Шагах от меня в пяти весь мне виден: грудь черная, иловища огромная с рыжинкой. Летит прямехонько на меня лбом и сыплет снег во все стороны. И вижу я по глазам медведя, что он не видит меня, а с испугу катит благим матом куда попало. Только ход ему прямо на сосну, где я стою. Вскинул я ружье, выстрелил, — а уже он еще ближе. Вижу,

не попал, пулю пронесло; а он и не слышит, катит на меня и все не видит. Пригнул я ружье, чуть не упер в него, в голову. Хлоп! — вижу, попал, а не убил.

Приподнял он голову, прижал уши, осклабился и прямо ко мне. Хватился я за другое ружье; но только взялся рукой, уж он палетел на меня, сбил с ног в снег и перескочил через. „Ну,— думаю,— хорошо, что он бросил меня“. Стал я подниматься, слышу — давит меня что-то, не пускает. Он с налету не удержался, перескочил через меня, да повернулся передом назад и навалился на меня всею грудью. Слышу я, лежит на мне тяжелое, слышу теплое над лицом и слышу, забирает он в пасть все лицо мое. Нос мой уж у него во рту, и чую я — жарко и кровью от него пахнет. Надавил он меня лапами за плечи, и не могу я шевельнуться. Только подгибаю голову к груди, из пасти нос и глаза выворачиваю. А он норовит как раз в глаза и нос зацепить. Слышу: нацепил он зубами верхней челюстью в лоб под волосами, а нижней челюстью в маслак под глазами, стиснул зубы, начал давить. Как ножами режут мне голову; бьюсь я, выдергиваюсь, а он торопится и как собака грызет — жамкнет, жамкнет. Я вывернусь, он опять забирает. „Ну,— думаю,— конец мой пришел“. Слышу, вдруг полегчало на мне. Смотрю, нет его: соскочил он с меня и убежал.

Когда товарищ и Демьян увидали, что медведь сбил меня в снег и грызет, они бросились ко мне. Товарищ хотел поскорее поспеть, да ошибся; вместо того чтобы бежать по протоптанной дорожке, он побежал целиком и упал. Пока он выкарабкивался из снега, медведь все грыз меня. А Демьян, как был, без ружья, с одной хворостиной, пустился по дорожке, сам кричит: „Барина заел! Барина заел!“ Сам бежит и кричит на медведя: „Ах ты, баламутный! Что делает! Брось! Брось!“

Послушался медведь, бросил меня и побежал. Когда я поднялся, на снегу крови было, точно барана зарезали, и над глазами лохмотьями висело мясо, а сгоряча больно не было.

Прибежал товарищ, собрался народ, смотрят мою рану, снегом примачивают. А я забыл про рану, спрашиваю: „Где медведь, куда ушел?“ Вдруг слышим: „Вот он! вот он!“ Видим: медведь бежит опять к нам. Схватились мы за ружья, да не успел никто выстрелить, — уж он пробежал. Медведь остервенел, — хотелось ему еще погрызть, да увидал, что народу много, испугался. По следу мы увидели, что из медвежьей головы идет кровь; хотели идти догонять, но у меня разболелась голова, и поехали в город к доктору.

Доктор зашил мне раны шелком, и они стали заживать.

Через месяц мы поехали опять на этого медведя; но мне не удалось добить его. Медведь не выходил из обклада, а все ходил кругом и ревел страшным голосом. Демьян добил его. У медведя этого моим выстрелом была перебита нижняя челюсть и выбит зуб.

Медведь этот был очень велик, и на нем прекрасная черная шкура.

Я сделал из нее чучелу, и она лежит у меня в горнице. Раны у меня на лбу зажили, так что только чуть-чуть видно, где они были»¹.

Шрамы на голове писателя остались до конца жизни, а рассказ был крайне популярен в детской среде в конце XIX — начале XX в. Так, например, политический деятель и писатель первой волны эмиграции Н. А. Цуриков вспоминал о своей встрече с Толстым: «Писателя Толстого мы уже знали и любили. Вероятно, по его азбуке мы выучились грамоте. И первое, что вообще прочли, были его же короткие рассказы, басни и сказки. А тут как раз накануне отец прочел нам „Охота пуще неволи“. Описание пробуждения в лесу, среди деревьев, покрытых инеем, показавшегося Толстому сказочным дворцом, но особенно того, как раненый медведь с перебитой пулей челюстью наваливается на Толстого и захватывает его голову в пасть, а мужик-обходчик, с одной хворостиной в руке, бежит на зверя, чтобы спасти барина, произвело на нас, деревенских детей, — конечно, уже мечтавших о ружьях и охоте, — огромное впечатление. И поэтому мы с волнением ждали, и не столько писателя, сколько охотника и героя рассказа о медведе.

Эту первую „встречу“ [с Толстым] я помню, конечно, очень смутно. Седой насуспенный старик сидит за столом и о чем-то говорит, как будто спорит с отцом. А мы, не отрываясь, смотрим на него. Он замечает это: „Что это они меня так разглядывают?“ — „Ах, это я им как раз вчера прочел ваш рассказ „Охота пуще неволи“, так их, очевидно, интересует, нет ли у вас шрамов на лбу“.

Толстой сразу изменился. Он подозвал нас к себе, мы его окружили; кажется, он посадил младшего брата к себе на колени и стал нам рассказывать и про эту, и про другие охоты. Мы чувствовали себя с ним легко и просто. Рассказ его был увлекательно интересен. И у меня даже осталось в памяти, как он приподнял рукой волосы на лбу и показал нам шрам — следы зубов медведя»².

Вот какой была первая встреча Толстого с Тверским краем в 1858 г. Однако мы почти ничего не знаем о ней. Даже в таком авторитетном справочнике, как летопись жизни Толстого, о ней сказано так:

«<Декабрь> 21. Первый день медвежьей охоты под Вышним Волочком с С. С. Громекой, П. А. Шеншиным (братом А. А. Фета), Н. Н. Толстым и жоаком на медвежьих охотах Осташковым. Т. убил медведя <...>

<Декабрь> 22. Второй день медвежьей охоты. Т. был погрызан медведицей»³.

В дневнике Толстой об этой охоте упоминает в краткой записи 23 декабря 1858 г.: «Деньги повсюду нужны. Поехал на охоту за медведь<ем>, 21 убил одного; 22 меня погрыз. Денег промотал пропасть» (48, 19).

Более подробно он пишет об этой охоте в письме от 25 декабря 1858 г. к своей тетке Т. А. Ергольской: «Nous avons été avec Nicolas à la chasse à l'ours; le 21 j'ai tué un ours, le 22 nous sommes allés de nouveau et il m'est arrivé une chose des plus extraordinaires. L'ours sans me voir s'est jeté sur moi, j'ai tiré sur lui à 6 pas, je l'ai manqué du premier coup; du second coup, à 2 pas, je l'ai blessé à mort; mais il s'est jeté sur moi, il m'a renversé par terre et pendant qu'on accourait il m'a mordu deux fois au front au dessus et au dessus de l'oeil. Par bonheur cela n'a duré que 10 ou 15 secondes; l'ours s'est enfui et je me suis relevé avec une petite blessure qui ne me défigure ni ne me fait souffrir. Ni l'os du crâne ni l'oeil ne sont endommagés de sorte que j'en suis quitté pour une petite cicatrice que me restera au front. — A présent je suis à Moscou et je me porte parfaitement bien. Je vous écris la pure vérité sans rien cacher, pour que vous ne vous inquiétiez pas. A présent tout est passé et il n'y a qu'à remercier Dieu qui m'a sauvé d'une manière si extraordinaire» (60, 276—277)⁴.

Но ни в одном источнике ничего не говорится о том, какой случай привел Толстого на охоту в тверские леса и кто его пригласил. Странно, что это не волнует толстоведов. Еще страннее, что это не волнует тверских краеведов.

Единственный комментарий к этой охоте дают воспоминания Фета, на которые, однако, исследователи с этой точки зрения не обращали никакого внимания. Приведем отрывок из воспоминаний Фета (хотя Фет путает даты и относит охоту к началу 1859 г.):

«Между тем Громека от 15 января писал: „Согласно вашей просьбе, спешу уведомить вас, милый Афанасий Афанасьевич, что на этих днях, около 18 или 20 числа, я еду на медведя. Передайте Толстому, что мною куплена медведица с двумя медвежатами (годовальными), и что если ему угодно участвовать в нашей охоте, то благоволит к 18

или 19 числу приехать в Волочек, прямо ко мне, без всяких церемоний, и что я буду ждать его с распростертыми объятиями: для него будет приготовлена комната. Если же он не приедет, то прошу вас уведомить меня к тому же времени. Я полагаю, что охота состоится именно 19 числа. Следовательно, всего лучше и даже необходимо приехать 18-го. Если же Толстой пожелает отложить до 21-го, то уведомьте; далее ждать невозможно»⁵.

Далее Фет рассказывает об этой охоте: «Для большей убедительности известный вожак на медвежьих охотах Осташков явился на квартиру Толстых. Его появление в среде охотников можно только сравнить с погружением раскаленного железа в воду. Все забурило и зашумело. Ввиду того что каждому охотнику на медведя рекомендовалось иметь с собою два ружья, граф Лев Николаевич выпросил у меня мою немецкую двустволку, предназначенную для дробы. В условленный день наши охотники (Лев Николаевич и Николай Николаевич) отправились на Николаевский вокзал. Добросовестно передам здесь слышанное мною от самого Льва Николаевича и сопровождавших его на медвежьей охоте товарищей. Когда охотники, каждый с двумя заряженными ружьями, были расставлены вдоль поляны, проходившей по изборожденному в шахматном порядке просеками лесу, то им рекомендовали пошире отоптать вокруг себя глубокий снег, чтобы таким образом получить возможно большую свободу движений. Но Лев Николаевич, становясь на указанном месте, чуть не по пояс в снег, объявил отаптывание лишним, так как дело состояло в стрельбе в медведя, а не в ратоборстве с ним. В таком соображении граф ограничился поставить свое заряженное ружье к стволу дерева так, чтобы, выпустив своих два выстрела, бросить свое ружье и, протянув руку, схватить мое. Поднятая Осташковым с берлоги громадная медведица не заставила себя долго ждать. Она бросилась к долине, вдоль которой расположены были стрелки, по одной из перпендикулярных к ней продольных просек, выходивших на ближайшего справа ко Льву Николаевичу стрелка, вследствие чего граф даже не мог видеть приближения медведицы. Но зверь, быть может учуяв охотника, на которого все время шел, вдруг бросился по поперечной просеке и внезапно очутился в самом недалеком расстоянии на просеке против Толстого, на которого стремительно помчался. Спокойно прицелясь, Лев Николаевич спустил курок, но, вероятно, промахнулся, так как в клубе дыма увидал перед собою набегающую массу, по которой выстрелил почти

в упор и попал пулею в зев, где она завязла между зубами. Отпрянуть в сторону граф не мог, так как неотоптанный снег не давал ему простора, а схватить мое ружье не успел, получивши в грудь сильный толчок, от которого навзничь повалился в снег. Медведица с разбега перескочила через него.

„Ну, — подумал граф, — все кончено. Я дал промах и не успею выстрелить по ней другой раз“. Но в ту же минуту он увидал над головою что-то темное. Это была медведица, которая, мгновенно вернувшись назад, старалась прокусить череп ранившему ее охотнику. Лежащий навзничь, как связанный, в глубоком снегу Толстой мог оказывать только пассивное сопротивление, стараясь по возможности втягивать голову в плечи и подставляя лохматую шапку под зев животного. Быть может вследствие таких инстинктивных приемов, зверь, промахнувшись зубами раза с два, успел только дать одну значительную хватку, прорвав верхними зубами щеку под левым глазом и сорвав нижними всю левую половину кожи со лба. В эту минуту случившийся поблизости Осташков, с небольшою, как всегда, хворостиной в руке, подбежал к медведице и, расставив руки, закричал свое обычное: „куда ты? куда ты?“ — услышав это восклицание, медведица бросилась прочь со всех ног, и ее, как помнится, вновь обошли и добили на другой день.

Первым словом поднявшегося на ноги Толстого с отвисшею на лицо кожей со лба, которую тут же перевязали платками, — было: „что-то скажет Фет?“ Этим словом я горжусь и поныне» (С. 226—228).

История страшная. Мы чуть было не лишились «Войны и мира» и «Анны Карениной». Так кто же этот Громека, который пригласил Толстого на охоту в Вышний Волочек?

Вот что пишет о нем Фет, относя события к 1857 г.: «По временам и грустная наша квартира с Борисовым благодушно оживала. Такому оживлению много способствовал умный, талантливый и пылкий энтузиаст, давнишний мой приятель Ст. Ст. Громека, бывший в то время начальником жандармского дивизиона Николаевской дороги. Он сам когда-то во время оно писал стихи и был до болезненности чуток на все эстетическое. Сюда же весьма часто из-за Москвы-реки хаживал Ап. Григорьев. И когда, бывало, эти два энтузиаста — Громека и Григорьев — сойдутся за вечерним чаем, наше скромное обиталище превращается в Геликон. Григорьев, несмотря на бедный голосок, доставлял искренностью и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал му-

зыкальный контур песни. Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю, а затем, нередко около полуночи, уносил домой пешком свою гитару» (С. 193). Громека вместе с Фетом, А. А. Григорьевым, В. П. Боткиным и И. П. Борисовым посетили однажды «погребок в Сокольниках», в котором играли «два вольноотпущенные гитариста». В рассказе Фета «Кактус» эта «экскурсия» превратилась в историю посещения цыганки Стешы.

Для характеристики Громеки как любителя изящного важен и другой эпизод воспоминаний Фета. Осенью 1858 г. (видимо, после 14 ноября) к Фету приехал брат П. А. Шеншин, который просил Фета помочь ему систематизировать гуманитарное образование. Фет пишет: «...я принялся с ним за чтение хорошо мне знакомого Горация и заставлял брата с моих слов составлять теорию искусств, начиная с пластических до тонических включительно. Я старался выставить скелет эстетики в самых кратких и очевидных его сочленениях.

Однажды гостивший у нас С. С. Громека прочел эту небольшую тетрадку и просил ее списать для руководства его детям» (С. 282).

Итак, мы знаем, что Степан Степанович Громека был начальником жандармского дивизиона Николаевской дороги, поклонником поэзии и даже поэтом. Одно из стихотворений С. С. Громеки Фет приводит в своих воспоминаниях. Оно написано на свадьбу И. П. Борисова и сестры Фета Н. А. Шеншиной и прислано в письме к Фету от 11 января 1858 г.:

Славься делом сим удачным,
Славься, нежный Фет!
Вашим милым новобрачным
Искренний привет!
Много счастья, многи лета
Бог им да пошлет!
И продлит во славу Фета
Свой Борисов род!
Я спешу. Сию минуту
Еду в град Петра
(Исполняя службу люту,
Дрыхну до утра).
Кстати: в Питере Щербатский
Ипполит, и с ним

Для Немира путь по-братски
Мы уж сочиним... (С. 222).

Упоминаемый в стихотворении Немир — это легавый пойнтер Фета, находившийся в это время в том полку, где служил Фет. А Ипполит и Николай Федоровичи Щербатские — офицеры, сослуживцы Фета. И еще один маленький экспромт Громеки приводит в своих воспоминаниях Фет; это постскриптум к письму:

В сердце прежнюю любовь хранит
К вам Щербатский Ипполит,
А Степан Степанов сын Громека
Будет вас любить четыре века (С. 226).

Фет добавляет к этому под тем же 1858 г.: «Однажды вечером, во время чаю, явился к нам неожиданно граф Л. Н. Толстой и сообщил, что они, Толстые, т. е. он, старший его брат Николай Николаевич и сестра графиня Марья Николаевна, поселились все вместе в меблированных комнатах Варгина на Пятницкой. Мы все скоро сблизились. Не помню, при каких обстоятельствах братья Толстые — Николай и Лев — познакомились с Ст. Ст. Громекой; вероятно, это произошло у нас в доме. Все трое очень скоро сблизились между собою, так как оказались страстными охотниками» (С. 214). Теперь мы знаем, что Громека и был тем охотником, по приглашению которого Толстой посетил Вышний Волочек. В этот город он мог пригласить своих друзей-охотников потому, что здесь, почти в середине пути между Москвой и Петербургом, располагалась квартира полицейского управления Николаевской железной дороги.

Но не менее тех личных свойств и качеств Степана Степановича Громеки (1823—1877), которые делали его, видимо, очень симпатичным человеком, интересны и данные его послужного списка, официального и гражданского. После армейской службы он в 1849—1850 гг. был младшим полицмейстером Киева, полицмейстером (1851) и городничим (1852) Бердичева, чиновником особых поручений при киевском генерал-губернаторе (1853—1856). В интересующее нас время Громеко в чине подполковника служил начальником полицейского управления Николаевской железной дороги (1857—1858). На волне общественного подъема Громека увлекается злободневной публицисти-

кой. В «Русском вестнике» 1857–1859 гг. он публикует цикл очерков «О полиции вне полиции», в которых доказывает необходимость суда присяжных и рисует деятельность полиции изнутри. В опубликованном в «Современнике» очерке «Польские евреи» (1858. № 7) Громека затронул вопрос о социальных истоках «дурных явлений» еврейского местечкового быта, но из-за цензурного запрета не смог реализовать свой замысел в полной мере. Связь Громеки с обличительным направлением в русской литературе очень точно заметил Ф. М. Достоевский в цикле «Ряд статей о русской литературе»: «И вот разлилась как море благодетельная гласность; громко звякнула лира Розенгейма; раздался густой и солидный голос г-на Громеки, мелькнули братья Милеанты, закишели бесчисленные иксы и зеты, с жалобами друг на друга в газетах и повременных изданиях; явились поэты, прозаики, и всё обличительные... явились такие поэты и прозаики, которые никогда бы не явились на свет, если б не было обличительной литературы»⁶.

В 1860 г. Громека вышел в отставку, для которой было две причины: с одной стороны, его оппозиционные настроения, а с другой — вызов к шефу жандармов, который потребовал, чтобы Громека не писал более резких статей. Прослужив недолгое время на частной службе в Одессе, Громека вернулся в Петербург и в марте 1861 г. занял место начальника 1-го отделения департамента общих дел в Министерстве внутренних дел. Одновременно начал активно заниматься публицистикой, печатаясь в «Отечественных записках». Постепенно, на фоне идеологического расслоения общества в 1861–1863 гг., Громека все более склоняется к компромиссам, что вызвало резкую критику не только Достоевского, но и Н. Г. Чернышевского, М. Е. Салтыкова, а затем и А. И. Герцена. Для характеристики отношения к Громеке левых сил весьма показательна вторая часть сатиры В. П. Буренина «Драматические сцены по поводу выхода „Современника“» (1863) — «В Петербурге»:

Невский проспект. Сходятся: М. Достоевский, Громека и Краевский;
у каждого «Современник».

Достоевский

Появился!

Громека

Вот он!

Краевский

Эка

Толщина-то, толщина!

Громека

Да... а кто ж, как не Громека,

Разрешению вина?

В прошлой «хронике» я смело

Стал начальству объяснять,

Что теперь пора приспела

Нигилистам волю дать.

Достоевский*(язвительно)*

Ну, почтеннейший мой, смею

Объяснить вам, на свою

Написали вы на шею

Эту мудрую статью!

Вот уж с ними солидарность

Вы иметь бы не должны:

Посмотрите, в благодарность

Что вам пишут «свистуны».

*(Показывает ему какую-то статью.)*Громека

Что? невежда я и школьник?!

(Громовым голосом)

Ну так слушай, Невский град:

«Современник» есть крамольник!

Нигилизм — ужасный яд!⁷

Во время польского восстания в 1863 г. Громека начал службу в Царстве Польском, заняв в итоге пост седлецкого губернатора (1867—1875). Последние годы жизни Громека был чиновником особых поручений при варшавском генерал-губернаторе. С 1864 г. он очень редко занимался публицистикой⁸.

Теперь мы можем более определенно судить о том человеке, по приглашению которого Толстой впервые посетил Тверскую землю. Толстой

несомненно видел выстроенные в 1845—1855 гг. вокзал (пассажирское здание), кольцевое депо и водоподъемное здание (водокачку), которые в сильно перестроенном виде сохранились до нашего времени. Мог видеть Толстой и некоторые дворянские усадьбы, располагавшиеся в селе Бологом. Но, разумеется, в короткие зимние дни осмотр окрестностей его не интересовал, тем более после столкновения с медведицей. К сожалению, мы едва ли сможем когда-либо установить, в каком именно здании располагались в Бологом контора полицейского управления Николаевской железной дороги и квартира Громеки (возможно, что они и не сохранились)⁹.

¹ Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. М., 1982. Т. 10. С. 184—190.

² Цуриков Н. А. Прошлое. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 210—211.

³ Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М.; Л., 1936. С. 113.

⁴ «Мы с Никольенькой были на охоте на медведя; 21 я застрелил медведя; 22 пошли опять, и тут со мной случилась преудивительная вещь. Медведь шел на меня, не видя меня; в 6 шагах я выстрелил и дал промах; вторым выстрелом, в 2 шагах, я ранил его смертельно; но он кинулся на меня, свалил и, пока подоспели бежавшие, укусил два раза в лоб над глазом и под глазом. К счастью, все это произошло не более как в 10 или 15 секунд; медведь удрал, а я встал на ноги с небольшой раной на лбу; я не обезображен и не страдаю. Ни кость черепа, ни глаз не повреждены, единственным последствием будет небольшой шрам на лбу. Я теперь в Москве и вполне здоров. Пишу вам чистую правду, ничего не скрывая, чтобы вы не беспокоились. Теперь все прошло, и надо благодарить Бога за такое чудесное спасение» (фр.).

⁵ Фет А. А. Мои воспоминания, 1848—1889: В 2 ч. М., 1890. Ч. 1. С. 226. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием номеров страниц в тексте.

⁶ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1978. Т. 18. С. 60. См. также его статьи «„Свисток“ и „Русский вестник“» (1861), «Ответ „Русскому вестнику“» (1861), «Щекотливый вопрос. Статья со свистом, с превращениями и переодеваниями» (1862).

⁷ Поэты «Искры»: В 2 т. / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. И. Ямпольского. Л., 1955. Т. 2. С. 721—722.

⁸ Наиболее полную биографию Громеки см.: К р а с н о в Г. В. Громека Степан Степанович // Русские писатели, 1800—1917: Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 46—47. Впрочем, в этой статье совершенно не учтены материалы Фета, Достоевского, Буренина и, возможно, других авторов.

⁹ Описание построек, которые мог видеть Толстой, см. в кн.: Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Тверская область: В 6 ч. М., 2006. Ч. 2. С. 587, 609—610, 617—618, 628—629.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ



ПИСЬМА П. С. АЛЕКСЕЕВА Л. Н. ТОЛСТОМУ

Публикация А. М. Кураковой и Л. М. Новожиловой

Петр Семенович Алексеев родился 17 марта 1849 г. в Москве, недалеко от Рогожской заставы, в семье потомственного почетного гражданина Семена Петровича Алексеева. Получил домашнее образование, учился во Второй московской гимназии, получил «Свидетельство на право поступления в студенты Университета» наравне с учениками классической гимназии, окончившими полный курс обучения. В августе 1867 г. П. С. Алексеев зачислен на медицинский факультет Московского университета. По окончании курса, 8 июня 1872 г., он был утвержден в степени лекаря и звании уездного врача. Работал в Москве, а с 1883 г. — в Серпухове. В мае 1886 г., выйдя в отставку, он путешествовал по Соединенным Штатам и Канаде, изучая систему здравоохранения этих стран. Спустя два года получил назначение в Читу, где провел более пяти лет в качестве помощника областного врача Забайкальской области. В 1895 г. благодаря содействию Л. Н. Толстого был переведен в Ригу и последние пятнадцать лет жизни служил помощником Лифляндского губернского врачебного инспектора. Умер 27 июля 1913 г. П. С. Алексеев известен как сторонник Л. Н. Толстого в борьбе с пьянством.

В декабре 1887 г. Л. Н. Толстой создал добровольное общество «Согласие против пьянства». Уже в 1888 г. с помощью писателя были изданы две книги П. С. Алексеева «О вреде употребления крепких напитков» (переложение книги доктора Ричардсона) и «Чем помочь великому горю? Как остановить пьянство?». Присланную Алексеевым из Читы новую книгу «О пьянстве» Толстой встретил с радостью. 27 ноября 1889 г. он пишет редактору журнала «Русская мысль» А. С. Суворину об этой новой работе Алексеева: «Теперь он написал основательную и полную богатого и совершенно нового для нашей публики материала статью о борьбе с пьянством и прислал ее мне из Читы, где он — инспектор Врачебного управления, с тем чтобы я напечатал... Хорошо бы было, потому что желательно просветить большое количество наших невежественных читателей о том, что сделано и делается по этому вопросу в Европе и Америке, а статья вполне достигает этого». «У меня лежит прекрасная статья доктора Алексеева — история борьбы против пьянства,

и мне очень хочется написать к ней предисловие», — делится Толстой своими планами с С. А. Рачинским. В 1891 г. книга П. С. Алексеева «О пьянстве» была издана редакцией журнала «Русская мысль» с предисловием Толстого «Для чего люди одурманиваются?».

Объединенные глубоким убеждением, что алкоголизм — злой враг современного человечества — может быть уничтожен, Толстой и Алексеев старались возбудить живой интерес к борьбе с пьянством. «Сколько матерей, жен сводят пьяницы в преждевременные могилы, как велико число сирот, оставленных пьяницами на попечении других! Всего ужаса не опишешь, всего, что творит вино, не передать словами». Здесь же Алексеев приводит страшные цифры смертности в России от пьянства.

Переписка Л. Н. Толстого с П. С. Алексеевым хранится в отделе рукописей ГМТ в Москве. Сохранилось одно письмо Толстого Алексееву от 9 апреля 1890 г. Письмо, на которое отвечает Толстой, неизвестно.

1. П. С. Алексеев — Л. Н. Толстому

Г. Чита Забайкальской области. Врачебное отделение

2-го февраля 1889 года

Лев Николаевич!

Позвольте дать весть о себе — здесь мы с 13-го января, но еще не огляделись — все нам ново и дико. Путь наш был труден, но благополучен — 7 недель путешествовали, из коих 6 просидели в санях, а приехали в тарантасе — около Читы на сотни верст снега очень мало — в самом городе сыпучий песок и пыль. Здесь бывали в этом году морозы до 45 R*. Мы ехали при 38 и раз при 42 около города Камска в декабре. Холод неприятен только при сырой погоде — в Вятской губернии нам 30 градусов казались холоднее, нежели та же температура в Иркутске. Здесь мало чувствуешь холод — каждый день 20 и более, но здесь так сухо и редок, что кажется гораздо менее.

Голод нас беспокоил больше, нежели холод в дороге, — мы запаслись не тем, чем следовало, съедобным, не послушались людей бывалых и часто голодали, ничего не доставая на станциях; в Западной Сибири можно было достать молоко, хлеб и яйца — в Восточной же и этого

* 45° R (по шкале Реомюра) = 36° C.

не было. Питались и грелись мы чаем и кое-чем. Всю дорогу не пили ни водки, ни вина, ни пива, и здесь мы живем в этом отношении как и прежде.

Чай здесь беспошлинный: 80 копеек за фунт, что в Москве рубля два. Все остальное дорого: муку привозят из Западной Сибири и с Амура, все продовольствие привозное — мы точно на острове — горы и степи отрезали нас от всего. Заботы о материальном по местным условиям выдвигаются вперед, хотя преобладают. С людьми здесь я мало еще познакомился — пока привыкаю к службе и устраиваю хозяйство.

Здесь центр буддизма, есть дацаны (монастыри) с тысячами лам в каждом из них; все ламы медики — меня очень интересует познакомиться поближе с ними — от товарищей-докторов, давно практикующих здесь, я слышу, что ламская медицина вовсе не шарлатанство, что многому можно научиться у них, и притом не столько относительно терапии, сколько относительно диагностики. Это меня очень удивляет! Вообще, есть что изучать здесь — не говоря уже о богатой, своеобразной природе — местное население — буряты и тунгусы — интересны. И в глубине Азии книга, переведенная Mrs Hargood¹, доставляет наслаждение — я ей занят в настоящее время и долго буду углубляться в нее.

Павлу Ивановичу Бирюкову я писал и просил его не забывать меня и присылать мне книжек по борьбе с пьянством и по медицине.

Медицинские мои занятия таковы, что совершенно соответствуют моим взглядам, которые я высказал Вам. Дай Бог, чтобы и дальше то же продолжалось.

Врачебное отделение напротив церкви, построенной декабристами: как только станет теплее — я ее срисую и пришлю Вам образчик моей слабой художественной деятельности. Сохранились и дома, построенные декабристами. Рассказов о них я еще не слышал, потому что мало завел знакомств; тут есть старожилы, которых мне интересно было бы порасспросить.

Извините, что так расписался. Не забывайте меня.

*Преданный Вам
П. Алексеев.*

2. П. С. Алексеев — Л. Н. Толстому

Г. Чита

26 декабря 1889 г.

Многоуважаемый Лев Николаевич!

В июне написал Вам и получил ответ, а доселе все собирался опять написать Вам из Читы.

Мы обжились здесь — в течение года ко многому можно привыкнуть — первое время все казалось дико — теперь ко всему пригляделись, акклиматизировались. А природа здесь все-таки лучше людей. Чудное, жаркое, короткое лето легко сразу перешло в зиму: в сентябре выпал снег, который, ни разу не растая, лежит доселе. Пыли, как в прошлую зиму, нет, хотя на санях ездят только по рекам. Воздух чист, морозен — 10 градусов теперь значит тепло, 20 прохладно, рано по утрам бывает 40. В домах везде тепло. Я хожу пешком в плаще на ямане (козле) — и не холодно; только зябнет голова в бараньей папахе. Болезнь, обходящая весь мир, зашла к нам ровно через месяц после того, как она появилась в Петербурге, — быстрота ее распространения равнялась быстроте хода почты. Теперь все выздоравливают от болезни, от которой никто не помирал, но которой за немногими исключениями переохворали все. Во многих казармах заболело по 100 казаков разом; половина гимназистов не являлось в класс. Здесь инфлуенции не найти благоприятной почвы: степи, хребты и сопки вокруг нас, необъятные необитаемые пространства составляют такое приволье, что жить здесь можно в лоне природы, по законам природы, подражая полудиким аборигенам: ороченам и тунгусам. Вегетарианцам здесь только плохо: летом растительную пищу дают только ягоды и некоторые дикие корни — а то круглый год здесь дикарям и полудивилизованным бурятам приходится питаться исключительно мясом. Буряты едят и падаль. Читинский округ Забайкальской области, древняя Даурия, — родина хлебных злаков, место, где доселе растут дико рожь и пшеница — а между тем хлеб здесь редкость — муку мы получаем (за исключением небольшого количества из Верхнеудинска) из Западной Сибири, из Томска, из Америки, из Сан-Франциско.

Кроме дикого хлеба, есть дикие яблоки, растущие на сопке, которая видна из моего окна, дикие персики на Ингоде, дикий крыжовник и смородина под самым городом, дикие козы и олени, дикая лошадь

Пржевальского, дикие ослы, як — дикий монгольский бык, которого буряты приручают, — как будто все дано для того, чтобы человек жил бы в Забайкалье как в раю — а между тем живет большинство людей здесь очень плохо — и плохо потому, что все ленивы и неподвижны. Охотно работают только на приисках, добывая золото; землю не пахут, ремеслами не занимаются — покупают все готовое; лежат, спят и пьют по праздникам. Вчера у меня с поздравлением был чиновник, всего два года служащий здесь, интеллигент, молодой человек, которому предложено служить здесь за какую-то историю в России во время пребывания в учебном заведении — и он был выпимши! — а настоящие чиновники сибиряки или осибирячившиеся русские? Можете вообразить, каковы те.

Читаю Temperance Record и Temperance Medical Journal, но писать ничего не пишу. На то, что послал Павлу Ивановичу Бирюкову в июне, — я ответа еще не получал окончательно — статья моя у него. Если увидите его или будете писать ему, не будете ли так добры попросить его дать мне знать о судьбе моей статьи. Описание моего путешествия из Москвы в Читу я послал в «Новое время», но с августа не получал ответа; послал в «Ниву» небольшое описание экскурсии в горы близ Читы — тоже не получил ответа.

Теперь я познакомился несколько с Забайкальем, с природой его и жителями и мог бы кое-что написать об нем. История Забайкалья мне тоже известна, потому что для губернатора я составлял хронологический перечень событий из истории Забайкалья и благодаря ему имел под руками почти всю литературу о Забайкалье. Он мне дал *carte blanche* писать даже корреспонденции в газеты, на что я, как чиновник, состоящий на государственной службе, без его разрешения права не имел бы. Я состою сотрудником Забайкальских областных ведомостей и только в этом жалком органе могу печатать — а то все, что бы ни посылал, как бы канет в воду — бесследно пропадает.

Прошу Вашего совета, Лев Николаевич, наставления и указания, куда обращаться с тем, что вытекает из-под пера моего, — мне отказ в напечатании не столь горек, как игнорирование и безвестная пропаша того, что пишу. Я шлю почтовые марки на ответ в редакции, за что не получаю даже простого ответа.

Раньше 3 или 4 месяцев ответа нельзя иметь — срок громадный. Об медицине и лечении без аптечных средств я приготовил кое-что и хотел бы писать Вам — вышло популярно — хотя язык мой

и недостаточно популярен. Не позволите ли Вы послать мои мысли так, как они написаны?

Не оставьте меня без известий и помяните меня.

Глубоко уважающий Вас и преданный

П. Алексеев.

Адрес: г. Чита Забайкальской области. Доктору П. С. Алексееву.

3. П. С. Алексеев — Л. Н. Толстому

Г. Чита. Врачебное отделение

4-го июня 1889 года

Многоуважаемый Лев Николаевич!

Глубоко благодарен Вам за письмо от 12 марта — виноват, что так долго не отвечал. У нас здесь теперь самое глухое время, мы более нежели когда отрезаны от остального мира — весною почта не ходит более месяца, иногда недель 6. Теперь только получаем мартовские газеты и письма от апреля — все идет с одной стороны, даже американская почта доставляется через Западную Сибирь. Здесь зима не русская — разливов рек, грязи нет — остановки и задержки в Западной Сибири. По Байкалу в конце апреля почта идет льдом. После страшных ветров и густой пыли в марте, лесных пожаров в апреле у нас май весь прошел в дождях — предсказывают необыкновенный урожай. Такой сырости, как в этом году, в Забайкалье не было лет 10; а по-нашему очень сухо: грязи не было вовсе на улицах, сейчас после дождя пыль.

Только теперь в июне стало тепло — градусов 35 на солнце, утром в тени 20. Зелень показалась только в мае. Растительность здесь какая-то своеобразная, необыкновенная: на песке роскошная трава, которую можно уже косить, на голых горах азалии, ирисы, разные душистые кустарники, которые у нас разводятся в садах. Деревьев вокруг Читы и в самой Чите нет — все одни малорослые березы, сосенки и лиственницы не выше сажени. Из нашего дома минут через 20 можно взобраться на высокую вулканическую сопку, откуда теперь весною восхитительный вид на долину Ингоды и Яблочный хребет на горизонте. Но в самом городе, который зовут песочницей, ничего, кроме жгучего песку и пыли.

Теперь сезон, проезд высоких начальств, оживление в делопроизводстве и командировки. Я свыкся с моей должностью и начинаю

привыкать к здешним людям. Временно исправляя должность областного и городского врача, я сталкиваюсь и с высшими чиновниками и низшими — местными жителями. Последние почти все евреи. Живем мы в домике еврея в еврейском квартале. Евреи здесь мало похожи на евреев Западного края — они очень обрусели, хотя язык, привычки и религиозный культ сохранили неизменно. Они пьют вино, но между тем нет ни пьяных, ни пьянства. Зато все остальное пропивается и проигрывается — здесь редко кто не садится каждый вечер за винт. Отрадно, что военные — губернатор и прокурор — дают хороший пример — ни тот, ни другой не пьет и не играет; но они, как и все служащие, «навозные», по выражению сибиряков, т. е. люди, которых навезли из России и которые не аборигены здесь и редко живут тут долго. Свежеприехавшие еще ничего, а прослужившие здесь лет 10—20 люди неприятные.

Я мало еще познакомился с краем — о ламской медицине слышал кое-что, видел лам, узнал о лечении бурят от д-ра Кирилова в Верхнеудинске — но серьезного ничего еще не добыл. Сколько мне теперь выяснилось, кажется, что тибетская медицина лам — сбор суеверий, тесно связанный с испорченным буддизмом. Настоящий буддизм в Индии (красные монахи, а здесь ламы желтые), здесь же у бурят много примеси шаманства. Что меня удивляет и что я очень ценю у бурятских лам — жрецов-врачей, так это их необыкновенная добросовестность, терпеливая исполнительность и внимание, с которым они относятся к больным. Но рутинная суеверие и незнание, чем они лечат, поразительны у них. Лекарства из экскрементов, начиная с экскрементов далай-ламы и кончая собачьими, играют главную роль. Замечательны у них и пилюли, которые готовятся в течение года в то время, как над ними читают молитвы несколько тысяч монахов зараз; есть пилюли, которые способны размножаться самопроизвольно, по мнению лам.

Но лечатся у лам в Забайкалье все — архиерей говорил мне, что он советовался с ними, хотя и отказался принимать их лекарства.

Хорошая сторона в тибетской медицине та, что ламы все обеспеченные люди, многих, если не всех, лечат даром, платы за вылечку или за визиты не назначают, живут у больных, лечат их, или берут их к себе в дацаны (монастыри). Лама всегда ездит с почетом, самый простой из них имеет провожатого и никогда никуда не торопится — он всегда едет шагом, по четкам бормоча молитвы.

По собиранию предметов естественноисторических я еще ничего не делал, потому что писал о пьянстве.

Раза два выходил в горы, но только для прогулки. Сегодня я посылаю Павлу Ивановичу Бирюкову то, что написал о пьянстве, с просьбой поместить мое писание в одном из журналов или издать по его усмотрению. Я и к Вам, Лев Николаевич, обращаюсь с просьбой не оставить это мое писание без Вашего внимания и содействовать (если оно на что годно) помещению его куда-либо².

Я понимаю, как скучны хлопоты об изданиях и печатаниях чужих произведений, но дальше отовсюду положение мое дает мне смелость утруждать Павла Ивановича и Вас.

Я столько же интересуюсь Temperance и Teetotalers* в Азии, как интересовался в Европе и хотел бы хоть чем-нибудь быть полезным делу. Последователей трезвости за эти 4 месяца я не мог найти, если не считать одного (полицейского надзирателя *NB!*). Жду от Вас книжечек о пьянстве и медицине, которые Вы обещались в последнем письме.

«О лечении без лекарств» я подумываю и когда-нибудь изложу что-нибудь несоответствующее современной, привилегированной медицине.

Перевод Mrs Hargood прекрасен — я наслаждался им и все перечитываю его; но все-таки по-русски многое должно быть сильнее, некоторые места у меня при чтении невольно переходили на русский язык.

Извините, что так расписался и не знал меры. Надеюсь, не забудете меня.

Остаюсь преданным и глубоко уважающим Вас

П. С. Алексеев.

4. П. С. Алексеев — Л. Н. Толстому

Г. Чита

29 июля 1891 года

Многоуважаемый Лев Николаевич!

Не знаю, как выразить Вам мою благодарность за внимание к моему писанию и за честь, которой я удостоился при издании моего труда «О пьянстве». В письме и на словах даже я затрудняюсь и всегда

* Трезвенностью и трезвенниками (*англ.*).

затруднялся бы высказать вполне, как бы мне хотелось выразить мою благодарность. Кроме того что Вы доставили мне радость и восторг лично, я особенно ценю то, что сделало Ваше участие для борьбы с пьянством вообще. Здесь я долго не услышу еще отзывов и влияния Вашего предисловия в России — но перевод на английский язык я уже читал, знаю заметки о том в журнале *Stead*³ и выдержки из статьи Дюма⁴ в «Новом времени».

Вы меня так поддержали, что я всецело готов посвятить себя борьбе с пьянством. Намерен дальше работать, читая о трезвости и думая, как вести борьбу с пьянством у нас в России.

Позвольте обращаться к Вам за советом в будущем и не откажите дать весть о себе.

Сидел я безвыездно 2 года в Чите, и вдруг мне пришлось побывать в Якутске. В 3 месяца я сделал 7000 верст, прожив 2 месяца в Якутске и 1 неделю в Иркутске. Я ездил в качестве переводчика и фотографа с некоей *Miss Kate Morsden*⁵, английской *nurse*^{*}, пожелавшей оказать помощь прокаженным Якутской области.

Она из Якутска отправилась в Вилюйск без меня, так как в Якутске я разошелся с ней во мнениях относительно ее поездки и не одобрил средства, на которые она путешествует. В материальном и медицинском отношении моя поездка не удалась — но во многих других была мне очень полезна: она увеличила мою житейскую опытность, сделала меня более осторожным и менее доверчивым и была для меня интересна как для любителя путешествовать.

Видел я Якутск — страшное место ссылки, видел якутов, русских объякутившихся и забывших свой язык, тунгусов, бурят-шаманов, был в настоящей тайге, проведя 3 недели под открытым небом, переменив до 100 почтовых лодок, которые двигались то парусом, то лошадьми на бичеве, то людьми в лямке! Где не хватало ямщиков — бабы запрягались в лямку, садились верхом на коней или за гребни. Против течения мы на багах мимо скал двигались по 2 или 3 версты в час. Видел я разгул на золотых приисках в Витиме, страшную нищету русского населения по Лене и богатство, довольство и самостоятельность якутов. Природа Севера поразила меня своей роскошью — таких душистых, жирных, черноземных степей, как около Якутска, нет в Забайкалье.

* Медсестрой (англ.).

Скопцы в Мархе (в 7 верстах от г. Якутска) благоденствуют — они пионеры здешнего края — до них здесь пшеница не рожалась — теперь обилие ее; они сажают овощи и арбузы, и земледельческий труд их замечателен. Они трудолюбивы и настойчивы. Мясо не едят, они все teetotalers и даже рабочим вино не дают. Книжки мои им понравились. Других teetotalers я встретил в дацанах. Из Иркутска я с женою возвращался через Забайкалье не спеша и заезжал в дацаны, т. е. ламские монастыри. Там тоже не пьют и не курят и живут очень близко к природе. У скопцов земля, а тут скот — главное. Совершенно пастушеская жизнь, даже есть кочующие монастыри, передвигающиеся смотря по тому, где пастбища жирнее и где водопой доступнее. Ламы трудятся наравне с мирянами — все буряты. Курят ладан, шепчут молитвы, перебирают четки, вертят молитвенные колеса, заставляют воду и ветер вертеть молитвенные мельницы. У бурята-шамана на шесте у дома висит шкура барана, принесенного в жертву, — у бурята-буддиста развеивается над домом флаг, на котором написаны тибетские молитвы. Духовенство в желтых халатах и простые монахи в красных мантиях. Кумирни в китайском стиле дали нам почувствовать, что мы действительно на далеком Востоке, и если не в Тибете, то все-таки у настоящих последователей Будды. Частицы индийской мудрости сохранились и здесь, и ламы гордятся своими познаниями и своим влиянием на человечество, часто указывая на то, что количество последователей Будды до настоящего времени превышает количество последователей других религий. Они по-восточному гостеприимны и хитры.

После поездки я опять засяду в Чите. Общества трезвости я еще не мог устроить здесь по случаю разнообразия населения и разнохарактерности деятельности жителей. Все враждуют между собой и ни до чего не договорятся. Однако в Зюльзе, станции около монгольской границы, есть церковное общество трезвости, с которым я корреспондирую. Останусь здесь дальше, может, и устрою что-либо — сочувствующие есть, но их мало, и солидарности и сочувствия настоящего нет, все боятся, что выйдет что-нибудь казенное, принудительное. Жена составила кружок дам, которые шьют на арестантов. 7—8 жен офицеров или чиновников собираются у нас раз в неделю работать на приходящие партии. Я завел музыкальный кружок, сам играл в оркестре — но после года существования это учреждение стало колебаться и теперь влачит жалкое существование. Здесь, в Чите, природа прекрасна, к климату можно привыкнуть — но люди, люди — с ними

никак не сладишь. Трех лет здесь довольно — тянет уже домой, хочется вернуться в Россию.

Услышите про занятия, которые были бы по мне, про должность, которую я мог бы исправлять, — вспомните обо мне и известите меня.

Расстояние большая преграда — из-за него много пропадает времени, а вместе с временем и много труда.

Жажду получить весть о Вас от Вас самих.

Извините, что так расписался и позволил себе непрошено после долгого молчания разболтаться.

*Не забывайте преданного Вам
П. Алексеева.*

Адрес: г. Чита, доктору П. С. Алексееву.

5. П. С. Алексеев — Л. Н. Толстому

Г. Чита

1 декабря 1891 г.

Многоуважаемый Лев Николаевич!

Благодарю Вас за письмо от 17 сентября — оно мне было большою радостью, дорогим, ценным подарком в здешней пустыне, в такое время, когда мы на месяцы отрезаны бываем отовсюду, когда по причине рекостава почта почти не ходит.

Теперь у нас уже зима, и зима не китайская, а настоящая русская, снежная, морозная. В Чите снег редкость, санный путь исключение — этот же год колес не видать, и, хотя снег лишь на вершок покрывает степи, езда великолепная — все примерзло, ухабов нет; сугробов и заносов здесь не знают. Эта зима к урожаю — скоту, однако, плохо, зимнего корма здесь заготавливают мало, а в степи выкапывать ветошь рогатому скоту трудно; лошади здесь на подножном корму, а скот пропадает в снежные зимы.

В текущем году урожай был великолепный, ждут по снегу такой же и на будущий год. Дешевизна хлеба здесь небывалая: пуд ярицы, т. е. ржаного хлеба, 40 копеек, пуд пшеницы 60 и 70 коп. Лет 15 тому назад пуд пшеницы был 3 рубля 50 копеек; а при мне года три тому назад пуд пшеницы был 2 рубля.

Урожай имеет всегда дурное влияние на торговлю: все в Забайкалье идет вяло, сбыту ни на что нет, денег ни у кого нет. Купцы плачут,

ничего не закупают, и Чита пустеет. Сытый мужик ленив; он не везет хлеба на продажу, ничего не закупает; прислуги нельзя достать — она жует дешевый хлеб по станицам и селам и нейдет в город; рабочие руки дороги, постройки не достраиваются; дров мало в продаже — окрестные крестьяне неохотно слезают с печи, чтобы рубить даровой лес (тайга никому не принадлежит — каждому предоставлено право рубить сколько хочет), — лень возить в город.

Здесь застой — какая разница с условиями жизни в местах голода! Здесь жиреют, не знают, куда сбыть, а там голодают. Поскорей бы построили железную дорогу.

Отрезано Забайкалье не только временно весной и осенью во время половодья и рекостава, а всегда — круглый год — устроиться здесь трудно благодаря расстояниям.

Вы меня спрашиваете насчет Miss Kate Marsden, с которой я ездил в Якутск к прокаженным. Я этой особой очень разочарован. Вся поездка носила характер фарисейства, притворства и тщеславия. Мне теперь стыдно вспоминать, что я имел дело с подобной особой. Лучше было бы мне сперва пообдумать хорошенько мой шаг, а не бросаться прямо. Совестно вспоминать о всех тех нелепостях, свидетелем которых мне пришлось быть. Вместо искренности и простого отношения к делу все было фальшь, везде только казовая сторона. Под прикрытием благородных идей и возвышенных стремлений оказывается самолюбие, холодный расчет, желание позировать героиней. Проказа служила вывеской. Знакомый в Москве, которому я писал про М. М., назвал ее *проказницей!* но это слишком мягко. Из Иркутска в апреле я получил телеграмму от М. М., приглашавшей меня сопровождать ее в Якутск и Вилюйск в качестве переводчика. Она мне предоставила самому назначить вознаграждение. Я ответил, что готов ехать даром с тем только, чтобы путевые издержки были за ее счет. Благодаря любезности приамурского и иркутского генерал-губернаторов отпуск мне дали тотчас же. Я с женой поехал в Иркутск, где мы М. М. видели всего только два дня. Жена раскусила свою землячку и предупреждала меня, советуя не ехать дальше. Я не послушался, ослепленный блеском, окружавшим М. М. Мы выехали из Иркутска кортежем: впереди казак разгонял уличную толпу нагайкой, за ним ехал стоя полицмейстер, затем мы, за нами адъютант генерал-губернатора, чиновник особых поруче[ни]й, пристав, заседатель и наш казак — всего шесть экипажей. В этом роде продолжалось всю дорогу до Лены: нас встречали

власти, заседатели, волостные старшины, везде перед нами летали нарочные; земские квартиры были к нашим услугам — все ждало нас, и мы триумфально, с помпом спешили на помощь прокаженным! — Oh! My dear lepers!* — постоянно восклицала умиленно М. М. Партии арестантов, которые мы нагоняли в дороге, выстраивались перед нами. М. М. надевала шляпу с красным крестом, на левое плечо поверх шубы привязывали ей повязку красного креста, и она проходила перед фронтом. Во всех этапах и тюрьмах по пути ее ждали — но при мне она не входила ни в одну из них.

Эта комедия продолжалась, пока мы не поплыли по Лене в паузе. 3 недели пробыли мы на воде. Это было время покойное — можно было одуматься; за все время плавания ничего смешного и театрального не было, напротив, было даже серьезно: пришлось питаться из котелка, как в военное время на бивуаке. Сухари, солонина и чай были нашей пищей. Я удивлялся героизму и выносливости М. М.: она безропотно переносила невзгоды нашего трехнедельного пикника. И холод, и голод, и вонь от мужичья, с которым мы жили, ей были нипочем. Меня только поражала неряшливость М. М. за это время. Такой неаккуратной, забывчивой растеряхи мне не пришлось еще видеть. Она выдает себя за trained nurse** — но простая наша сиделка аккуратнее и чистоплотнее ее. Она ни себя, ни свои вещи не может держать в порядке, а величается nurse, которая, приехав за десяток тысяч верст, и в Сибири и в Индии хочет ходить за прокаженными. Только в дороге она одета по-человечески, а то и в Иркутске, и в Якутске ходила не иначе как в форменном платье nurse всегда при орденах. Она обижалась, что моим погонам солдаты и полицейские отдают честь, а ей, когда она одна ходила по улицам Якутска, никто не кланялся. Доплыв до Якутска, мы узнали, что в Якутской области в Вилюйском округе не 300, как прежде говорили, а всего 64 прокаженных. В текущем году доктор их всех объехал, и М. М. поехала по готовым уже больным — ей их не пришлось отыскивать; в Якутске врачи передавали мне, что проказа действительно существует, что положение больных ужасное, что одноплеменники их якуты плохо заботятся о них, выселяют их в тайгу, дают им скот и юрты и, не навещая их, выставляют им пищу в определенных местах. В Якутске у М. М. не оказалось достаточно

* О! Мои дорогие прокаженные! (англ.)

** Квалифицированную медсестру (англ.)

денег ехать дальше — ей ссудили из казенных сумм. Мне дальше на таких условиях не хотелось ехать. М. М. осталась недовольна мною — она предложила мне дожидаться ее в Якутске, пока она съездит в Вилюйск, или вернуться домой. Я попросил ее дать мне прогоны обратно — она выдала их мне, но так в обрез, что мне пришлось экономить всю дорогу, не давать на чай ямщикам — а кое-где и голодать. 2700 верст я проехал один, проплыв по Лене 2000 верст против течения, меняя каждые 2 или 5 часов почтовые лодки. Я ехал бичевой, лошадьми, людьми и парусом.

М. М. с чиновником особых поручений Якутского губернатора ездила в Вилюйский округ и раздавала там прокаженным крестики, табак, чай и ситец. Она вернулась в Иркутск в сентябре. За это время ее компаньонка Miss Field читала публичные лекции о ней в Англии и собирала деньги ей. Вырезки из английских газет с описанием поездки по Сибири М. М. мне присылает. Цель благая — помогать прокаженным, где бы они ни были и кто бы они ни были, дело святое, — но к чему же тут полиция? И заседатель, и губернатор, и казак с нагайкой, и чуть не реквизиция с жителей, как в военное время?! Это был какой-то набег. — *I want everything official**, — говаривала М. М. Это official все и испортило. Вместо покойного, настойчивого труда — какая-то погоня за славой. Теперь трубят о героизме М. М., не зная, чем этот полет по Сибири сопровождался. Я предложил М. М. в Иркутске свои услуги как фотограф, так как фотограф, которого она наняла в Иркутске, не хотел ехать даром, а просил обеспечить его перед поездкой в Вилюйск. Я не доехал до прокаженных и снимал только для себя виды по дороге и в Якутске и несколько типов. Путешествие из Читы в Якутск и обратно — особенно мое одиночество в почтовой лодке на Лене — я описал и послал в Москву брату, чтобы он похлопотал поместить эту статью в одном из журналов. Я видел много интересного — природа и люди там, на северо-востоке, очень своеобразны.

Позволяю себе послать Вам 3 фотографии⁶ из Якутска. Они плохо напечатаны, потому что я дилетант-фотограф и не владею позитивным способом. Самое интересное, что я видел, кроме чудных живописных берегов Лены, — это скопцы или, вернее, селения скопцов около Якутска. Они живут крайне разумно: трудолюбивы, аккуратны, бережливы —

* Пусть все будет официально (англ.).

они не курят и не пьют. Я описал их быт и хлебопашество в моей статье, которая теперь у брата.

О трезвости я написал кое-что и послал в Петербургское общество трезвости.

В Чите пока еще ничего нет подобного, в городе же Верхнеудинске проектируется Общество трезвости. Мне кажется, у нас в России можно было бы распространять понятия о трезвости и ратовать против пьянства при помощи сцены. Путем хороших комедий и драм можно было бы затрагивать публику сильнее, нежели путем брошюр и книг. У нас играют на сцене лучше, нежели за границей, — интерес к театру у нас живее, нежели там. То, чем восхищаются за границей, у нас бы не стали и смотреть — наши сцены гораздо выше заграничных. У нас нет уличных проповедников, путешествующих ревнителей трезвости — сцена была бы могучим заменом всего этого. Специально в духе назидания написанная пьеса была бы ценнее книг о трезвости. Есть английские сценки, разные Temperance dramas — но это детские пьесы. Сильного, настоящего мне ничего не известно.

Что-нибудь Вашего пера, Лев Николаевич, было бы ценнейшим вкладом; если бы Вы стали проповедовать при помощи театра, учить трезвости посредством сцены, было бы, говоря по-сибирски, *шибко ладно!* Личным примером проповедовать, чем я ограничиваюсь здесь в Чите, плохо — результатов не видно. Что прислуга моя не пьет, что я не бываю на обедах: ротных, батальонных, батарейных, полковых и войсковых, на праздниках семейных и общественных, оказывается недостаточным здесь. Есть в Чите от природы teetotalers — но сделать кого-либо teetotalers мне еще не удалось.

Не забывайте меня! В последнем Вашем письме в приписке Вы упоминаете о том, что похлопочете обо мне, поможете мне выбраться из Читы. Четвертый год я уже здесь — пора освежиться. Надеюсь на Вас! Жена шлет Вам поклон и почтение.

С глубоким уважением остаюсь преданным Вам
П. Алексеев.

6. П. С. Алексеев — Л. Н. Толстому

Г. Чита

12 июля 1892 года

Многоуважаемый Лев Николаевич!

Давно не имею вести от Вас — на мое ноябрьское письмо я не получил ответа; знаю о Вас только то, что Stead пишет в Review of Reviews и что есть о Вас в «Новом времени». Жажду получить хоть коротенькую весточку о Вашем здоровье и Вашем житье-бытье. Здесь, в пустынях Даурии, мы по-прежнему прозябаем вдали от всякого просветления в безлюдной пустоте. Лето у нас сырое, и год, как и прошлый, будет, вероятно, очень плодородный — все дешево и все в изобилии, нет только потребителей: хлеб, скот, как и в прошлый год, в низких ценах, губернатор делает большие казенные закупки хлеба, потому что после урожайных годов в Забайкалье всегда бывают сухие бесплодные года и голод. Недалеко от Читы вверх по реке Ингода живут большими селениями русские — у них масса хлеба, и от них запасают теперь на будущие года. Буряты мало пашут и этот год не очень благоденствуют, потому что зима была снежная и скот их, круглый год бывающий на подножном корму, захирел и еще не оправился. Но травы теперь очень хороши и обещают хороший осенний корм. После поездки моей в Якутск, которую описал Вам, я год безвыездно теперь сижу в Чите, и если и выезжаю, то только на короткие расстояния, напр. недавно верст за 20 в степь на праздник к бурятам, где после буддийского богослужения было угощение, состязания борцов и скачки. Служебного дела у меня теперь больше, потому что я за отъездом инспектора один во Врачебном отделении; но деятельность неплодотворная: все одни отчеты, свидетельствования и дача мнений по судебным медицинским вопросам. Дело иметь с бумагами здесь еще ничего, но когда приходится видаться с людьми, то очень трудно и тяжело, здесь делаются и на самом деле совершаются самые невозможные и неправдоподобные вещи. Люди грызутся из-за казенной копейки; все свершается на зеленом поле при зеленом вине, карты и вино не дают заикнуться о трезвости. В личном составе все перемешаны, Чита как бы станция на служебной дороге: только что приехал чиновник, как думает уже о перемещении. Мы уже считаемся старыми — мы здесь 4-й год, и нам пора бы убраться отсюда. В последнем Вашем письме Вы упомянули, что похлопочете обо мне, — был бы очень Вам благодарен, если

бы Вы поспособствовали переместиться мне отсюда на окраину ли, в Россию ли, на медицинскую или немедицинскую должность. Мое знание языков и теперешнее знакомство с канцелярщиной, быть может, и делает меня способным занять какое-либо место и вне Забайкалья. Путешествие в Якутск, тамошних скопцов и плавание мое по Лене я описал, но рукопись моя возвращена из московских редакций как непринятая для печати; она теперь в Петербурге, где доктор Константин Константинович Толстой⁷ (Миллионная, 31) будет предлагать ее редакциям.

О трезвости я написал статью в *медико-популярном* смысле, а именно: «Здоровье и вино: полезно ли здоровым людям пить вино?» Показав, что ради содержащегося во всех крепких напитках спирта пьют вино, пиво и т. д., я описываю действие спирта на организм человека и показываю, что спирт не греет; не питает; не крепит и т. д.; затем описываю 4 стадии действия спирта, т. е. опьянение, затем привожу перечень болезней от питья вина, изменения в теле человека органов после винопития, говорю о пользе спирта как лекарства и заканчиваю современными взглядами на лечение пьянства, причем указываю, что умеренность не может ни предупредить, ни вылечить пьянство, а что только полная трезвость в состоянии это сделать. Статью эту, она небольшая, хотелось бы мне напечатать здесь, но у нас в Чите нет латинского шрифта в типографии, а отослать ее в Иркутск не стоит, вероятно, придется ей печататься Обществом трезвости в Петербурге, откуда я не раньше как через 3 месяца получу ответ, принята ли она или нет!

Посылаю Вам при сем мною снятую фотографию с находящегося у меня бурятского бурхана — точного и полного описания его я не могу дать еще, но могу только сообщить, что это есть изображение *Поборения страстей*. На желтом иноходце сидит синяя фигура, увешанная женскими головами, пожирающая человека, на ней *diadema* из черепов, сбруя из человеческой кожи, у седла игральные кости, книга, кошель с деньгами, в руках чашка; проводники с собачьей и слоновой головами. Точное, осмысленное объяснительное описание, если это Вас интересует, я пришлю Вам, когда получу его от знакомого мне ламы.

Посылаю Вам также leaflets: «The Christian Kingdom Society»*, которые мне нравятся по идее и программе своей, несложной и про-

* Листки «Общество Христианского царства» (англ.).

стой. Извините, что расписался так и злоупотребляю Вашим вниманием и временем. Не забывайте меня и порадуите меня известием о себе.

Преданный Вам

П. Алексеев.

7. П. С. Алексеев — Л. Н. Толстому

Г. Чита Забайкальской области

24 ноября 1892 г.

Многоуважаемый Лев Николаевич, недавно Вы порадовали меня теплым письмом небольшим, открытым — но крайне дорогим для меня, так как я уже целый год не получал вести от Вас. Письмо Ваше пришло во время отсутствия моего из Читы, — что редко случается, потому что занятия мои всегда в городе. В этот раз я за товарища-доктора был в верстах в двухстах на юге от Читы вверх по реке Ингоде. Там я задержан был болезнью пристава, с которым ездил вскрывать труп и свидетельствовать поселенцев. 5 дней пришлось прожить в глухой деревне около бредящего больного среди степей под Яблонным хребтом. К счастью, земская квартира была у хохлов-переселенцев (второе уже поколение), у них изба чище, нежели у русских, и пища вкуснее. Население вверх по Ингоде замечательно тем, что оно все переселенческое и поселенческое — инородцев вовсе нет. На 20 тысяч нет ни одного бурята, тунгуса или орофона во всей окрестности. Следы древнейших жителей остались: под самым хребтом я нашел орудия каменного века: наконечники стрел из кремня и гробницы людей железного века — это то, что в Англии называют камнями Друидов — здесь их зовут маяками, потому что они маят в степи того, кто ищет пропавших в степи коней или скот. Издали на ровной глади степей камни и каменные плиты, ребром поставленные отвесно, делают впечатление коней или скота. Теперь вверх по Ингоде кроме хохлов живут и русские и «семейские». Семейскими называются бродяги, которые с семьями пришли из России два столетия тому назад, — все семейские — раскольники, они не прививают себе оспы, крайне здоровый и красивый народ, они все рослые и между ними много попадается великанов. Женщины носят древнерусский костюм. Под самым хребтом хлебопашество есть, но пшеница вымерзает, и все почти жители звероловы и зверобои: они ямами, тенётами, кряжами ловят соболя, лисицу, кабаргу (мошус) и изюбра (оленья); стреляют белку кремнёвы-

ми ружьями на сошках (подставках). На дворах своих держат и плодят оленей, с которых спиливают рога для продажи китайцам. Панты эти до полупуда веса с каждого оленя продаются по 3 до 6 рублей фунт китайцам, которые готовят из них себе лекарство. И здесь, в глуши, все пьянство и все водка: сельские власти пьяны, сходы не обходятся без вина, от общественных должностей откупаются вином. В Чите все по-старому, карты и вино, вино и карты. Клуб место свиданий, место решений всяких вопросов и место взаимных угощений и обыгрываний. Нам надоело здесь. Хороших людей мало — с двумя семействами мы очень сошлись — они уехали на Амур, у нас есть теперь прекрасный человек в нахлебниках — и он переводится и едет на днях в Варшаву. Высылают сюда все больше тех, которым неудобно, по семейным ли обстоятельствам и по своему собственному поведению, служить в России. Природой мы здесь уже насладились, обстановкой здешней пресытились — тянет нас домой — меня в Россию, жену в Англию, обоих на Запад. Уехать отсюда нельзя, иначе как будучи переведенным в другое место на служение. За четыре года здесь я ничего не приобрел — жалованье и все, что доставалось с практикой, все проживается и проживается теперь. Я уже просился о переводе — писал незнакомому мне лично директору медицинского департамента Льву Федоровичу Рагозину⁸, — прося его дать мне соответствующее моему месту в России. Не замолвите ли Вы, Лев Николаевич, обо мне словечко? Быть может, кто из Ваших знакомых знаком с Рагозиным или кем-либо из лиц высокопоставленных. Не откажитесь попросить кого-либо о моем переводе. Мне служить хотелось бы и не по одной медицинской части; что-нибудь административное, при губернских и областных правлениях, при губернаторах, чиновником по особым поручениям и тому подобное. Только по акцизу и полиции я не желал бы служить. Я последнее время написал два поучения, испещренных текстами из Св. Писания, и отослал их председателю Общества трезвости в Петербурге протоиерею Михайловскому⁹ — они оба ему очень понравились, и он с сожалением известил меня, что духовная цензура не пропустила их. После того я написал о трезвости с медицинской точки зрения — о влиянии вина на здоровье — эти возвратили как к печати негодное по непопулярности изложения. Я теперь пытаюсь поместить это в журнал «Неделю» или другие журналы, отказываясь от гонорара. Из Англии меня снабжают литературой о трезвости и вегетарианизме, и мне есть что писать и чем умножать сведения по этим предметам. Практического применения здесь,

в Чите, трезвости пока нет — интереса никакого, одно только глумление и невнимание к словам и примеру. Пока высшее общество не дает надлежащего тона — все будет напрасно. А жертв тут много — я записываю здешние трагедии, которые производит вино, и коплю факты, чтобы убедить хоть тем, что делается под носом у каждого здесь.

Извините за мое длинное писание — надо же отвести душу. Не забывайте нас, Лев Николаевич, и порадайте дальних почитателей Ваших вестью о себе. Надеюсь и предчувствую, что Вы напишете мне. Будьте здоровы!

*Преданный Вам
П. Алексеев.*

8. П. С. Алексеев — Л. Н. Толстому

Г. Чита Забайкальской области

18 октября 1893 года

Многоуважаемый Лев Николаевич!

Давно не имел вести от Вас. Последнее Ваше письмо (открытое) было от 2 сентября прошлого года. Не допускаю мысли, что Вы забыли меня — наверное, просто некогда писать мне. А весть от Вас мне теперь драгоценнее и нужнее, нежели в первые годы пребывания моего в Чите. Истекает пятый год нашего житья в пустыне,— давно уже тянет домой, связь с западом как бы слабеет, чувствуешь, что грубеешь и застываешь здесь — оживите письмом Вашим, Лев Николаевич, грустную нашу жизнь в Чите!

Природа здесь, как всегда, как в 1889 году при приезде сюда, так и теперь, чудесна и всегда представляет интерес. Жаркое лето, холодная зима, отсутствие весны и осени, почти вечно безоблачное небо, необычная сила в земле, на которой все растет быстро, густо, все ярко и сочно, везде богатство зверем, дичью, рыбой, везде самые благоприятные условия для жизни при отсутствии не только эпидемий, но даже обычных заболеваний — все хорошо, а дело только все портит и тормозит — это отсутствие людей — безлюдие, противоположность того, чем страдает Запад и Крайний Восток (Китай). Здесь ни в чем нет конкуренции, надо довольствоваться тем, что есть и выбирать не из чего. Те люди, которые налице, лентяи, избалованные роскош-

ной обстановкой, нетребовательные тунеядцы, которым ни до чего нет дела. Крестьяне и казаки живут в довольстве без всяких потребностей, исключая самых элементарных; местами между ними регресс — они превращаются из оседлых в кочевников, по границе Китая из православных делаются шаманами, везде соседи их буряты живут лучше русских, лама и здесь процветает, буддисты сохраняют свою самостоятельность. Чиновничество то же, что было при нашем приезде сюда — также проводит время за вином и картами, несмотря на то что все прибывают сюда европейцы — быстро, в год или два, превращаются в настоящих азиатов. В текущем году два статских советника, стоявших во главе учреждений в Чите, удалены со службы за темные дела: будто бы за казнокрадство, за то, что не отчитались в казенных деньгах. Движения ни в чем не видно, прогресса ни в общественной жизни, ни в нравственности не заметно — хотелось бы освежиться, пожить среди других людей. К немногим здесь трезвым, вовсе ничего не пьющим, присоединился вегетарианец — полковник № 1-го Конного полка. Он был кутилой, теперь не пьет, не курит — что всего замечательнее здесь в Чите, где и архиерею трудно обходиться без мяса, питается растительной пищей и рыбой. Ему лет около 50-ти, и он вегетарианцем ведет уже третий месяц свою подвижную, военную жизнь. Мясо здесь (наилучшее) 5 копеек фунт, баран стоит 2 рубля, заяц 20 копеек; крупа гречневая дорога, плодов вовсе нет, муку лучших сортов мы получаем из Сан-Франциско и из Томска: местная крупчатка груба и идет только на простое печенье — все приправы дороги и недоступны, да и не привозят их. Чита немного пообстроилась, но населения не прибавилось в ней за последние 5 лет — все идет мимо нас на Амур. И мне там предлагали место медицинского инспектора, но так как Благовещенск-на-Амуре еще дальше от всего, чем Чита, и так как, захавши на службу в Амурскую область, неудобно раньше трех лет проситься о переводе в Россию, то я отказался и решил еще ждать. В Петербург я писал в медицинский департамент директору его Рагозину и лично и официально докладные записки в январе и июле текущего года, но ответа не получал. Не похлопчете ли Вы обо мне, Лев Николаевич! Быть может, Вы знаете кого-либо в Петербурге, который мог бы замолвить обо мне слово у Рагозина? Я прошу в России место и [справляющего] д[олжность] врачебного инспектора или члена врачебной управы и думаю, что, прослужив 5 лет в Сибири на соответствующей должности, я заслужил хоть бы из сострадания перевода в Россию. Мое знание

языков и другие качества, быть может, могли бы дать мне возможность послужить и на других поприщах; я рад был бы поработать и на других, помимо медицинских, местах служения. Ни холеры, ни голода у нас не было — напротив, в прошлом и текущем годах необычайный урожай и отсутствие всяких эпидемий. Теперь живут в Чите инженеры, которые проводят железную дорогу, — они пока только ставят колышки и собираются уже на зимние квартиры, потому что земля уже замерзла. Не дождемся мы движения по рельсам — хотелось бы гузом отправиться домой. Помогите в этом, Лев Николаевич! Извините, что так много наболтал — и все о себе и ближайших окружающих, но уверенность, что Вы не забыли меня, дает мне смелость писать Вам. Жена шлет глубокий поклон Вам. Будьте здоровы!

*Преданный Вам
П. С. Алексеев.*

Р. С. В город Грайворон Курской губернии в «Христианское общество трезвости и воздержания» я на днях послал статью мою: «Вино и здоровье. Полезно ли здоровым пить вино?», в которой я вопрос о трезвости разбираю с медицинской точки зрения. Ваш П. Алексеев.

9. П. С. Алексеев — Л. Н. Толстому

Рига. Антонинская улица, 4. Пансион Мишке, 3

8 апреля 1895 года

Многоуважаемый Лев Николаевич!

Позвольте дать о себе весть из нового места, из Риги. Мы здесь 2 недели — и пока еще не осмотрелись; все здесь так резко от всего даже виданного мною, что я еще не освоился с здешней обстановкой. Русского здесь очень мало. Я в Германии не был и не жила в немецких городах, но думаю, что Рига мало отличается от типичного германского города; черепичные крыши, крутые скаты крыш, кирпичи, бульвары, узкие, извилистые улицы, теснота в старом городе — все это отличает Ригу от русских городов.

Пока нам живется здесь хорошо, и нельзя жаловаться на культуру и цивилизацию — устроиться домом, завести хозяйство, так мало будучи знакомыми с Ригой, нам еще не удалось, зато мы в чистом и удобном

пансионе на всем готовом. Летом, когда выезжают на взморье и Рига пустеет, нам надо искать квартиру. Здесь все на немецкий лад — все чинно, просто и аккуратно — но нет изящества. Древнего тут много: и памятники старины, и остатки средневековых обычаев. Настоящего понятия о Риге я, разумеется, еще не имею, потому что пока только осмотрелся, но не познакомился ни с кем. А люди должны быть интересны здесь, судя хоть по тому, что Рига считается самым чистым городом в России, что кроме городского благоустройства здесь масса учебных заведений, и жизнь ведется правильная: в 11 часов все кончается, и дома запираются — улицы пусты, и все спешат до 11 лечь спать, — зато днем деловая жизнь кипит. Жена прочла книгу о штундистах* и очень благодарит Вас за доставленное удовольствие — книгу мы посылкой отправили в Москву г-ну Моод, который доставит Вам ее. Жена невысокого мнения об этом романе, находит, что автор мало знаком с русской жизнью и с обстановкой низших классов в России. Я пробежал начало книги, она мне не понравилась по изложению — все мне казалось ходульно, неестественно в описании отношений между собою этих простых и простодушных поселян. Удивительно, как хватает в Англии средств на написание подобных изданий, — вероятно, только заглавие книги составляет главную притягательную силу — ни описание быта и природы, ни выведенные характеры не заслуживают серьезного круга читателей. Я не мог дочитать этого романа, особенно когда в нем пошла небылицы про жизнь пересылаемых арестантов и картины тюремной жизни. Здесь, в Риге, центр (для России) немецкой книжной торговли — множество книжных лавок и богатые книгохранилища. Русских книжных магазинов всего один. Несколько переводов «Хозяин и работник» на немецкий язык, и Ваш портрет выставлен во всех книжных магазинах. Библиотеки здесь хорошо организованы. Кроме легкой и удобной и дешевой доставки книг можно абонироваться на чтение журналов, которые доставляются чуть ли не десятками на дом. С русской колонией я еще не познакомился — кажется, и здесь, как и на другой окраине, где мы были, — она не постоянна в личном своем составе — все здесь вновь прибывшие и еще не вполне сжившиеся с немецкими порядками.

Извините, что так пространно расписался и позволил себе так много распространяться о своих впечатлениях.

* Секта рационалистического характера.

Не забывайте нас — я не теряю надежды, что когда-нибудь и сюда, так как в Сибирь, получу от Вас весть.

Желаю Вам здоровья и всего лучшего при исполнении Ваших нам дорогих намерений.

*Остаюсь преданный Вам
П. Алексеев.*

10. П. С. Алексеев — Л. Н. Толстому

Г. Рига. Суворовская улица, № 31а, кварт. 6

21 декабря 1895 года

Многоуважаемый Лев Николаевич!

Давно не имел вестей о Вас — ни от Павла Ивановича Бирюкова, ни от кого-либо другого. Теперь я ближе от Вас по расстоянию, но как-то дальше по окружающей меня обстановке — в Чите было больше русского, нежели я теперь нахожу в Риге, — здесь — Германия. Но и у немцев много хорошего, и здесь можно жить и наблюдать. Интересного много: остатки средневековых обычаев, привычек, обрядности — вытесняемые новыми, современными обычаями; все сглаживается и совершенствуется; обрусение не во всем сказывается, улучшениям и здесь друг у друга учатся. Город Рига чистый, здоровый город, которым можно быть довольным. Зима настоящая, по-здешнему суровая — до 20 градусов мороза уже было, и холод столь же чувствителен для нас, как в Чите, — дома здесь построены не солидно, и теплых квартир мало. Санний путь, как в эту зиму, здесь редкость — обыкновенно до января бывают все дожди. Я приготовил ко 2-му изданию мою брошюру о пьянстве и пишу воспоминания о моем пребывании в Чите и очерки путешествия моего через Японию обратно в Россию. Здесь интересуются трезвостью и предложили мне прочесть о положении Prohibition* в Америке. Так как я 10 лет тому назад был в Америке, то для этой лекции выписываю современные сведения о трезвости из Нью-Йорка. Немцы все хотят узнать доподлинно в числах — количество отрезвленных штатов, число трезвенников, обществ трезвости т. д. Здесь есть латвийское и эстонское общества трезвости. Немецкого еще нет, но отрадно, что некоторые из здешних выдающих-

* Запрещение продажи спиртных напитков (англ.).

ся (молодых, разумеется) врачей интересуются трезвостью и между ними есть уже 3 teetotalers — т. е. мои двойные коллеги. Врачей здесь масса — несколько сот — но живут все друг с другом мирно — нет таких диких, суровых отношений к товарищам, как в Чите.

Мне очень жаль, что Павел Иванович Бирюков забывает меня, — я ему пишу, пишу — и остаюсь без ответа, он, вероятно, в Москве или очень занят, иначе я не могу объяснить себе его молчание — при его доброте и отзывчивости. В Риге только один русский книжный магазин, и то плохой — он торгует учебниками. Книжных лавок немецких здесь множество, и они держат новости русской литературы — издания Посредника можно найти во всех главных складах здесь. Библиотеки здесь полны и очень доступны, мы за 12 рублей в год получаем на дом 4 журнала, которые держим в течение недели. Почта здесь приходит 2 раза в день, не то что в Чите, 2 раза в неделю. Много хотелось бы еще сообщить Вам, но боюсь затруднить Вас и без того уже длинным письмом, в котором все толкую больше о себе и своих делах. Про Ваше здоровье, многоуважаемый Лев Николаевич, про Ваши труды хотелось бы узнать — надеюсь, что попросите кого-нибудь дать мне весть о Вас.

*С глубоким уважением остаюсь преданный Вам
П. Алексеев.*

11. П. С. Алексеев — Л. Н. Толстому

Г. Рига. Суворовская улица, 31а, кварт. 6

24 ноября 1899 г.

Многоуважаемый Лев Николаевич!

В местной газете Rigaer Tagblatt прочел я сегодня о Вашем нездоровье, очень жалею, что постигла Вас эта боль, и сочувствую Вам особенно потому, что сам испытал печеночную колику вследствие желчных камней — я принужден был в течение последних двух недель не являться на службу, пролежал неделю в постели и теперь желт, как лимон, — желтуха упорная и обезображивающая все не уступает еще каломелю и Карлсбаду. Я, противник всякого лекарственного лечения, приверженец Naturheilmethode и Phsyhiatrie, должен принимать теперь аптечные средства. Товарищи очень внимательны ко мне и лечат меня

по-своему, а аптекаря уступают 50% на отпускаемые мне лекарства, и я, безразлично как и при помощи чего, желал бы скорее поправиться, чтобы приняться за дело и не быть инвалидом. Враг печени не один алкоголь — она не любит и жиры — не одно пьянство, но и обжорство раздражает ее — жена моя осенью три месяца была в Англии, и прислуга кормила меня слишком жирно — я недоглядел и слишком поздно познал, что многие болезни самими нами вызываются. Мало могу сообщить об успехах трезвости в Риге: латвийские и немецкие общества трезвости здесь мелкие и носят характер религиозный или социалистический; в высших слоях общества они мало известны и игнорируются вполне. Недавно у меня был председатель либавского общества трезвости — там, в Либаве, движения против пьянства гораздо живее: общество деятельно и достигло некоторых благоприятных результатов. Здесь, в Риге, у меня только один единомышленник и истый трезвенник, который пописывает и в местных журналах.

Сегодня день выезда нашего в Сибирь, 11 лет тому назад мы отправились из Москвы в Читту — описание нашего пути в Русском вестнике в октябрьской и ноябрьской книжках (кончится в декабрьской т[екущего] г[ода]). Дикая Сибирь и цивилизованная Рига — большие контрасты — но там и здесь есть кого отрезвлять! Латыши и немцы пьют не одно пиво — с каждым годом водка входит все в большее употребление, и здешние шнапс и спирт причиняют массу зла. Ждем монополию и уменьшение числа мест продажи крепких напитков — перемена в потреблении их будет — надо надеяться, что перемена к лучшему, — с будущего года и в Риге станут возникать серьезные общества трезвости.

Жена навестила своего брата в Англии — она нашла, что он колонией разочарован — не делом, а сотрудниками своими. Жена и я шлем Вам глубокий привет и пожелания скорого выздоровления.

*Преданный Вам
П. Алексеев.*

12. П. С. Алексеев — Л. Н. Толстому

Г. Рига. Суворовская улица, 31а, кварт. 6

5 января 1900 г.

Многоуважаемый Лев Николаевич!

Из телеграмм местных газет я узнал, что Вы поправляетесь, — радуюсь Вашему выздоровлению и желаю Вам полного восстановления здоровья.

В настоящее время я наслаждаюсь чтением Вашего «Воскресения» — этапы, арестанты, политические напоминают мне Сибирь — все так реально и живо описано, что я вижу все перед собою — как будто я опять, как в 1893 году, поверяю санитарное состояние этапов и пересыльных команд, как будто снова беседую с политическими. Но все это мне приходится проделывать в постели: оправившись от желчной колики и желтухи, я слег из-за ноги: я слишком рано вышел из дома, натрудил ногу, и у меня в левой ноге образовался тромб — закупоривание вены, — ногу разнесло, и я принужден месяц лежать в постели. Жена моя внезапно лишилась матери перед Рождеством — она ее видела, будучи в Англии 10 недель тому назад; старушка дожила до 79 года и была бодра и энергична до самой смерти. Эльмер (Алексей) Францевич Моод, как нам пишут, собирается открыть вегетарианский ресторан — он все занят публичными чтениями.

Посылаю Вам маленький медицинский труд, который я составил в библиотеке рижских врачей. Лекарствами, разумеется, не вылечить алкоголизма, но нелишне обратить внимание врачей на это состояние — от докторов многое зависит в борьбе с пьянством.

*Будьте здоровы и не забываюте преданного Вам
П. Алексеева.*

¹ Хэпгуд (Hargood) Изабелла Флоренс (1850—1928) — американская переводчица и писательница. Перевела на английский язык «Детство», «Отрочество», «Юность», «О жизни» и др. произведения Л. Н. Толстого; состояла в переписке с ним, посещала Ясную Поляну и Хамовнический дом в Москве.

² Речь идет о рукописи книги П. С. Алексеева «О пьянстве», которую П. И. Бирюков впоследствии передал Л. Н. Толстому; книга вышла в изда-

тельстве редакции журнала «Русская мысль» с предисловием Л. Н. Толстого «Для чего люди одурманиваются?» (М., 1891).

³ Стэд (Stead) Вильям Томас (1849—1912) — английский публицист, путешественник, основатель журнала «Review of Reviews»; неоднократно бывал в России, в 1888 г. посетил Ясную Поляну; в библиотеке Л. Н. Толстого хранятся его сочинения и номера его журнала за 1890—1908 гг.

⁴ Дюма (Dumas) Жорж (1866—1946) — доктор философии, автор философских трудов; в яснополянской библиотеке Л. Н. Толстого хранится его книга «Tolstoy et la Philosophie de l'amour» (Paris: Hachette et t C-ie, 1893) с дарственной надписью автора.

⁵ Марсден (Marsden) Кейт (1859—1931) — английская сестра милосердия; всю свою жизнь посвятила борьбе с проказой; во время Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. состояла в отряде английского Красного Креста и помогала русским раненым в дунайской армии. В 1891 г. прибыла в Россию для изучения поселений прокаженных и оказания им возможной помощи; благодаря ей в Якутском крае была создана колония для больных проказой, известная как Вилюйский лепрозорий; о своем путешествии написала книгу «On Sledge & Horseback to Outcast Siberian Lepers»; впоследствии в Америке читала лекции в пользу русских прокаженных. В России вышли статья о ней, «Мисс Кэт Марсден» (Нива. 1892. № 13), и книга «Англичанка Екатерина Марсден в Сибири у прокаженных» (СПб., 1894). Сегодня в Якутском государственном университете существует именная стипендия Кэт Марсден.

⁶ Местонахождение фотографий неизвестно.

⁷ Толстой Константин Константинович (1842—1913) — врач-писатель, автор множества рефератов, обзоров, рецензий, критических и публицистических статей по вопросам здравоохранения и медицинского образования; окончив тульскую гимназию, поступил на медицинский факультет Московского университета, но за участие в студенческих беспорядках был исключен, затем поступил и прослушал полный курс в Петербургской медико-хирургической академии; служил ординатором 2-го военно-сухопутного госпиталя, земским врачом, затем врачом Главного дворцового управления; с 1873 г. был постоянным сотрудником «Московского врачебного вестника», «Медицинского обозрения», «Вестника общественной гигиены», «Судебной и практической медицины», «Нового журнала иностранной литературы» и других изданий. Личный фонд хранится в ИРЛИ. ф. 447.

⁸ Рагозин Лев Федорович (1846—1908) окончил медицинский факультет Московского университета (1873), в 1871 г. был участником московского кружка «Самообразование и практическая деятельность», в середине

1870-х гг. состоял кассиром общества «Земля и воля»; впоследствии отошел от революционной деятельности, стал противником общественных движений; в 1900-х гг. директор медицинского департамента Министерства внутренних дел, тайный советник, председатель медицинского совета.

⁹ Михайловский Василий Яковлевич (1834–1910) — протоиерей, член учебного комитета при Святейшем синоде, православный писатель и проповедник, автор гимназических учебников по Закону Божию, активный участник различных церковных и общественных организаций; был председателем петербургского Общества трезвости; приобрел известность многочисленными изданиями религиозно-нравственного содержания; автор трудов «Англиканская церковь и ее отношение к православию» (1864), «Библейский богословский словарь» (1869), «Очерк истории христианской церкви», «Объяснение апостольских чтений» (1875), «Спутник православного поклонника в Святой земле» (1887), «Словарь православного церковного богослужебного языка и священных обрядов» и др.

С. М. Прокудин-Горский

НЕДЕЛЯ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ У Л. Н. ТОЛСТОГО (воспоминания)

Публикация В. Ратникова

15 февраля 1936 г. в издававшемся русскими эмигрантами в Париже журнале «Иллюстрированная Россия» появилась статья под названием «Неделя в Ясной Поляне у Л. Н. Толстого (воспоминания)». Ее автором был Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863–1944), выдающийся русский ученый-фотохимик, фотограф, издатель и общественный деятель, человек тогда уже весьма преклонного возраста, подобно многим другим соотечественникам вынужденный доживать свои дни на чужбине.

Что же свело Прокудина-Горского с великим русским писателем? Сегодня ответ на этот вопрос знают уже многие: в мае 1908 г. первый в России мастер цветной фотографии приезжал в усадьбу «Ясная Поляна», чтобы сделать фотопортрет Толстого¹. Работа удалась, запечатленный в «натуральных красках» образ писателя был выпущен к его юбилею большим тиражом в виде настенных картин и открыток и стал настоящей сенсацией.

Прошли десятилетия, и советским людям цветная фотография Толстого в синей блузе, сидящего в кресле у себя в саду, стала казаться настоящим чудом. Одного этого снимка оказалось достаточно, чтобы пробудить интерес к почти забытой уже личности Прокудина-Горского. В 1970 г. в журнале «Наука и жизнь» вышла первая статья тогда еще аспирантки, а ныне профессора Светланы Петровны Гараниной «Л. Н. Толстой на цветном фото». Ее дальнейшие исследования показали, что в мае 1908 г. Прокудин-Горский сделал не один портрет, а целую серию (не менее 15) цветных снимков Ясной Поляны и ее обитателей. Копии этих работ (к сожалению, черно-белые) обнаружили в Пушкинском Доме в Ленинграде. Подробное их описание было дано в статье «Неизвестные диапозитивы (снимки С. Прокудина-Горского в Ясной Поляне)».



Ясная Поляна. Прешпект. 1908 г.
Фотография С. М. Прокудина-Горского.

И лишь весной 2009 года стало известно, что несколько цветных фотографий Ясной Поляны, сделанных в 1908 г., сохранилось в составе уцелевшей части коллекции Прокудина-Горского, приобретенной в 1948 г. Библиотекой Конгресса США. Эти удивительно яркие и живые снимки, словно машина времени, переносят нас на столетие назад.

Однако вернемся к воспоминаниям Прокудина-Горского о встрече со Львом Толстым. Удивительно, как спустя столько лет ему удалось с такой обстоятельностью воссоздать атмосферу в доме писателя, все увиденное и услышанное там за короткое время пребывания. Как удалось вспомнить каждую фразу, каждый жест «действующих лиц»? На нескольких страницах текста перед нами разворачивается вся драма непростых отношений в доме Толстых.

Впрочем, воспоминания Прокудина-Горского, конечно, нельзя воспринимать как строго документальный источник, подобный

дневниковым записям обитателей Ясной Поляны. Годы делают свое дело, и память порой начинает вносить свои коррективы в давние события. Даже само название воспоминаний «Неделя в Ясной Поляне» надо воспринимать с осторожностью: известно, что ученый-фотограф провел там не более трех дней. Возможно, специалисты найдут в статье Прокудина-Горского и другие «нестыковки». Но не будем судить слишком строго чужие воспоминания...

Поездка к Л. Н. Толстому вышла как-то неожиданно. В мае 1908 года я особенно много занимался работой по фотографированию в красках и в конце мая должен был ехать в Рим для доклада о моих работах на международном конгрессе.

Как-то я сообщил Л. Н., что, занимаясь цветной фотографией, я очень хотел бы увсковетить его для потомства, и просил в случае согласия ответить мне немедленно ввиду моего скорого отъезда за границу². На третий день я получил телеграмму Софьи Андреевны о том, что меня ожидают, с просьбой сообщить о дне выезда.

Начались спешные приготовления. Забрав приборы и всю необходимую лабораторную обстановку, я с моим постоянным сотрудником Н. М. Селивановым отправился к Толстому.

Одновременно с нами с тем же поездом приехала в Ясную Поляну из Москвы жена гр. Толстого — Софья Андреевна, которую встречал Чертков. С последним я познакомился тут же на станции, и он любезно предложил свои услуги получить багаж и проводить меня в Ясную Поляну.

Я отказался от этой любезности, и он вернулся к Софье Андреевне. Вскоре они уехали на тройке, а засим тронулись и мы.

Примерно часа через полтора мы приехали в Ясную Поляну, минуя деревушку того же имени, и въехали во двор усадьбы гр. Толстого. Тут меня встретил тот же Чертков и лакей. Последний провел нас в отдельный небольшой домик в саду, предоставленный мне для житья и лаборатории. В нем было всего две небольшие комнаты, но это было вполне достаточно для такой маленькой работы. Когда мы немного привели себя в порядок, нас попросили пить чай. Это было примерно около 1 ч. утра.

Мы пришли в столовую пить чай. Встретила нас одна Софья Андреевна. Познакомившись, мы сели за стол. Софья Андреевна во главе стола — я с ее левой руки, а рядом со мной — мой сотрудник.

— Лев Николаевич сейчас выйдет, он не особенно здоров, — сказала Софья Андреевна. В эту минуту дверь в глубине столовой, с левой стороны, открылась, и вошел Толстой.

Что сразу меня поразило — это рост Толстого. Обычно, по фотографиям, он представлялся очень высоким, крупным человеком, а передо мной был человек роста немного ниже среднего, с большой бородой, которая еще уменьшала его рост, с широкой грудью, с видимой, в молодости, хорошей физической силой. Лицо очень добродушное — лицо хорошего русского крестьянина средней полосы.

Словом, внешность не представляла чего-либо поражающего, пока вы близко не видели глаз Толстого. Вот тут только сразу чувствовалось нечто необычное, становилось ясно, что перед вами не обыкновенный человек. Глаза Толстого сине-голубые, глубоко сидящие, вдумчивые, тотчас же изучающие вас и, как глаза великого психолога, сейчас же относящие вас к той или иной категории людей.

Чувствовалось, что соответственно этому определению и все дальнейшее общение с вами будет таким, как все ваше существо того заслуживает.

— Я очень рад с вами познакомиться, только сожалею, что вам столько хлопот с вашими приборами. Да к тому же я сейчас не очень хорошо себя чувствую и, право, не знаю, удастся ли нам сегодня сделать снимок.

— Это не спешит, Лев Николаевич, — ответил я. — В крайнем случае, я уеду и без всяких снимков. Я очень рад просто побыть у вас.

— Нет, зачем же, денька через два-три я поправлюсь, и мы снимемся, а пока попьем чайку.

Сели за стол. Лев Николаевич с правой стороны, рядом с женой. В это время вошла молодая, очень симпатичная девушка — это была Александра Львовна. Нас познакомили, и она села рядом с отцом. Начался обычный разговор о нашей поездке сюда, о моих работах и т. д. Толстой очень всем интересовался и просил рассказать ему возможно подробнее о ради и его свойствах. Я познакомил его, несколько знал сам, с последними работами в области ради. Толстой слушал очень внимательно, редко перебивая вопросами и, видимо, очень хорошо схватывая сущность дела.

Вдруг Лев Николаевич обратился к дочери и сказал:

— Саша, ты пошла бы переоделась, а то скоро придет тетя (монахиня — сестра Толстого).

В этот момент ко мне обратилась Софья Андреевна и с некоторым возбуждением в голосе сказала:

— Вот видите, у нас, с одной стороны, «опрощение», а с другой, «иди, наряжайся в красивое платье».

Тотчас же, глядя прямо мне в глаза, Толстой сказал:

— Это неверно, что она говорит. Я требую только чистоты как духовной, так и телесной, а не роскоши. Это неверно, что ты сказала Сергею Михайловичу.

Я чувствовал себя не особенно ловко, но понял, что передо мной два разных мировоззрения и что Лев Николаевич должен был сказать, что сказал. Александра Львовна покорно встала и пошла переодеваться в более чистое, хотя и простое ситцевое платье. После ее ухода разговор вязался плохо, и Толстой сказал:

— Вы меня извините, я пойду работать, увидимся за завтраком, да и вы отдохните с дороги.

Мы, в свою очередь, поблагодарили хозяйку и пошли в свое помещение наладить приборы и выбрать подходящее место для фотографирования в зависимости от положения солнца.

Поразмыслив о виденном и слышанном за чаем, я понял, насколько разными людьми были Лев Николаевич и его жена.

Это были, как я уже сказал, два совершенно различных мира, и чем выше поднимался дух Льва Николаевича, тем горше делалась жизнь Софьи Андреевны. Абсолютно нет никакого сомнения в том, что С. А. горячо любила Л. Н., но эта любовь, связанная еще и с долготной совместной жизнью, была и вполне женскою, и вполне земною, т. е. связанной в ее представлении со всеми благами для любимого человека и их детей. Вместе с тем она всячески хотела подчеркнуть величие и славу Льва Николаевича и эту славу его имени всячески увековечить. Делала она это потихоньку от Льва Николаевича, будучи уверена, что встретит хотя и ласковый, но очень твердый отпор. Имя Толстого не нуждалось в этом подчеркивании. Вероятно, С. А. это понимала, но ей, как тяготевшей к земле и всему земному, этого было недостаточно.

Прежде всего, она была графиней Толстой. Связи, конечно, огромные, возможности колоссальные, средства достаточные, и жизнь роскошная в Москве или где бы то ни было могла протекать прекрасно. Но эта возможность уходила все дальше, и чем счастливее делался Лев Николаевич, углубляясь в свои размышления и забираясь ввысь, тем

несчастнее делалась Софья Андреевна.

Можно ли за это обвинять Софью Андреевну? Конечно нет, и с уверенностью можно сказать, что почти всякая образованная и культурная женщина поступала бы так же.

В час дня нас позвали завтракать. За этим завтраком присутствовала и сестра Л. Н. — монахиня, а также его доктор. Стол был вполне вегетарианский, но очень вкусный и сытный.

Так прошло два дня, Л. Н. стал чувствовать себя совсем хорошо и заговорил со мной о съемке, назначив ее на следующий день утром.

Казалось бы, все хорошо, но тут вышло «но».

Чай пили на другой день все вместе в 9 часов утра и решили после завтрака сделать снимки. Мы с моим сотрудником с нетерпением ждали этого завтрака, лучше сказать его конца, но... вот тут-то и случилось это «но».

После первого блюда вдруг послышался звук колокольчиков и топот лошадей. Затем близко от дома все смолкло, и подошедший лакей сказал Льву Николаевичу, что какие-то иностранцы, господин с дамой, желают его видеть³. Не покидая места, Толстой, нисколько на вид не удрученный этим событием, велел «просить». Через минуту в столовую вошел господин с дамой. Это были американцы, репортер с супругой. Господин вида весьма энергичного решил, видимо, брать Толстого «приступом» и возможно скорее, ибо «время — деньги».

Л. Н. встал с места, любезно их приветствовал и просил за стол, сказав, что мы в самом начале завтрака. Доктор встал и ушел, уступив свое место репортеру, и подал стул его жене. Толстой совершенно свободно заговорил с ними по-английски и предложил кушать, сказав, что за кофе можно будет поговорить. Однако репортер был иного мнения. Отстранив тарелки, они оба вынули записные книжки и, уставившись прямо на Толстого, начали его интервьюировать по заранее намеченным вопросам.

Лицо Толстого резко изменилось. Он стал как-то холоден, быстро дал какой-то ответ, еще быстрее закончил блюдо, которое ел, затем встал, извинился, что у него спешная работа, и, обратясь к Александре Львовне и ко мне по-русски, попросил меня заняться гостями — и ушел к себе в комнату.

Все это время Софья Андреевна была мрачна, и ей, видимо, претитило это бестактное вторжение чужих людей, не оценивших гостеприимства великого мыслителя.

Мой сотрудник, скромный и конфузливый до дикости, ушел под каким-то предлогом перед кофе, и мы остались вчетвером: С. А., молчавшая и мрачная как грозовая туча, А. Л., делавшая «красивое лицо», я и двое американцев.

Впрочем, в нашем участии последние не очень и нуждались. Они пили кофе, оживленно беседовали между собой, совершенно не обращая на нас внимания. Затем обратились к Александре Львовне.

— Что же, Толстой больше сюда не придет?

А. Л. ответила, что отец очень занят, не особенно здоров и что ему надо отдохнуть. Тогда муж сказал:

— Ну, мы его потом увидим, а пока пойдем осматривать деревню и школу, а вы (обращаясь к нам) позаботьтесь об наших лошадях — нам надо будет скоро ехать.

Они не обратили ни малейшего внимания на Софью Андреевну, кивнули головой и ушли. С. А. разразилась вполне справедливым гневом и даже сказала, что больше не выйдет. Александра Львовна отнеслась более добродушно. Единственным утешением остались слова гостей, что им скоро надо ехать.

Около пяти часов был подан чай. Вышла Софья Андреевна, Александра Львовна, и пришел я. Сели пить чай. В скором времени показались и гости, возвращавшиеся со стороны деревни. Они быстро поднялись на веранду и сели за стол. Софья Андреевна с видимым отвращением налила им чай. Ал. Львовна и я старались поддержать или, лучше сказать, начать какой-либо разговор, но на это последовал вопрос:

— А что же, когда выйдет Толстой? Нам о многом надо его расспросить.

— Отец, кажется, уехал верхом, — ответила Ал. Львовна.

— Ну вот и отлично, он, верно, скоро вернется; тогда мы поговорим, а потом надо ехать на поезд.

Действительно, Л. Н. поехал верхом на своей старой белой лошади делать свою обычную прогулку; это я видел, когда шел пить чай.

За чаем просидели еще с полчаса, когда я вдруг издали увидел приближающегося верхом Л. Н. С веранды была хорошо видна прямая аллея парка.

Когда Л. Н. подъехал почти к веранде, я совершенно ясно увидел, что именно мне он машет рукой, призывая меня подойти. Я тотчас же встал и пошел к нему, — одновременно подошел кучер и взял лошадь.

Репортер, видя, что я куда-то спешно ухожу, обернулся в ту сторону и, увидев Толстого, быстро сорвался с места и побежал вслед за мной. Мы оба почти одновременно очутились перед Толстым, причем я не успел еще произнести ни слова, в то время как мой спутник начал быстро сообщать Толстому, что он хочет задать ему много вопросов и спешит на поезд.

Мне редко случалось видеть такое глубокое равнодушие на лице Толстого и спокойствие вместе с тем. Как будто бы мы были только вдвоем. Лев Николаевич обратился ко мне и сказал:

— Я хорошо себя чувствую, давайте сейчас сниматься — я так и останусь в этом платье.

Репортер продолжал все еще барабанить, но мы, оставив его, ушли в сад по другую сторону дома.

Приборы были готовы, а мой сотрудник стоял уже в ожидании.

Я сделал четыре снимка, причем Л. Н. вполне добродушно и терпеливо позировал и был все время в очень хорошем настроении. После съемки он сказал мне, что немного приустал и пойдет к себе:

— А вы уж там как-нибудь отправьте этих гостей.

Я вернулся на веранду, где еще тянулся чай, но С. А. уже не было — этой роли она, видимо, вынести более не могла.

— А что же Толстой, придет сюда пить чай? — был первый вопрос, обращенный ко мне репортером.

На мой ответ, что Л. Н. не очень хорошо себя чувствует и пошел к себе, — репортер-муж обратился к жене:

— Нечего здесь больше терять время — он, видимо, не придет, а нам надо ехать.

Подали лошадей, и милая чета уехала.

Один лишний испорченный день для Толстого, а сколько их, вероятно, было до того времени! Лев Николаевич говорил мне потом, что к нему приезжали кинематографщики, но из всех их усилий и предложений ничего не вышло.

Вечером к ужину вышел и Лев Николаевич в очень хорошем настроении. После ужина сидели все вместе. Л. Н. шутил, рассказывал мелкие эпизоды из своей жизни и вообще был очень весел.

Перед расставанием я начал прощаться, имея в виду уехать на другой день утром, но С. А. и Л. Н. уговаривали остаться еще некоторое время:

— Если вам не очень плохо в нашей беседе.

Так мы и порешили, да к тому же Л. Н. сказал:

— Может, и еще снимемся.

Это меня окончательно укрепило в решении остаться еще день или два. На другой день после ужина мы вышли на двор перед домом, и Л. Н. предложил мне поиграть в «городки».

Наступил чудный весенний вечер, и Л. Н. предложил сделать маленькую прогулку в лесу. Пошли четвером: Л. Н., С. А., А. Л. и я. Дамы немного отстали, и мы шли впереди вдвоем. Сначала разговор начался с науки, а потом я спросил Л. Н.:

— Не думаете ли вы, Л. Н., что при вашем возрасте, когда уже заведомо имеется артериосклероз, кататься верхом и скакать через канавы безусловно вредно и что этих забав, не свойственных вашему возрасту, пора бы и отказаться?

Л. Н. обернулся назад, чтобы видеть, близко ли наши дамы, а за сим тихим голосом сказал:

— Что касается скакать через маленькие канавки, то это мне вреда принести не может — я с юности хорошо тренирован, что же относится к «гарцованию» на коне, то неужели вы думаете, дорогой Сергей Михайлович, что я занимаюсь «гарцованием»? Я даже думаю, что один взгляд на мою старую белую кобылу отрицает какую-либо возможность такого спорта. Обычно, отъехав в рощу, я подъезжаю к скамейке, слезаю с лошади и сижу, предаваясь моим мыслям, — словом, занимаюсь тем, что почти невозможно делать у себя дома, это же «проходной двор», вы сами вчера видели. Когда же и где подумать? Вот я и «гарцую» верхом, как все в том уверены.

Л. Н. был глубоко прав. Не говоря уже о последних посещениях «извне», разная местная публика отнимала массу времени начиная с утра.

На другой день Л. Н. сам предложил снять его на балконе — он был здоров и хорошо настроен. Я начал установку, как вдруг появилась С. А. и заявила, что хочет быть снятой вместе с Львом Николаевичем. Тут началась некоторая борьба. Л. Н. настаивал — очень, впрочем, мягко, — что он хочет сняться один. С. А. обиделась и стала горько жаловаться, что Л. Н. никогда не хочет, чтоб она снималась вместе с ним.

Видя, что дело принимает нежелательный оборот, я предложил сделать снимки сначала в отдельности, а потом и вместе, но в первую

очередь предложил снять одного Л. Н. Так я и сделал, а вместе с тем — так и не сделал. Не знаю, почему так хотел Л. Н., но я, не желая нисколько обидеть С. А., делал так, как хотел Л. Н., — это остается для меня загадкой, и не мне ее разгадывать. Я действовал чутьем. С. А. ничего не подозревала, но настроение ее было испорчено. Это происходило около 11 утра. Пошли все пить чай. Л. Н. быстро кончил и ушел к себе, и его настроение как будто было испорчено.

Мы остались вдвоем с С. А., и она начала разговор. Началось с моих связей с высочайшими особами.

— Вы ведь, наверно, хорошо знаете вел. кн. Михаила Александровича?

— Да, С. А., вел. князь очень интересуется моими работами, как и вообще интересуется техникой.

— Вы оказали бы большую услугу Льву Николаевичу, если бы при свидании с великим князем упомянули о создании в Москве музея Л. Н. Толстого.

— Если будет случай, С. А., то я непременно это сделаю.

— Вы ничего, конечно, не говорите об этом Льву Николаевичу.

— Будьте покойны, я вас вполне понимаю.

— Потом, вот еще что. Пойдемте сейчас с вашим аппаратом, и снимите Л. Н. в его рабочем кабинете за работой.

— С. А., Лев Николаевич, видимо, не очень хорошо себя чувствует, и я думаю, что лучше этого сейчас не делать или отложить, когда поговорим с ним об этом. Да кроме того, свет в комнате слаб, и ему придется долго позировать.

— Ничего не значит. Он посидит. Этот снимок, как и все, что вы уже сняли, пойдет в музей имени Толстого.

Состояние моего духа было отвратительное, но пришлось пойти за прибором и при посредничестве С. А. ворваться в комнату Л. Н., где он действительно сидел и писал.

С. А. открыла дверь и сказала Л. Н., что «мы» хотим его снять «за работой». Л. Н., провидя, конечно, всю предшествующую беседу очень добродушно улыбнулся и, обращаясь к С. А., сказал:

— Ну что же, снимайте.

Я чувствовал себя довольно гадко. Быстро все приготовил, почти без особого технического внимания снял и вышел. С. А. пошла за мной очень довольная, и мы еще долго сидели за столом и мирно разговаривали.

На другой день, по моему предложению, но без какого либо недовольства со стороны Л. Н., я снял его с детьми в саду около дома, и на следующий день мы уехали, напутствуемые самыми добрыми пожеланиями всей семьи.

¹ Действительно, в Ясной Поляне получили датированное 23 марта 1908 г. письмо от С. М. Прокудина-Горского, в котором он сообщил «о новом изобретении — о цветных фотографиях» и спрашивал, «может ли приехать снять» Толстого. Тот ответил через С. А. Толстую, которой сообщил в письме 30 марта 1908 г.: «Милая Соня, посылаю тебе письмо Пракудина с его предложением приехать снимать цветную фотографию. Если ты найдешь удобным, то вызови его на 1-е или 2-е апреля телеграммой, а нет, то телеграммой же откажи ему, отложив до июня. Прости, что не сам решил, а утруждаю тебя» (84, 282). В конце концов было решено пригласить Прокудина-Горского.

Профессор химии Технологического института в Петербурге С. М. Прокудин-Горский был в Ясной Поляне 22–23 мая 1908 г. по поручению редактора «Записок русского технологического общества», решившего к 80-летию Толстого поместить в августовском номере своего журнала его цветную фотографию, как «последнее слово фотографической техники». Прокудин-Горский приехал с П. Е. Кулаковым, крымским помещиком, основателем фирмы «Стереографическое изд-во “Свет”», который сделал в Ясной Поляне 70 снимков для стереоскопа. Вечером 23 мая, по свидетельству Маковицкого, они рассказали «про новые изобретения, про передачу фотографий по телеграфу... об автомобилях, электрических трамваях». На это Толстой сказал, что «все-таки нет лучше, как пешком или верхом». «Прокудин-Горский говорил об Эдисоне, что он ослеп от радия; потом говорил, что теперь нельзя быть энциклопедистом». Эти ученые показали Маковицкому «слишком занятыми своими специальностями. Говорили о своем и с Л. Н. и при Л. Н. с другими; было видно, что для них не было важно слушать Л. Н., чтобы дать выбирать темы разговора» (ЯЭ. Кн. 3. С. 95–97).

² 29 мая 1908 г. Толстой отметил в дневнике, что «были еще фотографии: Прокудин-Горский и Кулаков, и американец с женой» (56, 131).

³ По свидетельству Д. П. Маковицкого, «днем был Jerome Raymond, профессор социологии из Чикаго, с женой. Оба знатоки писаний Л. Н., вегетарианцы, приятные» (ЯЭ. Кн. 3. С. 97). Кроме этого, сохранилась фотография, сделанная П. Е. Кулаковым 23 мая 1908 г.: Толстой, С. А. Толстая,

Маковицкий, Реймонд с женой и Прокудин-Горский (снят со спины) в зале яснополянского дома.

Мэтью Арнольд

ГРАФ ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Публикация, вступительная статья,
перевод с английского и примечания Н. И. Рейнгольд¹

Статья Мэтью Арнольда «Граф Лев Толстой» (1887), на наш взгляд, по сей день сохраняет концептуальную значимость. Мэтью Арнольд (1822—1888) — едва ли не самый влиятельный викторианский критик второй трети XIX в. Он, как говорят англичане, «was wearing many hats»: он и поэт (начал писать стихи в четырнадцать лет, в пятнадцать получил премию Уинчестер-колледжа за лучшее стихотворение на латыни; позднее, учась уже в Оксфорде, в Ориэл-колледже, получает призы за лучшие стихи на латыни); он и политик (Арнольд служил личным секретарем лорда Лэндсдауна от партии либералов); он и инспектор школ (получил это назначение в 1851 г. после того, как оставил пост члена университетского совета Ориэл-колледжа); он и глава комитета по проверке системы образования в Англии и в Европе с 1859 по 1884 г.; он и профессор поэзии в Оксфорде, и книжный обозреватель многочисленных периодических изданий, и литературный критик, автор известного двухтомного сборника эссе *Essays in Criticism* (1865, 1888), опубликованных лекций о кельтской литературе *On the Study of Celtic Literature* (1867), о принципах перевода эпоса Гомера *On Translating Homer* (1864) и многих других; он и автор, пишущий на общественные, политические и религиозные темы, — словом, он тот, кто, по утверждению Т. С. Элиота, определил нормы и приоритеты в литературе как для своего поколения, так и для нескольких последующих поколений англичан вплоть до конца 1910-х гг. По значимости для соотечественников Мэтью Арнольд сравним с нашим В. Г. Белинским. Впрочем, в России Арнольд не известен широкому читателю, его упоминают лишь иногда специалисты-литературоведы, главным образом в связи с многочисленными ссылками на его труды в записных книжках и дневниковых записях Л. Н Толстого².

Обратиться к Толстому Арнольда побудила европейская и американская слава русских писателей, в которой он убедился во время своего турне с лекциями по Америке в 1883 г.³, а также война на Балканах. В своем первом

(и единственном, если не считать публикуемую ниже статью об «Анне Карениной» Толстого) обзоре литературного произведения, связанного с Россией, — «Петербургских писем» Жозефа де Местра, — Арнольд пишет: «Сегодня, когда для наших соотечественников и для всей страны в целом Россия и русский народ имеют большое значение, мы предлагаем обратиться к той части “Переписки” Жозефа де Местра, которая связана с Россией и всем русским»⁴. (Интересно, что позднее, во время Первой мировой войны, некоторые английские ученые и писатели подхватят этот тезис Арнольда о том, что Россия тогда становится интересна англичанам, когда обе страны связывают военные действия; так, известный кембриджский антрополог Джейн Эллен Хэррисон в своей кембриджской лекции 1915 г. «Аспект русского глагола: подход к психологии русского народа» обронула характерную фразу: «А теперь перейдем к главному вопросу — психологии наших русских союзников»⁵.) Судя по арнольдовскому обзору 1879 г., именно «Петербургские письма» де Местра послужили главным источником его знаний о России. Он заимствует идею французского о русской литературе как «литературе воображения», которую позднее разовьет в своей статье «Граф Лев Толстой»; он явно прислушивается к критической оценке де Местром роли русских церковнослужителей; повторяет его мысль об отсталости русских в области религиозного и философского знания, что в статье 1887 г. проявится в его предвзятом критическом отношении к религиозным сочинениям Толстого как заведомо ненаучным⁶; подхватывает предположение автора «Петербургских писем» о том, что наилучший путь развития России состоит в постепенном светском и духовном воспитании и образовании людей разных сословий... Возможно, заразной для Арнольда оказалась и мысль де Местра о том, что именно литература и искусство представляют собой главное направление светского образования в России, поскольку русские либо не способны, либо не готовы заниматься наукой. И наконец, Мэтью Арнольда — общественного деятеля и публициста — могло привлечь и пророчество де Местра о грядущей революции в России⁷.

Статья «Граф Лев Толстой» (1887) была напечатана в ежемесячном журнале «Фортнайтли ревью», одном из самых влиятельных и достойных органов печати. По словам главного редактора Фрэнка Хэрриса, в 80-е годы XIX в. в «Фортнайтли ревью» печатались все выдающиеся английские писатели, публицисты, ученые и общественные деятели. Так что появление именно в этом журнале статьи Арнольда о Льве Толстом не случайно и как бы заранее говорило о широком спектре вопросов, затронутых автором в статье.

Не предвосхищая знакомство русского читателя с переводом этого эссе, отметим лишь, как мастерски справляется критик сразу с несколькими

задачами: во-первых, с той, которую сегодня мы назвали бы культуртрегерской, — предвидя, что кто-то из читателей не знаком с романом «Анна Каренина», он емко, лапидарно пересказывает сюжет. Во-вторых, он пристально держит в поле своего внимания вопросы текущей литературной политики, используя «Анну Каренину» как весомый аргумент в споре с современными ему французскими писателями и литераторами, прежде всего Флобером и Мопассаном, о судьбах романа и в целом литературы. В-третьих, он вводит в оборот обсуждения целый ряд произведений Толстого, не ограничиваясь лишь проблемами литературы, но ставя и вопросы общечеловеческие, философские, религиозные. Все это придает статье широту, масштаб и основательность. При этом становятся заметны и недостатки Арнольда, те «родинки», без которых трудно представить английского критика викторианской поры. Он проявляет чисто викторианское ханжество, когда говорит, что, несмотря ни на что, Анна Каренина вызывает у читателя не только сострадание, но «даже» (sic!) и чувство уважения (современный читатель от таких перлов, наверное, поморщится); выказывает повышенную осторожность и даже страх перед идеей утраты частной собственности, когда, цитируя трактат Толстого «В чем моя вера²», он вольно или невольно копирует слова «не могу не стараться избавиться от своего богатства, отделяющего меня от людей», — подобные викторианские фобии вызвали насмешку еще у поколения Вирджинии Вулф и Литтона Стречи, что уж там говорить о нынешних читателях. Он демонстрирует невежество в вопросах социального устройства в пореформенной России, называя толстовского мужика «фермером». Наконец, он явно подменяет религию литературой и искусством, полагая, что нравственная литература — та же вера, повторяя свой тезис о том, что духовные искания, изложенные Толстым в его религиозных сочинениях, уже содержатся в истории Левина.

Справедливости ради необходимо подчеркнуть и другую — положительную — сторону статьи: она богата разнообразными подробностями о характере и состоянии английской литературной критики второй половины XIX в., об отношении англичан к переводу и т. д. Так, внимательный читатель отметит, насколько ценились в английской критике литературный вкус и такт; лишний раз убедится в том, что литература «по умолчанию» была адресована широкому читателю; оценит «школу» Арнольда, которая видна в том, что он выбирает для анализа самые репрезентативные, как сказали бы сегодня, произведения; обязательно возьмет на заметку разницу в отношении русского и англичанина к переводу: Арнольд полагает непреложным подчеркнуть переводной, т. е. вторичный статус обсуждаемого текста посредством сохранения

французских заглавий, выбором именно французского, но не английского варианта перевода и т. д.

Однако, при всех достоинствах, недостатках и любопытных особенностях почерка Арнольда-критика, не они составляют, на наш взгляд, концептуальный интерес статьи, а тот сравнительный, культурно-исторический поворот, который Арнольд вводит в обсуждение с самого начала и не упускает из виду на протяжении всего разговора. Делится ли он соображениями о различиях между англичанами и русскими, сравнивает ли русских и американцев, описывает ли отношение к христианской вере у англичан и у русских, соотносит ли религиозные сочинения Толстого с западноевропейской традицией экзегезы, высказывает ли предположение о реакции жителей русской и английской деревни на «опрошение» дворян, — во всех этих межкультурных, как сказали бы мы сегодня, параллелях Арнольд проявляет себя (не побоюсь сказать) нашим просвещенным современником (он даже, сам того не подозревая, использует привычное нам слово *modernity*, т. е. «современность», современная ситуация»). Именно здесь, в этом сравнительном модусе обсуждения творчества Л. Н. Толстого, статья Арнольда перестает быть просто историческим свидетельством и становится приглашением к размышлению и спору о судьбах русской и английской культур.

Например, Арнольд замечает, говоря о растущей популярности русских писателей в Европе: «...если так дальше пойдет, мы скоро все засядем учить русский язык». Как тут не вспомнить, не проводя никаких причинно-следственных связей, о том, что через пять лет, в 1892 г., Констанс Гарнетт, начнет учить русский язык и переведет за свою долгую жизнь семьдесят томов русской литературы? Или другое сравнение Арнольда. Соотнося русский и американский национальный характер, он замечает об американцах: «...возможно, люди такого склада, которым привычно остужать бушующие в них страсти и кипучее самолюбие, когда-нибудь и придут к великому материальному успеху, обретут политическую власть над миром, зато едва ли избранный ими путь приведет их к созданию великой литературы, серьезного и глубокого искусства слова». Вопреки предсказаниям Арнольда американцы создали замечательную литературу в XX столетии... Или взять замечание английского критика о том, что «русский характер в том виде, как он проявляется в русских романах, — отличает крайне обостренная чувствительность: мгновенное и острое переживание чувств, владеющих как самим человеком, так и теми людьми, что находятся в эту минуту рядом. Такая острота переживания и самоуглубленность всегда, рано или поздно, дают о себе знать в поведении нации, исполненной молодого задора, — нации, только-только вступающей во взаи-

модействие со старой могучей цивилизацией». Русский читатель, вероятно, не согласится с таким определением своего возраста и исторической роли, даже если оно и было предложено сто лет назад, но стоит задуматься над тем, как англичане воспринимали и, самое главное, продолжают воспринимать русских: как молодую паццию, исполненную задора, детской обостренной чувствительности, только-только вступающую в контакт со старой, умудренной, могучей цивилизацией Западной Европы. А сомнение Арнольда по поводу того, как легко русский, в отличие от англичанина, поддается искушению, соблазну?.. А его наблюдение о том, что население английской деревни не поймет барина за плугом исключительно по соображениям практической пользы?.. Впрочем, чем множить список «параллельных мест» из статьи Арнольда, предоставим это сделать самому читателю.

Тридцать лет назад Сент-Бёв⁸, знакомя публику с новым романом Флобера «Госпожа Бовари», обронил знаменательные слова: такой писательской манеры, такого творческого вдохновения, какие воплощены в этом произведении, мы еще не знали — до сих пор в литературе господствовали иные ценности. В лице Флобера мы имеем художника новой генерации, отличной от романистов старой школы, таких как Жорж Санд. Для этих новых людей эпоха идеала закончилась, источник лирической стихии иссяк — переболев и тем, и другим, они поставили на место идеала и лирического порыва «искусство суровой беспощадной правды, понимаемой как правда опыта — истина в последней инстанции». У этой новой литературы свои кумиры: «научный анализ, внимание к детали, зрелость, напор, твердая линия»⁹. Поистине «l'idéal a cessé, le lyrique a tari»*.

С тех пор много воды утекло, и французский роман продвинулся весьма далеко в своем внимании к детали и приверженности твердой линии, говоря словами Сент-Бёва (словами, замечу, умеренными и не обидными в своей критике). На самом деле, продвижение французского романа в этом направлении было столь заметным, что, вопреки преимуществу французского языка — а с преимуществом этим знакомы все просвещенные классы в любой стране, — роман во многом утратил свою былую привлекательность в глазах этих самых просвещенных классов: он больше не владеет, как раньше, умами читателей.

* Идеал кончился, лирика иссякла (фр.).

Из славной же когорты английских романистов уже никого нет в живых, а продолжателей их дела, сравнимых с ними по значимости, — не видно. Выходит, вовсе не англичане подхватили знамя когда-то модного французского романа. Очевидно, что слава перешла к роману, родившемуся в молодой в литературном отношении стране, на чью литературу широкая читательская публика, во всяком случае до самого последнего времени, не обращала особого внимания: другими словами, к роману русскому. Нынче у всех на устах именно русский роман — и заметьте, совершенно заслуженно! Если так пойдет дальше и свежие литературные силы поддержат и разовьют сегодняшний успех русской литературы, то скоро мы все засядем учить русский язык.

Славянский характер, точнее сказать, русский характер — или, еще точнее, русский характер в том виде, как он проявляется в русских романах, — отличает обостренная чувствительность: мгновенное и острое переживание чувств, владеющих как самим человеком, так и теми людьми, что находятся в эту минуту рядом. Такая острота переживания и самоуглубленность всегда, рано или поздно, дают о себе знать в поведении нации, исполненной молодого задора, — нации, только-только вступающей во взаимодействие со старой могучей цивилизацией. Сегодня нам хорошо видно по американцам и русским, как играет в их жилах молодая горячая кровь: наверняка эта кипучая энергия доставляет своим хозяевам немало хлопот и беспокойства; однако стоит только найти ей достойное применение, и она способна необыкновенным образом пробудить к жизни и обогатить литературу. Впрочем, американцы, как известно, предпочитают сдерживать кипение страстей, рассуждая примерно так же, как это делает мой бостонский знакомый полковник Хиггинсон. Тот говорит буквально следующее: «Если я правильно понимаю, природа в последнее время призадумалась: “Из всех моих верноподданных нет лучшей породы, чем англичане, но их и так много, — попробуем создать что-то новенькое, даже если это и сопряжено с определенным риском: попробуем вывести натуру более жизнеутверждающую, менее тяжеловесную, чем англичанин. Добавим капельку нервной энергии, и дело сделано: американец готов!» Благодаря этой добавке перед человечеством открылись новые горизонты: народился новый, более общительный, более тонко и высокоорганизованный человеческий тип». Ну что ж, возможно, люди такого склада, которым привычно остужать бушующие в них страсти и кипучее самолюбие, когда-нибудь и придут к великому материаль-

ному успеху, обретут политическую власть над миром, зато едва ли избранный ими путь приведет их к созданию великой литературы, серьезного и глубокого искусства слова.

Совсем не то — русские: в отличие от американца, русский и не думает смягчать остроту своих переживаний. Невозможно представить себе, чтобы русский писатель пошел против Природы, заявив ее устами: «Из всех моих верноподданных лучшая порода людей — это русские!» Наоборот, русский дает полную свободу раскованной игре чувств, а сам наблюдает со стороны, отмечая самым пристальным образом все мельчайшие проявления человеческой природы. Есть что-то детское, наивное и трогательное в той искренности, которой дышат его описания. В романе, о котором пойдет речь в статье, автор ни единой строчкой, ни единым словом не выдает своего желания восхвалить Россию или потворствовать писательскому тщеславию: события развиваются, характеры действуют самым естественным образом, а автор занят тем, что наблюдает за происходящим со стороны и записывает свои впечатления. Такая обстановка — когда писатель всю силу своей восприимчивости, всю тонкость своего дарования, все свое мастерство направляет на изображение жизни человеческой, причем делает это совершенно бескорыстно и непосредственно, — повторяю, такое положение наилучшим образом благоприятствует становлению серьезной литературы, искусства слова. Вот откуда в русском романисте это мастерство чародея, перу которого, кажется, подвластны все тайны природы — от внешних ее проявлений до самых потаенных пружин, от описания людских нравов, жестов, мимики до проникновения в помыслы и чувства человека. Известно, что венец литературы — это поэзия, и русские еще не обрели великого поэта¹⁰. Зато они, по-моему, весьма преуспели в том жанре художественной литературы, который в наши дни пользуется особенно широкой популярностью и наибольшими возможностями, — как сказал бы м-р Гладстон¹¹, у русских здесь наблюдается явный перевес: у них есть несколько великих романистов, и сегодня речь пойдет об одном из этих гигантов.

Недавно граф Лев Толстой (ему около шестидесяти лет¹²) заявил о том, что он больше не пишет романов: он занялся вопросами религии и христианского вероучения. Насколько я знаю, в России его сочинения по этим фундаментальным вопросам запрещены к публикации, однако время от времени до нас доходят выдержки из этих новых его произведений в переводах на французский и английский языки.

Я нахожу их очень интересными, но еще более захватывающим мне лично представляется роман Толстого «Анна Каренина»¹³. Знаю, что многие читатели предпочитают «Анне Карениной» другой великий роман графа Толстого — его «Войну и мир»¹⁴, и все-таки полагаю, читателю интереснее тот роман, в котором жизнь описана автором не понаслышке или по книжным свидетельствам, а по следам его собственного жизненного опыта. Ведь если бы перед нами встала задача выбрать наиболее характерное произведение Теккерея, мы бы, наверное, остановились на «Ярмарке тщеславия», а не на «Виргинцах»¹⁵. Точно так же, полагаю я, «Анна Каренина» представляет собой наиболее характерный роман графа Толстого. Я опираюсь на французский перевод: как я уже однажды говорил, во Франции это устроено лучше¹⁶ — я хочу сказать, переводческое дело поставлено у французов лучше, чем в Англии, и потом, «Анна Каренина» на французский переводится, пожалуй, естественнее, чем на английский, хотя если взять для сравнения «Дом» Фредрики Бремер¹⁷, то его, наоборот, легче переложить на английский, чем на французский. Итак, я намереваюсь разобрать «Анну Каренину», а потом высказаться по поводу религиозных сочинений графа Толстого, — их я также везде, где можно, буду цитировать во французском переводе¹⁸. Должен заметить, что английский перевод романа, недавно попавший мне в руки¹⁹, представляется в целом ясным и добротным; однако не могу удержаться и не указать на отличия по сравнению с французским переводом в организации повествования, разделении на главы и даже в содержании.

В «Анне Карениной» много действующих лиц — возможно, кто-то скажет: слишком много, полагая, что в основе произведения искусства всегда лежит единство действия, к которому, как к центру, сходятся все побочные, дополнительные линии повествования. В «Анне Карениной» же таких главных действия целых два, и они развиваются на протяжении всей книги, заставляя нас поочередно переходить от одной темы к другой — от отношений Анны и Вронского к отношениям Кити и Левина. По ходу этих двух центральных линий действия все время возникают эпизодические персонажи, которые никак — ни обликом, ни поступками — не способствуют развитию повествования; кроме того, во множестве описываются происшествия, которые, вопреки нашим ожиданиям, решительно не имеют никаких последствий. Например, что привносит в развитие характеров или взаимоотношения Кити и Левина вставной эпизод о Вареньке, подруге Кити, и Сергее

Ивановиче, брате Левина? — ведь возникшая между этими героями симпатия так и не выливается в серьезное чувство. Или взять другую сцену: когда Левин замешкался перед венчанием в церкви и нам кажется, что промедление его не случайно, — что на самом деле призван сообщить читателю этот эпизод? Ведь на поверку оказывается, что ничего драматического за ним не стоит: автор просто дал себе волю сочно выписать эту сцену во всех подробностях, а потом, «под занавес», сообщил нам о том, что это слуга упаковал чемоданы хозяина, не подумав, что жениху для венчания понадобится парадная рубашка.

Дело, однако, в том, что мы напрасно судим об «Анне Карениной» по законам произведения искусства: читать ее следует как страницу жизни. В этом и состоит вся соль романа. Автор ничего не выдумал, не присочинил — он лишь описал то, что видел сам: произошедшее представилось его внутреннему взору, и он воспроизвел увиденное точь-в-точь как оно явилось. У Левина не оказалось чистой рубашки, поскольку багаж его был давно собран и уложен в чемодан, и в результате он опоздал на собственную свадьбу; Варенька и Сергей Иванович случайно познакомились в загородном имении Левина и вместе отправились на прогулку: Сергей Иванович собирался сделать предложение, да так и не решился... Все это автор подметил в жизни — подметил, а потом описал; поэтому нарисованная им картина, может статься, проигрывает в искусности исполнения, зато бесспорно выигрывает в правдивости изображения.

И вот результат: мы ни минуты не сомневаемся в реальности героев и их поступков, и происходит это благодаря необыкновенной пронизательности и искренней преданности автора своему взгляду на вещи. Образ Анны (ее плечи, роскошные волосы, прищуренные глаза), выражение лица Алексея Каренина (эти вскинутые брови, усталая улыбка, его привычка трещать пальцами), Стива, у которого по каждому пустяку увлажняются слезами глаза, — все эти черточки внешнего облика героев Толстого стоят у нас перед глазами так же зримо, как внешность любого из наших знакомых, с которыми мы видимся изо дня в день и которых, кажется, изучили вдоль и поперек, — с той лишь существенной разницей, что если о внутреннем мире героев Толстого мы имеем ясное представление, то подноготная наших знакомых остается для нас, к счастью или к сожалению, загадкой.

Рамки статьи не позволяют мне рассмотреть всех героев Толстого, и я по необходимости вынужден остановиться только на главных лицах.

Начинается роман с описания Стивы, забываемого Стивы, — стоит только раз познакомиться с этим персонажем, и вы уже о нем никогда не забудете! Роман графа Толстого вводит нас в высший свет Москвы и Петербурга, знакомит с вельможами и государственными чиновниками высшего ранга, словом, с правящим классом России. Степан Аркадьевич, или Стива, — по своему происхождению князь Облонский, прямой потомок Рюрика, хотя, признаться, иначе как Стиву его не воспринимаешь. Его *air souriant*^{*}, холеная внешность, выражение довольства, «сдержанное сияние» (18, 12) на лице и во всей фигуре, которое особенно нравилось обслуживающему его в ресторане гостиницы татарину; то, как за обедом он смакует устрицы и шампанское, как он счастлив тем, что доставляет радость другим и может кому-то «пособить» (18, 12); его стесненность в средствах, интрижка с французенкой, служившей гувернанткой в их доме; его слезы и ком в горле при виде измученного, страдальческого лица жены; его привязанность к Долли и детям; его волнение и заблестевшие слезами глаза, при том что он тут же забывает о необходимости содержать семью и платить за образование детей; мимолетные связи с актрисами, которые он сегодня предусмотрительно рвет, а назавтра заводит новые, — все это забываемо: забыть Стиву невозможно. Анна, главная героиня, — родная сестра Стивы, а жена его Долли (пусть читателя не удивляют эти английские ласкательные имена — они не редкость среди родовитых героинь графа Толстого) — дочь князя и княгини Щербацких, четы русских дворян, которые самым достойным образом представляют русский высший свет: особенно симпатичен князь — простой в общении, здоровый, положительный, одним словом, человек чести и достоинства. У него две очаровательные дочки — Долли и Кити. Старшей Долли, супруге Стивы, приходится нелегко: муж ей изменяет, она вся в заботах и хлопотах о детях, денег вечно не хватает — ни на себя, ни на детей; она бедно одета, у нее измученный вид; постоянное беспокойство состарило ее раньше времени. Иногда у нее опускаются руки при мысли о том, что добродетель и стойкость так и остаются втуне, никем не замеченные, и тогда ее охватывает сомнение: возможно, те, кто проводит жизнь в праздности и увеселениях, не так уж и не правы; возможно, счастье действительно на стороне авантюристок и прожигателей жизни, этих блестящих щеголей, что

* Улыбающийся вид (фр.).

сорят деньгами под звон бокалов с шампанским и звук рулетки. Но не проходит и четверти часа, как ложные колебания отброшены и Долли становится самой собой: твердой, честной, преданной, любящей женой и матерью, до мозга костей надежной и ответственной, — словом, такой, какая она есть и иной быть не может. Ее сестра Кити в глубине души точно такая же, но, в отличие от старшей сестры, которая уже в начале книги предстает женщиной умудренной, Кити находится в самом начале жизненного пути — ей еще многое предстоит изведать и испытать. В Кити безмолвно влюблен Левин — говорят, в образе этого героя воплотились многие черты характера и биографии самого графа Толстого. По своему происхождению и положению в обществе Левин принадлежит к высшей знати, однако мир этот ему чужд. Он от природы вдумчив, много читает; как человек совестливый, с развитым гражданским чувством, он ищет, как облегчить участь народа: у себя в имении много занимается местным землеустройством, школой, сельским хозяйством. Когда же ему случается быть в Москве, он невольно становится застенчив, подозрителен, обижается по пустякам, теряет присущую ему сметливость, — ему явно не по себе среди лощеной московской публики. Кити он нравится, но ей вскружил голову блестящий гвардейский офицер, граф Вронский, с которым она встречалась в свете, и тот дал ей понять, что весьма увлечен ею. О Вронском мы впервые узнаем от Стивы: по словам Облонского, это «один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. <...> Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем — очень милый, добрый мальи́й. Но более, чем просто добрый мальи́й. <...> Он и образован и очень умен; это человек, который далеко пойдет» (18, 43)²⁰. Довершим этот портрет, отметив физическую силу Вронского, его тридцатилетний возраст, раннюю плешивость, безупречные манеры, спокойный холодный тон и некоторую высокомерность обращения. «Эдакий герой!» — проворчит иной читатель, вообразив на месте Вронского красавца-атлета типа Гая Ливингстона, только без присущей тому бравады и помпы. И действительно, первое впечатление от Вронского именно такое, и таким оно сохраняется на протяжении всего первого тома; лишь к концу, как мы увидим, Вронский меняется в лучшую сторону.

Итак, Кити отвергает предложение Левина, и тот в смятении и расстроенных чувствах удаляется прочь. Вронский же, захваченный новым чувством к Анне Карениной, быстро забывает о Кити. Не то

чтобы он глубоко взволновал сердце девушки, но сама она настолько уязвлена случившимся, настолько чувствует себя опозоренной и несчастной, что заболевает, и родные, всячески сострадавая ей, везут ее за границу лечиться. Там она действительно поправляется, обретает душевное равновесие, и вот тут-то обнаруживается, что ее чувство к Левину гораздо глубже, чем ей казалось прежде, — она по-настоящему, сильно и глубоко любит его. Вернувшись на родину, она встречается с Левиным, они признаются друг другу в своем чувстве, женятся, и хотя характер у Левина неуживчивый (к этому я еще вернусь) — он подвержен переменам настроения, легко раздражается, нерешителен в иные минуты, — все это искупается тем, что вдвоем они по-настоящему счастливы. Да и может ли быть иначе — не могу не добавить уже от себя — у того, кто соединил свою судьбу с Кити? Героини Толстого настолько живые, в них столько обаяния, что, думая о них, невольно забываешь о том, что они плод писательского воображения.

Впрочем, главной героиней книги выступает не Кити, а Анна Каренина, сестра Стивы, супруга высокопоставленного петербургского чиновника Алексея Каренина: они женаты уже девять лет, и у них растет сын Сережа. Брак не сделал Анну счастливой, не наполнил ее душу и сердце чувством удовлетворения — наоборот, она ощущает пустоту и одиночество; тем не менее она преданная мать, заботливая, ласковая. Она еще не успела появиться перед нами, а мы, едва услышав о том, что она приезжает искать, подобно ангелу-хранителю, примирения супругов, Долли и Стивы, невольно настраиваемся на волну особого женского очарования. И вот мы встречаем нашу героиню на вокзале в Москве, куда она приехала из Петербурга, — видим ее серые глаза с длинными ресницами, легкую походку, улыбку, играющую на полных губах; какое-то внутреннее сияние, готовое, кажется, вот-вот выплеснуться наружу; полноту жизни, мягкость, сочетающуюся с силой характера; гармонию, цветение — словом, всю неотразимую прелесть Анны. По приезде она не мешкая отправляется к Долли и, проявив необыкновенный такт и деликатность, улаживает ссору. Через несколько дней мы встречаем Анну на балу, и тут к портрету, написанному по первому впечатлению, добавляются новые краски: Анна необыкновенно хороша собой, у нее темные вьющиеся волосы, на затылке и висках выбиваются короткие курчавые колечки; у нее точеные плечи, крепкая шея, округлые руки. На ней черное бархатное платье с ниткой

жемчуга, спереди на поясе маленькая гирлянда незабудок²¹ и другая, такая же, в волосах. Настоящая красавица!

По случайному совпадению в Москву Анна ехала в одном вагоне с матерью Вронского, и первая ее встреча с ним произошла на станции, куда он пришел встречать свою матушку: тогда Анну приятно удивили его манеры, внешность; к тому же ее тронуло то, как Вронский повел себя в жуткой истории со станционным сторожем, которого при них раздавило поездом. Второй раз они встречаются уже на балу: и вот тут-то между ними и вспыхивает страсть. Вообще-то, Анна согласилась поехать на бал из желания помочь Кити — та рассказала ей о своем чувстве к Вронскому, но на балу все переменялось: поддавшись неотразимой силе, бросившей их друг к другу, Анна совершенно забывает о Кити. Когда той случается танцевать напротив их пары в кадрили, она видит Анну «совершенно новою»: «Она увидела в ней столь знакомую ей самой черту возбуждения от успеха. Она видела, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Она знала это чувство и знала его признаки и видела их на Анне — видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы, и отчетливую грацию, верность и легкость движений» (18, 86).

Анна возвращается в Петербург, и туда же одновременно с ней едет Вронский; они встречаются в поезде, по возвращении продолжают видеться в свете, и чем дальше, тем все невыносимей становится для Анны ее муж, который и прежде не выказывал ей особого тепла. Тут надо пояснить: Алексей Каренин много старше своей жены, он до мозга костей бюрократ, формалист, мелкая личность; он в меру совестлив, где-то глубоко в душе у него запрячено сострадание, но снаружи он холоден, самолюбив, придирчив, мелочен, и, кажется, ничто не может вывести его из себя. Он не замечает (или делает вид, что не замечает), насколько переменялась Анна: то, что на его месте сразу же заметил бы любой хоть сколько-то чуткий человек, он замечать отказывается и, вследствие этого, не предпринимает никаких шагов, хотя всякий разумный человек на его месте спохватился бы и начал действовать. И вот результат: Анна отдается нахлынувшей страсти к Вронскому.

Помню, много лет назад месье Низар, преподававший тогда в парижской *École Normale*, сказал мне, что уважает англичан за то, что они *une nation qui sait se gêner**, — народ, способный обуздывать стра-

* Нация, которая умеет держать себя в руках (фр.).

сти и справляться с неприятными последствиями увлечений. Сдается мне, что именно этого ценного качества славянской натуре недостает: здесь почему-то принято полагать, что увлечение обладает обезоруживающей силой и бороться с ним невозможно; случаев же, когда человек может и должен сопротивляться пагубной страсти, какими бы тяжелыми и неприятными последствиями эта борьба ни сопровождалась, в жизни очень мало. В наших великосветских кругах, где царит атмосфера праздности и веселья, нравы, наверное, тоже не самые строгие, однако в целом склад ума у англичан таков, что их не может не поразить то обстоятельство, как легко Анна позволила нахлынувшей и переполнившей ее страсти безоглядно увлечь себя, насколько велика оказалась ее готовность увидеть в этом чувстве силу, противостоять которой невозможно. Заметьте, я говорю это безотносительно к предмету ее страсти: то другой вопрос, каким образом такую женщину, как Анна, мог увлечь Вронский — человек, чьи дарования и достоинства, кажется, едва ли могут мгновенно внушить всепоглощающее чувство такой незаурядной личности, как Анна. Однако, повторяю, дело не в этом. В конце концов, почему не признать, что есть страсти, которые не поддаются рациональному объяснению, и что представитель мужского пола не в силах оценить по достоинству неотразимую притягательность красавца-офицера? Но будь Вронский даже самым Алкивиадом или хозяином Рэвенсвуда²², все равно тот факт, что Анна, будучи такой, какая она есть, действуя в тех обстоятельствах, как они сложились, не выказывает ни тени надежды (не говоря о твердой решимости) побороть свою страсть, избежать роковой участи, — вот это, по английским меркам, представляется чуждым и непонятным.

Другими словами, как критика меня такой поворот не убеждает; впрочем, сразу оговорюсь, что любые сомнения отступают при мысли о неотразимой прелести Анны — ее образ, несмотря ни на что, сохраняет свой магнетизм, притягивая нас к этой щедрой, богатой, широкой, живой, упительной натуре, заставляя нас, будто помимо нашей воли, сострадать Анне и даже — не побоюсь этого слова — уважать ее.

Но вернемся к событиям в романе: довольно скоро Анне открывается нелегкая правда, о которой мудрец сказал уже давно: «путь же беззаконных жесток» (Притч. 13, 15). В сцене на скачках Анна приходит в сильнейшее волнение при известии о том, что с Вронским случилось несчастье и он в опасности; это не осталось незамеченным ее мужем: тот, не скрывая своего недовольства и презрения, требует

объяснений. В полном смятении Анна признается мужу, что она ему больше не жена, что она любит Вронского, что она его любовница. В ответ Каренин берет холодный официальный тон, он бездушен, жесток и себялюбив по отношению к Анне, но в тот момент, когда ее страдания достигают наивысшей точки, он находит в себе силы преодолеть собственный эгоизм: как я отмечал, Каренину не чужда совесть. Он возвращается домой и видит мечущуюся в родовой горячке Анну: она только что разрешилась от бремени; рядом с ней потрясенный Вронский, — Анна умирает. Каренин растроган, его душат слезы, он прощает жену, и этот благородный жест всепрощения совершенно преображает мужа в глазах Анны: она смотрит на него с обожанием, забыв о Вронском. Тот подходит к ее кровати, становится рядом с Карениным, потом закрывает лицо руками:

«— Открой лицо, смотри на него. Он святой, — сказала она. — Да открой, открой лицо! — сердито заговорила она. — Алексей Александрович, открой ему лицо! Я хочу его видеть.

Алексей Александрович взял руки Вронского и отвел их от лица, ужасного по выражению страдания и стыда, которые были на нем.

— Подай ему руку. Прости его.

Алексей Александрович подал ему руку, не удерживая слезы, которые лились из его глаз.

— Слава Богу, слава Богу, — заговорила она, — теперь все готово. Только немножко вытянуть ноги. Вот так, вот прекрасно. Как эти цветы сделаны без вкуса, совсем не похоже на фиалку, — говорила она, указывая на обои. — Боже мой, Боже мой! Когда это кончится? Дайте же морфину. Доктор! дайте мне морфину. О, Боже мой, Боже мой!» (18, 435).

Анне становится все хуже, и, не выдержав, Вронский стреляется. Вот, казалось бы, и конец обыкновенного романа: Анна умирает, Вронский кончает жизнь самоубийством, Каренин переживает всех, заслужив симпатии и сочувствие читателей. Но в жизни все не так, и у романа Толстого совсем другой конец. Анна не умирает от родильной горячки, а рана Вронского оказывается не смертельной; вновь вспыхивает ее страсть к Вронскому, и снова дает о себе знать отчуждение, которое Анна всегда испытывала к мужу. Да и сам Каренин оказывается не на высоте положения: нет, он по-прежнему мелочен, придирчив, раздражителен — совсем не то, что в сцене прощения! Да что там говорить! Даже будь он свободен от этих недостатков,

какая-нибудь «мелочь» — рёпсе-pez ли, поднятые брови или привычка трещать пальцами — рано или поздно стала бы поводом для раздражения и ссоры. Кончается тем, что Анна с Вронским уезжают за границу, живут какое-то время в Италии, затем возвращаются в Россию. Положение Анны двусмысленное, ее терзает внутреннее беспокойство, отравляя ей жизнь: счастья нет. Каждую ночь она принимает опиум, но все напрасно: «ни мак, ни сонная трава, ни мандрагора — ничто, ничто не восстановит сна, которым» спала она вчерашней ночью²³. Ей не дает покоя ревность, нервы постоянно раздражены, — она мучает Вронского напрасными подозрениями и мучается сама. Вронский — надо отдать ему должное — держится молодцом: в создавшейся ситуации он оказывается на высоте положения. Его любовь к Анне претерпевает все испытания: как сказал бы англичанин, он поступает «как джентльмен», являя собой образец терпения. Впрочем, и Анна — не будем забывать — до конца остается Анной, несмотря на всю горечь и страдания: в ней есть какая-то неизбывная прелесть — нет, даже не так! — в самой ее натуре есть нечто такое, что внушает покой и творит добро. Существовать, однако, в сложившихся обстоятельствах она более не может, и в какой-то момент наступает неизбежный конец. Наступает из-за пустячной в общем-то размолвки: между Анной и Вронским вышла ссора, и наутро Вронский поехал в деревню повидаться с матерью. Анна тотчас шлет ему вслед телеграмму, умоляя вернуться, и получает ответ, что он будет дома не раньше десяти вечера. Тогда она едет к нему и, сойдя на станции, получает известие, которое, как ей кажется, ясно дает понять, что Вронский больше не вернется. В полном отчаянии, истерзанная ревностью, загнанная в тупик, она сходит с платформы на насыпь и бросается под колеса проходящего товарного поезда. Все кончено — гордая голова уцелела, но все остальное раздавлено, смято в бесформенный кусок. Бедная Анна!

Мы побывали в мире, где люди оступаются так же непоправимо, как в любом французском романе, насквозь пропитанном «современностью». Но что выгодно отличает русский роман — во всяком случае, роман Толстого — от произведений того типа, который сегодня в большей чести у французов, так это два обстоятельства. Во-первых, в нем нет слащавости, от которой за версту веет скукой и фальшью: нас не просят, например, поверить в то, что страсть к Вронскому необыкновенно облагораживает и возвышает Анну, — так что английский

читатель может быть уверен в том, что ему не придется то и дело морщиться и быстрее переверачивать страницы, стремясь быстрее пробежать неловкую сцену. Вторая, более важная подробность состоит в том, что, описав со всей убедительностью преступную страсть и супружескую измену, наш русский автор, кажется, не чувствует ни малейшей потребности ни кадить фимиам богине Ветрености, ни писать под ее диктовку, добавляя пикантные подробности. В «Анне Карениной» много тяжелых и неприятных сцен, однако в ней нет ничего такого, что щекотало бы нервы или же потрафляло вкусам тех, кому нравится, когда им щекочут нервы. Такой краски в палитре русского художника нет вовсе, тогда как во французских романах ее в избытке, и ее пагубное действие видно на всем полотне произведения. Когда-то давно Бёрнс очень верно заметил, что, когда такое встречается в искусство, *сердце ожесточается*²⁴. Отвлечемся на минуту и обратимся вновь к тому сильному роману, о котором я говорил в самом начале, — к «Госпоже Бовари»: в нем весьма заметно воздействие этого начала, хотя и в гораздо меньшей степени, чем в последних французских романах, которые сегодня у всех на слуху²⁵. Тем не менее и этого достаточно, чтобы превратить «Госпожу Бовари» в произведение «ожесточившегося сердца»: над ним витает дух горечи, иронии, бессилия; в книге нет ни одного лица, которое обрадовало бы нас или утешило, — ему неоткуда взяться при иссякших источниках свежести и чувства. Путь Эммы Бовари в чем-то сродни судьбе Анны, но разве есть в Эмме Бовари хотя бы толика прелести русской героини? Нет, Флоберу неведомы те животворящие токи сострадания, нежности, понимания, которые единственно и могут поддержать в человеке, вконец исстрадавшемся и отверженном, что-то светлое. Флобер жесток к своей несчастной героине — жесток всей мерой ожесточившегося сердца: он неумолимо, безжалостно, с какой-то злобой добывает свою жертву, оказываясь более суровым судьей по отношению к собственному созданию, нежели, полагаю, того хотелось бы читателю.

А теперь посмотрим, куда увлекли графа Толстого животворящие родники чувства за те десять-двенадцать лет, что прошли со времени создания его романа.

Для этого нам нужно обратиться к фигуре Константина Дмитрича Левина. Как уже было сказано, Левин — из породы людей мыслящих. По его словам, между двадцатью и тридцатью пятью годами²⁶ он потерял христианскую веру, в которой воспитывался, — замечу,

сегодня таких случаев повсюду пруд пруди, хотя, пожалуй, среди русской и французской молодежи, принадлежащей к высшему и образованному сословию, они все-таки носят более распространенный, я бы сказал, более открытый характер, чем у нас. Взамен Левин взял на вооружение современные ему научные понятия: клетка, организм, неистребимость материи, закон сохранения силы, — твердо веря, как и его университетские товарищи, в то, что религии больше не существует. Будучи, однако, серьезным человеком, в критические минуты существования он не мог не задаваться вопросом о смысле жизни, о том, что она есть такое, каков ее источник и куда она движется, и, не находя ответа, страшно мучился, терзался, одно время хотел даже покончить с собой.

Помешали ему два важных наблюдения: во-первых, он понял, что ошибся, как ошиблись и его университетские товарищи, думая, что христианской веры больше не существует, — это они потеряли веру, но они — это еще не весь мир. Левин подметил, что вера по-прежнему жива в самых близких ему людях: например, его родная жена Кити, и не только она — все веруют, и все черпают в вере утешение; он увидел, что женщины в большинстве своем, как и весь простой русский народ, по-прежнему веруют и находят в том успокоение. Другое открытие Левина состояло в том, что его приятели, люди ученые и вроде не обеспокоенные, как он, вопросами смысла жизни, оказывается, не потому чувствуют себя уверенно, что у них есть ответ на эти вопросы, а потому, что, предаваясь интеллектуальным играм вроде клеточной теории, эволюции²⁷, законов неистребимости материи и сохранения силы, они полностью удовлетворялись этой игрой ума и не считали нужным терзаться поисками смысла и цели их собственного существования.

Открылось Левину и еще кое-что в себе самом: он не покончил с собой, а продолжал жить помещиком в своем имении точно так же, как до него отец; выполнял все положенные человеку его ранга обязанности, женился на Кити, а когда у него родился сын, он безмерно радовался и гордился этим событием. Тем не менее по-настоящему счастлив он не был, душа его не знала покоя, а внутренний разлад делался порой невыносимым.

И вот в один из таких мучительных дней случилось ему находиться в поле с работавшими мужиками, и слышит он в ответ на свой вопрос, почему один фермер²⁸ в определенных обстоятельствах поступает более

гуманно, чем другой, как кто-то из крестьян говорит: «...люди разные; один человек только для нужды своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, а Фоканыч²⁹ — правдивый старик. Он для души живет. Бога помнит». — «Как Бога помнит? Как для души живет?» — почти вскрикнул Левин. Мужик отвечает: «Известно как, по правде, по-божью. Ведь люди разные. Вот хоть вас взять, тоже не обидите человека...» (19, 376). Быстро попрощавшись, Левин уходит, а слова «жить по правде, по-божью» продолжают звучать в его ушах.

И тогда он приходит к мысли, что именно этот закон исповедовали его родители, а до них — деды и прадеды; что он всосал его с молоком матери; что закон этот всегда жил в нем, и, сам того не зная, он черпал в нем и силу, и удовлетворение; что если он и старался исполнять свой долг помещика и семьянина, то лишь благодаря скрытой поддержке этого самого закона; что если в самые свои мучительные, невыносимые минуты, когда он думал повеситься или застрелиться, он этого все-таки не сделал, то лишь потому, что закон безмолвно, втайне от него самого, каким-то образом направлял его на исполнение своего долга, и в результате его связь с жизнью и счастьем не была прервана.

Иначе говоря, те слова явились ключом к мучившему его вопросу, и теперь он всегда будет помнить об открывшейся ему истине и стремиться к ней с ясным осознанием и всеми своими помыслами. Вот он вспоминает, как на днях его маленькие племянники баловались с молоком, а Доли сердилась на них за эту провинность, — вспомнив этот случай, Левин говорит себе, что это дети, они разрушают добытое чужим трудом потому, что они этого не ценят, и, сказав себе это, он мысленно восклицает: «Я, воспитанный в понятии Бога, христианином, наполнив всю свою жизнь теми духовными благами, которые дало мне христианство, преисполненный весь и живущий этими благами, я, как дети, не понимая их, разрушаю, то есть хочу разрушить то, чем я живу» (19, 381). Но теперь в нем установилось ясное и драгоценное чувство: единственный его долг — это *стремиться к добру*, повторял он, «обращался он к Нему»³⁰ (там же)... Что-то из всего этого выйдет?

«Так же буду сердиться на Ивана-кучера, так же буду спорить, буду некстати высказывать свои мысли, так же будет стена между святой святых моей души и другими, даже женой моей, так же буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом, так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться, — но жизнь

моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее — не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!» (19, 399).

Так заканчивается роман «Анна Каренина». Однако, описывая религиозный опыт Левина, Толстой говорил и о собственных духовных исканиях, поэтому история на самом деле не заканчивается, — продолжением ее служат три автобиографических произведения, которые были переведены на французский язык и изданы в Париже два-три года назад: это «Ma confession»³¹, «Ma religion»³² и «Que faire»³³. Более того, у нашего автора уже подготовлены к изданию «два больших сочинения», над которыми, по его словам, он работал последние шесть лет: одно представляет собой критику догматического богословия³⁴, а другое — это новый перевод четырех Евангелий с собственными комментариями³⁵. Но, даже не зная двух этих последних произведений Толстого, думаю, мы вправе судить о выводах, к которым, как утверждает автор, он пришел в последнее время, по трем упомянутым выше сочинениям.

Все три книги автобиографические, и во всех их — тот же поразительный взыскующий дух, та же ясность и обезоруживающая искренность, что и в «Анне Карениной». Это очень интересный автобиографический материал; кроме того, в нем бездна прозорливых и глубоких суждений. Вообще, преимущества русского таланта в том, что касается литературы, очевидны: я уже о них говорил. В области же богословской экзегезы, критического анализа догматов веры и религиозных трактатов преимущество все-таки, надо признать, остается на стороне более умудренных народов Запада: необходимых для подобных штудий опыта, познаний, терпения, скрупулезности в их арсенале больше; наконец, они не так подвержены переменам настроения, не так темпераментны, как русские.

Эту установившуюся в нем за последние лет шесть перемену, равно как и свои новые искания и обретенные благодаря им идеи, граф Толстой описывает не иначе как судьбоносные, перевернувшие всю его жизнь: «Пять лет тому назад я поверил в учение Христа — и жизнь моя вдруг переменилась: мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо» (23, 304).

Роман «Анна Каренина» относится как раз к тому периоду прошлой жизни графа Толстого, который он отринул; и сегодня важным оказывается другое — его новые искания и основанные на них сочинения, в них весь свет и все спасение. И все же я рискну усомниться в том, что в этих новых сочинениях высказано нечто такое о вопросе веры и об истинном значении учения Христа, что уже не было бы сказано или намечено графом Толстым в той части «Анны Карениной», где он рассказывает о духовных исканиях Левина. Да, здесь эти вопросы представлены в развитии, как движение пылливой взыскующей мысли: перед нами разворачивается богатейшая картина, исполненная настоящим художником, — с великолепным знанием человеческой природы, глубочайшей проникновенностью, подкупающей искренностью, — исполненная, повторяю, дерзко, желчно, страстно, мастерски. И вдобавок, это не приукрашенная автобиография человека, который интересен нам не только как личность и талантливый писатель, но и как представитель своего народа, своего сословия, определенной линии поведения. И все же, повторяю, я бы не сказал, что последние сочинения графа Толстого в большей степени, чем история Левина, приближают нас к свету и спасению во Христе. Поспешу добавить, что историю эту я нахожу чрезвычайно важною и ценною, поэтому предлагаю познакомиться с ней поближе.

Рамки статьи не позволяют мне пускаться в рассуждения и входить во все подробности, да это и не входит в мою задачу. К тому же в религиозной философии графа Толстого нет почти ничего от абстрактной, сухой теории. В своем религиозном учении он руководствуется прежде всего идеей жизни. Он отмахивается от св. Павла, видя в нем, равно как и в учениях Отцов Церкви³⁶ и деятелей Реформации³⁷, источник той самой еkkлeзиастической теологии, которая упускает из виду существо вопроса и оказывается неспособной верно представить учение Христа. Тем не менее именно закон Павла — «закон духа жизни во Христе Иисусе, освободивший меня от закона греха и смерти»³⁸ — лежит в основе богословского учения графа Толстого. Праведная жизнь — это дар Божий, она есть Бог, и достигаем мы этой праведной жизни, этого единения с Богом, которого жаждем, через Иисуса. Мы обретаем их посредством единения с Иисусом и приятием его жизни. Это учение доказывает свою справедливость тем, что через Иисуса мы обретаем жизнь в Боге, тем, что мы есть такие, какими нам подсказывает быть наша природа, — она направляет

нас на путь истинный, грозит несчастьем, если мы сойдем с него, и, наоборот, дарует счастье, если мы этот путь обретаем. По крайней мере, для нас — тех, кто родился в христианской вере, кто связан, осознанно или неосознанно, с христианством, — это верное описание процесса обретения духа жизни. Вопросы же, которым церкви отдают столько времени и сил — о Троице, о божественности Христа, о происхождении Духа Святого, — эти вопросы не представляются жизненно важными: главным остается учение об обретении духа жизни через Иисуса.

Ну что ж, разумное и спасительное, по моему мнению, вероучение: в общих чертах оно уже было намечено графом Толстым в романе «Анна Каренина». Но, разумеется, развитие свое оно получило в тех религиозных сочинениях, которые были написаны позднее: развитие, повторяю, мощное, во многом неожиданное и ценное. Мы и по «Анне Карениной» знаем о религиозном скепсисе, распространенном среди знати и образованных слоев русского общества, но реальная картина явления открывается только в «Исповеди», с рассказом Толстого: «Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки» (23, 1).

Еще в «Анне Карениной» граф Толстой касался вопроса о неспособности науки объяснить человеку, в чем смысл жизни, а в своих более поздних сочинениях он пишет об этом куда более хлестко: «Все развивается, дифференцируется, идет к усложнению и усовершенствованию, и есть законы, руководящие этим ходом. Ты — часть целого. Познав, насколько возможно, целое и познав закон развития, ты познаешь и свое место в этом целом, и самого себя. Как ни совестно мне признаться, но было время, когда я как будто удовлетворялся этим» (23, 17)³⁹.

Но ученым не стоит обижаться на слова графа Толстого хотя бы потому, что о писателях он отзывался не лучше, при том что он и сам писатель: «Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы — художники, поэты. Наше призвание — учить людей. Для того же, чтобы не представился тот

естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, — в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учит. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я — художник, поэт — писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество, у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности» (23, 5—6).

Сторонников подобной литературной и научной доктрины наверняка не так много в сравнении с остальным человечеством; народ же, как убедился Левин, по-прежнему находит утешение в старой христианской вере; однако нашим литературным и ученым пастырям до народа нет дела. Подобно Соломону и Шопенгауэру⁴⁰, эти господа, равно как и так называемое «общество», скорее скажут, что жизнь, в конце концов, — суета сует; но разве они знают какую-либо иную жизнь, кроме своей собственной?

«Мне казалось, что тот тесный кружок ученых, богатых и досуговых людей, к которому я принадлежал, составляет все человечество, а что те миллиарды живших и живых, это — так, какие-то скоты — не люди.

Как ни странно, ни невероятно непонятно кажется мне теперь то, как мог я, рассуждая про жизнь, просмотреть окружавшую меня со всех сторон жизнь человечества, как я мог до такой степени смешно заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя, Соломонов и Шопенгауэров есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь миллиардов есть не стоящее внимания обстоятельство, как ни странно это мне теперь, я вижу, что это было так» (23, 31—32).

Однако до чего же несчастно это самовлюбленное меньшинство, называющее себя «обществом», «миром», если их собственная жизнь, «мирская» жизнь, представляется его членам единственно значимой! Такое наблюдение наш автор вынес из своего собственного опыта: «В своей исключительно в мирском смысле счастливой жизни я на беру страданий, понесенных мною во имя учения мира, столько, что их достало бы на хорошего мученика во имя Христа. Все самые тяжелые

минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тех неестественных и мучительных условий жизни, в которых я живу теперь, — все это мученичество во имя учения мира. Да я говорю про свою еще исключительно счастливую в мирском смысле жизнь. Пусть всякий искренний человек вспомнит хорошенько всю свою жизнь, и он увидит, что никогда, ни одного раза он не пострадал от исполнения учения Христа; но большинство несчастий его жизни произошли только оттого, что он, в противность своему влечению, следовал связывавшему его учению мира»⁴¹.

Простые же люди, массы, не задетые этим мирским помрачением, относительно довольны своей судьбой: «В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей проходила в тяжелом труде, и они были менее недовольны жизнью, чем богатые. В противоположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а с спокойною и твердою уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это — добро» (23, 39–40).

Эти рассуждения — не что иное, как развитие, пусть иногда неожиданное, однако неизменно мощное и интересное развитие тех вопросов, которые уже обсуждались на страницах «Анны Карениной». Подобно Левину, которого внутренняя борьба и несчастье довели до отчаяния, точно так же и граф Толстой оказался на грани самоубийства. И если есть что-то новое в этих последних его сочинениях, так это утверждение о том, что решение найдено и способ лечения определен. Как мы помним, Левин удовлетворился предположением, что терзавшие его вопросы разрешатся когда-нибудь сами собой; он просто продолжал жить, так сказать, согласуясь со своей совестью, не задаваясь вопросом о том, есть ли какая-то связь и последовательность в его поступках: «Петру, платившему ростовщику десять процентов в месяц, нужно было дать взаймы, чтобы выкупить его; но нельзя было спустить и отсрочить оброк мужикам-неплательщикам. Нельзя было пропустить приказчику то, что лужок не скошен и трава пропала задаром; но нельзя было и косить восемьдесят десятин, на которых был

посажен молодой лес. Нельзя было простить работнику, ушедшему в рабочую пору домой потому, что у него отец умер <...>; но нельзя было и не выдавать месячины старым, ни на что не нужным дворовым. Левин знал тоже, что, возвращаясь домой, надо было прежде всего идти к жене, которая была нездорова; а мужикам, дожидавшимся его уже три часа, можно было еще подождать; и знал, что <...> надо было... пойти толковать с мужиками, нашедшими его рой на пчельнике» (19, 373)⁴².

Со времени создания «Анны Карениной» граф Толстой существенно уточнил и заострил свое понимание принципа жизни, который он мыслит как положительное учение Иисуса. Именно в этом — в утверждении и распространении своего понимания принципа жизни — и заключается новизна последних его сочинений. Выводит он этот главный принцип, или закон Иисуса, из Нагорной проповеди, представляя его в виде свода заповедей — заповедей Христа: в них, говорит Толстой, заключена соль Нового Завета, подобно тому, как в десяти заповедях Моисея (Исх. 34, 28) заключена суть Ветхого Завета. Согласно Толстому, наиважнейшие заповеди Христа «имеют <...> цель <...> мира между людьми» (23, 370), и таковых пять. Первая заповедь гласит: «Будь в мире со всеми, не позволяй себе считать другого человека ничтожным или безумным» (там же)⁴³. Вторая заповедь говорит: «Не смотри на красоту плотскую как на потеху, <...> бери муж одну жену, и жена — одного мужа, и не покидайте друг друга ни под каким предлогом» (23, 370—371)⁴⁴. Третья заповедь: «Другой соблазн — это клятвы, вводящие людей в грех. Знай вперед, что это — зло, и не давай никаких обетов» (32, 371)⁴⁵. Четвертая: «Не мсти и не отговаривайся тем, что тебя обидят, — носи обиды, а не делай зла за зло» (там же). И наконец, пятая и последняя: «Знай, что все люди — братья и сыны одного Бога, и не нарушай мира ни с кем во имя народных целей» (там же)⁴⁶.

Если бы люди повсеместно исполняли эти пять заповедей, говорит Толстой, то все стали бы братьями. Действительно, будь это так, то общество, в котором мы живем сегодня, изменилось бы и отмерло: отпала бы необходимость в армии, войны закончились бы; суды, полиция, собственность — все это было бы упразднено. И если еще можно гадать о том, чем в таком случае стали бы заниматься мы с вами, то сомневаться в том, что стал бы делать граф Толстой, не приходится: он продолжал бы исполнять свой долг, истово следуя заповедям Христа.

Он уже отказался от сословных привилегий, должности, собственности и добывает хлеб насущный собственноручным трудом. Он пишет: «Я верю в учение Христа» (23, 453)⁴⁷, «вера эта изменила всю мою оценку хорошего и высокого, дурного и низкого в жизни» (23, 455). «Все, <...> что казалось дурным и низким — мужичество, <...> бедность, грубость, простота обстановки, пищи, одежды, приемов, — все это стало для меня хорошим и высоким. <...> Теперь <...> я не могу уже служить тому соблазну, который, возвышая меня над людьми, лишал меня моего истинного блага — единства и любви. <...> Теперь я не могу содействовать ничему тому, что внешне возвышает меня над людьми, отделяет от них; не могу, как я прежде это делал, признавать ни за собой, ни за другими никаких званий, чинов и наименований, кроме звания и имени человека; не могу искать славы и похвалы, не могу искать таких знаний, которые отделяли бы меня от других... не могу в жизни своей, в обстановке ее, в пище, в одежде, во внешних приемах не искать всего того, что не разъединяет меня, а соединяет с большинством людей» (32, 456)⁴⁸.

Как бы нам ни претило учение графа Толстого, какие бы изъяды мы ни находили в нем, сам он, без сомнений, — великая личность и великий писатель. Не скрою, я нахожу немало спорных моментов, равно как и гениальных и мощных поворотов в его экзегезе Библии, в самом критическом методе, посредством которого он выделяет из Священного Писания свои пять заповедей Христа и придает им значение закона жизни. Однако мне бы не хотелось сейчас вдаваться в критический разбор его экзегезы, тем более что и рамки статьи этого не позволяют. Полагаю, сделать это можно будет по выходе в свет тех «двух больших сочинений»⁴⁹, работа над которыми еще продолжается.

Поэтому я ограничусь единственным критическим замечанием общего свойства: христианство нельзя уложить в прокрустово ложе каких-либо заповедей. Как я уже где-то писал, «христианство — это источник; его нельзя представить в виде нескольких капель, подобно экстракту, или некой освежающей силы, сказав, что в них-де и содержится квинтэссенция христианства. Если кто-то думает, что можно вывести ряд афоризмов — пусть даже таковыми будут заповеди из Нагорной проповеди — и вложить в них всю полноту смысла, какую несет в себе христианство, это будет ошибкой, и она повлечет за собой другие, серьезные заблуждения»⁵⁰.

А главная причина такого положения дел кроется в характере Основателя христианства и в самой природе его изречений: важным оказывается не только то, *чему* учит Иисус, но и то, *каким тоном* сообщает он нам свое учение, ибо тон этот исполнен доброты и разумности, — *ελεϊκεϊα**. Гете называет Иисуса Schwärmer, т. е. фанатиком, хотя, возможно, правильнее назвать его оппортунистом⁵¹. Но его оппортунизм не имеет ничего общего ни с политическим оппортунизмом — этой «дикой и фантастической <...> торговлей»⁵² лукавых, — ни с теми, кто присвоил себе имя оппортунистов. Эти люди хватаются за первую попавшуюся возможность или, наоборот, не спешат воспользоваться ею, действуя исключительно в интересах собственной выгоды или выгоды своей партии. У Иисуса же всегда одна ясная цель: «жить по правде, по-божью» (19, 376). Но достигается эта цель едва ли не в большей степени ожиданием, нежели поспешным движением вперед.

Граф Толстой прав в своем наблюдении: что бы ни полагал о себе имущий и праздный класс, с того самого момента, когда в мир явился Иисус Христос, мир стоит перед судом; грядет «новая земля»⁵³. О ней возвестил Иисус, и благая эта весть живет в его последователях. Грядущий идеал будет осуществлен. «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Иоан. 13, 17). Но исполнится это пророчество посредством глубокой и продолжительной перемены, которая начнется с изменения внутреннего человека и затем распространится на более широкие массы людей. Следовательно, наиважнейшие и плодотворнейшие изречения Иисуса — не те, что можно свести в единую таблицу жестких и негибких внешних правил, а те, в которых больше всего души, поскольку именно они осядут, подобно семенам, в наших сердцах, укрепятся, дадут ростки, станут нормой поведения и тем самым подготовят почву для будущего. Для этой цели больше подходят заповеди блаженства (Мф. 3, 11), нежели те изречения, на основе которых граф Толстой строит свои пять заповедей. Наисокровеннейшее у Иисуса: «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу ради Меня сбережет ее» (Мф. 10, 39) не содержит заповеди, букве которой надо следовать, но сообщает идею, которая будет питать наши ум и душу, став для них бесценным источником.

Иисус отдавал должное земным правителям, сидел за одним столом со сборщиками податей, притом что ни имперский Рим, ни богатая

* Любовной разумности (греч.).

Иудея не отвечали его идеалу и образу той «новой земли», в которой должен в конце концов воплотиться идеал. В таком обществе, как наше, выбор деревенского жителя Левина в пользу приятия жизни без потрясения основ, пожалуй, ближе к жизни «по правде, по-божью», чем то радикальное опрощение, которое избрал для себя в последние годы граф Толстой. Не знаю, как в России, а в английской деревне мало кто из жителей, традиционно добывающих хлеб насущный в поте лица своего, испытал бы братское чувство радости при виде человека «нашего круга» в поле за плугом — скорее такой поворот поверг бы «большинство» наших селян в недоумение. «Зачем? — развели бы руками садовники, плотники, деревенские кузнецы. — Нам и самим тут тесно! Ради бога, занимайтесь своими статьями, стихами и прочей писаниной, не мешайте нам работать на земле, не отбирайте у нас кусок хлеба!»

Поэтому я делаю вывод, что граф Толстой, пожалуй, поступил не лучшим образом, оставив стезю художественного творчества, и что для пользы дела ему, наверное, стоило бы вернуться к литературному труду. Однако, что бы ни предпринял Толстой в будущем, уже сегодня ясно: созданное им в области религиозной философии и в литературе столь велико, что в его лице мы имеем одного из самых выдающихся, самых ярких людей нашего времени, чье слово вызывает самый широкий отклик... Такой человек — честь для России, позволю себе добавить, несмотря на положенный Толстым запрет выделять отдельные народы.

¹ Статья Арнольда о Л. Н. Толстом впервые опубликована в декабрьском выпуске «Фортнайтли ревью» («Дважды в месяц») в 1887 г. Перевод выполнен по изданию: Arnold M. *Essays in Criticism*. London: Dent; New York: Dutton, 1964. P. 353—372. На русском языке публикуется впервые.

² См., например, отзывы Л. Н. Толстого на книгу М. Арнольда «Литература и догматика» (Arnold M. *Literature and Dogma* / Ed. Smith Elder and Co. L., 1889), его же религиозный трактат «Св. Павел и протестантизм с приложением очерка пуританизма в английской церкви» (St. Paul and Protestantism with an Essay on Puritanism and the Church of England. L., 1873) в дневниках 1888—1889 гг. (50, 40, 43 и т. д.). Историки литературы не исключают, что Л. Н. Толстой встречался с М. Арнольдом в Лондоне в марте 1861 г., когда знакомился с английской системой образования; см.: Leo Tolstoy: *The Critical Heritage* / Ed. by A.V. Knowles. London; New York: Routledge,

1997. P. 352; ссылаются также на положительный отклик Толстого, прочитавшего статью Арнольда «Count Leo Tolstoy» (там же) и т. д.

³ От службы Арнольда освободила пенсия, назначенная ему премьер-министром Гладстоном в 1883 г.; собственно, эти средства он использовал в том же году для поездки с лекциями по городам США.

⁴ Arnold M. De Maistre's *Lettres et opuscules inédits // Essays, Letters and Reviews / Collected and ed. by F. Neiman. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1960. P. 221. (Курсив мой. — Н. Р.)*

⁵ Harrison, J. E. *Russia and the Russian Verb: A Contribution to the Psychology of the Russian People. Cambridge: Heffer, 1915. P. 9. (Курсив мой. — Н. Р.)*.

⁶ Ср.: «Священники, сделавшие так много в Западной Европе для просвещения и цивилизации народов, в России не сделали ничего: я решительно не вижу никакой разницы между русским попом и трубкой органа, — лудят и только» (Arnold M. De Maistre's *Lettres et opuscules inédits. P. 225*).

⁷ Arnold M. De Maistre's *Lettres et opuscules inédits. P. 223. Ср.:* «Нужда там крайняя, тем не менее власть имущие купаются в роскоши, ни о чем не задумываясь, хотя очевидно, что такая политика — это прямой способ ввергнуть страну в хаос революции. ...Но случись в России своя революция, что было бы естественно [принимая во внимание положение вещей], и объединись она с нашей революцией 1789 г., последствия такого события потребовали бы очень серьезного анализа».

⁸ Сент-Бёв Шарль Огюстен (1804—1869) — выдающийся французский критик и поэт середины XIX в. Основатель психологической критики, придававший большое значение элементу биографии. Среди его произведений — «Пор-Рояль» (*Port-Royal*), «Литературные портреты» (*Portraits littéraires*), «Современные портреты» (*Portraits contemporains*), «Беседы по понедельникам» (*Causeries du Lundi*) (15 т. 1851—1862), «Новые понедельники» (*Nouveaux lundis*) (13 т. 1863—1872) и др.

⁹ Статья Сент-Бёва о романе Гюстава Флобера «Госпожа Бовари», на которую ссылается Арнольд, была впервые опубликована в «*Le Moniteur Universel*» 4 мая 1857 г.

¹⁰ Русского читателя удивит это мнение Арнольда, однако оно лишь свидетельствует об историческом факте: в 1880-е гг. англичане имели смутное представление о русской поэзии.

¹¹ Гладстон Уильям Эварт (1809—1898) — государственный деятель Великобритании, четыре раза избиравшийся на пост премьер-министра страны от партии либералов (в 1868—1874, 1880—1885, 1886 и 1892—1894 гг.).

¹² Толстому в 1887 г. было 59 лет.

¹³ У Арнольда название романа приведено по-французски: «Anna Karénine».

¹⁴ Здесь Арнольд снова приводит название романа по-французски: «La Guerre et la paix».

¹⁵ Роман У. М. Теккерея «Ярмарка тщеславия» (1847) изображает английские нравы первой трети XIX в., тогда как в «Виргинцах» (1859–1860) описывается история английских поселенцев в Северной Америке.

¹⁶ Здесь возможная реминисценция из романа Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». Ср. текст Арнольда («work of this kind is better done in France than in England») с романом Стерна: «They order, said I, this matter better in France».

¹⁷ «The Home; or, Family Cares and Family Joys» (1850) [Hemmet eller familje-sorger och fröjder] («Дом, или Семейные заботы и семейные радости») — роман шведской писательницы Фредрики Бремер (Fredrika Bremer) (1801–1865).

¹⁸ В действительности Арнольд цитирует в статье собственный перевод с французского на английский.

¹⁹ Возможно, речь о переводе Натана Хаскелла Доула: Tolstoï, Lyof N. Anna Karénina / Translated by Nathan Haskell Dole. New York: Thomas Y. Crowell & Co., 1886.

²⁰ Судя по всему, Арнольд переводил французский текст на английский что называется «с листа». Ср.: «...one of the finest specimens of the *jeunesse dorée* of St Petersburg; immensely rich, handsome, aide-de-camp to the emperor, great interest at his back, and a good fellow notwithstanding; more than a good fellow, intelligent besides and well read — a man who has a splendid career before him».

²¹ У Толстого, как мы помним, гирлянда была из анютиных глазок; Арнольд же, под влиянием ли французского перевода или же по собственному недосмотру, переделал цветы в незабудки (*forget-me-nots* вместо *cupid's delight*).

²² Алкивиад (451–412 до н. э.) — афинский государственный деятель и полководец эпохи Перикла; его красота, высокое происхождение, благородные черты характера, замечательные способности снискали ему уважение друзей и почитателей; Эдгар Рэвенсвуд — герой романа Вальтера Скотта «Ламермурская невеста» (1819).

²³ Слова Яго из трагедии Шекспира «Отелло» (акт 3, сцена 3). Цит. в переводе Б. Пастернака (Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1960. Т. 6. С. 350). У англичан это выражение стало крылатым обозначением мук ревности.

²⁴ Здесь и далее курсив М. Арнольда.

²⁵ Арнольд, очевидно, имеет в виду Ги де Мопассана (1850—1893) и его романы, в частности «Жизнь» («Une vie», 1883), «Милый друг» («Bel ami», 1885), «Монт-Ориоль» («Mont-Oriol», 1887).

²⁶ У Толстого — «период от двадцати до тридцати четырех лет» (19, 367).

²⁷ У Толстого — «развитие».

²⁸ Употребляя слово «фермер» (one farmer) вместо «крестьянин», Арнольд обнаруживает неосведомленность в социальной и аграрной системе в пореформенной России.

²⁹ В переводе, цитируемом Арнольдом, вместо «Фоканьча» (так Федор звал старика Платона) используется имя «Платон» (по-английски "Plato"). Арнольд поясняет в комментарии, что «Платон — это распространенное среди русских крестьян имя». Такое объяснение (снятое в русском переводе статьи) требуется из-за очевидной ассоциации, которая возникает у читателя английского (и французского) перевода «Анны Карениной», ассоциации между репликой Федора о богатом мужике Платоне (или Фоканьче) и философом Платоном, особенно в том случае, если английский читатель знакомится с этим фрагментом романа вне контекста. Ср. буквальный обратный перевод с английского на русский: «Люди совсем не одинаковы; один человек живет для живота своего, как Митёвук (Митюха), другой — для своей души, для Бога, как старик Платон».

³⁰ Арнольд заключает слова cried to Him в кавычки, из чего следует, что это цитата. Однако буквально таких слов в романе Толстого нет.

³¹ «Исповедь» (1884) закончена в 1881 г., впервые увидела свет в Женеве в 1884 г. в издании М. К. Эллидина под заглавием «Исповедь графа Л. Н. Толстого. Вступление к ненапечатанному сочинению». Цит. по: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1928—1958. Т. 23. С. 522.

³² Трактат «В чем моя вера?» (1883) был запрещен к печати. Впервые увидел свет во французском переводе в Париже в 1885 г. под названием «Ma religion»; позже в том же 1885 году появились немецкий и английский переводы. Полностью русский текст был издан М. К. Эллидиным в Женеве без указания года. Цит. по: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 23. С. 553—554.

³³ «Так что же нам делать?» (1886). Трактат закончен в 1886 г., тогда же и напечатан (далеко не в окончательном виде) в издании М. Эллидина под названием «Какова моя жизнь?».

³⁴ Речь идет о трактате «Критика догматического богословия» (1880).

³⁵ «Соединение и перевод четырех Евангелий».

³⁶ Ср. у Арнольда: the Fathers, т. е. the Fathers of the Church (имеются в виду христианские писатели I—V вв. н. э.).

³⁷ У Арнольда: the Reformers, т. е. христианские лидеры Реформации XVI в.

³⁸ У Арнольда: «Paul's law of the spirit of life in Christ Jesus freeing me from the law of sin and death». Из «The Letter of Paul to the Romans», 8: 2. Точная цитата: «For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death» («Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». — Римлянам, 8, 2).

³⁹ Возможно из-за того, что Арнольд пользуется французским переводом, он не заключает в кавычки внутреннюю речь Толстого. Ср. в оригинале: «Я говорил себе: "Все развивается, дифференцируется, идет к усложнению и усовершенствованию, и есть законы, руководящие этим ходом. Ты — часть целого. Познав, насколько возможно, целое и познав закон развития, ты познаешь и свое место в этом целом, и самого себя". Как ни совестно мне признаться, но было время, когда я как будто удовлетворялся этим».

⁴⁰ Здесь, по-видимому, Арнольд высказывает между строк собственную озабоченность проблемой безверия. Т. С. Элиот в эссе «Мэтью Арнольд» пишет, что Арнольд пришел к подмене веры верой в литературу и искусство. См.: Элиот Т. С. Избранное. М., 2002. С. 429—443.

⁴¹ Толстой Л. Н. Цит. по: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1957. Т. 23. С. 416. Арнольд приводит высказывание Толстого («В чем моя вера?», гл. X) в собственной редакции: возможно, стремясь подчеркнуть «опытный» характер наблюдений Толстого, он сначала приводит слова о «моей жизни», а потом цитирует фразу о «всяком искреннем человеке». В оригинале же высказывание Толстого имеет другой вид: «Пусть всякий искренний человек вспомнит хорошенько всю свою жизнь, и он увидит, что никогда, ни одного раза он не пострадал от исполнения учения Христа; но большинство несчастий его жизни произошли только оттого, что он в противность своему влечению следовал связывавшему его учению мира. В своей исключительно в мирском смысле счастливой жизни я наберу страданий, понесенных мною во имя учения мира, столько, что их достало бы на хорошего мученика во имя Христа. Все самые тяжелые минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тех неестественных и мучительных условий жизни, в которых я живу теперь, — все это мученичество во имя учения мира. Да я говорю про свою еще исключительно счастливую в мирском смысле жизнь» (23, 416).

⁴² Арнольд приводит этот эпизод в сокращенном, а местами и неточном переводе, заставляя предположить, что он сам «перелагает» текст с лис-

та французского перевода. Ср. обратный перевод с английского: «Он давал деньги крестьянину, чтобы вырвать его из тисков ростовщика, но доходы, причитавшиеся ему самому, не отдавал; он строго наказывал за воровство леса, но спускал крестьянину, чей скот зашел на его поля и испортил посевы; он не платил работнику, которого смерть отца заставила бросить уборку урожая, зато он платил пенсию и поддерживал своих старых слуг; возвращаясь домой, он мог заставить крестьян подождать, пока сам он пошел проведать и поцеловать жену, но он не стал бы заставлять их ждать, если бы встретил их на пчельнике».

⁴³ Ср. с изложением Арнольда в обратном переводе с английского: «Живи в мире со всеми людьми; не относись ни к одному человеку как презренному и ниже себя. Не только не позволяй себе гнева, но и не успокаивайся до тех пор, пока не рассеешь даже неразумный гнев в других против себя».

⁴⁴ В обратном переводе: «Ни похоти, ни развода; пусть каждый муж имеет одну жену, а каждая жена — одного мужа».

⁴⁵ В обратном переводе: «Никогда ни под каким предлогом не клянись служить; все подобные клятвы навязываются из дурных побуждений».

⁴⁶ В обратном переводе: «Отринь все национальные различия; не допускай, чтобы люди другой национальности когда-либо воспринимались тобой как враги; люби всех людей одинаково, как людей, близких к тебе; делай добро всем одинаково».

⁴⁷ У Арнольда не совсем точная цитата, ср. в обратном переводе: «Я верю в заповеди Христа».

⁴⁸ У Арнольда это высказывание приводится или не совсем точно, или с необозначенными купюрами. Ср. полный текст оригинала: «...и вера эта изменила всю мою оценку хорошего и высокого, дурного и низкого в жизни. Все, что прежде казалось мне хорошим и высоким — почести, слава, образование, богатство, сложность и утонченность жизни, обстановки, пищи, одежды, внешних приемов, — все это стало для меня дурным и низким. Все же, что казалось дурным и низким — мужичество, неизвестность, бедность, грубость, простота обстановки, пищи, одежды, приемов, — все это стало для меня хорошим и высоким. А потому, если и теперь, зная все это, я могу в минуту забвения отдаться гневу и оскорбить брата, то в спокойном состоянии я не могу уже служить тому соблазну, который, возвышая меня над людьми, лишал меня моего истинного блага — единства и любви, как не может человек устраивать сам для себя ловушку, в которую он попал прежде и которая чуть не погубила его. Теперь я не могу содействовать ничему тому, что внешне возвышает меня над людьми, отделяет от них; не могу, как я прежде это делал,

признавать ни за собой, ни за другими никаких званий, чинов и наименований, кроме звания и имени человека; не могу искать славы и похвалы, не могу искать таких знаний, которые отделяли бы меня от других, не могу не стараться избавиться от своего богатства, отделяющего меня от людей, не могу в жизни своей, в обстановке, в пище, в одежде, во внешних приемах не искать всего того, что не разъединяет меня, а соединяет с большинством людей».

⁴⁹ Речь идет о «Критике догматического богословия» и «Соединении и переводе четырех Евангелий».

⁵⁰ Источник цитаты неизвестен.

⁵¹ Арнольд употребляет слово «оппортунист» в привычном для англичанина середины XIX в. значении: оппортунист — тот, кто принимает решение в зависимости от обстоятельств.

⁵² Из «Оды умиротворенности» («Ode to Tranquility», 1801) Сэмюэла Колриджа. В контексте оды цитируемая Арнольдом фраза звучит так (в подстрочном переводе): «Текущие дела современного человека — // Дикая и фантастическая, кровавая и подлая торговля» (The present works of present man — // A wild and dream-like trade of blood and guile).

⁵³ Из Книги пророка Исаии (65, 17): «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю».

Уго Арлотта

ДВА ДНЯ В ДОМЕ ТОЛСТОГО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ¹

Публикация, перевод с итальянского
и примечания Михаила Талалая

Холодной и темной ночью, проехав по просторным полям, где там и сям встречаются избы, то поодиночке, то группами, сквозь окошки которых видны дымящиеся самовары, странные красноватые фигуры мужиков, подобные призракам, и рембрандтовские картинки, взятая на станции Щекино повозка доставила меня к прославленной дубовой аллее в поместье Толстого в Ясной Поляне. В самом начале аллеи, слева, в широком пруду возникли причудливые отражения деревьев при неярком звездном свете.

Он сразу встречает меня на пороге кабинета: энергично и открыто. Тут же приглашает сесть поближе к себе. Начинает задавать множество вопросов, почти не дожидаясь ответов. Изучает меня вопросительным, почти суровым взглядом. Когда я спрашиваю разрешения рассказать о нашей встрече в «Giornale d'Italia», ставит условие: «Если, однако, вы не исказите, как это часто бывает в газетах, мои мысли». Я искренне заверяю, что если что-то плохо пойму, то лучше промолчу. Чуть погодя, пока говорю, его лицо, поначалу строгое, добреет, голос смягчается.

Воспоминания об Италии

Толстой спрашивает, из каких я краев, и, узнав, что из Неаполя, говорит: «Я был в Неаполе много лет тому назад». — «Когда именно?» — интересуюсь. «Пятьдесят лет тому назад». — «И какое у вас осталось впечатление?» — «От города — неприятное. Улицы грязные... Сейчас, вероятно, многое изменилось?.. А вот природа мне показалась восхитительной. Цвет моря и неба, живописность окраин:

Позиллипо, куда совершил незабываемый подъем, Сорренто, Капри — все это вызвало у меня глубокое чувство красоты».

Замолкнув на секунду, как будто что-то припоминая, говорит: «Однажды я гулял в городе вместе с одним моим русским приятелем, как вдруг к нам подошел изящно одетый господин и предложил на тот вечер билеты в свою ложу в театре. Почему не пойти? Мы согласились. Это был ваш великий музыкальный театр. Прекрасный зал, лучшая публика. Множество красивых дам в чудных туалетах. Давали... музыку тех лет... подождите, я вспомню...»

Я начал было перечислять старые итальянские оперы, но он меня недовольно остановил: «Нет, нет... — и с видимым облегчением: — Вот, вспомнил, давали “Фауста”, я уверен. Хозяин ложи называл нам имя той или иной дамы, рассказывал эпизоды тогдашней неаполитанской жизни. Когда он говорил, я вдруг ясно понял, что это, вне сомнения, лакей какого-то лорда. Несмотря на элегантность и изысканность в одежде, его манеры выдавали в нем плебейское происхождение. И вот еще — он плохо говорил на французском».

Ах! Что за странный привкус этого слегка пренебрежительно-го тона, конечно бессознательного, в устах графа Толстого — «лакей какого-то лорда». Тут не помогает мужицкая одежда, пропаганда — для себя и других — известных социалистических и эгалитарных теорий, уверения в том, что обстоятельства рождения не могут стать причиной привилегий людей и разного их положения. Несмотря на все эти благородные и альтруистические идеи, является вновь, благодаря тонкому нюансу, вечный контраст между реальностью и мечтой — тот контраст, который сам Толстой хотел бы отменить!

С большим интересом он начинает расспросы о нашей политике, об итальянском социализме, о забастовках, увы, столь частых в наши времена. Утверждает, что забастовки в целом почти всегда идут во вред трудящимся, даже если какие-то их цели и достигаются. Спрашивает о тяжести военной обязанности и как будто бы удовлетворен моим ответом. Также он доволен моим рассказом о строгой жизни и о достоинствах короля Виктора, переданных ему от его великого предка через, увы, покойного доброго короля Гумберта², и говорит буквально следующее:

— *Воп chien chasse de race**. Конечно, король — лишь первый чиновник государства. Форма правления не имеет значения (извест-

* Породистого пса не надо учить (фр.).

но, что Толстой верит в абсолютную анархию, в отмену всякой формы правления). Монархия может быть для счастья народа не хуже или даже лучше республики, которая часто становится тиранией одной партии вместо тирании индивидуума или династии.

Дума и толстовские идеалы

Отношение Толстого к учреждению Государственной думы хорошо известно, и все же я его спрашиваю, ожидает ли он какого-нибудь блага от нее, хотя бы как от первого шага к лучшему будущему.

Он смеется отрывистым, горьким смехом, который мне забыть трудно:

— Думаю, что забавы детей имеют больше смысла, чем эти несчастные и смехотворные потуги.

О Кропоткине он говорит, что восхищен им и его идеями, хотя и считает его не вполне революционным, не доходящим до свершения собственных обещаний:

— Он останавливается на полпути, и, кроме того, мы с ним не можем согласиться из-за его приятия насилия как средства достижения анархии.

Угадывая его реакцию на вопрос о Гаагском конгрессе³, все-таки задаю его.

Толстой жестом выражает отвращение и говорит, что вся эта низкая комедия глубоко ему противна. Если не ошибаюсь, он произнес даже малохристианское слово «ненавижу». Для него это — вульгарное «*trompe l'œil*»*. Не стану сообщать другие крепкие выражения Толстого о конгрессе и его вдохновителях, но передам его дословную фразу в ответ на мой настойчивый интерес к Думе:

— Нахожу крайне странным, что в тот момент, когда по всей Европе наблюдается падение парламентаризма, Россия находит именно в нем государственное решение назревших проблем.

Мы подошли к его антимилитаристским убеждениям, после того как я с искренностью итальянского патриота заявил:

— Но что нам делать, если в наши прекрасные итальянские земли, нашу родину, вторгается враг, если наши берега бомбардируют?

Он смотрит на меня с состраданием и бросает:

* Обман зрения (фр.).

— Что такое родина? Это — все человечество! Любой негр для меня равен любому другому человеку.

Я чувствую почти физическое отталкивание, «*de corps — corps*»*. Толстой же продолжает развивать свои известные теории о «непротивлении злу насилием». Я позволяю себе возражать, что такие прекрасные или, лучше сказать, такие благие идеи возможны лишь в мире, населенном одними святыми, и, к сожалению, являются идеалом «сверхчеловеческим», недостижимым.

Он вспыхивает:

— А что это — жизнь без идеалов? И что такое легкодостижимые идеалы? Если признана справедливость идеи и красота идеала, надо напрячься и сделать все для его достижения. Я верю в лучшее человечество и в конечную победу моего идеала мира, любви и справедливости среди людей. Ни я и ни вы не увидим приход этого идеала, но человечество, уверен, идет к нему — через все нынешние ошибки и ужасы.

Вопрос о смерти

Произнося последние слова, он весь преображается, как будто видит сокрытую красоту или божественный сон, как будто впадает в глубокий экстаз! Я не могу отвести взгляда от этой благородной личности — ясной, задумчивой и доброй! Его глаза, живейшие, сосредоточены на мне, как будто хотят проникнуть в глубь моей души и узнать, насколько я захвачен его размышлениями. В глазах видна и внутренняя непрестанная работа великой души, захваченной проблемами человечества.

Однако мне кажется, что Толстой устал. Уже почти десять вечера. Представляю, как много он сегодня трудился, — кроме того, мною владеет почти религиозное благоговение перед этим 80-летним воином, героически сражающимся за высокие идеалы мысли и искусства. Не решаюсь больше задавать вопросы и прошу его самого прервать нашу беседу, когда он сочтет нужным. Толстой необыкновенно учтиво предлагает мне провести некоторое время с его семьей, в то время как он с секретарем займется своей обширной перепиской.

— А потом, — завершает он, — предлагаю вам выпить с нами чаю.

* От тела к телу (*фр.*).

Мы сидим еще несколько минут одни в кабинете, и я решаюсь спросить о том, когда он предполагает вернуться в Москву.

— Я уже семь лет там не был. Вообще уже семь лет, как я не покидаю Ясную Поляну. И не покину — разве только для самого последнего путешествия.

Он заговорил о смерти с великим спокойствием, и я заметил, насколько он молод душой и телом, и пожелал еще долгих лет жизни.

Поблагодарив, отвечает:

— В моем возрасте смерть не страшна. Не могу сказать, что ее желаю, но спокойно жду, как естественного конца жизни. Я пришел к удовлетворительному решению моральной проблемы, успокоив свою прежде встревоженную душу. Сейчас я готов к смерти. Жизнь мне больше ничего дать не может.

Все это он мне говорил с крайним спокойствием, просто и убежденно. Услышав слово «смерть», произнесенное с естественным достоинством творца бессмертных шедевров, как «Анна Каренина» и «Война и мир», в тишине кабинета, погруженного в полумрак, я вспомнил другой образ смерти, описанный им самим же в «Севастопольских рассказах». Во время Восточной войны, командуя горной батареей, при штурме Севастополя 27 августа 1855 г., на поле сражения он, вероятно, впервые столкнулся с проблемой смерти. В тот день он увидел тысячи раненых «с проклятиями и молитвами на пересохших устах», увидел «изуродованные трупы». В той книге он написал, что именно тогда стал понимать, что такое русский солдат, то есть крестьянин, мужик, и преклонился перед неосознанным его величием и умением достойно умирать.

Толстой улыбнулся, заметив, что я раздумываю над его последними словами, и повел меня в столовую, где представил собравшимся там дамам. Это были его жена графиня София Андреевна, его дочери мадам Сухотина и мадемуазель Александра, племянница княгиня Оболенская⁴ и сестра графини Толстой, жена сенатора Кузминского⁵, одного из судей Гурко⁶.

Пока мы ждем, когда граф Толстой вместе со своим верным секретарем Гусевым закончит просмотр корреспонденции, добрая графиня описывает мне распорядок дня мужа.

Он встает около восьми утра и после краткой, около десяти минут, прогулки в соседней роще, уходит к себе в кабинет часов в девять, оставаясь там часов до трех. В это время обедают. Обед — очень скромный

и быстрый: как известно, он уже более двадцати лет вегетарианец в самом строгом смысле этого слова и не пьет спиртного. После еды он садится на коня и уезжает на пару часов. Графине приходится часто волноваться, когда муж задерживается с возвращением. В ответ на мягкие упреки он оправдывается, что был увлечен красотой и новизной природных зрелищ и что открыл новые тропы — хотя и ездит тут ежедневно годами. После прогулки верхом он спит с часок, затем занимается корреспонденцией. К десяти часам вечера великого писателя, его домашних и его посетителей, которых всегда хватает в Ясной Поляне, собирает самовар. Около одиннадцати часов вечера Лев Николаевич идет спать.

Толстой и его крестьяне

Я хотел знать точные подробности об отвратительном случае со стрельбой крестьян по усадьбе Толстого, о котором рассказывали более или менее подробно все газеты мира. Некоторые, например «Times», сообщали даже, что восставшие мужики якобы разорили его родовую усадьбу. Когда я спросил об этом самого Толстого, он ответил буквально следующее: «Mais ce n'était qu'une bêtise, l'affaire de quelques chous!»*. Теперь я спросил об инциденте у графини.

Графиня чуть погрустнела, а затем пояснила, что вся шумиха поднялась из-за истории с двумя крестьянами, решившими украсть капусту и выстрелившими пару раз в воздух, дабы поугагать сторожей. Вместе с тем она в самом деле обеспокоена постоянными угрозами:

— Местные крестьяне очень любят Льва Николаевича, и я за него не боюсь. Однако все знают, что теперь я — единственная собственница поместья, и именно против меня направлен гнев крестьян, которые к тому же ничего не платят, ожидая, вероятно, экспроприации наших земель! Лев Николаевич очень раздосадован, что из Тулы власти прислали агентов для защиты нашего дома и земель. Он желает любыми путями отослать их обратно.

Графиня выглядит очень встревоженной: охраны, посланной из Тулы, и их собственных сторожей ей явно недостаточно для спокойствия.

— Горстка людей, пусть и хорошо вооруженных, не сможет защитить нас от целой толпы злодеев, к тому же тоже вооруженных. Если

* Да это просто глупость, дело из-за какой-то капусты! (фр.)

не придут для нашей защиты солдаты, наш дом ограбят, а нас, возможно, лишат жизни.

Она рассказала мне о разорении усадьбы князя Голицына неподалеку от Ясной Поляны и об одной несчастной даме, убитой из-за того, что не имела с собой денег.

— И вот, — заключает она, — я ношу с собой только чуть больше того, что нужно на повседневные расходы. Но все равно не могу быть спокойной. Часто ночами, когда слышу лай наших сторожевых собак, я, дорогой сударь, вскакиваю с постели и бросаюсь к окну!

Затем графиня мне рассказала о том, что пишет воспоминания и что написала их порядком, — при этом Лев Николаевич их слушает и оценивает.

— Эта работа многое расставит на свои места.

И она тоже принялась укорять газеты, печатающие всякую чушь про Толстого, и в связи с этими попросила разоблачить всю неправду, написанную про известное дело Аппоньи⁷.

Беседа у самовара

Между тем закипел на большом столе, приготовленном к чаю, самовар, и я устаиваюсь чести сесть по правую руку от автора бесмертных «Анны Карениной» и «Войны и мира».

В разговоре принимают участие практически все. Речь заходит и о деле Комаровского — о трагедии, участников которой здесь знают лично⁸. Говорили, что молодой Комаровский находился под внушением Тарновской и Прилукова. Толстой спрашивает: «Значит, этот случай — результат внушения?» — и задумывается. Беседа течет очень оживленно, вопросы и ответы пересекаются при быстрой смене ее тем. Между прочим спрашиваю писателя о его текущей работе, и он отвечает, что готовит к новому изданию свою последнюю книгу «Круг чтения». Глядя на меня добрым и проникновенным взглядом, говорит:

— Обращаюсь к вам как отец к сыну: очень советую прочитать эту книгу, где — самая лучшая часть меня. В ней собраны самые близкие мне мысли моих любимых писателей, а также и мои собственные мысли. Каждое утро, для того чтобы лучше начать день, я читаю страницу из этой книги. Это настраивает на добрый и серьезный лад мою ежедневную работу, мои будущие решения и мои отношения с людьми.

Это меня ориентирует. Теперь в новом издании думаю упорядочить материал и расположить мысли более увязанно, согласно их содержанию.

Помолчав, добавляет:

— Хочу тотчас показать вам книгу. Принесите ее, пожалуйста, — обращается к домашним, но нетерпеливо поднимается сам и уходит за книгой. Вернувшись, держит ее любовно и, открыв наугад, читает почти две страницы. Читает по-французски, и с такой уверенностью, как будто держит перед собою французский текст.

Странные истоки одной комедии

Потом мы беседуем о его комедии «Плоды просвещения», идущей сейчас в Московском Императорском театре. Это язвительная сатира, направленная против простодушных приверженцев спиритизма, часто попадающих в сети мошенников, и против «микробофобии», болезненной боязни контакта с «патогенными» микробами.

Графиня рассказала мне об истоках этой комедии. Однажды мадам-муазель Александра обнаружила в одной папке черновик неоконченных первого и второго акта комедии. Испросив разрешение у автора, она однажды сымпровизировала ее постановку, во время которой он поправил и изменил текст, завершив тем самым комедию.

Я спросил у Льва Толстого о его любимых авторах и услышал имена Руссо и Шопенгауэра. Про последнего он пояснил, что любит его увлеченно, несмотря на отсутствие в нем христианского духа, — за гениальность и великую оригинальность. Тогда я заговорил о Ницше, спрашивая у Толстого его мнение. Зная, что антихристианин Ницше — антипод Толстого в области представлений о мире и в особенности в области социальных и моральных идей, я не ожидал услышать сдержанную речь.

Оказалось, однако, что Толстой восхищен его необыкновенным умом, но не может одобрить беспорядок в его писаниях, множество противоречий и недоговоренностей.

Говоря это, он вместе со всеми поднимается из-за стола. Наступил такой милый, покойный и интимный момент семейной жизни Льва Толстого, что для точного описания его мне понадобилось бы его собственное перо. В углу столовой, на диване у стены, за овальным столиком сели княгиня Оболенская и госпожа Кузминская.

Я сел на стул напротив, между госпожой Сухотиной и графиней Толстой, умело вышивавшей за разговором белый платок. Госпожа Кузминская достает карты и раскладывает их для «солитера». Рядом с ней сидит в кресле, чуть перегнувшись за ручку, граф Толстой и указывает госпоже Кузминской нужную карту, когда та мешкает с ходом. Это не мешает ему следить за моей оживленной беседой с княгиней Оболенской и графиней Толстой и вставлять время от времени свое точное и краткое слово.

Утро в Ясной Поляне. «Непротивление злу насилием»

На следующее утро вместе с любезным доктором Маковицким, другом семьи, мы рано идем на превосходную прогулку по чудесной роще берез, дубов и сосен. Выходим на широкую поляну, давшую название поместью. Вся она окружена плотным кольцом берез с мраморно-белыми стволами. Возвращаясь в дом, пересекаем яблоневый сад из добрых семи тысяч восьмисот деревьев, посаженных с четверть века тому назад под руководством Толстого или же им собственноручно.

Уже девять часов, и я вновь встречаюсь с Львом Толстым в столовой. Он в прекрасной форме, отдохнувший после хорошего сна и ничем не выдающий вчерашнюю усталость. С любезной и доброй улыбкой предлагает мне стул и сам садится напротив, близ меня. Его подвижный и проникновенный взор как будто поощряет меня на новые расспросы. Однако, несмотря на явную расположенность удовлетворить мое любопытство, я угадываю в его лице плохо скрытое нетерпение, некое ожидание. Хорошо зная, чего он ждет — начала работы, ибо это смысл его жизни, его хлеб насущный, — из множества вопросов отбираю лишь несколько важнейших.

Я не могу понять, каким образом можно действовать в полной мере согласно знаменитому учению Толстого о «непротивлении злу насилием», и прошу прояснить на конкретном примере:

— Если на меня нападает убийца с ножом в руке, готовый лишить меня жизни, — спрашиваю я, — и у меня нет другого выхода, как убить его самого, что мне делать? Согласно вашим идеям, я должен безропотно пойти на заклание, как агнец?

Задавая вопрос, горю нетерпеливым желанием услышать тут же ответ.

Он с необыкновенным спокойствием, ровным голосом, не без легкой усмешки спрашивает в свою очередь меня:

— Откуда берется подобный разрыв между теорией и практикой? Если вы признаете правильность идеи, то мне совершенно непонятно, как можно идти вразрез с нею, — несмотря на тяжкие последствия, которые это может причинить индивидууму.

— Как же так? — настаиваю удивленно. — Я должен безропотно закончить свою жизнь от руки подлого злодея? Должен подавить природный инстинкт самосохранения?

Толстой смотрит на меня почти с состраданием и отвечает:

— Вне сомнения! Разум обязан преобладать над инстинктом, и, если разум командует, надо ему беспрекословно подчиняться.

Я пребываю в полном изумлении. Если бы передо мной был не уважаемый всеми Лев Толстой, а любой другой человек, то я бы без колебания отправил бы его на... прогулку, красочно и многообразно определяемую во всех диалектах нашей милой Италии. Молчу, озадаченный, в то время как все мое существо протестует против подобной сверхъевангельской теории. В моем мозгу рождаются тысячи возражений. Чувствую себя человеком, обычным человеком с нервами и мускулами, с обычными страстями, в то время как мой собеседник представляется мне бестелесным явлением, не от мира сего!

Мнения Толстого о литературе и о Данте

Прошу Толстого высказать суждение о его предыдущих работах, и в особенности о «Войне и мире» и «Анне Карениной». Я уже знал, что он от них отрекся, но хотел слышать это из уст автора.

Он, улыбаясь, говорит, что считает их ничемными с точки зрения морали «книгами, что нравятся женщинам и детям».

— Но все же, — возражаю, — когда вы сочиняли эти шедевры, вы вряд ли думали так, но чувствовали величие искусства и его божественную натуру.

Глядя на меня, он опять улыбается:

— Это правда. Тогда я еще питал слабость к искусству ради искусства. Теперь же я ценю только книги с вечной правдой, как Евангелие, книги, нужные человечеству.

— А кого вы предпочитаете из современных итальянских и французских писателей?

— Из французов мне очень нравятся, — отвечает, — Анатоль Франс и Мопассан.

Имя Мопассана он произносит с особым энтузиазмом, и я не удерживаюсь от вопроса:

— Как же вы, столь строгий моралист, отказывающийся ради морали от собственных произведений, можете любить Мопассана?

Толстой, несколько двусмысленно, отвечает следующее:

— Un vrai talent est toujours moral malgré lui*.

Замечаю про себя, что, к счастью, Толстой-моралист не убил в себе великого художника.

Из итальянцев он с воодушевлением называет имя Мадзини и этим ограничивается. Я спрашиваю о Кардуччи, но, кажется, о нем он знает лишь понаслышке.

— А о Данте, поэте человечества, что вы думаете, граф Толстой?

Он смотрит на меня в некоторой нерешительности, будто собираясь с духом, и говорит:

— Итальянцы станут моими врагами, но я должен сказать, что думаю и чувствую. Я никогда не мог ничего понять в произведениях Данте, и каждый раз, когда я принимался читать, они наводили на меня непреодолимую скуку⁹. Но вы, скажите мне честно, что-то в них понимаете? Они вам нравятся?

Эти слова, оскорбляющие все мое священное преклонение перед искусством и родиной, все мои идеалы, сосредоточенные в имени нашего бессмертного гения, кажутся кощунством, и я не могу скрыть от Толстого тяжкого впечатления от его суждения. Однако позволяю себе лишь заметить, что он не смог понять поэтических красот нашего божественного поэта по незнанию нашего языка. «Невозможно, — говорю, — в переводе выразить непереводимую красоту».

Он соглашается.

Говорим теперь о прессе, и он утверждает, что на сегодняшний день она принесла людям больше зла, чем блага, и поясняет свою мысль фразой, которую можно мягко определить как парадоксальную:

— Пресса сегодня — это самое могучие орудие, которое люди могут употребить для влияния на других людей. Большинство людей — аморальны, а значит, аморально и преступно влияние прессы.

* Настоящий талант — это и мораль, несмотря ни на что (фр.).

Хочу задать еще тысячу вопросов, чтобы понять его душу, но боюсь злоупотребить его временем и раздражить, пусть он и выказывает своим видом готовность продолжать наше интервью.

— *C'est tout?** Хотите еще что-нибудь спросить?

Я благодарю.

Он долго жмет мне руку, пылливо взглядываясь в лицо с выражением бесконечной доброты. В его божественных глазах как будто сосредоточилась вся любовь к человечеству.

Все еще пристально глядя на меня, через мгновение он скрылся за дверью.

¹ Уго Арлотта (Ugo Arlotta; 1869—1953) — корреспондент римской газеты «Italia». Его статья «Due giorni in casa di Tolstoi a Jasnaia Poliana» опубликована в изд.: *Giornale d'Italia* [Roma]. Anno VII, n. 339. 6 dec. 1907. P. 3.

² Речь идет о Викторе Эммануиле III, его деде Викторе Эммануиле II и Гумberte I, убитом в 1900 г. анархистом.

³ Гагская мирная конференция, проходившая с 18 мая до конца июля 1899 г., — многосторонняя международная встреча, в ходе которой была предпринята попытка установить порядок мирного разрешения межгосударственных споров. «Гагская мирная конференция, — писал Толстой в телеграмме газете «New York World», — есть только отвратительное проявление христианского лицемерия» (72, 117).

⁴ Е. В. Оболенская (1852—1935).

⁵ Т. А. Кузминская (1846—1925).

⁶ В. И. Гурко, товарищ министра внутренних дел, осенью 1906 г. был уличен в некорректных действиях при закупке продовольствия для голодающих (через шведского торговца Лидваля, который не выполнил контракт). Дело Гурко рассматривалось в Сенате; ему удалось отвести обвинения в маздоимстве, но со службы он был уволен.

⁷ Аппоньи (Арропу), Альберт — граф, венгерский политический деятель, в 1906—1910 гг. министр культов и просвещения; проводил шовинистическую политику насильственной мадьяризации румын, словаков и южных славян. Именно в связи с критикой его позиции в печати он упоминается в разговорах Толстого и его семьи. См.: Ма к о в и ц к и й Д. П. У Толстого,

* Это всё? (фр.)

1904—1910: «Яснополянские записки»: В 5 кн. М., 1979—1981 (Лит. наследство; Т. 90). Кн. 2. С. 530, 531, 533, 534, 579, 677.

⁸ В 1907 г. в Венеции граф Павел Комаровский, официальный жених Марии Тарновской, урожд. О'Рурк, был застрелен одним из ее любовников, чиновником Донатом Прилуковым, по наущению другого ее любовника, адвоката (прежде адвокат убедил Комаровского написать завещание в пользу Тарновской). Шумный процесс в Италии привлек внимание мировой прессы, прозвавшей Тарновскую Черным ангелом.

⁹ См. отзывы Толстого о Данте также в трактате «Что такое искусство?» (гл. XVI) и в дневниковой записи от 28 октября 1900 г. (54, 50—51).

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛСТОВСКИХ МУЗЕЕВ



Е. В. Солдатова

«БОЛЬШИЕ ЕЛКИ»

«22 июля, в лесу, в нескольких верстах от дома, было подписано завещание. Сидя на пеннышке, отец с начала до конца переписал его своей рукой. Свидетели — Радынский, Сергеевко — сын Алеша и Гольденвейзер, засвидетельствовали отцовскую подпись»¹.

«Рукописи и все бумаги завещались в полную собственность А. Л. Толстой, а в случае ее смерти — Т. Л. Сухотиной»².

Участок «Елочки у Подкапустника» (Толстые называли его «Большие елки») расположен в юго-западной части заповедника. Граничит с хозяйственными участками «Елочки под Грумантом», «Арковский верх», «Подкапустник» (Старая пашня), лугом вдоль р. Воронки. Название Подкапустник осталось со времен князя Н. С. Волконского, устроившего здесь огороды и сажавшего на этой площади под Грумантом капусту.

Толстой мог видеть это место с самого раннего детства — во время прогулок в Грумант: «Тетеньки и девочки усаживаются по-своему. Наши же распределены места раз навсегда определенно. Федор Иванович садится с правой стороны и правит, рядом с ним Сережа и Николенька; кабриолет так глубок, что за ними садимся мы — я и Митенька — спинами врозь, к бокам, ногами вместе. Вся дорога мимо гумна по Заказу: справа старый, слева молодой Заказ — одно наслаждение. Но вот подъезжаем к горе, круто спускающейся к реке и мосту. “Держитесь, дети”, — говорит Федор Иванович, торжественно нахмуриваясь, перехватывает вожжи, и вот мы спускаемся, спускаемся, но в последний момент, шагов тридцать, Федор Иванович пускает лошадь, и мы летим, как нам кажется, с ужасной быстротой. Мы ждем этого момента, и вперед уже замирает сердце. Переезжаем мост, едем вдоль реки, опять мост и поднимаемся на гору, на деревню, и въезжаем в ворота, в сад и к домику» (34, 390).

При впадении реки Кочак в Воронку в 1870-е годы сажается участок «Большие елки». На плане 1889 года «толстовские» культуры

представлены как «посадка ели и березы 15—17 лет с полнотой 07»³. Вероятнее всего, посадка проведена в плужные борозды. Этот способ предложил и впервые применил в начале XIX столетия Франц Майер. Павел Иванович Левицкий, помещик Чернского уезда, лесовладелец, с которым Толстой был лично знаком, заимствовал способ у Майера и несколько видоизменил его: «Перед началом посадки плугом (все равно каким) режутся неглубокие борозды на столько, чтобы только плуг не выскакивал, не более 1,5 аршина; борозда от борозды проводится по желанию на любом расстоянии, — я делаю на 3 аршина. Режут эти борозды на веку, через весь участок, который предполагается засадить. Поставив плуг на место, рабочий отмеряет в бок 3 аршина, и когда он пройдет все пространство и поворотится на другом конце участка, то века, на которую надо идти обратно следующую борозду, уже готова, установивши на том конце плуг на 3 аршина от только что пройденной борозды, он от плуга отмеряет тоже 3 аршина, ставит другую веку, и таким образом работа идет непрерывно... в день один плугарь нарежет не менее 3 десятин. После плуга по тем же бороздам идет углубитель, положим гогенгеймский, и берет вершка на 4. Если деревца не велики, то этой глубины оказывается совершенно достаточно, в противном случае можно повторить углубление, пустивши углубитель еще на 3—4 вершка... Прежде, согласно описанию Майера, поперек борозды я пускал маркер, в котором зубья ставились на таком расстоянии, которое желательно иметь между деревцами в рядах, и на пересечении линий садилось деревцо; но это оказалось самою скучною и тяжелою работою как для лошади, так и для рабочего, ибо задерживало дальнейшие работы: маркер цеплялся, дергал лошадь за плечи, на поворотах обременял рабочего, т. к. необходимо заносить его на руках, чтобы не поломать зубья и прочее. Кроме того, маркер, не считая лишнего рабочего собственно при нем, непременно требовал еще и поводыря. Теперь лошадь, маркер и при нем 2 рабочих я устранил и заменил это самою простою штукою, именно: я даю ручке мотыги ту меру, которую желаю иметь между деревцами в ряду; выдолбивши ямку, этою ручкою отмеряется и определяется место следующей; при моих посадках дерево от дерева отстоит не более 1,5, чаще 1 и 1,25 аршина.

Когда ямки готовы, то мальчики разносят деревца и раскладывают их в ямки, опуская корни в ямку, а вслед за ними идут сажальщики; обыкновенно берется столько разносчиков деревцов, сколько сажальщиков. Сажальщик поступает следующим образом: 1) берет деревцо,

положим в правую руку, и ставит его вертикально в середину ямки; 2) левой рукою слева пригребает из борозды мягкую землю на корни; 3) повторяет то же освободившеюся правою; 4) обеими руками одавливает землю и осаживает ее возле деревца. Таким образом, деревцо посажено в четыре темпа»⁴.

Интерес к выращиванию хвойных пород, в частности ели, возникает у лесоводов в XIX веке, особенно у частных владельцев, лесные дачи которых занимали 67,3 % общей площади лесов Тульской губернии. Представители рода Ель (*Picea*) ведут свое начало с мелового периода, т. е. ели появились 100—120 млн. лет назад, когда они имели общих предков и один общий ареал на евро-азиатском континенте. Ель теплолюбивая и в то же время холодостойкая порода. С суммой эффективных температур (+10° и выше) тесно связаны интенсивность роста ели, характер ее плодоношения и жизнестойкость молодых побегов. Хорошее прогревание почвенных слоев ранней весной и в период роста древесной растительности способствует повышению активности корневой системы и обеспечивает лучшее прохождение химических реакций в почве. Весьма декоративная древесная порода, имеющая стройный пирамидальный силуэт. Посадка елей с заостренными безукоризненными по архитектонике верхушками оставляет впечатление строгости, четкости и порядка. Одна из отличительных особенностей ели обыкновенной — распространение ее в широком диапазоне световых условий. Она растет не только при полном солнечном освещении, но и при очень сильном затенении, в частности под пологом материнского древостоя, куда проникает не более 3—5 % дневного света. В шкале светолюбия древесных пород она занимает одно из последних мест, уступая в теневыносливости только тису и пихте.

Именно эту породу выбирают Толстые для облесения части бывшей пашни на правом берегу Воронки. Несмотря на удаленность от усадебных домов, «Большие елки» становятся одним из любимых мест прогулок и отдыха семьи. В письме к Л. Н. Толстому в 1892 году Софья Андреевна делится впечатлениями от короткой поездки в Ясную: «...ездила по купальной дороге, кругом елок и домой по Грумонтской дороге. — Я давно не была в таком восторге»⁵. 26 сентября 1897 года С. А. Толстая записывает в дневнике: «Вчера вечером приехала Лиза Оболенская, и мы ходили с ней сегодня далеко гулять — что за красота была! Шли елочками, потом вдоль посадки и речки, вышли к купальне, прошли в большие елки и кругом вернулись лесной дорогой. Эти переливы

из светло-желтого, и во всех тонах, к зеленому и часто красному и темно-бурому листья осенней — необыкновенно красивы. А там, где елки, эти темные высокие елки, случайно выросли молодые березки; редкий лист самого светлого желтого цвета сквозит на темном фоне прозрачным кружевом...»⁶ Здесь в 1878 году семья празднует день рождения старшей дочери: «Завтракать решено было в лесу. Мы забрали посуду, провизию, шоколад, яйца и отправились в еловую посадку у речки Воронки. <...> Пикник удался вполне, и все остались очень довольны»⁷.

По архивным данным 1912 года⁸, площадь этой посадки составляла 3,85 га, ее состав — 50 % березы (35—40 лет), 50 % ели (45—50 лет), единично сосна (35—40 лет), полнота насаждения — 0,7. С 1921 по 1927 г. участок наряду с другими яснополянскими лесами входит в состав особого лесничества: «Центральное Управление лесами предлагает Гублесотделу в целях надлежащей охраны и правильного ведения защитного лесного хозяйства организовать особое лесничество, в состав которого должны входить лесные дачи, расположенные в бывшем имении Л. Н. Толстого. В лесничестве этом в целях восстановления лесной площади по возможности в прежнем виде должны широко производиться мероприятия по облесению площадей, вырубленных за последние годы. Все работы по организации лесничества имени Л. Н. Толстого должны производиться Гублесотделом исключительно по соглашению с хранителем Ясной Поляны»⁹. В 1927 году леса из яснополянского лесничества передаются в леса местного управления: «Во изменение постановления Президиума ВЦИК от 13 июня 1921 г. об охране усадьбы Ясная Поляна — предложить Наркомзему РСФСР передать в установленном порядке леса Яснополянского лесничества в количестве 578,32 дес. в состав лесов местного значения для распределения означенной лесной площади между селениями: Ясная Поляна, Телятинки, Угрумы и усадьбой-музеем Ясная Поляна, согласно предложениям Тульского губисполкома»¹⁰.

Вырубка участка проводится между 1927 и 1932 г. В 1949 году, по данным К. С. Семенова¹¹, участок имеет площадь 4,3 га, представляет собой прогалину, и в этом же году весной на площади 1,7 га производится посадка ели. В 1950 году участок восстанавливается полностью. Всего на площади высаживается 3600 елей. В последующем участок получает название «Елочки у Подкапустника».

За елочками постоянно ухаживали, ставили охрану под Новый год. Но бывает всякое. Вот какой случай описывает К. С. Семенов в днев-

нике за 1952 год: «Лесники с 20 декабря на охране елок в Подкапустнике. Милиционер в “Елочках за Чепыжом” с 25 декабря, когда ночи светлее, охрана круглые сутки. В Подкапустнике срублено 8 елочек, в т. ч. одна большая (7 м и толщина 13 см). Задержан при рубке елок преподаватель физкультуры школы с южного поселка с восемью большими учениками»¹².

В 1989 году в насаждении обнаруживается очаг большого елового лубоеда (дендроктона). Вредитель стремительно развивается, ряд деревьев засыхает. Специалисты заповедника под руководством сотрудников ВНИИЛМа в течение нескольких лет проводят борьбу с лубоедом, применяя механические (выборка жуков из дерева и из подстилки) и химические (феромонные ловушки) меры борьбы. На 1997 год очаг дендроктона затухает. На сегодняшний момент в насаждении сохраняются деревья со следами механической борьбы с вредителем, а состояние насаждения в целом ослабленное.

В 1990 году в ельнике проводится рубка формирования с уходом за благонадежными елями, сосной и дубом. На освободившихся местах в 1991 году сажается ель с размещением 3 x 3 м. Площадь участка, по материалам лесоустройства 1996 года — 3,9 га, представлена елью и сосной 45—55 лет высотой 21 м, диаметром 26 см; дубом, березой, липой 45—90 лет; елью 8 лет. На участке отсутствует подрост, из подлеска господствуют лещина, бузина, жимолость, бересклет бородавчатый, малина. Очень своеобразен и довольно редок напочвенный покров, представленный вербейником монетчатый, зеленчуком желтым, седмичником европейским, сердечником горьким, пролесником многолетним, земляникой лесной, фиалкой удивительной, воронцом колосистым, папоротником, сочевичником весенним, вороньим глазом, подмаренником душистым, будрой плющевидной, пасленом сладкогорьким, ландышем майским.

Сегодня участок «Елочки у Подкапустника» по возрасту практически такой, каким он был в последние годы жизни Толстого. Довольно мощные стволы елей с уходящими в небо кронами величественно покрывают бугор правого берега Воронки. Чувствуешь себя защищенным со всех сторон, попадая внутрь посадки. Идешь по мягкой хвойной подстилке — тихо, спокойно, умиротворенно. Может, именно поэтому выбрал Лев Николаевич эту «домашнюю обстановку» для изложения своей последней воли?..

«16 ноября 1910 года тульский окружной суд в публичном судебном заседании утвердил к исполнению это завещание Толстого»¹³.

¹ Толстая А. Л. Отец: Жизнь Льва Толстого: В 2 т. М., 2001. Т. 2. С. 434.

² Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1969. С. 434–435.

³ Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Фонды Л. Н. Толстого, инв. № 4797.

⁴ ГАТО, ф. 57, оп. 1, д. 1271, л. 11–12.

⁵ Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому, 1862–1910. М.; Л., 1936. С. 515.

⁶ Толстая С. А. Дневники: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 301.

⁷ Толстая С. А. Моя жизнь. Машинопись. Ч. 3. С. 68–69.

⁸ ГАТО, ф. 519, оп. 3, д. 15в.

⁹ ГАТО, ф. Р-639, оп. 1, д. 18.

¹⁰ ГАТО, ф. 95, оп. 1, д. 3066.

¹¹ Архив Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», ф. 1, оп. 1, ед. хр. 789.

¹² Семенов К. С. Дневник 1952–1953 гг. Рукопись. С. 5.

¹³ Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1969. С. 434–435.

В. С. Воронцов

ОРАНЖЕРЕЙНОЕ И ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО В УСАДЬБАХ КОНЦА XVIII — СЕРЕДИНЫ XIX в.: ИСТОРИЯ КАДОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

Первые сведения о яблоневых, вишневых и других фруктовых садах на Руси относятся к X—XI вв. — тогда такие сады появились в Киево-Печерской лавре. С XII в. сады разбивают при монастырях и княжеских дворах в Чернигове, Галиче, Путивле, Владимире, Суздале, Муроме. В устройстве плодовых садов помогали монахи из Греции.

В центре Москвы в 1495 г. по приказу Ивана III был заложен самый крупный Государев сад длиной 0,7 км. В его восточной части располагались оранжереи, в которых выращивали заморские плодовые деревья, кустарники и цветы. Одной из главных достопримечательностей XVI—XVIII вв. стали «висячие» или «верховые» сады на крышах и террасах дворцов Московского кремля. В них были теплицы и оранжереи, где росли редкие растения, южные плодовые деревья. В парниках выращивали экзотические цветы: махровые пионы, тюльпаны, лилии, гвоздики, а также редкие душистые травы.

Среди подмосковных царских вотчин XVII в. выделялось Измайлово, где под руководством главного садовника Г. Хута выращивали лучшие сорта яблонь, груш, вишни, слив, а также малину, смородину, землянику и клубнику. Здесь проходили акклиматизацию многие южные культуры, хлопчатник, виноград, грецкий орех, арбузы и дыни.

В годы царствования Петра I садоводство в России стало ориентироваться на западные образцы. Из стран Западной Европы, Голландии, Италии, Франции, Германии, в начале XVIII в. приглашались известные мастера садового искусства. Петр I много заботы проявлял о выписке померанцевых, фиговых деревьев, особых венгерских сортов виноградных черенков и об устройстве для них «теплых анбаров» (оранжерей). При этом он ценил и старое русское садоводство. Из

подмосковных Коломенского и Измайлова и других садов в Петербург доставлялись разные травы и цветы¹.

Огромное значение для развития декоративного и плодового садоводства имели оранжереи Летнего сада в Петербурге (1718 г., садовник Г. Фохт). Здесь проходили первую проверку многие виды растений, которые затем широко внедрялись в других садах и парках, — такие как апельсины и лимоны, грабы, пионы, белые лилии и многие другие.

В оранжереях и теплицах Нижнего сада Ораниенбаума в 1730-е гг. (садовник Х. Гарц) выращивали экзотические фрукты, овощи и цветы — нежный аромат струился от спелых персиков, ананасов, абрикосов, цветущих олеандров и померанцевых деревьев.

Середину XVIII в. считают временем расцвета садоводства.

С 1835 г. в Москве существовало старейшее Российское общество любителей садоводства. В 1838 г. начал издаваться «Журнал садоводства». Немалое влияние на развитие оранжерейно-тепличного хозяйства в усадьбах России оказали распространенные в конце XVIII — первой половине XIX в. «Руководства» и «Наставления» русских ученых и практиков-садоводов по вопросам устройства садовых сооружений и выращивания в них плодовых, ягодных и прочих культур. Наиболее известны были работы Н. Б. Осипова (1793), В. Левшина (1808), Т. Энгельмана (1821), И. Брюханова (1827), Н. Красноглазова (1848, 1852). В них рассматривались вопросы наилучшего расположения оранжерей (теплиц), грунтовых сараев, внутреннее устройство, системы отопления, вентиляции, температурные режимы выращивания растений, рекомендовались оптимальные размеры. Были приведены схемы и чертежи планов и разрезов сооружений.

Строения могли быть из дерева, камня, кирпича. По конструкции они разделялись на односкатные и двускатные с остекленной, тесовой или железной кровлей; по внутреннему устройству — на грунтовые, стеллажные, комбинированные; по периодам использования — на зимние (в эксплуатации круглый год) и весенние (использовались либо весной, либо летом, либо осенью); по температурному режиму в зимнее время (по шкале Цельсия): на холодные (+4–6°С) — для сохранения растений в покое; умеренные (+8–15°С) — для выгонки красиво цветущих растений; теплые (+15–25°С) — для вечнозеленых растений; тропические (+25° и более) — для орхидей, пальм. По виду выращиваемых растений — на плодовые (фруктовые), овощные, цве-

точные, выгоночные (для получения ранних овощей, цветов, ягод в несезонное для них время), разводочные (для размножения цветов и растений черенками, отводками, листьями, корневищами).

Размеры усадебных оранжерей, в зависимости от произрастающих в них растений, были различными: длина их, в аршипах (аршин — 71,12 см), составляла 13,5—26; ширина 3—3; высота 2,75—12.

Садовые сооружения устраивались на участках с ровной поверхностью или на небольшом склоне, обращенном на юг, на почвах с залеганием грунтовых вод на глубине не менее 0,8 м. Остекленная поверхность односкатных оранжерей (теплиц) была обращена на юг, двускатные располагались так, что одна сторона их освещалась в первой половине дня, другая — после полудня. Чтобы не допустить перегрева растений, использовались полубелые, так называемые оранжерейные стекла. Для разводочных теплиц рекомендовались зеленые стекла, пропускающие меньше солнечных лучей. В садовых сооружениях применялось в основном печное с боровами отопление (боров — дымовой канал).

Печное (дымовое) отопление было наиболее дешевым, но имело недостаток — неравномерность нагревания разных участков помещения: ближе к топке воздух был горячее и суше, а в конце борова — прохладнее.

Т. Энгельман в 1821 г. усовершенствовал печной способ отопления, предложив провести поверх борова воздушную трубу из листового железа. Проходивший по ней внешний воздух согревался и благоприятно влиял на растения².

По данным садовника И. Брюханова, паровой способ обогрева ананасных теплиц впервые был изобретен англичанином Векефильдом в 1788 г., но «был вскоре презрен по сложности и невыгодности», а в 1820 г. гр. Д. А. Зубов изобрел паровой способ обогрева грунта в теплицах, который оказался проще и удобнее английского. И. Брюханов усовершенствовал изобретение Зубова и в 1822 г. построил в Петербурге (на Каменном острове) ананасную паровую теплицу³. Однако широкого применения паровой способ отопления не нашел, так как теплицы в большинстве усадеб были небольшими (10—20 м в длину), а «паровое отопление могло эффективно применяться лишь в больших садовых сооружениях». Для освежения воздуха в оранжереях (теплицах) устраивались форточки сверху рам и вытяжные трубы с задвижками в задней (северной) стене или в потолке.

Широкое применение в усадьбах нашли грунтовые (фруктовые) сараи. Они использовались для выращивания лучших сортов яблонь, груш, вишни, слив и крупного английского крыжовника⁴. По сравнению с оранжереями (теплицами) грунтовые сараи не требовали значительных затрат на строительство. Они были наземного (верхового) и ямного (овражного) типов и поперечными сторонами обычно располагались на север и юг, а продольными — на восток и запад. Сарай возводился на каменном фундаменте, остов его был бревенчатым, кирпичным или железным. Крыша и боковые стены делались из дощатых ставней, на зиму утепляемых рогожей и соломой. Ставни обычно ставили в октябре, а снимали «не прежде мая». Деревья все лето находились на свежем воздухе. Длина сараев была произвольной, а ширина составляла от 4 до 12 сажень (сажень — 2,1336 м)⁵.

В работе А. Регеля (дается по П. Горскому) приведены планы и разрезы грунтовых сараев. Считалось, что выгоднее строить широкие сараи (более 2—3 сажень), так как плодовые деревья в них не потели и не покрывались инеем зимой. Для выращивания персиков, абрикосов, слив, вишни, винограда и др. плодов В. Левшин предложил строить грунтовые теплицы, так называемые английские, состоящие из кирпичной стены (с заключенной в ней печью) и оконниц. По нашему мнению, именно такую теплицу описал француз Е. Андре: «Царскосельские плодовые теплицы невелики... Виноградники в них дают довольно хорошие плоды... Персиковые шпалеры идут по вертикальным стенам... Сливы направлены близко к рамам на другой шпалере, образующей кровлю... Расположения такого я еще не видел, но оно кажется мне полезным...»⁶ Для выращивания ранних огурцов, арбузов, дынь и других культур в нашей зоне В. Левшин рекомендовал низкие теплицы с «лежачими» окнами под углом 15°. При этом все здание должно быть опущено в землю так, чтобы пол находился на аршин от поверхности. Под оконницами во всю длину здания сооружалась низкая печь, на которую насыпали землю. Высота таких теплиц составляла не более 3,5 аршина, ширина — не более 5 аршин, длина зависела от числа рам⁷.

Анализ архивных материалов, хранящихся в РГАДА, показал, что оранжерейно-тепличное хозяйство в большинстве усадеб Московской губернии создавалось во второй половине XVIII — начале XIX в. Практически в каждой усадьбе строились оранжереи, теплицы, парники и грунтовые сараи, в которых культивировали южные плодовые

деревья, «древесные и травяные» растения, овощи и цветы. Указанные строения могли находиться в ботаническом или фруктовом саду, в усадебном парке. В некоторых имениях (Ивановское, Ольгово) флигели или галереи дома соединялись с зимним садом и оранжереями⁸.

Каждый владелец усадьбы был свободен в выборе типа садовых построек, ориентируясь на передовые тенденции своего времени и учитывая местные условия. Во многих усадьбах (Архангельское, Влахернское, Марьино (Быково), Кусково) архитектура оранжерей (теплиц) была созвучна архитектуре главных домов, построенных в стиле классицизма. Садовые строения украшались колоннами, фронтонами, арочными нишами и ленточным рустом. В усадьбах того времени работали в основном иностранные садовые мастера: в Царицыне — К. Уингебауер, Ф. Рид и И. Мурно; в Архангельском — Мартин; в Петровском-Разумовском — Р. И. Шредер; в Останкине — И. Мунштадт и Р. Миннерс; в Поречье — Е. А. Тительбах и К. Ф. Тюрмер; во Влахернском — Г. Фокс и К. И. Тернер, в Горенках — Ф. Х. Стефан и Ф. Б. Фишер⁹.

Славились оранжерейным и тепличным хозяйством Горенки гр. Разумовских. В знаменитом ботаническом саду усадьбы (протяженностью 1,5 км), находилось 18 оранжерей, каждая длиной свыше 200 м, и 40 теплиц. В усадьбе насчитывалось до 9000 видов растений. В оранжереях, образуя длинные аллеи, стояли померанцы и лимоны. Среди деревьев были: чайное и кофейное деревья, кедры, кипарисы и др. К редким относились американские маслины, драконово дерево и др. В Горенках разводилось огромное количество сортов роз. Здесь в 1809 г. возникло первое в России Ботаническое общество.

Большое оранжерейно-тепличное хозяйство усадеб Архангельское и Спасское кн. Юсуповых в 1840—1850 гг. было переведено на паровое отопление. Производство продукции в этих усадьбах с 1830-х гг. приобрело коммерческий характер. Годовые урожаи фруктов, саженцы деревьев, овощи и цветы из оранжерей (теплиц) и грунтовых сараев продавались оптом московским купцам.

В бывшей усадьбе П. А. Демидова (рядом с усадьбой Нескучное на Москве-реке) в конце XVIII в. был устроен ботанический сад с летними и зимними оранжереями (персиковые, виноградные, ананасные, пальмовые). В саду произрастали 2224 вида растений. Здесь проводились опыты по выведению новых сортов растений, таких как курильский чай, немецкий шили, сантолина, роза, смородина.

В оранжереях усадеб Влахернское и Петровское кн. Голицыных культивировали фруктовые деревья ста пяти видов, а также виноград и ананасы. Кроме того, выращивались декоративные, главным образом вечнозеленые, растения тринадцати видов (лавр, самшит, мирт, олеандр, розмарин, мимоза, гибискус, кактусы, папоротники) и много видов цветов (герани, левкои, георгины, розы, гвоздики, мальвы, хризантемы, циннии). В теплицах и парниках выращивали овощи, зеленые культуры, арбузы и дыни.

В большом ассортименте выращивались растения в усадебных оранжереях Кускова, Останкина, Михайловского и Воронова у гр. Шереметевых. В усадьбе Вороново располагались семь кирпичных оранжерей (теплиц), тепличный фонарь — выступающая застекленная часть строения для лучшего его освещения; и два вишневых грунтовых сарая. В ассортименте растений были персиковые, сливовые, вишневые деревья, виноград и ананасы. В Михайловском были две каменные оранжереи, наполненные фруктовыми деревьями лучших сортов. В парниках выращивались ранние овощи, зеленые культуры, арбузы и дыни. В Никольском у кн. П. П. Трубецкого было одиннадцать оранжерей: персиковая, апельсиновая, лимонная, ананасная, орхидейная, азалиевая, камелиевая, пальмовая и разводочная, а также две новоголландские. Главное удобство Никольских оранжерей состояло в том, что все они располагались в одном месте и в них была проведена вода.

В усадьбе Лотошино у князя С. Б. Мецгерского в кирпичной оранжерее произрастали виноград и более шестидесяти деревьев: персиковые, абрикосовые, фиговые, лимонные, сливовые, крупнолистная шелковица. В кирпичной теплице с тремя отделениями (холодное, умеренное и теплое) находились декоративные, преимущественно вечнозеленые растения (316 экз.), в том числе мускатное дерево, кипарисы, лавры, олеандры, орхидеи, фуксии, агавы американские, гибискусы, бегонии, филодендроны, фикусы, опундии. Был в усадьбе также вишневый грунтовый сарай, который в период созревания плодов накрывали специальными проволочными сетками от птиц.

Прекрасный зимний сад, оранжереи, теплицы, грунтовые сараи в начале XIX в. были в усадьбе Шаблыкино Орловской губернии у помещика Н. В. Киреевского. В оранжереях выращивались плодовые деревья ста десяти видов и многие тропические растения. Особенно славилась усадьба цветоческим искусством. Одних георгинов здесь произрастало свыше 3000 экз., было много роз и тюльпанов.

Некогда процветавшее оранжерейное хозяйство усадеб России во второй половине XIX в., после отмены крепостного права, приходит в упадок, так как становится нерентабельным: бывшие крепостные отказывались работать бесплатно, а на оплату вольнонаемного труда не хватало денежных средств¹⁰.

В настоящее время в некоторых усадьбах еще можно увидеть полуразрушенные оранжереи. Например, в бывшей усадьбе Поречье гр. Уваровых до наших дней сохранились два оранжерейных зала, в свое время славившихся своей оригинальной конструкцией (металлические каркасы с чугунными стойками), — центральный, где в прошлом был зимний сад, и смежный с ним — пальмовый (1830-е гг.).

В Петровском-Разумовском (ныне принадлежащем Тимирязевской сельскохозяйственной академии) при ботаническом саде сохранилась кирпичная с остекленной кровлей оранжерея 1860-х гг. В 1953 г. она была реконструирована, печное отопление заменили водяным. В настоящее время здесь произрастают декоративные вечнозеленые растения: лавр, магнолия, кипарис, бамбук, пальмы, тугодантус, филодендрон, опунция, агава, фейхоа, олеандр, аукуба, азалии, орхидеи, папоротники¹¹.

Дошли до наших дней также каменные оранжереи бывших усадеб Воронино графов Шереметевых, Гостилицы (Санкт-Петербургской губернии) графов Разумовских (1840-е гг.), Березовик (Новгородской губернии) Мусиных-Пушкиных (2-я половина XIX в.).

Территория музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» представляет собой уникальный исторический архитектурно-природный комплекс, который был сформирован вековой хозяйственной деятельностью, что позволяет воплотить в жизнь уникальную возможность — показать усадьбу такой, какой она была в период ее расцвета¹².

В усадебном пространстве Ясной Поляны теплица занимает важное место. Для молодого Толстого оранжерея, построенная еще князем Н. С. Волконским, была одним из самых любимых уголков усадьбы. В 1870 г. на месте сгоревшей оранжереи Толстой построил теплицу.

В 2003 г. возникла идея новой организации территории теплицы. Главной причиной необходимости данной работы стал ряд несоответствий конструкции теплицы и парников традиционной схеме, характерной для русских усадеб XVIII—XIX вв. с оранжерейно-тепличным хозяйством. Кроме того, проведение этих работ открывало возможность

расширения экспозиционного пространства за счет территории теплицы, поскольку речь шла о восстановлении одного из элементов уклада жизни усадьбы, о воссоздании утраченной части исторической среды.

После изучения архивных материалов была осуществлена перепланировка внутреннего пространства теплицы, изменена система отопления (замена парового на электрическое и печное). Все это позволило перейти от макета постройки к воспроизведению соответствующих технологических процессов и конструктивных особенностей теплиц того времени.

С начала 2004 г. в музее-усадьбе «Ясная Поляна» получило развитие новое направление в хозяйственной деятельности усадьбы — выращивание кадочных культур плодовых растений. С весны 2004 г. началось приобретение саженцев, а также самостоятельное их выращивание в музейном питомнике. В усадьбе Толстых для этих целей имелось два грунтовых сарая. Известно, что «садовник Кузьма сажал цветы и зорко наблюдал за грунтовыми сараями — персиковым и вишневым»¹³. Из повести «Детство» мы узнаем, что в оранжерее выращивали кроме вышеназванных культур еще и персики: «Весна чудо как хороша: балконную дверь уж выставили, дорожка к оранжерее четыре дня тому назад была совершенно суха, персики во всем цвету, кой-где только остался снег, ласточки прилетели, и нынче Любочка принесла мне первые весенние цветы» (1, 79). Т. А. Кузминская в воспоминаниях также пишет, что «в саду была теплица для зимних цветов и оранжерей с персиками чудесной породы»¹⁴. О персиках идет речь в письме С. А. Толстой к Толстому от 11 августа 1864 г., в котором она сообщает, что «гуляла с Сережей и была по всем садам», что тульский торговец Пушкин, покупавший фрукты по окрестным имениям, «собирает с Кузьмой персики и сливы», и Кузьма — садовник при оранжерее — «очень деятелен, исключая огородной части», и что «тетенька»¹⁵ наша все похаживает по дорожкам с зонтиком, и все хочется ей съесть: и персики, и петуха, и яблоки» (83, 43).

В «Войне и мире» при описании Лысых Гор также упоминаются оранжерей, садовники, липовые аллеи парка, кадочные цветы и цветы в горшках — все то, что списано с яснополянской природы. Излюбленным маршрутом прогулок старого князя Болконского была дорожка к оранжерее: «Князь прошел по оранжерейам, по дворне и постройкам, нахмуренный и молчаливый» (9, 263). О своем деде Н. С. Волкон-



Ясная Поляна. Теплица. 2009 г.
Фотография В. С. Воронцова

ском, ставшем прототипом старого князя Болконского, Толстой писал: «Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения» (34, 352). Известно также, что в большом доме была «цветочная» с кадочными цветами — такая же, как та, что описана в «Войне и мире», в сцене разговора Наташи Ростовой с Борисом Друбецким (9, 52–53).

В настоящее время набор выращиваемых в Ясной Поляне тепличных растений приближается к тому, что выращивался здесь во времена Л. Н. Толстого: цитрусовые, персики, кофе, азалия, ананасы, лавр, причем цитрусовые, персики, кофе, ананасы плодоносят ежегодно. Большинство растений открытого грунта, росших здесь в 1910 г., высаживаются на цветочных клумбах.

Исследования в данной области могут быть полезны при восстановлении оранжерейных хозяйств и в других усадьбах России. Проведенная работа уже дала свои результаты. Сохранившаяся на историческом месте теплица, несмотря на скромные размеры (12 x 4 м), стала чрезвычайно привлекательной для посетителей музея.

Многие питомники выращивают большой ассортимент кадочных фруктовых деревьев, а также посадочный материал пряных и овощных

культур, предназначенных для выращивания в качестве комнатных растений, для домашних зимних садов, теплиц, оранжерей, террас и патио. К кадочным культурам относятся все крупные виды и экземпляры растений высотой от 50 см до 1,5–2 м и выше. В первую очередь это декоративно-лиственные деревья и кустарники (фикус, драцена, юкка, араукария, аукуба, кротон, пальмы). К этой же категории относятся красиво-цветущие кустарники и деревья (камелия, гибискус, фуксия, олеандр, абутилон), плодовые культуры (цитрусы, гранат, кофе, лавр, инжир), травянистые растения (банан, бамбук, папирус, стрелиция, диффенбахия), лианы (монстера, филодендрон, плющ, тетрастигма, циссус), кактусы и суккуленты (сансевиера, цереус). Кадочными растениями могут быть папоротники (блехнум, асплениум, платицерум, нефролепис) и даже орхидеи (цибидиум). Кадочная культура плодовых деревьев традиционна для Востока. Но для поклонников садоводства в странах с холодным и суровым климатом это направление приобретает, конечно, особое значение. Кадочные плодовые растения — не новость и не дань моде. Еще в начале XX в. выращивание плодовых культур в кадках или горшках ни у кого не вызывало ни удивления, ни сомнений. Выгонка скороспелых сортов яблонь, ранних сортов персиков была таким же обычным делом, как в наше время выгонка цветов. Наиболее показательна в этом плане культура цитрусов. Лимоны в условиях помещений выращивали в Азербайджане и Осстии более 300 лет назад. Но на север эта культура продвигалась медленно. В Европе тепличное выращивание фруктовых деревьев известно с 1654 г. В Москву деревья лимонов и померанцев впервые были завезены во второй половине XVII в. из Голландии. Но только в XVIII веке их повсеместно стали выращивать в имениях помещиков. Особо знаменитыми были теплицы общей длиной около 5 км, построенные под Петербургом графом Меньшиковым. Они назывались оранжереями (от французского orange — апельсин). На Украине одна из первых таких теплиц для выращивания инжира, ананасов, апельсинов и лимонов была построена в 1796–1805 гг. (имение Софиевка, г. Умань). Наряду с выращиванием цитрусовых в оранжереях занимались зимней выгонкой персиков, абрикосов, яблонь, выращиванием ананасов и других экзотических плодовых растений и пряностей.

Свидетельством высочайшего мастерства садовников того времени служило то, что на барский стол в ночь под Рождество ставили дерева вишен, яблонь, персиков, лимонов со зрелыми плодами. Позднее,

в конце XIX и начале XX в., ведущие питомники Российской империи массово продавали саженцы скороспелых сортов яблонь, персиков и других культур, привитых на низкорослые подвои, а также карликовые корнесобственные сорта фруктовых деревьев, высаженных в цветочные горшки или небольшие кадки. Кадочной культурой плодовых растений занимался и всемирно известный селекционер-плодовод Лев Платонович Семиренко. Пребывая в ссылке в Восточной Сибири, он работал садовником у местного золотопромышленника, где в условиях закрытого помещения выращивал кадочные фруктовые деревья и виноград. Считается, что с его легкой руки кадочная культура плодовых растений стала распространяться не только на весь Красноярский край, но и на Урал и на Дальний Восток. Очаги комнатного цитрусоводства возникли на Северном Кавказе. Занимались им люди различных сословий и рангов. Мало кому известно, что в их числе был и А. П. Чехов, выписавший из Никитского ботанического сада несколько кадок с лимонами. Увлекался комнатным цитрусоводством еще в пору своей молодости И. В. Мичурин. В его дневниках за 1887—1888 гг. есть записи о высаженных лимонных семенах и черенках. Великий садовод, создатель замечательных сортов яблонь и груш, уже в преклонном возрасте вернулся к своему юношескому увлечению. В XIX в. началось разведение цитрусов в комнатных условиях в городе Павлово-на-Оке Нижегородской области. Предположительно первые растения были завезены из Турции. На их основе в середине XIX в. возник сорт народной селекции. Вскоре слава о павловских лимонах пошла по всей России. «Турецкий товар» из поселка ремесленников наравне с другой невидалью нарасхват раскупали на шумных нижегородских ярмарках. Страсть к этим растениям сохранилась там до наших дней. Почти в каждом доме, квартире есть плодоносящее деревце лимона. Летом 2005 г. к Дню города в сквере на Базарной площади был установлен мемориал «Павловский лимон». Таким образом, лимон стал одним из официально признанных символов Павлова. Этот сорт лимона был распространен по всей территории бывшего СССР как самый лучший и выносливый для выращивания в комнатных условиях. В те времена для многих любителей комнатных растений из городов Центральной России, Урала, Дальнего Востока, Поволжья, Украины, Прибалтики, Средней Азии, Северного Кавказа и даже Заполярья выращивание комнатных лимонов и апельсинов было особенно любимым занятием. И в наши дни есть немало любителей, выращивающих

отечественные сорта народной селекции («павловский», «майкопский», «уральский»), а также сорта, созданные энтузиастами-любителями и советскими специалистами цитрусоводами для выращивания в комнатных условиях и оранжереях: «курский», «киевский» и «киевский крупноплодный», «новогрузинский», «ударник», «одесский», «узбекистан», «ташкентский», «юбилейный». Свое второе рождение зимние сады и оранжереи обрели в 1980-х гг. XX века. Они быстро завоевали популярность на Западе, и в настоящее время во многих странах Европы, в США и Канаде зимние сады широко используются в зданиях, имеющих различное функциональное назначение: жилых, общественных, промышленных. Жизнь человека становится полнее, когда он ощущает свою тесную связь с живой природой. И зимний сад, оранжерея помогают человеку ощутить себя ее частью.

Пример развития оранжерейно-тепличного хозяйства музея-усадьбы «Ясная Поляна» демонстрирует целесообразность этого вида деятельности во многих отношениях, в том числе как еще один дополнительный фактор, повышающий привлекательность этой уникальной русской усадьбы.

¹ См.: Греков С. П. Субтропические в средних широтах. М., 2002.

² См.: Дадыкин В. В. В самых северных субтропиках. М., 1985.

³ См.: Азарушкин Н. А. Экзотические растения в вашем доме. М., 2006.

⁴ См.: Борисова А. В., Бердникова. О. В. Устройство зимнего сада. М., 2004.

⁵ См.: Воронцов В. В., Улейская Л. И. Цитрусовые растения в доме. М., 2008.

⁶ См.: Богословский М. М. Быт и нравы русского дворянства в первой половине XVIII в. М.; Пг., 1918.

⁷ См.: Воронцов В. В., Штейман У. Г. Возделывание субтропических культур. М., 1982.

⁸ См.: Врангель Н. Старые усадьбы: Очерки истории русской дворянской культуры. СПб., 1999.

⁹ См.: Ганичкина О. А., Ганичкин А. В. Сад и огород без вредителей, сорняков и болезней. М., 2009.

¹⁰ См.: Ferguson J. H. A. *Photothermographs; a tool for climate studies in relation to the ecology of vegetable varieties*. *Euphytica*, 1957. Vol. 6. № 2.

¹¹ См.: Гартман Х. Т., Кестер Д. Е. Размножение садовых растений. М., 1963.

¹² См.: Голополосова Т. Практикум по биологической химии. Тула, 2003.

¹³ Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986. С. 359.

¹⁴ Там же. С. 205.

¹⁵ Т. А. Ергольская (1792–1874), троюродная тетка Л. Н. Толстого.

С. А. Коновалова

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ В КАЗАНИ МУЗЕЯ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

Казань в биографии Льва Толстого появилась не случайно. Казанский край, как известно, тесным образом связан с родом Толстых. С XVII в. предок Толстых-Милославских Андрей Васильевич Толстой владел землями Чистопольского уезда. В 1754 г. в Казань прибыл Андрей Иванович Толстой, прадед писателя. Десять лет его службы прошли в Казанской губернии: сначала он секунд-майор в Казанском гарнизоне, чуть позже — воевода в уездном городе Свияжске. Возможно, в Казани родился один из его сыновей — Илья Андреевич, который спустя годы, 17-го мая 1815 г., будет назначен казанским гражданским губернатором¹. Вместе с ним в Казани проживали его жена и две дочери, Александра и Пелагея, вышедшая в 1818 г. замуж за родовитого казанского помещика Владимира Ивановича Юшкова. Приехавший на свадьбу к сестре Николай Ильич Толстой, отец будущего писателя, остался здесь до 1821 г. Именно в Казани прошло отрочество и началось взросление Льва Толстого.

«Мы жили в доме Горталова»

Осенью 1841 г. тетушка Пелагея Ильинична Юшкова, став опекуной осиротевших Толстых, перевозит их из Ясной Поляны в Казань. Выезд был основательным. Барки нагрузили всем, что только можно было вывезти. Мебель, посуда, предметы обихода, а также прислуга, столяры, портные, повара последовали по водному пути в Казань. Господа с прислугой двинулись в путь по почтовому тракту в экипажах. Для обустройства жизни Толстых был снят дом в усадьбе Горталовых, которая находилась на Поперечно-Казанской улице (ныне Япеева, 15). Эта часть города не относилась к парадной, но была весьма привлекательна для небогатого дворянства из-за ее расположения — недалеко от Кремля и Богородицкого женского монастыря, места

явления и пребывания знаменитой Казанской чудотворной иконы Божией Матери.

Четыре года казанской жизни Л. Н. Толстого связаны с этим домом. Долгое время считалось, что Толстые с Юшковыми занимали первый этаж дома, в то время как на втором этаже жили сами хозяева. Но образ жизни тетушки, «до мозга костей пропитанной светскостью», невозможно вместить в пяти комнатах первого этажа. Да и Софья Андреевна Толстая в материалах к биографии Л. Н. Толстого обращала внимание на то, что «в Казани заняли два дома, и все это тогда считалось нужным»². Два дома — это главный двухэтажный с мезонином, в котором разместились Юшковы с племянниками, и флигель — одноэтажное деревянное строение на границе усадьбы, где поселили прислугу и, вероятно, Любоньку, воспитанницу Толстых, приехавшую вместе с Толстыми из Ясной Поляны.

Планировка комнат главного дома в основном сохранилась и поныне. Нижний этаж имел хозяйственное назначение, а верхний с мезонином были жилыми. Постановка дома в глубине участка предопределила такую его особенность: традиционная анфилада из трех комнат — зала, гостиной с двумя угловыми печами и так называемой комнаты хозяйки — обращена в сад, а не на улицу. Здесь, на втором этаже, полноправной хозяйкой была Пелагея Ильинична. У С. А. Толстой читаем: «Всегда живая, веселая, она любила свет и всеми в свете была любима; любила архиереев, монастыри, работу по канве золотом, которую раздавала по церквям и монастырям, любила поесть, убрать со вкусом свои комнаты, и вопрос о том, куда поставить диван, для нее был огромной важности...»³ Комната тетушки Полин была, конечно же, самой красивой и модной во всем доме.

Племянники, по всей видимости, были размещены в мезонине с деревянными продольными стенами, разделенном коридором с трехмаршевой лестницей на две половины, каждая из которых состояла из двух комнат. Отдельные комнаты имели Машенька и Дмитрий. В «Воспоминаниях» Л. Н. Толстой пишет о том, что тихий, серьезный и замкнутый Дмитрий не захотел поселиться в одной комнате с братьями и настоял, чтобы ему отвели отдельную комнату, где он жил как аскет. В его комнате не было никаких украшений, за исключением минералов отца, которые он везде возил с собой. Именно в Казани у Дмитрия начали проявляться религиозные стремления, выражавшиеся, в частности, в том, что он говел отдельно от всех, в надвратной

церкви тюремного замка (напротив дома). Николай, как старший из братьев, тоже, вероятно, имел отдельную комнату, а Сергей и Лев могли проживать вместе. Хотя есть и такие воспоминания: «С. М. Мануйлова говорит, что она слышала от Г. И. Горталова, что он жил некоторое время вместе с Л. Н. Толстым в мезонине их дома»⁴. В мезонине у Толстого бывал студент юридического факультета Валериан Никанорович Назарьев, с которым молодой Толстой провел сутки в карцере за непосещение лекций по истории. По его воспоминаниям, мезонин служил своего рода классной комнатой, где Льва Толстого готовил к поступлению в университет профессор эстетики, магистр философии В. А. Сбоев, а также выдающийся востоковед профессор А. К. Казем-Бек⁵. Кто в какой комнате обитал, установить сейчас, пожалуй, невозможно.

«Дом Юшковых» (именно так называли современники усадьбу Горталовых в 1840-х гг.) был одним из известных и гостеприимных дворянских домов Казани. Сама среда диктовала тетушке условия жизни, которые она тщательно соблюдала и приобщала к ним своих племянников. «В семействе тетки графа — Юшковой — и говорят, и думают по-французски. Дом словно закром, полный хлеба, полон постоянно гостями. Двери открыты настежь для всех: и для званых, и незваных. Гости с самого утра. Балы, вечера и пикники один сменяется другим. Хлебосольство барское не знало пределов», — делится своими воспоминаниями один из современников Толстого⁶. Возможно, дом Юшковых относился к тем гостеприимным домам, о которых Эдуард Турнерелли, известный гравёр, чьи казанские работы 1839 г. известны всему миру, писал: в Казани «существовало по крайней мере 20—30 домов, куда ежедневно сходилась обедать много лиц без всякого приглашения: оставалось лишь избрать тот дом, где можно было надеяться на большее удовольствие. Выпив кофе и немного поболтав, гости отправляются по домам — вздремнуть после обеда, что составляет общее обыкновение, вызванное отчасти и необходимостью, так как ночи проходят почти без сна. Наступает вечер; сделав свой туалет, все отправляются куда-нибудь на бал, неизменно оканчивающийся великолепным ужином. Расходятся обыкновенно после ужина; но часто хозяева упрашивают остаться так настойчиво, что, отказавшись, можно нанести хозяевам обиду, и гости принуждены остаться. Так эти балы затягиваются далеко за полночь, и гости нередко возвращаются домой лишь к 5—6 часам утра. Нечего говорить, что они встают

не ранее полудня, с тем чтобы начать проделывать то же самое снова... Другое развлечение, которое, кажется, уже превратилось в привычку, — игра в карты. Трудно себе представить, до какой степени распространилась карточная игра. Играют все: богатые, бедные, большие и малые, старики и молодежь; мужчины, дамы, даже дети; и часто в то время, когда идет партия в гостиной, слуги играют в людской»⁷. Известный казанский историк права, журналист и краевед Николай Павлович Загоскин, объяснял университетские неудачи Толстого тем, что Лев Николаевич с первых же дней студенчества был втянут в водоворот светских развлечений. «В качестве родовитого, титулованного молодого человека с хорошими местными связями, внука бывшего губернатора и выгодного жениха в ближайшем будущем Лев Николаевич был везде желанным гостем. Казанские старожилы, — утверждал Загоскин, — помнят его на всех балах, вечерах и великосветских собраниях, всюду приглашаемым, всегда танцующим...»⁸ Хорошо известна оценка Л. Н. Толстого, данная им тому обществу: «Очень любил веселиться в казанском, всегда очень хорошем обществе и очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолоду быть молодым, не затрагивая непосильных вопросов и живя хоть и праздною, роскошною, но не злою жизнью»⁹.

На исходе первого года жизни Толстых в Казани город постиг большой пожар. По силе разрушения бедствие 24 августа 1842 г. было сопоставимо с тем, что случилось в 1815 г., в начале казанского губернаторства Ильи Андреевича Толстого. Четырнадцатилетний Лев Толстой писал Т. А. Ергольской в Ясную Поляну: «Дорогая тетенька. Вот мы и снова в Казани, которая в весьма жалком виде. Что касается зданий, огнем уничтожено все, что было красивого. Наша улица, которая не из лучших, уцелела; однако же дом наш был в опасности, так как все вокруг нас стало жертвой огня»¹⁰. Брат Дмитрий в письме к Татьяне Александровне попытался найти объяснение тому, что их казанский дом не пострадал от огня: «Все главные улицы разрушены. Приехав из Панова, мы не узнали Казани, тротуары, сделанные из дерева, были совершенно испорчены огнем. Однако университет избежал этого разрушения; обсерватория горела, но приборы были спасены, так же как и наш дом, который избежал огня, так сказать, каким-то чудом: настоятель монастыря устроил что-то вроде крестного хода вокруг монастыря и прилегающих домов, ветер сейчас же прекратился, и весь квартал остался целым»¹¹. Беда обошла тогда дом стороной, но, как

оказалось, ненадолго. 2 октября 1845 г. под утро загорелся сеновал в усадьбе Горталова, пожар удалось остановить только силами пожарной команды. Юшковы и Толстые вынуждены были покинуть пострадавшую и полюбившуюся им усадьбу, переехав на окраину города в дом Киселевского; потом был еще один адрес — флигель Петонди на Черноозерской улице. Но именно дом Горталова, где прошла большая часть казанской жизни будущего писателя (1841—1845), вошел в историю города как главный толстовский дом.

До 1900 г. дом принадлежал дочери Петра Ивановича Горталова Софье Петровне Казиной, потом был куплен Евгенией Евграфовной Пальчиковой, которая поселилась в нем со своими племянниками — воспитываемыми ею детьми скончавшегося врача Леонида Матвеевича Мануйлова. Один из его сыновей, Петр Леонидович Мануйлов, в 1901 г. посетил Л. Н. Толстого в Гаспре, о чем писал тетушке и сестрам: «Недавно я побывал у Льва Николаевича Толстого; он, узнав, что я казанец, спросил: “А где вы там живете?” — Я сказал, что в том же доме, где и он жил, — в доме Горталова. Он был до крайности удивлен совпадением и очень оживился. “А, — говорит, — это против острога, недалеко от монастыря... Есть там флигель?” Не знаю, который флигель он разумел, но я ответил: “есть”. “Этот флигель, — сказал он, — мы собственноручно закладывали тогда-то, в таком-то году” (он несколько распространился об этом, но я забыл)»¹².

В 1906 г. Клавдия Леонидовна Мануйлова учредила в бывшем доме Горталова 5-ю частную мужскую гимназию (до сих пор в бывшем флигеле живет один из потомков Мануйловых).

В 1918 г. в этом доме состоялось открытие 6-й Советской школы 1-й ступени имени Л. Н. Толстого. В 1922 г. Татнаркомпрос установил здесь мраморную доску с высеченной на ней позолоченной надписью: «Мы жили в доме Горталова против острога. Лев Толстой». В 1949 г. она была заменена новой: «Великий писатель Лев Николаевич Толстой жил в этом доме в 1841—1845 годах». Являясь памятником истории и культуры республиканского значения, мемориальное здание 13 июня 1961 г. было поставлено на государственную охрану¹³. Непродолжительное время дом использовался как жилой; затем до 1992 г. в нем размещалось дошкольное учреждение, закрывшееся на капитальный ремонт; здание никем не эксплуатировалось и постепенно разрушалось. А 27 сентября 2000 г. Кабинетом министров Республики Татарстан было подписано постановление о создании здесь на базе

Национального музея РТ Музея Л. Н. Толстого. Началась большая работа, включавшая в себя оформление правоустанавливающих документов на дом и землю, разработку научной концепции, создание и утверждение проектно-сметной документации, формирование фондов, проведение культурно-образовательной работы и пр. Со временем ни у казанцев, ни у гостей города не стало вызывать недоумение словосочетание «Музей Л. Н. Толстого в Казани»; этот музей, не имея своих площадей, стал работать и даже зарабатывать.

«Белые пятна» казанской жизни Льва Толстого

Многие казанские страницы жизни Л. Н. Толстого, по мнению ученых, до сих пор остаются «белыми пятнами» в биографии писателя. Об этом периоде есть немало воспоминаний и научных исследований разных поколений, но практически все эти материалы ориентированы на изучение жизни Толстого — студента Императорского Казанского университета. И это справедливо. Однако помимо университетской существовала другая сторона жизни юного Толстого. Еще не было речи о писательском поприще, не ставилась цель наблюдать и записывать. Но в душе и памяти невольно «записывались», копились впечатления жизни, окружавшей его в Казани. Поэтому необходимо, «выстроив» хронологию казанских лет и определив все основные события, выявить окружение Л. Н. Толстого. Начать исследование логично с предков Льва Толстого, живших и служивших в Казани с XVII в.

Ведущим направлением научной работы является изучение казанского периода жизни Л. Н. Толстого. Многообразные, как и сама Казань, с ее многоцветьем культур, вер и традиций, стремительной сменой эпох и событий, казанские годы Толстого — всегда источник споров и мифотворчества. Созданный еще в 1920-х гг. Н. П. Загоскиным образ ленивого и незадачливого студента, закрутившегося в чад развлечений провинциального света, оказал, к сожалению, определенное влияние на литературу о великом писателе. Сложность темы, кроме того, и в самой личности писателя, сумевшего, говоря словами М. Горького, «вобрат в себя все и вся». Одна из наиболее исследованных на сегодняшний день тем, казанские адреса Толстого, нуждается в уточнениях и документальных подтверждениях, а также, по возможности, в создании максимально полного путеводителя по толстовским местам Казани.

Таким образом, круг тем для научных исследований достаточно широк. Для полноценного освоения материалов необходима прежде всего серьезная, трудоемкая, нескорая исследовательская работа в архивах и фондах Казани, Москвы, Ясной Поляны.

Чрезвычайно важно участие сотрудников Музея Л. Н. Толстого в конференциях как по толстовской тематике, так и по вопросам экспозиционно-выставочной работы, художественного и архитектурного проектирования. Ежегодно проходящие конференции в Ясной Поляне, конгрессы в Государственном музее Л. Н. Толстого и Толстовские чтения в Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого — залог успешной работы создающегося музея, возможность выхода с обсуждением проблематики музея на широкую научную и музейную аудиторию, ту аудиторию, которая долгие годы занимается изучением жизни и творчества писателя.

Результатом научной работы в конечном счете должна стать научная документация по созданию постоянной экспозиции музея, основными темами которой являются:

1. Историческая реконструкция мемориального пространства.
2. Казанская биография Льва Толстого.
3. Казань и казанское общество 1840-х гг.
4. Казанские мотивы в творчестве Л. Н. Толстого.
5. Род Толстых в Казани.

О фондах

Формирование фондов вновь создающегося музея — задача всегда непростая. В «Концепции создания Музея Л. Н. Толстого в Казани» даны достаточно подробные сведения о местонахождении предметов, связанных с казанским периодом жизни Л. Н. Толстого, с указанием, что и в каких музеях, архивах находится. Прделанная работа позволяет не только определить круг экспонатов, но и предусмотреть изготовление копий и муляжей, замещающих соответствующие мемории, а также рассмотреть возможность показа подлинных предметов в выставочном режиме.

Состав музейного собрания традиционен и предусматривает следующие направления: подлинные предметы, копийные предметы, информационные источники (база данных по казанской теме).

Комплектование подлинных предметов различных типов и видов будет осуществляться по следующим разделам темы: круг чтения

Л. Н. Толстого (по воспоминаниям, биографическим исследованиям, произведениям писателя); издания произведений Л. Н. Толстого; казанские издания в библиотеке Л. Н. Толстого; Казань 1840-х гг.; предметно-бытовая среда жизни дворян 1-й половины XIX в.; «предметный мир» произведений Л. Н. Толстого (по произведениям с «казанскими мотивами»); толстовство как социокультурное явление конца XIX — начала XX в.; связи казанцев с Л. Н. Толстым; события биографии Л. Н. Толстого и их отражение в общественной жизни Казани; произведения Л. Н. Толстого на казанской театральной сцене; биография и творчество Л. Н. Толстого в произведениях других видов искусства; молодой Толстой (биография и творчество) в толстоведении; казанское толстоведение.

В настоящее время комплектование осуществляется в основном по двум направлениям: комплектование подлинных материалов и информационных источников. За пять лет работы коллективом музея собрано около 10 000 экспонатов.

Основными источниками комплектования фондов создающегося музея являются антикварные магазины и частные коллекции. Из предметов, закупленных в антикварных магазинах, хочется выделить коллекцию фарфоровых фигурок (произведенных на частных заводах России, большинство из них датировано серединой XIX в.); из посуды — расписанные вручную вазы, из мебели — дамский столик¹⁴. Вещи, приобретенные у частных лиц, как правило, нуждаются в реставрации, поэтому музей берет только то, что соответствует эпохе, и, по возможности, передаваемое в дар. В 2005 г. таким образом были отобраны и привезены в НМ РТ два кованых сундука, диван, шляпные коробки и другие предметы из дома известной в Казани семьи Швинков (дом находился в историческом центре города и по программе ликвидации ветхого жилья был снесен).

Источником комплектования являются и собрания, коллекции, архивы ученых, художников, специалистов, имеющих непосредственное отношение к творчеству Л. Н. Толстого. Самой серьезной и разнообразной по содержанию, а также самой многочисленной по количеству стала коллекция ученого-толстоведа, бывшего заместителя директора Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва) Константина Николаевича Ломунова, преподнесенная в дар его дочерью в 2006 г. Уникальным является архив ученого, в котором есть две подлинные фотографии Л. Н. Толстого, письма секретарей писателя Н. Н. Гусева

и В. Ф. Булгакова, автографы Сергея и Ильи Толстых (внуков писателя), а также письма, записки и телеграммы от Е. П. Пешковой, И. Л. Андроникова, К. А. Федина, А. З. Крейна и других деятелей культуры и литературы, современников К. Н. Ломунова. Вместе с архивом, впечатляющей библиотекой, личными вещами в Казани оказалась и трость — подарок К. Н. Ломунову Алексея Петровича Сергеенко, известного приверженца идей Л. Н. Толстого, долгие годы проживавшего в Ясной Поляне. По воспоминаниям К. Н. Ломунова, записанным его дочерью, эта трость из яснополянского дома Толстого¹⁵.

Не менее интересна коллекция Магдалины Константиновны Мавровской — члена Союза художников СССР (с 1968 г.), заслуженного работника культуры ТАССР (1986). Многие годы она работала в жанре портрета и пейзажа, книжной иллюстрации, используя различные техники — карандаш, тушь, акварель. Для формирования фондов Музея Л. Н. Толстого и последующего использования в экспозиции были приобретены три графические серии — «Казань», «Места Л. Н. Толстого в Казани», «Они учились в университете». Все работы посвящены истории «старой» Казани, воссозданию исторических мест города и портретов выдающихся деятелей науки и культуры, учившихся в университете и живших в нашем городе. В работах присутствует стремление к достоверности, деталям и штрихам, передающим лики ушедшего времени. Сегодня, когда город меняет свой облик, исчезают старые дома и кварталы вместе с памятными уголками, работы М. К. Мавровской имеют не только художественную, но и историческую ценность. Данные работы Мавровской закуплены в сентябре 2008 г. в рамках целевой комплексной программы сохранения культурного наследия Республики Татарстан «Мирас-Наследие» и использованы на выставке ««Изюмные времена»: Лев Толстой в Казани». Кроме того, родственниками художницы в дар музею переданы личные вещи М. К. Мавровской, эскизы и варианты ее работ.

Другим источником комплектования фондов стала сама территория музея. Идея проведения археологических раскопок в бывшей дворянской усадьбе Горталова возникла не случайно. При ограждении ее территории по периметру строители извлекли из ямы мраморное пасхальное яйцо начала XIX в. Желание обнаружить в земле еще что-то было так сильно, что летом 2006 г. под руководством доктора исторических наук зав. отделом археологии и этнографии Национального

музея РТ К. А. Руденко силами студентов филфака КГУ в историческом центре столицы были проведены археологические раскопки. Это событие, соединившее в себе любопытство, авантюризм и научный интерес, стало настоящей сенсацией и широко освещалось в СМИ. В ходе раскопок был выявлен фундамент одного из ранних флигелей усадьбы, извлечено из-под земли более 400 фрагментов столовой посуды, отопительных сооружений, около 100 металлических предметов (гвозди, подковы, топоры, элементы наковальни и пр.), датированных XVII—XIX вв. Были найдены и настоящие раритеты — монеты 1837 и 1854 гг. и кресало эпохи неолита¹⁶.

Приобретение экспонатов идет как за счет сметы Национального музея РТ, так и за счет других источников. В конце декабря 2006 г. администрацией г. Казани было предоставлено на формирование фондов Музея Л. Н. Толстого 100 000 рублей, на которые в антикварном магазине ООО «Саадат» закуплен дамский столик (сер. XIX в.). По целевой комплексной программе сохранения культурного наследия РТ «Мирас-Наследие» для формирования фондов Музея Л. Н. Толстого в 2008 г. закуплены серии работ М. К. Мавровской, 90-томное Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (из библиотеки К. Н. Ломунова, с пометами ученого), предметы XIX в.

Все предметы Музея Л. Н. Толстого находятся в Национальном музее Республики Татарстан в соответствующих фондах. Поступления заносятся в КАМИС с комментариями: «Для формирования фондов Музея Л. Н. Толстого». За период с 2005 по 2008 г. составлено 1670 карточек научного описания.

Невиртуальные задачи виртуального музея

Ведущие формы работы музея на сегодняшний день — экскурсионное и лекционное обслуживание. В 2003 г. была создана передвижная выставка «Чтобы жить честно... (Лев Толстой и Толстые в Казани)». Пять двухсторонних планшетов повествовали об архитектурном и культурно-историческом облике Казани 40-х гг. XIX в., о дворянском обществе губернского города, о казанском окружении Толстого, о годах его учебы в университете. На выставке были представлены копии портретов, рисунков, фотографий, документов из фондов Национального архива и Национального музея Республики Татарстан, Отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки

им. Н. И. Лобачевского и Музея истории КГУ, а также Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва). Выставка работала в школах города и республики до 2006 г. Затем на ее основе была разработана электронная версия, которая стала иллюстративной частью лекции.

Лекция «Лев Толстой и Толстые в Казани», одобренная методическим отделом НМ РТ, рассчитана на школьников 7–11-х классов. В течение 2007 г. прочитано 44 лекции, общее количество слушателей составило 1334 человека, заработано 30 890 рублей. В 2008 г. прочитано 44 лекции, проведено 14 экскурсий и 10 мероприятий, обслужено 2128 человек, заработано 33 095 рублей.

В перспективе — разработка проекта «Жизнь городской дворянской усадьбы XIX в.», для осуществления которого предполагается музеефикация усадебного комплекса с размещением в нем стационарной экспозиции, выставочных и информационных залов. Однако это не всё. Мы хотим предложить желающим возможность «вживания» в эпоху XIX в. путем «поселения» на территории усадьбы с обеспечением проживания, питания, с культурной программой (в том числе экскурсиями по толстовским местам Казани), основанной на исторических, архивных сведениях с использованием художественного и эпистолярного наследия Л. Н. Толстого. Для полного «вживания» в эпоху участникам проекта будут предложены костюмы XIX в., которые можно подобрать в ателье, размещенном в детском развивающем центре (одно из направлений центра — ремесленное (швейное) — ориентировано на историческую реконструкцию одежды, предметов эпохи). Возможность переодеться в одежды XIX в. для участия в балах и вечерах является необходимым условием данного проекта. Жизнь в усадьбе имела определенный режим, ритм и содержание: проведение балов, приемов, постановки пьес, домашнее чтение вслух, детские и взрослые игры, рукоделие, выезды на природу, вечерние прогулки, праздники и пр. Каждый день участники проекта смогут на себе почувствовать разнообразие усадебной жизни.

Увеличить туристические потоки можно (используя опыт самарских коллег) путем создания маршрута по толстовским местам не только Казани, но и республики, включив сюда село Паново (бывшее имение В. И. Юшкова) Лаишевского района, где Толстые проживали летом. И усадьбу Молоствовых в Тетюшах (сюда Толстой не приезжал, но эта усадьба принадлежала родственникам Зинаиды Молостовой, в которую он был влюблен).

Основой деятельности детского развивающего центра является музейная педагогика. Программа и тематика мероприятий должна быть рассчитана на разные возрастные группы. Например, для учащихся младших классов — «Детские игры в семье Л. Н. Толстого»; для средней школы — «Праздники в семье Л. Н. Толстого»; для старшеклассников — «Дневники молодого Толстого», «Мой первый бал»; для студентов — «Ритуалы студенческой жизни первой половины XIX века».

От юбилея к юбилею...

9 сентября 2008 г. во многих городах России отмечалась дата, которая, к сожалению, не нашла широкого освещения в центральных средствах массовой информации, за исключением телеканала «Культура», — 180 лет со дня рождения великого Толстого.

В Казани уже в марте состоялось два крупных мероприятия: открытие выставки «Толстой на казанской сцене» в Музее истории университета (НМ РТ предоставил пять эскизов декораций к постановке пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп») и городская литературно-музыкальная игра для школьников «Русской земли человек замечательный...» под патронажем Института развивающего обучения.

Несмотря на то что постановление по празднованию 180-летия со дня рождения писателя, разрабатываемое совместно Национальным музеем и Министерством культуры РТ, так и не было утверждено, все основные мероприятия были проведены при активном участии и финансировании со стороны МК РТ: создание выставки «Июньные времена»: Лев Толстой в Казани», издание к ней буклетов и афиш, издание книги Е. Г. Бушканца «Лев Толстой в Казани», а также приобретение экспонатов и начало ремонтно-восстановительных работ.

Национальный музей Республики Татарстан готовился к юбилейной дате основательно. 16 августа Государственный музей А. С. Пушкина в Москве собрал в своих стенах более 100 потомков Льва Николаевича Толстого, проживающих как в России, так и за ее пределами, на торжественное открытие выставки «История рода Толстых — история России». В крупном межмузейном выставочном проекте наряду с музеем-усадьбой «Ясная Поляна» и Государственным музеем Л. Н. Толстого, Эрмитажем и Третьяковской галереей, Государственным историческим музеем и Пушкинским Домом свои коллекции — 17 предметов — предоставил НМ РТ.

Первая группа экспонатов, предоставленных на выставку из НМ РТ, — это столбцы из семейного архива крупнейших помещиков Казанской губернии Толстых, поступившие в музей в 1933 г. Всего в НМ РТ хранится 208 единиц, представляющих собой длинные свитки — столбцы XVII в., написанные скорописью, в большинстве случаев чернилами коричневого цвета. Это документы, раскрывающие административно-хозяйственную сторону жизни казанских имений Толстых. Мы представили семь из них; самый ранний документ датирован 1629—1630 гг. и называется «Полюбовное соглашение помещиков Н. Б. Сабурова с В. И. Толстым о кабальном человеке». Самый длинный столбец — 117 сантиметров — содержит сведения о сыне Василия Ивановича: «Выпись из приказа холопья суда А. В. Толстому на старинного холопа» (24 февраля 1649 г.). Одним из самых интересных столбцов, пожалуй, является челобитная Андрея Васильевича Толстого, который просит расписать между его тремя сыновьями Михаилом, Иваном и Петром «старинных и полонных людишек своих и дать на тех людей крепости». Иван Андреевич — прапрапрадед поэта Тютчева, а его родной брат Петр — прапрапрадед Льва Толстого.

На выставку представлен портрет Павла Львовича Толстого (1784—1868), родного дяди Ф. И. Тютчева. Он родился в Москве в семье Льва Васильевича Толстого и его жены Екатерины Михайловны, рожденной Римской-Корсаковой. Окончил Пажеский корпус, участвовал в заграничных походах русской армии 1813—1814 гг., кавалер орденов Св. Анны 2-й степени и Св. Владимира 4-й степени. В 1816 г., выйдя в отставку, большую часть времени проводил в казанских имениях (Мурзиха и Новоспасское) или в Казани, где у него был каменный двухэтажный дом. Женат он был на Марии Петровне Бутурлиной (1817—1839) (ее брат Михаил Петрович Бутурлин был нижегородским губернатором, встречался с А. С. Пушкиным во время его приезда в Нижний Новгород в 1833 г.).

Замечательным дополнением служит план Мурзихинско-Шалбинской дачи (Казанской губернии Лаишевского уезда при селе Мурзиха, 1905 г.), где наглядно представлены уголья, строения и земли, которыми на протяжении нескольких столетий владели Толстые.

Другая группа экспонатов — литографии В. С. Турина, на которых изображена Казань 1834 г., та Казань, которую видел Лев Николаевич Толстой: «Вид Казанской крепости», «Казанский Гостиный

двор», «Императорский Казанский университет», «Монастырь Казанской Божьей Матери» и др.

Кроме того, на выставку представлены экспонаты из коллекции Боратынских: портрет Л. Н. Толстого, выполненный внучкой поэта — Ксенией Николаевной Боратынской при встрече с Толстым в 1907 г., и рукопись ее воспоминаний о поездке в Ясную Поляну.

В Казани основные события, связанные с днем рождения Льва Николаевича Толстого, начались утром 9 сентября в сквере Толстого у памятника великому писателю и мыслителю. Митинг собрал преподавателей и учащихся высших и средних учебных заведений, ученых, писателей, актеров, краеведов, музейщиков — тех, кто на протяжении последних лет принимал самое живое участие в создании Музея Л. Н. Толстого. Затем в НМ РТ состоялась презентация выставки «Измюнные времена»: Лев Толстой в Казани». В названии выставки использовано толстовское определение отроческих лет. Описывая комнату Володи («Четыре эпохи развития»), автор обращал внимание на так называемую «измюнную чернильницу» с подсвечником посередине. И далее пояснял: *«Один раз, расспрашивая Володю об одном молодом человеке, юнкере, нашем родственнике, я сказал ему, не удовлетворяясь его ответами: “Да ты дай мне о нем понятие. Что, он глуп был?” — “Нет, он еще молоденький мальчик был, не глуп, не умен — так себе; но знаешь, в таком возрасте, в котором всегда бывают смешны молодые люди. У него была губительная слабость, от которой, я всегда уверял его, он расстроит и желудок и обстоятельства, — это изюм покупать”. — “Как изюм?” — спросил я. “Ну, да как изюм? Как есть деньги, уж он не может выдержать, посылает в лавочку покупать изюм, не изюм, так пряники, а не пряники, так саблю или терку какую-нибудь купит”. С тех пор изюмом называется у нас всякая такого рода покупка, которая покупается не потому, что ее нужно купить, а так. Володя признавался, что чернильница эта была куплена в измюнные времена, да и вид она имела измюнный»* (1 (1), 327).

Каким будет создаваемый музей, что посетитель увидит в экспозиционных залах? — на эти вопросы поможет ответить выставка «Измюнные времена»: Лев Толстой в Казани», цель которой — показать наиболее значимые экспонаты толстовской коллекции в НМ РТ, те, из которых складывался предметно-бытовой мир юного Толстого.

На выставке были представлены исторические коллекции Национального музея и новые поступления, связанные с толстовской тематикой. Первый экспозиционный комплекс выставки, «Толстые в Казани (из фондов НМ РТ)», раскрывает связь представителей этого знаменитого русского рода с Казанским краем. Раскрашенные офорты В. С. Турина с видами Казани 1820—1830 гг. прекрасно иллюстрируют казанскую жизнь молодого Толстого, а один из самых важных периодов — учеба в Императорском Казанском университете — представлен целым рядом экспонатов: портретом ректора Н. И. Лобачевского, планом университетской застройки, утвердительной грамотой, студенческой шпагой, несколькими томами ученых записок. Все это постепенно подводит посетителей выставки к пониманию, что тема «Толстые в Казани» достаточно широка и фонды НМ РТ являются основой для создания Музея Л. Н. Толстого.

Тема «История создания Музея Л. Н. Толстого в Казани: 2000—2008» дана во временном разрезе: прошлое, настоящее и будущее дома, где жил Лев Толстой. Изображения дома Горталова в разные годы дают наглядное представление о его состоянии: самый ранний рисунок Л. Гусакова — «прошлое»; фото аварийного здания, сделанное в начале лета 2008 г., — «настоящее»; эскизный проект реставрации — «будущее». В этом разделе выставки осуществлена идея показать историю становления Музея Л. Н. Толстого в Казани в документах, лицах, фотографиях, событиях и уникальных находках.

Центральный раздел выставки — «Изымный центр» — составляют тщательно отобранные (в соответствии с толстовскими текстами) экспонаты, создающие предметно-бытовой мир Толстого в пору его взросления. Музей Л. Н. Толстого в Казани также переживает свои «изыменные времена» — период становления, создания научной базы, формирования коллекций. В витринах и на подиумах представлены предметы — символы дворянской культуры XIX в., раритетные издания произведений Л. Н. Толстого, его подлинные фотографии, трость из Ясной Поляны — подарок писателя П. Сергеевко. Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского КГУ любезно предоставил прижизненные издания произведений Л. Н. Толстого с цензорскими отметками. Здесь же — предметы, найденные в ходе археологических раскопок на территории усадьбы: фрагменты столовой посуды и керамики XVII—XIX вв., костяной скребок эпохи неолита, серебряный рубль 1854 г. и монета 1937 г., гвозди, подковы, топор, утюг.

Четвертый экспозиционный комплекс — «Коллекция К. Н. Ломунова» — представляет предметы из рабочего кабинета ученого: книги из его библиотеки, документы, личные вещи, фотографии, награды.

Рассказ о казанской жизни Толстых, о доме Горталова дается на фоне воссозданного интерьера одной из парадных комнат дворянского особняка, комнаты П. И. Юшковой, в комплексе под названием «“Мы жили в доме Горталова...” (комната хозяйки)».

Надо заметить, что казанские СМИ к толстовским мероприятиям отнеслись с большой заинтересованностью. В течение года на разных каналах и в разных изданиях эта тема поднималась более 20 раз. Не осталось без внимания журналистов торжественное собрание в университете, посвященное 180-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.

25 октября при участии директора Государственного мемориального и природного музея-заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”» В. И. Толстого состоялось открытие мемориальной доски на фасаде главного здания университета. На Музей Л. Н. Толстого была возложена задача познакомить участников торжественного собрания с самой актуальной для данной аудитории темой: «Лев Толстой и Императорский Казанский университет».

СМИ как летописец создания Музея Л. Н. Толстого

Понятно, что музей создается не только его штатом в шесть человек, трое из которых сторожа, а большим количеством соперяживающих, сочувствующих, равнодушных людей — музейных работников, ученых, преподавателей вузов и школ, сотрудников ведомств и министерств. И в этом ряду особое место занимают представители средств массовой информации. Именно с их помощью мы имеем возможность достаточно полно и широко информировать, на каком этапе находятся дела по созданию музея, с какими проблемами в очередной раз сталкиваемся и что планируем в ближайшее время осуществить. Публикации в газетах, телевизионные сюжеты, радиоэфир, в результате которых формируется общественное мнение и привлекается внимание к музею, по праву можно назвать летописью создания Музея Л. Н. Толстого в Казани.

Сотрудничество с ведущими казанскими изданиями складывалось непросто. Был период искреннего недоверия к возможности реализации наших замыслов по созданию музея, когда кричащие замет-

ки обвиняли всех без разбору, когда путались факты, смешивались слухи и действительность. Но мы вместе преодолевали трудности, в результате появились постоянные авторы, расширился круг освещаемых проблем, пропали фактические неточности, появился живой неподдельный интерес и готовность помочь в разрешении тех или иных проблем.

Первые публикации по толстовской тематике были связаны с заброшенной могилой деда писателя, казанского губернатора Ильи Андреевича Толстого, в некрополе Введенского Кизического монастыря. В год 175-летия со дня рождения писателя внимание прессы было приковано уже к проблемам создаваемого в Казани музея. Не было издания, которое хотя бы раз не упомянуло, что в городе решено создать музей Толстого. «Три сторожа на руинах» («Вечерняя Казань», 23 мая): «...идея создания музея Толстого в Казани — пока еще утопия». Те же сомнения в «Комсомольской правде. Татарстанский выпуск» за 20 июля: «В Казани хотят открыть музей Толстого. А потянут?..», в «Восточном экспрессе» (12–18 сентября): «Графские развалины. Состоится ли бал в усадьбе Толстого?» Открытие передвижной выставки «Чтобы жить честно... (Лев Толстой и Толстые в Казани)» в день рождения писателя, 9 сентября, наглядно продемонстрировало основные тематические линии будущей экспозиции, а «круглый стол» с участием представителей городской администрации и Министерства культуры РТ показал, что у идеи создания музея есть вполне реальное будущее («Казанские истории», «Республика Татарстан», портал «Музеи Татарстана»: <http://tatar.museum.ru>).

Весь 2004 г. музей боролся за выживание. Трижды был «продан». Свои собственные расследования проводили журналисты «Московского комсомольца» в Татарстане («Разведка боем в центре Казани. Лев Толстой как зеркало казанского земельного передела», 21–28 июля, «О бедном музее замолвите слово», 8–15 сентября) и «Вечерней Казани» («Юрист-мошенник продал дом Льва Толстого», 17 августа, «В деле о продаже усадьбы-музея Льва Толстого немало темных пятен. На репутации должностных лиц», 10 сентября). Не осталась в стороне и ведомственная газета «Милиция. Законность. Правопорядок», разъяснив ход расследования в статье «Продавцы дождя» (20 августа). Неизвестно, как бы без вмешательства журналистов нам удалось разрешить эту чрезвычайную ситуацию, — была весьма реальная угроза уничтожения мемориального дома.

Год спустя, когда Казань отмечала свое тысячелетие, в рамках международной научно-практической конференции «Современный музей как важный ресурс развития города и региона», проведенной Национальным музеем Республики Татарстан 12–17 сентября, прошел круглый стол «Проблемы создания Музея Л. Н. Толстого в Казани: сотрудничество с толстовскими музеями России» с участием сотрудников Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва), музея-усадьба «Ясная Поляна», Государственного мемориального историко-художественного музея-заповедника В. Д. Поленова, ученых, учителей, преподавателей университета, краеведов, представителей Министерства культуры, общественности, журналистов, музейных работников. Итогом работы круглого стола стало подписанное более чем 300 участниками конференции открытого письма президенту Республики Татарстан.

Не обходят вниманием проблемы создания Музея Л. Н. Толстого в Казани и столичные СМИ: телеканал «Культура» и газета «Культура», «Российская газета», «Независимая газета», «Аргументы и факты», ИТАР-ТАСС, «Труд».

Бывали и казусы. Так, в газете «Республика Татарстан» от 28 июня 2003 г. можно было прочесть материал о «долгожданном событии в Казани» — «недавнем открытии Музея Толстого в Казани», а газета «Казанские ведомости» 14 сентября 2005 г. разместила статью под заголовком «Толстой из Ясной Поляны приехал в Казань», хотя В. И. Толстого, планировавшего свой приезд в Казань, среди гостей конференции не было.

Результаты же сотрудничества с прессой налицо — во многом благодаря такому вниманию начались долгожданные восстановительные работы мемориального толстовского дома, отведенного под музей.

Что нам стоит дом построить...

Главным событием 2008 г. стало начало ремонтно-реставрационных и восстановительных работ. 28 июля на территорию музея вошла техника, строители. Хочется верить, что число «28», которое Л. Н. Толстой считал счастливым, станет счастливым и для музея писателя в Казани, и восьмилетние ожидания не окажутся напрасными...

На первом этапе восстановительных работ предполагается укрепить фундаменты, стены, восстановить кровлю и несущие конструкции

покрытий, восстановить перекрытия и лестничные клетки, отреставрировать фасады.

Вопрос о финансировании второго этапа работ по восстановлению мемориального здания пока не решен. В связи с экономическим кризисом программа «Мирас-Наследие», по которой идет финансирование работ, временно заморожена.

Кроме того, изучение архивных документов, мемуаров, воспоминаний современников Л. Н. Толстого, натурные исследования позволяют поставить вопрос не только о восстановлении мемориального дома, где жил Толстой, но и всех надворных построек, обеспечивавших жизнедеятельность усадьбы на тот период. При этом предполагается использовать и автобиографические произведения самого писателя, позволяющие воссоздать казанский период жизни семьи Толстых, в том числе и предметно-бытовой мир казанской дворянской усадебной культуры первой половины XIX в. То есть речь уже идет об исторической реконструкции, воссоздании окружающего ландшафта.

В настоящее время идет подготовка материалов, справок, обоснований для разработки проектно-сметной документации по всему усадебному комплексу.

Музеефикация восстановленной усадьбы (главный дом и пять надворных построек) как единого мемориального комплекса обусловлена как тематикой, так и территориальной целостностью. Музей Л. Н. Толстого в Казани может стать туристическим центром, если в его структуре предусмотреть постоянно действующую экспозицию «Лев Толстой и Толстые в Казани», выставочные и лекционные залы, классы для работы кружков (ремесленные, рукодельные и др.), информационный центр (с интернет-кафе и библиотекой), фондохранилище с открытыми фондами, кафе, антикварную лавку.

Постоянная экспозиция разместится в мемориальном здании — двухэтажном каменном доме с мезонином. Экспозиция будет строиться по принципу трактовки казанской биографии Л. Н. Толстого через его творчество, в результате чего будет прослеживаться духовное, нравственное развитие «героя», которое позволяет говорить о РОЖДЕНИИ ГЕНИЯ. Материалы первого этажа раскроют выявленные уже и достаточно хорошо известные казанские мотивы в творчестве Л. Н. Толстого. Наглядность, зрелищность, неожиданные ходы и яркое художественное решение должны создать некий образ «изюмных времен»: сложного, противоречивого периода метаний и исканий.

На контрасте может быть выстроена главная «казанская» тема: бал (свет, любовь, развлечения, ожидания и пр.) — после бала (падения, прозрения, разочарования и пр.); для этого можно использовать и экспозиционные площади: комнаты, обращенные в сад (западный фасад), — тема «бала»; комнаты, обращенные на тюремный замок (восточный фасад), — тема «после бала». Казанские страницы биографии молодого Толстого, послужившие основой для его произведений, будут представлены на втором этаже. Через восстановленные (условные) интерьеры горталовского дома, где в 1841—1845 гг. проживал со своими родными Лев Толстой, дается картина его жизни: лица, события и пр. По мере изучения биографии писателя данного периода в экспозиции могут появляться новые материалы. Наконец, в верхней части дома, в мезонине, настраивающем на уединенные размышления, экспозиция расскажет о зарождающихся идеях самосовершенствования Л. Н. Толстого.

Единственный сохранившийся флигель — двухэтажное каменное здание — планируется использовать как административное помещение (вопрос передачи его музею в настоящее время рассматривается в администрации г. Казани). Кроме сохранившегося были еще два одноэтажных флигеля. Когда они будут воссозданы, в них разместятся кафе и антикварный магазин. По правой границе усадьбы за одноэтажным флигелем размещалось двухэтажное, достаточно узкое, судя по раскопанному фундаменту, каменное здание; после его восстановления он может быть использован как выставочный зал. Вплотную к этому зданию был построен двухэтажный каменный флигель, фундамент которого помогал закладывать Л. Н. Толстой. Здесь разумно разместить детский развивающий центр с библиотекой, информационными классами, кабинетами для занятий музыкой, танцами, ремеслами, театральным искусством, зрительным залом со сценой.

P. S.

Анализ современного состояния и возможностей музея показал, что он, несмотря на свою нынешнюю виртуальность, имеет достаточно высокий потенциал во всех основных областях музейной деятельности. Научная основа, заложенная еще в начале XX и имеющая свое продолжение, позволяет и в дальнейшем развивать, углублять и популяризировать тему «Лев Толстой и Толстые в Казани». Формирование коллекций идет параллельно с их научным изучением, описанием.

Успех работы во многом зависит от позиции сотрудников небольшого коллектива музея, от отношения к делу. И здесь очень важны профессионализм, неравнодушие, пониманием тех трудностей, которые приходится преодолевать, желание двигаться вперед.

Полная реализация идей и замыслов музея возможна только при условии стабильного финансирования реставрационно-восстановительных работ в усадьбе и создания полноценного музейного комплекса. Для этого необходима разработка художественного проекта не только стационарной экспозиции в мемориальном доме, но и приспособления под музейный комплекс всей территории усадьбы с восстановлением построек. Активное формирование фондов также является насущной задачей, потому что предметы быта 1-й половины XIX «уходят» из города вместе с исчезновением исторической части Казани.

Создание в Казани Музея Л. Н. Толстого не только расширит музейную сеть города и республики, увеличив туристические маршруты, но и выведет на качественно иной уровень восприятие казанского периода жизни Льва Толстого. Плодотворное сотрудничество с толстовскими музеями России позволит еще ярче подчеркнуть значимость и особенность казанских страниц биографии молодого Толстого, периода зарождения его гения.

¹ 21 марта 1820 г. он скончался и был похоронен на кладбище Казанского мужского Кизического-Введенского монастыря.

² Толстая С. А. Материалы к биографии Л. Н. Толстого и сведения о семействе Толстых и преимущественно гр. Льва Николаевича Толстого // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 34.

³ Там же. С. 33.

⁴ См.: Вилькен А. Казанская жизнь Толстого // Великой памяти Л. Н. Толстого. Казанский университет, 1828–1928. Казань, 1928. С. 63–89.

⁵ Назарьев В. Н. Из очерков «Жизнь и люди былого времени» // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 44–52.

⁶ Носков Н. Д. Кто такой Лев Толстой: Юные годы писателя, его жизнь, его творчество, его заслуги: Биографический рассказ для юношества. СПб.; М., 1908. С. 14.

⁷ Островский А. Г. Молодой Толстой в записях современников. Л., 1929. С. 98–99.

⁸ См.: Загоскин Н. П. Граф Л. Н. Толстой и его студенческие годы // Исторический вестник. 1894. № 1.

⁹ Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. М.; Пг., 1923. Т. 1. С. 51.

¹⁰ Калинина Н. А. Материалы казанского периода жизни в отделе рукописей ГМТ // Молодой Толстой: Материалы Всероссийской научной конференции. Казань, 2002. С. 97.

¹¹ Там же. С. 96–97.

¹² Вилькен А. Казанская жизнь Толстого. С.83–84.

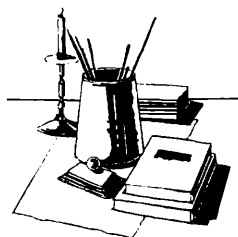
¹³ См.: Постановление Совета министров ТАССР № 21.

¹⁴ Двадцать девять предметов представлены на выставке «“Изюмные времена”: Лев Толстой в Казани».

¹⁵ 236 предметов представлены на выставке «“Изюмные времена”: Лев Толстой в Казани».

¹⁶ 52 предмета представлены на выставке «“Изюмные времена”: Лев Толстой в Казани».

ПРОШЛОЕ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ



С. В. Гайдамак

ЯСНОПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В день, когда было объявлено о вероломном нападении гитлеровской Германии на нашу Родину, в яснополянской школе готовилось самое мирное мероприятие — открытие оздоровительного лагеря для детей рабочих и горняков Щекинского района. Но не суждено было детям отдыхать тем летом в стенах Яснополянской школы — началась война.

В первые же дни войны на фронт ушли семнадцать из тридцати четырех выпускников Ясно-полянской школы. Все они были комсомольцами. Шестеро из них домой не вернулись. Среди первых, кто надел военные шинели, были Александр Алимов, Сергей Воронцов, Василий Суданов, Николай Зверев. Всего же на фронт ушло более ста яснополянцев. Более семидесяти — погибли смертью храбрых, пятьдесят пять из них были выпускниками Яснополянской школы. Так, Константин Орехов сгорел в танке при освобождении Украины (посмертно награжден орденом Красной Звезды); южнее Берлина 7 мая 1945 г. оборвалась жизнь летчика Алексея Фоканова. Не вернулись с войны Сергей, Иван и Александр Жидковы. Погибла от осколков бомбы их мать. В опустевший дом вернулся после войны инвалид войны, кавалер ордена Славы Николай Ильич Жидков.

Ушел на фронт директор Яснополянской школы Иван Михайлович Телегин, ушли и многие учителя: В. М. Михеев, В. М. Ширенков, П. О. Карелин, Д. Ф. Лазуткин, В. В. Вербицкий, Н. А. Сериков, П. Ф. Брусов, Г. Б. Грузинский, И. А. Светлов. Судьба была к ним милостива — все они вернулись с фронта. Выпускники школы воевали на разных фронтах, они участвовали в битвах за Москву, Сталинград и Курск, сражались за Ленинград и Смоленск, воевали в Белоруссии, на Украине, в Прибалтике, освобождали страны Восточной Европы, участвовали в битве за Берлин.

Но вернемся к событиям 1941 года. Война приближалась к Ясной Поляне как девятый вал, и все жители чувствовали это. В школе теперь размещался госпиталь № 2977. На двух этажах школы располагалось 1500 раненых бойцов Брянского фронта. Раненые были и в Яснополянской больнице, и в доме отдыха.

В школьном краеведческом музее хранятся воспоминания Софьи Ильиничны Толстой, правнучки Л. Н. Толстого: «Какое неизгладимое впечатление произвела на меня школа в то время! Казалось, еще вчера звенел в ней звонок, шумели дети, звучала музыка. И вдруг в школу пришло горе... Из классов слышались стоны раненых, а в нашем 9-Б люди страдали от боли...»

Школьники помогали врачам и медицинским сестрам ухаживать за ранеными. На пришкольном участке под руководством учителя-агронома Поликарпа Осиповича Карелина учащиеся вырастили богатый урожай ягод, овощей, фруктов. Все выращенное, даже арбузы и дыни, дети приносили раненым. Ребята устраивали для раненых бойцов маленькие концерты, читали вслух книги, подавали раненым воду. Очень часто приходили в госпиталь и сотрудники музея, они проводили беседы о Толстом, читали лекции, организовали библиотеку-передвижку, устраивали в госпитале выставки, проводили для раненых экскурсии по музею-усадьбе.

С 1 сентября 1941 г. занятия были перенесены во вновь построенное здание детского сада, кое-как приспособленное для учебной работы (сейчас в этом здании находится Яснополянский детский дом). Занятия проходили в две смены. Постоянные бомбежки приводили к отключению света, поэтому очень часто вечером занятия проходили при свече. После уроков школьники и учителя помогали сотрудникам музея упаковывать музейные экспонаты и грузить их в вагоны. 9 октября 1941 г. экспонаты вывезли в Томск — на восток отправилось сто десять ящиков с яснополянскими коллекциями; эвакуировались и шесть сотрудников музея с семьями. Эвакуацию организовала внучка Л. Н. Толстого С. А. Толстая-Есенина, которая в 1941 г. стала директором объединенных толстовских музеев.

Фронт приближался. Немцы продвигались очень быстро, так что командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Федор фон Бок записал: «Наступление проходит с такой легкостью, что невольно задаешься вопросом, уж не сбежал ли противник»¹.

Генерал-фельдмаршал лукавил. Немцы несли большие потери, так как сопротивление Красной армии нарастало.

15 октября из школы эвакуировали госпиталь, школьные занятия прекратились. В Яснополянской школе разместился 16-й особый стрелительный батальон, перед которым была поставлена задача: сделать завалы и заминировать дорогу, идущую в Тулу. В доме Волконского разместился штаб 290-й дивизии, которую возглавлял полковник Н. В. Рякин. 885-й полк этой дивизии должен был защищать Ясную Поляну, и он готовился к встрече с врагом, бойцы рыли окопы за школой. В районе современной остановки «Школьная» расположилась 2-я батарея 702-го артиллерийского противотанкового полка, которой командовал молодой лейтенант Сергей Родионов. Из его воспоминаний: «28 октября — район Ясной Поляны. Здесь фашисты предприняли на нашем участке провокацию. Они бросили десант автоматчиков, переодетых в красноармейскую одежду, на шести танках Т-34. Вероятно, рассчитывали так ворваться в Тулу. Но провокация не удалась. Когда танки поравнялись с нашей третьей батареей, которой командовал старший лейтенант Алексеев, и обстреляли ее, наши вторая и третья батареи открыли по ним ответный огонь. Четыре танка были подожжены, два удрали обратно»². 29 октября 1941 г. в 9-м часу со стороны г. Щекино показалась длинная танковая колонна (более 100 танков), на броне танков — автоматчики, а «на хвосте» танковой колонны в огромных грузовиках — элитное соединение вермахта полк «Великая Германия». Из боевого отчета начальника 570-го отдельного саперного батальона В. К. Камянского: «С танков были высажены автоматчики и, поддержанные огнем танков и авиации, повели наступление на Ясную Поляну. Несколько танков остановились на шоссе, против школы, и открыли орудийный огонь. Первыми же выстрелами со школы снесло часть крыши, пробило стену. Командир батальона со своим обычным спокойствием начал выводить людей из школы и под жестким огнем переправлять их через дорогу в имение Л. Н. Толстого»³. Немцы до тех пор не прекращали лобовые атаки, пока не прорвали оборону частей 290-й дивизии. В 3 часа дня по шоссе мимо Ясной Поляны на Тулу уже двигались немецкие танки.

Во время сорокапятидневной оккупации Ясной Поляны школа не работала. О черных днях Яснополянской школы мы узнаем из актов комиссии Академии наук СССР⁴, которая 26—27 декабря 1941 г. обследовала Ясную Поляну, осмотрев пострадавшие здания

и мемориальные объекты, опросив граждан, переживших фашистскую оккупацию. Комиссия установила:

«12. В школе помещался штаб одной из фашистских дивизий СС “Великая Германия”. При штабе находились два русских белогвардейца: князь Василий Святополк-Мирский и Александр Демидов из Крыма. Оба играли крупные роли при штабе, были фактическими руководителями-администраторами по Ясной Поляне.

13. Фашистские бандиты во время их пребывания всячески глумились над местным населением: отбирали все запасы продовольствия... отнимали все теплые вещи, носильное белье, обувь, особенно валенки, причем отнимали даже на улице, несмотря на стоявшие морозы, снимали с головы проходящих меховые шапки. Возражавших избивали.

15. Всех школьных работников выгнали из школьных помещений, их приютили в деревне колхозники; бандитами расхищено все их оставшееся имущество. Сейчас школьные работники без крова, так как школа со всеми постройками сожжена.

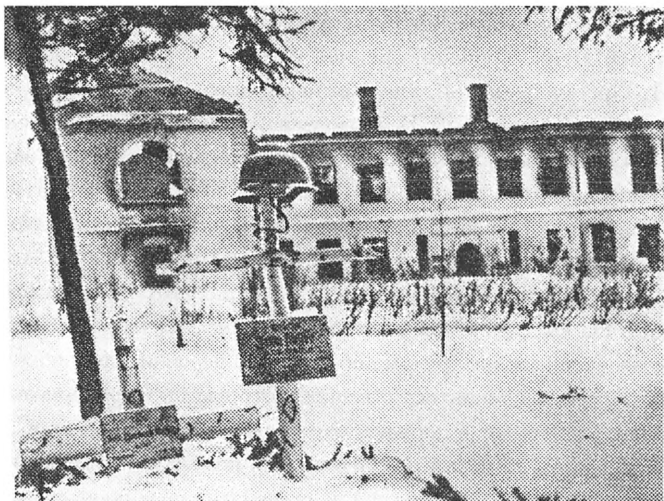
16. Уничтожена вся школьная библиотека в 18 000 томов, все учебное оборудование (микроскопы, наглядные пособия и пр.). Библиотека в большей своей части сожжена в печах, на разложенных вокруг школы кострах, частью расхищена.

17. Фашистские офицеры и врачи, бывшие в Ясной Поляне, по рассказам школьных и музейных работников, обнаружили полное свое невежество. Имена наших великих писателей Пушкина, Толстого, композиторов и художников — Глинки, Чайковского, Репина, Ге — большинство из них слышали в первый раз. Так, например, про Пушкина они спрашивали: “Что, он коммунист? Еврей?” Про Толстого: “Кто он был, поэт? Коммунист?” После разъяснений, кто были Пушкин и Лев Толстой, они заявили, что таких они не знают и про них не слышали. При виде маленького 11-месячного ребенка один из офицеров сказал: “Ну, этот по-русски говорить уже не будет. Скоро все говорить будут только по-немецки, а русские слова будут помнить лишь оставшиеся старики”. Во время обеда школьных работников немцы являлись, съедали все, раздевались донага, при всех вытрясали вшей и вели себя вызывающе и нагло (рассказ преподавательницы музыки Соловьевой)»⁵. Учителя голодали. «Сидели на мерзлой картошке. Но в хлебе Демидов, ведавший и этим, конечно, отказал. К мучениям нравственным, каждодневным оскорблениям прибавились мучения физические. Жители Ясной Поляны помогали, чем могли, своим учителям, хотя сами

существовали впроголодь. Кстати, они всей деревней укрыли и вывели несколько раненых бойцов, не сумевших уйти со своей частью»⁶. До нас дошли стенограммы послеоккупационных выступлений преподавателей Яснополянской средней школы — учителя математики Э. М. Преображенской, учителя немецкого языка С. А. Грацианской, учителя музыки Е. В. Соловьевой, учителя химии и биологии М. И. Нестеровой. Все они были возмущены действиями оккупантов. Так, Соловьева рассказывала: «Однажды к нам в комнату вошел штурмовик и потребовал освободить ее. В этой комнате находилась моя больная мать, которая не могла двигаться. Когда я об этом сказала, он не обратил на это внимание и еще раз потребовал освободить комнату. На выселение нам дали час времени. Мы забрали с собой все самое необходимое и с трудом добрались до деревни, где и поселились. Когда я стала беспокоиться о вещах, которые были разбросаны, мне ответили: “Все будет в порядке, это полк “Великая Германия”. Когда через несколько дней я вернулась в свою комнату, то вместо портретов композиторов увидела у себя на стене сплошные порнографические картинки. Шкаф мой был вскрыт, все было разрыто»⁷. Учительница Нестерова вспоминала: «Они грабили все, они воровали... они тащили все, что попадалось под руки... Только посмотреть на них, на эту армию: все они вшивые, белье на них вшивое. Немцы все завшивели, от нашего легкого мороза они отморозили себе ноги и руки. Всюду они старались нас унижить. Представьте себе такую картину: перед вами немецкий солдат; он, абсолютно не обращая на вас внимания, расстегивает штаны и выбрасывает оттуда вшей прямо на вас. Чувство глубочайшего омерзения и гадливости охватывало нас. Если бы еще раз мы услышали, что немцы подступают, мы бы уползли ползком. Все лучше, лучше смерть, чем жить хоть один день под игом фашистов. Мы испытывали это... Их надо растоптать, уничтожить до конца. И Красная армия их растопчет, освободит от них всю нашу советскую землю»⁸.

В школе был запас дров, но несмотря на это фашисты топили партами, инвентарем, книгами, школьным оборудованием; убитых своих солдат они хоронили около школы и в лесу, у могилы великого писателя. В июне 1942 г. эти солдаты были перезахоронены далеко в лесу у реки Воронки.

В деревне Ясная Поляна фашисты за 45 дней оккупации сожгли три дома, повесили колхозника Н. И. Власова и рабочего Косогорского завода — жителя деревни Волково, «были случаи насилия



Могилы немецких солдат перед зданием школы.
Декабрь 1941 г.

над женщинами-колхозницами»⁹, немецкие солдаты разграбили все дома. «Свое отступление, — записано в дневнике С. И. Щеголева, — немецкие бандиты сопровождают, как и всюду, ничем не оправданными поджогами»¹⁰. Из воспоминаний учительницы Е. В. Соловьевой известно, что «перед тем как уходить, фашисты разложили вокруг школы костры и перетащили туда все оставшееся оборудование школы, книги из библиотеки. Так погиб весь школьный инвентарь, ценная библиотека в 18 тысяч экземпляров, все ноты и прочее»¹¹. Фашисты сожгли и школьный архив, который включал документацию Яснополянской школы с 1928 по 1941 год. Взорвав памятник В. И. Ленину, они не успели взорвать скульптуру Сталина на второй лестнице в школе (скульптура была сделана из бетона, немцы смогли лишь отстрелить «указующий перст» поднятой руки). В дикой злобе фашисты трижды прострелили грудь скульптуры Льва Николаевича Толстого в подножье лист фанеры с надписью: «Занято под главный медицинский пункт».

5—6 декабря 1941 г. началось знаменитое контрнаступление под Москвой. 14 декабря 1941 г. части 217-й стрелковой дивизии под



В вестибюле Яснополянской школы.
Декабрь 1941 г.

командованием генерала К. П. Трубникова, 32-й танковой бригады под командованием полковника И. И. Ющука и 112-й танковой дивизии под командованием полковника А. Л. Гетмана освободили Ясную Поляну. «Пламя, вспыхнувшее над Ясной Поляной, словно перекинулось в сердца солдат дивизии Трубникова. Проваливаясь по пояс в снегу, они шли форсированным маршем, чтобы сомкнуть клещи вокруг опорного пункта фашистов. Бросая вооружение, гитлеровцы бежали в Щекино. Но спастись удалось далеко не всем. Больше тысячи насильников и грабителей полегло в снегах под Ясной Поляной. <...> — Фашисты дорого заплатили за злодеяния в Ясной Поляне, — сказал тогда комдив Трубников, — но разве есть цена, которую вообще можно заплатить за надругательство над русской национальной и мировой культурой! Нет такой цены. Вовек им не расплатиться! А мы будем идти на запад, и помнить: перед нами варвары, палачи, которых надо уничтожить!»¹²

Страшное зрелище представлял тогда этот всемирно известный уголок Тульской земли — разграбленная и оскверненная усадьба

великого русского писателя, обезлюдевшая деревня, сгоревшие больница и школа. В своей книге «На темной ели звонкая свирель» фронтовой корреспондент Яков Хелемский так описывает увиденную им в те дни школу: «Сквозная каменная коробка, лишенная крыши, возникла перед нами. Внутри лежал снег, наметенный сверху и через оконные проемы. Ветер свистел в коридорах и классах здешней школы, заваленных обломками штукатурки и почерневшего кирпича. Перекрытый не осталось вовсе. Отопительные батареи второго этажа качались над головой, повиснув на тонких трубах. Среди мусора перекатывались головешки — все, что осталось от школьной мебели. Лоскутья книжных страниц и географических карт осыпались золой при первом прикосновении. И среди всего этого в вестибюле возвышалась четырехметровая белая статуя, закопченная, покрытая щербинами, но все же не рухнувшая. Толстой в длинной рабочей блузе, засунув левую руку за пояс, стоял, глядя прямо перед собой. Сажа, запорошившая его бороду и лицо, не коснулась глазных впадин. Казалось, это взгляд Льва Николаевича светится»¹³. Позднее участник освобождения Ясной Поляны П. Трояновский написал: «У руин школы увидели генерала И. В. Болдина, бригадного комиссара К. Л. Сорокина, секретаря обкома партии В. Г. Жаворонкова. “Думаю, что отныне и навсегда самым ненавистным словом в лексиконе всех народов мира будет слово “фашизм”, — сказал В. Г. Жаворонков. В тот же день об освобождении Ясной Поляны было сообщено в Генштаб маршалу Б. М. Шапошникову: “В ответ, — писал в своих воспоминаниях И. В. Болдин, — услышал в телефонной трубке взволнованный голос: — Спасибо за приятную весть. Передайте благодарность всем, кто спасал Ясную Поляну”»¹⁴.

Ну а как решался вопрос с сожженной школой? Какова была дальнейшая судьба педагогического коллектива? Из воспоминаний учительницы математики Э. М. Преображенской: «Через несколько дней после освобождения Ясной Поляны были вызваны представители от школы в Щекинский райком партии. Пошли Александр Михайлович Преображенский и Николай Илларионович Цветков. Их принял первый секретарь райкома А. И. Бобреньев, и он поставил вопрос о необходимости возобновления занятий в школе. Посоветовавшись, учителя решили, что можно открыть вскоре начальные классы»¹⁵. Из Приказа № 1 от 1 января 1942 г. исполняющего обязанности директора Яснополянской школы А. М. Орлова: «В результате несокруши-



Первый этаж школы.
Декабрь 1941 г.

мого удара победоносной Красной армии преступная банда немецких захватчиков, творившая неслыханные злодеяния в Ясной Поляне в течение полутора месяцев, позорно бежала. В паническом бегстве фашистские варвары разрушали все на пути своего отступления, не щадя культурных ценностей мирового значения. Ими был подожжен дом, в котором... жил и творил один из величайших русских писателей — Лев Толстой. Не пощадили фашистские войска и нашу прекрасную школу, выстроенную силами советского народа в память великого писателя. Глумясь над советской культурой, в порыве тупой бессильной злобы немцы сожгли здание школы, дома-общежития учителей и хозяйственные постройки на усадьбе школы.



Скульптура Л. Н. Толстого в Яснополянской школе.
Декабрь 1941 г.

В ответ на гнусное злодейство тевтонских псов, в целях быстрого восстановления нормальной работы Яснополянской средней школы коллектив школьных работников решил возобновить нормальные занятия с учащимися с 3/1-1942 г., используя для этой цели наименее пострадавшие дома детского сада». «Нашли на деревне два дома (детского сада), — вспоминала Преображенская, — собрали валявшиеся парты. У учеников оказалось порядочно книг, собранных около школы. Они их возвратили, и составила некоторая библиотечка, умещавшаяся в одном шкафу. Оборудовали классы, и в конце декабря уже начались занятия в начальной школе. Учительницами были

Е. А. Карасева, О. И. Орлова, Е. В. Соловьева, Н. А. Паневина. Труднее было с 5–10 классами. К счастью, здание недостроенного детского сада, где теперь помещается детский дом, не было сожжено немцами. Там мы занимались до оккупации и решили снова оборудовать это здание под среднюю школу. Стекла были выбиты, отопления не было; добыли немного стекла и собрали осколки около школы. Александр Михайлович Преображенский и старик Никита Деев стеклили окна. Зима стояла холодная. Решили поставить в каждом классе печку-временку из кирпича с железными трубами, выходящими в окна. Снова те же работники клали печи, гнули сами трубы из обгоревшего железа. Завхоз Кудрявцев подвозил материалы. Не было школьной мебели, никаких пособий. А. М. Преображенский пошел пешком в Тулу в 6-ю среднюю школу за помощью. Директор школы Мария Ивановна Мотасова отозвалась с готовностью: выделила парты, учебные пособия по математике, физике, химии. Их возил завхоз на лошадях в школу. За учебными пособиями ездил М. З. Бирюков. Наконец в середине января все было готово. Оповестили учеников. В средней школе было очень много учеников. Они приходили из Груманта, Телятинок, Казначеевки, Бабурина, Мясоедова и Деминки. Классы получились переполненные. Учебников у ребят не хватало, зато тетради выдали из районо, и одолжила 6-я тульская школа. Занятия начались. Учителя: А. М. Преображенский преподавал русский язык, С. А. Грацианская — немецкий язык, Э. М. Преображенская — математику, М. И. Нестерова — биологию и химию, М. З. Бирюков — физику, Н. И. Цветков — черчение и рисование. Нагрузка на учителей была большая, некоторые вели по 30–40 уроков в неделю. Все преподаватели вели дополнительные занятия с отстающими учениками. Занимались с утра до ночи в две смены, все же должное количество часов не могли дать. Ребята как-то притихли. У всех были горе и забота. Однажды, разыгравшись, ребята толкнули печку в классе, и она развалилась. А. М. Преображенский вызвал Макарова Петра — виновника происшествия — и тихо сказал ему, что он, может, нечаянно, но действовал на радость нашим врагам, так как 2-е классы выйдут на время из занятий, Макаров заплакал и сказал: “Я все сделаю”. Вечером принес глины и кирпичей в класс и с другим мальчиком к утру сложили печку, не сорвав, таким образом, занятий. Начали приходиться посылки с Урала и Сибири от учеников страны. Присылали тетради, книги, ручки, карандаши, перья, даже чайные блюд-

ца и чашки. В начале июня благополучно выпустили 7-е и 10-й классы и пошли работать в колхозные поля и луга. Очень хорошо работали школьные уборщицы: Поля Курасова, Маруся Кременецкая, Маня Москвина, Александра Житкова. В классах было чисто, всегда ученикам давали кипяченую воду, которую кипятили на тех же времянках». Помогали работе школы хранитель музея-усадьбы Сергей Иванович Щеголев со своей сестрой Марией Ивановной. Сергей Иванович давал уроки литературы. В школе работало несколько кружков. В доме, предоставленном сельским советом, библиотека, в которой по совместительству работала учительница географии М. И. Нестерова. В общем, в кратчайшие сроки педагогический коллектив, возглавляемый директором Орловым, частично восстановил работу школы, но кадров не хватало, и поэтому многие учителя совмещали должности. Режим работы был очень напряженный, поэтому, чтобы учителя его выдерживали, им в течение учебного времени давали небольшие отпуска. В это голодное время, чтобы поддержать учителей, рабочих и служащих, им выдавали карточки на обед, а обносившимся учителям иногда выдавали одежду.

За годы войны директорами в школе работали: Иван Михайлович Телегин, Александр Михайлович Орлов, Александр Михайлович Преображенский, Иван Еремеев, Иван Иванович Левченко. В условиях военного времени коллектив школы работал четко и точно, как хорошие часы, все распоряжения директора и вышестоящих властных структур выполнялись беспрекословно. Да это и понятно, ведь в стране действовали законы военного времени, по которым служащий, не выполнивший приказ, сурово наказывался. Читая приказы того времени, написанные в тетрадях с пожелтевшими от времени листами и выгоревшими чернилами, видишь, какое жесткое это было время. Так, один из приказов гласил: «Преображенского А. М. освободить от заведования учебной частью школы, как не справляющегося с работой». В приказе № 39 от 11 июля 1942 г.: «Назначить старшим пионервожатым школы Панькова Валентина Ивановича (ученика 9 класса), вместо снятой решением бюро РКСМ Зябревой З.» (впоследствии Валентин Иванович возглавит школьную комсомольскую организацию). Или — приказ № 54 от 24 августа 1942 г.: «За халатное отношение к своим обязанностям, в результате чего в ночь с 21 на 22 августа была похищена принадлежащая школе лошадь по кличке Галка, Шищенко Василия с работы снять и отдать под суд». Конечно, в школе не только наказывали

вали, но и поощряли. Так, в приказе № 9 от 26 января 1943 г. читаем: «За добросовестную и аккуратную работу и за точное и своевременное составление годового отчета бухгалтеру Пронину Д. Ф. объявляю благодарность. Директор И. Еремеев». Или приказ № 14 от 8 марта 1943 г.: «За добросовестную работу объявляю благодарность: Карасевой Елизавете Алексеевне, Преображенской Зинаиде Михайловне, Соловьевой Елизавете Васильевне, Грацианской Софье Александровне, Курасовой Пелагее Яковлевне. Директор И. Еремеев». За отличную и хорошую учебу 43 ученика в 1942 г. были награждены книгами из школьной библиотеки.

188 учеников учились в Яснополянской школе в суровом 1941/1942 учебном году. В последующие военные годы в школе уже было 402, 375, 330 учеников. Почему так много? Из всех ближайших селений дети ходили пешком в единственную среднюю школу в округе.

Великая Отечественная война продолжалась. После разгрома фашистов под Сталинградом страна готовилась к летним сражениям 1943 г. Каждое событие, произошедшее на фронте, живо обсуждалось в коллективе. В январе 1943 г. на фронт ушли выпускники Николай Воронцов, Николай Грищенко, Юрий Захаров, Валентин Паньков, бывший секретарем школьного комитета ВЛКСМ (новым секретарем выбрали Василия Фролова).

С 15 ноября 1943 г. директором школы стал И. И. Левченко, кандидат педагогических наук, учитель русского языка и литературы. Приняв школу в трудное время, он сумел так организовать коллектив, зажечь учителей жаждой обновления, что школа стала лучшей в Тульской области. В работе ему помогали возвратившиеся из эвакуации учителя В. И. Ширенкова, Р. Е. Глуздовская, С. С. Протопопов, Е. Н. Геролева. В этом же году в школе вводятся «Правила для учащихся».

В январе 1944 г. при школе были открыты курсы подготовки учителей. Во время войны 51 человек обучался на отделении русского языка и литературы и 34 человека — на отделении подготовки учителей математики и физики. Курсы учителей просуществовали при школе до 1948 г.

9 мая 1945 г. свершилось то, к чему шли долгих 1418 дней. По свидетельству старожилы Ясной Поляны С. В. Ширенкова, в тот день необычная тишина стояла в Ясной Поляне. Каждая семья переживала великую скорбь по погибшим, но Победа породила и великую радость, которая давала надежду на счастливую жизнь. А всех

яснополянских учителей объединяла и мечта о скорейшем восстановлении родной школы.

В 1945 г. И. И. Левченко был назначен заведующим Тульским облоно. Директором Яснополянской школы был назначен фронтовик Валентин Михайлович Ширенков, которому поручено было восстановить сожженную немецко-фашистскими захватчиками Яснополянскую школу. Валентин Михайлович по-военному четко справился с поставленной задачей. В 1948 г., в год празднования 120-летия со дня рождения Л. Н. Толстого, в торжественной обстановке Яснополянская школа открыла свои двери для учеников.

¹ Бок Ф. фон. Я стоял у ворот Москвы: Военные дневники 1941–1945 гг. М., 2006. С.180.

² Родионов С. Воспоминания // Битва за Тулу. Тула, 1969. С. 311.

³ Камянский В. К. Воспоминания // Яснополянский сборник: 1976. Тула, 1976. С. 227.

⁴ Комиссия работала в составе: И. И. Минц — председатель комиссии, член-корреспондент Академии наук СССР, С. А. Толстая-Есенина — директор Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве, А. В. Щусев — академик архитектуры, И. И. Бодалев — гражданский инженер, начальник Управления капитального строительства Академии наук СССР, Б. А. Кондрашев — профессор архитектуры, Е. Н. Городецкий — кандидат исторических наук, Е. Н. Чеботаревская — научный сотрудник Музея им. Л. Н. Толстого и Н. С. Родионов — один из редакторов Юбилейного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

⁵ Акты комиссии Академии наук СССР // Ясная Поляна: Статьи. Документы. М., 1942. С. 175–176.

⁶ Хелемский Я. А. На темной ели звонкая свирель. М., 1973. С. 57.

⁷ Ясная Поляна: Статьи. Документы. М., 1942. С.163.

⁸ Там же. С. 165–166.

⁹ Там же. С. 175.

¹⁰ Цит по: Архангельская Т. Н. Ясная Поляна в годы войны. Тула, 1985. С. 30.

¹¹ Стенограмма выступлений преподавателей Яснополянской средней школы имени Л. Н. Толстого // Ясная Поляна: Статьи. Документы. М., 1942. С. 165.

¹² Максимцов М. Д. Дорогами мужества. Тула, 1966. С. 96–97.

¹³ Хелемский Я. А. На темной ели звонкая свирель. С. 69–70.

¹⁴ Цит по: Архангельская Т. Н. Ясная Поляна в годы войны. С. 41.

¹⁵ Материалы музея истории школы Яснополянской гимназии № 2 им. Л. Н. Толстого. Воспоминания Э. М. Преображенской.

Научное издание

Яснополянский сборник

2010

На обложке: Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. 1908 г.
Фотография С. М. Прокудина-Горского

В подготовке сборника принимали участие: Э. М. Богачева,
О. В. Гладун, Н. А. Хлюстова

Главный редактор
издательского дома «Ясная Поляна»
В. И. Толстой

Редактор
О. А. Дорофеев
Корректор
Л. А. Залетина
Оформление, компьютерная верстка
М. Е. Белой

Подписано в печать 27. 07. 2010 г. Гарнитура Academy.
Формат 60 × 90 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 300 экз. Заказ № 289.

Издательский дом «Ясная Поляна»
Тула, ул. Октябрьская, 14

Отпечатано в ЗАО «Гриф и К»
300062, г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а.
Тел.: (4872) 47-08-71, тел./факс: (4872) 49-76-96
E-mail: grif-tula@mail.ru, <http://www.grif-tula.ru>

Уважаемые коллеги!

Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» приглашает к участию в «Яснополянском сборнике — 2012».

На рассмотрение редколлегии принимаются ранее не публиковавшиеся работы, посвященные жизни и творчеству Л. Н. Толстого. В связи с приближающимся 300-летием со дня рождения Ж.-Ж. Руссо (1712—2012) приветствуются работы по теме «Современные проблемы изучения жизни и творчества Л. Н. Толстого и Ж.-Ж. Руссо».

Последний срок подачи материалов до 1 сентября 2011 г. по почтовому или электронным адресам:

301214, Тульская обл., Щекинский р-н.,
п/о Ясная Поляна,
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

E-mail: yaspol@tgk.tolstoy.ru (на имя директора музея-усадьбы
В. И. Толстого)
alla.polosina@tgk.tolstoy.ru (на имя А. Н. Полосиной)

Тел. +7(4872) 23-98-32; (48751) 76-1-41
факс: +7(4872) 38-67-10;

Будем благодарны тем, кто соблюдает следующие правила оформления материалов для печати:

Объем статьи: 0,5—0,7 а. л. Статья предоставляется на электронном носителе в формате Word 6.0, 7.0 или XP (с двумя распечатанными экземплярами, если статья отправляется по почте, +дискета). Примечания даются в конце статьи. Ссылки на 90-томное собрание сочинений Л. Н. Толстого (Юбилейное издание. М.; Л., 1928—1958) приводятся в тексте статьи с указанием в скобках номеров тома и стра-

ниды через запятую; «Война и мир» цитируется по изданию: Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1978—1985; ранние произведения — по изд.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. М., 2000 — . (Изд. продолжается)

Если в тексте используются какие-либо сокращения, они должны быть расшифрованы. Список обязательных сокращений см. на с. 11—12 настоящего сборника.